ЮРИЙ НАГИБИН

НАУКА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

SHOUT
SHARE
IT

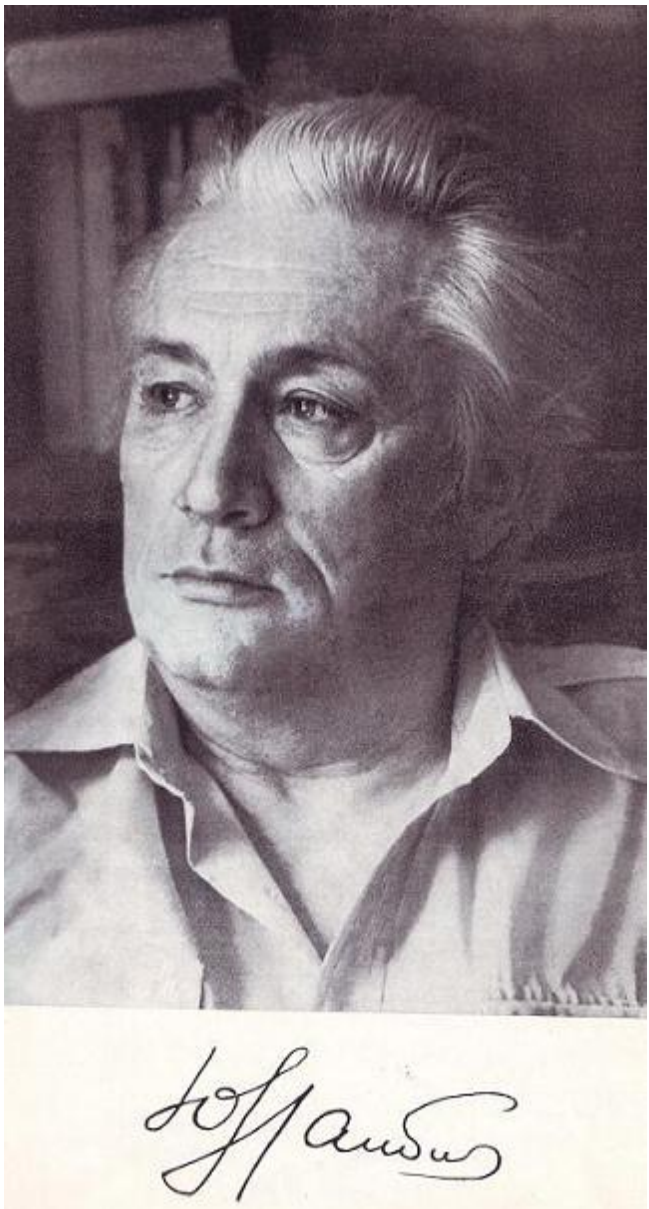
Annotation

Книга Ю. Нагибина посвящена делам и заботам, нравственным поискам, радостям и печалям людей сегодняшнего мира в нашей стране и за рубежом. Автор продолжает разрабатывать свои постоянные темы: художник и время, истоки творчества, судьба военного поколения…

- Юрий Маркович Нагибин
  - От автора
  - Заступница
  - О ты, последняя любовь!
  - Школьный альбом
  - В те юные годы
  - Морелон
  - Лунный свет
  - Прекрасная лошадь
  - Телефонный разговор
  - Замолчавшая весна
  - Посланец таинственной страны
  - Дорожное происшествие
  - Еще раз о бое быков
  - Два старика
  - Огнепоклонники
  - Воробей
  - Нет проблем?
  - Итальянская тетрадь
  - Что сказал бы Гамлет?
  - Летающие тарелочки
  - Возвращение Акиры Куросавы
  - До новой встречи, Аллан!
  - Островитянин
  - Голландия Боба ден Ойла
  - Счастливчик Хейли
  - В поисках Лассила
- notes
  - 1

Юрий Маркович Нагибин
Наука дальних странствий

От автора



Для читателя не слишком пристального (а со стороны автора чересчур дерзко рассчитывать на чрезмерную внимательность к его произведениям) может показаться странным название сборника «Наука дальних странствий», вроде бы мало соответствующее содержанию. Конечно, когда речь идет об Испании, Австралии, Индии, Японии, Соединенных Штатах — все

в порядке, но ведь сюда входит немало рассказов, никакого отношения к путешествиям не имеющих, их действие происходит большей частью в Подмосковье, с которым тесно связан автор, или в ближних от столицы пределах. Ну а монологическая повесть «Заступница» о бабушке М. Ю. Лермонтова и уж совсем ни при чем. Скажу сперва о последней вещи: путешествовать можно не только в пространстве, но и во времени. Я отдам все острозанимательные географические романы Жюля Верна за одну «Машину времени» Герберта Уэллса, где герой переносится не из страны в страну, а из одной исторической эпохи в другую. Путешествия в прошлое столь же занимательны, как и путешествия в будущее.

В наше время огромных скоростей понятие «дальних странствий» стало условным. «Красной стрелой» из Москвы до Ленинграда — восемь с лишним часов, примерно за то же время можно добраться до Сингапура, правда, воздухом, но это дела не меняет. От самой дальней точки планеты жителей Москвы отделяют не годы, как было в давние времена, не месяцы и недели, как было в начале нынешнего века, а всего лишь часы. Наверное, только полет в Антарктиду или на Огненную землю потребует около суток или чуть больше. Современные способы передвижения сузили мир, сверхзвуковые скорости, ставшие реальностью, сузят его еще больше, и все же дальние странствия не исчезнут из человеческого обихода, ибо дело не в километрах, а в способности оторваться от привычности, уйти далеко в поисках — внешних и внутренних, глубоко погрузиться в субстанцию жизни, в существо других людей и в свою собственную душу.

Можно добраться до Антарктиды а населить ее скукой и томлением, вывезенными из дома, и ровным счетом ничему но научиться за тысячи и тысячи верст от родного порога. Можно отправиться но известному, наезженному маршруту, вроде «Золотого кольца», или просто пойти в близлежащим пронизанный солнцем березняк, наконец, вовсе не двинуться из-за письменного стола и окунуться в такие бездны, что дух захватит: ты вдруг обнаруживаешь изумленным сердцем, как обогатила тебя наука этих, не требующих великих расстояний, странствий.

Да, можно вернуться пустым, как гнилой орех, из кругосветного путешествия. И можно много увидеть и многому научиться в рядовом подмосковном санатории, куда загнало тебя недомогание и где обитатели ведут крайне однообразную жизнь: процедуры, прогулки, столовая, послеобеденный отдых, кино, но субботам танцы для тех, что поздоровее. Но постарайтесь

заглянуть в глубь зрачков этих большей частью немолодых, усталых, больных людей, проживших нелегкую жизнь, вслушайтесь в тихую музыку их существования, и вам откроются новые горизонты.

Человек ограничен в пространственных странствованиях; даже те, кто вырвался в космос, не улетели дальше Луны, а это всего лишь спутник нашей планеты, светящийся ее отраженным светом; для всех других путешествия ограничены земной поверхностью, да и это доступно лишь немногим. Но путешествия в просторах духа общедоступны и безграничны. Тут каждый, кто не ленив воображением, может покрыть громадные расстояния, пронизать века, побывать в оболочке других людей, да и по только людей — как всевластный волшебник обернуться зверем, птицей, рыбой, растением и, наконец, совершить наитруднейшее — приблизиться к познанию самого себя.

Разумеется, я ни на миг не тешу себя надеждой, что достиг подобных результатов в собственных странствиях. Я лишь говорю о своих намерениях, том стремлении, из которого возникла данная книга. Я старался не сидеть на месте и в силу отпущенных мне природой возможностей и даже чуть поверх них странствовать по далеким и близким просторам, во времени, по людским душам. Повторяю, дело не в расстояниях, а в желании постигнуть науку дальних странствий, в готовности идти навстречу неизвестному в самых разных жизненных обстоятельствах, навстречу людям и, не выделяя себя среди других, навстречу самому себе. Пока я способен к таким странствиям — я чувствую себя живым среди живых, и мне необходимо участвовать во всеобщем человеческом обмене; когда же я не смогу пуститься в путь — значит, меня уже нет.

Заступница

Повесть в монологах

1

Архив III отделения. Полутемно, сыро и смрадно. Во всю ширину и вышину стен тянутся полки, на них тесно стоят папки с «Делами». Едва тлеет камин. У небольшого столика с шандалом о три коптящих свечи трудится тщедушный плешивый старик в поношенном статском сюртуке — ***архивариус.*** *Он просматривает какие-то бумаги и делает записи в толстой потрепанной книге. Дверь отворяется, входит ладный, с ловкими движениями человек в голубом жандармском мундире с генеральскими эполетами. У него высокий, чуть скошенный лоб, светлые волосы, цепкий насмешливый взгляд. Это — знаменитый* ***Леонтий Васильевич Дубельт.*** *Следом за ним* ***жандарм*** *вносит толстенные папки.*

Архивариус вскакивает. Его зримо трясет. Лицо искажено раболепным страхом.

Дубельт (*приветливо*). Здравствуйте, почтенный Павел Николаевич! Да не тряситесь так. Экой же, право, робкий!.. *(Показывает жандарму на стол.*) Клади сюда. Да аккуратнее, безрукий! Небось Пушкина дело, а не Ваньки Каина. Хотя у Ваньки оно, знать, было тоньше. Обожди за дверью.

(Жандарм выходит.)

Садитесь, садитесь же, Павел Николаевич, что вы передо мной, как лист перед травой? *(Архивариус громко икает. Дубельт брезгливо морщится).*

Опять икота одолела?.. Вы никак селедкой завтракали, да и с лучком. Экий, право, гурман!.. Ну-ка, сядьте подальше и дышите в сторонку. Терпеть не могу луковый запах, особенно по утрам.

(Архивариус подчиняется. Дубельт берет колченогий стул, усаживается.)

А знаете, Павел Николаевич, вы могли бы большую карьеру сделать, если б государю на глаза попались. Он страсть трепет ценит. Знаете, как граф Клейнмихель в случай попал? При первой встрече с императором так разволновался и ослабел, что его замутило. Все решили — конец голубчику, а государь только поморщился и осведомиться изволил, часто ли случается с его верноподданным подобное. Нет, только при виде его императорского величества, от сильного трепета и усердия. Столь

уважительная слабость польстила государю, он приблизил и возвысил Клейнмихеля. Раз как-то граф удержал дурноту, и это вызвало приметное неудовольствие. Государь засомневался в его преданности. Но Клейнмихель быстро исправил ошибку. Ныне он самое доверенное лицо государя, после, разумеется, нашего шефа графа Бенкендорфа. А у вас, Павел Николаевич, козырь не многим слабее, чем у Клейнмихеля. *(Слышится какой-то ржавый звук. Дубельт заинтересованно прислушивается и понимает, что это смех.*)

У вас есть чувство юмора. Оно поможет пережить разочарование: вам не сделать карьеры — вы икаете и трясетесь перед любым начальством, а надо лишь перед его величеством. В этом сила Клейнмихеля: со всеми — зверь, а перед государем — пес блюющий. Большое дело, любезный Павел Николаевич, иметь зримый порок, чтобы без подлой лести возвеличивать высочайшую особу. Граф Александр Христофорович государю еще ближе Кленыхина, как того в войсках кличут, а не испытывает дурноты, не икает, но рассеян противоестественно и при всей своей ловкости беспамятен и бестолков… да не тряситесь вы так, Павел Николаевич, нас же никто не слышит, а я на себя не донесу и вы не донесете — внимать крамольным речам столь же преступно, как и произносить. Спокойнее, Павел Николаевич, а то вы сроду икать не перестанете. А это неприлично для служащего столь высокого учреждения. Сам государь удостаивает нас своим посещением. Скромный труд наш на благо России «святым делом» называет. «Святое дело сыска»— доподлинные слова царя Николая.

И чего вам бояться, любезный Павел Николаевич, это вас должны бояться сильные мира сего. Кстати, вы не обращали внимания, что вас зовут, как государя, только наоборот? К чему бы сие? Знамение? Или примета скрытого родства? Об этом стоит подумать. Вы страшный человек, Николай Пав… тьфу, Павел Николаевич, ведь вы все про всех знаете. *(Обводит широким жестом хранилище.)* Мне известно, что вы не просто регистрируете поступающие к вам дела и по полкам их распределяете, на радость архивным мышам, а наивнимательнейше, от корки до корки штудируете. Память же у вас, почтеннейший, как у Гомера или Шекспира. Все помните, что не с вами было. А для чего вам это? Бескорыстная любознательность? Скорее желание убедиться, что знаменитые и знатные, коли видеть их с исподу, ниже последнего архивного червя. Тогда и чин ничтожный, и жалованье низкое, икота и трясучка, и вся впустую прожитая жизнь — не так уж мучительны. Вы интересный человек, Павел Николаевич, самый интересный

после меня в этом заведении, и я люблю с вами разговаривать. Особенно потому, что вы молчите. Даете человеку выговориться. Я вас по-своему уважаю, Павел Николаевич, — не за икоту, о нет, за сосредоточенную злобу, что держит вас здесь. Вы же давно могли уйти на пенсию и спокойно дотлеть, но ненасытное мстительное чувство сделало вас вечным узником смрадного подвала. Я с вами откровенен, как ни с кем другим, вам бессмысленно врать, вы если не впрямую, то косвенно узнаете подноготную каждого. Но вам неизвестно, что государь называет Александра Христофоровича Бенкендорфа ангелом. Шеф жандармов и впрямь ангел: весь лазурный, голубые чистые глаза, розовая кожа, ангельская кротость с одними, ангельский холод к другим. Последних неизмеримо больше. Вы никогда не задумывались, почему ангелы не могут любить? Впрочем, небожители идут по другому ведомству. Ангелы бесполы. Александр Христофорович — истинный ангел. А вот я не ангел и не блевун, у меня нет отчетливого, бьющего в нос ущерба, и мне не сделать первоклассной карьеры. В определенном смысле я ее уже сделал, могу подняться еще на ступень, когда граф Бенкендорф оставит свой пост, но его влияния не добьюсь. Не бывать мне ангелом нашего государя. Мешает ум, скрыть который гораздо труднее, чем кажется. И зачем ты, матушка, не ударила меня незаросшим темечком о косяк, был бы твой Леонтьюшко фельдмаршалом, первым министром или обер-прокурором святейшего синода. Впрочем, стоит ли сетовать на судьбу, особенно в присутствии почтеннейшего Павла Николаевича, который не дорос и до таких скромных чинов? Но Павел Николаевич выше этого. И я, как ни удивительно, тоже выше. Для меня суть моих занятий важнее наград, званий и титулов, хотя все это важно для жизни и для самих занятий.

(Со вздохом.) Вот, Павел Николаевич, сдаю вам, быть может, величайшее из всех дел, какими занималась собственная его величества канцелярия, хотя касается оно особы весьма невысокого ранга. Тридцатишестилетний муж, глава семьи, знаменитый поэт, чья слава вышагнула за пределы России, довольствовался юношеским званием камер-юнкера. Вот он, весь тут! *(Хлопает рукой по верхней папке.)* Тело Пушкина предано земле его другом Александром Тургеневым, а дело сдается мною в архив. И желательно сохранить сие от мышей и прочих скверных зверушек. Каждый, кто причастен к этому делу, обрел бессмертие, многим едва ли желательное. Итак, покончено таинственное дело, а до конца ли разгадано — кто знает? Даже я этого не знаю, хотя находился в самой гуще. Нет, не был я ни движущей пружиной, ни даже сколь-нибудь важной частью

сложного механизма, но и в стороне не остался. Говорю о том равно без гордости и без сожаления. Сейчас умы в разброде. Свет поделился на две неравные части. Большинство осуждает Пушкина и оправдывает Дантеса, иные даже рукоплещут красавцу эмигранту, что несколько странно с патриотической точки зрения; меньшинство же оплакивает Пушкина и проклинает его убийцу. И у всех на устах стихотворение юного корнета Лермонтова «На смерть поэта», с эпиграфом: «Отмщенье, государь, отмщенье!» Но я хотел не о том, добрейший Павел Николаевич. Смерть Пушкина вдруг обнаружила, что есть не только **свет**, чье мнение единственно важно, а такое странное, неощутимое и не упоминаемое в России образование, как **народ**. Считалось, что народ — это где-то в европах, во Франции, в Англии, в цивилизованных странах, испытавших революционные потрясения. Мы думали — лишь с революцией масса неимущих, проще — толпа, становится народом. В России революции не было, но гибель национального поэта обнаружила, что существует народ. Не холопы, не смерды, не дворня, не работный люд, не голытьба, не городская протерь, не мещане, а именно **народ**. Иначе как назовешь те тысячи и тысячи, что осаждали дом Пушкина в дни его агонии, а затем по одному прощались с покойным, целуя его руку? Если б то были просто горожане да пригородные крестьяне, тело Пушкина не повезли бы тайком в Святые Горы. Но тут пробудилась и заявила о себе какая-то новая, еще не сознающая самое себя сила. В известном смысле это страшнее, чем 14 декабря на Сенатской площади. Мятеж молодых аристократов не имел корней, недаром же солдаты не пошли за ними. Народ — вот самое страшное, что оставил нам Пушкин, а не богохульная «Гавриилиада», злые эпиграммы и крамольные стихи. Это понимают пока лишь самые проницательные, и прежде всего — государь. И все же дело завершено. Слава богу, иначе тлетворное влияние Пушкина росло бы с устрашающей силой. Мертвец, при всех оговорках, куда менее опасен. У людей короткая память, они позволяют себя отвлечь и развлечь, что куда проще, нежели осиливать живое воздействие громадной личности и могучего таланта. Второго Александра Сергеевича Пушкина в России не будет. Не сойдутся так больше звезды. Я равнодушен к стихам и прозе, признаю лишь исторические сочинения и мемуары тех, кто движет историю, но я понимаю, что такое Пушкин. И при этом ничуть не раскаиваюсь, что имел некоторую, пусть скромную, прикосновенность к закрытию этого дела. Есть ли тут противоречие? Ни малейшего. Великое государство Российское создавали не Пушкин, Гоголь или Грибоедов, а Иван III, Алексей Михайлович, Петр Великий с корыстными, но

дельными соратниками, Екатерина, Румянцев-Задунайский, Суворов, даже Сперанский при всех его просчетах и, разумеется, ныне здравствующий монарх, служилое дворянство, генералы, министры, высшие чиновники. Граф Клейнмихель, над которым тайком посмеиваются, важнее для России, чем насмешник Гоголь. Клейнмихель строит, а Гоголь разрушает. Граф угадал главное в наши дни: исполнительность. Лишь она противостоит хаосу, к коему тяготеет русская жизнь. Я хоть и Ду-бельт, но ощущаю себя россиянином, всем сердцем, всей требухой привержен в этой стране, ее истории, вечному неустройству и потугам это неустройство одолеть, встать вровень с цивилизованными странами. И ведь есть к тому возможность, есть! Старушка Европа загнила и смердит, а тут молодые, свежие, нетронутые силы. Я не могу сочувствовать тем, кто препятствует серьезной государственной жизни России. А высший свет — вовсе не свора льстецов, выскочек, завистников, интриганов и сплетников, хотя и таких довольно, но прежде всего — опора самодержавия. И кто посягает на него, колеблет трон. А я на страже. Только, Павел Николаевич *(голос Дубельта звучит глубоко и серьезно)*, вот это действительно должно остаться между нами. Я не хочу, чтобы хоть одна живая душа знала, что я служу не ради чинов, крестов и лент, а ради идеи. Этого мне не простят. В награду за скромность я покажу вам некоторые материалы, которые никогда не поступят в ваш архив.

Архивариус живо вскакивает и кланяется не без достоинства.

(Насмешливо.) Мы с вами из одного теста — бессребреники… *(Вновь становясь серьезным.)* Одно меня угнетает. А что, если я ошибаюсь? И как раз Пушкин, Гоголь, Грибоедов и иже с ними строят Россию, а не политики и полководцы? Но нет, этому отказывается верить разум. Бумагомаратели, чего они стоят? А Радищев? Екатерина ополчилась на него, как на Пугачева, а эта государыня была великим политиком. И почему столько шума вокруг маленького курчавого камер-юнкера, не имевшего ни одной награды, зато не раз ссылаемого, всячески унижаемого, гонимого? Почему царь стал его цензором? Не слишком ли много чести? Но к ничтожным делам цари не снисходят. Да нет, тут другое: обуздать дух разрушения. А почему в писании сказано: вначале бе слово, потом бе бог? Может, тут и коренятся сила и власть этих, ни силы ни власти не имеющих? А если так, то хороши же мы все!.. Нет, нет! Государство не в них, а в нас…

Входит жандармский офицер и молча протягивает Дубельту листок.

Браво, Щеглов, вы делаете успехи! Было бы худо, если б граф Бенкендорф получил это из других рук. Вы свободны?

Жандарм выходит.
(Читает.)

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Шестнадцать строк. Но стоят иной поэмы. И кое-кому будут стоить карьеры и даже судьбы. Михаил Павлович сказал о Лермонтове: «Этот заменит нам Пушкина». Великий князь попал точнее, чем мог думать. Нет сомнения, что эти строчки написаны лермонтовской рукой. Виден сокол!.. Стихотворение стало совсем другим. Зарвался мальчик! Боюсь, что отмщение государя обратится теперь вовсе не на Дантеса. Француз просто защитил себя от ревнивого и дерзкого камер-юнкера, не дававшего ему покоя, да и не только ему. А этот корнет полоснул саблей по всему высшему обществу, по двору, и куда хуже — по особе государя, которому противопоставил бога. Как вы находите стихи, Павел Николаевич?

Архиварius потрясенно разводит руками.

Хороши, ничего не скажешь. Слишком хороши. О неиссякаемая Россия!

Быстро входит жандармский офицер.

Жандарм. Ваше превосходительство! Его величество государь император изволили пожаловать! В сопровождении их высокопревосходительства графа Бенкендорфа.

Дубельт. Возьмика-ка, голубчик, вот все это *(показывает на груду папок, лежащую на столе)*. Да, почтенный Павел Николаевич, лишаю вас на время преинтереснейшего чтения. Ничего не попишешь. Пушкина нет, а дело его живет! *(Выходит следом за жандармом.)*

2

Февраль 1837 года. Петербургский дом Арсеньевой. Маленькая гостиная, хорошо и уютно обставленная, на стенах гравюры, акварели Лермонтова, несколько фамильных портретов в багетных рамах, среди них портрет покойной дочери хозяйки — Марии. В вазах свежие оранжерейные розы.

Арсеньева, *довольно высокая, с прямой спиной, бодрая старуха, седая и темноглазая, вводит в гостиную* ***Аграфену,*** *бывшую мамку Лермонтова, женщину примерно своих лет, но совсем дряхлую с виду, согбенную, с отечными ногами и шаркающей поступью.*

Арсеньева. Ходи веселей! Хватит притворяться, что тебя так растрясло, дорога по зимнику гладкая. До чего же все дворовые избалованные — спасу нет! Я старше тебя, а не шаркаю и не гнусь… В баньку сводили? Накормили хорошо?

При этих отрывистых вопросах Аграфена кланяется и хочет поцеловать барыне руку, но та не позволяет.

А ну, без глупостей! Здесь Петербург, не Тарханы. Барин молодой увидит — разгневается. Ах, Аграфена, тяжко мне с ним! До того тяжко!.. Люблю его больше жизни, каждое желание предупреждаю, а чей он — мой или чужой?.. Да садись же, садись, в ногах правды нет. Да и устала ты, старая. Садись вот тут. Сейчас велю тебе чаю крепкого дать с вареньем и сахарком, ты ведь сладкое любишь, и ромцу ямайского или бальзамца. Молчи, молчи, не лицемерь. Нешто не знаю, как по буфетам рыскаешь. Честна, честна — оставь тебе казну, копейкой не попользуешься, а винцо тайком вылакаешь. Ох, русские люди, русские люди! Чего только в нас не намешано: и доброта святая, и преданность, и к жертве любой готовность, и вороватость, и лукавство, и притворство, и к разбою склонность. Француз или немец — одной краской мазан, а наш — радуга, все цвета налицо. *(Подходит к двери, распахивает створки и чуть не сшибает с ног подслушивающую девушку.)* Зачем шпионишь? Что я — любовника прячу? Стара я для таких дел. Тьфу ты, из головы вон, — Аграфена же твоя крестная! Ну, поцелуйся с крестной и принеси ей чаю — живо! А наболтаться еще успеете, она никуда не денется. Здесь жить будет.

Девушка обняла крестную и метнулась к двери. Арсеньева успевает дать ей звучный шлепок.

Хороша натяжка у твоей крестницы, даже руку отшибла. Разучилась я тут бесстыдниц шлепать, а уж высечь и не мечтай. Для этого надо в часть посылать. Одно дело — доброй материнской рукой проучить, другое — своего человека к чужим

на правеж послать. А ну-ко Михаил Юрьевич проведает, для него это как нож вострый. Не может он, чтобы человеческое достоинство страдало. Нешто достоинство в заднице помещается? Небось помнишь, как в Тарханах: попробуй кого на конюшню послать — сейчас затрясется весь, зубками заскрипит, побледнеет, того гляди родимчик хватит. Я тронуть никого не решалась, совсем разбаловались люди. А что поделать, знаю, что порчу дворню, а молчу. Слово наследника — закон. Да тебя-то это не касалось, ты ж мамка, тебя сроду никто пальцем не тронул.

Входит крестница ***Аграфены*** *с подносом, уставленным чашками, кувшинчиками, вазочками, тарелочками со всевозможной сладкой снедью, ставит на столик перед старушкой и ускользает, опасливо покосившись на барыню. Налила Аграфене большую рюмку рома и себе плеснула немножко в серебряную чарочку.*

Давай выпьем за нашего баловня! *(Пьет и по русскому обычаю опрокидывает пустую чарочку, мол, капли, не оставила.)* Как я его в детстве баловала! Иной бы злодеем вырос. Ребенок — личинка человеческая, чем к нему добрее, тем он хуже. Забияки, охальники, разбойники из самых забалованных выходят. Родители трясутся над дитятком, как я над внучком, и он смекает в маленькой своей душе: я самый важный, самый главный, золотой и бриллиантовый и все по-моему должно быть. И выходит он в широкий мир, а жизнь под него не стелется ковром, у людей свои интересы, ему вперекор. И пошло чудить такое вот занеженное дитя, силком брать, что само не идет, куражиться и своевольничать. А Мишенька не такой. Он, правда, горяч, вспыльчив, но и отходчив, а уж добр, добрее не бывает. И чем человек проще, тем он к нему жалостливей. Мишеньку многие не понимают, думают, колючий, злой, нелюдимый, а он застенчивый. Он всю душу готов раскрыть, да ведь наплюют туда, нахаркают. Он это чует и замыкается. А кто его глубже знает, тот за Мишеньку в огонь и в воду. Что Раевский, что Монго Столыпин, что Алексей Лопухин, что Юрьев. И Мишенька за друзей жизнь отдаст. Он и с девушками умеет дружить — сама деликатность, сама сдержанность… Заговорила я тебя? А ты терпи и внимай. Сласти чаек, ромцу подливай, не жалей. *(Вдруг, будто осердясь.)* Да, я одна говорю, а ваше рабье дело слушать, молчать и улыбаться. А вот коли случится то, чем Мишенька иной раз, гневаясь на меня, грозит: вы наверх, а мы на дно, — ты будешь говорить, а я помалкивать да улыбаться. А про себя небось проклинать трепуху неуемную. Молчи, знаю, что не проклинаешь. Ты верная Личарда, сама от вольной отказалась.

Входит ***слуга*** *и протягивает Арсеньевой записку.*

(Читает записку.) Еще бы не пришел! Гордым больно стал

Ванька Джалакаев, его хор сейчас нарасхват. Но помнит, душа цыганская, кто его графу Шереметеву рекомендовал. С Шереметева и начался его карьер. Ах, связи, связи — в Петербурге они в а яснее богатства, знатности, всех талантов. А чем-чем — связями господь бог не обидел. Можем мы кое-что в северной нашей Пальмире. *(Слуге.)* Ряженые явятся — доложи. Шампанское — охладить к пяти. И помельче лед для устриц накрошите. Раньше чем на стол подавать, не открывайте, а то вся свежесть пропадет. Тут гурманы такие соберутся! Сам-то Мишенька в еде не больно разборчив, хоть и напускает на себя вид знатока. Хорош знаток! Его раз булочками с опилками накормили, а он и не заметил. *(Слуге.)* Чего уставился, как филин? Сказано — ступай! *(Слуга уходит. Арсеньева обращается к Аграфене, глядящей на все с каким-то испуганным недоумением.)* Обед я даю Мишеньке и его друзьям. Опять, понимаешь, у нас ссора вышла. Знаю, о чем думаешь, не то, не то! О Юрии Петровиче Лермонтове, как помер, больше речи не заходило. То ли простил мне Мишенька отца, то ли скрыл обиду на дне души — не знаю. Хотя если подумать хорошенько, то и в нынешнем разладе мелькнула отцова тень, как это мне раньше в голову не пришло? Но давай лучше по порядку, а то я все путаюсь. Беспокойно мне чего-то. А вроде бы чего беспокоиться? Со стихами на смерть Пушкина обошлось, Мишенька мне мою дурость, об Александре Сергеевиче сказанную, простил, сам записку прислал, такую добрую, ласковую. И хоть я во всем виновата, он себя корит за несдержанность, грубость. Да какой он грубый, может, самый нежный человек на свете. Мало кто его настоящего знает. Друзья знают, Варенька Верещагина, Маша Лопухина и та голубоглазая девочка, в которую он еще мальчиком влюбился, знают. Боже мой, как смотрел на нее Миша своими черными глазищами, как следил за каждым движением, а заговорить не решался. А она все понимала, девятилетняя женщина, уж так все понимала, и кокетничала с ним, и поощряла, и тут же напускала на себя презрительный вид, а он, лопушок бедный, не отважился с ней познакомиться, только вздыхал ужасно и руку к сердчишку прижимал. Вот когда в нем душа пробудилась. Он после, уже взрослым, ей стихи посвятил. До чего ж памятливый, как все в нем глубоко!.. О чем бишь я? *(Арсеньева явно думает о чем-то другом, мучительно-тревожном, и это путает ее речи.)* Ах да, обед я даю в честь примирения со своим суровым внуком. Но ведь скучно ему вдвоем со старухой пировать — ни выпить, ни покуражиться, ни о скабрезном потолковать. У гусар это принято. Я его с дружками пригласила. Посижу с ними для порядка, винца английского легкого пригублю да и уйду к

себе. А молодежь пусть развлекается. Хор цыган заказала, лучший в Петербурге, и знаешь, старая, чего я еще придумала? Не праздновали мы святок в нынешнем году, да и какие святки в Петербурге, а Мишенька больше всего этот праздник любил, особенно ряженых, их песни, пляски, все сумасбродство. Он часто жаловался, что не было у него в детстве сказок, не было Арины Родионовны, как у Пушкина, кумира его и бога, мол, плохо это для поэзии… Ты, чертовка, почему сказок для моего внука жалела? Ишь молчунья! Небось растеряла память, при барах обретаясь?.. А песни Миша слушал и сам певал и наигрывал, и на рожке, и на флейте, и на чем хочешь… Опять меня занесло… Да вот, надумала я в шальной моей голове ряженых пригласить. Пусть, когда господа охмелеют и от цыганских плачей устанут, ворвется шайка смазливых, пакостных рож и позабавит их песнями и всяким фокусничаньем. Вроде не ко времени, да у кого средства есть, тому в любой день святки. А мне надо Мишеньку развлечь. У него нервы вовсе испорчены. Разным я его видела: и когда за отца переживал, и когда в Московском университете неприятность вышла, и когда Катька Сушкова его мучила, но таким, как сейчас, не видела. Пуля, что Пушкина убила, и скрозь него прошла. Заболел он нервной горячкой, после все хотел Дантеса вызвать и отомстить за Александра Сергеевича. Но государь упрятал француза на гауптвахту. И слава богу, а то беспременно бы Дантес и второго русского поэта уложил. И не потому, что наши стреляют плохо или отвагой не берут. Оба бесстрашные и стрелки отменные. Не могут они первыми в человека выстрелить, даже в злейшего врага. Вон Пушкин сколько раз дрался, а ни одной дуэли не выиграл, все в воздух палил. И Мишенька такой же. Им жаль чужую жизнь, а их кто пожалеет! Нельзя поэтам на дуэлях драться. Никого на свете Миша так не любил, никому не поклонялся, как Пушкину. Молился на него. А когда впервые в свете столкнулись, будто онемел и ничего своему идолу не сказал. Потом горько сожалел. Но как же обрадовался, когда ему передали, что Пушкин «Бородино» похвалил. «Далеко мальчик пойдет!» — доподлинные слова Александра Сергеевича. И Мишенька жил мечтой о новой встрече. И что Пушкин ему главное слово скажет. Не дождался. Дантесова пуля ту мечту убила. *(Утирает глаза. И, разозлившись на себя за слабость, говорит иным, деловым тоном.)* А кружевниц ты привезла? *(Аграфена кивает. Арсеньева звонит в колокольчик и приказывает явившемуся слуге.)* Девок-кружевниц приведи!.. Поди, забаловались там без хозяйки. Ну, я их приструню. Заставлю новые узоры плести.

Появляются кружевницы: ***Черные очи, Карие очи, Синие очи и***

***Сероглазка**. Приседая, здороваются с барыней, потом становятся рядком.*

Слушайте, девки, мое наставление. Здесь вам не Тарханы, а столица. Народ охальный, хитрый. Наговорят, наобещают с три короба и последнее отберут. Держи ушки на макушке. И чтоб без шашней. Я этого не потерплю. Зарубите себе на носу. И к гостям Михаила Юрьевича на глаза не суйтесь. Гусары — сорвиголовы. А к самому баричу, коли по старой памяти в деловую заглянет, поласковей, потеплей будьте. Песню спойте, он страсть деревенские напевы любит, спляшите, авось ноги не отвалятся. И всякое его желание предупреждайте, чтоб еще подумать не успел, ан уже сделано. Понятно?

Девушки, перемигиваясь и пересмеиваясь, дружно кивают.

Ладно, ступайте, негодницы! *(Слуге.)* Вели их китайским чаем напоить, с вареньем и пряниками.

Девушки уходят.

И откуда такая стать? Трескают картошку, капусту, огурцы, а стройны, как нимфы. Хороша наша пензенская порода! Ну как, нахлебалась? Давай и за дело. Подсоби-ка! *(Вдвоем они извлекают из шкапа туго набитый мешок.)* Велела я к твоему приезду собачьей шерсти набрать. Свяжешь Мишеньке жилетку. Собачья шерсть самая, говорят, для тела полезная. И теплая, и мягкая, и целебная. Я все за его здоровье опасаюсь. Помнишь, какой он хворый был? И золотухой, бедный, мучился, и простуды бесконечные, и перхал, и легкими недужил. Болтали кумушки: не жилец. По правде, я и сама, грешным делом, думала, что он в мать свою покойную пошел. Уж я ли не тряслась над моей ненаглядной, а сгорела от злой чахотки в двадцать три года. Злой рок надо мной, Аграфена, все, кого люблю, рано уходят. Мужу и тридцати пяти не было, как он в одночасье помер. Знаю, пустили сплетни, будто яд принял, оттого что я любовницу его Мансыреву в дом не пустила. Враки! Я, правда, велела ей передать, что осрамлю перед всем обществом, коли на мой порог сунется. Спектакль у нас любительский был: «Гамлета» играли. Ну, Михаил Васильевич все выбегал на крыльцо пассию свою встретить. Не знал, что я нарочного выслала и тот ее в пути перехватил. Лютые крещенские морозы стояли, он потный весь, его и прохватило. К тому же переволновался, вина выпил и, как могильщика в пятом действии отыграл, прошел в гардеробную, тут ему карачун и приключился. А что там пузырек пустой нашли, так он, видать, капли сердечные принял. Какое еще самоубийство? Никем не доказано. Мы хоть и ссорились, а помнили о прежнем счастье, он меня, бывало, на руках носил, даром что я рослая, налюбоваться не мог. И если б тогда не

помер, наладилась бы наша жизнь. Но все в руце божьей. И дочка судьбу мою повторила. Вышла по страстной любви, да, хорош был Юрий Петрович Лермонтов, ничего не скажешь, но ветреник. С крепостными девушками баловался, после наложницу завел, компаньонку жены Юльку Ивановну. Ее из тульского имения Арсеньевых прислали на исправление, она там юного моего родственника соблазнила. Месяца, может, не прошло, застала Машенька мужа в объятиях этой Юльки бесстыжей. Так вот она исправилась. У дочки не было моей силы, я все выдержу, зашатаюсь, упаду да опять на ножки встану, недаром меня Марфой Посадницей кличут. А та слабогрудая, деликатная, нежная натура. Стала чахнуть. Юльку-то я из дома выгнала, да уж без пользы. Сжигала Машеньку чахотка. Редко-редко скользнет с кровати тенью бледной к роялю, Мишеньку на колени посадит и играет слабыми своими пальчиками. А он двухлетний, вроде бы и душа не проснулась, а все понимает, слушает музыку, а по щекам слезы текут. Так они сидели и оба плакали. И ведь помнит он свою маму. Из этой памяти стих родился про ангела. Летит по небу ангел и несет на землю юную душу. Но душе этой на земле не прижиться, потому что помнит она о рае.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Господи, ну можно ли поверить, что это семнадцатилетний мальчик написал? Это он о себе, о маминой музыке, которая стала для него воспоминанием о рае… Постой, старая, что с тобой? Ты плачешь? Неужто тебя так Мишины стихи тронули? Да может ли быть в подлом сословии такая тонкость чувств? Слушай ты… Аграфена, хочешь вольную? Опять предлагаю. Чего головой качаешь?.. И верно, на что тебе вольная, все одно при мне останешься. Знаешь, твой племяш, каретник Андрон, просился в отхожий его отпустить. Разрешаю. Без оброка. Завтра старосте напишу. Ни-ни, не смей к ручке тянуться. Поклонись вежливо — и хватит… Опять я сбилась. Рада очень, что тебя вижу. Смутно мне, тревожно, всякие мысли роятся, а вылить душу некому. Мишенька вон рассердился и не заходит. А с тобой я люблю разговаривать. Ты умная. Я серьезно. Ты молчишь умно. А иной распустит язык, а дурак дураком, и сказать ему нечего. Вспомнила, о чем говорила. Бывает, заедешь на чужое поле и выбраться не можешь. Да не чужое оно, нет, мое, самое горькое поле. Как мог Мишенька, который все так сильно чувствует,

простить отцу смерть своей матери, ангела, что ему о небе пела? И не только простить, а полюбить невесть за что. Он и не видал его почти, а как тянулся! Вот он, голос крови. И обижался за отца, страдал ужасно, что тот бедный и незнатный и родня его не уважает. Но я знала, в чем Мишенькина польза, и не отдала его отцу. Разве мог Юрий Петрович маленького, слабого, болезненного сыночка выходить? Мог ли воспитать его, сам в воспитании нуждающийся? Мог ли ему образование дать? Уж на что он взбалмошный был и упрямый, а и то понял, где Мише лучше будет. И смирился. Но чего мне это стоило! И у Мишеньки против меня в душе отложилось. Он сроду не признается, но меня не обманешь. Когда человек любит, такое всегда чувствует. Да пусть хоть проклинает меня, для его пользы я что хочешь вытерплю. И вот с Пушкиным тоже. Я сразу почуяла опасность. Неужто мне Пушкина не жалко, неужто я не понимаю, что он для России значит? Я через Мишеньку все про стихи узнала. Но, видя, как Мишенька переживает, стала говорить, что Пушкин сам виноват. Сел не в свои сани и вылезти из них не решился, вот и привезли они его прямешенько к гибели. «Не в свои сани не садись» — старая мудрость. Ведь и Мишенька изо всех сил к свету тянется, а не светский он человек, нет в нем ни лоска, ни угодливости, ни умения лавировать, прям и резок, доверчив и бесстрашен. Хорошо еще, просто шишки набьет, а если другой Дантес?..

И ведь ничего нового я ему не открыла. У него как в стихах: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил ты в этот свет завистливый и душный…» Стало быть, знает и, как бабочка, сам на огонь летит. Вот что меня убивает. Не шаркун он паркетный, не красавец раздушенный, не богатырь, как Монго Столыпин, ничем для света не взял. Нужны им его ум, талант, острый язык! Мы уже знаем, как высший свет гениев ценит. Мишенька вроде и сам все понимает, смеется над своей внешностью, «чисто, говорит, армейской», горбачом Вадимом себя вывел, а в глубине души страдает и думает силой характера взять, блеском, славой. Да нешто светским красавицам ум нужен, им ус подавай. А у Мишеньки и усишки-то жиденькие. Им рост подавай, ногу стройную, а мал и кривоног наш бедняжечка. О господи!.. Конечно, за Мишеньку любая пойдет, есть в нем для женщин обаяние, а главное — есть у бабушки поместьице нерасстроенное, кое-что в сундуках, да и связи немалые, чего еще нынешней красавице надо? Да он о женитьбе не помышляет. Ему бы блистать и покорять. Вот Пушкин доблистался. Правда, потом Александру Сергеевичу в великую тягость стали свет и двор, да поздно, сердешный, спохватился, там жертву так просто не

отпускают. Изволь платить за гордость не по чину, за независимость, за шутки колкие, за презрение к выскочкам. Родто Пушкиных хотя и старинный, а захудалый. Мишенька и тут с Александром Сергеевичем схож. Древо Лермонтовых скрыто в шотландских туманах, никто, кроме Мишеньки, не берет всерьез воспетого Вальтером Скоттом барда Лермонта. Сам же за худобу отца своего переживал, сам же хочет тягаться с Шереметевыми, Голицыными, Оболенскими или новой знатью, вроде Орловых, Разумовских, у тех грамота геральдическая хоть не пожелтела, да богатства несметные. Нет, надо Мишеньке держаться подальше от гостиных и блестящих залов. Вот я и думала примером Пушкина его устрашить. И как же он разгневался! За отца родного так не гневался, как за Александра Сергеевича. Веришь ли, мне даже показалось, что ударит. Конечно, никогда у него рука на бабушку не поднимется, но знаешь, Аграфена, можно ударить глазами.

Ни у кого я таких глаз не видела, как у Михаила Юрьевича. То блестят, горят, сверкают, то ночи черней, непрозрачные, тусклые, тяжелые, остановившиеся, как у мертвого. Но редко можно прочесть по его глазам, что он чувствует. С друзьями-гусарами у него глаза всегда веселые, улыбчивые, а это вовсе не значит, что ему весело. Это значит, что ему должно быть весело, и он заставляет себя — не веселиться, тут глаз не заблещет, — а чувствовать, что ему весело. Непонятно говорю? Мне и самой непонятно. Вроде бы, коль человек заставил себя чувствовать веселье, радость или горе, — значит, это чувство им владеет. А у Лермонтова не так. У него воля громадная. Он принуждает себя, и ему по всем статьям весело: улыбка на детских губах, эпиграммами так и сыплет, бокалы залпом осушает, первый заводила и дебошир, а на самом дне лютая печаль. Не знаю, всегда ли так, во время холостяцких пирушек я его не видела, но думаю, что не ошибаюсь. Ведь гусары там, или товарищи детских игр, или студенты — разницы нету. А в обществе, особенно когда кругом молодые красивые женщины, взгляд у него вдруг станет свинцово-тяжелым, веки припухнут и моргать забудут, и кажется, будто он за тысячу верст отсюда. Иная дура-красавица осведомится: где вы, господин Лермонтов, никак стихи сочиняете? Он непременно колкостью ответит. А дело в том, что Мишенька **весь** в этом бале или в этой гостиной, ему до боли хочется привлечь к себе внимание, победить всех соперников, покорить всех женщин, а как?.. И вдруг станет легким, спокойно-насмешливым, это значит, все переварил внутри, сам себя высмеял и освободил душу. Но в тот раз, когда мы с ним из-за Пушкина сцепились, не требовалось особой проницательности, чтоб прочесть Мишенькин взгляд. Такая в нем была боль, такая

обида, такой гнев, нет, хуже, ненависть. Бабушка родная с врагами Пушкина стакнулась, с теми, кто его погубил. И уж мне не объяснить было, что плачу я над Пушкиным, ненавижу его убийц, не из-за него самого даже, а из-за Мишеньки. Они у меня в голове путаются, думаю о Пушкине — и вижу Мишеньку, о внуке душа заболит — вижу Пушкина на снегу распростертым. Кажется, поэт должен все понимать, нет, и поэт из своих пределов не вышагнет, все мы как магическим кругом обведены, и нет нам из него хода. Ведь я урожденная Столыпина, мой род процветает, а Пушкины и Лермонтовы в загоне, значит, я из той самой светской черни. И смех, и слезы!.. Может, мы бы еще нашли общий язык, да тут, как на грех, зашел Николай Столыпин, он в министерстве иностранных дел служит, у графа Нессельроде, злейшего врага Пушкина. И схватились кузены не на жизнь, а на смерть. Кончилось тем, что Миша велел ему немедленно убираться, а то он за себя не отвечает. Столыпин смутился, оробел: «Да он сумасшедший, его надо связать!» — ноги в руки — и деру. Пока они спорили, Михаил Юрьевич что-то все на подоконнике черкал. После я на ковре лоскуток бумаги подобрала. Обрывок стихотворения. Начало — лучше некуда. «А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов». Это он в Николашу метил, да и во всех Столыпиных. Мой-то батюшка на винных откупах при Екатерине взошел. С графом Алексеем Орловым компанию водил. Михаил Юрьевич не только по моим родичам вдарил, это бы полбеды, а по самым близким к трону людям. Ладно там Орловы, Разумовские, Шуваловы, у иных хоть заслуги перед Россией были, а всякие немцы, что трон окружают, они-то вовсе рассвирепеют.

Что он с этими стихами сделал? Бросил, порвал, а вдруг в свет пустил? Тогда помилуй нас бог… Но, вишь, время прошло, он мне записку ласковую прислал, обещал прийти, я обед затеяла, цыган позвала… Авось обойдется. А нет — что ж, мне не впервой сильным кланяться. Есть ход и к Бенкендорфу, и даже к великому князю Михаилу Павловичу. Он Лермонтова стихи ценит. *(Вдруг залилась смехом.)* В какие только истории я из-за Мишеньки не попадала! Помню, еще в юнкерах он жестокую простуду схватил. Мне донесли. Я сразу в Петергоф, где полк его стоял. Являюсь к полковнику Гельмерсону: отпустите больного домой. Он выставился на меня: «А если ваш внук захворает во время войны?» — «Ты думаешь (я ведь ко всем на „ты“), что бабушка его отпустит, где пули летают?» — «Зачем же он тогда в военной службе?» — «Да это пока мир, батюшко! А ты что думал?» И забрала я Мишеньку. Сейчас вон, говорят, с горцами сражение началось, самое время из военной службы уходить. Да

попробуй уговори его! Значит, снова у нас споры и плачи пойдут, снова он на бабушку озлится. Ох, устала я, Аграфена. Чем старше Михаил Юрьевич, тем с ним труднее. Никогда не знаешь, что он выкинет. Может, зря я этот пир затеяла? Он еще по Александру Сергеевичу скорбит. Поди, разгневается на цыган и на хари мерзкие? *(Звонит в колокольчик. Появляется торжественный камердинер* ***Никита****.)*

Никита, как цыгане явятся, отведи их в малые покои и винца им рейнского подай. И пока не позову, держи там. Понял? Ежели отменится, сейчас расчет сделаешь, как за полный вечер. А ряженых собери в людской. И тоже без моего приказа не пускай. Никак внизу дверь хлопнула? Неужто Мишенька так поспешил? Ангельчик мой! Господи, а я и не одета. Аграфена, давай скорее платье, знаешь, бархатное с шитьем…

Снаружи слышится какой-то шум. Голоса. Никита выходит и почти сразу возвращается с конвертом в руке. Поклонившись, отдает барыне.

(В сильном волнении.) Господи, да что это? Неужто Мишенька передумал? Неужто не придет? Господи, пощади старуху. Отведи беду. Ох, как сердце колотится!

Аграфена капает из пузырька в стакан успокоительное, подает барыне, но та резко отводит ее руку.

Ну, Марфа Посадница, где же твоя смелость? *(Разрывает конверт.)* Ничего не вижу… дай очки, другие… *(Читает.)* «Сударыня, только из любви к поэзии господина Лермонтова, коего почитаю как нового Баркова…» Что это? Насмешка? Издевательство? *(Хочет порвать письмо, но удерживается.)* «…и чьи несравненные перлы: „Уланша“ и „Петербургский гошпиталь“ наизусть знаю, взял я на себя скорбное и весьма опасное для меня поручение сообщить Вам о неприятности, постигшей вашего внука». Боже мой! Это не в шутку. Это всерьез, хотя и дурак писал. «Ваш внук находится под арестом и лишен связи с внешним миром…» Господи, не оставь! Ох, чуяло мое сердце!.. «Он взят под стражу за приписку к стихотворению „На смерть поэта“ и распространение оной…» Что я говорила, Аграфена? Знала, всегда знала, что не пройдет даром эта дерзость! Только обманывала себя. Обедом обманывала, шампанским, устрицами, цыганами!.. «Допрошенный графом Клейнмихелем, господин Лермонтов во всем признался и сейчас ждет решения своей участи. Видать, пошлют его на Кавказ в армию тем же чином усмирять непокорных горцев…» *(Арсеньева издает глухой стон и закрывает лицо руками. Пересилив себя, читает дальше.)* «Прошу Вас, милостивая государыня, письмо мое тотчас уничтожить. Я человек маленький, а коли сведают, что г-ну Лермонтову

услужил, полный мне фиаско выйдет…» Болтун! Фиаско ему выйдет. *(Никите.)* Кинь в печку. А фиаско-то нам вышел. Полней некуда. Чего я больше всего боялась, то и случилось. Горцев усмирять!.. Как бы они не усмирили — пулей или кинжалом. Господи, всеблагой, не дошли мои молитвы, не тронули тебя? И чем я тебя прогневила, старуха жалкая, что отнимаешь всех, кого люблю? Ничего ты мне не оставил. Один внучек был, и того — под пули черкесские!.. *(Ударяет себя кулаком в грудь. Аграфена подходит к ней, хочет усадить в кресло.)* Отстань! Ступай в людскую: пусть всякое дело бросают и о благополучии раба божьего Михаила молятся. И чтоб поклоны клали истово. Кто шишек на лбу не набьет, задницей поплатится. *(Аграфена выходит.)* Господи, сохрани его под пулями, а уж я сама добьюсь прощения. Довольно слез, надо сильной быть, настойчивой и цепкой, как репей. Вцеплюсь в горло моим сородичам и вельможным друзьям, я старуха, мне все позволено. Сяду — не слезу, пока не вернут мне внука!..

В дверь просовывается страшная харя.

Кто таков? Ну и образина! Из преисподней, что ль? А, ряженые! *(Подходит к дверям и широко распахивает створки.)* Давай сюда! Не робей!

Вваливается жуткая, как в бреду, ватага в вывороченных тулупах, в немыслимом тряпье, волосы всклокочены, у кого мукой присыпаны, у кого свекольным раствором крашены; щеки горят от бодяги; накладные усы, бороды, приставные носы, рога. В руках — метлы, трезубцы, рогожные кули на палках.

А ну, ходи веселей, вшивая команда! Жги, не жалей сапог! Кружись, пляши, дери глотку! Всех вином напою! Никита, шампанского для дорогих гостей! А ну, наддай!..

Оробевшая поначалу, шатия загикала, засвистала, заблеяла, завизжала и пошла выкидывать коленца в чудовищной пляске кривляний вокруг Арсеньевой, И она сама притопывает избоченясь. Понурив голову, глядит на барыню верный Никита.

3

Тарханы — имение Арсеньевой. Светелка в барском доме, служащая Арсеньевой и малой гостиной, и комнатой для дневного отдыха. Мебель красного дерева; у окна рабочий столик, за которым прилежно трудится Аграфена; к стеклу прижалась щедро облиственная ветка клена. В углу божница; над диваном большой портрет императора Николая I.

Елизавета Алексеевна Арсеньева *приметно изменилась за*

минувшие четыре года: голова совсем побелела, прибавилось морщин, в углах рта образовались две глубокие горькие складки. Но стан по-прежнему прям, движения сухи и четки, голос чист от старушечьего пришепетывания. Она все еще Марфа Посадница, хотя и побитая жизненными невзгодами и вечным страхом за единственного любимого.

Арсеньева. Растревожила меня графиня Ростопчина своими стихами. Уж лучше бы и не присылала. Лестно, ничего не скажешь, от доброй души написано. Она искренне Михаила Юрьевича любит, не просто любит, а преклоняется перед ним. Поэт поэта всегда поймет. Вынь-ка вату из ушей, послушай стихи.

Аграфена бросает на барыню укоризненный взгляд.

Ладно тебе! Слова нельзя сказать. Знаю, что лучше меня слышишь. Только стихи другим ухом слушают… Есть у тебя такое ухо, иначе б не стала читать. Экое самолюбие у старухи!

Но есть заступница родная,
С заслугою преклонных лет
Она ему конец всех бед
У неба выпросит, рыдая.

Ошиблась графиня: не доходят до неба мои молитвы, а до земли — просьбы. Глух стал ко мне господь, а того глуше — граф Бенкендорф. Что уж там Мишенька нашкольничал — не знаю, но озлился на него граф — хуже некуда. Неужто из-за машкерада? *(Хихикает.)* Знаешь, старая, что Мишенька отчудил? Увидел двух дам в домино, взял их под руку и стал прохаживаться. А то были царственные особы. Они не могут себя выдать, а он, плут эдакий, делает вид, будто не узнал. Все так и обмерли, граф Бенкендорф от бешенства перчатки порвал, а что поделаешь — машкерад! С Мишенькиной стороны это, конечно, шалость непростительная, но с другой стороны: или сиди себе во дворце, или терпи, коли под маской пришла. Да уж больно они к славе своей ревнивы. Иные думают, что дуэль с заносчивым Барантом, сыном французского посланника, Мишеньку подвела. Нет, тогда великий князь его под защиту взял, мол, негоже русскому офицеру перед иноземцем тушеваться. А тут все Мишенькины покровители враз отвернулись. Михаил Павлович давно сердит был, для него воинский порядок и дисциплина на первом месте, а у внучка то ворот мундира опущен, то эполеты не надеты, то сабелька не подвязана, то еще какое самовольство. Другие же Бенкендорфа страсть боятся, а он Мишеньке — первый враг. Он свое призвание в том видит, чтоб русских поэтов преследовать. Что делать? Одно остается: пасть в ноги государю. А ну-ка и он не

снизойдет? Мишенька, когда о прошлый год в Тарханах гостил, признался, что ему на Кавказе долго не выдержать. Я, говорит, на выслугу надеялся, на прощение, но чувствую, что все для меня закрыто. К Владимиру за храбрость представили — отказали, к золотой сабле — отказали, в чине не повышают. А нынче Монго Столыпин отписал: решено и вовсе Мишеньку в деле не использовать. Храбрость его отчаянная всем известна, так, чтобы не отличился, пусть в сражениях не участвует. С одной стороны оно и лучше: горская пуля меткая, с другой — нешто только от чечни погибают? Выходит, его там как декабриста держат, даже хуже, тем выслуга не заказана. А надзор — и тайный, и явный — за Мишенькой ничуть не слабже. Да разве согласится он на такую жизнь? Он и раньше говорил, что опротивела ему эта война. Но в боевой потехе он хоть забывался, а бездельничать возле войны — какой толк? Сорвется Мишенька, беспременно сорвется. Раньше я люто сражений боялась, а сейчас не знаю, что для Мишеньки хуже — звон оружия или тишина. Плохо, плохо все обернулось, хуже некуда. Не ждали мы такого. Знаешь, в последний свой приезд в Петербург он самым модным человеком был. У него стихи вышли, роман. С ним все носились: и знаменитые писатели, и мыслящие люди, и первые светские дамы прямо нарасхват мой голубчик шел. И радовался он, сердешный, порхал, как бабочка, доверчивый, бесстрашный и наивный… А ведь успех в свете — палка о двух концах. Прощают тем, кто знатен, влиятелен или сказочно богат. А коли ты личными достоинствами взял, сразу являются завистники и хулители. Пошли клеветы и наветы, доносы по начальству. Кто на эпиграмму обиделся, кто жену — свою или чужую — приревновал, третьему что нож вострый — успех мальчишки-офицерика, а еще вспомнили, что он в опале, в кавказской ссылке, а ведет себя в Петербурге, как светский лев, и ни перед кем не заискивает, не стелется. Пушкина припомнили со старой злобой. Одного, мол, сбыли, другой объявился. Собралась черная туча над Мишенькиной головой, и грянул гром. Прочь из столицы на Кавказ, в армию, но не в дело, а под надзор. Как жизнь переменилась, Аграфена! Помнишь, когда Мишеньку за стихи арестовали и еще юнкер-дурак письмо прислал? Достало у меня сил Мишенькину участь смягчить. И позже, когда с Барантом дрался. Дрался!.. Барант ему бок и руку шпагой проткнул, после пулей убить хотел, а Мишенька в воздух выстрелил. Видать, Баранту Дантесовой славы захотелось. Но ему ничего не было, а вся кара на Мишеньку пала. Опять немилость, опять ссылка. Кабы не великий князь, могли и в солдаты упечь, с лишением дворянства и всех прав состояния. Вот тогда уже я поняла, как Мишеньку ненавидят — двор, власти, вся светская

чернь. Ох, худо, ох, страшно!.. И чего я здесь сижу? Чего жду! Под лежач камень вода не течет. Надо в Петербург ехать, Мишеньку спасать. Неужто государь не склонит слух к просьбе старой дворянки? Я ведь не только Арсеньева, я Столыпина, наш род всегда опорой трона был. Мы верно царю служили, с первыми вельможами водились, от нас не отмахнешься!.. *(Подходит к киоту, тяжело опускается на колени.)*

Господи, всеблагой, умилостиви государя!.. Господи, защити и помилуй внучка моего единственного!.. Никого ты мне больше не оставил, господи!..

Аграфена тоже молится.

(Поднявшись.) Ну, хватит богу надоедать, а то еще разгневается. Слушай, Аграфена, бог меня сейчас надоумил, вроде как видение наслал, а не женить ли Михаила Юрьевича? Найти ему невесту, знатную и со связями, чтобы родня перед государем заступилась. Михаил Юрьевич не безродный, не нищий, он в славе и собой молодец. Чем не жених? Пора ему остепениться. Он о журнале думает, о серьезном литературном труде. В гусарской компании не больно потрудишься: пиры, развлечения, романы, шалости, а потом сожаления о пропавшем без толку времени, грусть и нежелание жить. А тут — жена-красавица, добрая и умная, детишки. Михаил Юрьевич страсть детей любит. Он дочери Вареньки Лопухиной, своей любви единственной, чудные-пречудные стихи посвятил!.. Ах, господи, неужто возможно такое счастье — увидеть Мишеньку женатым, спокойным, занятым серьезными думами и трудами? И чтоб забылись, как дурной сон, Кавказ, черкесы, армейская служба и пустое молодечество, недоброхотство начальства и вечный топор над головой. Господи, нешто я о чем дерзком мечтаю? Все люди так живут, а для Мишеньки это недосягаемое счастье. Только вот хочет ли он такого счастья? «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»

Со двора доносится тихая песня — лермонтовская колыбельная, которую поет простым голосом крестьянская женщина над своим ребенком.

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.

Арсеньева прислушивается. Подходит к окну, выглядывает наружу.

Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю…

Арсеньева. Слышишь?.. Чужая баба поет, не тарханская и не Михайловская. А спроси, откуда песня, скажет, народ сочинил. Вот так-то! Я из-за Михаила Юрьевича многое понимать стала, о чем раньше и не думала. Стихи, признаться, в грош не ставила, так, забава, пустяк. Ну, песня хорошая — другое дело, да там напев главное. А теперь знаю: в стихах страшная сила. В них такое выразить можно, что простой речью нипочем не скажешь. «Демон» — какая силища, а начни пересказывать — не демон, а домашний черт получится, каким девок пугают. Я понимаю теперь, почему Мишенька все в людскую шастал и в девичью, когда еще не знал, для чего девки нужны. И почему любил с деревенскими ребятишками возиться, в войну играть, а после кулачные бои устраивать. Из этой потехи «Песнь о купце Калашникове» родилась. Поэт у народа речь берет, а после народу же возвращает. Только лучше, чище, красивей Странное дело, Аграфена, вроде бы я Мишеньку воспитывала, я его под арсеньевский, под столыпинский уклад ломала, а сейчас мне кажется, что он меня обломал. Нет, «обломал» плохое слово. Я не обломанное дерево, я еще ветвистей стала. Я и раньше не такой была, какой меня представляли. Родня думает, что во мне рано все женское угасло. Нет, дело прошлое, и я тебе признаюсь. Это уже после смерти мужа неверного было — полюбила я дворового человека Ивана Яковлева. Он на Лушке красивой хотел жениться, а я не позволила. Помнишь, он меня в церковь на шарабане возил? Я тогда лошадей боялась, и Яковлев сам впрягался, заместо жеребца, и духом к церкви доставлял. Но почти всегда оземь грохал. Он нарочно чеку вынимал, и колесо отваливалось. Всех удивляло, что я его не наказывала и даже не ругала. Другому кому сразу б велела полголовы обрить, а этому все с рук сходило. Жалко мстил мне бедняга, что с Лушкой разлучила. А когда дочка преставилась и Мишенька на руках моих остался, вся страсть на него перешла, и Яковлев из шарабана выпрягся. Истинно, страсть, какую я и к мужу моему не испытывала, хоть влюблена была без памяти, и к черту глазастому Ваньке Яковлеву, которому жизнь разбила. Я за Мишеньку всю кровь из себя по капле отдам, на костер взойду. Я страшной жизнью живу, но до краев полной. Нет на свете никого несчастнее меня, нет, наверное, и никого счастливей. Любая весточка от него —

счастье, стихотворение новое — бал души, облачко над его головой — мне буря. Во всем я обобрана: в женской доле, в детях, а могу сказать о себе, что жила, а не тлела. И я свою судьбу ни на какую другую не променяю. Будь Мишенька просто молодым человеком, каких тринадцать на дюжину, я все равно б любила его без памяти, но разве может мое сердце не цвесть, когда его гением называют? Вот вам и золотушный, вот вам и сутулый, вот вам и кривоногий. Монго Столыпин — красавец писаный, а если его и вспомнят, так только потому, что в Мишенькиных друзьях ходил. Ладно, раскудахталась! Лучше о деле думай. Женитьба, конечно, выход, только вряд ли кто за опального дочь отдаст. Нет сейчас таких людей. Робкий век, рабьи души. Нет, как ни крути, а надо прощение вымолить. А потом уже о невестах думать. Надо, чтобы он в Петербург вернулся, в отставку вышел, журнал завел, доказал властям, что уже не мальчик, а степенный муж, и тогда… Скажи, Аграфена, только честно: видишь ли ты Михаила Юрьевича угомонившимся, солидным в речах и поступках? Я, по правде говоря, не вижу. Он сейчас школьничает почище, чем в юнкерском училище, только поэм скабрезных не сочиняет. И чем ему грустнее, безысходнее, тем больше проказничает. Не хочет, чтоб люди знали, что у него внутри. Никому он не позволяет в себя заглядывать, даже мне. Но я-то и без позволения все вижу. За тысячи верст вижу. И знаю, что надо мне в Петербург поспешать. И так сколько времени потеряно. Бог не оставит меня. Государь суров, строг, но небезжалостен. *(Арсеньева звонит в колокольчик. Входит камердинер Никита.)*

Никита, вели возок готовить. В Петербург еду. Со мной — Аграфена, слуга Василий, кучером Никодим. А ты соберешься не спеша, с толком, как следует, и за мной следом. Я тебе подробную инструкцию оставлю. Ступай!

Никита выходит.

Нахвасталась я тебе, что полная моя жизнь Слишком полная. Устала я. Душа во мне устала. Сердце устало. Косточки устали. Мне ж под семьдесят, а Мишенька меня гоняет, как девку молодую. То в Петербург, то в Тарханы, то назад в Петербург. А я ведь по-старому лошадей боюсь. Мне б полежать, отдохнуть, понежиться, нет, только и знаешь, что из очередной беды его вызволять. Пиши этому, пиши другому, ищи встречи с третьим. Клянчи, моли, грози, плачь, заслуги предков поминай, свою старость и немощь. Нельзя ж так! Дай мне хоть немножко покоя, внучек, ослабь хомут, отпусти вожжи, устала лошадка, ох как устала старая кляча! Мне давно на живодерню пора, а я все везу, везу, с горы на гору, ноги сбиты, холка в крови, спина изъедена… *(Вытирает слезы.)* А иной раз закроешь глаза, размечтаешься:

послал господь чудо, и все само устроилось. Не знаю уж как, да ведь бог все может, коли захочет. Вдохнет добро в грудь Мишенькиных врагов, и отпустят они ему его бедные вины. И явится он — загорелый, возмужавший, спокойный, радостный…

С улицы слышится колокольчик.

Господи! Аж сердце екнуло. Кого это принесло?.. Не хочу никого видеть. Пойди глянь…

Входит слуга и протягивает Арсеньевой конверт.

Письмо? Откуда?.. Подай очки! Что-то страшно мне стало. *(Дрожащими руками надевает очки.)* Мишенькина рука. Слава те, господи! И чего я, дура, так перепугалась? *(Разрывает конверт.)* «Дорогая бабушка, пишу Вам с того света. Когда Вы получите это письмо, меня уже не будет в живых…» Что это с ним? Кахетинского, что ли, перебрал? Нешто можно так шутить?.. «Завтра у меня дуэль с Мартыновым, Мартышкой, черкесом с большим кинжалом. Сам виноват; не шути с дураком, нарвался на вызов. Стрелять я в него не стану, а он выстрелит и не промахнется. Я понял по его злобному взгляду. Письмо это перед самой дуэлью передам Монго…» Свят, свят!.. Нет, не буду дальше читать. Не для меня такие шутки… Да тут еще записка вложена. От Монго, узнаю его лапу. *(Читает.)* «Я подлец — недоглядел Мишеля. Он бит на дуэли…»

Арсеньева стоит недвижно. Аграфена кидается к ней, хочет поддержать.

Поди прочь! Я — Столыпина. Нас с ног не собьешь. *(Падает как подкошенная)*

4

Та же комната через несколько часов. ***Арсеньева*** *лежит на кушетке, укрытая пледом. Но вот она зашевелилась, открыла глаза, попыталась встать, но слабость повергла ее назад.*

Арсеньева (чуть слышно). Помоги встать-то…

Аграфена приходит на помощь своей барыне. С Арсеньевой произошла разительная перемена, она превратилась в дряхлую старуху. Исчезла осанка, согнулась спина, обвисло, почернело лицо. С белыми волосами, в длинной белой рубахе, она похожа на привидение. Аграфена накидывает ей на плечи халат.

(Далеким голосом.) Какой сон страшный мне приснился: Мишенька под горой лежит, а над ним ворон кружит. К чему бы это? К болезни или… Постой, ты плачешь?.. *(Сжимает головы руками.)* Значит, это правда? И не приснилось?.. *(Потерянно.)* А как же я живу еще?.. Разве я имею право жить? *(Подходит к*

киоту.) Ответь, господи! Что ты все молчишь? *(Зажегшимися темными глазами глядит в равнодушное лицо бога.)* Открой свой замысел. Забрал молодого мужа, дочь чахоткой спалил, внука злодею под ноги швырнул. Зачем ты отнял у земли Лермонтова, господи, лучшее твое создание, твой самый драгоценный дар людям? Неужто ты так скуп, боже? Дал и сразу забрал. Ты не меня одну, ты всю Россию осиротил, отнял ее звонкий голос. Зачем ты так мучаешь детей своих? Или сам не ведаешь, что творишь?.. И ты, заступница, где милость твоя? Я ли не молила, ты-то ведь знаешь, каково сына терять! Может, слаба стала? Что же тогда сыну или мужу своему словечка не замолвила?.. Я богохульствую?.. Ладно, пусть хоть раз услышат правду цари небесные. А кто там истинно царь, поди разберись. Небось не бородатый старик и не сын его, а тот, о ком Мишенька поэму сочинил. Нету у меня больше бога, умер мой бог!.. Аграфена, помоги снять образ-то. Пусть его в каменную церковь отнесут. Мне он не помог, может, кому другому поможет. *(В божнице остается четырехугольная пустота на месте снятого образа.)*

Письмо… письмо Мишенькино где?

Аграфена подает ей письмо.

Никто с того света писем не получал, а мне пришло. Никому его не дам, в могилу со мной ляжет. *(Читает.)* «Милая бабушка, не убивайтесь слишком по мне. Жалеть можно того, кто цепляется за жизнь, а я не цепляюсь. С меня хватит. Хватит злобы, клевет, преследований, тупой жестокости одних, рабьего смирения других, хватит отечественной духоты. Я уже не хочу ни славы, ни Петербурга, ни новых испытаний страстями. Я все узнал, прожил не одну, а несколько жизней, с меня довольно. Теперь я всегда буду с Вами, милая бабушка, больше не надо за меня бояться, просить, умолять, хлопотать, со мной уж ничего плохого не случится. И ни в чем, ни в чем себя не упрекайте. Вы сделали для моего счастья больше, чем это в силах смертного человека. Но что поделаешь, если у Вас такой нелепый внук. Простите меня, милая, родная моя, любимая, последняя мысль будет…» *(Голос Арсеньевой пресекается.)* Что это? Никак ослепла?..

Аграфена подходит и приподымает ей веки. Она отталкивает руки старушки и сама держит дряблую кожу.

Веки от слез ослабели. А хоть бы и не видеть… Не видеть, не слышать, не говорить — ничего не надо. Уйти бы скорее. Уйти, а убийцу Миши жить оставить? *(Она встает, и что-то от былой стати появляется в ее согбенной фигуре.)* Как же так вышло, что никто за Мишу не заступился? Ведь это ж не дуэль, а убийство. И Монго Столыпин хорош! Еще рыцаря из себя корчит. Как же он

допустил?.. Ну, ладно — дворянская честь… Хотя какая честь в такой дуэли? Он же видел, что Мишенька не хочет стрелять, значит, это убийство. Почему не пристрелил он Мартынова, как бешеную собаку? Не при-ня-то!.. Так вызови его за друга! Вызови и убей. Там же еще секунданты были. Никто, поди, и не пикнул. Трусы они, что ли, или дураки отпетые? Михаил Юрьевич за Пушкина сразу вступился и кинулся Дантеса искать. А Мартынова и искать нечего было, стоял перед ними, обагренный кровью. Ничтожные друзья, ничтожные души! Мишенька всех насквозь видел и жалел в их ничтожестве. Великан среди карликов. Даже убийцу своего жалел. Но я-то не жалею. Раз нет мужчины, чтобы отомстить, я сама негодяя вызову. Дрались и раньше женщины на дуэли. Я русская дворянка, хорошего рода, обязан Мартыш проклятый мой вызов принять. Не примет — оскорблю публично, в рожу наплюю. Все равно, откажется от поединка — так прикончу. Он же стрелял в беззащитного. *(Снимает со стены старый дуэльный пистолет, держит его двумя руками, пытается поднять, но «кухенрейтер», чуть ли не екатерининских времен, тяжел ее слабым рукам.)* Небось как увидит дуло пистолета, сам за другой схватится. Такой за шкуру свою и старуху застрелит. Только я ему не дамся, я его раньше расшибу. *(Пытается взвести курок и роняет пистолет.)*

На шум поспешно входит камердинер Никита.

Арсеньева. Чего уставился? Подними. Не по руке мне он. А ведь молода была, стреливала из пистолета мужу на потеху. Да еще как метко стреливала. Не драться мне с Мартыновым. Ну, подыму я пистолет, а прицелиться все равно не смогу. Не увижу злодея. Кто же отомстит за Мишенькину смерть? Монго?.. Кабы хотел, сам бы догадался. Видать, за карьеру опасается. С дуэлянтов строго спрашивают. Значит, и с Мартынова спросят? А он и так в отставке. В деревню сошлют. Велика кара! В поместье своем будет сидеть, вином и яствами тешиться, девок щупать и горюшка не знать. А потом его простят, появится в свете, будет интересничать, как же — второй Дантес! Ему небось многие руку пожмут. Потом женится, волчья сыть. Детей-мартышек наплодит. А лермонтовское древо под корень срублено. Неужто это ничтожество, ноль на ножках будет жить да еще похваляться своей отвагой? Вся кровь свертывается, как подумаешь!.. (*Взгляд ее падает на портрет императора Николая I.)* Вот кто за Михаила Юрьевича отомстит! *(Подходит к портрету.)* Отмщенье, государь, отмщенье! Покарай злодея, великий государь. Столыпины верой и правдой престолу служили и бились за царя и отечество, живота своего не жалея. Покарай убийцу, государь. Слава русская — твоя слава. Худо, что на твоей мантии кровь лучших поэтов русских.

Сотри ее. Бог с ними, со Столыпиными. Вся их служба одной лермонтовской песни не стоит… Я знаю, ты гневался на Лермонтова, да не по злобе он шалил, от избытка молодых сил. Двадцать шесть, всего двадцать шесть лет ему было, разве можно с него так строго спрашивать? Он лишь становился мужем и не стал… Накажи Мартынова, государь, лиши его жизни, или в рудники сошли, или в солдаты без выслуги. Ты умеешь карать, государь. Я еду к тебе за справедливостью. *(Камердинеру.)* Вели запрягать. Сегодня выедем!

Никита (с возрастающим волнением слушал страстную мольбу своей барыни, его благообразное кроткое лицо натекло темной кровью). Нет!.. Нет!.. Никуда ты, матушка, не поедешь!

Арсеньева (потрясенно). Ты что?.. Ты заговорил, когда тебя не спрашивали? Да еще прекословить вздумал?..

Никита. Сто лет молчал, а сейчас скажу. И что хочешь со мной делай. *(По лицу его текут слезы.)* Нечего тебе в столице делать. Михаила Юрьевича пулей убили, а тебя стыдом убьют. Не хотел показывать… Но коли так… читай! *(Протягивает ей письмо.)*

Арсеньева (*растерянно*). От племянника твоего?.. Помню! Мишенька ему протежировал. Вольную выпросил. В университет послал. (*Читает.)* «…когда же царю донесли о гибели Михаила Юрьевича, он сказал: „Собаке собачья смерть“…» Как ты посмел, холопья душа? Да я с тебя живьем шкуру спущу. Аграфена, кликни конюхов!

Никита. Не надо. Сам пойду.

Арсеньева. Нет, стой!.. Постой, Никита… Ты любил Мишу, и племянник твой любил. Не мог он зря написать. Да и кто осмелится клеветать на государя? Значит, ведомы эти слова в Петербурге… Боже мой!.. Царь это о Лермонтове сказал, об убитом. О поэте великом. Экая злоба низкая!.. Теперь все понятно. Знал Мартынов, кому его выстрел угоден. Будто повязка спала. Вольно же тебе, царь Николай Романов, без капли романовской крови, так с подданными своими обращаться, но уж не взыщи, что мы с тобой по-свойски обойдемся! *(Подходит к портрету царя и с неожиданной в ее старом теле силой срывает со стены.)* Я тебе больше не подданная. И весь род наш убийце коронованному не служит… *(Растерянно.)* Какой род? Арсеньевых? Да кто они мне и кто я им? Столыпины? Если уж ближайший друг и родич предал… Да и какая я Столыпина? Я — Лермонтова! Спасибо, внучек, за подарок твой посмертный, дал ты мне истинное имя. С тем и останусь навсегда при тебе — последняя Лермонтова. Развязались все узы, нет у меня ни царя небесного ни царя земного. *(Никите.)* Собирайся в Пятигорск за

телом Михаила Юрьевича. Останки его фамильный склеп примет, а душу — Россия…

5

Тот же архивный подвал, что в прологе. ***Архивариус*** *на своем обычном месте. Входит* ***Дубельт.*** *Следом за ним* ***два жандарма*** *вносят толстенные папки, кладут на стол и удаляются.*

Архивариус вскакивает и угодливо кланяется.

Дубельт (приветливо). Здравствуйте, почтенный Павел Николаевич. Садитесь, садитесь!.. *(Разглядывает его с легким неудовольствием.*) Вы что-то осмелели, не икаете, не дрожите… Ну вот, дело Пушкина окончательно завершено. Самое длинное дело в нашей практике. Собственно, теперь это как бы два дела в одном — Пушкина и Лермонтова. Тем больше пищи для любознательного ума. Государственная телега скрипит, но катится.

Архивариус подсовывает Дубельту какие-то листки.

Фи, какая безвкусица!.. Черная рамка, траурный шрифт… Можно подумать, умер сановник или генерал. А всего лишь из списков Тенгинского полка вычеркнули ссыльного офицерика. Господа литераторы ни в чем не знают меры. К тому же общеизвестно отношение государя… Это дерзкий вызов.

Архивариус, тихонько похихикивая, кладет перед ним другую писанину.

А, знакомые инициалы! Чахоточный господинчик возводит Лермонтова в гении? И что это за намеки?.. Совсем распустились! Печальные примеры ничему не учат. Придется уделить особое внимание этому борзописцу. *(С досадой.)* Так мы никогда не закроем проклятого дела!

Архивариус (*сиплым голосом*). Всех не перебреешь.

Дубельт (*потрясенно*). Что-о? Вы что-то сказали?

Архивариус (*громче*). Всех не перебреешь!

Дубельт. Архивная сырость разъела вам мозги, уважаемый.

Архивариус. Никак нет! Парикмахер у нас бритвой зарезался. И записку оставил: «Всех не перебреешь».

Дубельт с ужасом смотрит на развеселившуюся «архивную крысу».

О ты, последняя любовь!

Рассказ

Он велел подать себе фрак. Старого слугу Фридриха это не удивило: уже перевалило за полдень, а г-н тайный советник Гёте, случалось, надевал фрак и к завтраку, когда что-то внутри него требовало торжественности. При этом он вовсе не ждал, что домашние последуют его примеру и облекутся в парадные одежды. Его щегольской, странный и строгий вид являл резкий контраст с утренней небрежностью и покойной советницы, которой после ежевечерних танцев до упаду и обильных возлияний было не до туалетов — дай бог как-нибудь натянуть капот на жирные телеса, и сына Августа, франта, но только не спросонок, когда голова трещит с похмелья, и пребывающей в рассеянном утомлении от балов и поклонников невестки Оттилии, и ее вздорной, всегда прибранной сестры — бедняжка слегка повредилась головой, уроненная в вальсе нерасторопным кавалером. Г-н тайный советник, вовсе не строивший из себя аскета — он много и со смаком ел, любил общество и ежедневно осушал две-три бутылки рейнского вина, — как бы противопоставлял свою подтянутость, порядок внутри себя распаду близких людей. А может, хотел вдохнуть в них бодрость, уверенность: мол, продолжайте в том же духе, дорогие, я крепок, я на посту. Относясь с удивительной снисходительстью к людским слабостям, он не делал исключения и для родственников, прощая им все заблуждения, ошибки, даже пороки.

Старый Фридрих так долго находился при Гёте, что в конце концов научился думать. Он и сам не мог сказать, как проникла в него эта зараза, но вместо прежних вялых видений, обрывков каких-то воспоминаний, всплывающих со дна памяти, которые он не пытался ни продлить, ни сочетать с другими, дабы получить цельную, законченную картину смутных образов, вдруг возникающих из тумана и вновь поглощаемых им, ныне под черепной крышкой свершалась непрерывная работа, причинявшая немалое утомление, но вроде бы и удовольствие, когда в результате крайнего напряжения он приходил к каким-то выводам. Фридрих не отдавал себе отчета, зачем ему это нужно, — чуждый лакейским сплетням, малообщительный, он все свои наблюдения, соображения и умозаключения хранил про себя, но, если бы даже захотел сейчас, не смог бы остановить

беспокойного, изнурительного шевеления в голове. И, положа руку на сердце, едва ли б согласился вернуться к прежнему умственному сну, дарившему невозмутимое спокойствие. Наблюдать за г-ном тайным советником было интересно, а еще интереснее — разгадывать загадки его величаво-ровного со стороны, на деле же весьма странного и непредсказуемого поведения.

Казалось бы, свет не видывал лучшего семьянина, чем г-н Гёте, столь внимательного, снисходительного, заботливого, готового — при всей загруженности государственными делами — вникать в каждую мелочь домашней жизни, если это могло помочь его ныне покойной жене или новой хозяйке г-же Оттилии, равно и столь деликатного, когда его вмешательство не требовалось. Фридрих, впрочем, сомневался, можно ли считать Оттилию, на редкость безразличную к дому, мужу и семье, новой хозяйкой, скорее уж на это звание претендовала ее сестра — до того как ее уронили на скользком паркете. И во дни Христины, которую г-н тайный советник, спасая свое изнемогшее в скорби сердце, даже не проводил до места успокоения, и в нынешнее междуцарствие он охотно погружался в хозяйственную жизнь дома — пустейшая кухонная забота казалась ему стоящей внимания, и при этом мог без подготовки и предупреждения разом все бросить и уехать надолго в Иену, где у него было холостяцкое убежище, или на курорт. Он, правда, и оттуда не оставлял советами брошенное семейство, но коли собственное присутствие не способствовало поддержанию порядка в расползающемся доме, то уж подавно бессильными оказывались наставления издалека. После смерти жены г-н Гёте стал проводить по полгода в Карлсбаде, куда уезжал еще до открытия летнего сезона, а возвращался осенью, в последнее же время сменил карлсбадскую клубящуюся испарениями целебных источников скалистую щель на плоский, как лепешка, Мариенбад — не из-за лечебных свойств этого преимущественно женского курорта, а ради темных глаз юной Ульрики Левецов, дочери энергичной дамы, которую он некогда дарил своим вниманием. Наверное, в ту далекую пору, думал Фридрих, эта дама занимала более высокое положение в обществе, а сейчас, будучи владелицей большого и мрачного дома, содержала гостиницу, служившую, как болтали злые языки, и для скоротечных свиданий.

Вспомнив о г-же Левецов в этот солнечный мариенбадский полдень, когда г-н тайный советник потребовал фрак, Фридрих привычно присовокупил к ней недавно узнанное от гостей хозяина и пленившее его выражение: «следы былой красоты».

Слова эти околдовали развившийся ум Фридриха; приглядываясь к гуляющим по нарядным улицам модного курорта удрученным женскими болезнями дамам, Фридрих отыскивал в их чертах следы былой красоты. И он научился угадывать даже самые слабые, занесенные прахом лет и недугов знаки минувшей прелести на увядших лицах. Но на просторном и чистом лице г-жи Левецов следы эти были столь очевидны и щедры, что Фридрих искренне недоумевал: зачем его господин хлопочет, точно шмель, над нераспустившимся цветком — над девятнадцатилетней Ульрикой, когда к его услугам чуть пожухший, но еще пышный и яркий бутон — старшая Левецов? В конце концов, г-н тайный советник, первый министр Великого герцогства Веймарского, далеко не юноша…

Фридриха огорчало, что язык того светского круга, в котором он преимущественно вращался, обслуживая друзей и гостей хозяина, остается ему зачастую непонятен. Ускользало одно-единственное слово, а с ним терялся весь смысл. Фридрих налег на справочники и толковые словари, которые брал из хозяйской библиотеки. Они расширяли кругозор, обогащали множеством ненужных сведений, но чаще лишь сгущали туман. Фридрих прослышал, что в пору своего увлечения старшей Левецов г-н тайный советник называл ее Пандорой. И прозвище сохранилось по сию пору. Обратившись к энциклопедическому словарю, Фридрих выяснил, что Пандора — имя женщины, созданной Гешефтом (так ошибочно прочиталось имя Гефест) и наделенной наряду со множеством достоинств и редкой красотой, хитростью, любопытством и коварством. Ее послали на землю, чтобы погубить род людской, снабдив ящиком, наполненным всякой мерзостью. В словаре не было объяснено, знала ли Пандора о своем предназначении и о содержимом ящика. И почему его открыла — из неуемного бабьего любопытства или по сознательной злобе. Так или иначе, она выпустила наружу всю нечисть, а на дне осталась лишь обманчивая надежда. Что имел в виду г-н тайный советник, назвав г-жу Левецов — в пору своего увлечения — Пандорой, оставалось неясным: то ли ее изобильные прелести, то ли тайное криводушие, то ли готовность дамы выпустить в мир омерзительных чудищ. Нынешнее сближение его господина с семейством Левецов тревожило лакея Фридриха.

И сейчас, в последний раз обмахивая метелочкой из черных страусовых перьев тугую гладкость фрака, прекрасно сидящего на крепкой фигуре хозяина, Фридрих изо всех сил напрягался мыслью, чтобы постигнуть то новое, что исподволь вызрело в размеренной мариенбадской жизни и достигло критической точки сегодня, когда г-н Гёте после визита к нему герцога

Веймарского Карла-Августа, которого, пользуясь старой дружбой, принимал по-домашнему, хотя величал даже с глазу на глаз «ваше королевское высочество», потребовал подать весь парадный доспех.

Гёте придирчиво осмотрел черную пару, атласный жилет, рубашку и шейный платок, велел убрать звезды и усыпанный алмазами орден на шелковой ленте, глазами показал на несколько седых волосинок, приставших к воротнику, и с обычной неторопливой энергией принялся одеваться. Помогая своему господину, Фридрих жадно следил за ним, но тайный советник ничем себя не выдал: движения его сохраняли обычную механическую четкость, он сразу попадал в штанины и рукава, садился, когда надо, и, когда надо, вставал, гибкое тело безотчетно облегчало работу слуги. Но что-то необычайное все-таки было… О да, блеск, «лихорадочный блеск», вспомнил Фридрих подходящее выражение, темных, глубоких глаз г-на тайного советника.

Поразительно, что семидесятичетырехлетний старик сохранил такие живые, горячие, черно-сверкающие глаза. Впрочем, г-н Гёте и вообще замечательно сохранился. Ему даже вино шло на благо, нежно подрумянивая чистую кожу мясистого, но ничуть не обрюзгшего лица с крупным, решительным носом и тронутым лишь над бровями долгой тугой морщиной высоким, крутым лбом, слегка потеснившим к темени плотные белые волосы, красиво вьющиеся на висках и затылке. Прямая спина, неторопливый твердый шаг, гордый постав головы придавали ему величавость. Но сегодня г-н тайный советник не просто выглядел моложаво, он и впрямь был молод и сам чувствовал в себе эту молодость. Он напрягал икры, что было заметно сквозь тонкоплотную ткань панталон, поводил плечами, выпячивал грудь, его переполняла жажда движения. Но выйти из дома он почему-то не мог. Наверное, кого-то или чего-то ждал. Он ненавидел пустой расход времени, того мешкания, до которого столь охочи все несобранные люди, особенно женщины. Человек уже давно собрался, а все не может сделать решительного шага, мнется, мельтешит, шарит по карманам, хлопает ящиками бюро, открывает и закрывает дверцы шкафа, но он ничего не ищет, просто страшится переменить обстановку. Нет, г-н тайный советник Гёте всегда знал, чего хочет, и находил кратчайший путь к цели. Если он собирался из дома, то был готов к выходу в ту же секунду, когда заканчивал сборы, никогда ничего не терял, не забывал, хотя делал сотни дел, держал в памяти весь предстоящий день, наполненный работой, диктовкой секретарю произведений изящной словесности, научных грудой, деловых

бумаг, распоряжений, встречами с разными людьми, официальными и светскими визитами, прогулками — пешком и на коне — и бог весть еще чем. День г-на Гёте был неизмеримо насыщенней и словно бы длиннее дня любого другого человека. Вынужденный прервать диктовку, порой не на минуты, а на часы, он продолжал с того самого места, на котором остановился, хоть с полуфразы. Фридрих изо всех сил старался сделать свой ум таким же цепким и ясным, но, хотя забот у него было куда меньше, ничего из этого не вышло. Стоило одному делу наложиться на другое, и Фридрих настолько терялся, что забывал оба дела.

Г-н тайный советник конечно же и сейчас не испытывал колебаний и сомнений в отношении того, что ему делать дальше, он просто ждал. Неторопливо ждал какого-то известия, чтобы начать действовать, но известие запаздывало, и это нарушало его спокойствие. Сама собой тугая, медленная, но не сбивчивая мысль Фридриха связала нетерпение хозяина с той переменой в его жизни, которая с некоторых пор стала казаться неизбежной.

Когда умерла старая хозяйка, Фридрих мог бы кошелек, набитый талерами, поставить на заклад против кружки пива, что г-н тайный советник навсегда останется вдовцом. И вовсе не потому, что он так пламенно и верно любил жену, с которой прожил почти тридцать лет. Конечно, ее смерть явилась для него тяжелым ударом, он даже изволил пролить слезу, впрочем, слеза была тем единственным напутствием, которым он провожал в небытие самых близких людей; жену, баронессу фон Штейн, г-на Шиллера… Не было случая, чтобы он хоть взгляд бросил на дорогие, но уже заострившиеся черты. То ли г-н тайный советник хотел сохранить живой образ усопшего, то ли боялся смерти, то ли слишком презирал ее. Возможно, он считал, что там, где начинается держава смерти, кончаются его солнечные владения, и прекращал всякие отношения с теми, кто предпочел госпожу Смерть его обществу.

Отдав дань извинительной слабости, омыв — и смыв — слезой дорогой образ, г-н тайный советник возвращался к делу жизни с особой энергией, словно бы освеженный и помолодевший. Что касается покойной советницы, то задолго до ее кончины он предоставил и себе и ей полную свободу: ей — веселиться, танцевать до упаду и кутить в обществе бравых офицеров (шампанское пенилось вокруг г-жи Гёте, как пена морская вокруг Афродиты), себе же оставил уединенный труд, государственные заботы, встречи с замечательными людьми, красное вино и летом — восторженный щебет молодых женщин. После смерти жены г-н Гёте словно принял на себя оброненную

ношу усопшей, обрел вкус к балам, пикникам, повесничанию и долгому уединению с юными красавицами. Казалось бы, что может быть лучше такой жизни, дающей все радости и почти ничего не требующей взамен, но с некоторых пор рассеянный свет его внимания собрался, как в фокусе, на юной Ульрике Левецов. Это не было похоже на другие, быстро проходившие увлечения. Крепко запала в душу Фридриха фраза, оброненная как-то г-ном Гёте за семейным обедом, когда несдержанный, всегда раздраженный Август в очередной раз сцепился с откровенно презирающей его Оттилией: «Вся беда в том, что наш состав неполон». Занятые своей ссорой, молодые люди пропустили слова главы семьи мимо ушей, они и вообще не баловали его почтительностью, а может, сочли бессильной жалобой вдового старика, лишь повредившаяся в уме сестрица Оттилии метнула в его сторону короткий злобный взгляд. А им стоило бы прислушаться, ибо г-н тайный советник впервые — и сознательно — проговорился о своих намерениях.

Смущало Фридриха лишь одно: наивность этого заявления, — неужели великий ум может настолько заблуждаться в своих близких? Появление новой тайной советницы внесет такой же мир и лад в смятенную жизнь дома, как содержимое ящика мифической Пандоры. И даже обманчивой надежды не останется. Конечно, Август и Оттилия объединятся в ненависти к новой «мамочке», ущемляющей их наследственные права, но едва ли об этом мечтает г-н Гёте.

Ныне Фридрих склонен был фразу, услышанную за столом и оставленную без внимания молодым поколением, связать с лучезарно-беспокойным обликом г-на тайного советника. Не должно ли сегодня решиться то, что сделает полным «семейный состав», принесет мир и покой дому, — «кошмар и ужас», твердо определил будущее своего хозяина научившийся мыслить Фридрих. Для себя лично он не ждал перемен, ибо принадлежал к тому священному и неприкосновенному обиходу г-на тайного советника, который был исключен из домашних потрясений. И все-таки ему было не по себе…

Ну а как же иначе? Ведь не было у Фридриха другой жизни, кроме той, что уже несчитанные годы незаметно день за днем проходила в доме г-на тайного советника Гёте. Бывает, что слуги, при всем своем зависимом положении, не только влияют на домашние и прочие дела хозяина, но и направляют их, — поведение советника полиции Бруннера в семье и на службе целиком зависит от того, с какой ноги встал и как обиходил его красноносый лакей Михель, брюзга и пьяница, с которым хозяин не расстался бы за все блага мира. Фридрих не пользовался

влиянием на своего хозяина, и никто другой не пользовался: г-н тайный советник умел закрывать глаза на домашние безобразия, но не плясал под чужую дудку. Фридриху достаточно было наблюдать и делать выводы — совершенно бескорыстно, ибо он и так имел все необходимое для душевного довольства: четкий круг необременительных обязанностей, сносное жалованье, независимость, обеспеченную подчинением лишь одному человеку, добрый стол с хозяйским вином, крепкий табак, опрятную постель, хорошее платье и достаточно свободного времени, чтобы посидеть в погребке и перекинуться шуткой с какой-нибудь Кеттхен или Лизхен. Будучи лишь немногим молодее хозяина, Фридрих, подобно ему, не держал двери на запоре. Он знал, что г-н тайный советник неисповедимыми путями — доверительных разговоров меж господином и слугой не велось — осведомлен о его галантных похождениях и относится к ним с одобрением. Г-ну Гёте было по душе всякое проявление жизненной силы, но омерзителен, как бы ни скрывал он свои чувства, пьяный, грубый разврат Августа.

Фридрих желал счастья своему господину, но неужели тот действительно верит, что избалованная девочка поможет обуздать бешеного Августа и своенравную Оттилию? Эта мысль так озаботила Фридриха, что он перестал обмахивать веничком плечи г-на тайного советника и замер с поднятой рукой, сжимающей букет из облезлых страусовых перьев.

— Я разрешаю вам обратиться ко мне с вопросом, Фриц, — с улыбкой — не губ, а глаз — сказал г-н тайный советник.

— С каким вопросом, ваше превосходительство?

— Не лукавьте. Вас давно томит вопрос: уж не хочет ли барин жениться?

Взгляд Гёте вдруг отдалился, затуманился и вовсе покинул остекленевшие глаза. Непостижимым образом Фридрих угадал выпадение своего господина из данности, вслед за тем с легкой дурнотой ощутил, что и его затягивает, заверчивает странная, не из яви воронка и брезжит что-то не имеющее ни образа, ни подобия, из какого-то чужого обихода, с чужими запахами, чужим воздухом, чужой заботой, он понял, что это барин затащил его туда, где ему вовсе незачем быть, и тоска сдавила сердце.

А Гёте, не в первый раз пережив мгновенное погружение в стихию иного времени, иного бытия, предстоящего ему, видимо, после износа этой жизни и этого образа, опять, как и во всех прежних случаях, кроме одного-единственного, относящегося не к будущему, а к прошлому, где он оказался могучим туром, зазывно трубящим в золотистой лесной просеке, тщетно пытался ухватить тот сдвиг, из которого возникла странная, не свойственная ему

фраза. Снова ничего не получилось, он уловил лишь, что там была не Германия, может, и вообще не Европа, но и экзотикой не повеяло, самое же поразительное, что рядом с ним по-прежнему находился Фриц, другой, как и он стал другим, — новая ипостась Фрица. Неужели возможно такое вот спаренное перевоплощение?.. По чести, он предпочел бы, чтобы не Фриц, при всех его несомненных достоинствах, сопутствовал ему в новом существовании… Ах, если бы договорить, доспорить с Шиллером!.. А увидеть вновь юную Фридерику, доверчивую, трогательную Фридерику, которую он так внезапно бросил, не воспользовавшись плодами победы, спасая себя от нее, а ее — от себя, — почему в молодые годы им владела неодолимая страсть к разрывам? Наверное, то было безотчетное, самосохраняющее чувство: кто-то в нем, более умный, нежели он сам, знал, что чудо жизни даровано ему не для того, чтобы изойти томлением и восторгом у женской юбки. Но как они были прелестны! И Фридерика, навек запечатлевшаяся в нем тонкой болью, и нежная Шарлотта Буфф, ставшая г-жой Кестнер и тем подарившая ему и веку «Вертера», и страстная, смелая Лили, так бурно любившая, готовая бежать с ним в Америку, и стойкая, гордая, измучившая его больше всех женщин, вместе взятых, прежде чем подарить своей близостью (неудивительно, что перетянутая струна вскоре лопнула), баронесса фон Штейн, и обреченная пленять всех, кто неосмотрительно приближался к ней, Минна Херцлиб — сам Эрот придумал эту фамилию, — и даровитая, таящая пламень под личиной холодного прекраснодушия Марианна Виллемер, с которой он вновь стал Вертером, правда, умудренным годами и застрахованным от поражения. Но все самое нежное, трепетное и одухотворяющее сосредоточилось в его последней любовнице Ульрике Левецов, нет, все же не любовнице, хотя были и поцелуи и объятия, такие пылкие! — а ведь ей всего девятнадцать, это он, седовласый, разбудил невинное создание для чувственной любви. Да будет с ним лишь она, одна она, во всех последующих превращениях, его душенька, его богиня, которую он вскоре назовет женой перед небом и людьми.

Гёте не сомневался в чувстве девушки, да и не было такого, чтобы его страсть не вызвала ответной страсти. Даже Шарлотта Буфф, кладезь немецких добродетелей, невеста честного Кестнера, олицетворение долга, порядочности, житейной трезвости и расчета, потеряла на миг голову, ясную и озабоченную голову, спокойно и прямо сидевшую на крепких плечах юной хозяюшки большого дома овдовевшего отца, и так ответила ему на воровской поцелуй, что сладостный его яд обернулся выстрелом Вертера.

И все-таки тогда он потерпел поражение. Впрочем, он сам отступился от Шарлотты — из дружеской преданности к Кестнеру, так это выглядело, на деле — все из той же самозащиты, ведь, разрушив их помолвку, он брал на себя обязательства, которых втайне страшился, как и всю жизнь страшился официального закрепления связи; он и на брак с Христиной решился после восемнадцати лет совместной жизни, когда погасла страсть и вошел в возраст сын-бастард. А сейчас он открыто и радостно готовился к таинству брака, призванного увенчать его последнюю и самую большую любовь. Правда, последняя любовь всегда казалась ему самой большой, то было заблуждение незрелости, но в семьдесят четыре года человек не обманывается в своих чувствах. Благодетельная природа сотворила для него великое чудо, воскресив его сердце, наделив второй молодостью, не только душевной, но и физической. «У нас будут дети! — думал он горделиво. — И я ужо не упущу их, как упустил бедного Августа».

В Ульрике с ее тугими локонами, удлиненными, широко расставленными глазами, глядевшими то с детским доверчивым удивлением, то с проницательностью мудрой, хотя еще не осознавшей себя души, таинственно сочеталась наивная непосредственность с той глубокой женственностью, что важнее опыта и ума. Без этого дара женский ум даже высшего качества сух, бесплоден и несносен. Вечно женственное обладает бессознательной способностью проникать в скрытую суть вещей и явлений, перед его интуитивной силой пасует просвещенный, систематический ум мужчины.

В Ульрике поражала отзывчивость — на мысль, слово, чувство, прикосновение. Ее все захватывало: минералогия, ботаника, зоология, физика, химия, лингвистика, история; никому и никогда по излагал Гёте с таким удовольствием и уверенностью, что его поймут, свою теорию цвета, как этой девятнадцатилетней девочке; а как обрадовала и воодушевила ее идея о прарастении, над которой все издевались, — .видимо, тут что-то соответствовало ее жажде цельности и художественной завершенности мироздания; музыка и стихи слезили ей уголки широко расставленных глаз, а когда Гёте прикасался губами к ее ароматной головке, она вздрагивала, прижималась к нему легким телом, сжимала отвороты его сюртука и полуоткрытым, прерывисто дышащим ртом искала его губы. Если б он меньше любил Ульрику, то сделал бы своей, но зачем ему ворованное наслаждение, раз они скоро свяжут судьбы?

Никогда, даже в расцвете лет, Гёте не пользовался таким успехом у женщин, как в пору, которую люди слабодушные и

невыносливые считают угасанием, хотя, быть может, только тут человеческая личность находит свое окончательное воплощение. И потому разница в возрасте ничуть не смущала Гёте — он был уверен в себе и в Ульрике, и если попросил великого герцога Веймарского быть его сватом, то единственно из легкого недоверия к г-же Левецов. Конечно, Пандора была его другом, некогда другом весьма нежным, она знает ему цену и, надо полагать, осведомлена о чувствах своей дочери, но кто поймет этих мамаш! Может, у нее на примете другой претендент, не уступающий Гёте ни богатством, ни положением, но обладающий — в глазах глупцов — преимуществом молодости; нельзя исключать и чисто бабьего расчета: Пандоре может взбрести в голову, что бывшему возлюбленному уместнее взять в жены ее, коли уж приспичило жениться, а Ульрику получить в дочери — с бюргерской точки зрения это куда естественней; наконец, она может возревновать к дочери или просто не поверить в окончательную серьезность намерений «старого ловеласа», каким считает его курортное общество, или же посчитать молодой блажью склонность дочери к седому поэту. Короче, нужна гарантия серьезности, чистоты и достоинства его намерений. Державный сват явится достаточно веским поручителем.

Старый бурш, как называл Карла-Августа умный и насмешливый Меттерних, был одним из самых взбалмошных, распущенных и непутевых немецких князей; любивший пуще души охоту, вино, баб и войну, он к старости не только остепенился, но удивительным образом преуспел во всех своих непродуманных начинаниях. Ввязавшись в войну с Наполеоном, испытав жестокое поражение, позорное бегство, потерю всех земель, он в конце концов оказался в стане победителей, а его заштатные владения расширились и стали Великим герцогством; сочетая распутство с многолетней влюбленностью в красивую, но малоодаренную и вздорную актрису Ягеман, он, овдовев, женился на ней и возвел на великокняжеский трон; проведя полжизни на кабаньей и оленьей охоте, беспощадно вытаптывая крестьянские поля, он вдруг дал своей стране конституцию и привлек к управлению третье сословие; то ссорясь, то мирясь с Гёте, сместив его в угоду Ягеман с поста директора театра, он сумел намертво привязать «величайшего немца» к Веймару, превратив свою крошечную столицу в духовный центр Европы, место всесветного паломничества, и, наконец, не только сохранил при своей особе многолетнего друга-врага, но даже оказался его доверенным лицом в самом деликатном деле. Что это — набор случайностей, стечение обстоятельств, колдовство, влияние тайных сил или характер? Наверное, тут намешано всего

понемногу, но в одном не откажешь Карлу-Августу, — в отличие от всех немецких князей он способен быть не мелким.

Гёте хотелось так думать сейчас. Чем крупнее казался ему Карл-Август, тем сильнее вера, что посольство его удастся. А разве может оно не удаться? Неужели Пандора не поймет всех выгод этого брака — и сейчас, и особенно в будущем?..

Благообразное лицо Фридриха, исполненное почтительного внимания, напомнило ему, что он так и не получил ответа на свой шутливо-странный вопрос.

— Я, кажется, спросил вас о чем-то, Фриц?

— Не смею беспокоить ваше превосходительство своим недостойным любопытством, — с политичной уклончивостью, достойной Меттерниха, отозвался Фридрих.

— Напрасно, Фриц. Вы живете в моем доме, и вас не могут не интересовать предстоящие перемены. Так вот, друг мой, ваш господин женится.

— Разрешите принести свои поздравления, ваше превосходительство.

— Спасибо, Фриц. Я уверен, что вы сами давно обо всем догадались. Вы тонкая бестия, Фриц.

— Премного благодарен, ваше превосходительство, — поклонился слуга.

Своеобразный демократизм Гёте состоял в том, что он относился с интересом к каждому человеку и уважением — к каждому труженику, если тот знал свое дело (Фридрих был образцовым слугой), но как только эти люди собирались вместе для любого действия: протеста, защиты своих прав, тем более восстания, участия в каком-то выборном органе или даже для выражения верноподданнических чувств, — как тут же становились для Гёте толпой, и он со смаком повторял изречение Аристотеля: «Толпа достойна умереть прежде, чем она родилась». Было вне сомнений, что Фриц никогда не сольется с толпой, презирая ее своим лакейским сердцем едва ли не сильнее, чем его господин — бюргерским, и Гёте испытывал к нему ту полноту доверия, которая позволяла говорить о вещах интимных. А сейчас он как никогда нуждался в собеседнике, чтобы заговорить растущую тревогу, поскольку Карл-Август задерживался.

К сожалению, Фридрих был слишком вышколенным слугой и слишком осторожным человеком, чтобы позволить втянуть себя в чересчур доверительный разговор, о котором хозяин рано или поздно пожалеет. Гёте сердила лакейская хитрость Фридриха, хотя он понимал, что ничего иного нельзя ждать от человека, всю жиизнь находящегося в услужении. Было бы дико, если б Фридрих вспыхнул вдруг захлебной откровенностью своего тезки

Шиллера или рассыпался в доверительно-сентиментальных сарказмах Гердера.

— Жизнь нашего дома изменится, Фриц, сильно изменится! — Гёте распахнул свои огромные пламенные глаза, словно пораженный величием предстоящих перемен, но не поколебал каменной невозмутимости лакея. — Молодость войдет в наш дом, Фриц! — неискренним — от раздражения — тоном продолжал Гёте. — Нам обоим придется помолодеть.

— Ваше превосходительство и так хоть куда! — отважился Фридрих на уместную, как ему подумалось, фамильярность. — А мне поздновато.

— Что вы мелете? — вскинулся Гёте. — Вы же моложе меня на шесть лет.

— Не равняйте себя с другими людьми, ваше превосходительство. У вас другой счет времени.

— Что это значит, Фриц? — серьезно спросил Гёте, пораженный замечанием лакея, которое не могло родиться в его черепной коробке.

Фридрих и сам почувствовал, что высказал нечто сверх своего разума, но, доверясь странной несущей силе, продолжал, не вдумываясь в смысл произносимых слов, входивших в него словно из нездешнего бытия:

— Вы каждый день проживаете целую жизнь, ваше превосходительство, но время не имеет над вами той власти, что над другими людьми. Для вас у него иная длительность. Вы не старше меня на шесть лет, а моложе на четверть века. Время — не абсолютная категория, ваше превосходительство.

«Этот шельмец обставит меня в каком-то очередном воплощении», — с досадой подумал Гёте.

— Как можете вы все это знать, Фриц? Где вы набрались такой премудрости?

«А и верно, где? — удивился Фридрих. — Черт его знает, что лезет в башку! Надо подтянуться. Не хватало еще слуге наставлять господина. Такого господина!.. Это плохо кончится. Но и господин тайный советник хорош — зачем принуждать подневольного человека к неподобающим рассуждениям?» У каждого свои обязанности, его, Фридриха, дело — чистить платье и убирать в комнатах, а для умных разговоров есть господин Эккерман. Хорошо бы улизнуть. Иначе пытка доверием до добра не доведет.

Фридрих так и не понял, откуда явилось спасение. Но взгляд пламенных глаз, ставший вдруг нестерпимым, словно ему открылось нечто, недоступное зрению простого смертного, соскользнул с его скромной особы, унесся ввысь и потерялся там,

а широкая белая кисть Гёте дважды сделала нетерпеливый и недвусмысленный жест, означавший: пошел вон!

Фридрих поспешно ретировался, благословляя неведомого избавителя, но и чуть досадуя на старческие причуды своего господина, прежде за ним не наблюдавшиеся.

А Гёте видел Ульрику. Видел так ошеломляюще ясно и материально, что на мгновение ему почудилось, будто он может коснуться ее рукой и ощутить тепло округлой щеки и розовой просвечивающей мочки. Он видел черные точечки в кобальтовых радужках, ямку в уголке губ, приютившую порошину темной родинки; двойная нитка кораллов обвивала стройную шею и убегала за обшитый кружевами корсаж. Жаркое легкое девичье дыхание чуть вздымало и опускало шелковую ткань на груди, и он застонал, потому что благость облика его любимой стала болью. Как мог он сравнить ее с другими, кто промелькнул прежде в его жизни, точно с этой его любовью могли сравниться все прежние бедные влюбленности. Да, всего лишь влюбленности, потому что любил он впервые. Наверное, так и должно быть с тем, кого природа лишь насыщала и совершенствовала с годами, ничего не отнимая, кроме заблуждений, и укрепляя в главном — творческой силе и даре любви.

— Его королевское высочество!.. — Голос Фридриха, грубо ворвавшись в очарованную тишину, будто подавился самим собой, — знать, принц оттолкнул слугу от двери.

Позже, вспоминая появление Карла Августа, Гёте с интересом анализировал то сложное выражение, которое было написано на круглом лице старого друга, а так же весьма непростую интонацию столь хорошо знакомого голоса. За сочувствием с примесью досады скрывалось *злорадство*. Видимо, это неуместное вроде бы чувство было настолько явным, что Гёте проглянул его сквозь туман владевшего им заблуждения.

— Я никудышный сват! — вскричал Карл-Август. — Напрасно вы доверились мне.

Гёте поглядел на красное лицо старого кутилы и борзятника с узкогубым брезгливым ртом, так не соответствующим жизнерадостному настрою своего владельца, с цепкими, очень неглупыми глазками и не понял смысла сказанного.

— Простите, ваше королевское высочество…

— Ох, старина, хоть бы в такую минуту — без китайских церемоний! — с досадой сказал Карл-Август.

Его раздражал принятый Гёте с некоторых пор обычай величать его этим пышным титулом; мнимая почтительность скрывала дерзость, ибо устанавливала между ними дистанцию, которую герцог не признавал, стремясь вернуться к прежней

короткости, но старый упрямец неизменно отталкивал его от себя.

— Слушаюсь, ваше королевское высочество…

— Несносный старик! — в сердцах сказал Карл-Август. — Так получайте: вам отказали.

— Что это значит? — отшатнулся Гёте.

Герцог посмотрел на задрожавший рот, на смятение, охватившее величавое еще миг назад, прекрасное лицо, и впервые по-человечески пожалел Гёте.

— Пандора открыла свой ящик… Правда, сделано это было весьма деликатно, не придерешься, но гады выпущены на волю. А если без иносказаний — мне объяснили, что Ульрика слишком молода и сама не знает своего сердца. Ей нужно время, много времени, чтобы разобраться в собственных чувствах.

— Но Ульрика?.. Почему не спросили ее?

Карл-Август колебался. Он думал, что Гёте примет отказ с большим мужеством и гордостью и не захочет знать подробностей этой, в общем-то, унизительной истории. Он отошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу и услышал первые такты «Турецкого марша» Моцарта.

— Я не знаю, — он говорил, стоя спиной к Гёте, — было ли у них отрепетировано заранее или старая Левецов решилась на экспромт. Конечно, на экспромт, хорошо подготовленный. Ваше предложение не явилось для нее неожиданностью, она ждала его. Смутила лишь фигура свата. Но отдадим должное Пандоре — она быстро овладела собой и сама позвала Ульрику.

— И Ульрика?..

— Сказала, что всегда относилась к вам только как к отцу.

— Но это неправда!..

— Ах, старина! Вы же сами знаете, каким влиянием пользуется Пандора на свою дочь. Ульрика — мягкий воск… Если б мать захотела, Ульрика сразу поняла бы, что ее привязывает к вам совсем не дочернее чувство. Но у матери другие планы, и бедная девочка всерьез поверила, что дарила вам лишь детские поцелуи. Ульрика совсем не бунтарка, ее очарование — в готовности принять любую форму. Этим она вас и прельстила. Но авторитет матери выше. Поймите это и смиритесь. Господи, да что, на ней свет клином сошелся? Кругом столько красоток!..

Гёте не отвечал, и Карл-Август, незаметно для себя перешедший на игривый тон, бодро обернулся, но то, что он увидел, потрясло его крепкую солдатскую натуру. Вместо величавого вельможи перед ним был согбенный старик с пергаментной кожей обвисшего лица и потухшим взором.

— Боже мой!.. Что с вами? — вскричал пораженный Карл-

Август. — Нельзя же разваливаться из-за юбчонки! Да будьте мужчиной, черт побери! Вы испытаны в страстях, как оперная дива, возьмите себя в руки!..

Гёте молчал.

«Похитить Ульрику и обвенчать их тайно? — пронеслось в голове старого бурша. — А хрычовку мать припугнуть, чтобы не подымала шума. Да не пойдет на это наш поэт. А жаль!..»

— Может, тряхнем стариной? — предложил Карл-Август. — Помните, как мы повесничали в старое доброе время? Плюнем на этот тухлый Мариенбад и махнем в Вену. Инкогнито.

— Вы очень добры, ваше королевское высочество, — послышался тихий, но уже окрепший голос. — Примите мою глубочайшую благодарность, а также искренние извинения, что я обременил вас столь неловкой просьбой, но я должен сам объясниться с Ульрикой.

«Он будет жить! — восхитился Карл-Август. — Это железный старик!»

…Восемь дней осаждал Гёте Ульрику Левецов, и лучше не было бы этих восьми дней в его жизни. Он оставил попытки говорить языком страсти, ибо Ульрика тут же превращалась в обиженного несмышленыша. Он укротил чувство и положился на разум. Бесплодное и мучительное занятие: подавляя крик боли и страсти, доказывать девятнадцатилетней девушке языком железной логики полезность и даже необходимость брака с семидесятичетырехлетним стариком. Изощряясь в казуистике, он вбивал в хорошенькую и смекалистую головку мысль о тщете, безнадежности сопротивления избирательному сродству, так открыто заявившему о себе в их случае. Потраченного им ума, вдохновения и волевого напора хватило бы, чтобы закончить вторую часть «Фауста», растянувшегося на всю его жизнь, но великое, изощреннейшее витийство разбивалось о глухое упорство девушки, не желающей покидать страну, название которой *юность.*

Впрочем, Гёте казалось, что Ульрикой правит не внутреннее веление, а посторонняя сила, которую можно одолеть, ибо неодолимо лишь то, что вне рассудка, вне разума. Пророк Моисей говорил, что ему ведомо все, кроме одного — что происходит в голове сумасшедшего, поэтому тут кончается его власть. Сфера чистой эмоции сродни безумию, она непостижима и неуправляема, но Ульрикой, как он думал, двигала чужая воля. Он отнюдь не преуменьшал влияния Пандоры; у нее были преимущества места — всегда рядом с дочерью, — пола и крови. Перед всем этим оказывается бессилен ум. Ну, а сила личности, а гениальность?.. И он стал гениален, отдав этой девочке больше,

чем всему «Западно-восточному дивану», но не продвинулся ни на шаг, хотя чувствовал порой, как загорается ее отзывчивая душа. Что-то намертво развело их. Что?.. Нет смысла ломать голову. Пандора могла выпустить из своего ящика таких гадов, что и думать о них противно. Но зачем это нужно Пандоре? Быть может, она боится, что необузданный Август и далеко не кроткая Оттилия разрушат помолвку или сделают жизнь его молодой жены невыносимой? Такая тревога оправданна. Но почему бы ей не сказать ему об этом? Он бы ответил прямо: я возьму в руки кнут и усмирю их. Я никогда этого не делал, но сделаю ради Ульрики. Может, объясниться с Пандорой, развеять ее материнское беспокойство, дать какие-то гарантии? Этого не принимала душа. Получить Ульрику в результате сговора? Да будь дело только в его семейных сложностях, практичная г-жа Левецов давно бы навела разговор на волнующие ее обстоятельства, но она и не подумала этого сделать. Нет, она просто не хочет его для своей дочери, и все тут! Осилить ее можно было бы лишь с помощью Ульрики, но ту словно подменили. Неуловимая, недоступная и оттого лишь более желанная, она утратила свою горячность и непосредственность, стала рассудительной, осторожной, контролировала каждое слово, каждый жест. Далее позволяя порой увлечь себя мыслью, образом, полетом воображения, она все время оставалась начеку. Когда же ему изменяла выдержка и он не мог сдержать гневной боли, она остужала его чужими, заученными словами:

— Не надо сердиться. Будьте моим добрым, мудрым другом.

И он отступился, поняв, что ему не пробиться к маленькому, сжавшемуся в тугой комок сердцу…

Прощаясь с Ульрикой перед отъездом — карета ожидала его у дверей, — Гёте заметил промельк смятения в кобальтовых, с черными крапинками глазах: пусть на мгновение, но тайная душа ее проговорилась о чем-то таком, чего не знало дневное сознание девушки. И в недобром прозрении он сказал:

— Если б вы были только красивы, только очаровательны и по-женски умны, Ульрика!.. Я был бы спокоен за ваше будущее. Но вы слишком значительны и слишком глубоки для обычной женской доли. Вы еще сами не понимаете этого, но когда поймете, будет слишком поздно. Вы обрекаете себя на безбрачие, бедное дитя мое. Нет ничего грустнее бесплодной смоковницы. Прощайте, мы никогда больше не увидимся.

Ульрике было грустно расставаться с Гёте; до чего же нелепа жизнь, если нельзя сохранить его в качестве друга, собеседника, наставника, нет, главное, в качестве друга, очень, очень близкого друга! — ей так нравилось целовать темные огненные глаза,

заставляющие забывать о его годах, но прощальная угроза задела женскую гордость, и, хотя у нее хватило вкуса, такта и снисхождения промолчать, даже потупиться с печальной покорностью: мол, что поделаешь, раз такова моя участь, — в душе она посмеялась над пророчеством Гёте, не знавшего ни о смуглом кудрявом сыне соседа-аптекаря, ни о байроническом гофрате из Дрездена, с которым она познакомилась на последнем балу, дав из-за него отставку стройному, элегантному геттингенекому студенту…

Чуть приоткрыв занавеску, Ульрика смотрела, как старый рослый лакей Фридрих тяжело подсаживал в карету своего будто обезножевшего господина.

— Бедный, бедный дедушка!.. — вздохнула Ульрика, рассмеялась и вдруг заплакала…

* * *

…Трясущийся на козлах рядом с кучером Фридрих с тоской поглядывал на корчмы, трактиры и гостиницы, то и дело мелькавшие по сторонам дороги. Курортный край был насыщен первоклассными заведениями, где усталый путник мог утолить жажду и голод, дать отдых истомленным членам. Они находились в пути уже более семи часов, а Гёте и не думал дергать за шнурок, конец которого был привязан к мизинцу Фридриха.

Конечно, любовный голод вытесняет мысли о пище телесной, и г-н тайный советник в своем теперешнем состоянии не вспомнит о грубой материи жизни до самого Веймара. Но Фридрих не был ни влюблен, ни отвергнут, в животе у него урчало, глотку саднило, а голова упрямо клонилась к груди, но голод и жажда отгоняли спасительный сон. Не знал сердечных ран и кучер, но этот здоровяк с каленым лицом настолько привык к дорожным лишениям, что в нем не найдешь союзника. Надо полагать, что, и ехавший сзади в двухместной карете секретарь тоже не понес любовного поражения, но разве осмелится он потревожить высокий покой или скорбное томление г-на тайного советника! Оставалась одна надежда на малорослых лошадок с лоснящимися крупами. Крепенькие и резвые, но порядком забалованные, они привыкли к бережному отношению и недвусмысленно выражали свою обиду, то и дело сбиваясь с ходкой рыси на фальшивую трусцу, и кучеру приходилось покрикивать на них и даже взмахивать кнутом. Это ненадолго помогало, но, когда он по-настоящему пустит его в дело, лошади наверняка взбунтуются. Фридрих вообразил себя лошадью, уже

восьмой час идущей в упряжке, взявшей с натугой множество подъемов, круто осаживавшей на спусках, отчего хомут налезает на уши, он ощутил напряжение в паху и подмышках, ломоту в крестце, услышал, как екает в брюхе селезенка и как зудит кожа, накусанная слепнями, чешутся глаза, облепленные мелкими мушками, — проклятые твари норовили выпить зрак, и Фридрих сгонял их, хлопая жесткими ресницами; ягодицы ему натерла шлея, он ерзал, чтобы утишить резь; огромный, шершавый, закоженевший язык не помещался в пересохшем зеве, и он свесил его наружу через нижнюю губу… Тут кучер, видать, дернул вожжу. Фридрих, послушный конь, хотел взять вправо и чуть не свалился с козел. Он очнулся и обнаружил, что его дергают за мизинец. Они тащились мимо старой гостиницы с потемневшей от времени черепичной крышей, замшелыми деревянными стенами и черными кирпичными трубами, исходившими сытым дымом.

— Стой! — гаркнул Фридрих и на ходу соскочил с козел.

Он оступился, подвернув ногу; прихрамывая, заковылял к карете, но тут дверца распахнулась и г-н тайный советник молодо спрыгнул на землю, не дожидаясь, когда Фридрих опустит ступеньку. Из второй кареты уже спешил секретарь, на его узком бледном лице Фридрих увидел отражение собственной ошеломленности. Только с г-ном Гёте возможны подобные превращения: его плоть обладала куда большей пластичностью, нежели у доктора Фауста, с которым он так долго возится, тому понадобилось заключить сделку с нечистым, чтобы вернуть молодость, и бесконечно долгие годы, чтобы вновь ее изжить, — г-н тайный советник в течение одного дня мог стать дряхлым старцем и вновь возродиться юным, подобно фениксу, из пламени внутренних сил.

Бодрый, свежий, словно не испытавший крушения надежд, не похоронивший любви и не намаявшийся более семи часов в тряской карете без пищи и питья, он быстро зашагал к гостинице, на ходу отдавая распоряжения:

— Устройте нам вкусный ужин, Фриц. На закуску два десятка устриц. Проследите, чтобы подали свежайшие. И холодный мозельвейн. — Затем секретарю: — Вы взяли свои письменные принадлежности?.. Отлично! Мы пройдем в гостиную и кое-что запишем. Фриц, велите подать туда по кружке светлого. И сухих вяленых рыбок.

Позже, когда Фридрих пришел доложить, что ужин подан, секретарь читал своим мелодичным голосом, так понравившимся г-ну Гёте, только что записанные под диктовку стихи, сочиненные, как понял слуга, в карете. Вот почему они так долго

не делали привала.

Там у ворот она меня встречала
И по ступенькам шатким в дом вводила.
Невинным поцелуем провожала,
Вдруг кинувшись вдогон, иной дарила.
И образ тот в движенье, в смене вечной
Огнем начертан в глубине сердечной…

Фридрих не любил стихов, но тут пожалел, что не слышал начала.

— Любопытно, — сказал Гёте секретарю, у которого подозрительно поблескивали глаза. — Возраст все-таки чего-то стоит. В юности понадобился «Вертер», чтобы уцелеть, сейчас обошлось одним стихотворением.

* * *

…Ульрика Левецов прожила очень долгую жизнь. Она дотянула до нашего века. По свидетельству современников разных поколений, она до седых волос сохраняла тонкую юную красоту, и даже в глубокой старости лицо ее удивляло трогательной миловидностью. Пророчество Гёте сбылось — она так никогда и не вышла замуж; на могильной плите почти столетней старухи были выбито: «Фрейлейн Левецов». В женихах не было недостатка, иным удалось затронуть ее сердце, другим — разум, понимавший, что пора наконец сделать выбор и зажить естественной и полноценной женской жизнью. Но что-то всякий раз мешало, останавливало у последней черты. Быть может, память о старике с огненными глазами, но кто это знает?..

Школьный альбом

Быль

1

Мне оставили этот большой альбом в красном коленкоровом переплете, на титульном листе которого старательно выведено тушью: «311-я школа, выпуск 1938 года», чтобы я заполнил два чистых листа — в одном разделе: «Они сражались и погибли за Родину» — на Павлика С., моего первого и лучшего друга, в другом: «Здоровья и счастья» — на самого себя, которому это пожелание в самый раз. Есть еще третий раздел — «Вечная память» — о безвременно ушедших: от старых ран и недугов войны, как Володя А., или от мирных болезней, как автодорожник Люсик К., или от самогубления, как инженер Юра П.

Есть особая судьба, и я жалею, что не мне поручили написать о Ляле Румянцевой. Досрочно окончив медицинский институт, она пошла работать врачом в лагерь немецких военнопленных армии Паулюса; те привезли из-под Сталинграда жестокий тиф, Ляля заразилась и умерла — двадцати трех лет. Но мои школьные друзья, составители альбома, рассудили иначе — наверное, справедливо, — что о Ляле должны написать Ира и Нина, учившиеся с ней в школе с первого до последнего класса, затем в институте с первого до последнего курса и метавшиеся в тифозном бреду на соседних госпитальных койках. Лишь здесь их пути разошлись: Ляли не стало, Ира и Нина вернулись в жизнь.

Впрочем, о Ляле я уже писал раньше, есть у меня такой рассказ в книге «Чистые пруды» — «Женя Румянцева», где в образе героини соединились черты двух моих соучениц: Ляли Румянцевой и Жени Рудневой — называю и последнюю полным именем, ибо оно принадлежит истории. Майор Руднева — штурман легендарного женского бомбардировочного полка Марины Расковой — посмертно удостоена звания Героя Советского Союза, о ней написаны книги, ее замечательный по искренности дневник выдержал много изданий. Почему я соединил двух девушек в одну — сейчас мне и самому трудно разобраться. Все же попробую. С Женей меня в школе ничего не связывало. Мы учились в разных классах, она была секретарем комсомольской организации, самой видной общественницей школы, я же являл собой полное отрицание всех Жениных устоев:

индивидуалист, злостный прогульщик (к тому же с ведома и одобрения родителей) и пусть не хулиган, не дебошир, но тихий хамила, читавший на уроках постороннюю литературу и дерзивший учителям, которых Женя глубоко почитала всей своей большой и теплой душой. Но более всего смущало прямолинейную и бесхитростную Женю, что при таком недостойном поведении учился я, подобно ей, на одни пятерки, чем являл особый соблазн для слабых и неустойчивых натур. Это разрушало Женины представления о добре и зле, о нравственной основе жизни. Однажды она попыталась провести со мной душеспасительную беседу, но я высмеял ее бессильные потуги вернуть меня на путь истинный. Женя скинула русую прядку на взблеснувший слезой глаз и отступилась. Мы не перемолвились больше ни словом до окончания школы, а после выпускного вечера разошлись — навсегда.

Женя поступила на механико-математический факультет МГУ, но мечтала стать астрономом. Она была деятельным членом Московского отделения Всесоюзного астрономического общества «Мне хочется открыть хоть маленькую звездочку, признавалась она друзьям. — Пусть будет на небе и мой светлячок». Возможно, это честолюбие, но такое милое и трогательное!

Война перечеркнула все ее планы. Женя была на редкость цельной натурой, и не могло быть сомнений, какой путь она изберет. В нашем альбоме о Жениной военной судьбе сказано с протокольной точностью и краткостью. Текст помещен сбоку от портрета той Жени, которой я уже не знал, — двадцатилетней и красивой. В ее лице таинственно соединились открытость, мягкость с волевой завершенностью черт, упрямая крутизна лба искупалась полуулыбкой добрых губ, а в моей памяти Женя осталась полноватой, рыхлой девчонкой-нескладехой.

Из альбома: *«В начале октября 1941 года по призыву ЦК ВЛКСМ о наборе девушек в армию Женя Руднева среди первых была рекомендована в женскую авиационную часть Героя Советского Союза Марины Расковой. В мае 1942 года после окончания авиационной школы штурман звена ночных бомбардировщиков Евгения Руднева вылетела на фронт в район Северного Кавказа. В марте 1943 года она вступает в члены КПСС, и в этом же году её назначают штурманом полка. За участие в освобождении Кубани женскому авиационному полку, где служила Женя, было присвоено звание гвардейского (гвардейский Таманский полк)».*

От меня: Женя, как и все ее подруги по полку, летала на У-2, у нас эти фанерные одновинтовые самолеты прозвали «кукурузниками» — они могли при необходимости сесть на кукурузное поле и схорониться среди стеблей, а у немцев —

«бесшумной смертью», «ночными дьяволами» — их нельзя было засечь улавливающими устройствами и поразить из зенитных орудий; они шли на бомбометание с выключенными моторами и слишком низко, чтобы осколки зенитных снарядов могли причинить им вред, требовалось лишь прямое попадание.

Из альбома: *«В ночь на 9 апреля 1944 года, совершая свой 641-й боевой вылет на бомбежку вражеских позиций, Женя Руднева погибла. Это было под Керчью. Имя Жени Рудневой внесено в книгу Боевой славы. 26 октября 1944 года Евгении Максимовне Рудневой за мужество и отвагу присвоено посмертно звание Героя Советского Союза».*

Звездная мечта Жени осуществилась: Золотая Звезда увенчала подвиг, а Всемирное географическое общество назвало Жениным именем вновь открытое небесное светило. И когда мы праздновали наше общее шестидесятилетие в моем загородном жилье, с ночного подмосковного июньского неба на нас глядела и Женина звездочка.

В рассказе «Женя Румянцева» герой уговаривается после школьного выпускного вечера с девушкой, которой он нравится, ничуть о том не подозревая, встретиться через десять лет в среднем пролете между колоннами Большого театра. В назначенный срок он является к месту свидания, зная, что девушка эта погибла на фронте. Судьба девушки подобна судьбе Жени Рудневой. Но я ей, надо сказать, не нравился, и мы никогда не уславливались о подобной встрече. Уславливались мы с Лялей Румянцевой, и в тот миг на меня пахнуло странной, нежданной нежностью, оставшейся запоздалым сожалением в моей душе. О Лялиной судьбе я узнал по окончании войны, но свое обещание выполнил и в должный час пришел к Большому театру с букетом цветов, который отдал потом какой-то одинокой девчонке.

По своему максималистскому характеру Ляля напоминала Женю, равно как и по безоглядности общественной отдачи. И она была такой же прямой, жестко честной, требовательной к себе и к другим. Но у нее эти волевые качества растворялись в стихии женственности.

Ляля была стройна и спортивна, в девичьем ладном облике проглядывал близкий женский расцвет. Женя оставила школу серьезной и неуклюжей девчонкой с плохо координированными движениями, набивавшей шишки обо все углы, — самым трудным предметом для нее была физкультура. Самолет — продолжение тела летчика, к тому времени, когда Женя поднялась в небо, она обрела полную власть над своей созревшей плотью, стала ловкой, крепкой и ладной, и, словно отвечая этому чуть запозднившемуся превращению, пришла к ней первая и последняя любовь.

Женя обрела то, чем владела Ляля, а Ляля оказалась несостоявшейся Женей. По своей высокой и решительной душе она имела право на подвиг и непременно совершила бы его, если б жизнь ее не оборвалась так внезапно и нелепо. Но разве ее смерть не была подвигом? Она лечила, спасала тех, кого должна была ненавидеть, до конца оставалась верна клятве Гиппократа, которую в суматохе ускоренного выпуска даже не успела дать. Но это не тот подвиг, о котором слагают песни, пишут книги, и мне захотелось как-то исправить допущенную жизнью несправедливость. Пусть Женя поделится с подругой своим подвигом, а Ляля — тем очарованием, которым в школьную пору Женя не успела открыться. И две девочки, Женя Руднева и Ляля Румянцева, соединились в рассказе в одну Женю Румянцеву.

И в альбоме, по-моему, неверно было их разъединять: Ляле отвели место среди «Безвременно умерших». Нет, Лялю тоже надо считать фронтовичкой, отдавшей жизнь на поле боя.

Женя Руднева — наша слава, наша гордость, наша боль, но она принадлежит не только нам, и я называю ее здесь полным именем, то же самое делаю в отношении Ляли Румянцевой, чтобы уравнялись они в памяти, коль не случилось этого при жизни. Но больше так я никого называть не стану. Я оставляю моим друзьям лишь имена, под которыми знал их в школе и которые указаны в альбоме, и первую букву фамилии, чтобы не спутались тезки. И вовсе не потому, будто считаю их хуже знаменитой Жени Рудневой или безвестной, трагически ушедшей Ляли Румянцевой — нет, нет и нет! Но Женя, повторяю, вырвалась из-под моей власти: судьба девушки, которая шла на смерть не раз, а шестьсот сорок один раз, стала всеобщим достоянием; Ляля же у меня повязана с ней, что заставляет называть и ее полным именем. Но я не могу говорить с такой уверенностью знания ни о других ушедших, ни тем паче о живых, чья судьба пребывает в движении, развитии. Они не уполномочивали меня быть их Пименом. Писать же без внутренней свободы нельзя. А свободу эту можно обрести лишь одним — никаких полных имен. И тут уж не должно быть исключений, кроме оговоренных выше. Это не всегда легко, особенно когда приходится любимейшего друга называть Павликом С. Есть еще одна причина, почему я должен обходиться без фамилий: не всем нам повезло в жизни, не все были всегда правы и перед другими, и перед самим собой, но перед нами и этим альбомом на них нет вины. Так чего же потащу я их на суд людской? Того же, за кем мы такую вину числим, нет в альбоме, но об этом подробнее будет сказано в конце. Не знаю, насколько убедительно обосновал я свое решение, похоже, что не очень-то, но, думаю, оно покажется справедливым по мере чтения этих

записок…

2

Не случайно сразу за Женей Рудневой страница альбома отдана Павлу Г. О нем написала наша одноклассница Сарра М., соседка Павла по дому бывших политкаторжан на Покровке.

Из альбома: *«…Павел Г., Павел, Павлик — самый серьезный из нас, молчаливый, задумчивый, он был полон доброты и доброжелательности. Он обладал редким даром сопереживания, всегдашней готовности разделить и принять на себя тяжесть чужих огорчений. Он был другом в трудный час. Его серьезность, взрослое чувство ответственности делали его нечастую веселость и органическое умение радоваться чужой радости еще более пленительными.*

Он был нашей совестью. Он не знал компромиссов, столкнувшись с тем, что считал недостойным. Его порядочность в таких случаях проявлялась не доказательствами и спорами — он, смешно надувшись, что-то бормоча под нос, не желая разговаривать, уходил, и это было сильнее всяких объяснений.

Как часто, когда мы шумели и спорили, он, заложив руки за спину, молча ходил, размышляя, ничего не слыша, замкнувшись в свои мысли. В отличие от нас его жизнь была очень трудна, ранняя тяжелая болезнь сделала его мать инвалидом. Он был хорошим сыном — добрым, внимательным и работящим. Он хорошо учился, не для отметок, его многое интересовало, особенно точные науки, его отношение к занятиям было не школярским, как у многих из нас, и знал он больше, чем мы. Так уж считалось, что он получит техническое образование, но он решил стать врачом.

Врач — вот было его человеческое назначение. Его душевные качества не могли не вылиться в это решение. Это не будет мистикой — сказать, что не только он, но и его избрала медицина. Такие избранники бывают редко. Когда он, еще не дипломированный врач, оперировал раненого в палатке полевого госпиталя, начался налет немецкой авиации. Он лег на раненого, закрыв его своим телом. Палатка полевого госпиталя не защитила их — они были пробиты одним осколком врач и боец.

Нельзя оскорблять память нашего друга рассуждениями о том, что он мог бы спастись, — для него выбора в этот миг не существовало. И незачем писать о памяти. Он с нами, пока мы живы, — он жив. Ты с нами, Павел, друг наш».

Павел Г. был чуть ниже среднего роста, худощав, с какой-то странной ныряющей походкой, а ноги ставил по-балетному —

носками врозь. В классе ничего не знали о его домашней жизни и вообще мало знали о нем. Между нами и Павлом стояла математика. Он постоянно решал задачи: в младших классах арифметические, потом алгебраические, а в старших вместе со своим единственным школьным другом, блестяще одаренным Колей Р., предался магии интегралов и дифференциалов. Свою напрягающуюся над высшей математикой мысль Павел оберегал, зажав уши и сцепив пальцы на затылке. Отрешенным взглядом смотрел поверх или сквозь окружающих, что-то вечно искал в лишь ему ведомых пространствах. Он не стремился к одиночеству, но умел создавать его среди любой шумной компании, чтобы оставаться со своими мыслями. Блез Паскаль признавался, что серьезное мышление занимало ничтожно малое время в его жизни, наш Павел всегда был нацелен на серьезное. Его миновали и наши грехи и наши доблести: он не хулиганил, не курил в уборной, не хвастался, не дрался, не бегал за девчонками, не занимался спортом и не глотал тоннами увлекательное чтиво. Он думал… И решал он не только математические, но и нравственные задачи. Одна из главных — выбор профессии. Конечно, он наступил на горло своему истинному призванию, решив стать врачом. Душевная самоотверженность подавила мозговую склонность…

Помню, как удивило меня восклицание моей матери, впервые увидевшей Павла Г.: «До чего красивый мальчик!» Мне и в голову не могло впасть, что неприметный, весь в себе, Павел красив, что у него вообще есть внешность, заслуживающая внимания. Красивы были герои Чистопрудных ристалищ с прической «под бокс», папироской в углу презрительно сжатого рта, хмуро-дерзким прищуром из-под лакированного козырька «капитанки», с напульсниками на крепких запястьях и мужественными фингалами. Мать почувствовала, что я не понял. «У него серебряные глаза. Боже, ни у одного человека не видела я серебряных глаз!» Я свято верил каждому слову матери и тут же обнаружил, что наш скромный Павел сказочно красив: светло-серые, прозрачные глаза его и впрямь отсвечивали серебром. Но потом я опять перестал замечать серебро радужек вокруг его удлиненных, глубоких и темных зрачков, да и самого-то Павла едва видел слишком полярны были наши интересы.

Сейчас я смотрю на фотографию Павла, помещенную в альбоме, — как же красиво, одухотворенно, возвышенно это чистое и серьезное, сребroглазое юношеское лицо!..

Сарра М., так хорошо написавшая о Павле, открыла мне, что наш молчаливый друг был куда понятнее и ближе ребятам, знавшим его не только по школе, но и по большому дому бывших

политкаторжан, где шла его главная, трудная и самоотверженная жизнь.

Сарра до последней минуты не знала, примет ли участие в общем дне рождения: у нее очень больное сердце. И вот она с нами — удивительно моложавая, стройная, подтянутая, строго и хорошо одетая и такая интересная, какой не была даже в юности. Но она ничего не ест и не пьет, только подносит к губам рюмку с вином, когда произносится очередной тост. Хотя я не считался хозяином — хозяевами были мы все, — встреча как-никак происходила «на моей территории», и это невольно понуждало меня к повышенной пристальности. Набрав в тарелку еды, я подошел к Сарре. «Ты что — голодовку объявила?» — «Все в порядке, — голос прозвучал чуть резко. — Только не надо ко мне приставать. Прости. Не сердись». Я понял, чего стоил Сарре приезд сюда, каким волевым напряжением оплачены ее прекрасная форма, подтянутость, сиюминутная пригожесть…

Всю свою трудовую жизнь, закончившуюся раньше срока из-за болезни, Сарра была библиотекаршей в театральной библиотеке. Находиться постоянно возле книг, так хорошо владеть словом, это видно по тем двум страничкам, что она написала о Павле, и не стать, пусть тайно, писательницей — такого быть не может. Я сказал ей об этом. Она пожала плечами. «Это все, что я написала за всю мою жизнь. И впервые поняла, до чего же непосильное дело — литература. Теперь я преклоняюсь перед писателями. Вы — мученики!» — «Не стоит преувеличивать, возразил я, — Святых Себастианов среди нас куда меньше, чем арбалетчиков».

А потом кто-то сказал в тосте, что вся жизнь Павлика была лишь ради единственного мига, когда он прикрыл собой раненого. Сарра побледнела от гнева. «Это чисто поэтическая мысль — красивая и пустая. И дурная к тому же. Он родился и зрел, чтобы прожить большую, нужную, серьезную жизнь. Павел поступил так, как только и мог поступить, но плохо думать, что его душа томилась в предбытии миллионы миллионов лет ради одной коротенькой вспышки. Нет, нет!.. Не надо всегда все оправдывать, благословлять и превозносить только потому, что это было». — «А что надо?» — «Не знаю. Отвергать, не соглашаться, протестовать, вопить, плевать в бороду бога, может, тогда все мертвые вернутся…»

Странный инструмент — человеческая память! Только из-за того, что о Павле заговорили, я обнаружил в себе неведомые запасы воспоминаний. Это случилось в ту недолгую пору, когда «открытый» мамой Павел стал для меня прекрасен, как небожитель. Наша классная руководительница Мария Владимировна, опытная, с крепкой рукой, умеющая натягивать и

отпускать вожжи, но несколько обделенная даром беспристрастия, столь важным для педагога, тоже на свой лад открыла Павла Г. Его незаурядные математические способности, любознательность, глубокая серьезность (он был тихим зеленым островком посреди бурных и мутных вод нашего класса) вдруг были замечены и оценены статной, как будто в латы закованной, медноволосой и суровой классной руководительницей. И с присущим ей волевым напором она стала делать из него первого ученика. Было это, если не подводит память, в шестом классе У нас имелась штатная первая ученица Нина Д. — кладезь школьных добродетелей, образцово-показательная по всем статьям, до некоторой даже роботообразности. Забегая вперед, скажу, что во взрослой жизни эти ее качества обернулись безукоризненным поведением на всех крутых виражах судьбы, громадным чутьем и безоглядной самоотверженностью в избранной ею врачебной профессии. Первая ученица с аккуратными, скучными косичками стала человечком высшего класса. Но тогда эта румяная девочка была до того правильна и примерна, что при ее появлении каждый живой организм скисал, как молоко в жару. И наша классная руководительница чутко поняла, что в седьмом классе, когда программа резко усложняется, понадобится иной герой для угнетения малых сил. Тут недостаточно старательности, аккуратности, умения опрятно содержать тетрадки, сидеть, как мумия, за партой, пока учитель объясняет или пишет на доске пример, соря мелом, мало зубрежного рвения — от энтих до энтих и ни в коем случае не забегая вперед, — мало привычки рано ложиться спать и вставать чуть свет (замечательным домашним режимом Нины Д. угнетали не только нас, но и наших родителей) — от лучшего ученика потребуются иные качества: живой ум, пытливость, увлеченность наукой, сила глубокого характера, Мария Владимировна, конечно, понимала, что Нина с ее хорошими способностями, прилежанием, ясной памятью, внутренней дисциплиной и отсутствием пагубных страстей не ударит в грязь лицом и в седьмом и во всех последующих классах, но правильно рассудила, что мужающим подросткам нужен будет иной образец для подражания. Принадлежа к нетерпячей и решительной породе мичуринцев, она не стала ждать милостей от природы, а решила сама изготовить нам идола впрок.

Поскольку она вела у нас все главные предметы, на Павла посыпались, как из рога изобилия, высшие отметки не только по тем дисциплинам, где его превосходство не вызывало сомнений, но и по тем, где он успевал куда меньше Он вдруг оказался отличным художником — рисовать вовсе не умел, дивным певцом

без слуха и — косолапый слабак — украшением физкультурного зала. Конечно, за всем этим чувствовалась твердая рука Марии Владимировны, чей авторитет в школе был неоспорим. Похвальные грамоты и премии каждую четверть отмечали выдающиеся успехи Павла.

Но был у него один изъян, крайне осложнявший задачу Марии Владимировны возвести его на школьный Олимп, — неправдоподобно уродливый почерк. Среди нас были настоящие каллиграфы: Нина Д., ее подруга Ира Б-на, Лида Ч., Володя М., остальные обладали вполне сносным почерком — сама же Мария Владимировна учила нас в первом классе выводить палочки и нолики, потом какие-то древние узоры и наконец буквы, — учила жестко и хорошо. Павел писал грамотно, но невообразимым почерком — рука не слушалась его, как он ни старался, казалось, это не человек писал, а ползала по бумаге испачкавшаяся в чернилах муха. Лист из школьной тетрадки Павла задал бы нелегкую задачу графологу. Я до сих пор помню не только кляксовую неопрятность его письмен, но и начертания отдельных букв. У его «я» была крошечная головенка, просто капелька чернил, а под ней непристойное разножие, напоминающее о наскальной живописи в мужской уборной; его «щ» требовало громадного пространства, а хвостик буквы превращался в самостоятельное «у», сползающее в нижнюю строчку и производящее там беспорядок; случалось, буквы вклинивались одна в другую или уменьшались до микроскопических размеров, и разглядеть их можно было лишь с помощью лупы, а то вдруг вырастали в великанов. Почему рукописания такого тихого, сосредоточенного и собранного человека, каким уже в детстве был Павел, имели столь смятенный вид — ума не приложу.

Мария Владимировна старательно закрывала глаза на этот серьезнейший по школьным мерилам недостаток и твердой рукой вела Павла к славе. Ребята, конечно, понимали, что дело нечисто, но снисходительно относились к педагогическим вольтам классной руководительницы. Павла любили и уважали за его подлинные достоинства, а его математическим гением гордились и восхищались. К тому же для нас Павел был удобнее Нины в качестве иконы. Он не пеленал тетрадки и учебники в белую бумагу, не заваливался в девять вечера и не вскакивал с рассветом, не обтирался холодной водой, тут он не мог служить образцом для подражания, а решать математические задачки, как он, никто заставить не мог, для этого требовалась особая голова.

Надо отдать должное чистоте и отвлеченности Павла, он долго не замечал своего положения любимчика, баловня, первого ученика и отрады очей классной руководительницы. Рассеянный

— не от захваченности внешними впечатлениями, а от углубленности в собственный мир, — всегда немного печальный, он жил, как жил, упиваясь дивным языком математики и не делая шага навстречу Марии Владимировне. Но она была настойчивым, точно знающим свою цель взрослым человеком, а он, при всей своей высокой отрешенности, все-таки мальчишкой, а не схимником, глухим к голосам земли. Он услышал наконец осанну, возглашаемую в его честь. И поначалу смутился, сжался, стал еще молчаливей и замкнутей. Но капля камень точит, а ведь он вовсе не был камнем, четырнадцатилетний подросток с мягкой душой, которую защищал от вторжений, чтобы целиком тратить на математику и больную, безмерно любимую мать. Яд проник к нему в кровь. Павел поверил в свою исключительность, избранность, в свое превосходство над окружающими, во все то, чем планомерно и упорно заражала его классная руководительница. Он стал другим: на уроках все время высовывался, чтобы первым ответить на вопрос или решить пример, на собраниях брал слово, и в тихом его голосе зазвучали противные наставительные нотки. Он даже занялся своим почерком, хотя и без успеха. А получая очередную награду, уже не потуплял виновато серебристого взгляда, а прямо и преданно смотрел на Марию Владимировну и весь учительский синклит, готовый отдать за них жизнь. Он словно очнулся после долгой дрёмы, но очнулся не в себя прежнего, а в какого-то другого, куда менее ценного человека.

Все это кончилось конфузом, спасшим ему душу. Мария Владимировна заболела, впервые на моей памяти, и не пришла на занятия. Урок вела новая молодая учительница, которую мы не знали и которая не знала нас. Чтобы сразу утвердить ужасом свой авторитет, учительница закатила внеочередную контрольную по русскому языку. Когда на другой день она раздавала проверенные работы, тетрадка Павла лежала в самом низу. Подняв ее двумя пальцами, новая учительница сказала: «А этому ученику даже „неуд“ слишком много. Чья эта тетрадка? — И когда Павел подошел, брезгливо сморщилась. — Какая гадость! Как тебе не стыдно? Большой парень!» — И швырнула ему тетрадку.

Она, конечно, переборщила по молодости лет, захотела сразу «поставить себя» в классе, к тому же не ведала, на кого замахнулась неопытной и дерзновенной рукой. Но поведение Павла было еще ужаснее. Он вдруг забился, как балаганный Петрушка, которого для изображения панического ужаса дергают за все веревочки разом, так что руки, ноги и голова на тонкой шее мотаются в разные стороны, застучал кулачками по учительскому столу, разревелся и, в клочья порвав тетрадку, выбежал из класса.

Дня два он не появлялся в школе, а потом пришел такой же, как всегда, нет, такой, каким был раньше, когда не лез вперед, не поучал других и не смотрел с собачьей преданностью в глаза наставникам, а пребывал в своем тайном надежном мире, излучая оттуда, из своего укромья, серебристый свет. На что уж мы были шпаной, но ни один человек в классе ни словом, ни взглядом, ни усмешкой не напомнил Павлу о жалкой сцене, разыгравшейся при раздаче контрольных. Молодая учительница больше у нас не появлялась, и, пока не вернулась Мария Владимировна, уроки поочередно вели руководительницы параллельных классов.

Павел ушел в тень. Писать он стал еще хуже, размазывал в тетрадках такую грязь, что любо-дорого посмотреть, нелюбимые предметы вовсе забросил, являя полное равнодушие к плохим отметкам, и окончательно вознесся в чистый, хрустальный мир математических формул.

Мария Владимировна поняла, что он потерян для нее, и отступилась. Утешение, впрочем, не заставило себя ждать. Она нашла замену трудному Павлу в лице очень способного и «приятного во всех отношениях» Бамика Ф. На этот раз она не промахнулась. Даровитость натуры сочеталась в этом рослом мальчике с уникальной механической памятью, веселым, а не нудным благонравием и той душевной прозрачностью, которая бывает у людей, не захваченных одной всепоглощающей страстью. Типичный гуманитарий, очень начитанный и даже сам друживший с пером, Бамик посещал химический кружок, редактировал стенную газету, хорошо играл в теннис и волейбол, блестяще владел речью, его разносторонность исключала опасный перекос, интересы не переходили в роковую увлеченность, он был создан для роли школьного кумира. Бамику требовался лишь легкий толчок, чтобы раскрыться во всем блеске, и этот толчок состоялся. Бамик не обманул доверия Марии Владимировны и до окончаний школы оставался на недосягаемой высоте. Лишь изредка что-то случалось с безукоризненным аппаратом его памяти, что приводило к провалам столь невероятным, что их старались поскорее забыть, как нечто непостижимое и враждебное человеческому сознанию: так, в десятом классе он вдруг не смог извлечь… квадратный корень. И тогда я догадался, что Бамик своим феноменально устроенным мозгом запоминает решения математических и физических задач, теоремы, формулы и записи химических реакций, — думать, соображать в области точных знаний он не может. А может, и здорово может — в литературе, истории, обществоведении, даже биологии; столь же преуспевал он в предметах, основанных на чистой памяти: географии, немецком языке. Блеск Бамика не потускнел с годами,

он так и остался самым ярким среди нас, но об этом в своем месте…

Думается, на том уроке, когда Павел порвал свою тетрадку и разревелся перед всем классом, вернее, в дни, последовавшие за этим прискорбным событием, и укрепилась его душа для будущего, с тех пор он стал готов к тому, чтобы прикрыть собой от гибели другого человека. Молодая, неопытная учительница своим антипедагогическим поступком спасла его душу, которую уже начала растлевать наша многомудрая классная руководительница. Я совершенно уверен, что Павел в конечном счете все равно устоял бы против Марии Владимировны, вернулся бы к себе настоящему, но кто знает, чего бы это стоило, какой ценой оплачиваются в отрочестве подобные победы. А тут обошлось болезненной, без наркоза, но быстрой операцией, и он очнулся здоровым и стал тем, чего не сказала впрямую, но подразумевала бывшая девочка Сарра, — лучшим из нас…

3

И все же разве не была лучшей Женя Руднева?.. А разве Ляля Румянцева уступала ей?.. И да простят меня мертвые, что я оставляю их милые тени ненадолго — и обращаюсь к миру живых, но почему не считать лучшим Яшу М., которого по старой памяти мы называем до сих пор Яшкой, несмотря на его научное звание и почтенную седину, — столько сохранилось в нем молодой доброты и веселости, отзывчивости, легкости и привязанности к нашему прошлому под сенью Чистопрудных лип? И когда на общем дне рождения он попросил слова, все сразу заулыбались, готовые принять то радостное добро, которое он всегда приносит с собой.

Как и положено, он прочел свои новые стихи — о шестидесятилетних мальчиках и девочках, и тут многие, не переставая улыбаться, смахнули украдкой слезу такая глубокая нежность скрывалась под тонким покровом шутливости. Любое доброе дело, если вносить в него излишнюю торжественность, серьезность на грани угрюмства, теряет свою живую, трепетную суть и начинает отдавать тленом. Эта опасность сопутствует каждому сборищу, когда оно не интимно и сводит людей не случайностью внезапных дружеских наитий, а общностью нынешней или прежней службы, какими-то датами, когда оно ритуально. Мы все дети своего времени, несем на себе его тавро, обязаны ему и многим хорошим и кое-чем дурным, даже вот наши школьные, естественные, как воздух, вода и трава, встречи не

защищены от опасности уподобиться месткомовским балам. Можно забыть о цели встречи, сведя все к водочкам и закусочкам, а можно впасть в бездушную высокопарность ведь наши уста натренированы в парадном пустозвонстве. Своим добрым и неошибающимся сердцем Яшка неизменно предугадывает угрозу либо усталой натужности, либо старческой сентиментальности в духе ветеранов, его чуткое ухо улавливает и тот мерзкий тонкий звон, какой издает графин, когда по нему стучат карандашом, призывая к вниманию, — последнее не следует понимать буквально. Он тут же берет игру на себя и озонирует воздух. Удивительно ловко он это делает. Я пытался уловить, как возникает та или иная тема, помогающая ему вернуть праздник в праздник, но мне это никогда не удавалось. Он, конечно, ведущий наших встреч, не тамада, не распорядитель с бантом на рукаве, а чуткое, угадчивое сердце, которое всегда на страже. Вот и сегодня почему-то оказалось нужным, чтобы, отвечая на какой-то вопрос, он рассказал о своем зяте:

— Он чудный мужик, но, можете себе представить, старше меня! Когда он попробовал величать меня «папой», я ответил ему тем же, с чуть большим основанием. Мои сослуживцы прозвали его Долгожителем. И не забывают участливо спросить: «Ну как твой Долгожитель?» Но дочери с ним хорошо, а на остальное наплевать.

К исходу вечера, когда скорое расставание набросило тень печали на еще длящуюся, но уже ведающую о конце встречу, Яшка, чтобы подбодрить нас, прочел первомайское послание руководству своего института, щедро посыпанное аттической солью. «Лирику я посвящаю только нам, — пояснил Яшка, — всех остальных жалю сатирой. По-моему, вовсе не смертельной. Но недавно новый директор вызвал меня и спросил, что я думаю о выходе на пенсию. Я сказал, что работаю в институте тридцать один год, имею более ста научных трудов, в том числе шесть книг и пятнадцать брошюр, что моя лаборатория всегда была на лучшем счету, но при этом я нисколько не устал. „Но от вас устают другие, промямлил он. — И вообще, я чувствую, что мы не сработаемся“. — „Вы напрасно беспокоитесь, — сказал я. — Мне это говорили все ваши предшественники, а расставались мы друзьями. Идея о нашей несовместимости осеняла их регулярно после Первомая, Октябрьских праздников и Нового года“. — „Как?! — вскричал он. — Значит, на Октябрь и на Новый год — опять?..“ — „Опять, — подтвердил я грустно. — Такова традиция“. Он был умный человек и рассмеялся: „Ну раз традиция!..“»

Чего там дурака валять — мы уже старые люди. Но не внутри

своего круга, в том и заключается одно из главных чудес нашей дружбы, что, старея как бы параллельно, мы не замечаем следов, пятен, щербин времени друг на друге. Конечно, все крайние утверждения условны, — бывает, и поразишься, вдруг обнаружив плешь в седых поредевших кудрях златоглавого школьного херувима или превращение бывшей кошечки в тюленя, но обалдение это коротко, как вздрог. Андерсеновскому Каю попал в глаз осколок кривого зеркала, и все самое красивое на земле: юные лица, цветы, плоды, деревья — обернулось ему уродством. Когда мы вместе, божьи ангелы роняют из пухлых, с перетяжками ручек райское зеркало, и каждому безболезненно проникает в хрусталик крошечный его уломочек. Мы смотрим друг на друга и не видим ни морщин, ни одряблевшей кожи, ни погасших глаз, ни сутулости, вокруг не больные, усталые, наломанные войной и миром старцы, а юные пажи и прелестные фрейлины. Последний акт «Спящей красавицы». И когда Бамик Ф. атавистическим жестом берет немолодую руку Кати Г., своей школьной любви, руку, рывшую окопы на трудфронте, подсовывавшую горшки под раненых в эвакогоспитале, обожженную химикатами на производстве, прекрасную жесткую руку труженицы, у него под пальцами нежная лайковая кожа восемнадцатилетней красавицы, на которую он и дышать боялся. Такой она осталась для него навсегда. И для всех нас…

Но вот что удивительно, хотя иначе и быть не могло. Кому-то удалось разыскать и привести на общее рождение Шуру К., неизвестно по какой причине исчезнувшую с горизонта сразу по окончании школы, хотя она все это время жила в Москве и работала на ЗИЛе, — круглолицую смуглую Шуру, представшую по прошествии сорока двух лет симпатичной опрятной бабушкой. Наверное, она изменилась ничуть не больше всех остальных, но друг в друге мы вообще не замечаем перемен в силу их постепенности, а тут увидели сразу результат, и он ошеломил нас. А бедная Шура, потрясенная видом стариков и старух, помнившихся ей безусыми юнцами и свежими девушками, просто не могла поверить, что это прежние однокашники, и церемонно обращалась ко всем на «вы».

Потрясение было велико, и на помощь поспешил Яшка М.

— Не падать духом, все это уже было в литературе. Вспомните «Портрет Дориана Грея». Мы с Шурой открыли друг другу свой истинный облик. Но дальше пойдет не по Оскару Уайльду. Увидите, к концу вечера Шура покажется нам шаловливой красоткой, а мы ей — маленькими лебедями.

Так оно примерно и сталось… Да, мы все-таки старые люди, и порой нам делается и грустно, и больно, и даже страшно, и

безмерно, пронзительно печально, и как хорошо, что под рукой есть Яшка М!..

— Яшка — самый добрый человек на свете, — сказала мне Таня Л., сама исполненная редкой доброты. — Неотложная душевная помощь. Когда кому плохо, так сразу — к Яшке.

— Вот не знал… — начал я и осекся, сразу поймав себя на вранье, — уж мне ли не знать!

Это было много лет назад. Со мной случилась беда, испытать которую доводится, наверное, хоть раз в жизни каждому человеку, — нет, не меня бросили, от этого еще можно защититься, найти противоядие, а я сам оставил женщину, которую любил, и тут уж ничего не поделаешь, ничем не защитишься, как не поднять самого себя за волосы. Такое — бесповоротно, иначе бы не случилось вообще. Я не знал, как проживу остальную жизнь, но еще труднее было прожить наступающую ночь, первую ночь одиночества. И рука моя сама набрала телефон Яшки. Он не стал спрашивать: с чего, мол, да почему, как поступил бы на его месте каждый нормальный человек, не стал лопотать: давай, старик, лучше завтра, на работу рано вставать да и водку сейчас не достанешь, он просто спросил, где мы встретимся. «На улице Горького. У ВТО». Когда мы встретились там, ресторан был уже закрыт и толстый злой швейцар лишь выпускал запоздниших посетителей. Да простит мне давний грех Сергей Федорович Бондарчук — я выдал себя за него. В те годы густые седеющие волосы придавали нам некоторое сходство. Во всяком случае, подвыпивший швейцар сразу поверил и широким жестом распахнул дверь. Знакомая официантка, уже расставшаяся с фартуком и крахмальной наколкой, выдала из заначки три бутылки водки и лимон.

Всю ночь мы сидели с Яшкой в моей кухне, пили из чашек довольно холодную водку, запивая тепловатой, припахивающей хлоркой водой из-под крана и высасывая горькую кислоту из долек лимона, — в моем московском жилье, где я почти не бываю, холодильник пожизненно отключен. Яшка ни о чем не спросил меня и терпеливо слушал ту околесицу, которую я нес, чтобы заговорить «зубную боль в сердце». Говорил же я о чем угодно, только не о подлинной причине, побудившей меня сломать ему ночь и весь следующий день. Конечно, он и сам обо всем догадался, по-настоящему добрая душа всегда проницательна к чужой беде, но ничем себя не выдал. Утром, когда я без сил и сознания рухнул на тахту, Яшка прикрыл меня пледом и поехал на работу.

Он замечательно держит выпивку, только — еще добрее улыбка, еще теплее взгляд, лишь в последнее время у него стало

краснеть лицо. Но однажды его скосило — на поминках по нашему общему другу Юре П. В альбоме под именем Юры чистая страница, его вдова, тоже наша соученица, не выбрала времени написать ни о нем, ни о себе. А может, ей трудно?.. Яшка выпил тогда не больше обычного, но тут развалился в куски: рыдал, бился лбом о столешницу, падал. Он впервые хоронил друга, и душа в нем рухнула. Он не мог принять этой смерти. И другой наш друг, Боря Ф., маленький, слабогрудый, вынес Яшку, как раненого с поля боя, на спине и протащил через всю Москву — таксисты отказывались их везти — до своего дома, где уложил в постель и, сам давясь слезами, провозился с ним всю ночь. То был единственный случай, когда «неотложной помощи» понадобилась помощь со стороны.

4

Заговорив о Юре П., я не могу расстаться с ним так просто. Ему выдалась нелегкая, даже горестная жизнь. В школе у него все шло отменно, он был одной из самых популярных фигур среди старшеклассников, отнюдь не бедных яркими индивидуальностями. Худой, длинный, весь какой-то шарнирный, с копной летучих светлых волос, он лучше, всех в школе бегал на коньках и лыжах, прыгал с трамплина, частенько ломая свои косточки, которым недоставало фосфора. Он искуснее всех танцевал и, не зная нот, извлекал из рояля волнующие мелодии модных тогда блюзов, танго и фокстротов. Но мало этого: обладая редкой координацией движений и чувством равновесия, он творил чудеса на велосипедном круге Чистых прудов и на маленьком катке «Динамо», где сейчас теннисные корты. На велосипеде он делал цирковые номера: выписывал виражи, стоя на багажнике и не держась за руль, мог переместиться на ходу с седла на руль и ехать задом, мог поднять велосипед на дыбы и катиться на заднем колесе А динамовский лед он испещрял узорами сложнейших фигур на обычных хоккейных коньках. И наконец, он лучше всех ребят разбирался в технике, любой мотор, механизм был для него открытой книгой. Добавьте к этому общительность, легкость на подъем, всегда хорошее настроение, полное отсутствие тщеславия — и портрет Юры П. будет готов.

Мы еще кончали школу, когда осиротела наша соученица Нина В., в которую давно и безнадежно был влюблен Юра. Едва развязавшись с выпускными экзаменами, он поспешил сделать ей предложение. Его родители были решительно против столь раннего брака, к тому же мечтали об иной жене для своего сына.

Юра тут же порвал с ними и ушел из дома. Нина оценила его рыцарственный поступок — они стали мужем и женой. Трудно начиналась совместная жизнь молодых…

Юра поступил в технический вуз, Нина — в физкультурный. Учились, бедовали, духом не падали, друзья помнили о них. Когда Таня А, упоминавшаяся мною, вышла замуж, у них появился второй дом, всегда готовый пригреть, накормить, напоить. Юра не брезговал никакой работой: ставил «жучки» в квартирах, что-то чинил, что-то выводил из строя — по желанию заказчика, конструировал электроплитки и обогреватели, на которые был великий спрос в дни войны, наконец, сделал величайшую халтуру своих черных дней: осветил Елоховский собор, создав множество неповторимых световых эффектов и заработав кучу денег. Эта история имела последствия, поскольку беспечный Юра всюду таскал с собой священника Елоховского собора, включая и те партийные дома, которым интимная связь с видным церковником не могла послужить к украшению. Кое-кому нагорело… Я хорошо помню этого шустрого служителя культа: он приходил в штатском, но с волосами до плеч и прежде всего закреплял каштановую гриву женскими заколками на темени, после чего просил поставить «что-нибудь быстренькое». Танцор он был неутомимый, хлопнет стопку, понюхает черную корочку — и снова в пляс…

Нина и Юра окончательно вышли из нужды, когда начали работать. Нина — в школе преподавателем физкультуры, Юра — на авиационном заводе. Он быстро завоевал репутацию выдающегося специалиста. У них появилась машина, затем и хорошая квартира, не по дням, а по часам росли два мощных, кровь с молоком, сына. Юра так разнежился, что позволил себе «хобби» — аквариум с полным кислородным обменом — до сих пор не понимаю, что это такое. Но, к сожалению, «хобби» Нины оказалось не столь безобидно, как увлечение золотыми вуалехвостками и бархатисто-черными, с просеребью телескопами. Ей все время хотелось блистать и покорять. Мне противно становиться в позу моралиста, да и что мы знаем о чужой душевной жизни?! И разве не чарует из века в век миллионы людей бессмертный образ, созданный в странной грезе скучным аббатом Прево, пленительная Манон Леско? Насколько суше, холоднее и прозаичнее была бы жизнь без этого пронзительно женственного, добродушного и безвинного в своем неведении греха существа, которому господь бог не заложил в маленькое, тугое, ровно бьющееся сердце ни крупицы постоянства! Она просто не знала, что это такое, милая, беспечная Манон, она искренне любила преданного де Грие и,

желая, чтобы ему тоже было хорошо, посылала в утешение своих подруг. Но де Грие родился с роковой печатью — он однолюб, он может любить лишь свою Манон, все остальные красавицы мира для него не существуют. Наш друг не уступал в любви и верности кавалеру де Грие, словно взвалив на себя непосильный труд доказать жизненность образа, созданного в XVIII веке, в наше прозаическое, технарское время, к тому же весьма покладистое в вопросах нравственности.

Юра не жаловался, в компании по-прежнему был весел, лихо барабанил по клавишам, глушил себя работой и тем, чем обычно глушат боль русские люди. Он служил под началом некогда знаменитой летчицы; она помогла раскрыться его инженерному дарованию, терпела его прогулы и срывы и упорно боролась за него против него же. С ее поддержкой он много успел, получил высшие награды… Яшка М. сказал однажды: «Наш Юрка или пьет, или получает ордена». Время врачует далеко не все раны. Юра терял себя… Лишь однажды он собрался нацельно и пришел на встречу, посвященную пятидесятилетию нашей дружбы, достойно выдержал долгое застолье, хорошо говорил; он увидел, как все его любят, и ответил нежностью, и у нас мелькнуло, что Юрка вернулся, навсегда вернулся, но это оказалось прощанием. Через две недели его не стало.

Так, может быть, Юра был лучшим из нас? Уж во всяком случае, самым верным. Но существует и другая верность — собственному образу. Оставаться в нем всю жизнь — тоже мужество. И нет у меня слова упрека нашей старой подруге, которая до сих пор, всем годам назло, полна очарования. Если Юра все прощал Нине и до конца оставался с ней, значит, она была для него лучшей из женщин, и мы не вправе думать иначе, чтобы не оскорбить дорогой памяти…

5

Как трудно все же решить, кто из нас лучший. Стоило листануть альбом — и сразу мысль: а разве не лучше всех Мусик Т.? Он — Михаил, но со школьной скамьи носит это девчоночье имя и не хочет иного. Ведь альбом оформлял он и бестрепетной рукой вывел: Мусик. Прежде заводилой наших встреч и главной труженицей далеко не простых, да что там — крайне обременительных мероприятий была Таня Л., — она с дней войны собирала нас, как Иван Калита русскую землю, но сейчас, замотанная внуками и всей разросшейся семьей, она выпустила бразды правления, которые подхватили надежные руки

бывшей преподавательницы французского Туси П. Ей помогает энергичная Валя М. — звукооператор на пенсии, а общее идейное руководство осуществляет Галя Б., всю жизнь отдавшая партийной работе. Выйдя на пенсию, но не обретя покоя, Галя весь неизрасходованный общественный запал сосредоточила на школьных друзьях, что дарят нас чувством прочного идейного комфорта. С каждым годом организовать встречу становится все сложнее, уж слишком все заморочены, облеплены потомством, как пни опятами, утомлены собственными недугами, инфарктами мужей или затянувшейся молодостью жен, да и тяжела на подъем старость при всех благих намерениях, и на помощь слабому полу пришел начальник цеха контрольно-измерительных приборов химического завода, проще говоря — Мусик.

У Мусика есть одно необыкновенное свойство: впечатление такое, будто вот уже много лет он ничем, кроме школьных дел, не занимается. Если он не хлопочет по организации очередной встречи, то возится с нашими фотографиями: перепечатывает их, размножает, иные снимки увеличивает, в День Победы рассылает письма родителям и близким погибших фронтовиков, заполняет альбомы и тот, о котором я пишу, и еще один — жанрового, что ли, характера, разыскивает пропавших — у нас есть такие, о чьей судьбе до сих пор ничего не известно, или придумывает что-нибудь новенькое во славу старых Чистых прудов, где уже давно не живет. Помню, как я удивился, когда в Доме ученых он представил меня довольно молодой и очень интересной даме, назвав ее женой. Тут только до меня дошло, что Мусик — отнюдь не приложение к школьному детству, что у него есть своя, отдельная душевная и домашняя жизнь, семья, работа. Да и самого Мусика я увидел через эту привлекательную женщину будто впервые. Он замечательно сохранился — самый моложавый из нас, с яркими смешливыми глазами, и приятный теноровый голос его по-юному свеж и звонок. Он выглядит моложе двух наших «вечных юношей» — Лени К. и Бамика Ф., докторов наук, почтенных профессоров без седины и морщинки, стройных и легких, с мальчишеской повадкой. Молодец Мусик, такую жену смело выхватил из мира, вовсе постороннего Чистым прудам, а мне подсознательно казалось, что у него и быть не может своей, отдельной, из плоти и крови жены, лишь некая коллективно-духовная — наши бывшие девочки от А до Я.

Есть еще одно обстоятельство, что прочно держит Мусика в прежнем образе. Он не Герой Советского Союза, как Женя Руднева, не Герой Социалистического Труда, как Коля Р., не лауреат Государственной премии, как Мила Ф. не профессор, как Бамик, Леня или Игорь Л., не без пяти минут генерал, как

Слава П., не кандидат наук, как Гриша Т., Боря Ф., Аня С, Лида Э., Оля П., Витя К., Яшка М. Он даже не может, подобно большинству ребят, со скромной гордостью написать о себе, что за долгие годы вырос от… и до… Вскоре по окончании института, еще во время войны, совсем молодым, неопытным инженером, он был назначен начальником цеха. Людей не хватало, и ответственный пост доверили вчерашнему выпускнику. Наш скромный Мусик не оплошал, и, когда война кончилась и вернулись на завод матерые кадровики, его оставили во главе выросшего цеха. А потом прошло еще тридцать пять лет, и вопреки общепринятой драматургии Мусик не стал ни главным инженером, ни директором завода, не говоря уже о более высоких постах. Он остался начальником цеха. Правда, цех стал совсем другим: и по площадям, и по кадровому составу, и по техническому оборудованию, по объему, ассортименту и качеству выпускаемой продукции, по тем производственным задачам, которые сейчас решает. Вместе с цехом растет и наш друг, не отстает, не буксует, идет вровень, чуть впереди, как и положено руководителю, — из всех служебных карьер такая, на мой взгляд, заслуживает наибольшего уважения.

Мусик никогда не говорит о своих производственных делах и вообще о той жизни, которая не связана со школой, он не любит смесей. Но однажды мне удалось поймать его на коротенький, быстро им прекращенный разговор.

— Тебе сейчас, наверное, много легче работать? — спросил я.

— Труднее, — улыбнулся Мусик.

— Но у тебя же огромный опыт.

— Опыт не куча; навалил, взобрался и сиди, почесывая брюхо. Это штука динамичная, не выносящая застоя. Но дело в другом — проще было с людьми.

— А что — люди стали хуже?

— Нет. Была война, и каждый вкалывал на всю катушку. Что ни скажешь — тут же сделают. Потом восстановление — та же картина. А теперь — черта с два, ты докажи, растолкуй, убеди… Больно умными все стали…

— Расчетливыми, хочешь сказать?

— И это есть… Но вообще-то ребята хорошие, только другие. По-другому хорошие, по-другому плохие. Старые мерки не годятся. Но это интересно. «Покоя нет»…

Вот оно, главное, — покоя нет. И в этом причина душевной свежести нашего товарища, он не закоснел, не остановился, не подался к обочине.

— Ну а награды у тебя есть?

— Как же — две медали 800-летия Москвы!.. — Он

расхохотался и пошел петь дуэтом с профессором Леней «В любви ведь надо открытым быть и честным..» — их коронный номер.

6

…Листаю альбом. Мои дорогие друзья в подавляющем большинстве не корчат из себя словесников: их автобиографические справки предельно лапидарны. Листочки со скупыми признаниями наклеены рядом с фотокарточками — обычно не последних лет (на это отважилась лишь Ира Б-ва, затмившая в десятом классе нашу профессиональную красавицу Нину В.), но и не слишком уж давних У В. Розанова есть рассуждение, едва ли известное моим друзьям, что наружность человека в определенную пору жизни оказывается как бы в фокусе. Рассматривая фотографии известных писателей, В. Розанов говорил: «Это еще не Тургенев», «Это еще не Толстой» или «Это уже не Достоевский», «Это уже не Чехов». В фокусе происходит полное слияние внешней и внутренней сути человека, и тогда можно сказать: «Вот настоящий Тургенев… Толстой… Достоевский… Чехов…» У разных людей такое вот «наведение на фокус» происходит в разную пору жизни, чаще всего не слишком рано, но и не слишком поздно. Хотя возможны исключения, и кто-то уже в молодости выходит из фокуса, а кто-то попадает в фокус на излете дней. Наверное, мои друзья бессознательно руководствовались тем же принципом, лишь немногие, не ведая своего «фокуса» или не достигнув его, дали по две фотографии: школьную и сегодняшнюю — мол, разбирайтесь сами, где я больше похож на себя. Я помню наших соучениц в юном расцвете, и все же они правы, что выбрали другие карточки, отражающие их завершенную человеческую суть. То же относится и к сильному полу. Исключение составляют лишь те, кого война оставила навеки молодыми…

Автобиографии достойны того, чтобы быть приложенными к анкетам для поездки, скажем, на Золотые Пески в Болгарию — лишь самое необходимое, ничего лишнего, никаких эмоций, кроме дежурного (и при этом искреннего) выражения благодарности школе и преданности друзьям Но в самом лаконизме этих справок честность и душевное целомудрие, стыдящееся громких слов. Ведь это написано для своих, а свои все знают, все понимают и, где надо, сами заполнят пробелы в скупых строках.

Именно бесхитростность этих справок делает их документами времени. В них отчетливо проступает то общее, что характерно

для прожитых нами нелегких лет. В этом, не боюсь сказать, типичность, историчность скромного школьного альбома.

Наш выпуск был последним, когда мальчишки шли в институты, а не на действительную военную службу. Начиная с 1939 года у парней была только одна дорога: из школьных дверей на призывной пункт. Они зрели для первой жатвы самой страшной и беспощадной из всех войн. И все же многие из нас были на войне, иные не вернулись назад. Наши ребята попадали на фронт либо добровольно, либо по ускоренному выпуску медвузов. О некоторых я уже говорил. Погиб на фронте любимец школы, медврач Жорж Р., вернулась в звании подполковника медицинской службы Женя М, не вернулись рядовые Павлик С, Яша Ч., Коля Ф., Боря С, летчик-лейтенант Саша С; пришел, освободив Прагу, Будапешт и Вену, комвзвода Витя К., пришли, исполнив воинский долг, Володя А, Гриша Т., Ваня., К, Гриша Г., Юра Н. А у девушек были трудфронт, госпитали, строительство оборонительных сооружений, рытье противотанковых рвов. «Работала и училась», «Работала и училась».. — это прочтешь всюду, где о военных годах. Просмотрите толстый альбом с начала до конца, вы не найдете ни одного уклонившегося, ни одного пытавшегося обмануть судьбу, скользнуть боковой тропкой. Зато найдете немало таких, кто мог быть среди нас сегодня, но пошел на смерть…

Коля Ф. был студентом-автодорожником третьего курса, когда началась война. Он сразу рванулся на фронт, ему твердо сказали: доучивайся, на твой век войны хватит. Но его отец был арестован по ложному навету, и комсомольское сердце приказывало Коле кровью смыть отцовскую вину, в которую он сам не верил. Когда студентов послали на рытье окопов под Дорогобуж, он сумел уйти на фронт. Зимой 1942 года Коля сражался под Ленинградом, летом получил партийный билет. Каким же он был солдатом, если его, при столь печальной судьбе отца, приняли в партию! В ту же пору в рядах белорусских партизан сражалась его мать Мария Семеновна Коваленко. Мать вернулась домой, сын сложил голову под Мясным бором. Колин отец посмертно реабилитирован.

Коля Ф. был большой, красивый и застенчивый. Он словно стеснялся, что занимает так много места в пространстве, сутулился, сжимался, силясь умалиться. Потом я узнал, что не одна пара девичьих глаз оплакала его преждевременный уход.

Страница, предоставленная Саше С, кажется пустынной: две фотокарточки и справка — больше ничего. На маленькой карточке Саша — школьник восьмого или девятого класса. Фото явно официальное: строго анфас, под неизменной лыжной

курточкой — нашей прозодеждой, нашим спортивным костюмом и нашим смокингом рубашка-ковбойка и галстук — верх франтовства. Волосы разделены пробором, одна прядь кокетливо сброшена на лоб. Кому предназначалась фотокарточка — неведомо. Она не передает главного в Саше — его расцветки, он был немыслимо рыж и конопат. В школе блистал на волейбольной площадке: плассированная подача, необычайно точный, изящный пас, а гасил, как гвозди вбивал. Пошел Саша в авиацию. С начала войны — на фронте, штурманом на бомбардировщике. Вот он на другой фотографии в военной форме: лицо подсушилось, построжело, веснушки сошли, добротная командирская шинель, а на голове — буденовка со звездой, делающая Сашу похожим не на летчика Отечественной войны, а на конника гражданской. Что ж, помня прекрасные движения его веснушчатых рук на волейбольной площадке, легко вообразить, как ловко действовал бы саблей конник Степанов. Но у него была другая воинская специальность.

Министерство обороны СССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

103160, г. Москва, К-160 ч 173141117356 22 мая 1978 г

Тов. СТЕПАНОВОЙ Т. П.

125057, г. Москва, А-57, Ленинградский проспект, дом 77/2, кв 500

На Ваше письмо, адресованное в Центральный архив Министерства обороны СССР, сообщаю, что штурман экипажа 854 бомбардировочного авиационного полка лейтенант СТЕПАНОВ Александр Пантелеевич пропал без вести 5 июля 1943 года. Другими сведениями Главное управление кадров не располагает.

Начальник отдела ВОЙТЕНКО

Обратите внимание на дату ответа — 1978 год. Прошло тридцать семь лет с того дня, когда штурман Степанов не вернулся на свою базу, а его все ищут. Естественно подумать, что ищет мать, но ее уже нет на свете. «Тов. Степанова Т. П.», которой адресовано письмо, — наша подруга Туся, по мужу Степанова. Справки дают только родным, и Тусе ее новая фамилия помогает искать Сашу. Даже родная сестра Саши перестала ждать и надеяться, а Туся будет искать нашего рыжего друга, пока в ней

самой бьется сердце. Она дала для альбома эту официальную справку, потому что не хочет, чтобы о Саше писали как о том, кого уже не надо искать…

А страница, отведенная Борису С., до сих пор пуста. И я догадываюсь, почему так случилось. Рассказать о нем очень трудно. Он учился в нашей школе с первого по девятый класс, затем перешел в артиллерийскую спецшколу. Он жил в том же доме, где жили Павел Г. и Сарра М., где жило еще много наших ребят, в большом доме бывших политкаторжан, написать о нем должен был бы кто-то из его соседей. Став артиллерийским учеником, Борис изредка захаживал в свою старую школу, скромно гордясь щеголеватой военной формой, но связи наши ослабли, другое дело — ребята с одного двора, с ними он оставался по-прежнему близок. Но вот поэтому-то им особенно тяжело писать о нем, о горестной судьбе смелого и строгого юноши, в котором страна потеряла крупного военачальника, потеряла из-за мешка картошки.

Борис был прирожденным военным, командиром, он выбрал путь не просто по склонности, а по страсти, по всей душевной организации. Он мечтал о подвигах, о славе и начал готовиться к бою с четвертого класса. Он закалял свое тело: круглый год, в любую погоду ходил в рубашке из туальденора — джинсовой ткани нашего детства, не признавая ни пальто, ни даже лыжной курточки. Он тренировал себя походами — пешком, на лыжах, на велосипеде, дальними, трудными маршами сквозь осенний дождь и зимнюю вьюжную стужу. Спал на жестком, обливался ледяной водой, мог сутками не есть и не пить, читал книги только о войне и, крепкий, как кленовый свиль, был добр и великодушен, никого пальцем не тронул, потому что обладал душой воина, а не задиры-драчуна.

Уже в дни войны, накануне получения первого командирского звания, ночью во время дежурства Бориса по части со склада украли мешок картошки. Суров закон военного времени. Борис был судим и осужден с заменой тюремного срока штрафным батальоном. Свой проступок он должен был искупить кровью. Он искупил его смертью. Погиб Борис в первом же бою. На его воинской чести нет пятна Но разве это утешение?

Им могло бы гордиться Отечество, но гордимся лишь мы, его школьные друзья, ибо знаем, на что он был способен. И смертно жалеем, и ком в горле мешает вырваться словам о нем. Но они будут, эти слова…

Меня властно манят ушедшие, хотя их, по счастью, куда меньше тех, кто продолжает дело жизни. Наверное, это правильно и справедливо, «ведь мертвые уже не мертвые, когда живые благоговейно воскрешают их образ». И жаль, что у меня так мало сведений, чтобы достойно воссоздать образ погибших на войне. Я и о живых знаю далеко не все, но не унижу ни их, ни себя «писательскими» расспросами о том, что мне осталось скрытым в их душах и жизненных обстоятельствах. Все это должно прийти ко мне из прошлого и настоящего, из воздуха наших встреч, из беглых слов, улыбок, вспышек доверительности, морщин, уж и не знаю — из чего еще узнаешь так много о близких людях, не подвергая их ни следовательскому, ни журналистскому нажиму; из всего движения жизни приходит по крупицам такое знание и складывается либо в завершенный, либо в приблизительный образ. Пусть лучше останутся пробелы в этих записях, но пополнять их искусственно я не стану.

Пока что я просто перелистываю альбом, читаю скупые строчки, вглядываюсь в лица тех, кто только что покинул мой дом, кто уехал на большом автобусе, раздобытом, конечно, Мусиком, всесильным, когда дело касается дружбы. Достать автобус в предолимпийские дни оказалось непосильным для наших Героев, лауреатов, профессоров, это сделал в два счета скромный начальник цеха.

Они уехали, оставив почти все вино невыпитым, — нам не нужно стимуляторов, когда мы вместе, и, хотя среди нас имеются любители заздравного кубка, даже им хочется хмелеть не от помоев алкоголя, а «от слез, от песен, от любви». Остались цветы, легкий беспорядок, который хочется сохранить как последнюю память, помада на краешке чашек, рассыпанные по дивану пластинки с мелодиями тридцатых годов, под которые мы когда-то учились танцевать, удивительно неуклюжие и косолапые в отличие от нынешних гонцов, рождающихся с твистом и шейком в крови, запах скромных духов и какой-то печальный воздух, и печальный, уже ненужный, по всему дому свет, и этот альбом в красном коленкоровом переплете.

Краткие записи помогают уловить то общее в нашей участи, о чем я уже говорил и что роднит выпускников 1938 года Чистопрудной школы с выпускниками всех других школ страны, со всем поколением, делает их судьбу частицей судьбы народной. Но индивидуальное, создающее неповторимость лица, куда труднее вычитать в застенчиво-скупых строчках, большей частью просто невозможно, но когда что-то знаешь, то, ухватившись за кончик нитки, можно распутать целый клубок.

Для меня полной неожиданностью оказалось признание

Иры М.: «К сожалению, надо сказать, что в детстве у меня дома, в семье было много неблагополучного..» До чего же гордо-скрытная натура была у стройной, сдержанно-приветливой, легко и ярко красневшей девушки, если она не позволила никому заглянуть себе за плечи! Ира не рвалась к школьной премудрости, но из самолюбия заставляла себя хорошо учиться. Теперь я понимаю, чего это ей стоило. Наверное, оттого в школьных стенах в ней чувствовалась некоторая напряженность, исчезавшая напрочь на Чистопрудном катке. Тут она мгновенно преображалась. У нас многие девчонки отлично бегали на коньках, но куда им до Иры! У нее был шаг, постав и дыхание прирожденного скорохода Она стелилась по льду, с горящими глазами отмахивала круг за кругом машистым шагом красивых сильных ног, глубоко и ровно дыша высокой грудью. Отваливалась с души вся тяжесть, жизнь искрилась и пела, как облитый электрическим светом лед под остриями ее коньков.

В свободу, открывшуюся за дверями школы, она вкатилась, будто с мощного разбега по Чистопрудному льду: в 1938 году поступила в педагогический институт, в 1939-м вышла замуж, в 1940-м родила сына. Что ни год, то радость. А дальше война — и все пошло вкривь и вкось. Эвакуация оборвала учебу, муж вернулся с фронта контуженый, с осколком в легких. Начались годы мучительной борьбы за жизнь, здоровье и будущее мужа. О себе она напрочь забыла, но мужа спасла. Он выздоровел, окреп, получил гражданское образование, начал работать и быстро пошел в гору. Пора было Ире и собой заняться, но родилась дочь, и надежды на продолжение учебы в институте вновь пришлось отложить. Все же ей повезло больше, чем Джуду-незаметному, до могилы мечтавшему о высшем образовании: через двадцать лет после окончания школы. Ира получила институтский диплом. Начала жадно работать: преподавала, вела аспирантов, переводила техническую литературу. Ну и, конечно, воспитывала детей. Вновь ощутила она под ногами забытую радость скользящей, несущей вперед поверхности. И тут ей нанес удар человек, для которого она стольким пожертвовала. Он знал ее терпеливую доброту, самоотверженность, преданность семье и думал, что ему все сойдет с рук. Он забыл, что жена его была еще и гордым человеком. Ира указала ему на дверь. Осталась работа, остались дети, оба получили высшее образование. Теперь сын — начальник отдела в научно-исследовательском институте, дочь — старший инженер. И остались у Иры мы. Вот что она пишет:

«Наши школьные встречи приносят мне много радости, дают силу, уверенность в себе, в делах, в жизни, хотя помощи я ни от кого не просила. Жизнь сложилась трудная, но сознание, что рядом

есть школьные друзья, всегда поддерживает, внутренне собирает».

Дорогие слова! И как прекрасно, что, хоть в трещинах и буграх был лед, не сбился твердый, машистый шаг чистопрудной конькобежки!..

8

Еще труднее судьба выпала Лиде Ч. Она даже не смогла приехать на нашу встречу, но никто не обмолвился в ее адрес и словом упрека. И один из первых тостов мы подняли за ее здоровье — худенькой, хрупкой, с прозрачными, исколотыми иглой пальцами великанши духа.

Лишь однажды кроткая, бережная к друзьям Лида повысила голос. «Не смейте меня жалеть!» — прикрикнула она на Таню Л, перебравшую в добрых чувствах. Пусть лучше Лида сама скажет о себе:

«Я, Лида Ч., родилась в 1919 году, 3 октября. После окончания школы № 311 в 1938 году поступила в инженерно-экономический институт. Проучилась там два курса. По семейным обстоятельствам вынуждена была его оставить. Работала в Министерстве строительных материалов инспектором военного отдела до 1946 года, а затем ушла с работы, так как заболел муж.

У меня сын и двое внуков. Одному 7 лет, а другому — 8 месяцев. Муж тяжело болен и требует повседневного ухода за собой.

Министерство мелиорации обещало нам предоставить отдельную квартиру в Марьино, так как мы живем в коммунальной квартире.

Я всегда с вами, мои дорогие друзья, и хотя у меня жизнь сложилась не так хорошо, как у вас, но я стараюсь делать все так же полно, как и вы, воспитала сына, сейчас занимаюсь воспитанием внуков.

В этом я нахожу свою цель и любовь к жизни».

Есть ли весы, способные измерить тот труд и то терпение, те жертвы и те замороженные в груди слезы, тот страх и надежды — словом, всю ту жертвенную самоотдачу бессрочной вахты, которую несет Лида возле любимого беспомощного человека, своего мужа, отца ее ребенка? Я не жалею тебя, Лида, разве можно жалеть человека, способного на такое! Скорее уж мне надо жалеть себя самого и всех тех, кому никогда не подняться до твоей высоты.

Болеть дорого даже там, где врачебная помощь бесплатна: о

том, как жила семья на пенсию парализованного человека, могут рассказать Лидины исколотые пальцы, Лидины бессонные ночи. Но настал день, когда отступились лечащие врачи, когда у самых близких опустились руки. И вот тогда рядом с Лидой оказался тот единственный врач, который мог поспорить со смертью, потому что вооружен был не только врачебной наукой, а тем, что больше знаний, — ее школьная подруга, бывшая первая ученица, правильная девочка со скучными косичками, короче — Нина Д. С тем же спокойно-сосредоточенным видом, с каким прежде готовила домашние задания или писала контрольную, она занялась спасением едва тлевшей жизни. И справилась с этим уроком столь же безукоризненно, как и всегда.

Крайние утверждения никогда не бывают истинными. И цельная, уравновешенная, крепкая Нинина натура однажды спасовала перед стихийной силой жизни. Такой вот стихией вторгся в ее размеренное, опрятное бытие нежданно-негаданно для всех окружающих, а более всего для самого себя, лихой малый, наш соученик, есенинская душа Ваня К. Он невелик ростом — особенно рядом с Ниной — да и тот добрал уже после школы, сильно лысоват, а какой смоляной зачес вскипал над его лбом, когда он носился по футбольному полю, один из лучших, а главное, неистовых, азартных игроков нашей школьной команды!

Он был таким во всем: если уж чем увлечется, то всегда через край. Когда-то кожаный мяч прикончил его рвение к наукам, но, в свою очередь, был побежден шашками — Ваня стал мастером спорта, чемпионом Москвы; затем, будто спохватившись, что не спортом единым жив человек, в темпе окончил юридический институт и помешался на стихах; не знаю, пишет ли он сам, но помнит наизусть всю русскую поэзию. Кумир же его — Есенин.

Смелая, неординарная жизнь Вани (он и отвоевал горячо — с контузией и ранениями) исполнена крутых поворотов, метаний и случайностей. Реки, выходя из берегов, затопляют тихие долины. Ванин безудержный разлив достиг Мининых ног, забурлил и на мгновение сбил ее с твердой почвы.

Продлись их совместная жизнь дольше, не исключено, что текучая Ванина суть обрела бы четкую форму. Но поток, прорвав плотину, устремился дальше. Отхлынувшие воды оставили на влажном песке больное тельце ребенка, в котором притаилась испуганная душа, — Ванину дочку от первого брака. Движением спасителя Нина наклонилась и подняла забытое человеческое существо, просто и спокойно, как всегда, взяв на себя ответственность. Она вылечила и воспитала Ванину дочку, отплатившую ей не просто благодарностью, а тем, что стала хорошим и счастливым человеком.

Такова наша Нина — первая во всём: в учебе, профессии, доброте, преданности, дружбе. И еще одна маленькая подробность. У Нины появилась — уже давно — однофамилица из наших соучениц. Та, что металась рядом с ней в тифозном бреду на госпитальной койке, в лагере для немецких военнопленных, Ира Б-на. Вот несколько строк, завершающих Ирину «справку» в альбоме:

«Первый раз я вышла замуж после войны в 1945 году. Замужество было очень неудачным. Через несколько лет я вышла вторично за брата Нины Д., тем самым окончательно породнившись с ней».

В последних словах звучит нотка гордости. Так мог бы написать один из светских героев Марселя Пруста, породнившись с домом Германтов, первым в Сен-Жерменском предместье. Гордость Иры основательнее, ибо перед аристократизмом духа ничто гербы и поколения родовитых предков…

Неудивительно, что при таких отношениях наши старые «ребята» роднятся уже и через младшее поколение. Дочь Вали К. вышла замуж за племянника Лиды Ч. и уехала с ним в Ригу, откуда он родом. И недавно туда же последовала сама Валя, и опустело ее место за нашим дружеским столом. Неисповедимы промыслы божьи, в данном случае скорее антихристовы. Рослая, прекрасно сложенная, свежая, бодрая Валя К. как будто решила доказать, что старость приходит лишь к тем, кто на нее согласен. И на последней встрече, как некогда в школе, при виде Вали во мне сразу ожили строки из «Будрыса»: «И, как роза, румяна, и бела, как сметана, очи светятся, будто две свечки». Но там это сказано о полячке младой, Валя же — русская до последней кровиночки — кустодиевская красавица, но без телесных излишеств, русская Венера, держащая образцовую спортивную форму. Лишь у висков красиво седели волосы, придавая особую прелесть румяному ясноглазому лицу. Но когда Валя, дослужившись до пенсии, вырастив дочь, не числя за собой никаких долгов: ни гражданских, ни нравственных, радостно готовилась к той новой заботе, что приходит рано или поздно к матерям взрослых дочерей, долголетний спутник ее жизни счел себя свободным от всяких обязательств и решил начать «новую жизнь», полагая, видимо, что старая полностью себя исчерпала. Мы ничего об этом не знали, но рядом с Валей была Лида Ч., которая поняла, в каком душевном и физическом вакууме осталась ее подруга, так любившая свой дружный, веселый, населенный дом, и что ей не справиться одной. Лида настояла на переезде Вали в Ригу к молодоженам.

Недавно там с «инспекционной поездкой» побывал наш друг

Шура Б. и привез успокаивающие известия: Валя акклиматизировалась, занимается внуком, обретая былой душевный покой, хотя и очень скучает по старым товарищам.

На нашей встрече я болезненно ощущал черный провал в столь плотно заполненном пространстве — не было яркого кустодиевского мазка, не было Вали…

9

Как бы писатель ни пытался быть верным изображаемой действительности, равнозначия никогда не достигнуть. Всякая «быль» в литературе все-таки не быль. И происходит это не из-за спонтанной игры воображения, побеждающей в тебе правдивого свидетеля и добросовестного писца, а в силу неизбежного сгущения материала, из которого ты строишь. Всякое искусство, имеющее дело со временем, обязано работать на сжатие: литература, театр, кино, — иначе действие повести, пьесы, фильма должно быть равно по времени изображаемым событиям, что, разумеется, невозможно. Не стоит говорить о тех исключениях, когда изображаемое событие столь же непродолжительно, как и рассказ о нем.

Сжатием неизбежно уничтожается второстепенное, вроде бы незначащее, лишнее, остается лишь главное, сердцевина. Но если говорить серьезно, разве есть в жизни что-то незначащее, тем паче лишнее? Нередко в этом лишнем, в паузах бытия и заключается то, что станет будущим, и, вообще, главное так переплетено с неглавным, что нельзя их разнять, это не сцеп, а сплав. Кто-то сказал: «Жизнь — не предприятие, а состояние», — мудрейшие слова, и, стало быть, в ней ценно каждое мгновение, вся мимолетность. Литературное сжатие материала действительности независимо от воли автора нарушает пропорции, нередко создает ложную картину.

В моих записях это привело к тому, что Чистопрудные ветераны стали друг для друга словно бы подпорками, некими часовыми дружбы, кассой душевной взаимопомощи. Не товарищеский круг, а кооперативное общество «Дружба», вроде того, что создала калечная героиня маленького и очень сильного романа Эрве Базена «Встань и иди» Это история девушки-инвалида, которая собрала вокруг себя своих бывших друзей и создала «службу взаимовыручки». Для тех социальных условий, в которых действуют герои Базена, и, добавлю, для тех характеров, которые он создал, взбалмошная затея калечки оборачивается высоким подвигом. Но мы — из бессмертной 311-й — живем в

иной действительности, у нас нет необходимости все время за кого-то судорожно цепляться, большинство жизненных проблем решается не частным путем, что вовсе не исключает личного участия в чужой судьбе. Но нам противна расцветшая в последнее время меновая форма общения: ты мне достанешь дефицитное лекарство, я тебе — билеты в Большой театр, ты мне — запчасти на машину, я тебе — путевку в Сочи, ты назовешь меня «советским Чеховым», а я тебя — «современным Горьким».. Не стоит дальше перечислять: эта короста на теле общества к моему рассказу никакого отношения не имеет. Но есть и другое, о чем сказала Марина Цветаева: дружба, исключающая всякую помощь в беде, — это не дружба. И было бы дико, если б мы в угоду голому принципу жертвовали естественной склонностью человеческого сердца прийти на помощь тому, кого любишь. Но вот что важно: у нас никто не просит о помощи, и если ее все же оказывают, то по собственной угадке (за сорок лет лишь считанные разы прозвучал сигнал «SOS!»), но мало этого — помощь принимают, лишь находясь на краю. Мы не хотим обременять нашу дружбу ничем инородным, всеми силами оберегаем ее свет и чистоту от обывательщины любого сорта. Помню, как накинулась на своего сына добрая Таня Л., когда тот обратился ко мне с какой-то пустячной просьбой: «Это что еще такое? Мы дружим пятьдесят лет и ни о чем не просили друг друга, а ты, паразит, ишь, сообразил!..» Жизнь, здоровье, судьба — тут мы на страже, но создавать друг другу бытовые удобства недостойно наших отношений. Мы хотим друг от друга лишь того, что дарят глаза, и слух, и кожа, ощущающая, как тепло, присутствие дружественной плоти, и сердце, которому легко и покойно.

Человек атавистически боится за свою спину, нет ничего страшнее нападения сзади. Недаром же и путники на дорогах и прохожие на городских улицах часто без нужды оборачиваются. Когда мы друг с другом, нам не надо озираться, бояться за свою спину. Чувство безопасности, защищенности, которое мы дарим друг другу, возвращает нас к детству, когда мы и впрямь были так чудесно защищены всемогуществом взрослых…

10

Немногословие моих друзей иной раз вызывает досаду. Разве вычитаешь необыкновенную судьбу Милы Ф. в коротенькой справке, кончающейся сообщением о присуждении ей в 1978 году Государственной премии СССР «за разработку вопросов консервации крови». Когда-то Юрий Олеша острил по поводу

медсестер, бравших у него кровь: «Служба крови», — и сам гордился своей остротой. Но вот то, чем занимается Мила Ф., и есть служба крови в прямом смысле слова.

Много было крови на пути самой Милы, такой домашней, уютной, созданной для теплой, тихой семейной жизни, какая вроде и была обещана ей в детстве. Но прожила она совсем другую: трудную, тревожную, порой мучительную, разрывную, но сильным человеком оказалась наша розовая, толстощекая, русоволосая Мила и обломала рога судьбе, пытавшейся сломать ее.

Бывают дети, чья главная жизнь проходит в школе, там находит пищу их неуемная любознательность, раскрываются ранний общественный темперамент, организаторские способности — такими были Женя Руднева, Ляля Румянцева, Бамик Ф.; другим школа дарит успех и поклонение: Ире Б-р, Нине В., Ире Б-вой, или славу — Коле Р., победителю математической олимпиады, выдающимся спортсменам Юре П. и Ване К. Мила в школе была малозаметна, да и не старалась привлекать к себе внимание, не то лишний раз вызовут к доске, училась же Мила весьма средне. Даже зная урок, отвечала тихо, отрывисто, неубедительно, вся красная от смущения, и жалобный взгляд из-под светлой пряди молил: да отпустите вы меня, зачем мучите ребенка? Она не была ни общественницей, ни спортсменкой и многим казалась недалекой девочкой.

Но совсем другой становилась она, когда отваливался школьный гнет. Мне памятен, как золотая сказка, нарядный, изобильный Милин дом, так непохожий на все наши коммунальные норки. Милин отец был крупным военачальником, комкором, семья занимала четырехкомнатную квартиру в большом доме военных между Чистыми прудами и Потаповским переулком. Мы, четырнадцатилетние подростки, приходили в гости к Миле, но ужинать нас приглашали вместе со взрослыми, это было ново и ошеломляюще. Нам наливали по рюмке вина, что еще повышало наше самоуважение, и с удивительным тактом щадили юную ранимость; не было ни фальшивых потуг включить нас во взрослый разговор, ни снисходительного и тем обидного внимания, нас просто предоставляли самим себе. Нам разрешали послушать после ужина, как влюбленный в Милину мать молодой поэт с лишним позвонком в шее громко, раскатисто читал стихи о гражданской войне, в которой по возрасту не мог участвовать.

А потом мы уходили в Милину комнату, где ставили пластинки с хорошей музыкой, смотрели книжки и альбомы по искусству, фотографии знаменитых певцов. Мила была меломанкой, любила театр, видела все лучшие спектакли, много

читала, с ней было на редкость интересно, ее нелепая школьная застенчивость оборачивалась тонким очарованием сознающей себя женственности, и я, наверное, влюбился бы в Милу, если б уже не был влюблен в ее мать. Мила была очень похожа на свою мать: красками, линиями, обещанием стати и странным жаром, который то ли исходил от нее, то ли возникал во мне самом как ответное пробуждение чего-то еще неведомого. Но Мила лишь обещала стать тем, чем ее мать уже была. И я смертельно завидовал длинношеему поэту, хоть он и не участвовал в гражданской войне, которую воспевал, но все же носил высокое звание взрослого мужчины.

Свет, музыка, стихи, весь праздник дома кончился в 1937 году, когда отец Милы разделил участь Тухачевского, на которого походил внешне: литой красавец с мощной грудью. Мать Милы пропала на долгие годы, а наша подруга переехала к тетке в огромную коммунальную квартиру в Брюсовском переулке и кончала другую школу.

Я бывал в Брюсовском и узнал новое Милино окружение, ее прекрасную, с легкой сумасшедшинкой тетку, навек зачарованную Надсоном; она напоминала цветок, засушенный меж листов толстого фолианта и забытый там, но не «безуханный», как у Пушкина, а источающий тонкий, сладкий и волнующий аромат старины, где гимназии и курсы, Надсон и святые идеалы, прокуренные сходки и рахманиновские «Вешние воды»; и была еще там молодая арфистка, тоже отключенная от действительности, она играла нам паваны, гальярды и чаконы, я смотрел на Милино лицо, держащее в насильственной улыбке, в расширенных зрачках какое-то бедное мужество, вспоминал ее мать, и мне становилось так больно, что с тех пор я боюсь арфы.

Снова я встретился с Милой уже в войну, в те провальные, черные для меня дни, когда после контузии, госпиталя и медкомиссии судорожно противился предписанной мне участи инвалида. Я разыскал Милу через ее тетку; война, чадящая и не дающая тепла печурка в неотапливаемой комнате, «служащая» карточка, по которой изредка давали яичный порошок и порошковое молоко, не поколебали любви тетки к Надсону и верности святым идеалам. Мила жила теперь у своей свекрови, в Сверчковом переулке, наискось от дома, где я родился и прожил первые семнадцать лет жизни. Оказывается, она вышла замуж за недруга моих отроческих лет, черноглазого мотоциклиста Дарика и уже стала вдовой Дарик погиб на фронте. Но когда я пришел в ее грустный дом, мальчишеские драки и вражда были справедливо расценены как старая дружба, и меня по-родному встретили — не только сама Мила, но и мать Дарика, красивая

армянка со строгим аристократическим профилем. Я никогда не видел, чтобы мать, только что потерявшая сына, с таким достоинством несла свое горе. Она не избегала говорить о сыне, охотно слушала мои рассказы о нем, но не позволяла переходить какой-то грани, где начиналось царство лишь ее скорби. Отношения свекрови с невесткой нельзя было назвать просто хорошими, даже нежными, это было какое-то взаимопроникновение друг в друга, братство боли, неразмыкающееся душевное объятие. Мне открылось это довольно неожиданным образом. Поначалу я опасался, что мой вид неприятен матери Дарика — живой, а ее мальчик лежит в мерзлой земле; болтающий языком, когда он замолк навсегда, и почему я возле Милы школьный друг? — ну, так и оставайся в памяти детства. И вдруг я понял: она хочет, чтобы я был у них, рядом с Милой, и не только у них, совсем не у них, чтобы я увел Милу в другую жизнь, ибо она не считала жизнью Милино существование при ней. Она знала, эта умная армянская женщина, что у нее самой есть более сильный стимул выжить, чем у Милы, ей нужно вырастить младшего сына, и у нее хватит сил это сделать без помощи выматывающей себя ради них молодой женщины, ставшей вдовой, едва вступив в брак.

Мила окончила стоматологический институт — туда легче было поступить, чем в любой другой медицинский, но война сделала из нее хирурга, сперва по лицевой, а там и по общей хирургии. И открылся Милин талант — она оказалась хирургом милостью божьей, вскоре ей стали доверять самые сложные полостные операции. Она работала на износ: операционная, истерзанные человеческие тела, кровь, кровь, смертельная усталость, печальный полумрак дома свекрови — вот и все. А матери Дарика хотелось для нее хоть немного счастья. И я чувствовал, что темные глаза этой женщины испытующе и вроде бы с надеждой останавливаются на мне. У Милы никого не было, кроме пребывающей в эмпиреях тетки, а тут появился выходец из ее прошлого, однокашник, товарищ погибшего мужа, старый друг, знавший и чтивший ее родителей, крепко стукнутый фронтовик, последнее тоже было важно — не тыловой сверчок. Догадывалась ли Мила о том, что никогда не облекала в слова ее свекровь? Не знаю. Что думала сама Мила о нашей вновь начавшейся дружбе, такой же странно осторожной и что-то всегда не договаривающей, как в детстве, — не знаю. Я был свободен и подавлен этой непрошеной свободой, потеряв — не в смерти — свою первую любовь. Но я был подавлен не только любовным крахом. Я вроде бы уцепился за поручень уходящего поезда — съездил корреспондентом-разовиком от «Комсомольской правды» на

исход Сталинградской битвы, когда подчищали Тракторозаводской поселок, увидел и первые шаги возрождения почти уничтоженного города, написал обо всем этом и получил приглашение стать… собкором по глубокому тылу. Но и это еще полбеды: возвращаясь из Сталинграда товарным вагоном, прицепленным к эшелону с немецкими военнопленными (может, на одном из них сидела та сыпнотифозная вошь, которая погубила Лялю Румянцеву?), я отравился трупной водой, которую набирал прямо с раскисших мартовских полей — нескончаемого солдатского кладбища. Водокачки были взорваны, разбомблены, а машинист запретил брать воду из паровоза. Я заболел сталинградским колитом, так называли врачи эту ужасающую желудочную болезнь. Мало того, что я исхудал, как скелет, ослабел, как дистрофик, через каждые пятнадцать-двадцать минут я должен был мчаться в туалет, невзирая на обстоятельства. Мила — врач, она и не такое видела, но в качестве жениха я сам себе был омерзителен. И я дал себе слово исчезнуть до полного выздоровления — будто можно хоть от чего-то вылечиться! Когда же немного пришел в себя, то сразу уехал на фронт военным корреспондентом «Труда», а вернувшись, как раз успел на Милину свадьбу, которую справляли в знакомом доме по Брюсовскому переулку.

Мила увидела своего будущего мужа впервые на госпитальной койке, затем на хирургическом столе. Я уже говорил, что она стала хирургом «за все», ей доверяли — и охотно — случаи, теоретически безнадежные. Распространено мнение, что у хирургов руки похожи на руки пианистов, та же мощь с утонченностью (вспомните сильные, длиннопалые, чуткие руки знаменитого хирурга Юдина на портрете Нестерова — чем не дивные руки Святослава Рихтера!). Но и у выдающихся пианистов бывают маленькие руки, едва охватывающие октаву, например, у Генриха Нейгауза, учителя Рихтера. И маленькие, пухлые руки Милы с тонкими короткими пальцами, облитые резиновыми хирургическими перчатками, умели делать чудеса, приближаясь к истерзанной плоти раненого. Но такой истерзанной, такой измученной плоти еще не видела хирург Ф.: от молодого, красивого лейтенанта осталась одна оболочка, внутри все было перемолото. И Мила начала борьбу за человеческую жизнь, как делала уже сотни раз, с той лишь разницей, что никогда еще борьба не казалась ей настолько безнадежной. И невдомек ей было, что в эти нескончаемые, мучительные часы над операционным столом она спасала не только жизнь молодого офицера, но и свою собственную судьбу, своих будущих детей и детей этих детей. Наверное, лейтенанту очень хотелось жить,

потому что одной медицины тут было недостаточно. Его молодая воля к жизни помогла и хирургу, потерявшему сознание по окончании операции, и всем тем, кто потом раздувал еле тлеющий огонек.

А когда лейтенант окончательно очнулся в жизнь, то обнаружил, что его чувства к хирургу Людмиле Ивановне отнюдь не исчерпываются благодарностью.

И вот я гуляю на скромной военной свадьбе. Глядя на новобрачного, никак не скажешь, что он вернулся с того света: рослый веселый красавец, приятно поющий под гитару, с точными, изящными движениями. Последнее неудивительно: три его сестры — балерины, причем две старшие — примы Большого театра; карьере младшей помешал вошедший в семью ее мужем знаменитый бас — голос требует жертв. Усердно и чуть грустно пью я рюмку за рюмкой за здоровье молодых. Единоборство со сталинградским колитом было выиграно, хотя и не столь полно и решительно, как одноименная битва, повернувшая войну вспять, а главное — слишком поздно.

Я смотрю на Милину сегодняшнюю фотографию: она в белом халате и белой шапочке, очень взрослая и серьезная, доктор медицинских наук, лауреат, бабушка. У Милы спокойно на душе (впрочем, откуда я знаю?): ее мать давно вернулась, а тому, кого уже не вернешь, возвращено доброе имя. Красивая и мужественная армянская женщина хорошо воспитала своего младшего сына, брата погибшего Дарика, сейчас он один из первых кинорежиссеров.

Долгих радостных лет тебе, Мила, ты лучшая из нас…

11

Но вот я открываю альбом на фотографии девятнадцатилетнего юноши с теннисной ракеткой в руке и знаю, что лучше него для меня нет, не было и не будет. Мой первый друг, мой друг бесценный!.. Есть у меня рассказ с таким названием, где я в который раз пытался передать его черты и, как всегда, не сумел этого сделать.

А когда-то я написал единственную в моей жизни большую повесть, которую назвал его именем — «Павлик», хотя там была использована моя собственная фронтовая история — лишь конец вымышленный, а рассуждение о том душевном ущербе, из-за которого молодого человека зовут детским уменьшительным именем, тоже не имеет никакого отношения к моему другу. Павликом его называли после школы лишь старые друзья. Но,

впервые затеяв длинную работу и догадываясь, как она будет мне тягомотна, я нарочно назвал героя Павликом, потому что мне сладко было писать: Павлик, Павлик, Павлик…

Из альбома:

«Павлик учился в нашей школе с первого до последнего класса и при этом для многих, почти для всех, прошел как бы стороной. Считалось, что он „при мне“ и, как я убедился во время наших встреч, таким и остался в слабой памяти соучеников. Но только не в моей памяти… Не бывает дня, чтоб я не вспомнил о нем с болью, нежностью, уважением, безмерной благодарностью. Он был лучше меня: цельнее, чище, вернее, духовнее. Потому и стал он для меня так бесконечно важен на всю жизнь, что в детстве и юности я был при нем, а не он при мне — вопреки очевидности.

Он был на редкость сдержан, столь же искренен и раним, поэтому неохотно допускал кого-либо в свою душевную жизнь. Даже собственная семья плохо его знала. Павлик не был однолюбом в дружбе: кроме меня, он любил так же, как и я, талантливого, острого, изящного в каждом движении, доброго и дерзкого Осю Р. мальчика из другой школы. Он тоже не пришел с войны….»

Само собой подразумевалось, что в альбом о Павлике напишу я. Но не туда меня повело. Зачем надо было укорять друзей, что они не сумели оценить Павлика по достоинству? И совсем уже глупо обвинять Валю З., нашу соученицу, единственную девушку, которую любил Павлик, что она не ответила ему взаимностью. Ведь он не приказывал мне:

Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей
Пускай она поплачет,
Ей ничего не значит.

Вот и она смотрит на меня со страниц альбома: в строгом английском костюме, преподавательница английского языка сперва в школе, потом в институте, жена кандидата технических наук, мать сына-инженера. Она мало изменилась, только как будто развеялась, отлетела прочь легкая дымка, что заволакивала ее лицо с далекими серо-зелеными глазами и непонятно кому обращенной полуулыбкой крепких темных губ. Теперь в этом лице все ясно, четко и понятно. Ее муж и сын работают в НИИгидромаше. Я прочел об этом и окончательно успокоился. Близ НИИгидромаша смолкают страсти…

…Но что это было?.. Прошло пять лет, и я уже не берусь судить: явь ли это, или сон, или греза наяву, или слишком

сильная работа воображения, материализовавшая видение, или принуждение памяти к самообману?.. Но это все оговорки здравомыслия — собственного — в угоду здравомыслию других. Про себя же я знаю, что это было, было и подготовлялось долго, в той странной, иронической манере, какую почему-то избирает потустороннее, обнаруживая себя смертным людям. Не к лицу тайным силам несерьезное обличье, и первым на это обратил внимание Лесков в своем загадочном рассказе «Белый орёл».

А все началось с мух. Изумрудных, блестящих, металлических, тучей накинувшихся на меня в глубине леса. Они облепили мое лицо, путались в волосах, бились с размаху в глаза, мгновенно и больно жалили. Комару, чтобы укусить, надо пристроиться, выпустить жало, проткнуть кожу, а эти изумрудные разбойницы шли в атаку шильцем вперед и наносили укус с лету. Вначале мне было смешно, потом досадно, а потом страшно. Я бросился наутек, они преследовали меня до высоковольтной линии, там зависли на краю леса зеленым роем, взныли не мушиным, а дикого пчелиного роя гудом и сгинули.

Я уже писал об этом, да, кажется, не однажды, настолько потрясла меня мушиная агрессия. Четверть века хожу я в наш лес, и никогда со мной подобного не случалось. И мух таких, изумрудно-металлических и остервенелых, я сроду не видел.

Другой раз в сумерках я наступил на дикую свинью. Звучит смешно, но, когда земля вдруг стронулась, вздыбилась под ступней и разразилась бешеным визгом, мне было вовсе не до смеха. Я отскочил, споткнулся, упал, увидел промельк темного тела и только тогда сообразил, что со мной произошло. Я вспомнил рассказы о кабанах, приходивших ночью в наш поселок, — они перерывали огороды, вытаптывали клумбы, валили ограды — и, не желая искушать судьбу, повернул назад. Потом, успокоившись, я понял, что спугнул не взрослую свинью, а подсвинка-годовика и что произошло это вблизи того самого места, где на меня напали мухи. И что туда, стало быть, путь заказан, а это по законам сказки означает: должен идти.

И я ходил все лето и никогда не знал там удачи. То одно, то другое. Раз забрел в дремучие заросли крапивы выше меня ростом. Шел по едва приметной тропинке, может, она и не человечьими ногами натоптана, а звериными, у нас тогда в лесу много зверей было — лоси, кабаны, лисы, куницы, ласки, не говоря уже о всякой мелочи, кротах, ежах, мышах, а может, то был весенний сток талой воды, желобок-западинка, и забрел в густой малинник, как всегда перемешанный с крапивой. Не верилось, что у дикой малины могут быть такие крупные и сладкие ягоды! Я прорубался к пунцовой благодати напролом

сквозь крапивный лес, размахивая палкой, как мачете, пренебрегая жгучими охлестами, и в конце концов оказался в непролазной колючей чаще, и, если б не вкус малины во рту, можно было бы подумать, что малинник мне просто пригрезился. Когда я наконец выбрался из стрекочущих джунглей, то был весь как сплошной волдырь.

Несколько раз я просто выдыхался. Эта тропка или то, что я принимал за тропку, не имела конца. Я шел по ней два, три, четыре часа, впереди не возникало просвета Я хорошо знаю наш лес, вернее, оба леса по сторонам широкой просеки, где проходит высоковольтная линия. По одну руку — хвойник с чащами, забитыми валежником с сырыми балками и лесными озерцами в топких берегах, заросших осокой, по другую — чистый березняк, без подлеска, сквозной, светлый. Но у нас нет больших расстояний, как ни углубляйся в лес, как ни плутай, а часа через два-три непременно выйдешь в поле, или к речке, или на околицу деревни, или к парникам, или к коровьей ферме, или к той же высоковольтной. И лишь одно направление, где меня подстерегали смешные и досадные неприятности, обладало неестественной протяженностью.

Однажды я попробовал обмануть лес, обойдя его опушкой. Он зелеными мысами вдавался в простирающееся до самой Десны поле — где в дикое разнотравье, где в клеверище, где в пастбищные овсы, где в сорняковый пар. Я срезал эти мысы, всякий раз ожидая, что увижу устье таинственной тропинки, но обнаруживал лишь очередной мыс. При полном солнце из легкой, светлой, как кудель, тучки брызнуло грибным дождиком; он удалялся стенкой, в нем запуталась коротенькая радуга. И тут с бездонно-голубого чистого неба с оглушительным треском вонзилась в землю прямая, как отвес, лишь вверху расщепленная молния, запахло лечебным электричеством, а потом — чуть приметно — гарью. Я не сразу заметил, что повернул назад, а заметив, продолжал быстро идти к дому. Меня била изнутри какая-то пульсирующая дрожь. Такого унизительного страха я не испытывал даже на войне. А ведь я люблю грозу — и не только в начале мая.

Я понял, что не должен хитрить с лесом; неведомо кем направление задано, ну и держись его. Я вновь пошел, как библейский патриарх: «сам не зная куда». Теперь мне казалось, что я достигну чего-то не потому, что пройду дальше обычного, а потому, что кончится странный искус. Дорога осилится не простым терпением путника, а каким-то иным терпением. Но лето перевалило за половину, и ничего не изменилось. Может быть, не следует так тупо ломить вперед, держась за муравьиную

тропку, что, если свернуть в чащу, в бурелом, заблудиться? Это было и легко и трудно. Легко, потому что после контузии в числе других потерь я утратил унаследованную от матери способность ориентироваться в пространстве; трудно, потому что лес всегда куда-нибудь выводил — во всех направлениях, кроме одного-единственного, не имеющего конца.

Теперь я поступал так: долго шел привычным маршрутом, а потом будто забывал о тропке, переставал выглядывать ее под иглами, подорожником, лопухами и брел на авось. И глухая тревога щемила сердце.

Раз я вышел на незнакомую лесную луговину. Казалось, солнце отражается в бесчисленных зеркалах, таким блистанием был напоен мир. И зеленая луговинка залита солнцем, лишь в центре ее накрывала густая круглая тень от низко повисшего маленького недвижимого облака. В пятачке этой малой тени на возвышении — бугор не бугор, камень не камень — стояли они: Павлик и Оська. Вернее, маленький Оська полулежал, прислонясь к ногам Павлика, казавшегося еще выше, чем при жизни. Они были в шинелях, касках и сапогах, у Павлика на груди висел автомат, Оськиного оружия я не видел. Их лица были темны и сумрачны, это усугублялось тенью от касок, скрывавшей глаза. Я хотел кинуться к ним, но не посмел, пригвожденный к месту их отчужденностью.

— Чего тебе нужно от нас? — Голоса я не узнал и не видел движений мускулов на темных лицах, но догадался, что это сказал Павлик.

— Чтобы вы были здесь. На земле. Живые.

— Ты же знаешь, что мы убиты.

— А чудо?.. Я вас ждал.

— Ты думал о нас. — Мне почудился в страшном своей неокрашенностью голосе Павлика слабый отзвук чего-то былого, родного неповторимой родностью. — Думал каждый день, вот почему мы здесь.

— И вы?..

— Мертвые. У него снесено полчерепа, это не видно под каской. У меня разорвано пулей сердце. Не занимайся самообманом Хочешь о чем-нибудь спросить?

— Что там?..

Ответа не последовало. Потом Оська, его голос я помнил лучше, да ведь и расстались мы с ним позже, чем с Павликом, тихо проговорил:

— Скажи ему.

— Зачем ты врешь о нас? — В голосе был не упрек — презрительная сухость. Я никогда не горел в сельской школе,

окруженной фашистами, а он не выносил товарища из боя. Меня расстрелял немецкий истребитель, а ему снесло затылок осколком снаряда, когда он писал письмо. На мертвых валят, как на мертвых, но ты этого не должен делать. Думаешь, нам это надо? Ты помнишь нас мальчишками, мы никогда не мечтали о подвигах. И оттого что нас убили, мы не стали другими. Разве ты любил героев?

— Вам плохо там?

— Никакого «там» нет, — жестко прозвучало в ответ. — Запомни это. Все тут. Все начала и все концы. Ничто не окупится и не искупится, не откроется, не воздается, все — здесь.

— Сказать вам что-нибудь?

— Нет. Все, что ты скажешь, будет слишком маленьким перед нашей большой смертью.

Я не уловил их исчезновения. Поляну вдруг всю залило солнечным светом, облако растаяло, а там, где была приютившая мертвых солдат тень, курилась легким выпотом влажная трава.

Время от времени я пробую найти этот лесной лужок, но знаю, что попытки тщетны…

12

…Уже к вечеру у нас затеялась странная и неожиданная игра: каждый должен был рассказать о своей школьной любви. В самой игре ничего особенно странного нет, наверное, и в других компаниях затевается что-то похожее, хотя я никогда об этом не слышал и сделал свое предложение по внезапному наитию, впервые в жизни выступив зачинателем общего дела Странной была та серьезность, с какой почти все до одного отнеслись к моему предложению. Возможно, этому способствовали прямота и откровенность первых ответов. При ином начале, вполне вероятном и уместном, игра так бы и осталась игрой, и скоро бы нам прискучила. Но совсем по-старому вспыхнувшее лицо Милы Ф., тихий шатнувшийся голос и вздрог губ, так и не сложившихся в улыбку, — она начинала — мгновенно сбили шутливый настрой. Оказывается, ничто не минуло, не рассеялось дымом, а вошло в нашу суть, в будущее, хоть мы и сами не отдавали себе в этом отчета.

Бамик Ф. сказал, что еще третьеклассником влюбился в Лялю Румянцеву и нарочно стал членом «бытовой комиссии», проверявшей материальное положение ребят на предмет выдачи ордеров на калоши, чтобы под этим предлогом проникнуть к ней в дом. Уловка в духе графа Альмавивы обула Лялины ноги в

новенькие блестящие калоши на пунцовой байковой подкладке, но хитроумного влюбленного ничуть не приблизила к предмету поклонения. Между ними оказались калоши фабрики «Красный треугольник» — материальный фактор губителен для слишком щепетильных душ.

А потом он хорошо и взволнованно говорил о своей долгой юношеской влюбленности в нежную пепельново-лосую Катю Г. Его любовь ни для кого в школе не была тайной, равно и то, что в исходе школьных дней он отступился от Кати. Теперь его видели с Лилей Ф., принадлежавшей к тому типу рано созревающих девушек, которые с ошеломляющей и унижающей их сверстников быстротой превращаются в роскошных дам. Бамик говорил, как потряс его запах настоящих Лилиных духов, которые он впервые обонял, и как кружила ему голову вся атмосфера взрослости, таинственно окутывающая Лилю.

Бамик считает, что дружеская близость с тремя столь разными, но на свой лад совершенными женскими существами крайне осложнила ему выбор подруги жизни.

Он встречал — и нередко — хороших женщин, но наплывал образ Ляли Румянцевой с ее яростной прямотой, обостренным чувством справедливости, с душой, как натянутая струна, или нежной, лунной Кати с пушистыми волосами, в которых запутался рассвет, или празднично-женственной Лили, и сравнение оказывалось убийственным для претендентки. Лишь когда появилась женщина, в которой словно соединились три любимых образа, конечно, не механически, а растворенные в иной стихии, в ином индивидуальном очаровании, Бамик нашел свою жену.

После всего, что наговорил Бамик, весьма обескураживающе — для меня, во всяком случае, — прозвучало нежное, тишайшее, проникновеннейшее признание Кати, что Бамик ей никогда не нравился. Она знала о его чувстве к ней, уважала это чувство, но не разделяла. Я не успел по-настоящему ощутить разочарования, когда Катя с той же тихой, проникновенной искренностью добавила: «Но дружба с Бамиком была самым большим даром всей моей жизни. Она сформировала меня как человека. Если есть во мне что-то хорошее, то все от Бамика. Я никогда не забываю об этом..»

Говорят другие. И часто называют имена тех, кого уже нет. Коли Ф., Бориса С, Жоржа Р., Ляли Румянцевой. Неужели ушедшие были лучше нас? Или просто легче признаться в любви к ним, нежели к тем, кто еще наполняет своим шумом жизнь? Неправда, об этих тоже говорят…

Нет школы без первой красавицы, предмета всеобщего поклонения. У нас их было три: каждой отмечен определенный период школьной жизни, как царствование Людовика XIV тремя знаменитыми фаворитками; Луизой Лавальер, маркизой де Монтеспан, г-жой де Ментенон. С первого до седьмого класса царила Ира Б-р. В седьмом началось двоевластие, закончившееся победой другой красавицы, Нины В. В десятом лучшие мужи пали к ногам Иры Б-вой. Остуде долгого поклонения Ире Б-р способствовало то, что возле нее вырос, загородив от всех глаз, вратарь нашей школьной футбольной команды, красивый, рыцарственный и мужественный Володя А. В играх он пропускал не так уж мало голов, но эти ворота твердо решил отстоять. Он неважно учился, преуспевал лишь в спорте, но и спорт затмили черные косы и худощавая цыганская красота Иры Б-р, вечно нуждавшаяся в защите, оберегании, заботе, лелеянии. Володя предался этому хлопотному делу столь самозабвенно, что окончательно забросил науки, остался на второй год, а после школы сразу пошел на действительную. Всю войну служил на бронепоезде. С победой не кончилась его служба, да он и не торопился домой. Девушка, которую он любил, стала женой другого. Нет, она ждала, сносила не одну пару башмаков, но жизнь взяла свое. Володя был человек, сильно битый войной. Он не сумел ни приладиться к мирному существованию, ни найти в нем нового интереса. И дал себя добить вывезенной с войны болезнью печени. Некогда самый крепкий из нас, кроме одного Бориса С, он ушел первым.

Ира Б-р сказала о своей единственной, через всю юность, любви с той простотой искренности и боли, что Володя не мог бы и мечтать о лучшей эпитафии.

Нина В., вытеснив Иру, прочно заняла трон. Это было очень живое, несколько буйное царствование во вкусе развеселой дщери Петровой Елизаветы. Менялись фавориты, но разжалованный далеко не всегда изгонялся прочь, ему позволялось сосуществовать со счастливым соперником. Веселая, компанейская, отличный товарищ, кареглазая, свежая, улыбчивая, открытая и загадочная своей манящей сутью, недосягаемой таким лопухам, какими мы были до окончания школы, не в пример нынешним скороспелкам, Нина правила своей державой легко и радостно. Но до чего же мы все удивились, когда она сказала, что единственным мальчиком, затронувшим в школе ее сердце (открывавшееся, как мы и тогда догадывались, более зрелым кавалерам вне школьных стен), был вполне ничтожный

Вовочка Л., белокурый баранчик, женственный, робкий и липучий, которому каждый, в чьих жилах текла мужская кровь, считал своим долгом отвесить мимоходом тумака, дать щелчок или другим способом выразить свое презрение. Был он не просто беззащитен, тогда бы его в конце концов оставили в покое, нет, в нем угадывалась какая-то противная жизнестойкость.

Эту нашу смутную ребяческую угадку подтвердила Нина. Оказывается, баранчик каждый день провожал ее из школы, крадясь по другой стороне улицы. Когда же Нина шла в школу, он уже поджидал ее, спрятавшись за водосточной трубой. И почти всегда попадался под руку какому-нибудь уличному мальчишке. Жалко и покорно улыбаясь, он смотрел на Нину собачьими глазами и своей безответностью осилил всех героев, бойцов, умников, остряков и гениев 311-й школы.

Нину сменила на престоле Ира Б-ва. Она охотно позволяла за собой ухаживать, поощряла соперничество, будила в доверчивых душах тщетные надежды, а сама только и ждала окончания школы, чтобы выйти замуж за Володю А. — тезку и однофамильца нашего вратаря, что позже служил на бронепоезде. Этот Володя был тоже первоклассным футболистом.

Сухощавая интересная дама с седой прядью в ореховых волосах очень спокойно поведала нам о своих школьных брачных планах, приводивших в отчаяние ее семью. «Замуж, как вы знаете, я действительно вышла через полгода, только не за Володю, а за взрослого человека, архитектора, с которым прожила всю жизнь…»

14

Иные признания вызывают улыбку. Ваня К. на редкость искренне, хорошо рассказал о своей влюбленности в Марусю Н. Он помнит ее всю — от спортивных резиновых тапочек до белой кофточки с хрустко наглаженным воротничком и гребенки в волосах, и мы невольно ждали от Маруси ответного признания. Но она заявила, что в школе ее волновали лишь волейбольная сетка, хорошо надутый мяч и запах дезинфекции в физкультурном зале. Настал черед удивляться и мне: учительница французского языка Туся П. суховато сообщила, что в 9-м классе была влюблена в меня до безумия. В тот год мы часто собирались в гостеприимном Тусином доме, где бывали и десятиклассники, с которыми дружила Туся. Я с завистливым восторгом глядел на этих светских львов — гитаристов, певцов, остряков, великолепных танцоров, скромно сознавал свое

ничтожество рядом с ними и вообразить не мог, что представляю хоть какой-то интерес для хозяйки дома.

А все-таки взаимность чувств редко одаривает людей. Но мои друзья уплатили столь щедрую дань несовпадениям еще в школе, что во взрослой жизни оказались весьма удачливы При теперешней брачной чехарде от нашего альбома веет древними домостроевскими добродетелями. Лишь четверо представителей сильного пола шли к счастью с нескольких заходов, всего две наши соученицы оставили своих безнравственных мужей, а одну, прожив жизнь, бросил муж.

Игра подходила к концу, и кажется, все мы с тяжестью на душе ждали, что сейчас настанет очередь Шуры Б., славного, одаренного, благородного Шуры, с которым судьба обошлась на редкость сволочно.

Даже писать об этом трудно. Если уж кто из нас заслуживал счастья, так это Шура, человек чистого сердца, высокой духовности и той роковой цельности, что исключает всякую приспособляемость. Он рано нашел себя, увлекшись театром, поступил в ГИТИС, выдержав жестокий конкурс Еще в школе он полюбил — раз и навсегда. Но началась война, а у Шуры в графе «национальность» стояло — немец. В нем были намешаны разные крови, но слова «Рот фронт!» звучали ничуть не хуже, чем «Но пасаран!» или «Будь готов!», и родители записали его немцем, чему он не придавал никакого значения. Немцев выселяли из Москвы, и Шура со всей семьей оказался в Темиртау, затем в Караганде. И в Темиртау и в Караганде люди живут, что убедительно доказал его младший брат. Окончил институт, стал инженером, женился, родил детей, — давно уже он директор крупного завода, известный, уважаемый в округе человек.

У Шуры так не получилось. Не было у него ни интереса к другой профессии, ни интереса к другой жизни. Но надо жевать хлеб, к тому же на руках больная мать, и он пошел работать — прорабом. Я говорил, что Шура — человек очень даровитый, и, не любя своей профессии, он стал отличным специалистом. Потом он узнал, что любимая вышла замуж. Он сделал попытку завести свою семью, но из этого ничего не получилось. Потому что он не жил, а томился. Время остановилось для него на тех днях, когда он был в последний раз в Москве, на Чистых прудах, с любимой девушкой.

Почему же он не вернулся в Москву, когда это стало возможным? Ему не к кому было возвращаться. Да и тяжело больная мать на руках. Его время остановилось. Для тех, с кем он начинал жизнь, оно шло, он убеждался в этом во время своих редких поездок в Москву, и в душе подымалось злое чувство

отчужденности.

Но вот матери не стало, и он без рассуждения и колебания кинулся в Москву. Он не строил никаких планов, не обольщался радужными надеждами, он просто хотел вернуться в мир своего начала.

У меня был литературный вечер в Политехническом институте. Выступая с узенькой, приближенной к публике эстрады, я увидел в первом ряду двух подруг: Тусю П. и Нину В., затем обратил внимание на сидящего между ними мужчину наших примерно лет в хорошем сером костюме и очках. Видимо, Туся привела своего мужа, с которым я не был знаком. Когда вечер кончился, мы встретились в фойе.

— Узнаешь? — спросила Туся.

Я поглядел на худое, выразительное, совсем незнакомое лицо человека в сером костюме, отметил его элегантную костлявость и подумал, что он напоминает немецкого рабочего-активиста из фильма тридцатых годов. Такими их всегда изображали в нашем кино: очень серьезными, угловатыми, надежными.

— Шура Б.!

— Ты сам узнал меня или тебя предупредили?

За десять лет, проведенных в одной школе, мы никогда не учились с Шурой в одном классе, хотя нас часто перетасовывали, не обменялись и словом и даже не здоровались. У нас не было точек соприкосновения: он увлекался театром, я спортом; разные друзья, разные компании. И все-таки я мгновенно узнал его, хотя в нем не оставалось ничего от прежнего коренастого розовощекого юноши с русыми волосами. Видимо, я помнил о нем.

Шура вернулся к нам, друзья приняли его, словно и не было всех долгих лет расставания. Но ему с нами непросто. Он меряет нас мерками прежних дней, но мы, конечно, стали другими; у всех своя жизнь со своими радостями и бедами, и нет объединяющего нас крова, над каждым собственная крыша, а Шуре хочется, чтобы все было как раньше, ведь его часы только сейчас снова пошли. Но мы не можем отбросить всю прожитую жизнь и вновь оказаться с нашим другом свободными, легкими, необремененными; как встарь, на неизменных Чистых прудах. Московские бульвары — самое стабильное в нашем слишком склонном к переменам городе, но даже они меняются. Тверской лишился памятника Пушкину, наш приобрел ресторан-стекляшку. Трудно сказать, что хуже…

Наверное, мы в чем-то виноваты перед Шурой. Но все люди виноваты друг перед другом, иначе на земле царило бы безмятежное счастье. Мы — под огнем и либо должны, как один,

стать Матросовыми, либо прощать друг другу наши несовершенства. Наверное, Шура еще привыкнет к нам, к тому, что мы не закрываем телом амбразур. Но и не бежим с поля боя.

И вот звучит Шурин голос:

— Ничего нового я не скажу. У меня все началось и кончилось, когда другие только примерялись к жизни…

15

Наверное, мы и правда собрались в последний раз. Мы всё сказали, что могли, остальное принадлежит другим. И тут кто-то заметил, что Аня С. уклонилась от признаний. Всеобщая радость — помедли, помедли, вечерний день…

— Да что я?.. — добродушно улыбается Аня. — Мне и признаваться не в чем.

Аня — полная, спокойная, уравновешенная. Обычно серьезна, но когда начинает смеяться — частым, дробным, тонким смешком, — то никак не может остановиться. Аня — воплощение домашних добродетелей: образцовая хозяйка, прекрасно готовит, особенно удается ей тесто. Так и кажется, что всю жизнь у плиты простояла. Нет, не на кухне прошла ее жизнь: тут и рытье окопов под Москвой, и лесозаготовки, оборонный завод (делала снаряды), учеба в Тимирязевской академии и опытная Орловская станция, аспирантура и защита кандидатской; была замужем, овдовела, вырастила дочь, которая тоже закончила аспирантуру, скоро будет защищаться. Просто не верится, что добродушная, рассудительная, чуть вяловатая Аня прожила такую энергичную жизнь.

— А ну признавайся в своих грехах! — подначивают ее.

— Было бы в чем! — Аня растерянно обводит присутствующих светло-голубыми глазами. — Я ведь некрасивая, а подружки все — красоточки. Только мне мальчик понравится, они тут как тут. Он и не нужен им вовсе, но охота из меня дуру сделать. Я глазами хлопаю, а его уже приручили. И решила я ни в кого не влюбляться, все равно отобьют! — И Аня заливается своим долгим, дробным, добродушным смешком.

Аня и сейчас смотрит на подружек как на писаных красавиц, а на себя как на дурнушку. Ей и невдомек, что со своей прекрасно уложенной седой головой, с выражением доброты и достоинства на терпеливом русском лице она по меньшей мере не уступает им.

Может, Аня лучшая из нас?..

Да что же, у нас все лучшие? Почти так. Лишь одного не

позвали на общий день рождения, и его нет в нашем альбоме. Он оскорбил высокомерием, самодовольством и хвастовством одного из нас, своего однокашника, когда тому было очень плохо и трудно. И мы, не сговариваясь, изъяли его из нашего круга.

Остальные же пусть будут на этих страницах. Даже Володя М., который хмуро отклонил приглашение: а чего я там не видел? Я бы не стал упоминать об этом, если б он не работал в отделе кадров одного из министерств. По-моему, работа с людьми не его стихия. А впрочем, не нам судить Володю. Когда-то он был хорошим и верным парнем…

16

За оградой сигналит автобус. Неужели уже кончился этот день — короткий, как сама жизнь?..

И вот они уходят — и названные мною в этих записках, и не названные лишь случайно: Тоня О., Вера К., Женя Б., Лида Э. Я стараюсь удержать перед глазами их лица, улыбки, движения…

А потом сижу один за полночь над альбомом и читаю бесхитростные слова, звучащие мне как «Песнь песней»:

«Я, Шура Т., родилась 10 сентября 1920 года. В 1928 году поступила в 1-й класс 311-й школы на углу Лобковского и Мыльникова переулков. Училась до 9-го класса. Затем по семейным обстоятельствам вынуждена была пойти работать. Поступила бухгалтером в Мосхлебторг… Имею дочку, которая окончила институт. В настоящее время с рождением внука занялась его воспитанием. Ему сейчас два года и восемь месяцев, и он доставляет мне удовольствие в жизни…»

Шура Т. была самой маленькой в классе. Она всегда стояла последней в шеренге. Будь здорова и счастлива, маленькая бабушка Шура! И долгих лет тебе. Долгих лет, покоя и радости всем вам, дорогие мои друзья…

АВТОРСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я написал о нашем школьном альбоме вовсе не потому, что считаю его чем-то из ряда вон выходящим. Напротив, это рядовой альбом, который при желании могли бы составить выпускники любой другой школы, и как раз в этом его смысл. Тут не было никакого отбора — пятьдесят человек объединены лишь тем, что вместе учились. По этим пятидесяти можно судить обо всем поколении, судьба которого была сурова. Но и мертвые и живые

сохранили достоинство Человека. Вот о чем мне и хотелось рассказать.

В те юные годы

Семье Р-ных, давшей крупного ученого, многообещавшего литературоведа, талантливого художника и бесстрашного солдата

Быль

1

Что мог я сделать для тебя, Оська?.. Я не мог ни защитить тебя, ни спасти, меня не было рядом с тобой, когда смерть заглянула в твои раскосые глаза, но и будь я рядом, ничего бы не изменилось. А может быть, что-то изменилось бы, и неправда, будто каждый умирает в одиночку?.. Но к чему говорить о том, чего не вернешь, не изменишь, не переиграешь? Я мог сделать для тебя лишь одно — не забыть. И не забыл. Я помнил о тебе и Павлике каждый день той долгой и такой короткой жизни, что прожил без вас, и вымучил у вечности короткое свидание с вами. Я не просто верю, а знаю, что эта встреча была. Она не принесла ни радости, ни утоления, ни очищения слезами, ничего не развязала, не утихомирила в душе. И все-таки я начну мой рассказ, нет, мой плач о тебе с этой встречи и не стану искать новых слов для нее, а воспользуюсь старыми — они близки сути.

Это произошло несколько лет назад в лесу, неподалеку от моего загородного жилья, на долгой и таинственной тропе, которую мне никак не удавалось пройти до конца — лес неумолимо гнал меня прочь. И тогда я понял, что должен ломить по этой заросшей тропке, пока не возобладаю над чем-то, названия чему нет.

«…Теперь я поступал так: долго шел привычным маршрутом, а потом будто забывал о тропке, переставал выглядывать ее под иглами, подорожником, лопухами и брел на авось. И глухая тревога щемила сердце.

Раз я вышел на незнакомую лесную луговину. Казалось, солнце отражается в бесчисленных зеркалах, таким блистанием был напоен мир. И зеленая луговинка залита солнцем, лишь в центре ее накрыла густая круглая тень от низко повисшего маленького недвижимого облака. В пятачке этой малой тени на возвышении — бугор не бугор, камень не камень — стояли они:

Павлик и Оська. Вернее, маленький Оська полулежал, прислонясь к ногам Павлика, казавшегося еще выше, чем при жизни. Они были в шинелях, касках и сапогах, у Павлика на груди висел автомат. Оськиного оружия я не видел. Их лица темны и сумрачны, это усугублялось тенью от касок, скрывавшей глаза. Я хотел кинуться к ним, но не посмел, пригвожденный к месту их отчужденностью.

— Чего тебе нужно от нас? — Голоса я не узнал и не видел движения мускулов на темных лицах, но догадался, что это сказал Павлик.

— Чтобы вы были здесь. На земле. Живые.

— Ты же знаешь, что мы убиты.

— А чудо?.. Я вас ждал.

— Ты думал о нас. — Мне почудился в страшном своей неокрашенностью голосе Павлика слабый отзвук чего-то былого, родного неповторимой родностью. — Думал каждый день, вот почему мы здесь.

— И вы?..

— Мертвые. У него снесено полчерепа, это не видно под каской. У меня разорвано пулей сердце. Не занимайся самообманом. Хочешь о чем-нибудь спросить?

— Что там?

Ответа не последовало. Потом Оська, его голос я помнил лучше, да ведь и расстались мы с ним позже, чем с Павликом, тихо проговорил:

— Скажи ему.

— Зачем ты врешь о нас? — В голосе был не упрек — презрительная сухость. Я никогда не горел в сельской школе, окруженной фашистами, а он не выносил товарища из боя. Меня расстрелял немецкий истребитель, а ему снесло затылок осколком снаряда, когда он писал письмо. На мертвых валят, как на мертвых, но ты этого не должен делать. Думаешь, нам это надо? Ты помнишь нас мальчишками, мы никогда не мечтали о подвигах. И оттого, что нас убили, мы не стали другими.

— Вам плохо там?

— Никакого „там“ нет, — жестко прозвучало в ответ — Запомни это. Всё тут. Все начала и все концы. Ничто не окупится и не искупится, не откроется, не воздается, все — здесь.

— Сказать вам что-нибудь?

— Нет. Всё, что ты скажешь, будет слишком маленьким перед нашей большой смертью.

Я не уловил их исчезновения. Поляну вдруг всю залило солнечным светом, облако растаяло, а там, где была приютившая мертвых солдат тень, курилась легким выпотом влажная трава.

Время от времени я пробую найти этот лесной лужок, но знаю, что попытки тщетны…»

2

..А теперь я начну с самого начала. Мать взяла меня в «город», так назывались ее походы по магазинам Кузнецкого моста, Петровки, Столешникова переулка. Странный торжественный и волнующий ритуал, смысл которого я до конца не постигал, ведь мама почти ничего не покупала там. В пору, когда товары были — по нехватке денег, позже — по отсутствию товаров. Тем не менее день, когда мама отправлялась в «город», сиял особым светом. С утра начинались сборы: мама мыла волосы какой-то душистой жидкостью, сушила их и красиво причесывала; потом что-то долго делала со своим лицом у туалетного столика и вставала из-за него преображенная: с порозовевшими щеками, алым ртом, черными длинными ресницами, в тени которых изумрудно притемнялись ее светло-зеленые глаза, чужая и недоступная, что усиливало мою всегдашнюю тоску по ней; мне всю жизнь, как бы тесно ни сдвигал нас быт, как бы ни сближало нас на крутых поворотах, не хватало мамы, и сейчас, когда она ушла, во мне не возникло нового чувства утраты, лишь острее и безысходнее стало то, с каким я очнулся в жизнь.

Иногда мама брала меня в «город». То было несказанным наслаждением с легким наркотическим привкусом, помешавшим дивным, подернутым сладостным туманом и бредцем видениям задержаться в моей памяти. Отчетливо помнятся лишь перевернутые человеческие фигуры в низко расположенных стеклах обувного магазина на углу Кузнецкого и Петровки, но что это были за стекла и почему в них отражалась заоконная толпа, да еще вверх ногами, — убей бог, не знаю и не догадываюсь. Наверное, это легко выяснить, но мне хочется сохранить для себя тайну перевернутого мира, порой населенного только большими ногами, шагающими по серому асфальтовому небу, порой крошечными фигурками, под головой которых блистала небесная синь. Еще я помню страшного нищего на Петровке, возле Пассажа, он совал прохожим культю обрубленной руки и, брызгая слюной, орал: «Родной, биржевик, подай герою всех войн и революций!» Нэп был уже на исходе, и бывшие биржевики испуганно подавали горластому и опасному калеке. Сохранилось в памяти и пленительное дрыганье на пружинке меховой игрушечной обезьяны Фоки с детенышем: «Обезьяна Фока танцует без отдыха и срока, ходит на Кузнецкий погулять, учит свою

дочку танцевать. Веселая забава для детей и молодых людей!» Веселая и, видимо, дорогая забава, потому что мама упорно не замечала умильных взглядов, которые я кидал на обезьяну Фоку, и молящих — на нее. Лишь раз я был близок к осуществлению своей мечты о неутомимой танцорке: на Фоку должны были пойти остатки гигантской суммы в десять рублей, собранные мною по алтынам и пятакам на приобретение пистолета «монтекристо» и выкраденной у меня из кармана в магазине Мюра и Мерилиза.

Никогда еще «город» не слышал такого истошного рева, каким я разразился, обнаружив пропажу. Благородное оружие (в пяти шагах убивает наповал человека) уже тяжелило мне правую руку, а в левой дергалась смешная меховая Фока, и я видел себя кумиром двора. Горе от пропажи, ввергшей меня в прежнее ничтожество, усугублялось потерей доверия к миру, впервые посунувшегося ко мне страшным свиным рылом. Но хватит об этом, я поддался скольжению памяти, ведь ко времени, с которого начинается мой рассказ, «город» освободился и от нахального нищего, и от обезьяны Фоки, и от дорогого изобилия (оно сосредоточилось в нескольких Торгсинах) — походы матери лишились и тени корысти, стали чистой данью молодым привычкам, но она по-прежнему изредка брала меня с собой — порыться в книжной рухляди букинистических магазинов.

…Перейдя у Кривоколенного переулка Мясницкую, еще не ставшую улицей Кирова, мы вместо того, чтобы повернуть налево мимо источавшего спертый резиновый запах магазина, некогда торговавшего всевозможными изделиями из резины, а сейчас, в начале тридцатых, лишь странными полукалошами-полуботинками по ордерам, двинулись напрямик, в Милютинский переулок, возможно уже ставший улицей Мархлевского, но еще не привыкший к новому названию, в узкую, глубокую щель меж высоченных домов, над которыми, как и над всем городом, пугающе возносилась мрачная громада городской телефонной станции, тогда единственной в Москве. Здание это — по-прежнему темное и угрюмое — сохранилось по сию пору в отличие от многих бесценных памятников отечественного зодчества, но, умаленное общим ростом города, не так бросается в глаза.

Мама вошла в подъезд дома против наглухо замкнутых, будто сросшихся со стенами ворот телефонной станции, коротко приказав мне ждать. Не знаю, почему она не взяла меня с собой. Сейчас принято таскать детей повсюду, а мама тщательно отстраняла меня от взрослой жизни, считая, что я должен обходиться миром своих однолетков, помимо, разумеется, семьи.

Печать тайны на бытии взрослых заставляла меня относиться к ним с благоговением; рудимент почтительности сохранился по сию пору: даже вышагнув за шестьдесят, я не могу ответить на «ты» человеку старше меня и всякий раз ужасаюсь, когда «тыкают» пожилых людей румяные мелкотравчатые сановнички.

Я остался на улице, у незнакомого подъезда, что было уже достаточно неуютно: по мальчишескому кодексу тех лет любой сопляк, обитающий в этом доме, мог турнуть меня отсюда, как бродягу, забредшего в ленные владения.

Этот неуют усугублялся тем давящим впечатлением, какое производила на мою вовсе не робкую, но слишком отзывчивую душу гигантская башня смерти, наивно принимаемая за телефонную станцию. Мне казалось, что она вот-вот рухнет, повалится всей чудовищной глыбой и, ударившись о твердь окружающих зданий, разлетится на миллионы кусков, и это будет концом света.

Отвлек меня от гибельных мыслей мальчишка, рисовавший что-то углем на тротуаре. Он был мал ростом и возрастом, дошкольник, мелкота с большой головой на хилом тельце, «рахитом» небось во дворе зовут. Если б такой задрался, то получил бы «вселенскую смазь», несмотря на всё моё уважение к кодексу уличной жизни. Но мальчишка не замечал меня, как и прохожих, топтавших его рисунок, стиравших подошвами непрочные угольные линии. Мальчишка знай делал свое дело. Негоже третьекласснику интересоваться занятиями такой мелюзги, но как раз в эту пору мои вяловатые художнические потуги стали получать признание в семье и школе. Сам я не придавал им слишком большого значения, хотя любил возиться с цветными карандашами и акварельными красками, срисовывая карикатуры из «Смехача», «Бегемота», «Крокодила» и книжные иллюстрации, чаще всего сказочные. Копиист я был впрямь отменный, у меня получалось здорово похоже на оригинал, при этом я никогда не прибегал к переносу изображения с помощью сетки, даже не догадывался, что существует такой способ, весьма популярный у придворных портретистов. Равно не приходило мне на ум нарисовать что-либо по воображению или с натуры. Помню, как поразила меня ворона вульгарис, срисованная моим одноклассником с живой вороны. Соученики были другого мнения: эта скромная черно-серая птица не шла ни в какое сравнение с моими рыцарями, мушкетерами, принцами, кащеями, чемберленами, брианами, но во мне сразу заговорило вино моей молодой художнической славы. Я попробовал нарисовать что-то «из головы» — ничего не получилось, попытался изобразить воробья с натуры — снова неудача, мешали его трехмерность,

движения, переменчивость от беспрестанно творящейся в нем жизни. Я умел лишь срисовывать плоскостные неподвижные изображения высмотренного чужим глазом.

Мальчишка, ползающий по асфальту меж ног прохожих, не имел перед собой ни рисованного, ни живого образца, он рисовал из себя, то, что сам придумал. А придумал он профиль мужчины с остроконечной бородкой, ниточкой усов, с длинными вьющимися волосами, падающими на кружевной воротник из-под широкополой шляпы, украшенной страусовым пером. Мальчишка чуть наметил кожаный колет, перевязь через плечо, а все усилия отдавал, лицу: носу с горбинкой и хищно вырезанными ноздрями, темному блестящему глазу (потом, уже дома, думая об уличном художнике, я тщился понять, как, работая углем, сумел он придать глазу серебристый блеск?), резким складкам, сообщавшим лицу решительность, силу и хитрость, и тут во мне все заныло: мне показалось, что мальчишка покусился на образ моего любимого героя — д'Артаньяна, на уже старого д'Артаньяна, каким он появляется в первом томе «Десяти лет спустя»: разочарованного, одинокого, почти нищего, коварно разжалованного из капитана королевских мушкетеров снова в лейтенанты. Я несколько лет прожил в двойном образе: московского мальчишки и дерзкого гасконца, у меня были ботфорты, плащ, шляпа с пером и шпага с настоящим эфесом, В описываемую пору я уже расстался с мушкетерским плащом, но не с растворенной в крови верой, что мне даны особые права на этот образ. И тут какой-то гном, рахит — и читать-то небось сам не умеет, на глазах всей улицы рисует дорогие черты моего кумира!

У меня над кроватью висел в благородной овальной рамке портрет д'Артаньяна. Старинная рамка, стекло и почетное место на стене вводили в заблуждение рассеянных, легковерных, а также близоруких гостей, и они принимали мою мазню за произведение искусства. Узнав, кто сотворил это чудо, они цокали языками и смотрели на меня потрясенно, как Чичиков на юного Фемистоклюса, отраду нежного родительского сердца Манилова Но я-то знал, что моя восхитительная акварель — просто грубая и неграмотная подделка, куда хуже обычных перерисовок из журналов и книг. Я создавал этот портрет жульническим способом: притворяясь, будто ловлю из воздуха любимые черты, я то и дело поглядывал на картинку из «Трех мушкетеров». Там, правда, мушкетеры сидели за завтраком на бастионе Сен-Жерве, а я своего д'Артаньяна поставил, как перед деревянным ящиком фотографа-пушкаря на Чистых прудах, — изобразить фигуру в сложном ракурсе я мог лишь при честном

срисовывании. Доверчивая фронтальная поза моего д'Артаньяна убеждала меня, что на этот раз я не копирую, а творю. В известной мере так и было, поэтому рука, лежащая на эфесе шпаги, оказалась чуть не вдвое длиннее другой руки, согнутой бубликом и упертой в бок. Необычайно мощно выглядели ботфорты — носками врозь, я не поскупился на размер, такие сапоги были бы велики даже гиганту Портосу. И вообще, странным образом трогательный и глуповатый друг д'Артаньяна внедрился в созданный мною образ, иначе откуда взялась такая просторность лица у худощавого гасконца? Да просто я не умел изображать худобу — тени скул на всосе щек, тени в глазницах и впадинах висков. У меня лицо получилось гладким, как блин, круглым и сытым. Короткая ручонка, упиравшаяся в тучный бок, усугубляла дородность мушкетера со слоновьими ногами. Короче говоря, д'Артаньяном тут и не пахло.

Меня не столько удивляло восхищение посторонних людей, сколько неподдельное удовольствие мамы от их похвал. Уж она-то знала, кого я тщился изобразить, и несомненно видела все удручающее убожество моей попытки, и тем не менее сама подводила гостей к рисунку в овальной рамке и, покусывая губы, умеряла горделивую улыбку. Хотела ли она придать мне смелости и усердия? Но, чуждая самообману, она не могла не понимать, что художник из меня никакой. Или в этой частной неодаренности ей проглядывалась моя общая глухая бесталанность, и, человек незаурядный, умный, с тревожной душой, не нашедшей приложения бродящим смутным силам, она хотела обмана, чтобы продолжать верить в свое единственное творение?..

Брошенный матерью в чужой державе на унижение этому головастику с огрызком угля в запачканной руке, я начисто забыл о собственной трезвой оценке своих художественных способностей и портрета в овальной рамке. Я помнил лишь, что один из гостей принял его за неизвестного Франса Галльса. Мальчишка унизил меня, унизил любимый образ, швырнув его под ноги прохожим, он заслуживал гильотины!.. Но, разогревая в себе ненависть к мальчишке, я все с большим, хотя и мучительным интересом следил за его работой. Это совсем не было похоже на мой тщательный кропотливый и неуверенный труд. Мальчишка был размашист, смел и вместе строг к себе: вроде бы все хорошо, а ему не нравится — смахивает угольную пыль и вновь кидает легкие уверенные штрихи. И вдруг я понял, что не только не умею, но и не люблю рисовать, а занимаюсь этим лишь потому, что меня хвалят — и незаслуженные похвалы приятны. А этот мальчишка рисовал с наслаждением, не замечая

ничего вокруг, не нуждаясь в похвалах, весь в угольной пыли, с черными по локоть руками и усами под носом. И он знал, что должен нарисовать, хотя перед ним не было образца. Я уже слышал слово «творчество», но не умел им пользоваться, а если б умел, то непременно применил бы к его… (я уже знал слово «вдохновение», но считал, что оно относится только к Пушкину) пачкотне на тротуаре. Словом, мальчишка делал такое, чего мне никогда не сделать. И я впервые обратил к себе знакомое и страшное слово «бездарность», которым мамины гости пользовались часто, с охотой и таким гадливо-безжалостным выражением, словно сами были наделены великими талантами. Мне стало горячо от стыда: несколько дней назад я сказал с усталой мудростью и чуть свысока закадычному дружку Мите Гребенникову, громко и неискренне восторгавшемуся моими новыми рисунками: «Человек, наверное, должен владеть каким-то искусством». «Ты искусник, да?» — подластился Митя. Я скромно пожал плечами. Искусник!.. Сволочь бездарная! — вот кто я. И жуткая пустота открылась внутри. Наверное, страшась вот такой пустоты, подводила мама гостей к портрету в овальной рамке. Ведь к этому времени выяснилось, что у меня нет слуха, и старый беккеровский рояль покинул наш дом, хромал я и в арифметике, лишний раз подтвердив родственность двух столь разных, казалось бы, миров — музыки и цифр; фантастическая приверженность к Дюма в ущерб всякому иному чтению мешала поверить, что во мне зреет незаурядный гуманитарий. Профессий, конечно, много, и всякий нормальный, да и не очень нормальный человек отыщет себе занятие по вкусу, но цыганка нагадала маме, что сын ее будет знаменит, и бедная мама, обозревая неуклонно ширящееся пространство моей непригодности, все более озадачивалась: откуда ждать славы? Мама так и не дождалась серебристого сияния вокруг моего чела, как не дождался и я сам, но увидела мое имя в толстом, убедительном томе «Кто есть кто в мире»: там было сказано, что я родился и умер в Москве, хотя последняя дата не установлена. «И хорошо, что не установлена, — сказала совсем седая мама, покусывая губы, — живи как можно дольше, сынок, всем назло. Но умереть ты должен только в Москве и лечь возле меня на Востряковском кладбище. Я буду тебя ждать». Все это — через век, а тогда, разозленный и пришибленный гениальностью проклятого мальчишки, я сотворил величайшую низость. Зайдя ему за спину, я стал подошвой стирать непрочный рисунок. Я размазал колет, перевязь, кружевной воротник, стер эспаньолку, горько-язвительный рот, ниточку усов, нос с горбинкой и складки от ноздрей к уголкам рта — мальчишка ничего не замечал. Его

будто околдовали. Счастье это или несчастье?.. Но даже если несчастье, хотелось бы пережить такое. Сейчас он возился с пером на шляпе, стараясь придать ему крутой залихватский изгиб. Шляпа уже ничего не венчала: я успел размазать глаз, бровь, завитки волос, а когда вышла из подъезда мама с шляпной картонкой в руках и что-то сказала мальчишке, заставив его бросить работу и встать, я прикончил и все остальное. Мама казалась озабоченной и чем-то недовольной. Сделав мне знак головой, она быстро зашагала к Мясницкой. Перейдя на другую сторону переулка, я оглянулся. Мальчишка стоял над своим уничтоженным рисунком: от мушкетера осталось лишь черное пятно Злоба стремительно истаивала во мне, замещаясь стыдом и жалостью. Как мог я опуститься до такой гнусности? К тому же тайной, ведь он так и не заметил меня. Издали мальчишка не выглядел «рахитом». Голова немного великовата для худенького тела, но была в нем ладность, даже изящество. А движения как у актера на сцене: точны, выверены, пластичны, — удивительный, волшебный какой-то человечек. Мне хотелось, чтобы он скорее разревелся и тем поставил точку на этой скверной истории. Но он все смотрел под ноги, затем протер глаза, затряс головой, всплеснул руками, высоко подпрыгнул и расхохотался. Заходясь от смеха, он начал отплясывать какой-то дикий индейский танец. Я ничего не понимал. Над чем он смеется? Разве ему не жалко своего рисунка и неужели он думает, что прохожие непреднамеренно стерли его своими подошвами?

Меня с силой схватили сзади за плечи. Я оглянулся и увидел искаженное гневом мамино лицо. Она легко приходила в ярость, правда, и быстро остывала.

— Ну что ты стоишь как истукан? Мы никуда не успеем. А тут еще Муся навязала мне свою шляпку!..

Муся была давнишняя мамина приятельница, из тех немногих, что мне нравились, — она вносила в дом праздник самим своим появлением: рыжеволосая, с большим, ярким, всегда смеющимся ртом, благоухающая и неизменно в ликующем настроении. Муся жила в трех шагах от нас, но будто на другом конце света, у нее всегда было лето, всегда солнце. Тень догадки коснулась моей души и скользнула прочь. Я должен был о чем-то спросить маму, но упустил, о чем. Внимание мое было приковано к мальчику на другой стороне переулка. Он уже не хохотал и не прыгал. Он озирался, чего-то искал. И нашел: кусок чистой, недавно отштукатуренной и побеленной стены справа от подъезда. Он примерился к белому пятну, подошел и, взмахнул рукой, сжимающей кусочек угля. Здесь его картина будет в большей сохранности, ее не затопчут пешеходы, она доживет до

следующего утра, когда ее смоет из резиновой кишки разъяренный дворник. Тогда мальчик найдет другую чистую плоскость. Важно рисовать, а не трястись над своим рисунком, помещать в рамочку и вешать на стенку.

— Этот мальчик, — сказал я маме, показав рукой, — он здорово рисует.

Мать удивленно поглядела на меня.

— Ты что, забыл?.. Муся приводила его к нам. Это ее сын — Оська…

Ничто не дрогнуло в моей душе, когда впервые прозвучало это имя, ставшее для меня на короткие и, наверное, самые счастливые годы радостью, праздником, карнавалом, а на всю последующую жизнь — тоской и болью. Никакие дружбы, и любви, и вся человечья несметь, неотделимая от моей судьбы, не могли пригасить в памяти добрый и насмешливый свет раскосых глаз мальчика, убитого сорок лет назад…

3

Наверное, уже сейчас надо сделать оговорку, чтобы предупредить законное недоумение читателей этих записок. Как же так: взялся рассказывать о своем друге, а говорит все время о себе. Но это неизбежно. Характер Оськи не успел отвердеть, еще только формировался. Ему не было отпущено времени для поступков, для участия не только во взрослой, но даже в юношеской жизни, если не считать скороспелых потуг, ничего не говорящих о его сути. Он не успел даже влюбиться, хотя, кажется, успел влюбить в себя девушку, проводившую его на войну, и, как много позже оказалось, зрелую женщину, плакавшую по нему. Он был в душах своих родителей, считавших его ребенком, и своих друзей, знавших, что он личность. Из этих друзей остался на свете я один. Павлик погиб под Москвой, другой друг, талантливый актер, поэт и переводчик, разбил о быт любовную лодку и лишил себя жизни.

Наше свидание на земле было так коротко. К тому же три года возрастной разницы — это ничего не значит под уклон дней, но очень много — на заре жизни. Нас подравнял его рывок к зрелости уже вблизи расставания. И что я знаю об Оське? У меня много любви, тоски и боли, но мало строительного материала. Я могу воссоздать его только через себя, из соприкосновений, совпадений и несовпадений наших сутей. Один жестокий человек сказал: все молодые люди похожи друг на друга. Это было сказано из глубины презрения к людям, но известная доля истины

тут есть. Конечно, все молодые люди разные, но трудно проглянуть эту разницу, поскольку они решают одну задачу — первого и самого трудного приспосабливания к жизни, утверждения себя в ней. Любому нормальному юноше свойственны завышенное представление о собственной ценности, идеализм (чему не мешает защитный скепсис, порой цинизм), ранимость и отсюда — яростное стремление сберечь от посторонних (самые посторонние — родители и близкие) свою внутреннюю жизнь. Я не обладал, да и не мог обладать по молодости лет такой проницательностью, чтобы видеть Оську изнутри. И реконструировать хоть как-то его образ я могу только через себя; в своем месте я скажу о той неожиданной помощи, какую получил от его отца…

4

В тот день на улице Мархлевского мама ошиблась, думая, что я уже видел Оську. Возможно, Муся и приводила к нам сына, только меня не было дома, а мама забыла упомянуть о визите высокого гостя. Знакомство наше состоялось, когда Оська уже учился в школе. Мама сказала: «К нам придет Муся с сыном, ты его не обижай» Я удивился: обижать кого-либо было не в моих правилах, и мама это знала. Обижали меня, и довольно часто, причем без всякого повода. Меня задевали и дворовые ребята, и школьные, чаще — старшие, проходу не давали чистопрудные и девяткинские; даже миролюбивые обитатели дома военных, где был проходной двор, сокращавший путь в школу, не раз испытывали на мне силу мышцы бранной. По-моему, это объяснялось одним: меня не научили бояться, не научили осторожности. Я жил в атмосфере любви, меня любили и в семье, и все многочисленные родичи нашей домоправительницы Верони, как московские, так и деревенские: в селе Внуково, в деревнях Акулово, Сухотино, Конуры, любили во дворе, за исключением двух-трех злыдней, любили в классе, любили, вернее, делали вид, что любят, друзья дома. И я упорно верил, что и другие люди должны так относиться ко мне; каждое проявление агрессии казалось мне случайным, не стоящим внимания, я быстро забывал обиду и снова лез на рожон. Эта храбрость от заблуждения особенно раздражала бойцовых ребят недружественного нашему дому Девяткина переулка и Чистопрудную шпану. Но, сколько бы ни убеждали меня домашние ходить безопасными путями, ноги сами несли меня на вражескую территорию. Я был физически сильным мальчиком, хорошо натренированным трапецией и

лесенкой, висевшими в моей комнате с высокими дореволюционными потолками, а также гантелями и английской гимнастикой, которой научил меня дед, но я не давал сдачи. Во-первых, мне не было больно, а удивление перед внезапным нападением перевешивало обиду. Желание постоять за себя пробуждалось изредка, когда все уже было кончено и мои обидчики или рассеивались, или уходили сомкнутым строем на поиски новой жертвы. И еще одно гасило во мне волю к сопротивлению: мне было трудно совершить жест удара. Горький вообще не мог поднять руку на человека, я же мог, но нужно было очень расстараться, чтобы я перешагнул невесть кем наложенный (только не матерью) запрет. Такие старательные ребята все же находились, и я их бил с какой-то странной расчетливой яростью. Но победы не приносили удовлетворения, напротив, неприятно щемило и ежилось внутри Даже отлупив грозу дома, тупого, задиристого и жестокого Кукурузу, я помнил лишь его горестную ошеломленность, налитые слезами глаза, ободранные о булыжник пальцы и гнусное улюлюканье дворовой мелкоты. И странно: шагнув за половину жизненного пути, я вдруг разуверился в хрупкости и мимозной чувствительности окружающих и радостно пустил в ход кулаки. Прошло немало времени, прежде чем я утихомирил столь несвоевременно пробудившегося в немолодом писателе Ваську Буслаева В детстве же я очень любил товарищескую борьбу, но никогда не связывался с младшими ребятами. Мое миролюбие и незащищенность раздражали маму, почему же вдруг она сочла нужным призвать меня к кротости? Наверное, она знала что-то о сыне своей приятельницы Муси.

Я совсем забыл о нем, нет, не забыл, конечно, слишком много уязвившего мою гордость было в воспоминании, но загнал в самый дальний угол сознания образ мальчика, чей рисунок так подло уничтожил. К тому же прошло несколько лет, я как бы перешел в другой вес: с художническими иллюзиями было покончено, мушкетер в рамке, правда, еще висел на стене, но он остался как милая память минувшего, как и облезлый плюшевый медвежонок; я был безответно влюблен в девочку старше меня на два года и в учительницу биологии с тяжелым пучком золотых волос, и какое мне вообще дело до этого мозгляка?

Муся с мамой уединились в нашей второй комнате, а я остался с Оськой. Он счел нужным представиться:

— Тезка слуги Хлестакова! — И сюсюкающим тоном добавил; — По улице бодро шагала веселая компания Миша, Вова, Боря и маленький Осик. — Он тяжело вздохнул. — Всегда последний, всегда сзади, так-то, брат!

Наверное, до вздоха была цитата из какой-то дурацкой детской книжки Я не понял: смеется он или всерьез сетует на жизнь. Он, конечно, вытянулся с той поры, но настоящего роста не набрал. И все же не выглядел «маленьким Осиком», который всегда плетется сзади. Он производил впечатление весьма бойкого и самоуверенного паренька, и поскольку сам я ни бойкостью, ни просто находчивостью не отличался, то насторожился и даже немного оробел. И еще — он перестал быть «рахитом» — пропорциональный, очень стройный, к тому же кокетливо одетый: курточка, брюки «никкер-бокер», клетчатые шерстяные носки.

— Ну, показывай, чем живешь! — сказал Оська и ни с того ни с сего продекламировал, грассируя: — «Вошла ты, резкая, как нате! муча перчаток замш. Знаете, я выхожу замуж. Ну, что ж, выходите… Видите, спокоен, как пульс покойника..»

Стихи меня оцарапали, хотелось узнать, чьи они, но я постеснялся спросить и тем выдать свою необразованность.

Давно уже содержимое ящиков письменного стола потеряло для меня всякий интерес, но, чтобы развлечь гостя, я показал ему какие-то инструменты, останки «мекано», коллекцию пересохших, почти рассыпающихся бабочек в коробке под стеклом, толстый в красном тисненом переплете альбом с марками, финский нож и пистолет «монтекристо», на который я вторично скопил деньги после большого ограбления в «Мюре и Мерилизе». Благородно тяжелый, с длинным блестящим стволом и шершавой, красиво изогнутой ручкой, из всего барахла детских лет он один сохранил притягательность. Оська, смеясь, прицелился в меня, сильно сощурив правый глаз, — он не умел обращаться с огнестрельным оружием.

— В пяти шагах убивает человека, — сообщил я — Наповал!

Оська посмотрел на опасную игрушку и тихо отложил. В альбоме с марками его привлекли портреты царей, шахов, султанов, магараджей, президентов и прочих правителей кануна первой мировой войны, когда этот альбом был выпущен, коллекцией моей он пренебрег. С острым любопытством всматривался он в старые и молодые лица под коронами, цилиндрами, касками, треугольниками, чалмами, тюрбанами, фесками. Он возликовал, дойдя до юношеских и даже детских лиц правителей Пенджаба, Бенгалии, Кашмира, Раджестана. Расфуфыренные на восточный лад мальчишки выглядели на редкость эффектно.

— Вот это да!.. Гип, гип, ура! — возвеселился Оська. — Мировые пацаны! — И вдруг запел: — Повидай там раджу и эмира, посмотри баядерок балет, а невесте своей из Кашмира

привези золотой амулет!..

Сам лишенный слуха (сейчас меня уверяют, что не слуха, а способности воспроизводить мелодию), я мгновенно чувствую даже малую фальшь, — у Оськи был абсолютный слух. Грассировал он еще сильнее, чем при чтении стихов, похоже, он кому-то подражал, ведь в обычном разговоре его «р» звучало чисто, но спросить об этом я опять постеснялся, равно и о том, что он поет. Раздражение мое против гостя все росло.

— Альбом — вещь, а марки — дерьмо, — подвел итоги Оська. — Что у тебя еще есть?

— Лобзик.

— Отсталое развитие, дружок! Ты еще занимаешься выпиливанием?

— Нет, я думал, ты занимаешься.

— «Какими Галиафами я зачат — такой большой и такой ненужный?» — спросил Оська с отчаянием. — «Милостивые государи! Говорят, где-то, кажется, в Бразилии, есть один счастливый человек!»

У меня заломило голову. Наверное, не нужно было вслушиваться в его трепотню, лишенную какой-либо связи с происходящим, но я искал в ней смысл, и мои бедные мозговые извилины заплелись в косу.

Обветшалые сокровища, которых мне, впрочем, хватало в Оськином возрасте, оставили его равнодушным. Кроме альбома, он не нашел у меня ничего заслуживающего внимания. Где-то в залавке валялись деревянные шпаги с «настоящими» эфесами и мушкетерский плащ с осыпавшимся золотым крестом на груди; фетровую шляпу с остатком обломавшегося страусового пера отдали Верониному брату Якову, чтобы прикрывал голову во время пахоты, а сапоги с ботфортами — другому брату, Егору, сторожившему сухотинские сады. Но стоило ли ворошить залавочную пыль — этот скороспелый подросток небось давно вышел из мушкетерского плена. Чем он живет, что может его заинтересовать? На д'Артаньяна в овальной рамке он даже не глянул, сразу поняв, что это дрянцо, тем менее хотелось показывать ему останки былого увлечения: ящички с красками, кисточки, палитры, поэтому я даже не открыл нижний правый ящик стола, где погребено мое художническое прошлое.

— «И вдруг все вещи кинулись, раздирая голос, скидывать лохмотья изношенных имен…» — замогильным голосом произнес Оська — Что читаешь, бледнолицый?

Я мотнул головой на полку с книгами.

Он подошел, взгляд его удивленных раскосых глаз забегал по корешкам. Меня злила эта беглость, означавшая, что все книги

ему знакомы. При этом он что-то бормотал, вдруг повышая голос почти до крика, то опадая на шепот. Затем отчетливо и спокойно сказал, глядя мне в лицо:

— «А тоска моя растет, непонятна и тревожна, как слеза на морде у плачущей собаки». Стихов у тебя нет. Ну, а «Смока Беллью» ты хоть читал?

— Не помню. Может, читал. Чье это?

— Джека Лондона. Если б читал, помнил бы. Целая серия романов. Все лучшие люди зачитываются. Но ты совсем бушмен.

Он явно нарывался. И тут я вспомнил о мамином предупреждении. Значит, она знала, что Оська ломака, хвастун и задира. При этом он еще и сопляк — смешно с ним связываться. Но до каких пор должен я терпеть его разнузданность? Он явно демонстрировал свое пренебрежение ко мне: слонялся по комнате, трогал разные вещицы и небрежно отбрасывал, выкрикивал раздражающе-непонятные стихи, свистел, пел. Позже, сблизившись с Оськой, я узнал, что он не терпит незаполненных минут. Ему всегда нужно было что-то делать: играть, читать, разговаривать, спорить, рисовать, клеить, позже — фотографировать, ставить шарады, показывать фокусы, он не терпел пустоты; мой обиход его не заинтересовал, живого общения не получилось, и образовался вакуум.

— Ты в шахматы играешь? — спросил я с опаской, поскольку сам лишь недавно узнал расположение фигур на доске и четырехходовку киндермата.

— Нет, — отозвался он пренебрежительно. — Я не играю ни в шахматы, ни в шашки, ни в бирюльки и не занимаюсь авиамоделизмом. В вист — роббер-другой, пожалуйста, в покер, кункен.

— При чем тут авиамоделизм?

— Все дураки увлекаются авиамоделизмом.

Я этим не увлекался, но почувствовал себя оскорбленным. Мне казалось, что я обиделся за хороших, умных, способных и сосредоточенных ребят, занимающихся непростым и благородным делом, но задело меня другое: он вроде в дураки меня зачислил. Самолюбие мешало признаться в этом, но злоба закипела — противно и сладко.

— А чем ты увлекаешься? — превозмогая себя, спросил я.

— Женщины, вино и карты… Каждый настоящий мужчина должен уже к обеду пахнуть дешевыми духами и пудрой.

И в доказательство он сунул мне под нос ладонь, а когда я машинально наклонился, чтобы понюхать, вдруг хлопнул меня по носу и губам и радостно захохотал. Ни слова не говоря, я выпрямился и ударил его кулаком в лицо. Ударил сильно, он

отлетел назад, наткнулся на продавленное кресло и повалился в его истертую кожаную глубину. Из носа у него вытекла струйка крови и на верхней губе выступила алая капелька. Он потрогал ушиб и увидел на пальцах кровь. Лицо его скривилось, я, как и тогда на Мархлевского, ждал, что он расплачется, и хотел этого, но он не заплакал. Достал чистый и белый носовой платок, высморкался несколько раз, а когда кровь перестала идти, аккуратно сложил платок, промокнул губу и спрятал платок в карман. Он посмотрел на меня — странно, без тени страха или злости, даже обиды не было в его раскосых темно-темно-карих глазах, лишь удивление и словно бы вина.

— Слушай, — сказал он добрым голосом. — Ну чего ты? Я вовсе не хотел тебя обидеть. Правда!

Я молчал. Я видел его подпухший нос, тонкое лицо, выострившиеся домиком над раскосыми глазами шелковистые брови, непрочное, нежное, будто фарфоровое лицо, и горло забило картофелиной.

— Брось!.. Забудем!.. — Он выметнулся из кресла, подошел ко мне и поцеловал в щеку.

Спартанское воспитание, которое давала мне мама, исключало всякие проявления сентиментальности, меня никогда не целовали, не гладили и вообще не трогали без нужды — это было строжайше запрещено. При встречах и расставаниях у нас в семье обходились рукопожатием, все чувства полагалось держать на запоре. И это открытое движение доброты, нежности и доверия перевернуло во мне душу…

Я никогда больше пальцем не тронул Оську, как бы он ни задирался, а это случалось порой в первые годы нашей так сложно начавшейся дружбы. Позже, в пионерском лагере, я бдительно следил, чтобы его кто-нибудь не обидел. А такая опасность постоянно существовала, потому что при всей своей доброте, открытости и любви к людям Оська был насмешлив, размашист, крайне неосмотрителен и наступал на ноги дуракам, нисколько того не желая. Однажды Оську избил парень из старшей группы по кличке Жупан. Я публично вздул Жупана, чтобы другим было неповадно. Сам Оська подошел, когда экзекуция уже закончилась и его обидчик размазывал по лицу кровавые сопли. Оська отвел меня в сторону.

— Я прошу тебя… я очень прошу тебя никогда за меня не заступаться. Ладно?..

— В Христосика играешь?

— Нет, — он засмеялся. — Просто мне наплевать, а для таких, как Жупан, целая трагедия. Ну их к черту!.. Не выношу, когда унижают людей…

5

Мне до сих пор непонятно, как мы вработались в ту дружбу, память о которой за сорок лет не только не стерлась, не потускнела, но стала больнее, пронзительней и неотвязней — щемяще-печальный праздник, который всегда со мной. Мы трое: Павлик, Оська и я — были нужны друг другу, хотя едва ли смогли бы назвать в словах эту нужность. В дружбе есть нечто не поддающееся анализу, как и в любви, о которой вернее всех сказал Гёте: «Очень трудно любить за что-нибудь, очень легко — ни за что». Конечно, безоглядное, слепое влечение любви, ее таинственный зов неприложимы к дружбе, но и в дружбе есть что-то сверх сознания. Впрочем, я знаю, что с Павликом нас спаяли поиски своего места в жизни, давление властных глубинных сил, не ведавших очень долго своего применения. Это были разные устремленности, моя раньше обрела имя литература, его позже — театр, но мучений они доставили нам в равной мере. Терпеть и одолевать неизвестное было легче вдвоем. Мы оба услышали зов: встань и иди незнамо куда. Мы встали и пошли. Мы искали неведомую землю в темноте, то поврозь, сходясь и расходясь, черпая бодрость и надежду в стойкости другого, который сам в себе этой стойкости не ощущал. Нас связывали и внешние обстоятельства жизни: мы сидели на одной парте, жили в одном подъезде, вместе готовили уроки, вместе испытывали свой дух искусственно придуманными увлечениями, ибо не догадывались о подлинных; мы находились в постоянном обмене, неудивительно, что у нас выработалось схожее отношение к людям, ко многим жизненным вопросам, что наши вкусы, пристрастия и отторжения совпадали. И хотя все это еще не самая душа нашей дружбы, предпосылки взаимопритяжения ясны.

С Оськой обстояло по-другому. Мы не были связаны территориально и не могли видеться так часто, да и не стремились к этому. Все-таки для нас с Павликом он долго оставался щенком. С ним можно было говорить о многом, потому что он был развит, начитан, остроумен, — все это далеко в обгон лет, но нельзя было говорить о том главном, что нас томило, что еще важнее — нельзя было об этом молчать, как часами молчали мы с Павликом, занимаясь черт знает чем: от химических опытов — вдруг мы великие ученые? — до бесконечного держания на кончике носа половой щетки или бильярдного кия — ради упражнения и проверки воли. А когда мы подравнялись, Оська на пороге десятого класса обрел «достоинство мужчины», упоенно воспетое Шиллером, Павлик был уже на действительной военной службе, — и я несколько растерянно увидел рядом с собой почти

взрослого человека, как будто сознательно принявшего на себя часть душевных обязательств Павлика. С Оськой было интересно, наполненно, весело, «крылато», не найду другого слова — это правда, но не вся правда, ведь бывало и грустно, и смутно, и тревожно… Всякое бывало, но в памяти остался солнечный свет, который потом уже никогда не был так ярок.

6

Перед решительным шагом Оськи во взрослую жизнь нас сблизил теннис. Это было в пору, когда я начал писать и сразу рухнул как футболист. Игравший тренер «Локомотива» Жюль Лимбек выкинул меня из юношеской футбольной школы, которую вот-вот должен был открыть. «Писателишка!» — сказал он презрительно, и погас костер, озаривший отрочество и раннюю юность. Бумагомарание почти заполнило пустоту. Но футбол приучил меня сильно чувствовать свое тело. Оно мне мешало в прикованности к письменному столу, надо было найти новый отток мышечной энергии; бега трусцой — панацею от всех напастей — тогда еще не знали. Оська, который все умел, показал мне, как держать теннисную ракетку. Я влюбился в теннис, хотя далеко не столь самозабвенно, как в футбол. Вскоре Оська потерял для меня интерес в качестве партнера, но появился другой, куда более сильный теннисист — его отец. Может быть, мне и вообще следовало начать эти записки с него?.

Пять лет назад я увидел на одной из московских улиц афишу, извещавшую, что в выставочном зале на улице Вавилова открыта персональная выставка художника Владимира Осиповича Р-на в связи с его восьмидесятилетием. Выставка Оськиного отца.

Я не видел Владимира Осиповича с июня 1941 года. За несколько дней до объявления войны мы играли в теннис на кортах маленького стадиона «Динамо», что в глубине необъятного двора, вернее, целой системы дворов, простиравшихся от Петровки до Неглинной. В зимнее время корты заливали водой и превращали в каток, самый уютный и лирический из всех московских катков. Норвежские ножи тут были запрещены, потому на «Динамо» не бегали, как на Чистых прудах или в Парке культуры и отдыха, а катались по маленькому кругу, обычно об руку с девушкой, под музыку из репродуктора. Едва ли не самые поэтические воспоминания юности связаны у меня с этим катком. Летом здесь хозяйничали взрослые. На нескольких особенно ухоженных кортах проводились соревнования, международные встречи (тут играл сам великий

Коше!), на остальных резались (часто на малый интерес: пирожные, шампанское, коньяк — из местного буфета) любители разного ранга. Среди них выделялся пожилой, жилистый, гладко выбритый человек в пенсне: держал ракетку чуть не за обод и, не обладая поставленным ударом, он за счет цепкости, интуиции — всегда знал, куда летит пущенный противником мяч — и железной выдержки брал верх не только над первокатегорниками, но, случалось, и мастерами. Прошло какое-то время, и во мне стали видеть возможного преемника славы дивного старца. Совершенно напрасно, как не замедлило выясниться.

К тому времени я уже обыгрывал классных игроков, которых подводило сознание своего превосходства над упрямым и суетливым любителем с непоставленным ударом. Да, у меня не было ни драйва, ни смэша, но я умел доставать все мячи. Жестокий урок я получил от высокой смуглой Тамары с необычно длинными, стройными и мощными ногами. Такие ноги я видел лишь у знаменитой гипсовой «Женщины с веслом» — олицетворения нашей цветущей молодости в довоенное время, но у живой, из теплой плоти женщины — никогда. Тамара слышала о моих блистательно-сомнительных победах и отнеслась к нашему сражению с чрезвычайной серьезностью. Не полагаясь только на технику, она носилась по корту на своих божественных ногах, то и дело выходила к сетке и разгромила меня под ноль в сете. Это был неслыханный позор. В утешение мне Оська говорил, что я проиграл не Тамаре, а ее ногам.

— Сыграй с Ниной, — уговаривал он меня. — Она не уступает Тамаре, но ты ее побьешь. У нее короткие волосатые ноги.

Ноги у Нины были действительно коротковаты, но зато белая майка обтягивала грудь Юноны, и я не стал искушать судьбу. Я вернулся к своему постоянному партнеру, Оськиному отцу. Владимир Осипович был высокий, худой и стройный. «Вечный юноша» — называли его друзья. Крайне молчаливый, он никогда не заговаривал первым и разжимал твердые сухие губы лишь по крайней необходимости. Я не помню, чтобы он о чем-нибудь спросил меня, ну хотя бы о мамином здоровье, ведь они были друзьями в пору недолгого брака с Мусей. По слухам, он и Муся разошлись легко, как некогда сблизились, и сохранили дружеские отношения. Этих красивых, напоенных сильной жизнью молодых людей разлучило не отсутствие взаимной любви, а боязнь непостоянством убить то большое, доброе и важное, что скрывалось за первой безоглядной влюбленностью и за последующим свободным браком. Он остался хорошим отцом Оське, который его стыдливо, тайно, никому в том не

признаваясь, обожал, он был верным, хотя и несколько эгоистичным другом своей жене. Мне он казался образцом мужчины: прекрасного роста (все братья Р-ны отличались статью, и Муся была хорошего женского роста, непонятно, в кого пошел Оська), на узких легких костях ни волоконца лишнего мяса, летящая поступь, сухие, точные движения. Оська тоже хорошо двигался, но совсем иначе, с какой-то балетной плавностью и грацией походка и повадка матери; лишь в драйвах и клопштоссах обнаруживалась в нем способность к отцовскому резкому, волевому жесту.

В ту пору немало художников из оформительского в основном цеха работало «под англичанина». Один так заигрался, что стал для всех Джоном, хотя и не думал отрекаться от своего простого русского имени. Тут не было ничего от пресловутого монтера Вани, «что в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан». Кстати, почти все эти художники принадлежали к кругу Маяковского, иные учились с ним во ВХУТЕМАСе, работали в РОСТА и по рекламе, иллюстрировали его стихи и поэмы.

Владимир Осипович был одним из первых даровитых оформителей книг Маяковского, с которым его связывали тесная дружба и карты. У этих художников хватало вкуса не ломаться под Маяковского, которого они боготворили, английский же стиль возник как самозащита. Все они принадлежали к авангарду и, не желая в годы торжества фотографического реализма отступиться от собственного лица, подались в оформители и если не вовсе забросили станковую живопись, то уже не выставлялись: маска невозмутимого, молчаливого джентльмена хорошо скрывала разочарование.

Я любил играть с Владимиром Осиповичем — при всей своей невозмутимости он был самолюбив, скрыто азартен и, подобно Маяковскому, терпеть не мог проигрывать. Борьба шла в каждом гейме, за каждый мяч, но я его неизменно дожимал. Его поставленной, с сильными ударами игре недоставало класса, чтобы одолеть мою вязкую, изнурительную для соперника манеру. Раздраженный моей ценностью, безостановочной беготней по всей площадке, он в конце концов посылал мяч в сетку или в аут. Мне не надоедали мои однообразные победы — в глубине души я знал, что он играет лучше меня. И он это знал и верил, что наконец-то возьмет верх. Но чего-то ему недоставало, какой-то малости. Он и вообще был не из тех, кто побеждает. Его участь — быть стойким и прекрасным в поражении, которое в этическом плане нельзя отличить от победы. Владимир Осипович научился у Маяковского стремиться к выигрышу: стиснув зубы,

всосав худые щеки, остекленив взгляд серо-зеленых глаз, он мужественно боролся, но неистребимое благородство сводило на нет все его усилия. Рисунок игры был для него важнее результата. Он не мог заставить себя гнаться высунув язык за безнадежным мячом, использовать явный промах, нудно «качать», как это делал я, провоцируя ошибку противника, он всегда стремился к красивому завершающему удару. Его игра была образцом корректности, чего никак нельзя было сказать о моем поведении на корте. Оська, добродушно следивший за нашими баталиями, сказал однажды: «Отец обречен, он играет, а ты выигрываешь».

В еще большей мере это было свойственно самому Оське — он вообще не думал о выигрыше, а только о красивом и сильном ударе. Теннис привлекал его эстетически: белые наглаженные брюки (тогда играли только в брюках), белая рубашка с короткими рукавами, звенящая элегантная ракетка, мячи, похожие на аппетитные булочки, красноватый песок площадок, загорелые стройные люди, иные с огромными именами, горячий кофе и бриоши в буфете, атмосфера праздничности все это чрезвычайно импонировало не лишенному снобизма Оське, впрочем, как и мне, но я еще хотел выиграть. В этом сказывалось глубокое различие между нами, которое обнажала игра. Режиссер Жан Ренуар, сын знаменитого художника, сказал, что жизнь — это состояние, а не предприятие. Для Оськи игра, соревнования, спортивная борьба были частью общего, радостного, упоенного состояния, именуемого жизнью, были струями, пенными завихрениями в блаженном потоке, несущемся неведомо куда, да это и неважно, ибо счастье и смысл в самом движении, а не в достижении берега. Для меня же, увы, жизнь была и осталась предприятием. Лишь очень редко, да и то в юности и едва ли не с одним Оськой, забывал я о *цели* и просто жил. Сам Оська вовсе не был слонялой, бездельником широко одаренный и необычайно склонный к культуре, он жадно вбирал сведения и впечатления, не знал пустых часов, он рисовал, блестяще фотографировал, помогал отцу, оформлявшему павильон Сельскохозяйственной выставки, страстно читал, захлебывался стихами, не пропускал ни одной премьеры. И при этом от него веяло беспечностью, парящей легкостью. Он не знал табу, внутренних запретов и преград, самообузданий, изнурительной возни с собой и юношеского самоедства. Радость была его естественным состоянием. Поистине у жизни никогда не было столь легкого и солнечного любовника.

Далеко же увело меня от выставки Владимира Р-на!.. Я не подражаю Стерну, великому мастеру околичностей и уводов повествования в сторону, хотя то, что я пишу, тоже можно назвать

«Сентиментальным путешествием» — в страну юности. Но сейчас я просто отступился в прошлое и не мог из него выбраться.

Р-н талантливый художник, с собственным четким миром, в котором он прочно, свободно и уверенно существует. Нетрудно угадать токи, идущие от Пикассо, да и он не скрывает своего пристрастия к творцу «Герники», дав на выставку триптих, посвященный любимому мастеру. Он мог позволить себе этот опасный жест признательности, ибо не является ни эпигоном, ни даже прямым последователем Пикассо.

Мне вспомнились полотна Р-на, висевшие в Оськиной комнате: два автопортрета, на одном художник бреется, погружая лезвие бритвы в аппетитную, белую, как кипень, пену, обложившую щеки и подбородок; на другом он словно подсмеивается над своим дендизмом: левый глаз выкруглен и вспучен моноклем, которого он никогда не носил; в малонаселенных натюрмортах непременно ветка сирени, царят мои любимые цвета: зеленый и фиолетовый. Манера заставляла вспоминать об импрессионистах, хотя ни с кем конкретно повязать его было нельзя. Это отступление в далекое прошлое было, как ни странно, попыткой сблизиться с настоящим, с тем победным направлением, которое все непохожее на себя предавало анафеме, и Р-н избрал наименее гонимый «изм» (закрытие бесподобного музея Западной живописи, бывшего Щукинского, произошло много позже). Помнится, он показывал свои импрессионистические полотна Луи Арагону, Эльзе Триоле — старым друзьям и приехавшему с ними из Парижа почтенному искусствоведу. «Как хорошо, — воскликнул седовласый знаток. — Но если бы раньше!»

На этой выставке «импрессионистический зигзаг» не был представлен, не было тут ни графики, ни экспонатов, связанных с долгой работой Р-на по оформлению выставочных павильонов, ничего, кроме станковой живописи, причем последних пяти лет. Ну и наработал художник в приближении своего восьмидесятилетия! И главное — он выровнял линию, идущую от первых послереволюционных лет к нашим дням, развив и обогатив всем опытом долгой жизни, твердым мастерством и бескомпромиссной верой в свою правду, заложенную в его искусство эпохой Маяковского. Многое шло от освеженной отроческой памяти и переживаний прекрасной взволнованной молодости двадцатых годов, и я почему-то решил, что тут полно авторских повторений. Каталог доказал мою ошибку: картины не имеют аналогов в прошлом. Как свежа и сильна ностальгическая память художника! И как при этом целомудренна, чужда умильности и слезницы. Р-н до скупости строг, прежде всего в

цветовом решении. Картины почти монохромны: разные оттенки серых, голубых, реже лиловых тонов. У Р-на не встретишь яркого синего или красного цвета, что, быть может, несколько обедняет его живопись, но вместе с тем придает ей удивительное благородство, деликатность и мужественность, соответствующие его характеру и манере поведения. Редко бывает, чтобы искусство и его творец были настолько похожи, картины Р-на — прямое продолжение его личности.

Он остался верен идеалам молодости, духу Маяковского, тому, что не сознательным усилием воспитателя (какой из него воспитатель — для этого он слишком деликатен, сдержан и бережен к миру другого человека, пусть этот человек — родной сын), а невольным давлением своей цельной личности и таланта вложил в Оську. Все увиденное на выставке смыкалось с Оськиными пристрастиями, его любимыми стихами, всем ощущением жизни, которое обнаруживалось напрямую в его фотографиях. Меня словно коснулось Оськино дыхание.

Захотелось оставить несколько слов в книге отзывов. Не считая себя вправе вторгаться в теперешнее, неведомое мне самочувствие Владимира Осиповича, я написал в книгу так же уважительно, благодарно и «посторонне», как другие посетители, восхищенные подвигом восьмидесятилетнего художника. Оставленные мною строчки ни в какой мере не приглашали к ответу, напротив, давали понять, что ответ не ожидается. Но ответ последовал незамедлительно — телефонным звонком.

— Вы по-прежнему Юра или Юрий Маркович? — Голос совершенно не изменился, был так же звучен, чист и ровен. — Это говорит Р-н. Спасибо за добрые слова Почему вы пропали, неужели думаете, что мне неприятно вас видеть, раз Оси не стало?

С обычной прямотой он сказал о том, что в самом деле мешало мне увидеться с ним.

Через несколько дней я перешагнул порог его мастерской в том доме, где располагалась выставка.

Мы оба испытали шоковый момент при встрече, хотя и от разных причин. Он неправдоподобно выглядел для своих восьмидесяти: худой, стройный, в прекрасно сидящих коричневых брюках и кремовой тонкой шерстяной рубашке; лицо не обвисло морщинами, смугловатая кожа туго обтягивает лоб, скулы, подбородок, привычен всос худых щек, лишь по глазам, по их усилию сверкать и твердо глядеть сквозь возрастную усталость можно догадаться, что ему много лет. Позже, когда он стал готовить кофе на электрической плитке и делать бутерброды, я приметил у него некоторую шаткость походки, словно бы

мимолетную потерю равновесия при резких поворотах. Но это можно было высмотреть лишь особо въедливым взглядом, и неудивительно, что медицинская комиссия без всяких затруднений продлила ему еще на два года пользование шоферскими правами.

И все же он стал другим. У него изменилось то, что вообще не меняется: форма головы. Тут дело в волосах и прическе: вместо прежнего высокого седого зачеса с подбритыми висками, что удлиняло голову и вытягивало лицо, теперь с половины темени начиналась редкая седая щеточка, и череп обрел куполообразную форму. Округлившаяся голова придавала ему неожиданное сходство с Оськой. Это мешало, сбивало с толку, порой мелькало дурманное ощущение, что передо мной оживший постаревший Оська, чье возвращение я странно проглядел.

В свою очередь, Владимир Осипович был ошарашен моим обликом, что всячески пытался скрыть, обликом старости того, кто помнился ему двадцатилетним. В конце концов он не выдержал и спросил как бы между прочим, сколько мне лет.

— К шестидесяти идет, — ответил я.

— Слушайте, Юрий Маркович, но вам никогда не дашь столько! — Он не умел говорить неправду даже из вежливости, голос его утончился.

— Если это действительно так, то называйте меня по имени. Это даст иллюзию молодости.

— Да, да, конечно! — сказал он и поспешно добавил тоном глубочайшего изумления: — Значит, Осе было бы сейчас за пятьдесят? Вы можете представить себе Осю старым?

— Сейчас, пожалуй, могу. Вы похожи на состарившегося Оську. Не на состарившегося себя, а на своего состарившегося сына. Вам этого никто не говорил?

Он покачал головой.

— Оська был на крылышках — стрекоза, ангел. Я думал, это уходит с годами, и не представлял себе Оську старым. Оказывается, можно набрать возраст и не приплюснуться к земле.

— Вы думаете, со мной этого не случилось?

— Это видно по вашей живописи.

А потом мы пили очень вкусный пахучий черный кофе и увязывали настоящее с прошлым. Владимир Осипович сказал, что у него тяжело больна жена, с которой он прожил без малого пятьдесят лет.

Странно, я не знал, что в пору наших теннисных баталий он был женат, давно женат. И почему-то Оська никогда не говорил мне об этом.

— А как Муся?

Он внимательно посмотрел на меня.

— Я похоронил ее. Два года назад.

7

До Оськиной юности, когда все стало по-другому, нас соединяло лето и разводила зима. Он учился в первой смене, я — во второй, где уж тут видеться, лето же мы проводили вместе в одном пионерском лагере. Старая Руза мне запомнилась лишь неудачным заступничеством, а Голицыно — первым взрывом Оськиных театральных увлечений, которые я не разделял: моими подмостками было футбольное поле. Старшая вожатая, студентка режиссерского факультета ГИТИСа, взялась поставить силами драмкружковцев «Романтиков» Ростана. Оська был одним из главных актеров — он играл забулдыгу-бретера, имя которого вылетело из памяти, — и главным художником спектакля. Премьера, состоявшаяся в родительский день, прошла с оглушительным успехом. Оська забил всех. Зрителям нравилась его совершенная развязанность на сцене, отчаянное грассирование и то, что, произнося повторяющуюся фразу: «И так, играя под сурдинку», он неизменно оговаривался: «Играя под сардинку» — и восторженно вторил дружному хохоту. Оська умел расположить к себе зал. Он упивался своим разнузданным лицедейством, но не обольщался успехом. Один из старших мальчиков, Юра Холмский, плел кружева в роли старика подагрика, но его тонкий комизм бледнел перед раблезианской буффонадой Оськи. «Холмский — гений! — орал Оська после спектакля. — А я — жалкий гаер!» — и с чарующей музыкальностью запевал:

Я усталый, старый клоун,
Я пляшу с мечом картонным,
И в лучах моей короны
Догорает ясный день…

— Оська не ломается, но и не играет, — говорил о нем Холмский. — Артистизм сам прет из него, как пух из распоротой перины…

А совсем нового Оську я встретил в Коктебеле, куда приехал на лето, окончив школу и без экзаменов — отличный аттестат — поступив в медицинский институт. О, это лето!.. Здесь со мной произошло то, о чем в Сицилии говорят: «Его поразило громом». Удар настиг меня в тривиальной обстановке обеда в столовой

дома отдыха. Вошла, нет, вплыла девушка, похожая на Царевну-Лебедь Врубеля. Вижу белое одеяние-оперение, гордый постав головы, таинственный, с легкой косиной взгляд, не курортный, а райский обливной загар и жемчужный кокошник, которого не было. Я стал мгновенно и полно несчастен, еще до того, как узнал, что она на два года старше меня, дочь знаменитого ученого и ждет приезда жениха, молодого, но уже прославленного поэта. А что за мной? Я и студент-то липовый, только принятый в институт, но еще не начавший учиться, о моих литературных потугах известно одному отчиму; и он относится к ним сдержанно. Оставалось одно: скрыть свою потрясенность от окружающих, в чем я и преуспел. Не удалось обмануть только Оську.

— Есть один путь, — сказал он. — Произвести на Дашеньку впечатление. Сразу выделиться из толпы. Ошеломить ее.

— Чем? Точной подрезкой в середину или хорошим отыгрышем? Плаваю я неважно, танцую средне, загораю плохо. В ресторан повести не могу поиздержался в дороге. Броситься на ее глазах в море с Карадага? Я не решусь пригласить ее в горы.

— Ты видел розарий МАИ? — Он имел в виду соседний дом отдыха. — Давай ночью его обдерем, и ты поставишь на профессорский стол фантастический букет. Все обалдеют, ее мать лопнет от гордости, а Дашенька сразу поймет, что ты готов ради нее на все.

Так мы и сделали. Букет не вмещался в эмалированное ведро, которое Оська раздобыл невесть где. Но вся затея едва не провалилась глупейшим образом. Четвертым за Дашенькиным столом сидел молодой литературовед с вывернутой верхней губой: когда он говорил или улыбался, розовый подбой выгибался наружу, образуя как бы третью губу. Но он подавал большие литературные надежды, и в научной среде его ценили. И позволяли занимать Дашеньку до приезда жениха. Когда семья явилась к завтраку и обнаружила на столе клумбу обрызганных влагой роз, Дашенькина мать, то ли в искреннем заблуждении, то ли предвидя тягостные последствия галантного дара, осклабилась белозубой людоедской улыбкой и притворно-сердито накинулась на трехгубого:

— Ах, Игорь, вы, право, невозможны! Я так и знала, что от вас жди сюрприза!

И этот гад, вместо того чтобы отвести от себя лестные подозрения, выпятил с довольным видом третью губу и застенчиво потупил рачьи — за толстыми стеклами — глаза мол, каюсь, но такой уж я парень! Я молчал, убитый горем, но Оська был на страже. С величайшей развязностью он подошел к

профессорскому столу, поздоровался, назвал Дашеньку «таитянкой» и сообщил, что милиция ищет злоумышленника, оборвавшего розарий МАИ. Трехгубый побледнел и пролепетал, что не повинен в этом ни сном ни духом.

— А на вас никто и не думает, — пренебрежительно бросил Оська — Кишка тонка! Это сделал мой безумный друг, пожелавший остаться неизвестным.

Дашенька густо — сквозь загар — покраснела, а моя будущая теща метнула на меня первый исполненный ненависти взгляд.

— Зачем вы это сделали? — спросила Дашенька, когда мы столкнулись днем на садовой дорожке.

Я обонял свежий смуглый аромат ее загорелой кожи и ореховых, нагретых солнцем волос, теплые волны накатывали, мутя сознание.

— Не знаю, — пробормотал я, — от беспомощности.

У нее была манера чуть заводить левый глаз; коричневая радужка сдвигалась в уголок, к виску, прибыток подголубленной белизны обдавал холодом. Позже я узнал, что мгновенная косина значила отторжение Дашеньки от собеседника в обиде, недовольстве или недоумении.

На этот раз причина была в последнем, она не сразу поняла, что я имею в виду, а когда поняла, теплая коричнева изгнала накат холодной белизны.

— Я не хочу, чтобы вы из-за меня стали узником.

Вечером мы пошли на танцы. Оська оказался провидцем: профессорское воспитание можно было прошибить лишь выдающимся хулиганством. Когда поэт-жених наконец приехал, большой, грузный, добродушный, на редкость симпатичный, он понял, что опоздал. Было объяснение, и поэт укатил в Москву. Там он написал цикл стихов о ревности с такой силой, что чуть было не закрыл навсегда тему, и утешился. Но не утешилась Дашенькина мать, возненавидевшая меня раз и навсегда. Ее совсем не занимал вопрос: а если это любовь? Близкий друг больших поэтов и замечательных музыкантов, она чтила святыню любви, но отказывала в праве на нее студентику из тусклой семьи, коли его чувство мешало великолепному будущему дочери. Это будущее гарантировалось красотой и очарованием Дашеньки, высоким местом ее отца, громкой репутацией семьи, первоклассным окружением Тут дело было не в плоской корысти. Умная, властная, но несколько зашоренная чрезмерной целеустремленностью своего сильного, не ведающего ни сомнений, ни компромиссов характера, Дашенькина мать привыкла видеть вокруг себя либо людей выдающихся, либо преуспевавших, случалось, что оба качества совпадали. Для нее

естественным стало мерить окружающих весьма строгой меркой, я же под эту мерку никак не подходил. В ее представлении отчасти справедливом — я еще не начинался как человек и вряд ли когда-нибудь начнусь. И уж если и начнусь, то никак не для Дашеньки; она старше меня на два года, в зените девичьего расцвета, которому пора уже стать расцветом женственности. Бутон должен взорваться алой прелестью цветка, но не для сопляка, а для взрослого человека, достойного любви по своим талантам, положению или хотя бы гарантированному будущему. Она и сама так вышла замуж и была отменно счастлива в своей семейной жизни. Лишь однажды она поддалась стихийному чувству к великому поэту, их старому другу, а он этого даже не понял, и ничего, кроме стыда, горя и разочарования, столь заманчивая в стихах любовь ей не принесла. Уплатив горькую дань иллюзиям, она раз и навсегда поняла, что не надо путать поэзию с правдой. Она знала, как строится счастье, — и прочь паршивого мальчишку, сбившего с толку ее разумную дочь! Посчитав Оську чем-то вроде Лепорелло при мне, она не простила даже его тени, что Дашенька не стала музой добродушного и вовсе не безумного поэта…

И так получилось, что Оська оказался поверенным нашей любви. У Дашеньки было к нему двойственное отношение: она ценила его безграничную преданность мне, то есть нам, ее привлекала Оськина легкость, беспричинная праздничность, — так сладко хоть на время забыть о неустанной и душной материнской давильне, — и вместе с тем ей казалось, что дружба с мальчишкой компрометирует и меня, и наши с ней отношения, утягивая их во что-то детское. Козырями ее матери были мои юные лета и душевная незрелость. Дружба с Оськой — все равно что игра в пятнашки или казаки-разбойники. В дальнейшем, уже в Москве, этот мотив усилился: я вовсе не спешил остепениться, по-прежнему предпочитал обществу серьезных, даровитых людей компанию какого-то шалопая. Дашеньке нечего было возразить матери. Но это было не совсем так: к «гелертерам», посещавшим их дом, я не испытывал ни тяги, ни пиетета, но Поэт и Музыкант обладали в моих глазах притягательностью, почти равной Оськиной.

Впоследствии, когда Оська резко и довременно (по ханжескому счету) повзрослел, Дашенька опасалась, что он увлечет меня в свою грешную соблазнительную жизнь. Словом, совсем не просто было отношение моей подруги, потом жены к лучшему другу, и все же между нами тремя случались минуты и часы удивительной родности. Павлик к тому времени служил действительную, очень редко приходил на «побывку», и хотя он

единственный из моего окружения пользовался признанием в Дашенькиной семье, волей обстоятельств оставался в стороне от наших сложных игр.

Мы встречались с Дашенькой дважды в неделю. Один раз официально и чинно на приемах в ее доме, в субботу вечером или в воскресенье днем, в зависимости от того, ждали гостей к ужину или к обеду. Круг их почти не менялся, то были старые, испытанные друзья, за редким исключением — супружеские пары, но каждый раз опробовался хотя бы один новый гость. За все время, что я участвовал в этих встречах, к монолиту постоянной компании пристал надолго лишь известный прозаик. Время от времени приглашались молодые ученые — потенциальные Дашенькины женихи (по расчетам ее матери), блестящие умы, тщательно скрывавшие этот блеск, но они не задерживались, робко, печально и твердо отвергаемые Дашенькой. Любопытно, что от меня вовсе не пытались скрыть мотив их присутствия в доме, Дашенька — по честности, ее мать — из желания лишний раз подчеркнуть, что со мной никто всерьез не считается. Пренебрежительное отношение ко мне разделяли все гости, кроме двух, главных: Поэта и Музыканта я чувствовал идущее от них тепло. Это объяснялось отчасти их добротой и уважением к Дашеньке, распространявшимся и на ее избранника, — они-то в отличие от остальной компании прекрасно понимали суть наших отношений, отчасти же — тайным недоброжелательством к ее матери. Отдавая ей должное как значительной и сильной личности, многолетней участнице их сложного бытия, они видели ее фальшь и маскировку утонченным эстетством плоских жизненных расчетов.

Справедливости ради должен сказать, что Дашенькину мать никто не знал до конца и в первую очередь она сама. В дни своего долгого, мучительного и сознаваемого умирания она поднялась над бытом, болью, даже страхом за безмерно любимую дочь и сравнялась с тем высоким, одухотворенным образом, который неудачно примеривала к себе всю жизнь.

Проницательность напрочь отказывала ей, когда дело касалось самого важного в ее жизни. Она тряслась над Дашенькой как Скупой над своими сокровищами, но ее ничуть не настораживало, что раз в неделю дочь уходит заниматься к подруге (без телефона), которую никто из домашних в глаза не видел, надевая лучшее платье, а вместо учебников укладывая в портфель лакированные лодочки. Допустим, последнего она могла и не видеть, но почему не удивлял ее нарядный облик дочери, подкрашенные ресницы, запах французских духов и то, что с занятий Дашенька возвращается во втором часу ночи и

сразу же запирается в своей комнате. И это в семье, где весьма ценились такие старомодные сантименты, как прощальный поцелуй на ночь.

Занятия проходили в однокомнатной квартире моего отчима в Подколокольном переулке. На редкость не повезло мне с памятными местами моего детства! Я знаю москвичей, которые могут показать и дом, где они увидели свет, и школу, в которой учились, и даже дачу где-нибудь в Мамонтовке, Удельном или Кратове, где проводили лето. Мой старый дом перестроен, а флигель, где я родился и рос, снесен, акуловская дача затоплена Учинским водохранилищем, школу заняла Академия педагогических наук, а дом, где жил отчим, забрало агентство печати «Новости».

Мы уходили из Подколокольного переулка в девятом часу вечера и ехали в ресторан «Москва» на четвертый этаж, где нас ждал Оська, уже заказавший столик. Почему мы облюбовали этот шумный и несколько тревожный ресторан? Он был сравнительно дешев, и хотя я уже получал гонорары за рассказы и рецензии, но все же не такие, чтобы покушаться на «Метрополь» или «Националь». Кроме того, здесь не нарвешься на знакомых Дашенькиной семьи, которые могли бы просветить ее мать насчет истинного усердия дочери в науках, и, наконец, там пел Аркадий Погодин, который нам нравился.

И под песню Аркадия Погодина «Сегодня мы должны с тобой расстаться» Дашенька сказала мне однажды, что это — о нас. Ее жизнь стала адом, она вконец изолгалась, и лучше сразу порвать, чем длить эту трусливую, воровскую жизнь. «А зачем нам скрываться? Давай скажем все как есть. Почему мы не можем любить друг друга открыто?» — «Ты с ума сошел! — У нее выступили слезы. — Это убьет маму!»

Пусть я не бог весть что, но и не настолько омерзителен, чтобы вызывать такую жгучую и стойкую ненависть. Дашенькиной матери нужно было выдать дочь за такого человека, в которого она сама могла бы влюбиться, чисто платонически, разумеется. Дашенька должна была получить мужа из рук матери — это одно могло избавить раскаленную душу от мук ревности к тому, кто получит Дашеньку. Моя беда была в том, что Дашенькина мать не могла влюбиться в меня. Она могла влюбиться в знаменитость — действующую или потенциальную, на худой конец в человека видного, авантажного, с лестным положением.

Она привыкла к таким людям в своем окружении и не хотела других, не верила им, даже боялась. Студентик с жалкими литературными потугами был ей гадок, враждебен, невыносим.

Дашенька любила свою мать, восторгалась ею, была убеждена

в ее мудрости, знании жизни, людей и, конечно же, ее, Дашенькиного, блага. Наша история ничуть не поколебала этой веры. Дашенька шла ко мне — и в прямом, и в широком смысле, — как иные вступают в холодную воду: зажмурившись, оглохнув, утратив память, с обреченностью в сердце. Человек и сам не знает, зачем подвергает себя такому мучительству, но веление неотвратимо. И я совпал с чем-то в ней неотвратимым, исключавшим рассудок. Но сейчас она опять слышала голос разума, и родовое, конструктивное громко заговорило в ее душе. Я был приговорен…

Хорошо помню, как странен и красив был ночной московский мир, когда мы отвозили Дашеньку на такси домой. Мы не разговаривали, я смотрел в окно, и щемяще прекрасными казались мне знакомые дома, подворотни, подъезды, фонари, деревья; таким драгоценным окружающее становится лишь перед отъездом. Я уезжал в страну, где не будет Дашеньки, в страну, где все плоско, двухмерно, лишено тайного смысла, тускло исчерпывается в себе самом.

Когда мы подъехали к ее дому, мне показалось, что она хочет попрощаться, и я теснее припал к окошку.

— До свидания, — сказала она холодно и вышла из машины.

— Я поеду к тебе, — сказал Оська. — Не хочется будить мать.

Последнее никогда не останавливало его от весьма поздних возвращений домой, я был признателен ему за эту ложь. Сам бы я не позвал его к себе — из гордости.

Потом, когда мы легли — я на тахте, Оська на раскладушке, — он спросил закуривая:

— Вы что, порвали?

— Она порвала.

— С чего вдруг?

— Ни с чего. Это давно назревало. Ты же знаешь — ее мать меня не выносит.

Дымок от папиросы расплющивался о луч света заоконного фонаря, бьющий в щель меж шторами, и, клубясь, растекался по нему. Я не мог представить, как мне одолеть завтрашний день и все последующие дни, которые теперь будут днями без Дашеньки.

— Не злись и не бей мне морду. Ты у Даши — первый?

— Да.

— Значит, она вернется.

— С чего ты взял?

— Она растратила семейное достояние. И это — при такой матери! Значит, она тебя здорово любит. Ты осилил мамашу.

— Как видишь — нет.

— Это последний рецидив покорности. Дать тебе добрый

совет? В следующий четверг отправляйся на свою мансарду у Хитрова рынка и жди ее там.

— Ты спятил!

— Ничуть. Она человек жеста. Помнишь букет? Ее сразил твой жест наповал. Поверь умному человеку. Она все равно вернется. Будет звонить. Знаешь, как дозваниваются из автомата?.. Дай ей возможность красивого, великодушного жеста, без бытовой шелухи и сора. Она человек мелодраматический, любит добрые эффекты… недобрые тоже. Мне лично это нравится…

Так уговаривал меня семнадцатилетний мудрец, и я не то чтобы поверил ему, но что-то привлекало в диковатом предложении. И в следующий четверг я приехал в Подколокольный. Ждал я напрасно. Но ожидание было таким значительным, страшным, насыщенным и опустошающим, что подумалось: так можно излечиться. Через неделю я снова был в темноватой неуютной комнате, глядевшей единственным окном в глубокий асфальтовый двор. Я не успел начать ждать, когда в дверь постучали. Я сразу узнал быстрый и решительный от смятенности стук. Прежде чем открыть, я посмотрел во двор, словно желая запомнить, какая творилась жизнь в то мгновение, которое все равно не остановится, как ни моли, и не повторится никогда. Ребята гоняли в футбол. Из грузовика бережно вынимали огромные, сверкающие, мучительно хрупкие листы стекла. Писал на корточках ребенок, а над ним высилась, защищая от вселенского зла могучим крупом и ширью спины, его молодая мать. Мелькнула стайка воробьев и сгинула. Небо было чистым и голубым. Я открыл дверь. Мы были так потрясены явлением друг друга, что впервые в нашем укромье пренебрегли близостью. Она ничего не могла прибавить.

Я так и не сказал Дашеньке, что меня надоумил прийти сюда Оська, она не простила бы этого ни мне, ни ему. Оська находил достаточно глубины на поверхности жизни, его бесконечно радовало внешнее существование, но когда требовалось, он включал некое тайное устройство и проникал за зримую очевидность людских характеров и обстоятельств. Это ум души, который куда ценнее головного ума. Он знал окружающих лучше, нежели они знали его. Завидная, даром давшаяся проницательность ничуть не мешала ему любить людей…

Наверное, следует, по выражению Аполлона Григорьева, «договаривать» каждую песню, коли начал, хотя другая песня тревожит гортань. Дашенькина мать добилась своего, когда я был на фронте, мне досталось слабое утешение самому отказаться от моей любимой, от жены, с которой не прожил семейно и месяца…

8

Оська, как уже говорилось, заторопил приход юности мятежной. До войны оставалось полгода, когда он ринулся во взрослую жизнь. Кружок «просветителей» собирался на катке «Динамо». Мне и моим друзьям этот маленький каток представлялся местом идиллическим, но было у него и другое лицо. Тут царила банда, состоявшая из недорослей разного «профиля»: папенькиных сынков, познавших в опережение лет все земные радости, и опекавшая их — отнюдь не бескорыстно — местная шпана. И те и другие мало времени проводили на льду, они торчали в открытой курилке возле мужской уборной и трепались на вечные темы: девочки и выпивка. Еще их интересовали заграничные шмотки, портной Смирнов, бесподобно подымавший плечи коротких по моде пиджаков, бильярд и карты. Компания, повторяю, была крайне разношерстная: одним концом она сползала в блатную трясину, на другом — цинизм и низкопробщина соединялись с известной культурностью, начитанностью, знанием языков и редким по тем простым временам внешним лоском.

Обаяние приблатненного мирка не могло бы захватить здоровую душу Оськи, но его сводила с ума изысканность Броммелей с Петровки. Как элегантно они курили, как легко и привычно вливали в себя крепкие напитки, как небрежно и властно обращались с девушками, как высокомерно цедили слова и разяще острили с каменными лицами, как резали в середину и с каким шиком забивали в угол, а их фланелевые брюки и пиджаки из синей рогожки! Дома у них можно было насладиться полной «Книгой маркизы» Сомова, полистать голливудские журналы, послушать песенки Мориса Шевалье, к тому же они были умны, насмешливы, ничего не принимали всерьез и самое главное: предельно упростили Оське нелегкий для всякого сколько-нибудь значительного юноши шаг.

Оська вначале ничего не говорил ни мне, ни тем более Павлику, морально крайне брезгливому, о своей новой компании. Не то чтобы он ее стыдился, ничуть не бывало, — он упивался новым образом жизни: с ресторанами, бильярдными, картами, ночными грешными сборищами, равенством с бывалыми людьми, и не хотел, чтобы мы высмеивали то, что для него было осуществлением мужского идеала. Ему проще было жить в двух мирах в старом — с нами, в новом — с теми, чье зловещее очарование пленяло. Мы и не догадывались, как далеко зашла болезнь. Выдал Оську язык. У него была хорошая речь, воспитанная средой, стихами и традицией Маяковского, речь,

конечно, сугубо городская, но чистая и образная — Оська умел красиво и хлестко говорить, а сейчас с дурацкой самоуверенностью черпал из мусорного ящика пошлость омертвелых сленговых оборотов и слов-уродцев. Первым не выдержал Павлик. Он пришел по отпускной: в солдатской одежде, тяжелых сапогах, стриженный под машинку, с погрубевшим костяком, серьезный и хмурый. «Где ты набрался этой дряни? — спросил он Оську. — Со шпаной дружишь?» Оська смутился, что случалось с ним нечасто. «Я просто дурака валяю. Люблю, как Сатин, мудреные слова. И вас надо немного просветить. Отстали от жизни. Знаете, например, что такое „закон хазы“?» — «Знаем, — мрачно ответил Павлик, — дерьмо». И тут меня осенило: «Твои новые дружки — это идиоты из динамовской курилки. Ты вечно там ошиваешься». — «Они вовсе не идиоты, — с достоинством возразил Оська. — Тут ты сильно ошибаешься. Конечно, идиоты есть всюду, но они не делают погоды. Тон задают ребята острые, начитанные и классные игроки. С ними интересно». — «Представляю!» — «Ничего ты не представляешь. Павлик служба, ему нельзя, а ты взял бы да и пришел разок на наши сборища. Писатель должен все знать!» — захохотал Оська. «А ты правда сходи», — поддержал Павлик, и я понял, что он имел в виду. Мы не должны отдавать им Оську, но нельзя бороться с призраками, надо знать врага в лицо.

И я узнал вскоре, на сборище, состоявшемся в Оськиной квартире в связи с отъездом его матери в командировку. Сильное впечатление! Я все-таки не думал, что это так противно. Пили много и гадко: из стаканов, чашек, прямо из горла, лишь «аристократы» лениво потягивали сухое винцо. Они держались наособицу, и мне показалось, что главное удовольствие они получают от распада окружающих, в первую очередь девчонок. Их переглядки, ухмылки, брезгливые, сквозь зубы реплики были противнее пьяного угара, неопрятности застолья: вилок не признавали, ели руками, консервы выскребывали ножом, плевали на пол, окурки давили в бокалах. Свинство было сознательным, но унижался не конкретно этот вот дом, как мне вначале представилось, а родительский дом вообще опрятность, устои, порядок. В этой компании не пели — их песни еще не были написаны, не танцевали — их ритмы еще не родились, им, в сущности, нечем было занять себя, кроме примитивного эпатажа, издевательства над любовью и ленивого переругивания на непонятном мне языке.

С трудом выпив рюмку водки и не закусив, так все антисанитарно выглядело, я забился в угол дивана, не пытаясь соединиться с происходящим. До войны во всех молодых

компаниях обязательно был Король. Имелся он и здесь — юноша с лицом Дориана Грея. Он повернулся ко мне и любезно сказал, что видел в «Огоньке» мой рассказ. «Это дебют?» — И улыбнулся темно-карими глазами и уголками прекрасно очерченных губ. Господи, какая у него была улыбка! Оська тоже хорошо улыбался, но слишком простодушно, слишком открыто. А этот юноша, улыбаясь, приобщал все к тайне, которая откроется лишь избранным и доверенным И я наверняка поддался бы очарованию королевской улыбки, если бы не подскочил парень по кличке Делибаш с экстренным сообщением. Король засмеялся, кровь мгновенно прилила к голове, матово-бледное лицо грубо, свекольно побагровело, полуоткрывшийся и застывший буквой «о» рот стал выталкивать порциями хрипло-захлебные звуки, будто он выпал из петли, и наш разговор, не успев завязаться, погиб в приступе тупого, неуправляемого, недоброго хохота. Как позже выяснилось, обрадовало Короля, что «Катьку накачали вусмерть». Катька была его фавориткой, недавно вытесненной другой избранницей — Елкой. Она поклялась свести счеты с Елкой на этой вечеринке, и Король приказал обезопасить ревнивицу. Сейчас Катьку унесли в спальню и запихнули под кровать. И довольный Король хохотал.

Затем он окликнул дюжего парня со странной фамилией Подопригора.

— Катьку — нах хаузе!.. — И швырнул ему пятерку.

— Мало, — сказал Подопригора. — Она в Останкине живет.

С брезгливым выражением Король швырнул еще пятерку.

Подопригора прошел в спальню и через некоторое время выволок оттуда растерзанную Катьку с красным, помятым лицом.

— Король, — сказала она жалобно. — Ну чего он?.. Ведь больно… Ты скажи ему, Король…

— Кирять надо меньше, — заметил Делибаш.

Катька обвела компанию осоловелыми несчастными глазами.

— Нарочно меня напоили?.. Это ты им велел. Король? Избавиться хочешь?.. Какая же ты дрянь!.. — И, оттолкнув Подопригору, сама пошла к двери.

Я поискал глазами Оську. Он исчез. Не видно было и пепельно-волосой Ани, спокойно и отчужденно просидевшей весь вечер в темном углу…

Компания исчезла молниеносно, когда я звонил домой по телефону из длинного, темного, зловещего коридора — Оська жил в сдвоенной квартире. Вернувшись, я застал лишь грязную посуду, — подруги Короля и его свиты не потрудились прибрать за собой. У меня дома никто не подошел — все спали, на метро я опоздал, такси ближе чем на площади Свердлова не поймаешь,

останусь здесь. Я распахнул окно, зловещее здание телефонной станции надвинулось всей своей слепой громадиной, но чистый горьковатый воздух ранней осени ворвался в комнату и погнал прочь миазмы. Я собрал остатки еды в салатницу и поставил ее на подоконник, бутылки снес в угол комнаты, столешницу вытер газетой, вымыл руки в ванной и, сняв ботинки, улегся на широком, с выпирающими пружинами диване.

Я чувствовал, что мне не заснуть. Хотелось понять, что значит для Оськи низкопробная компания. В его поведении была какая-то двойственность: он уверенно плавал в мутной воде этого аквариума и одновременно наблюдал его содержимое как бы извне, сквозь стеклянную стенку. Холодноватый прищур со стороны явился для меня полной неожиданностью. В своих отзывах о новых приятелях он был куда наивней и восторженней. Чего-то я не ухватывал в Оське.

А сна ни в одном глазу. В изголовье находилась этажерка с книгами и журналами. Я стал тянуть оттуда то одно, то другое, удивляясь, как всегда, многообразию и непоследовательности Оськиных интересов: то мне попадалась занимательная физика, то монография о Фелисьене Ропсе, то детские книжки Хармса, то «Автомобиль дядюшки Герберта» с чертежами моторов и шасси, то стихи Маяковского в обложке Оськиного отца, то потрепанные, зачитанные до дыр томики Джека Лондона из дешевенького собрания сочинений начала тридцатых годов. Потом я нащупал довольно тяжелый, совсем свежий альбом с фотографиями. Я стал его листать и вспомнил, что Оська говорил о цикле фотографий «Московский дождь», который он сделал с помощью своего приятеля из арбузовской театральной студии. Я знал этого своеобразного парня, сочетавшего напряженную жизненную активность с обескураживающей замкнутостью и молчаливостью, почти равной немоте. Он был интересный актер, а потом открылся как самобытный поэт и первоклассный переводчик. Сцену он бросил после первого успеха, единственная книга стихов вышла после его смерти, а как переводчик он получил признание при жизни, оставаясь за спиной поэтов, которым дал русский голос. Под маской невозмутимости таился страстный характер, приведший его к гибели.

В те юные годы, о которых идет речь, у него была ладная, крепкая фигура и легкая косолапость, определившая поступь — бесшумную и мощную, как у таежного медведя, узкие глаза с поволокой над крутыми скулами и редкая томительно-застенчивая улыбка. Он присутствовал на всех фотографиях — большей частью в своей естественной печали, изредка улыбающийся, и тогда становилось еще печальней: топчущий

лужи под косыми струями дождя, у гранитного подножия памятника, у витрины с крабами и коньяком, на трамвайной остановке, у водосточной трубы, глядя на нее так задумчиво и нежно, словно собирался сыграть ноктюрн на извергающей воду флейте, у афиши с просторным лицом актрисы, роняющей из огромных глаз дождевые слезы, на бульваре с черными, по-весеннему голыми деревьями, смотрящим вслед девушке. Это была тихая, «под сардинку», как произносил артист Оська в ростановском спектакле, песня городскому одиночеству. Печальная песня, но без тоски, без маеты и уныния. Хотелось быть на месте юноши под дождем, на перекрестке, на трамвайной остановке, в аллее бульвара, его что-то ждало впереди, не за тем, так за другим поворотом, пусть эта девушка не остановилась, прошла мимо, появится другая, она уже движется навстречу ему сквозь косые струи, прозрачный пар, и они уже не разминутся. Песня одиночества и надежды…

Когда я проснулся, довольно поздно, герой-любовник пошел в школу; куда направилась его пепельноволосая дама, не знаю. В комнате прибрано. На столе под чистой салфеткой я обнаружил баночку шпрот, хлеб и масло, а на спинке стула — чистое полотенце. Я помылся, поел и собрался уходить, когда в дверь позвонили. Открыв, я, к своему удивлению, узнал Елку, новую возлюбленную Короля, с ней была незнакомая рослая девушка с влажными глазами оленихи и прыщавым подбородком.

— Слава те господи! — сказала Елка. — С утра названиваю, хоть бы кто трубку снял. Думала — перемерли. Я тут клипсу обронила.

— Какую еще клипсу?

— А вот такую, — она показала на правое ухо, в розовой мочке голубела поддельными сапфирчиками дешевенькая клипса. — Мы с Королем в ванной обжимались. Наверное, там.

Она прошла в ванную комнату и сразу вернулась, привинчивая клипсу к мочке.

— Порядок! Пиво там осталось?

— Нет.

— Вот свиньи, все вылакали. А Оська где?

— В школу пошел.

— В какую еще школу?

— В обыкновенную.

— А зачем ты его продаешь? — сказала она с упреком. — Он врал, что работает. Оказывается — школьник.

— Он работает. Помогает отцу. У него отец выставку оформляет.

— Все равно ты его заложил. Он скрывал про школу.

— Я этого не знал. Пусть врет умнее. А если всерьез — может, оставите мальчишку в покое?

— Ты его воспитываешь?

— Это вы его воспитываете. И довольно вонюче.

— Не дешевись! Пи-да-гог!

Несмотря на вульгарный тон, она была симпатична. Стройная, сухощавая, с миловидным сероглазым личиком и странно озабоченным лбом. Молодая кожа не могла собраться в настоящие морщины заботы, но стягивалась в тугие вертикальные складки между бровями. Я ничего не знал о Елке, но по тому, как она примчалась за копеечной клипсой, было ясно, что жизнь королевской наложницы отнюдь не роскошна. Одета Елка была очень скромно, хотя и со вкусом: приталенное легкое пальтецо поверх серого вискозного платья, шляпка из мягкого материала под фетр, принимавшая в ее руках любую форму. За время нашего разговора Елка придавала ей то фасон «маленькая мама», то пирожка, то картузика, отчего менялось и выражение лица: от «не замути вода» до вызывающе-хулиганского.

— А сама ты что делаешь? — спросил я.

— Работаю, что мне еще делать? Я у тетки живу, на своих хлебах.

— А почему филонишь?

— Отпросилась. Надо в Быково съездить. По теткиным делам. Вот Гретку подбила. Она с занятий смылась.

— С каких занятий?

— Что ты как следователь? В техникуме она.

— А вчера почему не была?

— Уже влюбился? Пустой номер. Она на Короле чокнутая. А к нам ей вход запрещен — нецелованная. — Елка иным, хлестким словом обозначила девственность рослой Греты.

— Не думал, что вы такие моралисты!

— Нам лишний шорох ни к чему… А ухватилась обеими руками, ну и держись покрепче, дура! — последнее относилось к Грете.

— Я красиво хочу, — тоненько донеслось с высоты.

— Ходи на балеты, там красиво… Слушай, поехали с нами, — вдруг предложила мне Елка. — Все равно тебе не черта делать.

Дел у меня было по горло, но неожиданно для самого себя я согласился.

Эта поездка в осенний пригород, в золотой теплый солнечный октябрь, в пустынные, тихие дачные улицы, устланные палой листвой, бесшумно скользящей по земле, осталась щемящей памятью в моей душе. В отличие от моих друзей я жил слишком зашоренно в свои двадцать лет. День мой делился

между институтом, «муками слова» и беготней по редакциям. Моими праздниками была Дашенька, но оставались эти нечастые праздники по-прежнему строго регламентированными, и с каждым разом я все больнее переживал их предопределенную краткость. Изменить же что-либо Дашенька была не в силах, и приходилось молчать, чтобы вовсе не потерять ее. Жилось мне трудно. Писать оказалось нелегко. Теперь и лето утратило свою безмятежность. А осенью я впрягался в воз, который был мне совсем не по силам. Чтобы выдержать, я заковывал себя в строжайший режим. И вдруг ни с того ни с сего — золото, и синь, и чуть горчащий мед воздуха, красивая девушка и чувство полной свободы. Я был близок к тому, чтобы влюбиться в Елку. Но она этого не хотела и по-своему деликатно удержала меня на расстоянии.

Наверное, мне хотелось отомстить ей за скрытый отпор, когда я сказал, что она спровоцировала жалкую историю с Катькой.

— Да ты сдурел! — Елка даже не обиделась. — Все от Короля. А за Катьку не переживай. Она с Подопригорой спелась. Два алкаша — пара… И за Оську не переживай. За себя лучше опасайся. А к Оське ничего не прилипнет.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Нагляделась. Оську не ухватить. Он сам по себе.

— А ты?.. Ты тоже сама по себе?

— Нет. Я — при Короле. Я в него — вот как!.. — Она провела рукой над шляпой, которой перед этим придавала форму поповского колпака — Я тебя понимаю… Только ты зря. Пусть ребята отгуляют, им недолго гулять.

— Почему?

— Адольф не даст. Войны не миновать. И пули на ребят уже отлиты.

— Только не на Короля, — подначил я.

— Да!.. — сказала она с непонятным, презрительным торжеством. — Тут я с тобой согласна. На него пули нету.

Так и оказалось. Короля не взяли — по здоровью. Все остальные из веселой компании надели шинели. Ни один не вернулся.

9

Когда началась война, Оська еще сдавал выпускные экзамены.

В день получения им аттестата мы собрались у меня. Пили вино. Моя любимая была с нами. Охмелев, Оська уговаривал нас срочно пожениться. «Вы должны это сделать. А то война

расшвыряет так, что не найдете друг друга. Так валяйте, пока я с вами. У меня нет ни одного женатого товарища. А до чего же приятно бросить: „Жена моего друга“. Это как патент на взрослость. В суровых фронтовых условиях Дашенька станет „жинкой одного кореша“. Пошли в загс!» Дашенька закатывала глаз, что было недобрым признаком. «Зачем тебе косвенные доказательства своей взрослости? Ты можешь и сам жениться». — «И оставить вдову с персидскими глазами?» — смеялся Оська, «Почему обязательно?..» — «Не надо! — оборвал он с каким-то брезгливым выражением. — Утешай кого-нибудь другого. Мне наплевать, что убьют». Таким я не видел Оську. В его тоне прозвучало не ухарство, не хмельная бравада, а презрение к жизни. Если ему наплевать на жизнь, то и на дружбу наплевать. Значит, нет для него ничего святого?.. Прошли десятки и десятки лет, прошла жизнь, когда я понял смысл его до конца серьезных, сокровенных слов.

10

Уходил Оська на войну в конце октября из опустевшей Москвы. До этого он проводил отца и мать в эвакуацию. По странной игре судьбы эти два человека, чьи пути так рано разошлись, уезжали одним автобусом. Муся сунула своего бывшего мужа в транспорт, принадлежавший учреждению ныне действовавшего поклонника. Оська был комически умилен этим совместным бегством. «Отошли на заранее подготовленные позиции, — смеялся он. — Отец вторично обрел в моей матери друга по спасению». Но ему было грустно, и переживал он остро разлуку с отцом, а не с матерью. «За мать я спокоен. Это стальная птица. Отца жалко. Весь год он маялся желудком. Язва, что ли? Он молчит, но я вижу, какой он желтый, ссохшийся». Желтый ссохшийся человек оказался самым прочным из троих: истлели косточки его румяного, сроду не болевшего сына, улетела в мир иной стальная птица, а он, еще более ссохшийся, по-прежнему налегает худым плечом на ветер. Дай бог ему здоровья…

Оська уезжал со дня на день, его уже дважды требовали с вещами на призывной пункт, но почему-то отпускали домой. Со мной было неясно. Мой институт эвакуировался в Алма-Ату, а я подал заявление в школу пехотных лейтенантов. Медицинская комиссия меня забраковала. И военком посоветовал доучиваться в институте. Надо было суметь попасть на фронт в обход райвоенкомата.

Но вот стало точно известно: Оську и его товарищей по

выпуску отправляют на восток в трехмесячное пехотное училище. Он пришел проститься с моими домашними, потом мы поехали к нему на Мархлевского. Я знал, что он ждет девушку, ту самую пепельноволосую Аню, которую выудил из «королевского пруда», а вернее — она его выудила и незаметно увела из мутных вод, и хотел попрощаться у подъезда, но Оська настоял, чтобы я поднялся.

Когда мы провожали Павлика на действительную, он разделил между нами свои скромные богатства. Павлика не баловали дома и растили по-спартански. Правда, в восьмом классе ему сшили бостоновый костюм «на выход», и Павлик проносил его до армии, время от времени выпуская рукава и брюки, благо запас был велик. Но у него имелся дядя, выдающийся химик, и однажды этого дядю послали на международную научную конференцию за кордон, что в ту пору случалось нечасто. В пожилом, нелюдимом, обсыпанном перхотью, запущенном холостяке, по уши закопавшемся в свою науку, таилась душа пижона. По окончании конференции он потратил оставшиеся деньги на приобретение жемчужно-серых гетр — тогдашний крик моды, смуглой шелковой рубашки, двух свитеров, роскошного галстука и темных очков, почти не встречавшихся в Москве. Но, вернувшись домой, он понял, что наряжаться ему некуда, поскольку ни в театр, ни в гости, ни на балы он не ходил, а таскать на работу столь ослепительные вещи стыдно, да и непрактично: прожжешь химикатами, и тогда он вспомнил о юноше-племяннике, и на скромного Павлика пролился золотой дождь.

Ко времени его ухода в армию вещи малость пообносились, утратили лоск, но все же мы с Оськой были потрясены до глубины души, когда Павлик царственным жестом передал нам свои сокровища. От костюма пришлось отказаться — по крайней ветхости, остальное мы поделили: Оська забрал дымчатые очки, я сразу напялил гетры. Оська взял галстук с искрой, я — рубашку, каждому досталось по свитеру.

Теперь Оське ужасно хотелось повторить мужественный обряд прощания, когда без соплей и пустых слов товарищу отдается все, чем владеешь на этом свете. Но сделать это Оське оказалось куда сложнее, нежели Павлику: все сколь-нибудь стоящие джемперы, рубашки и галстуки он давно проиграл Бочке, Делибашу, Карасю и Подопригоре (за исключением наследства, полученного от Павлика, — с ним разделалось беспощадное время); фотоаппарат еще раньше подарил герою фотосерии «Московский дождь», библиотеку вывезла мать, а картины — отец. Оставались предметы домашнего обихода, и Оська совал

мне рефлектор, электрический утюг, кофемолку, рожок для надевания туфель, пилу-ножовку и две банки горчицы; от испорченной швейной машинки я отказался — не донести было всю эту тяжесть; еще Оська навязал мне лыжные ботинки и траченную молью шапку-финку, суконную, с барашковым мехом.

Может показаться странной и недостойной эта барахольная возня перед разлукой, скорее всего навечной, ничтожное копанье в шмотье посреди такой войны. Неужели не было о чем поговорить, неужели не было друг для друга серьезных и высоких слов? Все было, да не выговаривалось вслух. Нас растили на жестком ветру и приучили не размазывать по столу масляную кашу слов. А говорить можно и простыми, грубыми предметами, которые «пригодятся». «Держи!..» — а за этим: меня не будет, а ты носи мою шапку и ботинки и обогревайся рефлектором, когда холодно… «Бери кофемолку, не ломайся!» — это значит: а хорошая у нас была дружба!.. «Давай, черт с тобой!» — а внутри: друг мой милый, друг золотой, неужели это правда, и ничего больше не будет?.. «На дуршлаг!» — но ведь было, было, и этого у нас не отнимешь. Это навсегда с нами. Значит, есть в мире и останется в нем…

В разгар расхищения Оськиного имущества пришла Аня. Я уносил, она что-то принесла — байковые портянки своего отца, ненадеванные, теплое белье, табак. Она серьезно, как положено русской женщине, собирала на войну своего любимого. Оську это развеселило. «Неужели я настоящий? — спрашивал он. — Портянки, теплое белье — это не шутка, особенно портянки. Я начинаю чувствовать себя частицей народной жизни. Что еще положено солдату? Котелок, деревянная ложка за голенищем, парочка вшей, трехлинейка, подсумок… Кстати, знаете, я хорошо стреляю. Даже выиграл районное первенство. Мне казалось, что это когда-нибудь пригодится. Допрыгался Адольф! Когда настанет миг воинственный, падет последний исполин, тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин!..»

Аня никак не отзывалась на все это витийство. На ее полудетские плечи опустилась тяжкая ноша — судьба солдатки.

Оська чуть скиксовал, когда, нагруженный дарами, я вышел на лестничную площадку. Мы не видели друг друга в темноте, но я знал, какое у него лицо, когда он сдавленным голосом сказал:

— Слушай, может, отправить ее домой?.. У меня есть спирт.

— Не надо.

— А зачем она? Хоть отговоримся напоследок.

— Не отговоримся.

Я знал, что ему будет легче, если он останется с этой девочкой. Утром, непроспавшийся, обалделый, опаздывающий, он

кинется на призывной пункт и опомнится уже в другой, окончательной жизни.

Что-то сместилось в сумраке, и на миг обрисовалась его худая, совсем детская шея.

— Не сломай голову. Ступеньки сбитые, — были последние его слова.

Мы не обнялись, не поцеловались, даже не пожали друг другу руки — все это было так незначаще Он долго стоял на площадке, слушая мои удаляющиеся шаги. Парадная дверь и дверь его квартиры захлопнулись почти одновременно.

На улице было так же темно, как на лестничной клетке. Синие маскировочные фонари не давали света. Телефонная станция, даже не проглядываясь, ощущалась давящей громадой. Вот здесь на тротуаре большеголовый мальчик с раскосыми глазами самозабвенно рисовал мушкетера, а я из зависти и ревности зашаркал его рисунок. И он хохотал, пораженный новой загадкой жизни. Давно это было или недавно?. А может, только случится? Я приду сюда и увижу мальчика, ползающего на коленях с куском угля в руке, и сам буду мальчиком, только добрым, и не испорчу его рисунок: а потом начнется долгая, бесконечная жизнь бок о бок… Нет, не будет этого, да и было ли когда?..

От улицы Мархлевского до Гоголевского бульвара я прошел пешком. Почему я не сел в метро, ведь мой путь шел мимо станций: площадь Дзержинского, площадь Свердлова, библиотека имени Ленина — не знаю. Я шел и шел, почти по прямой, а вещи оттягивали мне руки. Дважды меня останавливали патрульные, придирчиво осматривали рефлектор, электрический утюг и кофемолку, небрежно — все остальное и отпускали. Помню, я думал о том, что мама обрадуется рефлектору, в доме перестали топить, а печурки еще не вошли в московский военный быт.

11

Оську я никогда больше не видел, хотя долгое время верил, что он мелькнул мне на снежной, но почти уже потекшей мартовской дороге между аракчеевским поселком Селишево на Волхове и Малой Вишерой.

Я возвращался в деревню Дору, где стояла моя часть, из «прорыва», как называли вражеский мешок под Мясным бором, куда фатально вползала наша ударная армия. Мы только что перебрались через реку, и наша полуторатонка, гремя разболтанными бортами, кашляя и задыхаясь, стала карабкаться

по береговому откосу, когда навстречу нам вышли лыжники-автоматчики. Из-под круглых зеленых касок глядели усталые мальчишеские лица. Очень новые, с необмявшимися воротниками шинели, необстрелянное оружие за спиной, блестящие, как зеркало, шанцевые лопатки, не отрывшие ни одного окопчика, говорили о том, что эти автоматчики — молодые бойцы пополнения. Маршевый батальон не держал строя, и многие из автоматчиков ложились на снег для короткой передышки: кто ничком, кто свернувшись калачиком. Иные жадно, горстями, запихивали себе в рот пушистый сухой снег. Но были более выносливые или более упрямые. Согнувшись и не глядя по сторонам, они упорно шагали обочь дороги с лыжами на плече.

Промчалась штабная «эмка». Сзади нее, привязавшись ремнем к буферу, несся, присев на корточки, молодой лыжник. Вслед ему полетели веселые выкрики и шутки, забавная его выдумка как будто вернула бодрость уставшим паренькам. Они сдвигали на затылки глубокие каски, чтобы полюбоваться на своего лихого товарища.

Проносясь мимо нас, боец поднял голову, и я узнал беспечное, нежное, с чуть монгольским разрезом глаз, красивое, дерзкое, дорогое лицо Оськи. Я что-то заорал и на ходу вывалился из кузова.

Штабная машина быстро удалялась к Волхову. Размахивая руками и крича во все горло, я бежал следом за ней. Оська приподнялся, я чувствовал — он силится меня разглядеть, но расстояние между мной и машиной быстро увеличивалось. Лыжники провожали меня удивленными взглядами. Я выбежал на берег Волхова, когда машина уже подпрыгивала на досках моста.

Впереди лежал замерзший, в черных полыньях Волхов, другой берег тонул в сумерках, а наш как-то печально светился, словно по его откосам расстелили бледные ризы.

Никогда не забыть мне щемящей тоски закатов Приволховья. Казалось, что солнце, исчерпав свою скудную, бедную силу, навсегда прощается с землей, медленно и блекло навек умирает день.

Резкий, гортанный крик команды заставил меня очнуться. Уже весь батальон собрался на краю обрыва, и вот первый автоматчик, словно пущенный из пращи, сорвался и понесся под откос, взметая снежную пыль. За ним второй, третий… Один за другим лыжники стрелой неслись к реке, в воздухе мелькали палки, синие колеи на снегу сплетались в сложный узор. Вот уже первый лыжник петляет между черными ямами полыней, и, настигая его, мчатся десятки других юных автоматчиков. И уже нет здесь усталых детей — быстрые, собранные в комок, устремленные вперед солдаты наступления. Противник был далеко, за ледяными валунами другого берега, за редким, как расползшийся шелк,

иссеченным снарядами лесом, но мне казалось, что стремительное движение этих лыжников не кончится, пока они не достигнут сердца врага. И мне стало менее грустно при мысли о том, что Оська находится среди настоящих людей…

…Оказалось, Оська никогда не был на Волховском фронте. Он погиб у Ильменя. В один из московских госпиталей привезли его товарища, однополчанина, который был с ним в последнем бою. И перед тем, как его ранили, он видел Оську, тащившего на спине раненого.

Так сказал он Оськиной матери, когда она пришла к нему в госпиталь…

А как же с упреком, брошенным мне мертвым солдатом? Может быть, Оська просто подставил плечо раненому товарищу, а потом того подхватили санитары, и Оська вернулся в бой?.. Может быть, Оська не хочет, чтобы поступок, естественный для него, как дыхание, выдавался за подвиг? А может быть, еще глубже: всякие котурны оскорбительны для нашей дружбы?..

12

Однажды я спросил Владимира Осиповича, писал ли он Оську. «Пробовал, не получилось. Чего-то не ухватывал». Он достал из шкафа небольшой карандашный портрет Оськи, нет, портрет — чересчур сильно — набросок, сделанный уверенной и мастеровитой рукой. Удлиненные китайского разреза глаза, сжатый рот, нежный овал, лицо серьезное и печальное — я не помню Оську таким. Но чем пристальней вглядывался я в портрет, тем крепче становилась убежденность, что я вижу настоящее Оськино лицо. Наверное, я вычитывал в его чертах то, что мне хотелось: легкость, веселье, озорство, иногда задумчивость, предшествующую шутке, остроумной выходке, озарению. Это был Оська, с которым божественно просто. А непредвзятому зрению Константина Рождественского (я разобрал подпись под наброском) открылся совсем другой юноша.

— Какое печальное лицо! — сказал я. — Это не Оськино выражение, а сходство удивительное.

— Вы считали Оську бездумным весельчаком?

— Бездумным — нет. Но, конечно, он был веселым человеком. Очень веселым, в этом его очарование.

— Ему было весело жить — правда… Но, очевидно, не всегда. Вы видели его рисунки?

— Детские?

— Взрослых у него и не могло быть. Скажем, юношеские.

— Я думал, он давным-давно это забросил.

— Оказывается, нет. Мы с Мусей нашли целый ворох его акварелей последних лет. Значит, он их никому не показывал.

Владимир Осипович с приметным усилием наклонился и достал с нижней полки шкафа толстую стопу акварелей. На всех рисунках присутствовал паучий знак свастики. Фашизм пытал, терзал, уничтожал человечью плоть. Шли в пике «юнкерсы». Падали бомбы на городские крыши. Перли вперед солдаты в рогатых шлемах, почти закрывавших лица, с прижатыми к боку автоматами. Резиновые дубинки обрушивались на головы. Волосатый кулак ломал челюсть, крошил зубы. Задастые, с закатанными выше локтей рукавами узколобые неандертальцы били, пытали, жгли, расстреливали. В пыточных застенках, за решеткой тюрем, за колючей проволокой лагерей. В лужах крови умирали люди с нежно-скуластыми лицами; ни одному из них смерть не смогла навязать безобразной позы.

На каком сильном чувстве творил Оська свою тайную «Гернику»!

— Он ненавидел жестокость, — услышал я голос Р-на. — Ему не уцелеть было в современном мире.

Я вспомнил и понял Оськину фразу: «А мне наплевать, пусть убьют». Он знал, что не вернется с войны, и не хотел выглядеть жертвой. Он шел на *смертный* бой и не ждал пощады.

13

…Недавно раздался телефонный звонок.

— Юра, доброе утро. Это Володя… Как какой?.. Р-н!

Что-то помутилось у меня в голове. Сходство голосов, короткая, похожая на воинскую команду, на выстрел, фамилия, и потом… отец моего друга никогда не называл себя так. Мы оба помнили о разделяющей нас разнице в четверть века. И что-то сбилось во мне. Владимир Осипович… Осип Владимирович… Ося… Володя… Ну почему он вдруг назвал себя по имени? Недавно он потерял жену, с которой прожил жизнь. Одиночество, срыв всех привычек, беспомощность. Конечно, он все это преодолеет, но сейчас нужно дружеское плечо, о которое можно опереться. И наверное, мы стали равны в державе старости?.. Юра… Володя… Нет, Ося! Я дождался его, и вот уже не призраком юноши на лесной поляне под медленным сизым облачком явился он мне, а во плоти, в образе естественной и хорошо несущей себя старости.

— Я болел, но сейчас все в порядке. Работаю, — слышал я

Оськин голос Грех забывать друзей, — металлом пробивается привычное бесстрастие, но меня уже не обмануть, я знаю, что Оська нашел способ вернуться ко мне.

Морелон

Рассказ

В тот день я с раннего утра слонялся по нашему поселку, опустевшему с приходом осени. Было бабье лето — мягкое солнце прочно стояло в голубом высоком небе, клейкие нити паутины реяли в горьковатом воздухе. Но для меня эта благодетельная пора обернулась нарушением дыхания. Так неизменно в последние годы отзываюсь я на стыкование времен года. Противное и мучительное ощущение. Дышишь нормально: глубоко и мерно, а воздух не проходит в грудь, будто в стенку упирается. И ничего тут не поделаешь. Лишь изредка на зевке, на нескольких частых, судорожных вздохах удается вобрать его глубоко — и это такое наслаждение, что память о нем смягчает последующие муки. Врачи уверяют, что это явление нервного порядка — следствие контузии. Когда наступает очередной приступ, я глотаю успокоительное и начинаю мотаться по окрестностям. Порой мне сильно и остро думается о разных важных вещах, я даже что-то сочиняю про себя, но чаще мною владеет жестокая тревога, на грани паники, и тогда избавление — временное — наступает лишь с тяжелой физической усталостью.

В день, о котором идет речь, я исходил наш поселок вдоль и поперек, но, лишь заметив Морелона, поймал какое-то ненадежное, но почти нормальное дыхание. Это не случайно. У меня появилась внешняя цель — избежать встречи с Морелоном, не столкнуться с ним нос к носу, и эта маленькая озабоченность потеснила тревогу нездоровья. Я и раньше не раз пытался помочь себе каким-нибудь отвлечением: работой, деловыми звонками, возней на садовом участке, но из этого обычно ничего не получалось. Сознательность намерения препятствовала забытью. Но случайный толчок из постороннего мира, каким явилось видение невзрачной фигуры Морелона, ослабил подчиненность недугу.

Морелон был человек по натуре безобидный, но обладавший способностью запутывать меня в какие-то глупые дела, приводившие к мелким досадным неприятностям. Вообще же он являл собой фигуру весьма типическую для того жизненного пространства, где расположился наш поселок, вернее, несколько поселков, соединившихся территориально и морально, но не административно. Тут обитали люди свободных профессий и ученые, которых называли почему-то «академиками». Таким

образом, у нас была академическая сторона, писательская, композиторская и сторона смешанная: киношно-художническая. Народ все пожилой, в рукодельном смысле крайне неумелый и потому растерянный перед лицом природы, которая сохранилась при всей урбанизации здешней жизни и требовала внимания. Впрочем, в писательской части имелся свой Лев Толстой, он копал гряды и даже косил, зарывая нож в глинистую землю. Среди академиков и художников водилось несколько человек, не боявшихся электрических пробок и способных прибить к забору табличку: «В саду злая собака», но остальное население отличалось полной беспомощностью. Естественно, что поселок оброс, как пень грибами, разными умелыми людьми, которые могли «выручить»… По правде, эти люди мало что умели, но брались решительно за все. Когда у нас поселился знаменитый пианист, он смеха ради предложил такому вот «на-все-руки» настроить рояль. Тот как раз чистил выгребную яму на языке нашего поселка, «убирал последствия». «Можно, — глуховато, поскольку из смрадной глубины, отозвался настройщик. — Три куска». Главное — ошеломить ценой. Спор возникал вокруг оплаты, а неподготовленность мастера выяснилась уже в процессе работы. О возвращении аванса, давно пропитого, речи не заводили, время было безвозвратно утеряно, и заказчику не оставалось ничего другого, как терпеливо ждать, пока честный труженик не обучится на своих ошибках. И ведь обучались, да еще как! Редкостно талантлив наш народ. Один освоил тонкое искусство печной кладки, едва не уморив целую семью угаром своего первого камина; другой стал отличным столяром, которому по силам сложные реставрационные работы; третий — строителем, берет подряды на гаражи, сараи, времянки и даже дачи; четвертый поступил в ателье по ремонту телевизоров. Но таких, как этот телевизионщик, — единицы: большинство, даже освоив хорошие профессии, осталось при поселке на птичьих правах. Шальная копейка счета не любит, никто из этих даровитых людей не нажил палат каменных, на сквозном ветру безбытности досыпают свою жизнь.

Морелон принадлежал к тем немногим, что ничего не умели и ничему не научились. Маленький, хлипкий и невынословый, он не любил потной работы и тяготел к коммерции: торговля и торговое посредничество. Он сроду не мог достать того, о чем его просили, ничуть не тяготясь этим обстоятельством. Если ему заказывали огуречную рассаду, он приносил валенки; если был нужен скворечник, Морелон притаскивал хомут или лестницу-стремянку, но он мог и скворечник доставить, если попросить о сушеной черноплодной рябине. И далеко не всегда Морелону

давали от ворот поворот. То ли люди не знают своих действительных надобностей, то ли соблазнительный вид нежданного предмета пробуждал желание его иметь…

Мне особенно не везло с Морелоном. Помню, он долго морочил мне голову каким-то флюгером. Утомленный его настойчивостью, я дал задаток. Через год Морелон принес не то жестяного петуха, не то коня, и тут выяснилось, что это наш старый ржавый флюгер, давно выброшенный на помойку. Другой раз он явился с белой деревянной лопатой скидывать снег с крыши. Жене он дал понять, что договорился со мной, а мне — что его пригласила моя жена. Первым же молодецким кидком он вышиб цельное стекло террасы, которое я с величайшим трудом раздобыл в Таллине. Он был так убит своей неловкостью, что мы буквально навязали ему бутылку для успокоения расходившихся нервов. Зато на другую зиму Морелон сам свалился с крыши, забыв привязаться к трубе. До самой весны он каждый день являлся за винной порцией, ибо пользовал себя от ушибов водкой с солью и перцем.

От Морелона в нашем доме — огромные, тяжеленные и негнущиеся валенки-чесанки, часы с кукушкой, которая никогда не показывается, щекастый золотой ангел, выломанный из царских врат, чадная керосиновая лампа и ужасная крысоловка, которую прищемленная крыса уволокла под пол и вот уже годы пугает наш сон чудовищным грохотом.

И у этого никчемного человека нашелся в нашем поселке почитатель, да еще какой — Классик! Испытывая время от времени приступы звериной тоски и не умея пить в одиночестве, Великий писатель посылал за Морелоном. Тот немедленно являлся на зов друга. Ничто не могло остановить Морелона, он бросал работу, откладывал любое дело, жертвовал заработком, ставил на карту свою репутацию, которой весьма дорожил, ничуть не подозревая о низком ее котировке. Хвастун и враль, Морелон был на редкость сдержан и щепетилен во всем, что касалось его отношений с Писателем, обнаруживая тем самым несомненную тонкость души.

Писателю Морелон обязан своим прозвищем. Новым прозвищем, ибо долгое время его звали в поселке Жених. Он и был женихом всех без исключения окрестных красавиц. Морелон не просто хотел жениться, что-то маниакальное проглядывало в его одержимости брачной идеей. Но осуществил он свою мечту в иных, далеких краях, куда не доплескивались волны его сомнительной славы. Пропадал Морелон около года, а вернулся уже женатым, прибавившим тела, посолидневшим, в кирзовых сапогах на толстой подметке, чистом черном ватнике и с бритой

головой. Он был похож не то на солдата после дембиля, не то на амнистированного, по почему-то ему это шло, он словно перестал растекаться и застыл в четкой, определенной форме. Первый визит бывший Жених нанес Писателю, тогда уже безнадежно дряхлому, и покинул его, толкая перед собой велосипед. Писатель, любивший одинокие лесные велосипедные прогулки, знал, что ему больше не ездить, и подарил своего худого металлического конька пешему приятелю. И сразу вместо устаревшего прозвища Жених родилось новое: Морелон — в честь всемирного героя велодрома, чемпиона чемпионов, непревзойденного французского спринтера. Прозвище присохло, как голубиный помет к гипсу белых статуй.

Велосипед Писателя, человека рослого, был велик Морелону; даже предельно опустив седло, он не доставал ногами до педалей. Тогда он вовсе снял седло и положил на раму плоскую подушку. Теперь он мог ездить, переваливаясь по-утиному из стороны в сторону, как ездят дети на взрослых велосипедах. Конечно, так много не наездишь, и Морелон предпочитал с важным видом толкать велосипед перед собой или вести его за муфлоньи рога круто выгнутого руля. К багажнику обычно была приторочена какая-то поклажа, ибо Морелон не оставил коммерческой деятельности, хотя и устроился куда-то на полставки. Этой «полставкой» он гордился, словно каким-то отличием, а может, видел в ней гарантию относительной свободы, позволяющей ему по-прежнему располагать своим временем. С тех пор никто не видел Морелона без велосипеда. Он таскался с машиной и в дождь, и в весеннюю распутицу, и в непролазную осеннюю грязь, и в крещенский мороз и снег, бесконечно обременяя себе жизнь, но выгадывая что-то куда более значительное. Это стало ясно, когда один из «академиков» предложил Морелону за его громадину прекрасный польский подростковый недомерок.

— Ты что, спятил? — сказал обычно вежливый Морелон. — Не знаешь, чья это машина? — И всхлипнул, и утерся рукавом, а потом надолго запил, потому что Писателя уже не было в живых.

…В погожий день бабьего лета, слоняясь по опустевшим аллеям в надежде поймать дыхание, но взамен этого ловя то и дело Морелона, имевшего какой-то настойчивый интерес в поселке, я снова поразился, до чего ж он крошечный по сравнению со своим костлявым велосипедом — ну, просто гном, тролль, с немолодым, серьезным, таинственным лицом. К багажнику машины был приторочен небольшой мешок с картошкой, которая отчетливо обрисовывалась сквозь грязную ткань. Крепко же его припекло, если он с таким маниакальным

упорством штурмует пустынные дачи. В конце концов я попался. Мы не виделись несколько лет, но Морелон сразу вспомнил меня.

— Я тебя знаю, — сказал Морелон. — Ты у Нагибиных живешь.

— Точно, — подтвердил я, несколько задетый, что за четверть века так и не обрел в сознании Морелона самостоятельного существования.

— А вот как тебя звать, не помню. Ксению Алексеевну, покойницу, помню, серьезная была женщина. Ты ей сыном приходишься, а как звать — извини-прости.

— Юрием Марковичем.

— Точно! Сразу вспомнил, Яклич, и жену твою вспомнил. Тоже очень серьезная женщина. Ох, Яклич, — сказал он с испуганно-сочувственной интонацией, — это исключительно серьезная женщина!

Я вспомнил, как защищала жена наш хрупкий быт от разрушительного гения Морелона, и понял, что он имеет в виду. Понял я и другое: почему он переиначил мое отчество. В память ему бессознательно сунулось имя моего тоже покойного отчима.

— Хочешь жене угодить? — спросил Морелон. — Возьми у меня картошечку. Честно шепну тебе, Яклич, такой картошечки поискать.

— Мы третьего дня у Маруси взяли два мешка.

— У Маруси? — удивился Морелон. — Чевой-то я такой не знаю.

— Зареченская. На ферме работает. Да знаешь ты ее. Она молоко носит.

— Нет, Яклич, не знаю, — строго и грустно сказал Морелон. — У меня другие друзья… — Морелон помолчал и тихо добавил: — были… — Он всхлипнул и утерся детской ладошкой.

Немного успокоившись, Морелон посетовал на мое бирючество.

— Забыл ко мне дорогу, Яклич, — укорял он меня. — Как я оженился, ты ни разу не был.

Справедливости ради надо сказать, что я и до женитьбы Морелона не захаживал к нему, понятия не имел, где он живет, и вообще не был уверен, что он существует непрерывным существованием, а не появляется время от времени, как летающая тарелочка, но с иной целью — перегнать в спиртное какое-нибудь попавшее в руки дрянцо.

— Я ведь не пью совсем, — сказал я в оправдание своей нелюдимости.

— Ну и что с того?.. — тем же обиженно-наставительным тоном начал Морелон, и тут чудовищный, дикий смысл моего

заявления ожег ему мозг. — То есть как это… как это понять?.. Совсем ничего?.. Ни капли?.. Не надо, Яклич, не надо загинать. Я ведь с тобой по-хорошему.

— Честное слово! Здоровье не позволяет.

— Всем позволяет, а тебе не позволяет?.. Вон Петрович не хуже тебя больной, а навещает.

— Да он же уехал отсюда. Еще в прошлом году.

Морелон долго смотрел на меня, скосив по-птичьи глаз и не поворачивая головы.

— Неужто я этого не знаю? Уехал. Дом продал и уехал. Но приезжает ко мне. Вместе с сыном-юристом. Сын у него юрист или нет?

— Не знаю.

— А не знаешь — молчи. Приезжают лигулярно. Мы с ним все обсудим, без этого не отпускаю. Конечно, и угощенье ставлю. Все чин чином. Значит, берешь картошечку? — без перехода сказал Морелон, так спокойно и уверенно, что, будь у меня деньги в кармане, я бы не удержался.

— Говорю — мы уже взяли!

— Я слышал, Яклич, слышал. Не глухой. Но мне, хоть убейся, нужно ее продать.

— Ну и продавай на здоровье.

— Кому?.. Кому я ее продам, если все разъехались? Некому мне продать, окромя тебя. Мне восемь рублей во как нужно!.. — Он резанул себя по горлу ребром ладони и вдруг отпрянул от меня, вобрав голову в плечи. При этом он весь встопорщился, будто снегирь в мороз, раздулся, сильно увеличившись против своих обычных размеров.

Мы как раз шли мимо проходной пионерского лагеря. И от этой проходной ко мне шатнулся весьма известный в поселке человек, по-цыгански смуглый и чернявый, — Мишка Волос. Я не понял брезгливо-враждебного движения Морелона. Волос был поселковый старожил, добродушный малый с некоторыми странностями. Трезвому ему можно было доверить алмазный фонд, но если душа горела, Волос отбрасывал все запреты. Он не воровал в обычном смысле слова, а тянул в открытую, что ближе к рукам: грабли, лопату, мотороллер; мог сорвать калитку, фонарь, унести на глазах хозяина мешок с цементом, лист фанеры или ручную косилку. Его всегда брали на месте преступления, он не оказывал сопротивления, не оправдывался, не врал, не придурялся, но с растерянно-стыдливой улыбкой пытался удержать чужую вещь. Закон долго был мягок к Волосу, но в последний раз ему влепили на всю катушку. В поселок он вернулся, будто с курорта, загорелый, хорошо подсушившийся, с

просветленным взором. Обошел дачи, со всеми сердечно поздоровался, расспросил о житье-бытье и хватко включился в работу. В отличие от Морелона он все умел, любое дело горело в его руках. По-моему, Морелон ревновал к Мишкиной популярности. Волос даже не глянул на соперника; пожав мне руку, он попросил закурить и на бутылку.

Получив отказ и в первой, и во второй просьбе, как-то нежно опечалился. Видать, предчувствие дальней дороги опахнуло душу. А был он уже немолод, бродячая жизнь становилась трудна изношенному сердцу…

— …Нашел с кем дружить, Яклич! — Морелон поджидал меня за поворотом шоссе. — Это ж тунеядец.

— Хорош тунеядец! Он всегда и работе.

— Хабарит. — Морелон исходил презрением. — Которые люди труд уважают, те на полставке.

— Уж больно ты строг!

— Я же знаю, что говорю… Он с утра о водке думает.

— Будто он один!

— Другие опохмелиться ищут. А он — чтобы снова морду налить. Две громадные разницы.

— Не такие уж громадные.

— Нет, Яклич, ты завязал и ничего не помнишь. Уж лучше помолчи. Мишка этот, — Морелон понизил голос, — в ресторан ходит.

Недавно в соседнем поселке, у шоссе, открыли столовую, которая вечером, ничего не меняя ни в ассортименте блюд, ни в ценах, объявляла себя рестораном и готова была обслуживать свадьбы, служебные банкеты и прочие праздничные застолья. Вечер отличался от дня лишь тем, что водочные бутылки переселялись из-под стола на столешницу.

— Не все ли равно где пить? В ресторане чище.

— Спасибо, Яклич! Удружил! Нет уж, меня ты в ресторане не ищи. Я тебе не Волос, а человек семейный. У меня порядочность есть.

Он посмотрел на меня почти умоляюще:

— Прошу тебя, Яклич, не ходи туда. И не слушай Волоса. Он же отчаянный. Одно слово — цыган. Там не то что деньги, себя потеряешь.

— Неужто там так опасно?

— Самое ужасное место на земле. Водку пивом запивают. Исключительно. Музыка орет, аж глохнешь… Ладно, заболтался я с тобой, а дела не делаю. Берешь картошку-то?

— Я же сказал тебе…

— Мало ли что сказал!.. День рождения у дочки, надо

подарок купить.

— Какой подарок?

— Куклу.

— Твоя дочь играет в куклы?

— А как же? Шесть лет — самая игра. Через год в школу пойдет, тогда уж не до кукол будет.

Мы не следим за чужим временем, да и за своим тоже.

— У тебя шестилетняя дочь?

— Ты, Яклич, глупый или притворяешься? Я же молодой. А жене и тридцати нет. Ты жену мою видел когда?

— Н-нет.

— Красавица! Самая красивая женщина в микрорайоне. И дочку не хуже себя родила. Синеглазка, веселая!.. Я ведь тоже из себя ничего. Сейчас малость поистерся. А и то, дай мне в баню сходить, побриться, сорочечку чистую надеть — любая засмотрится… У тебя сколько с собой денег?

— Ни копейки.

— Кто же без денег со двора идет? — облил меня презрением Морелон.

— Ты, например.

— Сравнил! У меня картошка.

— А где ты собираешься куклу покупать?

— В продовольственном, где же еще? — сказал он сердито, раздраженный моей оторванностью от жизни. — У нас другого нету.

— А в каком отделе — мясном или бакалейном?

— В кондитерском, конечно. Там и куклы, и голыши, и мячики, и барабаны с палочками. Я дочке давно обещался. Да ведь знаешь, как в хозяйстве — то одно, то другое… Капитала свободного не было. А сейчас отступать некуда. Что же, она так и вырастет без куклы?

— Неужели у нее никогда кукол не было?

— Были. Тряпишные. Личики краской наведены. Дерьмо. А таких, чтобы глазками моргали и «мама» вякали, не было. Они и в магазине-то первый год.

Мы вышли к реке. С моста незнакомый мужик забрасывал самодельную удочку. Вода в этом месте была почти черной, но прозрачной до самого дна, закиданного старыми покрышками, худыми канистрами, консервными банками; какими-то железяками. Над всей этой дрянью пластались, извиваясь, длинные жирные водоросли. Рыба здесь сроду не брала, о чем и сообщил Морелон рыболову.

— Тебе выше или ниже надо идти, а здесь только время убьешь.

— А может, я и хочу его убить? — насмешливо сказал мужик, циркая слюной из щербатого рта на бледного, давно издохшего червяка.

— Вот чудило! — удивился Морелон. Прислонив велосипед к перилам моста, он достал сигареты. — Неужто тебе больше делать нечего?

— А тебе? — спросил мужик, перебрасывая удочку ближе к берегу.

— Я картошку продаю. И вообще — на полставке, — вскользь сообщил Морелон. — Моих делов, милый, сроду не переделать. На мне, если хочешь знать, цельный поселок лежит. Спроси хоть его, коли не веришь. Правду я говорю, Яклич?

Я промолчал, и Морелон принял это как подтверждение.

— Вот видишь! — сказал он рыболову и закурил. Затягиваясь, Морелон глубоко всасывал худые щеки, на висках набухали грозные синие вены, и глаза вылезали из орбит. Наполнившись дымом от макушки до пят, он задерживал его в себе, чтобы каждая клеточка пропиталась никотином, а затем мощно, в два приема выдувал синими столбами.

— Ты бы все-таки тут не ловил, — пристал он опять к мужику. — Здесь она и в сезон не клюет. Ступай к плотине. Там хоть какой-то шанец есть.

— А мне он ни к чему, — скучно сказал мужик, оплевывая червяка.

— Тебе картошки на ушицу не надо? — деловито спросил Морелон.

— Чего пристал как банный лист? — с тоской и злобой сказал мужик. Вали отсюдова. Здесь вагон для некурящих.

— Ну и чикайся тут! — озлился Морелон. — Ему добра желают… Вот дубина!.. А мне некогда лясы точить.

Он паял велосипед за рога, пошевелил мешок, взбодрив картошку.

— Ладно. Гуляй, Яклич, раз здоровье требует. Я к академикам толкнусь. А насчет ресторана — держись крепко!.. — С этим добрым советом Морелон отбыл, а я заметил, что все это время дышал нормально.

Я еще постоял возле скучного рыболова, было что-то завораживающее в бессмысленном и вызывающем упрямстве, с каким он тщился ловить рыбу на дохлого червя в заведомо безрыбном месте. Так и не постигнув смысла его явления в пространстве — если тут действительно был смысл, — я побрел к плотине, где хорошо и грустно шумела вода. Затем сквозь золотой листопад старого березняка, опутанный нитями летучей паутины, я вышел к поселку и подумал, что могу вернуться

домой…

Передышка оказалась недолгой. К вечеру я вновь мерил шагами поселковые аллеи, не в силах зачерпнуть пригоршню благодати из воздушного океана, омывающего мир.

Бродил я долго, и раз-другой в перспективе центральной аллеи мелькнула фигура одинокого пешего велосипедиста. Похоже, Морелон по второму кругу совершал свой безнадежный обход. Уже в сумерках мы столкнулись с ним.

— Все еще не продал?

Морелон развел короткими руками. Достал сигареты, закурил. Пальцы его дрожали. Он был человек, не избалованный фортуной, и всегда стойко держался против ветра, но эта неудача сломала его.

— Ладно, не переживай, — сказал я ему. — Завтра купим твоей дочери куклу.

— Берешь картошку? — просиял Морелон.

— Неужели тебе самому не надоело?..

— Как же так?.. — растерянно произнес Морелон. — У меня ничего больше нет… Даже флюгера. А я должо′н из своих пречистых подарок дочке сделать.

— Брось! — я уже устал от него. — Разве это твоя картошка?

— А… чья?.. — с запинкой сказал Морелон. — Я ее сам копал. Приложил свой труд.

— Копал — не сажал. Картошка чужая, нечего вкручивать.

— Обижаешь, Яклич. Она мне вовсе не чужая. Я ее на своем огороде накопал.

— Ври больше.

— Как бог свят! Жена каждый год картошку сажает. Хозяйственная!.. — с бледной улыбкой сказал Морелон. — Конечно, врать не буду, нарыл я утайкой. А все же картошка мне вовсе не чужая, а родненькая — по жене.

Темны извивы чужой души и вовсе непроглядны, когда тебе самому худо.

— Дело твое. Была бы честь предложена.

— Да что ж это такое?.. — сказал Морелон, мучительно морща свое маленькое безвозрастное лицо. — Значит, не отец ей куклу подарит, а чужой дядя?.. — Он топнул ногой, повернулся и, упираясь руками в руль, покатил прочь свой тяжелый велосипед с притороченным к багажнику мешком картошки.

А ведь недаром провел он столько часов с покойным Писателем. Они не разговаривали. Молчали, курили, иногда пили. Но такая тишина стоит многих речей. И Морелон умел слушать молчание Писателя. Неправда, что он ничему здесь не научился. Он научился чему-то более важному, чем всякая ручная

работа. И какой он, к черту, Морелон? При чем тут долговязый, сухопарый, азартный и ничем не обремененный француз? И тут мне будто кто шепнул на ухо сроду вроде бы не слышанное имя.

— Николай Иваныч! — крикнул я. — Сушков!.. Погоди!..

Тишина. Затем тихо и сумрачно донеслось:

— Ну, чего тебе еще?..

Лунный свет

Рассказ

Он появился в моем подмосковном жилье ноябрьским звонким полднем, когда внезапный мороз сковал крепким ледком лужи, схватил и ожесточил слабый, плавкий иней на хвое, пустил длинную ледяную слезу по каждой березовой и осиновой веточке, по каждому прутику вербы и краснотала и сделал хлюпкий, квелый, чавкающий мир сопливой осени сухим, стеклянно-чистым и звонким. Хотелось верить, что это уже зима: затянется простор искрящейся пеленой, поникнут отяжеленные снегом сосновые и еловые лапы, воцарится особая снежная остужная тишина и душу настигнет тот благостный покой, что дарится нам лишь с наступлением на земле царства Корочунова.

Тут вот он и возник неумолимым посланцем мировой суеты, которой нет дела до нежной дремлющей благодати, — румяный, крепенький, круглолицый, в куртке из кожзаменителя, толстой вязки свитере, хорошо выношенных джинсах и высоких зашнурованных ботинках. Оказывается, мы договорились о встрече еще на той неделе, и он минута в минуту прибыл сюда из Москвы, хоть добирался на трех видах транспорта: метро, автобусе и своих двоих. Это напомнило мне о правилах гостеприимства, я помог гостю раздеться, усадил за стол поближе к печке и стал поить горячим чаем. Одет он был по вчерашней погоде, похоже, порядком окоченел. А я думал с тоской, что договаривались мы слякотным, черным, тяжелым днем поздней осени, когда безразлично, чем заниматься, лишь бы скорее пропустить мимо себя давящую осеннюю хмарь, а сейчас на земле — рай: вверху сине и прозрачно, внизу льдисто и сияюще, и, боже святый, как не хочется говорить о досуге, которого у меня никогда не бывает, к тому же не просто трепать языком — это еще куда ни шло, — а «рассмотреть вопрос с философских позиций».

Мой юный гость был философом и собирал материал для кандидатской диссертации, посвященной проблеме досуга современного человека. Он уже беседовал со многими людьми самых разных профессий и вот решил узнать мои соображения по интересующей его теме. Это было лестно, но беда заключалась в том, что я никогда не думал о досуге и даже не очень представляю, что это такое. Я всегда занят, мне каждый день не хватает двух-трех часов. Видимо, такова судьба писателя, пишущего «малую прозу», — слишком много сопутствующей

суеты, съедающей время. Если же под досугом подразумевать отпуск, то тут и подавно нечего сказать. Отпуска у меня не бывает, я его себе не даю. Но иногда езжу в санаторий, где лечусь и работаю. Нигде так хорошо не работается, как в санатории. Раз в жизни, убежденный врачами, что надо дать полный отдых мозгу и нервам, я не взял с собой никакой работы, и тут же в голову полезли мысли о смерти. Неотвязные. Изнуряющие. Костлявая уселась мне на грудь, как андерсеновскому императору в сказке о соловье. Вконец измучившись, я сел писать рассказ, и смерть отлетела быстрее, чем при звуке соловьиного голоса, пробудившего в ней сладкую тоску по сырому, тенистому кладбищу — ее обители.

Я решил честно объяснить моему ученому собеседнику, как обстоит у меня с досугом. Он аппетитно пил чай с сухарями, грея красные, намерзшие пальцы о горячий стакан. Мне тяжело было его разочаровывать. Он спокойно и терпеливо выслушал мой лепет, допил чай и отодвинул стакан. Видимо, он уже привык к мозговой лености своих собеседников, и это его не обескуражило.

— Вам только кажется, будто вы ничего не знаете о досуге. Мой недавний звонок наверняка дал толчок вашей мысли. Вот и скажите об этом.

Мне вспомнился потерянный шелест едва пробивающего пространство невразумительного телефонного разговора, и я заговорил как под действием гипноза:

— Пушкин высоко ценил досуг. Он называл его пленительной ленью, блаженной ленью и ленью просто. Он считал, что именно в минуты такого вот созерцательного ничегонеделания, полной душевной свободы и происходит постижение мира, рождаются поэтические образы. В житейской суете ничего не создашь.

— Ну вот видите! — добро улыбнулся он. — Значит, по-вашему, Пушкин был за активный отдых?

— В каком смысле? Активный отдых — это, кажется, спорт, рыбалка, охота, туризм. Пушкин имел в виду что-то другое.

— Активный отдых надо понимать шире. Не то, что человек должен обязательно что-то делать, но он должен что-то приобретать, духовно обогащаться…

Так незаметно завязалась беседа. У меня ум, совершенно неспособный к обобщениям; я могу постигнуть данность, частность, хотя мне легче что-либо представить, чем уловить мыслью, но вот соотнести данное явление с другими, порой весьма далекими, найти таинственные связи, распространить сделанные выводы, накрыть ими большую группу разнородных фактов я органически неспособен. Этим завидным качеством обладал мой гость, у него действительно был философский ум,

охватистый, цепкий, мускулистый. Меня раздражало, с какой легкостью он обнаруживает в частном общее, находит четкий рисунок в хаотической мозаике бытия. В совершенстве владея языком современной науки, он мгновенно облекал в чеканные формулировки мою бедную невнятицу. Порой мне начинало казаться, что я ему вовсе не нужен, что это просто визит вежливости. Нет, конечно, его интересовали частности, конкретные наблюдения, и он искренне радовался, что им тут же находится место в его стройной конструкции. Он добросовестно проверял себя материалом чужого опыта.

Наше долгое сидение прерывалось сперва на обед — как хорошо, вкусно и бережно он ел, под конец собрал указательным пальцем крошки со скатерти и отправил в рот, — потом чаем с сотовым медом, о котором он сказал, что это настоящий цветочный мед, а не сахарный, который часто всучают на рынке.

Когда же мы наконец отговорились, впору было зажигать электрический свет — короткий ноябрьский денек успел отгореть.

Молодой человек собрал свои записки, я помог ему натянуть на толстый свитер курточку и вдруг почувствовал, что ему не хочется уходить, а мне жалко расставаться с ним.

— Давайте посошок на дорожку? — предложил я.

— Спасибо. — Он слегка покраснел. — Не употребляю совсем.

— Ну а чайку горячего?

— Всегда с удовольствием!

Мы вернулись к печке и снова принялись чаевничать. Меня интересовало, давно ли он увлекся темой досуга и касался ли ее в своей дипломной работе.

— Нет, диплом у меня был другой. Прямой наводкой — по идеализму! — сказал он со своей доброй румяной улыбкой.

— А более конкретно?

— Боюсь, это нам ничего не скажет. Работа была направлена против мистической чепухи господина Сведенборга.

— Сведенборг? Шведский мистик и теософ восемнадцатого века? Сидя в Стокгольме, знал, что Копенгаген горит? — вытащил я со свалки памяти.

— Он самый!

— Но разве с его бреднями не покончено?

— Покончено. Да ведь знаете, как в философии? Проходит время — и вдруг кто-то извлекает из чулана забытый хлам, подчищает, подновляет, снабжает современной терминологией и пускает в оборот. К Сведенборгу я еще вернусь, вот только разделаюсь с диссертацией.

— А когда защита?

— Теперь уже скоро. Я ведь пятый год с ней вожусь. Не повезло мне крепко — в аспирантуру не попал. Хотели в Тамбов распределить, я сам из тех мест, но терять Москву, библиотеку, профессоров — это ж полный зарез. Пошел учителем в сельскую школу — не препятствовали. Луховицкий район, может, слышали? Самый дальний угол Московской области. Глухомань — не скажешь, но глубинке в полном смысле. Там я преподавал и диссертацией занимался. А как воскресенье — в Москву, на весь день в Ленинку.

— Трудно было?

— Терпимо… Эх, дорогой товарищ писатель, — сказал он с внезапной горечью, — как иной раз жизнь человека бьет!.. Меня там так припекло, не всякому и расскажешь. Хорошо, сердце здоровое — выдержало.

Конечно, я был заинтригован, но, боясь его спугнуть и вместе с тем чувствуя, что ему хочется поделиться пережитым, промолчал. И правильно сделал, он заговорил сам — какой-то другой речью:

— Школа-десятилетка, куда я устроился, стояла наособь между несколькими мелкими деревеньками, чтобы никому обидно не было. И вышло так, что поселился я в самой дальней деревне, мне до работы восемь километров и столько же обратно. Да ведь ребятишки ходят, а я чем хуже? Конечно, зимой, когда рано темнеет и волк завоет, не больно уютно, но терплю. Ближе не приткнуться было, живут все многосемейно, в иную избенку до десяти человек набьется, а мне работать надо. Я же устроился хоть далеко, да просторно и удобно: в большой пятистенке я и бабка. Она всегда в кухне, там и спит за печью на лежанке, а мне вся горница. Я столик себе поставил, книги разложил, лампу настольную приобрел: только работай. И с питанием порядок: даю бабке рубль в день, она щей наварит, пшенку молочную такую в печи запарит — с пальцами съешь, и всегда у нее огурчики соленые, капустка квашеная, груздочки, рыжички сырого посола, а летом всякая огородная овощ, ягоды. Замечательно жили. Но старуха была какая-то странная. Знаете, в каждом крестьянском доме обязательно рама с фотографиями на стене, дети, родня, а у моей старухи ни одной карточки. Неужто у ней никого не было — ни мужа, ни детей, ни братьев-сестер? Я раз спросил ее об этом, хотя ответа, признаться, не ждал. Она и вообще молчуньей породы, бывало, за весь день слова не обронит: звякнет чашкой — значит, самовар поспел, брякнет чугунок на стол — обедать пора, а коли пустое ведро ногой ткнет — надо за водой идти. Я думал вначале, что она сильно верующая, но хоть образа в красном углу висят, ни лампадки, ни свечки она не

теплит, в церковь сроду не собралась, решил — раскольница или хлыстовка, в общем, из сектантов. Но она никаких обрядов не справляет, братцы и сестрицы по вере к ней не ходят, собаками не брезгует, щенка держит, раз я закурил для интереса — дыма не боится. Но ответ я от нее получил чин чином, хоть едва слова цедила: старик ее помер еще до войны, дочь, уже сама старая, на Дальнем Востоке живет, если тоже не померла. Она туда с мужем-военным еще в тридцать четвертом уехала. Последнее письмо после войны прислала. Родня давно вся убралась, вот и живет одна. Раньше в больнице уборщицей работала, сейчас на пенсии. Неинтересная какая-то выходила ее жизнь, не теплая. И не зналась она ни с кем. Сколько я у нее прожил, не помню, чтобы кто зашел, кроме почтальона с пенсией и пастуха за харчами. Меня еще удивляло, что пастух не столуется у нее, как положено, а берет по-армейски сухим пайком. Но мне-то что до этого, мы жили душа в душу. Она мне не мешала, я ей тоже. И отчего во мне беспокойство завелось, до сих пор не пойму. Стал я плохо спать, вернее, засыпал с трудом. Ворочаюсь, ворочаюсь, все уладиться не могу, и мысли какие-то незаконченные, оборванные в голове мечутся. Под одеялом жарко, пот прошибает, а скину — зуб об зуб бьется, и ведь тепло в избе, бабка каждый день печь топит, а на дворе май. Вроде бы не то что под простыней — голышом спать можно, а чуть раскроюсь — трясет. Неладное со мной происходит: то палит изнутри, то ледяной остудью прохватывает. И вот в очередную бессонницу метался я, как бес перед заутреней, в вдруг будто в бок толкнуло, я шасть к краю кровати, и тут же на подушку что-то грохнулось. Гляжу — лампада. Была она на массивном, с цепями, серебряном подвесе, кончавшемся острым шипом. И подушку распороло как раз в том месте, где мой лоб находился. Не уверни́сь — верная смерть.

И тут я замечаю, что в горнице светло как днем: огромная полная луна в избу ломится. Сроду я так близко луны не видал, красиво и чего-то жутко. Лежу и думаю: случайно или не случайно лампада грохнулась, и если не случайно, то какая кому корысть в моей смерти? Что с меня возьмешь: штаны, да рубашку, да старый дождевик. А с другой стороны, нешто постояльца под образа кладут? Это только покойников, живых — ни в коем разе. Значит, с умыслом сделано. И как я сразу не сообразил: может, все мое беспокойство с того и шло, что не лежалось мне в красном углу под тяжелым светильником. Надо, думаю, старуху попытать. Только она отопрется, скажет, что я сам во сне лампаду сорвал. И все-таки обязан я ее спросить, а то, не ровен час, она приладит лампаду на старое место, глядишь, в другой раз стукнет без промаха. Нет, надо ее разбудить, спросонок она скорее

расколется. Но будить мне ее не пришлось: слышу — завозилась в своем углу, встала. Небось на двор захотела. Ладно, подожду, когда вернется. Но входная дверь молчит, и все в избе молчит, как умерло, и ходики не тикают, и сверчок затаился. А старуха как поднялась с лежака, так дальше не пошла. В деревне ночной посуды нет в заводе, окаренок — я бы услышал. Чего-то там задумала. Осторожно спустил ноги с кровати, на носках пересек горницу и за печь стал. Маленько дух перевел, выглянул и, поверьте, чуть сознания не лишился: старуха в длинной белой рубахе, с закрытыми глазами по лунному лучу плыла. Вернее сказать, не совсем плыла, а чуть-чуть босыми ногами перебирала, сучила и легкую лунную пыль подымала — клубилось у нее под ступнями. А половиц не касалась. Меня аж выбросило из-за печи. «Ты чего?» — не сказал — выдохнул. И слышу, как ее ноги легонько об пол стукнулись. Луч сразу из-под них выскользнул и по подолу рубахи растекся. Она не ответила, глаз не открыла, медленно, плавно повернулась, прошла к лежаку и села. Я — за ней: «Ты чего, бабка?» — «Ничего. А ты чего?» И голос у нее обычный, негромкий, ворчливо-сиплый, дневной, только какой-то далекий, и глаза по-прежнему пленками век затянуты. «Ты чего бродишь?» — «А ты чего?» — эхом из дали отзывается. «Меня чуть до смерти лампада не убила!» — «Будя городить-то!» — сказала как-то равнодушно, повалилась на постель и сразу засопела. И почему-то я решил, что лампада на своем месте висит. Бросился туда — ничего подобного, на подушке, где и была… Ну что вы на это скажете?

— А что тут можно сказать? Лампада упала, потому что упала, а старуха просто лунатичка. Не такое уж редкое явление.

— И я тем же себя успокаивал, чтобы ночь дотерпеть. Но в деревне не остался. И конец учебного года в школе на столах ночевал. А после за Москву уцепился. Вот какие бывают происшествия. Что там Сведенборг! — Он поднялся, тщательно застегнул курточку. — Пора. Уже поздно, а мне еще до автобуса топать. — В дверях обернулся и спросил серьезным, глубоким — голосом: — У вас тут не балуют?

— Господь с вами! Кому баловать-то? Три четверти дач заколочено, в поселке несколько еле живых классиков да пяток старух-домработниц — дачи сторожат.

— Старух? — повторил он многозначительно.

Я не понял. Резким движением он распахнул дверь. Сад был залит пронзительным, серебристо-зеленоватым, хрустальным светом. И совсем близко над верхушками голых берез и островершками елей стояла в мглистом мерцании ореола большая чистая луна — совершенный круг. Я и забыл, что сейчас

полнолуние. Над ней и под ней в ее свете слоисто сдвигались облака, по облакам проскальзывали легкие, как дым, тучки. Но ни плотные облака, ни этот дымок не посягали на широкую круглую промоину, выгаданную луной в загроможденном небе, чтобы оттуда беспрепятственно изливать на землю свой колдовской свет. Только теперь дошло до меня, что′ стояло за тревожным вопросом: не балуют? Не лихого человека, не лесного разбойника, не татя боялся этот крепкий юноша, вполне способный постоять за себя в державе земного притяжения.

— Не слышно вроде. — Ответить более твердо и определенно, когда сад, и дом, и вся окрестность, и собственная душа залиты этим завораживающим светом, я не мог.

— Вот то-то и оно, — понурил он лобастую голову.

— Давайте я вас провожу.

— Мне, право, неловко… — пробормотал он, явно обрадованный предложением.

— Я все-таки местный, — добавил я, словно это что-то значило в магическом круге лунных сил.

— Хотя бы до кладбища, — сказал он и первый ступил с крыльца в лунный поток.

Меня поразила его наблюдательность. Наша окрестность, еще недавно малонаселенная, не имела кладбища, старого деревенского погоста, средоточия тайн, ужасов и поэзии, с покосившимися крестами, рухнувшими и расколовшимися надгробиями, повитыми травами, в которых скрывается невероятно крупная и сладкая земляника, — и как угадал он с дороги малый островок в глубине пустого пространства, где, проредив бузинную и ракитовую заросль, жители недавно возникшего поселка строителей похоронили своих первых умерших. Там не было ни ограды, ни крестов — всего лишь несколько фанерных цокольков со звездочкой на могилах ветеранов войны да ничем не помеченный бугор над младенцем, так и не открывшим миру взора. Заметить этот островок в незнакомой местности и угадать его назначение могла лишь очень пристальная к опасности душа.

И мы пошли, и лунный свет стелился нам под ноги и словно отделял от земли, и даже какая-то невесомость открылась в теле, и странно заструился воздух мимо висков, и пропал тонкий хруст ледка под ногами. Бесшумно плыли мы но лунной реке…

Прекрасная лошадь

Рассказ

Я видел ее несколько раз, вернее сказать, касался тем безотчетным, не посылающим в мозг четкого сигнала взглядом, каким мы чаще всего обходимся в повседневной жизни, защищая невыносливое сознание от жгучего обилия впечатлений. *Нечто* находилось в пространстве вокруг дома отдыха, не входя положенный реестр; оно не было ни деревом, ни кустом, ни машиной, ни отдыхающим, ни землемером с теодолитом — небольшая, компактная масса, проступавшая сквозь утреннюю туманную изморось и наливавшаяся сгустком тьмы в ранних ноябрьских сумерках. Для рассеянного сознания это вот «неположенное» сперва «находилось» на территории дома отдыха, затем потребовало для себя иных глаголов, признающих динамизм явления: оно «появлялось» и «исчезало», и наконец великим глаголом «жить» было возведено в ранг одушевленного существа: в нашем просторе, то рождаясь из света, то пропадая во тьме, жила лошадь.

Впрочем, тут у меня сдвиг, пропуск: лошадь — это позже, поначалу же был призрак лошади. Да, мы узнали, что вокруг громадного корпуса дома отдыха, по необъятной и почти девственной территории, как-то ненадежно и неуверенно отобранной у леса, реки и поля, бродит призрак лошади.

Во всяком другом месте подобное открытие возбудило бы тревогу, брожение умов, но только не в этой подмосковной здравнице, самом странном заведении из всех виденных мною за долгую жизнь.

Двусмысленность была в самой основе «дома отдыха санаторного типа», ибо никто не ведал, в чем призвание громозда, выросшего не так давно с краю старой барской усадьбы: созидать или разрушать здоровье своих обитателей. Одни являлись сюда с простой путевкой и откровенным желанием «пожуировать жизнью», другие — с курортной картой и робкой надеждой, что тут им обновят тело и душу. А в храме здоровья неумолчно гремел праздник, звучала вакхическая песнь, и густые, подступающие к окнам дома леса служили прибежищем озорной любви.

Из леса являлись разные таинственные существа. Однажды поутру тонкий чистый снег, выпавший за ночь, оказался испещренным бесчисленными маленькими следами, которые

невозможно было приписать обычным обитателям Подмосковья: лисицам, зайцам, кабанам, ласкам. Разгадку подсказало художественное чутье одной отдыхающей дамы. Томимая бессонницей, она поднялась на рассвете, отдернула занавеску, и ей почудилось, что по земле расстелена царская мантия. Образ подсказал отгадку: к дому приходили горностаи — белые с черными хвостиками, их шкурками некогда отделывали парадное царево платье.

Другой раз по залитой луной опушке леса металась тень гигантского рогача. Наверное, то был лось, но самого зверя никто не углядел, лишь стремительная тень промелькивала по лунной бледности земли и хвойника.

Старинная усадьба вносила свою мистическую лепту в здешнее бытие. Там был глухой парк, темные липовые аллеи, желтый облупившийся дворец с белоколонным портиком, старое кладбище, розовая барочная действующая церковь Всех скорбящих с ампирной колокольней. На кладбище, среди металлических ажурных крестов, под которыми осыпались могилы елизаветинских фрейлин и екатерининских вельмож, мигали ночами синие огоньки. Молва утверждала, что неугомонившиеся души фрейлин развеселой императрицы, покинув тесные обиталища, любезничают с душами галантных кавалеров любвеобильнейшего из всех монарших дворов.

Готовность к чуду была разлита в непрочном воздухе поздней осени, то крепком, на ранье каленом от сухо-студеного утренника, а днем прогреваемого солнцем до летней благоуханности, то квелом, сопливом, сочащимся скользкой влагой. И когда появился призрак лошади, он естественно вписался в пейзаж, дружественный подлунному буйству теней и миганию потусторонних огоньков.

Но сейчас я прихожу к выводу, что подлинность лошади отвергали не из мистической настроенности, а из приверженности к житейскому правопорядку. Наша здравница отличалась терпимостью к животным. Внутри было полно кошек, а снаружи — собак. Но кошки — маленькие существа, к тому же с четкой служебной функцией, нередко обитают в учреждениях на полулегальном положении и даже множат род четвероногих клошаров; бродячие собаки могут находиться у хлебных человечьих стойбищ, пока о них не вспомнят — обычно в пору буйных свадеб — и не отдадут на отстрел собачникам. Но чтобы жила ничейная, вольная лошадь, какой-то одинокий, независимый гуингным, — это не укладывалось в правовом сознании ийэху. Вот почему ее проще было считать призраком, нежели тварью из плоти и крови. И все-таки настал день, когда

силуэт загадочного коня обрел трехмерность, четкую живую окраску, суету мелких движений плоти, ежемгновенно приспосабливающейся к среде, и пришлось отбросить самообман — возле нас существовала лошадь, которая ходит сама по себе.

Я люблю лошадей с раннего детства, с большого московского двора, приютившего винные подвалы, куда гривастые битюги доставляли груженные бочками подводы, с ночного в рязанском поле на краю Сухотинских яблоневых садов, с лихих московских извозчиков, гонявших по кривым улицам списанных с ипподрома рысаков. Но как же редко доводится мне теперь видеть лошадь! И вот она пришла словно из дней детства, но что-то непонятное мешает мне приблизиться к ней.

Ее одиночество являлось преградой, которую я не осмеливался переступить. В почтительном отдалении я наблюдал, как неспешно и сосредоточенно обирает она осеннюю траву, где бурую, с редкими прожилками живой зелени, а где изумрудную, напоенную сладким соком; как замирает в дремоте или медленно бредет куда-то, отгоняя взмахами коротковатого хвоста прилипчивых осенних мух.

Порой на огнисто-черном закате или в утреннем, просквоженном алостью тумане простая рабочая скотинка превращалась в сказочного коня — громадного, скульптурно-совершенного, равно готового к неистовой ковыльной вольной скачке и к подчинению забранной в железа богатырской руке, правящей на врага, и к звездному полету с отважным Иванушкой на спине…

А потом началось мое приближение к лошади. Медленное, неравномерное, прерывистое, но неизменно наступал день, когда с поворотом прогулочной тропки я оказывался ближе к лошади, занятой терпеливым трудом насыщения и деликатно непричастной окружающей жизни.

А потом лошадь вышла на глубины пейзажа и стала пастись вдоль дорожки, ведущей к старинной усадьбе, церкви, кладбищу. II я оказался так близко от нее, что почувствовал слабый лапах мокрой шерсти. Эта дикарка была на редкость ухоженной: хвост подрезан и расчесан, так же расчесаны грива и челка. Обрызганные утренней влагой копыта опрятны, не заскорузлы и освобождены от подков. Надраенный скребницей круп сыто блестит. Чист и промыт был глянувший на меня полный, сферический, темно-лиловый глаз, вобравший в свою прозрачную мглистую глубину весь окружающий простор с моей крошечной фигурой на переднем плане. Красив и значителен был мир, отраженный в ее большом, глубоком и добром зрачке, а вот другой глаз ничего не отражал — тусклый, затянутый

голубоватым бельмом, он мертво пялился в пустоту. Лошадь редко и крепко моргала своим живым глазом, а мертвый глаз не мог себя защитить, даже когда к нему приставала травинка, или муха начинала биться в моллюскоподобный сгусток под щеточкой ресниц с поседевшими копчиками.

Но, странное дело, бельмо не уродовало лошадь, а прибавляло ей достоинства. Природный ущерб не помешал ей выполнить свое жизненное назначение; крепко поработала старая на своем веку и награждена нынешним привольем.

Это была не простая деревенская лошадь. В ней чувствовалась порода, хотя не знаю, какие крови слились, чтобы создать такое милое существо. В ее предках несомненно значились тяжеловозы, от них — массивность груди и крупа, крепость ног с мохнатыми бабками, ширь непровалившейся спины… Но не бывает таких маленьких тяжеловозов. Нерослая и коротенькая, она казалась помесью битюга с пони. Впрочем, такое сочетание невозможно, как помесь сенбернара с болонкой. Мощь и миниатюрность на редкость гармонично уживались в ее стати, и красива была жаркая гнедая масть.

Тут ее заметила большая рыжая собака с темной мордой и решила выслужиться перед своими кормильцами. Ведь появление бродячей лошади возле торжественного входа в главный корпус — явный непорядок. Собака подбежала к лошади и деловито облаяла. Лошадь продолжала спокойно пощипывать траву. Тогда собака залаяла громче, злее, морща храп и скаля желтые клыки. Она разжигала себя, но лошадь, столько видевшая на долгом веку своим единственным оком, не придала значения этому деланному ожесточению. Ее невозмутимость озадачила собаку. Она перестала лаять и несколько раз крутнула хвостом, словно прося у кого-то прощения за несостоявшееся представление, и тут заметила, что за ней наблюдают. Шерсть на загривке стала дыбом, она зашлась визгливым лаем, забежала сзади и попыталась ухватить лошадь за ногу. Лошадь не видела ее, собака зашла со стороны ее мертвого глаза. Подумав, лошадь угадала ее местонахождение, повернулась и старательно, как и все, что она делала, кинула задними ногами. Попади она в собаку, той пришел бы конец. Но лошадь вовсе не хотела причинить ей ущерб. Собаке вздумалось поиграть в бдительную и самоотверженную службу, лошадь без охоты, но добросовестно подыгрывала ей. В промежутках между схватками лошадь продолжала щипать траву, тихо удаляясь от дома отдыха. Наконец собака посчитала свою миссию выполненной, тявкнула раз-другой и побежала гарцующей походкой к стае рассказать о своей победе.

Мое восхищение лошадью еще возросло. Она попала в глупую и докучную историю, но вышла из нее с замечательным достоинством…

Покинув свою таинственную даль, незнакомка стала обычной жующей, хрумкающей лошадью, но печать загадочности осталась. Чья она, почему гуляет одна, где хочет, без надзора и ограничений, положенных каждой приобщенной цивилизации особи, будь то животное или человек, куда уходит на ночь, откуда и когда возвращается?..

Некоторые отдыхающие попытались вступить с лошадью в более тесные отношения, но она не шла на сближение, не принимала ни сахара с ладони, ни черного хлеба, скромно довольствуясь осенней травой. Долгие годы возле людей научили ее мудрой осмотрительности. В отличие от глупых и доверчивых собак она знала, что добровольцы порядка строго следят за распределением государственного продукта, учитывая каждый кусок, идущий не по назначению. Лошадь не понимала другого, — что сама безнадзорность ее была вызовом правопорядку.

Звуковой фон нашего мирка был многообразен, он включал рокот голосов, скрип шагов, хлопанье дверей, плеск воды в бассейне, звон стаканов в баре, костяной стук бильярдных шаров и глухо-тугой — теннисного мяча, музыку, выстрелы с экрана телевизора, обвальный грохот из приоткрывшейся двери кинозала, мгновенно отсекаемый, но длящийся эхом обрывок песни, смех, зовы… Провал мгновенной тишины тоже был озвучен высоким чистым звоном, вновь принимавшим в себя рокот, скрипы, шорохи, шепоты, взрёвы… Из хаоса звуков слух выхватывал отдельные слова, фразы. Все чаще слышалось: лошадь… лошадь… лошадь… Приковалось к страннице бездельно-цепкое внимание отдыхающих. Доброжелательное, с теплым удивлением, а мне тревожно стало. Из доброго хора нет-нет да и вырывалось:

— Не положено…

— А может, ее ищут?..

— А что, если больная?..

— …ящур, сан, бешенство…

— Глаз у нее плохой…

— …бельмо? А если трахома?..

— Ежели каждая старая кобыла…

— …травы не хватит…

А потом я заметил, что исчез кошачий помет из верхнего, необжитого отдыхающими громадного холла, который я пересекал по пути в столовую, и понял, что кошек

ликвидировали… А вскоре тишина и пустота за входными дверями оповестили о другой пропаже: не стало милых вечно голодных бродячих псов, что сбегались сюда в обеденное время в надежде на подачку. Ловко их отловили, втихаря. Мне подумалось, что кто-то не вовсе злой выкупает этими подачками жизнь бездомной лошади. Та же мысль, как позже выяснилось, промелькнула во многих головах. А когда лошадь вдруг исчезла, все заговорили разом, что ее застрелили по наущению какой-то вездесущей сволочи.

Но она вернулась — и не одна. С ней пришел лесник, сильно пожилой, крепкий, поджарый человек в зеленой лесной форме, фуражке с бляхой и болотных, подвернутых ниже коленей сапогах. Был он рыже-сед, веснушчат, с седыми желто-обкуренными усами. Его съежившиеся от чащобного охлеста прозрачно зеленые глаза добро улыбались из глубоких глазниц. Прочный, надежный в каждой жилке, морщинке, движении, слове трудовой человек, что обратил опыт долгих лет в доброту, в уверенное приятие жизни, которую он, видать, умеет принуждать к справедливости.

— …да что вы, ей-богу! — насмешливо говорил он (я попал на продолжение его разговора с отдыхающими). — Кто же позволит ее стре′лить? Да и кому Маруська мешает?

Заведя руку назад, он погладил лошадь по крутой, твердой скуле. Она стояла за ним, упираясь головой ему в спину и дыша родным запахом.

— Без малого двадцать годов мы с ней вкалывали. А сейчас пусть гуляет, заслужила бессрочный отпуск.

— А ничего, что она… так вот… ходит? — спросил кто-то.

Лесник ответил не сразу, улыбка его стала чуть напряженной, он хотел сообразить, в чем смысл вопроса: в опасении за лошадь или в неодобрении Маруськиной вольности? Верх взяла вера в добрые намерения людей. Он сказал посмеиваясь:

— Да кто ее обидит? У кого подымется рука на старую заслуженную лошадь?.. Маруська умная и вежливая, она не полезет куда не надо, сроду не напачкает, от нее никакого вреда.

— Вы уж поберегите ее! — попросила круглолицая старушка с гвардейским значком: на шерстяной кофте.

— А как же! У нас, окромя друг друга, никого нету. Разве что лоси да кабаны! — совсем развеселился лесник. — Пошли, — сказал он Маруське. — Людя′м отдыхать надо.

— Вы все-таки отпускайте ее к нам, — попросила гвардейская старушка.

— Есть отпускать! — засмеялся лесник, прикоснулся пальцами к околышу фуражки и пошел в свой лес, а Маруська

поплелась следом.

Обрадовал всех разговор с лесничим, никто и внимания не обратил, что старая Маруська прикрыта от судьбы лишь худым плащом лесниковой доброты, а не Законом. Нет охраняющего закона для старых прекрасных лошадей… И никто не обратил внимания на полуторку, проехавшую в лес мимо главного корпуса дня через два после умилительного собеседования. В кабине рядом с водителем сидел милиционер, а в кузове два парня с широкими скучными лицами. Никто не придал значения и слабому выстрелу, ватно щелкнувшему в сыроватом просторе. Но, когда полуторка катила назад, многие заметили торчащие из кузова четыре толстые коричневые палки. То были не палки — ноги убитой лошади.

И тут забили набатно давно снятые колокола церкви Всех скорбящих. Чугунными языками возвестили миру о содеянном зле. И никто не поверил Всезнайке, утверждавшему, что это отзвончивый гуд набравшей силу электродойки. За логом и верно находилась молочная ферма, но почему ее не было слышно в другие дни?..

Как бессильно добро и как действенно зло! Добрый старый лесник не смог защитить спою прекрасную лошадь. Добрые, растроганные люди на дома отдыха спасовали перед ядовитым ничтожеством, «запятой» — такое было название у Лескова для невидимых и губительных, как бациллы заразных полезной, носителей зла.

А стоит ли подымать шум из-за старой, полуслепой, бесполезной лошади? — скажет какой-нибудь здравомыслящий человек. Но это была прекрасная лошадь… И потом, меня беспокоит будущее. Помните, у Рэя Брэдбери, чем обернулось в расцвете цивилизации поврежденное в доисторические времена крылышко бабочки? А тут не мотыльковое крылышко, а Лошадь, Прекрасная Лошадь, погубленная не случайно, а сознательно. Что, если через миллион лет из-за этого расколется земной шар? Земной шар, населенный лучшими, чем мы, людьми?

Ну, никто так далеко не заглядывает.

А надо бы…

Телефонный разговор

Рассказ

Писатель Бурцев приехал в дом отдыха санаторного типа «Воробьёво» работать и подлечиться. Первое намерение было серьезным; он давно задумал маленькую повесть, до которой в московской суете и обремененности никак не доходили руки; второе — более смутным, поскольку недужил он всем понемножку. Бурцев опасался, что назойливая заботливость врачей разрушит покой, за которым он кинулся сюда из Москвы, но этого не случилось: ему сделали электрокардиограмму, и на том с лечением было покончено, что его вполне устраивало.

Дом отдыха располагался в новом громадном здании, которое людям передовых взглядов казалось образцом мировых строительных стандартов, а приверженцам отечественного ампира конца сороковых — начала пятидесятых годов — чертогом сатаны. На самом деле то был архитектурный курьез, воочию показывающий, что внешняя современность форм может сочетаться с такой перегруженностью, перед которой меркнут пресловутые излишества древнего архитектурного благочестия.

В подмосковном «Воробьёве», расположенном на равнине, в окружении прекрасных смешанных лесов, отдыхающие проходили тяжелую акклиматизацию, словно в горах Кавказа или в душно-влажно-смоговой щели Карловых Вар: повышалось давление, сбивалось сердце, вяжущая слабость охватывала тело. Причина тому не в природных условиях, а в интерьере. Обилие полиэтиленовой пленки, которой оклеены стены номеров, равно и синтетических паласов, затянувших все полы, кроме мраморных, болезненно отражалось на естестве человека, рассчитанном на органическую, а не на химическую жизнь.

Бурцев был склонен объяснять странную раздражительность, овладевшую им в первые дни, влиянием «химического микроклимата». Уезжая, он дал себе слово забыть о московских делах, выкинуть из головы все заботы и тревоги, но ничего из этого не получалось. Его первая забота называлась Отаром Хачипури. Недавно умерший Хачипури принадлежал к тому отряду литераторов, которых до войны называли «малоформистами». Потом этот термин как оскорбительный был упразднен стараниями прежде всего самого Хачипури, не только автора одноактных пьес, но и теоретика, глашатая, трубадура, трибуна и рыцаря малых форм драматургии. На пасынков

большой драматургии распространилось гордое слово «драматург». Недаром со всех трибун возвещал старик Хачипури: «И в малом можно сказать о большом», «Нет маленьких и больших пьес, есть талантливые и бездарные». Он возглавлял подкомиссию одноактной пьесы и сектор драматургии для самодеятельности, был непременным участником всех собраний, совещаний и пленумов, отстаивая достоинство своего жанра в тундре, тайге, пустыне и горах с тем же бесстрашием, что и под каменным небом писательского клуба. Отар Хачипури был обаятельнейшим человеком, незаменимым тамадой на всех литературных банкетах. И у каждого писательского гроба мужественно нес прощальную вахту неутомимый в делах общественной пользы старик. И вот Хачипури не стало. Казалось, что он бессмертен, что до скончания века будут мелькать на всех литературных сходках его голый смуглый череп в обводе снежно-белых слабых волос, мясистый добрый нос, коричневые патетические глаза за толстыми стеклами очков, звучать хрипловатый, но отчетливый, богато модулированный голос. Но сгорел в одночасье. Как полагается, была создана комиссия по литературному наследству, председателем которой назначили Бурцева. Сгоряча размахнулись издать всего Хачипури, но чей-то трезвый, остужающий голос предложил начать с однотомника. Держава малой драматургии плохо изведана, и трудно предугадать, какое впечатление произведет собранная воедино одноактная несметь. Но случилось непредвиденное: творческого наследства у покойного не оказалось. Нашелся тощий сборничек, изданный в начале тридцатых годов, но и там Хачипури был сам-третий. Кто-то непочтительно пошутил: объявим всесоюзный розыск творчества Хачипури. Тон был задан. Какой-то остроумец предложил издать сборник застольных тостов драматурга. Огорченный и оскорбленный за ушедшего друга, пораженный тем, как хрупка человеческая репутация, если люди позволяют себе шутить над свежей могилой, Бурцев на очередном заседании комиссии предложил издать две обнаруженные пьесы и все теоретические работы покойного, не прекращая поисков творческого наследства. К сожалению, и статей Хачипури обнаружить не удалось. Свои мысли он щедро рассыпал в устных выступлениях, доверяя больше живому звучащему слову, обращенному к горячему сердцу аудитории, нежели холодной типографской краске. Бурцев не пал духом, он был уверен, что творения Хачипури найдутся, и сейчас волновался, что это произойдет в его отсутствие.

Другая забота была связана с собственным творчеством. У него шел отрывок из повести в журнале, а гранки прислали лишь

в день отъезда. Редактор убеждал его подписать гранки не глядя — все в порядке, ошибок нет. Уже в доме отдыха Бурцев обнаружил отвратительную ошибку: верный муж Бавкиды Филемон был переименован в Филимона. Это корректорши постарались, видать, вспомнили знакомого дворника или водопроводчика. Конечно, этой ошибки никто не заметит, но Бурцев места себе не находил. Он пытался дозвониться жене, чтобы она поехала в редакцию и собственной рукой внесла поправку, а заодно разведала бы, как обстоит с литературным наследством Хачипури, но ему это никак не удавалось. Прежде всего из-за огромной очереди, каждый вечер выстраивавшейся возле двух телефонных будок. Бурцева поражало, почему люди, попавшие в такое прекрасное место, как «Воробьёво», с бассейном, сауной, спортзалом, крытым теннисным кортом, цветными телевизорами на каждом этаже, с чудесными маршрутами прогулок, ведущими к барским ампирным домам, старинным церквам в стиле нарышкинского барокко, к сквозным по осени лесам, где горластые сойки охраняли опушки и промелькивала среди деревьев темная громада лося, почему эти усталые люди так упорно стремятся накинуть на себя захлестку оставленных в Москве забот. Но ведь и он сам не лучше других. Ну, у него особое положение, он поехал сюда в разгар дел, а служащие люди заранее планируют отдых.

Оказалось, Москва так просто не отпускает: одни звонили на работу, беспокоясь о каких-то сметах, планах, простоях, другие волновались за оставленных дома близких. Но было немало и таких, которые звонили от пустоты, городской привычки к телефонному трепу, отчасти из хвастовства: не каждому удается получить путевку в «Воробьёво», эти висели особенно долго, поскольку у них не было предмета для разговора, и Бурцев люто их ненавидел.

Ему все никак не удавалось дозвониться: то не сработал автомат, то жены не оказалось дома, то занято, то просто не хватило терпения дождаться очереди, то начинался фильм или интересная передача по телевизору. Ко всему в одной кабине аппарат стал работать только «на прием»: из Москвы все слышно, в Москве отсюда — ничего. И движение очереди еще замедлилось.

Но на этот раз Бурцев решил, что ему сказочно повезло. Большая часть отдыхающих уехала на экскурсию в Поленово, и в очереди томилось всего пятеро: рослый азербайджанец со сросшимися бровями — он говорил всегда оглушительно громко, срывая голос, как на плацу, и не оставляя собеседнику цели для ответа, и выходил с мокрым лбом, довольный и осипший:

«Отстрелялся!»; седой изможденный человек с тонким, прозрачным, каким-то тающим лицом, у него неизменно в последний миг сдавали нервы, и он вдруг исчезал — истаивал, когда подходила его очередь; две подружки, живущие в одном номере и никогда не расстающиеся — ни на прогулке, ни в кино, ни в бассейне, ни в столовой, все думали, что они сослуживицы, решившие вместе провести отпуск, оказалось, одна из Харькова, другая из Магадана и видятся впервые, в Москву они звонили каким-то непонятным, случайным людям, никогда их не узнававшим, что удивляло, огорчало подруг, но не обескураживало. Был еще юный теннисист, каждый вечер сообщавший тренеру о своих успехах.

— Кто последний? — осведомился Бурцев. Правила хорошего тона предписывали спрашивать: «Кто крайний?», и Бурцев знал, что уже заслужил репутацию человека невежливого, но язык отказывался произнести неграмотную галантерейщину.

Последним был юный теннисист. Бурцев оглянул кабины. В той, где телефон работал лишь в одну сторону, к трубке припала девушка с милым восточным лицом: узкие припухлые глаза, полный, нежный рот, ореховая смуглота чистой кожи. Напряженный, бесконечный и односторонний разговор шел, как и всегда, с каким-то Боренькой, разговор настолько важный, что девушка весь отпуск проводила в телефонной кабине. Бурцев помнил, как это началось: девушка не послушалась предупреждения, что телефон испорчен, впорхнула в кабину: «Боренька, это я! Ты меня не слышишь, а я тебя слышу. Говори, говори, Боренька! Говори один…» Боренька внял призыву, и теперь девушке достаточно было набрать его номер, чтобы он, услышав молчание трубки, сразу начал говорить. Бореньке было что сказать, — Бурцев ни разу не дождался выхода девушки из кабины. Вот если бы телефон работал сходным образом, но в обратном направлении: Бурцев давал бы указания, а жена принимала бы к исполнению. В диалоге никакой нужды не было.

Он еще раз мельком глянул на стеклянную дверцу: девушка двумя руками прижимала трубку к маленькому уху, ее полноватые темные губы шевелились, повторяя Боренькины слова, и узкоглазое прелестное лицо изнемогало, погибало в нестерпимом, растроганном и страшном для посторонних счастье.

— А там кто? — спросил Бурцев о другой кабине, смотревшей в неосвещенный угол вестибюля.

— Новенькая, — ответила одна из подруг.

— Давно зашла?

— Только что. У нее занято было.

Похоже, что и сейчас было занято, и тут новенькая совершила незаконное: снова набрала номер. Щелкнула провалившаяся монетка — ей ответили.

— Коленька? — послышался звонкий голос, принадлежащий, как сразу угадал Бурцев, сильно немолодой женщине. — Это ты, Коленька? Ах, Вадик! Не узнала богатым быть. Надо же!.. У тебя голос совсем как у отца!..

Мы погибли, решил Бурцев, это самый худший вариант: беспредметная болтовня только что приехавшего человека, которому нечего сказать, и потому разговор бесконечен. Так и оказалось. Женщина еще с минуту восхищалась возмужавшим голосом Вадика — совсем взрослый стал! — и Бурцев злорадно догадался, что Вадик так и не понял, кто звонит, и думает, что его разыгрывают.

— Да это я — мамочка!.. — В голосе прозвучала обида. — Вон уже забыли… Экой же ты бестолковый!.. Да из дома отдыха, откуда же еще? Понял наконец? Нет, в бассейн еще не ходила. Не так все просто. Надо сперва врачу показаться. А он сегодня не принимает. Завтра пойду. Потом еще шапочка нужна, чтобы волосьями не сорить, а у меня нету. Я из полиэтиленового мешочка сделаю… Чепуха! Многие так делают, я ходила, смотрела. Бассейн? Замечательный! Только сторожиха очень строгая. Сразу накинулась: нагишом из душевой не выходить, в мячик не играть и кувыркаться в воде категорически запрещается. Я говорю: посмотри на меня, нешто могу я кувыркаться? «Знаем, видели, постарше бывали, а так еще кувыркались!»

Ну зачем она все это несет? — возмущался Бурцев. Кому это интересно? Как не бережем мы время — свое и чужое. Оставила бы рассказ о дуре нянечке на возвращение.

— А я на физкультуру записалась. Каждое утро. Приеду такой физкультурницей — не узнаете. Нет, гулять еще не ходила. Тут красиво, сосны, ели, два пруда больших. Рыбачков не видела, не знаю… Кормят очень замечательно, четыре раза в день и еще вечером кефир полагается. Бар?.. Буфет, что ли? Есть. Музыка играет. Я там еще не была…

Вот когда будешь, тогда и говори! — бесился Бурцев. Не была, не видела, не знаю!.. А трещит, как будто все видела и знает. Боже, на что тратится наша коротенькая жизнь!..

— Вадик, а как с зачетом? Ты же обещал. Ладно, сын, я тебе верю… А-а, давай-ка его, давай. Зайчик, ты почему не спишь? Рано еще? А и верно рано, я время спутала. День тут какой-то длинный. Как ты, Зайчонок? Хорошо, маленький, хорошо. Нет, мама еще не плавала. Буду, буду, так еще наплаваюсь! Да нет, глупенький, у нас не лето, а так же, как у вас, — почти зима.

Бассейн в закрытом помещении, там тепло… Ну, давай Люду. Как ты, доча? Нет, еще не купалась. Бассейн огромный, а вода голубая. Не послушалась я тебя насчет шапочки, думала, это только молодым для красоты… На физкультуру? Правда буду ходить, Вадька не врет. А я колготки приспособлю. Подумаешь!. Места чудные! Нет, еще не гуляла. У меня под окнами лошадь пасется. По-моему, ничейная. Хорошая! Грива густая, челка мохнатая и хвост богатый. Только у нее, бедной, бельмо. Нет, другой глаз очень даже видит. Да кто ее обидит, что ты? Неужто я позволю? И собак тут много, и кошек… Слушай, доча, только не думай меня обмануть, я по голосу все узнаю. Плюнь ты на него, сколько тебе говорить? Не стоит он тебя. Пустышка, пирожок ни с чем. И Сашка так считает? Умница сын! Постой, а почему он у вас? Этого еще не хватало! Дай-ка его сюда! Мало ли что заперся. Мать требует!..

Не выдержал тающий старичок и, что-то бормоча бескровными губами, зашаркал ночными туфлями по мраморному полу вестибюля.

— Саша, ты? У меня-то хорошо, а вот у тебя? Буду в бассейн ходить, ты мне зубы не заговаривай! Молчи! И не смей Верку обижать, слышишь? Она лучше тебя, эгоист несчастный! Немедленно ступай домой, понял? Не то я брошу все к черту и приеду. Ты меня знаешь. Да пропади она пропадом, путевка эта! Или ты сегодня же попросишь у Верки прощения, или я завтра буду… Как, как?.. Слово? Спасибо, сынок, что даешь матери отдохнуть… Папа трубку рвет? Ну, будь здоров…

Подруги враз поднялись и, хорошо напрягая крепкие икры, пошли в сторону бара. За ними, чуть помешкав, устремился азербайджанец. Остались лишь Бурцев и юный теннисист, обладавший поистине чемпионской выдержкой.

— Коленька!.. — сказала женщина голосом такой пропащей нежности, что сердце Бурцева дрогнуло какой-то странной печалью. — Как ты там, родимый мой? Ну хочешь, я все брошу… ладно, ладно, не ругайся! Знаешь что, приезжай в воскресенье! Бери Зайчонка в охапку и на рейсовом — от Беляева. Можно, можно, в санаторной книжке написано. В номер не полагается, а так — сколько угодно. В холле посидим. Он весь мраморный, а с потолка люстра свешивается, сама чугунная, в медных цветах, миллион пудов весит!.. Что?.. А зачем мне под ней стоять? Да не бойся, которые есть отдыхающие уже по третьему разу — и ничего. Коленька, ты бы видел бассейн — бирюзовый, вода прозрачная, теплая! Нет, еще не купалась…

О боже! — взныло в Бурцеве. За что, за какие грехи? Да как ей самой не осточертеет?.. Небось и внуки есть, им тоже

любопытно про бассейн послушать. И престарелые родители, и какая-нибудь тетя Даша…

— Как ты там без меня? Не кашляешь? Безрукавку теплую поддеваешь? У тебя грудь слабая — шутить нельзя. И застегивайся хорошенько. Пусть Людка тебя проверяет, дай-ка, я ей сама скажу!

Пошло по второму кругу! Косо глянув на Бурцева и отчего-то покраснев, юный теннисист рывком поднялся с кресла и почти бегом устремился прочь. Бурцев оказался первым претендентом на кабину. Возможно, это настроило его на более снисходительный лад. А не такая уж она сорока, подумал о женщине. Между делом вернула сына к жене, защитила дочь, дала указания слабогрудому, как себя соблюдать. Все по-человечески. А что бассейн для них чудо, так он и для всех нас чудо, только мы делаем вид, будто сызмальства привыкли в голубой воде плескаться…

…«К умеющему ждать все приходит вовремя», — гласит северная пословица. Дождался своего часа и Бурцев. Женщина вышла из кабины — низкорослая, квадратная, с прической-башней. Бурцева всегда поражало, откуда взялась эта мода, не имеющая никакого подобия в мире, равно и первоисточника в русском национальном стиле. Русские женщины традиционно гладко причесаны: и знать, и купчихи, и крестьянки, и мещанки. Букли городских модниц прошлого века совсем другое, на темени все равно гладко. Уж до чего изощрялась западная мода, а вавилонских башен на головах не строит. Это ужасное сооружение больного парикмахерского гения вовсе не прибавляет роста маленьким женщинам, напротив, подчеркивает приземистость, а высоких превращает в каланчу. И совсем нелепо, когда на эту прическу водружается меховая шапка вроде боярской. Конечно, и тут не обошлось без меховой копны. На женщине топорщилась только что, видать, сшитая нейлоновая кофточка, коротковатая юбка колоколом едва достигала толстых икр, обжатых голенищами кожаных сапог. Ее очень обыденное, немолодое, одряблевшее лицо с носом картошкой спасалось живым и заинтересованным выражением. Она вся была еще там, во власти домашних тревог, огорчений, умиления, нежности, а взгляд небольших зеленоватых глаз с живейшим любопытством вбирал впечатления окружающего: и серого, хмурого человека, заждавшегося телефона, и мраморные колонны вестибюля, и кадки с экзотическими растениями, и синичку, поселившуюся в искусственной роще. И еще Бурцев заметил трогательные следы неумелых косметических ухищрений на усталом лице: мазки помады, комочки туши на ресницах. А затем он увидел ее руки:

жилистые, огрубелые, с синеватыми пальцами, на которых так неуместен был яркий маникюр; руки, помороженные в военных очередях, когда одеревеневшим пальцам не ухватить было хлебного талона, в промозглых траншеях оборонительных сооружений, когда лом отрывался с кровью от ладоней, в ледяных овощехранилищах с опаленной морозом капустой и гнилой картошкой, исколотые иглой, обожженные растопкой печурок-времянок, взрывающимися примусами, кастрюлями, сковородами и утюгами, изъеденные щелочью стирок, привычные к лопате, тяпке и заводскому инструменту, к жару больного тельца ребенка и холоду сердечного компресса, бедные, святые руки русской женщины — величайшей страстотерпицы на этой измученной земле. Сильное чувство узнавания своего, родного охватило Бурцева, ведь под тонким слоем жирка не сановного, но малость отвыкшего от очередей человека продолжался молодой испуганный солдатик, после злой, опытный офицер Отечественной войны, полуголодный, продрогший студентик и неутомимый грузчик Москвы-Товарной, маленький разъездной корреспондент, очумевший от бесконечных российских дорог, начинающий автор, уже обремененный семьей и не брезгающий никакой черной работой, лишь бы оставалось время на писание. Мы с ней однополчане, решил Бурцев, и с завтрашнего дня я буду приглашать ее на танцы.

Он вошел в кабину, закрыл за собой дверь, пристроил пятиалтынный в щели, боясь, что монета провалится раньше времени, набрал растянутый двумя восьмерками номер.

— Слушаю, — из-за края света отозвался голос его жены.

Странное чувство овладело Бурцевым — он знал, что это его жена, но видел на другом конце провода только что минувшую женщину. В этом не было ничего обидного для его жены, сухощавой, довольно стройной для своих лет, но с такими же натруженными руками. Она тоже из их полка, а в строю люди часто кажутся на одно лицо.

Он уловил в ее голосе испуг, и это его покоробило, подумаешь, не дозвонилась в комиссию, экая беда!

— Как ты там? — закричал он, напрягая горло. — Я — в порядке. Знаешь, тут бассейн замечательный! И сауна! Нет, еще не ходил. Обязательно пойду!.. Кто звонил?.. Неважно… Как ты? Как ты себя чувствуешь?

— Ноги что-то побаливают… — Она никогда не говорила о своих недомоганиях, да он и не спрашивал: болеть было его привилегией, и эта непривычная забота о ее здоровье окрасила старушечьи слова девичьей интонацией — застенчивой и доверчивой, как признание.

Он сказал осевшим голосом:

— Хватит бегать, больше отдыхай. Вернусь — мы тебя наладим. Береги себя. Ты у меня одна. Слышишь?

— Слышу, милый! — упало ему в душу.

Господи, думал Бурцев, закрывая за собой дверь кабины, на какую чепуху растрачивал я душу и время! И как хорошо, что не заикнулся об этих дурацких гранках: что мне выдуманный Филемон, когда есть живая Бавкида. И чего мы цепляемся к тени Хачипури? Да, не оставил он никакой писанины, и слава богу! Молодчага, не унизил себя ни халтурой, ни бездарным сочинительством. Зато сколько добрых слов сказал он людям. Сколько искренних пожеланий здоровья и счастья — живым и мира — усопшим. Спи и ты спокойно, дорогой друг, да не потревожит тебя мирская суета!..

Замолчавшая весна

Рассказ

То была странная весна — Сергеев ее не слышал. Первая беззвучная весна в его жизни. Не то чтобы слух вовсе покинул Сергеева, он прекрасно слышал из своего загородного жилья нарастающий грохот Илов и Ту, подымающихся с Внуковского аэродрома, тихий, пристанывающий бормот домодедовских и быковских самолетов, уже набравших высоту, пугающие взрывы, с какими истребители проходят звуковой барьер, уютное шмелиное погуживание старых винтовых тихоходов, патрулирующих шоссе, и стрекозиное потрескивание сельскохозяйственной авиации, кропящей сад, огород, крыши и дорожки белесой слизью. А еще Сергеев слышал автомобили, мотоциклы, трактора, радиоусилители из соседнего дома отдыха, неумолчно повторяющие четыре популярные мелодии, а позже — ликующие команды физзарядки из пионерского лагеря, заставляющие непроспавшихся, со слипающимися ресницами детей кочевряжиться на росном знобком плацу. Но, кажется, мы залезли в лето, ведь пионерские лагеря начинаются с июня, но и весна залезла в лето: черемуха запенилась в середине июня, тогда же надулись шары одуванчиков, расцвели ландыши и купальницы — почти в одно время с лиловыми колокольчиками и розовой смолкой. Но и запоздниившаяся весна не должна молчать. Меж тем весна Сергеева, если исключить грубые шумы, отчасти порожденные весной, но не являющиеся выражением ее сути, оставалась нема, безгласна. Голос младенческой весны — капель, голос зрелой весны — птицы, их-то Сергеев не слышал.

Вначале он думал, что птицы отложили прилет, как деревья и травы отложили цветенье, до тепла. Но потом он увидел грачей, еще не успевших запачкать ярко-желтых лап, вслед за ними — скворцов, приводящих в порядок свои домики после зимовавших там пачкуний белок, увидел пеночку-теньковку, покачивающуюся на сухом стебле чертополоха, ласточек в небе — птицы давно вернулись с курортов дли хлопотной и серьезной семейной жизни, по почему-то молчат: не славит весну, не поют лесе и любви.

Вначале он думал, что странное онемение постигло только сад, но когда распогодилось и немного подсохло, он отправился в лес и не услышал его. Дрозды то и дело перелетали через просеки, но хоть бы раз прорезало ватную тишину леса их резким

свистом, молчали чижи и щеглы, не чечекали чечетки, по прочищал горла коростель перед песней, которая никогда не начнется, не вскрикивал ликующе самец кукушки, исчезли и те таинственные голоса, что вырывались под вечер из лесных, полных тумана и крепких запахов балок, а на поляне за опушкой черно-белый чибис, перепадая с крыла на крыло над изумрудным выпотом, ломал зигзаги без обычного нежного постанывания. Даже дятлы умудрялись беззвучно выдалбливать корм из стволов. И сороки, хлопотавшие у своих гнезд, справили обряд легкой паники при виде чужака без стрекота. Лишь вороны, рушась с высоты на непрошеного зашельца, оглашали воздух ржавыми криками из своих луженых глоток, Но до чего же бедна весна, озвученная лишь воронами! Хотя и у ворон есть дивная песня: осенью, когда птицы сбиваются в стаи для отлета в теплые края, а вороны — для недалекого откочевания в сторону южную, их прощальный карк исполнен щемящей печали.

Но как звенели, как сияли в былые годы голосами весенних певцов скромные леса, рощи и поляны по берегам Десны подмосковной! С прозрачного розового подвечера до глубокой ночи, с мглистого предрассветья до высокого солнца били соловьи. Здесь самый соловьиный край во всем Подмосковье. Соловьи разливались на опушках лесов, в старых рощах, оставшихся от барских усадеб, в березово-осиновых перелесках, в ольховых зарослях вдоль дорог и шоссе, в сиренях, жасминах и ракитах садочков, на сельском кладбище, где меж старых темных крестов белеют цокольки с красной звездочкой над упокоившимися ветеранами войны. Бесстрашные соловьи! Поселок у Сергеева собачий и кошачий, есть даже любознательная, настырная обезьяна и очень много распущенных детей, соловьям бы поостеречься, а они знай разливались, состязаясь друг с дружкой: кто дробью брал, кто лешего дудкой, а бывали мастера по всем девяти коленам.

Почему перестали петь птицы? За годы, что Сергеев жил на Десне, случались всякие, большие и малые, чудеса. В памятное лето, когда иссушенная, прожаренная оголтелым солнцем земля звенела под ногой и болели ступни от ее броневой жесткости, любимая Сергеевым сыроватая прежде, а сейчас растрескавшаяся, как каракумский такыр, лесная тропа была усеяна дохлыми, будто налакированными лягушками. Видимо, они сползались сюда из пересохших прудов, ручьев и болот, памятуя о былой тени и сырости, и солнце высушивало их до смерти. Тогда же из леса выбежал лосенок, ошалело повел головой и грохнулся замертво. Оказалось, в нем не осталось и капли крови, выпитой комарьем и всяким лесным гнусом.

В то страшное лето горели леса и торфяные болота вокруг Москвы, машины ходили днем с включенными фарами; их сильный свет не пробивал белесых клубов дыма, расплющивался в радужные лепешки. Еще не зная о пожаре, Сергеев шел обычным маршрутом через лужайку у Черной речки, как прозвали эту излуку Десны за фабричным стоком, аспидно-черную и летом и зимой, и вдруг обнаружил, что все зримое пространство медленно и неуклонно затягивается молочным, чуть мерцающим маревом. В считанные минуты скромный подмосковный пейзаж, от века верный уютной кисти передвижников, обрел Леонардову лунную призрачность: все в нем обесконтурилось, поплыло, растворилось в бледно-голубоватой дымке, из яви стало сном.

В другой раз он обнаружил на проселочной дороге у иссохшей лужи, от которой паутиной расходились трещины, темный холмик из слипшихся мертвых бабочек. На холмик налетали другие бабочки, глубоко погружали хоботок в трупный ком, складывали крылышки и переставали жить.

Как-то перед Сергеевым на большую сосновую лапу в янтарных потеках смолы, будто засахарившейся у кистей игл, открыто и бесшабашно опустился самец кукушки, которого, как ни ищи, сроду не увидишь, и разорался на весь лес, топорща крылья и ставя колом хвост; его звонко-ошалелый голос сопровождал Сергеева до самой опушки.

А еще он помешал сорочьему суду над лисенком, видимо разорившим гнездо: воспользовавшись замешательством горластых судей, лисенок бежал, оставив на траве клочья красной шерсти. И тут Сергееву пришлось позаботиться о собственной безопасности. Откуда ни возьмись налетели мириады маленьких изумрудных мушек и облепили его с головы до пят, намереваясь высосать, как комарье лосенка. Они лезли и глаза, в самые зрачки, в рот, в уши, запутывались в волосах, проникали за пазуху. И не отбиться было от смешной и жутковатой напасти. Приправленная юмором досада сменилась бешеным раздражением, а раздражение перешло в панику — Сергеев кинулся прочь из леса, обдирая ноги о впутавшийся в траву валежник, мухи провожали его до конца просеки, а там стали, зависли изумрудно взблескивающим гудящим облачком.

Словом, творились разные чудеса, но такого печального чуда, как немая весна, еще не бывало. Тщетно напрягал Сергеев слух, тщетно спешил к очнувшейся природе, тщетно бегал на вечерней зорьке к приютившему тень густому бузиннику за рекой, где в прежние годы были самые голосистые соловьи. Музыка расцветающего влюбленного мира умерла.

Однажды жена сказала:

— Как чудесно поет соловей на соседнем участке! Знаешь, мне кажется, это наш прошлогодний соловей, но чем-то мы ему не угодили и он поменял местожительство.

— Когда ты его слышала? — спросил Сергеев.

— Да каждый вечер. Может, он и утром поет, но я поздно встаю.

В отличие от жены Сергеев вставал рано. В шестом часу утра он вышел в сад. Была роса на манжетках, роса на листьях и кистях венгерской сирени, был дивный младенческий запах пробуждающегося мира и хрустальная тишина. Затем в стороне Внуковского аэропорта загрохотал подымающийся самолет. Промчался мимо дома грузовик, гремя разболтанными бортами. Сергеев ждал, но иных звуков, принадлежащих мягкой жизни природы, не возникало. Он с усмешкой подумал, что соловей заспался, подобно его жене. Вернулся в дом и сел работать.

Вспомнил Сергеев о соловье вечером за чаем на террасе, заметив *внимающее* лицо жены. Соловей пел только для нее, а Сергееву оставался неслышим. Раз померещилось желанное «тёх, тёх, тёх», но то оказалось рабочим шумом — бабушка рубила молодую крапиву для щей.

— Неужели ты не слышишь? — спросила жена.

— Не слышу.

— Что с тобой?

— Со мною, наверное, старость.

— При чем тут старость?.. Бабушка! — крикнула жена. — Вы слышите соловья?

Бабушка отложила сечку.

— Ах разбойник! — сказала она умиленно.. — Как выводит, шельмец! — И опять затюкала по крапиве.

Но однажды Сергеев услышал птиц едва ли не всех, что создавали подмосковную весну; они слетелись в сад из окрестных лесов и полей, чтобы дать концерт под его окнами, распахнутыми в неестественную, пугающую тишину. Они пели все разом и ничуть друг дружке не мешали, их сильные, наполненные голоса слипались в единый хор, но каждый вел свою партию. Как они заливались, какие пускали трели, какие ноты брали!.. Сергеев ждал, что ветви деревьев, еловые островершки, крыши, карнизы и провода усеяны птицами, но, выглянув в окно, не обнаружил ни одной певуньи, даже синичек, которых бабка подкармливала обрезками колбасы. Незримость птиц, чья оглушительная звень колебала зеленое, горячее, пропитанное солнцем пространство, поразила Сергеева до испуга. В висках застучало. Он сел к столу и зажал ладонями уши: дивное пение продолжалось еще громче и победней. Это шумела кровь в склерозированных сосудах, с

трудом проталкиваясь сквозь них, а внешний мир оставался все так же беззвучен. Видимо, он обречен довольствоваться той музыкой, которую носит в себе, в чем есть свои преимущества: его певучая кровь безразлична к временам года…

…Минувший февраль Сергеев провел в подмосковном санатории. Громадная, из светлого кирпича башня высилась посреди обширной площины, обдуваемой всеми ветрами, гуляющими по средней Руси. В народе это называется стоять на юру, на сквозном ветру. Тут можно ощутить мозжащее дыхание норда, прилетевшего аж с самого Ледовитого океана, и теплый вей остудившихся в долгом пути раскаленных ветров пустыни, и солено-влажный охлест с запада, где море, и судорожные порывы переменчивых восточных ветров. «В России всегда ветер», — говорил один старый писатель, но с таким же успехом можно сказать, что в России всегда дождь или всегда вёдро, ведь Россия не страна, а целый мир, где всегда — все. Но высказывание старого писателя обретает предметный смысл, если свести необъятную Россию к крошечному пространству, занимаемому санаторием «Плакучая береза», здесь всегда ветер, тревожно, мучительно, сладко и гибельно натягивающий тонкие нервы подопечных здравницы. Ветры приходят из пустоты, за которой угадываются потонувшие в снегах деревеньки, из сквозного березового редняка, подковой охватывающего санаторий.

Напорное, из-за ветров тут живешь словно под током, в напряженном ожидании чего-то. Для Сергеева это ожидание разрядилось приездом четырех красивых, стройных людей, составляющих семью. То были муж, жена, дочь и внучка. Первые трое выглядели много моложе своих лет, а четвертая — много старше, и требовалось некоторое усилие, чтобы поставить их в правильные отношения друг к другу. Родителей пришлось состарить, дочери прибавить лет, внучке порядочно убавить, что низвело ее из ранга взрослой девушки в скромный чин большой девочки.

Нервная обостренность помогла Сергееву угадать еще одного, отсутствующего члена семьи (разумеется, не мужа дочери — отца большой девочки, он подразумевался, нет, другого); Сергеев вычитал его в раненых глазах старшей женщины, в странной судороге, порой кривившей ее крепкий добрый рот, в складках, вдруг прорезавших гладкое, прочное, не поддавшееся старению лицо. Не стоит преувеличивать проницательность Сергеева, он провидел лишь потерю, но, конечно, не мог знать, что потерян, и совсем недавно, был сын, талантливый юноша, обещавший стать незаурядным ученым, его унесла внезапная, редкая, мучительная и неизлечимая болезнь.

Семья держалась стойко против ветра, не того пронзительного низового, по малого своей очевидной краткостью, что в пору их приезда наметывал сухой, рассыпчатый снег на северный фасад санатория, а против ветра судьбы, с неиссякающей злобой стремящегося оборвать их парус, черного ветра, что на половине жизненного пути ослепил отца, в раннем детстве отнял слух у дочери, а недавно унес сына. Не сразу понял Сергеев, что темные, внимательно обращенные к собеседнику глаза красивого, неторопливо-изящного в движениях человека слепы. Его глазами была жена. В долгой совместной жизни они выработали такую систему поведения, неприметных для окружающих легчайших жестов, касаний, покашливаний, междометий, вскользь роняемых слов, что слепой человек мог вести себя в предметном мире с уверенностью зрячего. У него не было ошибочных или просто неуверенных движений, ни малейшей шаткости в походке, он не закидывал косо голову в опасении нежданного препятствия, мог сказать, который час, вынув из кармашка брюк часы с выпуклыми цифрами, и вы не замечали, что он видит время пальцами, ко всему еще бегло печатал на машинке, но хоть он и много умел, его вела жена.

Еще дольше не догадывался Сергеев о глухоте дочери, относя ее странную, не окрашенную живым выражением, подчеркнуто отчетливую речь за счет тембровых свойств довольно низкого голоса. Но она говорила так, потому что не слышала себя, потому что освоила речь по слабой памяти детства о звучащем мире и артикуляции специальных учителей, в первую очередь родителей, которые *вели* ее сквозь объявшее безмолвие так же неприметно и твердо, как мать вела отца сквозь его ночь.

Сергеев почти всерьез задумался: что, если мы вовсе не почетные гости на пиру всеблагих, как горделиво рисовалось Тютчеву, а жертвы грандиозного эксперимента? Цель беспощадного омыта определить, насколько значителен слой человеческого в человеке. Если так, далекие боги должны снять шляпы, или как там называется то, чем они прикрывают вместилище своего блистательного и страшного разума, перед нравственной силой этой семьи.

Каждый член семьи осуществляет до конца свое назначение. Увенчанный всеми наградами и званиями, отец создает немыслимые математические структуры, равно способные и пересоздать вселенную в лучшем образе и разрушить до основания. Но разве думают ученые — жизнелюбы, весельчаки, альпинисты о гибельности своих построений, они просто дают работу серому веществу мозга, а сами нацелены лишь на доброе. И слепой математик, исполненный нежности ко всему сущему, в

свободное время изобретает автомобильные двигатели, которые не отравляли бы, а озонировали воздух, и самолетные моторы, посылающие на землю не адский грохот, а звуки скрипок Вивальди и Моцартова клавесина.

Дочь — кандидат наук, она отстаивает свои научные взгляды на международных конференциях, форумах, симпозиумах, столь же добросовестно и ясно произнося низким смодулированным голосом слова английской речи, как и русской.

Мать осуществляет себя в высшем человеческом подвиге самоотдачи: свою профессию — а строить дома больше чем профессия, это призвание — она оставила ради мужа и дочери, став глазами одного и слухом другой. Но меньше всего она похожа на жертву. Раз в лесу на лыжне наперерез Сергееву вынеслась лыжница с раскаленным лицом девы-воительницы; она резко свернула в просеку Сергеева и промчалась мимо, обдав свежим жаром, и лишь по дружеской улыбке и взмаху ресниц над серо-голубыми глазами он признал в прекрасном молодом существе, словно разламывающем лес в стремительном могучем беге, жену слепого математика.

Ну а внучка вся в очаровании юности. У нее золотые глаза и розовые маленькие уши, так чутко слышащие мир, что мочки то и дело прозрачно вспыхивают — восхищение окружающих стыдно радует и смущает. Эта девочка — общее творение и награда семьи.

— Я проследил внутренне сквозь годы образ моей жены и даже дочери, — говорил Сергееву математик, когда они попивали легкое вино в номере. — Я знаю, как они выглядят сейчас, и радуюсь этому. Но я не знаю, как выглядит моя внучка. Впрочем, так ли уж это важно? Она милая, милая, я создал себе ее портрет, и мне не надо другого. Зрение дает восемьдесят пять процентов информации о мире, но слух представляется мне самым важным из пяти чувств. Лишиться музыки!.. Недаром же Толстой, смирившись с неизбежностью смерти, лишь об одном жалел — о музыке. Там ее не будет… Почему вы не носите слуховой аппарат?

— Разве я настолько плохо слышу?

— Глухота быстро усиливается.

Так вот почему он завел этот разговор!

— Аппарат мне не поможет. У меня другая глухота.

— Война? — спросил он сразу.

Сергеев замялся. Ему не хотелось вдаваться в подробности, а прямой утвердительный ответ содержал бы какую-то героическую неправду. Хотя с другой стороны… Сергеева послали в городок Анну, где находились тылы Воронежского фронта, показаться в

госпитале врачам. Несколько дней назад на передовой он раздражал немецких солдат, выкрикивая в картонный рупор «Гитлер капут!» и другие обидные вещи, это входило в службу контрпропаганды. Когда немцам окончательно надоел его простуженный голос, назойливо и ненужно нарушавший тишину пустого, грустного осеннего поля, называемого ничьей землей, они ударили из миномета. Осколок задел и повернул каску на его голове, но боли особой не было. Не больше, чем в детстве, когда дворовый враг Женька Мельников попадал ему в лоб из рогатки кусочком чугуна, отбитым от лестничной отопительной батареи. Но, как и встарь, была жгучая обида — ведь не ответишь. Женька стрелял из форточки своей квартиры, и до немцев не добраться. Сергеева удивило, почему через несколько дней его отправили в госпиталь, он полагал, что находится в отличной форме. Он добрался на попутных до Анны, но, прежде чем идти в госпиталь, завернул на жалкий, нищий базарчик, где за катушку ниток получил стакан коричневатого варенца. Он только поднес к губам краешек холодного стакана, как вынырнувший из туч «хеншель» сбросил на базарчик фугасную бомбу, одну-единственную, словно яйцо снес. Не было ни воздушной тревоги, ни зенитного огня, не слышалось и прерывистого самолетного гуда, впитавшегося в ватные тучи и туманную сочь воздуха. Когда Сергеева откопали, он сжимал в руке зубристое донце стакана. Много лет спустя на диспансеризации врач-ларинголог постучал его костяшками пальцев по темени и определил потерю слуха в левом ухе вследствие контузии. «А правое ухо вы мне оставите?» — тревожно улыбнулся Сергеев. «Я не предсказатель», — вздохнул старый врач. Жизнь научила его смирению, он верил в природные силы человеческого организма куда больше, нежели в медицинское предвидение. Но мужественный собеседник Сергеева, в чьем тяжком опыте утрата одного из пяти чувств представлялась почти неизбежной, считал неуместным даже пифийское двусмыслие, оставляющее хоть тень надежды. Он хладнокровно нарисовал Сергееву ожидающее того будущее. «Ну что ж, — думал Сергеев, с чуть лишней жадностью глотая вино, — тогда я примкну к вашему богатырскому клану, если станет сил, а не станет, займу у вас…»

…Так как же, друг мой Сергеев, стало или не стало у тебя сил? Ты еще и сам не знаешь. Ты сильно растерялся, когда обнаружил, что вместо весенних голосов птиц получил шумную возню крови в сузившихся сосудах.

Значит, ты все-таки думал обмануть судьбу? Не вышло, да и не могло выйти. Ты получишь сполна все, что война запрограммировала тебе на старость. Утешайся тем, что всякая

старость трудна, а телесные недуги и физические потери еще не самое страшное. И не верь, что бывает величавая старость. Олимпийца Гёте, сохранившего до исхода остроту чувств, силу мозга и духа, железное здоровье, постигло иное, почти смешное, на деле же горшее из всех несчастий: на восьмом десятке он без памяти влюбился в восемнадцатилетнюю девушку. Он верил, старый ребенок, величайший поэт, что мать с радостью отдаст дочь за творца «Вертера» и «Фауста», кумира Европы. Но та решила, что старец сошел с ума (так оно отчасти и было), кругом столько достойных женихов, подходящих по возрасту ее сокровищу: сын булочника, аптекарь, подающий надежды чиновник магистрата. Молодому сердцу старого поэта не дано было спеть последней песни любви. Кажется, девушка так и не вышла замуж ни за сына булочника, ни за аптекаря, ни за обещающего чиновника. Поверить этому трудно, уж больно возвышенно, но, может, и впрямь «звуков небес», коснувшихся юного слуха, «заменить не могли ей скучные песни земли»?

Но оставим Гёте вечности. Он свое отстрадал, а твои муки только начинаются. Покамест ты лишился соловьев и жаворонков, но у тебя остались вороны. Ты слышишь много механических шумов, громкую музыку, да и человеческую речь потерял лишь в кино, а это невелика потеря. Наслаждайся же еще звучащим миром и чаще вспоминай своих друзей но «Плакучей березе». Жаль, что глава семьи принадлежит к нередкой в наше опасливое время категории «невидимок». У него нет адреса и телефона, он живет в столь засекреченном месте, что, возвращаясь туда, как бы исчезает из мира. А с недавних пор он стал по-особому нужен Сергееву.

В конце июня Сергеев шел по лесной прогалине, ведущей сперва сквозь березняк, потом сквозь темный еловый лес к поляне с тремя старыми дубами. Раньше он часто ходил этим путем, обещавшим неожиданные встречи: то с лосем, то с лисой, то с куничкой, раз в густых сумерках протопали кабаны. Но затем возле дубов построили теплицы, и звери покинули эту часть леса. Куда уходит гонимое строительством подмосковное зверье, где находит тихую обитель? Газеты часто с непонятным восторгом пишут о «лосе в черте города». Чему тут радоваться? Неужели городские улицы кажутся сохатому приветливей подмосковных лесов? Лишь дрозды остались верны прогалине да появились недавно какие-то ошалевшие совы, путающие ночь с днем. При свете солнца, когда им положено спать, плотно смежив круглые изжелта-зеленые глаза, они срываются с ветвей и несутся куда-то, натыкаясь на деревья.

И как возликовал Сергеев, когда в полусотне шагов впереди

себя увидел лосенка, объедающего кустарник. Он не обращал внимания на приближающегося человека, и, замерев на мгновение, Сергеев быстро зашагал к нему. Лосенок и не думал бежать, утратив сторожкость в жадном насыщении. Порой он совсем исчезал в кустарнике, затем вновь, испятнанный тенями листьев, возникал на краю лесного коридора. С каждым шагом в Сергееве нарастало дурное предчувствие. И когда уже не стало сомнений, что слух не единственная его потеря, он продолжал тупо и жалко убеждать себя, что это лосенок, а не игра света и теней. Легкий ветерок, тянущий по прогалине, да косой солнечный луч наделяли обманной жизнью куст боярышника с запутавшимися в нем сохлыми стеблями дудок. Где твой соколиный глаз, Сергеев, которым ты за шестьдесят метров брал летящего чирка на цель?..

Посланец таинственной страны

Рассказ

Сергеев возвращался из клуба Научного городка, находившегося километрах в пятнадцати от его загородного жилья. Легковой машины не оказалось, и его отправили домой в служебном автобусе, не уступавшем размерами рейсовому. Пустой автобус гремел, громыхал, подпрыгивал на щербинах и неровностях шоссе, раскачивался из стороны в сторону, будто его трепал свирепый сухопутный шторм. Когда они добрались до поворота к писательскому поселку, Сергеев попросил водителя высадить его, хотелось скромнее обставить свое возвращение домой — зачем столько шума, треска, дизельной вони, зачем населять тихую зеленую улицу неуклюжей громадиной, которая будет долго реветь, газовать, смердеть, ворочаться, ломая протянувшиеся из-за оград ветви плакучих берез и поздно зацветшей черемухи, чтобы развернуться на узкой дороге, — сквозного проезда не было.

К тому же хотелось перевести дух, собраться нацельно после трехчасового дерганья, когда тебя алчно расспрашивают о тайнах мироздания, о прошлом, настоящем и будущем, словно жалкий бумагомаратель действительно знает что-то скрытое от других смертных, пытают жгучими нравственными вопросами и со странным сознанием своего права вторгаются в интимную жизнь.

И все же его душевная смута объяснялась другим. Неприятно уколол вопрос: что вы думаете о сегодняшней молодежи? Вопрос был не нов, и ему чаще всего предпосылались лестные для Сергеева слова, что, мол, вы помогли сохранить образ московского детства двадцатых-тридцатых годов и предвоенной юности, почему же сегодняшняя молодежь отсутствует в ваших книгах? Обычно он уходил от прямого ответа, обманывая скорее самого себя, нежели аудиторию, а тут впервые сказал без обиняков: потому что я не знаю сегодняшней молодежи. И от правдивого этого ответа остался струп на кончике языка.

Когда он вышел из автобуса, разом посмерклось, ночь наступила мгновенно, чего не должно быть в июне. Обычно день истаивает медленно, он брезжит и в одиннадцатом часу вечера, когда давно уже отгорел закат, тени на земле почернели, уплотнились, слились, но высокое небо по-прежнему светло стекленеет и ласточки, доверяясь его свету, промелькивают в вышине, хотя им давно пора спать в своих глиняных гнездах.

Сейчас небо затянуло, и ничто не мешало подымающейся от земли тьме завладеть пространством.

Сергеев двинулся по едва различимому под ногами шоссе, сперва краем фабричного поселка, потом через поле, поглощенное темнотой и напоминающее о себе тягой свежего ветерка. Ему хотелось понять, когда же он сам потерял молодость, превратился в человека другой эпохи. Он очень долго оставался молодым, отчасти из-за войны, которая одним оборвала молодость, другим ее продлила.

Вернувшись с фронта двадцатичетырехлетним, он начал все сначала: институт, студенческие заботы, студенческая нужда и студенческая бесшабашность. Как и другие бывшие фронтовики, вновь ставшие студентами, он соединился с молодостью не затронутого войной поколения восемнадцатилетних. И вскоре весьма уютно почувствовал себя в этом чужом мире, поскольку не тащил туда войну.

Такое удавалось далеко не всем, да и не все к этому стремились, а ему удалось. Его шальная послевоенная жизнь была молодой жизнью; боль, печаль, жестокий и горький опыт отступили под напором неизрасходованных, жадных сил. И любилось до упаду. И читал взахлеб, и учился здорово, и ни от какой работы не бегал. Все — в край, но он не растрачивался в этом, а будто полней и крепче становился.

А потом началась литература, и в ней та новая, странная и неизбежная молодость, в которой так прочно консервируются новобранцы отечественной словесности. Хочешь быть до старости молодым — ступай в писатели! Ну а серьезно?..

Ощущение неугасшей молодости поддерживалось в нем долгой возней с минувшим. Он так старательно тянул в настоящее переулки своего детства, гулкие московские дворы своего детства, дождливое подмосковное лето своего детства и все милые образы, что, сам того не замечая, существовал в каком-то искусственном двойном бытии, где сквозь размытые контуры сегодняшнего резко и отчетливо проступало черты прошлого. Так бывает, когда на один и тот же кадрик фотопленки сделаешь по ошибке два снимка.

Его писание не было мемуарным, тогда бы сохранилось чувство расстояния, а с ним и чувство возрастного сдвига. Нет, он жил в этом призрачном мире, принимая его за действительный, жил горячо, заинтересованно — былыми счетами, отношениями, увлечениями, обидами, радостями, не позволяя себе стать взрослым. Иногда казалось, что иллюзорный этот мир совпадает с молодым миром сегодняшнего дня, но затем он убедился, что его писания, как и сам он весь, представляют интерес лишь для его

седеющих сверстников, а для «теперешних» он давно стал ископаемым, а его песни чем-то вроде забытых русских романсов.

Ныне Сергеева все чаще достигали шумы и веяния незнакомого мира, проросшего сквозь его казавшийся вечным и неизменным порядок. Непонятный птичий язык тревожил ухо, рассеянно-проницательные, будто издалека, даже если в упор, взгляды ожигали лицо безжалостной отчужденностью, он испытывал странное смущение перед этой жизнью, боялся ее, не признаваясь в том и самому себе, спешил укрыться в свое привычье, в котором можно спокойно дожить. В том-то и дело, что *дожить*. Какое отвратительное слово! И, защищаясь от него, Сергеев стал считать «теперешних» узурпаторами дивной страны молодости, которая навечно была вручена его поколению, но коварно похищена, когда усталые солдаты задремали. «Я не знаю нынешнюю молодежь, да и знать не хочу!» — проговорил он вслух и даже сдержал шаг.

— Ой, господи, как напугал! — раздался неподалеку от Сергеева показавшийся знакомым женский голос, Довольно звонкий, хотя и немолодой, отчетливо интонированный и все же выдававший в своих рассчитанных модуляциях, что владелица его не боится ни бога, ни черта.

Так оно и оказалось: то была соседка Сергеева вдова недавно скончавшегося старого литератора.

— Чего же вы так напугались? — спросил Сергеев в слабой надежде, что искусственный ее испуг вызван не его громогласным и глуповатым в ночной пустынности заявлением.

Женщина приблизилась, темнота не мешала видеть ее осунувшееся, будто сползшее с костяка лицо и большие глаза, недобро поблескивающие в глубоких провалах. Она сразу и резко сдала после смерти мужа. Казалось, у нее была одна цель: донести остатки своей редкой красоты до его кончины, а там сбросить износившуюся личину и с презрением явить миру безнадежно старый, нищий образ. Умирающий унес ее последнюю красоту, с кладбища возвращалась шекспировская ведьма.

Когда-то, еще в довоенные времена, она была официанткой в Доме журналистов и звали ее Феня. Но девушка, приехавшая в Москву из тамбовской глубинки, быстро сообразила, что с таким именем в столице не проживешь, и по обыкновению тех лет метнулась в крайность. Теперь всем желавшим познакомиться с ней, а в таких не было недостатка, она протягивала дощечкой крупную руку и выпаливала, округлив глаза:

— Флора! — и робко поясняла: Знаете, есть такой цветок.

И вот тогда далеко не юный военный мемуарист, участник гражданской войны, носивший орден Красного Знамени по

обычаю революционных лет на алом матерчатом кружочке, влюбился в Феню-Флору и сделал своей женой. В его оранжерейном тепле она расцвела редкостным цветком, удивительно быстро усвоив все хорошее и кое-что дурное, что было присуще новой среде. И странно, окружающие знали о ревнивой, исступленной любви старого мемуариста к жене, но никто не верил в ее ответное чувство. Считалось: устроила жизнь. Дело было не в разнице лет, кого этим удивишь! И даже не в том, что мемуарист сочетал топорную внешность с необузданным, нетерпячим нравом и грубо-вызывающим поведением, — в кавалерийской атаке он, случалось, надвое разымал саблей врага, в литературе ему такие удары не давались, он бил обычно по касательной, и это испортило ему характер. Причина общего неверия была в очаровании самой Флоры, которой все желали лучшей участи, на худой конец, отрады и утешения. Не хотелось верить, что аромат этого цветка безраздельно обоняет губчатый нос старого рубаки. Но Флора, очевидно, знала совсем другого человека, чем все окружающие, ей тянуло от него ковыльной степью, бесшабашной храбростью, литой силой и беззаветной любовью. На поминках Флора, уже превратившаяся в парку, лишь щеки странно алели, обвела застолье огромными ненавидящими глазами и сказала тост:

— За последнего мужчину!.. Осталась мошкара.

И тогда все запоздало прозрели…

— Чего я испугалась? — произнесла Флора в своей новой, смиренно-беззащитно-злобной манере, и в звонком ее голосе странно пробились отзвуки командирского сорванного тенора покойного. — Да вас, кого ж еще? Я всех людей боюсь. Не зверей, не змей, не привидений, только людей, живых человечков боюсь пуще смерти.

Это говорилось нарочно для Сергеева, чтобы задеть и вызвать на беспредметный спор, в котором верх всегда одерживает тот, кто говорит гадости. В другое время Сергеев все равно завелся бы, но сейчас в нем дотаивали другие мысли, и он не взял приманку.

— Почему пешком? — спросил он. Флора всегда любила крутить баранку, — бывший кавалерист так и не подчинил руке стального коня, — а сейчас ее привязанность к машине стала маниакальной, она словно хотела умчаться от своей потери, боли, дум, от самой себя.

— А я не из Москвы. Звонить на почту ходила. Небось знаете, как междугородную ждать… Вышла — ни зги, поджилки так и трясутся. Ну-ка кто из-за кустов прянет. Ох!.. — на этот раз с неподдельным испугом вскричала Флора, шарахнувшись от возникшей из орешника темной фигуры.

Сергеев подхватил ее под локоть. Он и сам невольно вздрогнул, хотя не боялся людей ни днем, ни ночью, ни в поле, ни в лесу, ни на пустынной дороге, ни в глухом переулке. Не из чрезмерного доверия к людям или веры в свою защищенность — просто не боялся, без всякие основании.

На бетонку с неприметной в зарослях и тьме боковой тропки выметнулся кто-то в брючках, узенький, субтильный, но не малый ростом, длинноволосый. Девушка в джинсах? Нет — юноша, почти мальчик, с мокрыми, облепившими худенькое, тонкое лицо волосами.

— Не знаете, как в санаторий пройти? — спросил он не совсем переломившимся голосом, прозвучавшим чуть встревоженно.

— Тут много санаториев, — сказал Сергеев.

— Ну, где больные дети… сердечники.

— Так бы и говорил. Иди прямо по дороге, никуда не сворачивай. Войдешь в поселок — там будка и поднятый шлагбаум, ступай дальше, до перекрестка и налево. Упрешься в железные ворота, они не заперты. Санаторий направо, за деревьями видны корпуса.

— Сложно чего-то… — сказал подросток. — Я тут днем был — сразу нашел, а сейчас ничего не узнаю.

— Да нет, это просто. До перекрестка — все прямо. Потом — к воротам и по аллее.

— А вы не туда идете?.. Можно, я с вами?

— Пошли.

— Ми-и-лай!.. — протяжно, с незнакомым Сергееву простонародным выражением сказала Флора. — Да ты же мокрый весь. Это где же тебя угораздило?

Оттого и казался он таким субтильным, что мокрые рубашка и брюки облепили его худое тело.

— Искупался, — небрежно бросил парнишка. — Закурить не найдется?

— Некурящие, — сказал Сергеев. — Да и тебе не советуем.

Парнишка пренебрежительно усмехнулся.

— Это кто ж в одеже купается? — тем же теплым сельским тоном продолжала Флора, обернувшаяся Феней.

— Да глупо вышло, — с досадой сказал парнишка. — Рано с автобуса спрыгнул, думал путь сократить. Попал к речке, моста не видать. Решил так переправиться. Швырнул свой чумаданчик, — он приподнял и показал плоский черный «дипломат», — и не добросил. Что было делать — нырнул за ним, как есть.

— Тебе бы раздеться раньше, а потом кидать, — заметил

Сергеев.

— Чего?.. Ну, да! Не сообразил — башка дурная!

— Что же ты так? — усмехнулся Сергеев.

— Да молодой еще! Нешто молодые рассчитывают? — вмешалась Флора.

Парнишка благодарно глянул на нее в темноте. Он понял, что его поймал этот седой, с тяжелым дыханием, добродушный на вид дядька, и удивился, почему со взрослыми всегда попадаешь впросак?

Неужто вострая Флора не догадывается, что он врет? — подумал Сергеев. Парнишка вышел к реке, к излучине, где местные ребята ловят раков. Пижонский вид этого столичного жителя с модной прической и черным чемоданчиком вызвал праведный гнев у юных раколовов из бойцового племени чубаровских ремонтников, и они его «мокнули», как и принято поступать с неосторожными городскими зашельцами, то есть швырнули в заросшую кубышками Московку во всей амуниции, с судорожно сжавшимися на металлической ручке «дипломата» пальцами. Видать, он не слишком сопротивлялся, иначе придумал бы другую, более героическую ложь.

Поймать мальчишку на вранье было почему-то приятно, а вот себя на мелком злорадстве — противно. Из сочетания этих двух чувств возникло недоброжелательство.

А Флора, колючая, раздраженная, считающая весь свет повинным в ее нынешнем одиночестве, отнеслась к парнишке с несомненной симпатией. Она расспрашивала его о том о сем. Парнишка сообщил, что он москвич, а сейчас направляется к теще.

— К кому? — опешила Флора.

— К теще, — повторил он спокойно.

— Сколько же тебе лет?

— Семнадцать. Я уже школу кончаю.

— Мальчишка, школьник — и уже теща!..

— Вы не поняли. Я с ее дочкой гуляю. Значит, по нашему, — теща.

— Надо же! А я решила, что ты женат.

— Ну что вы! Моей бабе всего шестнадцать. Я скоро аттестат получу, а ей еще год мучиться.

— А как ее мать к тебе относится, жених?

— Тетя Поля? Она наша соседка, с одного двора. Сейчас тут уборщицей устроилась — на лето. Вот приду, все сухое мне даст, чаем с малиной напоит.

— Слушай, герой, — сказала Флора. — Ты в сердечном санатории, а куришь, в мокром шляешься, разве это дело?

— Да не я — Танька. У нее сердце от роста отстает. Перебои, аритмия в общем. Потом пройдет.

— Конечно, пройдет, — сказала Флора. — Акселерация, знаешь такое слово?

— Знаю. Эта когда с каланчу. Танька не такая длинная. Чуть повыше меня.

— Нормальный современный рост. Только бы дальше не пошла.

— Не пойдет, — заверил парнишка. — Она с этим завязала. Вот я еще маленько прибавлю.

— По-моему, в школе как раз экзамены? — вспомнил Сергеев.

— Ага. У меня завтра математика.

— И это ты так готовишься?

— А чего готовиться? Я математику все равно не знаю. Вытянут на троечку.

— Как это «вытянут»?

— Как всех, так и меня. По математике вытянут и по физике вытянут, я ее сроду не учил. Биологию сам на пятерку сдам, остальные — на четверки и тройки. Волноваться нечего. Обязательное десятиклассное образование. Можно вовсе не учиться. Все равно аттестат должны дать, на второй год не оставят.

— А вот мы учились, — тихо сказал Сергеев. — Нас не вытягивали.

— Правильно, — сказал парнишка. — Вы десятилетку кончали, чтобы дальше учиться. А я хотел после восьмого работать пойти. Мать пожалел — мечтала, чтобы я все десять кончил. Небось о вузе думала, но это уж маком! Вот и потерял два года. Да я, что ль, один…

Нельзя отказать ему в честности — он вовсе не старался выглядеть лучше, чем был. И наврал он лишь раз, в самом начале, по разве можно требовать от семнадцатилетнего юноши, Ромео, спешащего к Джульетте, признания, что его «мокнули»?

— Какую же ты себе выбрал профессию? — спросила Флора.

— Отцову, — сказал он как о чем-то общеизвестном, что не нуждается в уточнении. — Если б двух лет не потерял, уже бы отплясал в учениках.

— А кем работает твой отец?

— Слесарем.

— И сколько получает?

— Двести. У него седьмой разряд.

— Жить можно.

— Конечно. Только он алименты платит, — сочувствуя тяготам отца, сказал парнишка.

— Значит, у него уже была семья?

— Была. Мы с матерью. Он за меня платит.

— Вон что! — чуть озадачилась Флора. — Но ты же работать пойдешь?

— Ага. Теперь ему легче будет. У меня там две сеструхи-близнецы и бабка старая.

— А ты с отцом часто видишься?

— Часто — не сказать, а вижусь. Он заглядывает, я к нему на завод хожу.

— А он не хочет, чтобы ты дальше учился?

— Это на инженера, что ли? Пять лет мучиться, и на сто десять?.. Отец мне не враг.

«А как же с мечтой? — подумал Сергеев. — До чего ж расчетлив и бесплотен этот посланец из таинственной страны юности! Неплохой, видать, парень, и труд уважает, но почему ему не хочется шагнуть дальше, чем его отец? Экая трезвость в семнадцать лет. А может, я чего-то не понимаю? Не уследил за переоценкой ценностей. В моем детстве слово „инженер“ звучало и значительно, и романтично, оно было как пропуск в будущее. Мои родители крепко опечалились, когда поняли, что я не стану инженером. Но сейчас во всем мире молодежь увлекается рукомеслом. Хорошие, умные ребята стремятся делать что-то руками. Им кажется, да так оно и есть, что это дает внутреннюю свободу. Что может быть честнее и лучите „потной работы“?.. И все-таки хочется, чтоб молодой человек стремился к чему-то несбыточному. К чему?.. Полететь на Юпитер или пожать руку инопланетянам, которые, может, еще противнее нас?..» — И Сергееву стало грустно.

Они ступили на мост через речку, обозначенный в темноте свежей побелкой перил.

— Угораздило меня — с чемоданчиком!.. — знобко сказал парнишка, вспомнив о своем купании. Но его передернуло не от вида холодной воды, а памятью испытанного унижения.

— Замерз? — спросила Флора. — Ты, если чего… Может, спит уже твоя теща, не достучишься… Давай ко мне: Кленовая аллея, семнадцать. И чаем напою, и варенье найдется, и подштанников теплых — хоть завались.

— Спасибо. Только тетя Поля не спит. Она знает, что я обязательно явлюсь. Живой или мертвый! — Шутка понравилась ему, он хорошо, доверчиво рассмеялся.

Река с ее свежим холодком минула, и путников втянула пахучая — цвели черемуха и бузина — теплая, густая тьма поселковой аллеи.

— Ага! Вон будка и шлагбаум — все как обещано! —

Бодрость его была напускной, он и сейчас не признал места, где ему случилось быть только днем.

— Мы тебя проводим, — сказала Флора.

— Да не надо… Что я — маленький? Неудобно!

— Неудобно знаешь чего? — прервала Флора.

— Знаю, — засмеялся тот.

Печально, с собачьим подвывом проскрипели ржавые ворота.

— Прямо с доставкой на дом!

Парнишка чувствовал, что злоупотребил добротой незнакомых людей, и шутливостью скрывал смущение. При этом он по-прежнему не знал, куда идти. В конце длинной аллеи творилась какая-то смутная, сомнительная жизнь, не имеющая отношения ни к санаторию, ни к его обитателям с больными сердчишками, ни к тем, кто их лечит и кто им служит, — грубая, бесцеремонная жизнь здоровых людей, соединенных вином и любовными намерениями.

— Туда не надо, — махнул рукой Сергеев. — Давай прямо через забор, выйдешь к гаражам.

— Понял, понял! Спасибо! До свидания!

Слабый свет разлился в просторе, из бесформенной тьмы четко выступили деревья, штакетник, кусты рябины вдоль аллеи, небо отделилось от земли, и в прорывах меж оконтурившихся облаков затеплились звезды. Взошел невидимый за порослью месяц.

Сергеев впервые по-настоящему разглядел парнишку — его тонкую, узкую фигурку в не просохшей еще одежде, худенькое, облепленное длинными волосами незагорелое лицо, будто навощенную горбинку носа — хрупкое и самостоятельное лицо юноши, которому не будет легко в жизни. А затем парнишка повернулся, исчез в тени кустов, вновь возник у штакетника и пропал на той стороне.

— Пошли, — сказал Сергеев.

— Больно вы быстрый! А ну-ка пристанет кто? — сердито отозвалась крестьянская мать Феня.

Покойный муж создал ей счастливую жизнь, но оставил лишь имущество, тоску и черты своего волевого, скверного характера, он не дал ей дитя и всезаменяющую материнскую заботу.

А месяц быстро набрал силу, и освобожденный им от оцепенелости межвременья мир очнулся для ночного очарования: заискрился, взблеснул, заструился ароматной свежестью, смывшей то дурное, что ворошилось в не осознавшем себя пространстве.

Сгинули возня и нечистый шум в конце аллеи, прозрачная тишина объяла мирозданье, и в эту тишину упал легкий девичий

вскрик:

— Наконец-то! — будто взмахнул кто белым платком по ту сторону штакетника.

А затем они услышали жалкий, захлебывающийся голос своего знакомца:

— Ты что?.. Босая? В одном платьишке? Очумела? Давно в постели не валялась?

— Тут люди с ума сходят! — Обида на миг взяла верх в душе маленькой женщины. — Ишь, явился — не запылился! — И вдруг испуганно: — Почему ты весь мокрый?

— В речке искупался… Потом расскажу. Что ж нам делать? На руки тебя взять — ты хуже от меня простудишься…

— Я от тебя не простужусь. Тебе слабо меня поднять… Не надо! Слышишь? Ты холодный, как лягушка.

— На, хоть туфли надень. Они просохли.

— Да ладно!

— Ничего не ладно! Как только тебя мать пустила? Ох и волью я теще!

— Глупый! Я — через окно.

— Ну разве можно? — тосковал парнишка. — Хочешь опять свалиться? Давай бегом! Да тебе бегом нельзя… А, черт!

— Перестань! Ты где шлялся?

— Не шлялся я. Клянусь!

Благословенной я луной клянусь,
Что серебром деревья обливает…

Девушка прервала:

— О, не клянись изменчивой луной,
Что каждый месяц свой меняет лик —
Чтобы любовь изменчивой не стала.

— Но чем же клясться?

— Не клянись совсем;
Иль, если хочешь, прелестью своею,
Самим собою, божеством моим —
И я поверю…

— Как прекрасно!.. — прошептала Флора.

«А что ей послышалось? — подумал Сергеев. — Объяснение у

плетня ее молодых лет, или тот последний и решительный бой, в который кинулся за нее старый кавалерист с седыми, как ковыль, волосами? Прозвучала же мне соловьиным поединком Ромео и Джульетты телеграфная краткость современного сленга: „Ну, чего ты?“, „Ладно тебе!“… Наверное, и настоящие Ромео и Джульетта разговаривали не так, как у Шекспира, но он сумел услышать высшую поэзию в их неискусных речах. И сейчас звучала та же нота — нежная, высокая, звенящая. И ее уловило тоскующее сердце старой одинокой Флоры. Ах, Флора, Флора, — вздохнула в нем душа. — И правда, есть такой цветок, и цветок этот — вы!..»

— Ну все? — произнес он вслух.

Женщина не ответила и сразу пошла назад. Сергеев последовал за ней. У ворот он оглянулся — за штакетником никого не было.

А все-таки он заглянул в таинственную, неведомую страну, и там был свет…

Дорожное происшествие

Рассказ

1

Курбатовы познакомились с Иванцовыми лет восемь назад. Смешно звучит чинное слово «познакомились» для того странного неприличия, каким явилась их первая встреча на маленьком, заросшем ракитником островке посреди тихой Пры. Как и обычно, Ольга с мужем проводили отпуск на реке, в тот раз шли на байдарке по водам окского заповедника и решили сделать привал на одиноком и, как им показалось, необитаемом островке. Они только успели вытащить байдарку на песчаную косицу, когда раздвинулись ветви прибрежного кустарника и появились обнаженные мужчина и женщина, молодые, рослые, стройные, гордые и бесстыдные, как боги, снизошедшие к ничтожным детям праха, вторгшимся в их обитель. Вначале Ольга видела лишь красоту их загорелых долгих тел, исполненных такого совершенства и дивной уверенности в себе, что ее не коснулась и тень смущения, скорее легкий стыд за себя одетую, но такую жалкую физически рядом с ними; потом она заметила их сандалеты из кусков пластика, темные очки, поднятые на лоб, наручные часы, цепочку с камешком на груди мужчины, серьги в ушах женщины и обручальные кольца на пальцах обоих, осознала их человеческую природу, мучительно покраснела и уперла глаза в землю.

После она с удивлением вспомнила, что муж ее, застенчивый и нелюдимый, вечно стремящийся схорониться в своей раковине, обнаружил завидное самообладание: он спокойно и внимательно разглядывал обнаженных людей, вызывающе задерживаясь взглядом на женщине. Голые люди рассмеялись и, взявшись за руки, побежали к воде. Ольга видела их движения по теням, достигавшим ее босых ног, и словно от щекотки невольно поджимала пальцы. Вот они скинули сандалеты, опустили на песок очки и часы и зашлепали по мелкой у берега воде…

— Ну, хватит играть в монашку, — услышала она привычный, ворчливо-насмешливый голос Игоря. — Помогай!..

— Может, уйдем отсюда?.. — пробормотала она.

— Черта с два! Им того и надо. Не выйдет, голубчики!..

После, когда они уже поставили палатку и вскипятили чай,

островитяне, чуть прикрывшись пестрыми лоскутками, подошли к их костру. Они ничуть не были смущены своей хулиганской выходкой, сразу признались, что сделали это нарочно, дабы отвадить непрошеных гостей, но коль номер не удался, глупо и обременительно враждовать на столь малом клочке суши. Они назвались — Иванцовы; Жанна и Кирилл, архитекторы из Ленинграда. За чаем с рижским бальзамом — вклад первожителей острова в общую трапезу — их жизненное положение еще более уточнилось: Кирилл был строящим архитектором, а Жанна — администратором от зодчества — что-то связанное с защитой кандидатских и докторских диссертаций. От обоих веяло молодым апломбом и счастливой уверенностью в себе, но у Кирилла это опиралось на сознание своей творческой силы, а у Жанны — на служебное положение, ставящее людей в зависимость от нее. У всякого другого это было бы противно, но в Жанне, большеглазой, улыбчивой, открытой, — мило и чуть наивно; чувствовалось, что дарованную ей небольшую власть она не использует во зло и с радостью помогает людям. Кирилл и Жанна были однолетками с Ольгой, следовательно, почти на десять лет моложе Игоря, но они не признавали его старшинства, с ходу стали звать Игорем, даже Игорьком, хотя он представился как Игорь Николаевич и упомянул раз-другой о своих сединах. С Ольгиными ровесниками сорокадвухлетний Игорь стремился сохранять возрастную дистанцию, чтобы не казаться эдаким молодящимся старичком. Но для этих свободных, раскованных людей его ухищрения ничего не значили, они просто и естественно приняли его в свой возраст.

Но Игорь почему-то не мог принять этого дара простоты. Он был напряженным и неестественным. Он старался кем-то *казаться.* Ольгу удивляло и раздражало поведение мужа. Но по собственным ощущениям она догадалась, что с ним происходит, — и ее чувственность была возбуждена появлением современных Адама и Евы, Впрочем, за себя-то она могла ручаться, а угрюмый, замкнутый Игорь (он вовсе не был таким в пору их начала, но затяжной кризис в его столь много обещавшей лаборатории испортил ему характер) сохранил способность к воспламенению.

Хоть и не слишком часто, страстные, безудержные порывы Игоря вспенивали тихие воды прочных и уже долгих семейных отношений. В спокойное время Ольге было достаточно знать, что муж жив и здоров (вернее сказать, неопасно, привычно нездоров, ибо этот сильный, жилистый, выносливый человек постоянно мучился то глазами, то горлом, то поясницей, то невралгическими головными болями), на остальную его суть,

омраченную неудовлетворенным честолюбием, у нее просто не хватало времени, поглощенного работой, домом и больше всего детьми, неблагополучными, как и все современные дети. Но когда Игорь в очередной раз влюблялся, откуда-то находилось время для страданий, вздохов, слез и нудных, ничего не дающих объяснений. Потом она придумала словно бы оправдание романам Игоря. Он, как и его лаборатория, обещал неизмеримо больше, нежели дал до сих пор. Первым среди своих одаренных сверстников он защитил докторскую, получил самостоятельный и очень важный участок работы, а сейчас его многие обошли, иные даже академических лавров сподобились. Он не жаловался, не ныл, на расспросы отмалчивался или бурчал что-то о своей бездарности, что никак не соответствовало его истинной самооценке, и все глубже погружался в свою ночь.

Каждое новое увлечение начиналось у Игоря с отчаяния — затянувшиеся научные неудачи лишили его былой веры в себя, — затем приходила блистательная и неизбежная победа с короткой и пустой радостью сублимации. «Так ему легче», — думала Ольга, научившаяся жалеть мужа-победителя. И другого, подавленного, молчаливого, с повязанным горлом или глазом, она еще любила.

Да, любила, но какой-то чуть брезгливой любовью. Он смутно чувствовал это и сам отдалялся от нее, физическая близость все реже соединяла их, а лишь в тесном, забывшем обо всем объятии могли бы они вернуть былое. При этом оба знали, что никогда не расстанутся, как бы ни густел сумрак, окутавший их существование. Позади осталось золотое, и оно еще брезжило — стоило лишь оглянуться. И пока они различали этот нежный золотистый просвет, можно было выдержать все: отчуждение, неудачи, разочарования, измены, нелепость жизни и собственного поведения. Они были словно помечены неким божественным знаком, возносившим их над собственной нищетой и нищетой окружающего.

Их союз, нет, сплав, значил для Игоря едва ли не больше, чем для нее, хотя он никогда об этом не говорил и не признался бы даже под пытками. Та их любовь совпала не случайно, знать, с расцветом его личности и таланта, когда все верили, что Курбатова ждут незаурядная судьба, великие свершения и слава. Для нее же их прошлое было прекрасно само по себе: она любила, и ее любили. Все было захватывающе интересно провинциальной студенточке — вдруг стать женой совсем взрослого и даже небезызвестного в научном мире человека, хозяйкой дома со множеством не дающихся рукам вещей. Упоительно было ходить в походы — пешком и на байдарках, лазать по горам, ночевать в палатке, заводить легкие дорожные знакомства, ощутить в своем

теле новую жизнь, стать матерью, кормить свое дитя и каждую ночь тянуться к мужу. Это осталось в крови и плоти, осталось вопреки всему, навсегда привязало к отягощенному, мрачному и неверному человеку.

И все-таки она и сейчас часто чувствовала себя счастливой. Вернее сказать, как только болезни отступали от детей и отгорало очередное увлечение мужа, она сразу становилась счастливой. У нее был врожденный талант радости, которая шла к ней от всего: хороших книг, музыки, ясного дня, от людей, особенно от людей, если был на них хоть малый свет, от спектаклей и фильмов не вовсе серых, от чьей-нибудь случайной улыбки в метро или переполненном рейсовом автобусе — они жили за городом, — от цветов, белок, пополznей, от первой весенней бабочки и последней паутинки в осеннем горьком воздухе. И, наверное, это ее свойство привязывало Игоря к семейному очагу. Можно жить отраженной радостью тому, кто сам утратил или почти утратил способность к чистой и бескорыстной радости. Дети, которых он по-своему любил, хотя никогда ими не занимался, не могли бы удержать его от разрушительных поступков, диктуемых страстью, одурманенностью сиюминутным. Потом, с остудью, пришли бы раскаяние, мучительное сожаление о содеянном, тоска и боль, отвращение к себе, но все это потом, когда уже поздно, а удерживало Игоря от непоправимого то мощное бессознательное веление, которое называется инстинктом самосохранения: в трудном для него мире спасение было в радостной улыбке на круглом лице жены.

А вообще-то при всей сложности и запутанности своей жизни Курбатовы считались счастливой парой, им многие завидовали, и, наверное, в том был резон, раз они нужны друг другу и всегда останутся нужны… И вот эта счастливая пара встретилась на поросшем ракитником островке с другой счастливой парой, и пробежал ток, создалось электрическое поле, в котором так сильно напряжение собственной и чужой жизни. Нагие боги взволновали пришельцев — персть земную — и, догадавшись о том, сами расположились к ним. Но их тяга была другого рода и свойства. Загорелые, рослые, безукоризненно сложенные, островитяне ошеломляли своим физическим совершенством, помноженным на великолепное бесстыдство. Ольгу занимало, какое впечатление производят они с Игорем на Иванцовых. Игорь, чуть выше среднего роста, мускулистый, хотя давно забросил спорт и даже зарядки не делал, с головы до ступней заросший буреющей шерстью, с жестким скуластым лицом и холодными синими глазами, выглядел достаточно убедительно: матерый мужик, знающий, что почем в жизни. Его смута, неуверенность,

желчное недовольство собой были известны только жене, окружающим он казался сильным, очень наполненным, но не растрачивающим себя человеком, что вызывало невольное уважение, особенно у женщин. И новые знакомцы, люди свободные, раскованные, чтобы не сказать разнузданные, хоть и называли его по имени, все же, обращаясь к нему, окрашивали интонацию чуть приметной почтительностью, то ли осторожностью. Возрастное старшинство Игоря тут было ни при чем — давление личности. Маленькую, полноватую Ольгу с круглым, немного кукольным лицом и водянисто-серыми глазами, пристальная серьезность которых замечалась далеко не всеми и не всегда сразу, они снисходительно приняли за «добрую бабу». Это огорчало: Кирилл Иванцов затронул в ней какие-то скрытые, неизвестные ей самой резервы личности. Впрочем, она вскоре поняла, что эти двое так упоены, так поглощены друг другом, что остальные люди для них — лишь более или менее живописные фигуры, оживляющие фон их любви.

Ольга, решившая, что Иванцовы вместе со студенческой скамьи, удивлялась свежести их чувства. Но оказалось, что они женаты всего второй год, а до этого каждый прошел через неудачный брак, и у Жанны была дочка, оставшаяся с отцом. «Как же вы ее уступили?» — поразилась Ольга. Жанна пожала скульптурными плечами: «А что было делать? Девочка большая, сама выбрала. Она любила отца, а Кирилла сразу возненавидела». Прямота Жанны нравилась, но, похоже, она была не слишком огорчена решением дочери. «Мы не угадали друг друга в институте, — заметил Кирилл. — И крепко поплатились». То была единственная серьезная фраза, произнесенная им за все время. Он принадлежал к числу людей, не дающих заглянуть в себя, и потому в разговоре отделывался шутками, прибаутками, расхожими словечками, междометиями и смехом. А смеялся он хорошо, белозубо, и оттого этот слишком частый и беспричинный смех не раздражал. На вопрос, что он строит, Кирилл ответил радостно: «Всё больше куры», — а пойманный на плагиате, защитился развеселым оскалом. «Ну а что бы вы хотели строить?» — допытывалась Ольга. «Большие, большие и красивые, красивые дома». Ничего иного Ольга не могла добиться при всем своем умении раскрывать человека.

В отличие от мужа красивая Жанна была даже чрезмерно обстоятельна в речах и твердо уверена в незыблемой истинности своего мнения; соображений собеседника, а тем паче возражений она просто не слышала. Говорила Жанна звучным, хорошо поставленным голосом, но лицо оставалось странно неподвижным. Кириллу, похоже, нравился апломб жены, хотя в

глазах его порой мелькала мягкая усмешка. Жанна рассуждала о каких-то неизвестных Курбатовым ленинградцах с таким видом, словно это мировые знаменитости, которых обязан знать каждый мало-мальски образованный человек. Круг, в котором вращалась Жанна, казался ей чрезвычайно значительным, единственно заслуживающим внимания. В исходе вечера Ольга почувствовала, что Игоря утомила ее манера и вспыхнувший в нем было огонек пригас.

Но потом Кирилл принес гитару, и они стали петь вдвоем и пели замечательно, особенно Жанна, чей грудной голос, освободившись от наставительной жесткости, брал за сердце. И песни у них были какие-то странные и умные. Где выкопали они эти городские романсы конца прошлого века, чью мещанскую сентиментальность щепотка печальной иронии обращала в вечную боль мира, и никогда не слышанные Ольгой песни первых революционных лет с наивным и щемящим героизмом, и какие-то совсем новые грустно-смешные песенки московского музыкального содружества двух физиков с биологичкой, напоминающие странные гальярды и ричеркары, но с оттенком современного безумия.

Для полного счастья Ольге не хватало лишь разговора «о боге», как насмешливо называл Игорь разглагольствования о причастности к мировому духу и прочие отвлеченности. Но с «мировым духом» в этой компании обстояло неважно: Игорь категорически отвергал все «высокие материи», Жанна, похоже, не подозревала о наличии таковых, сотворив себе на удивление цельное мировоззрение из земных забот и радостей. Кирилл, который, возможно, и был способен заглянуть за внешнюю оболочку вещей и явлений, бдительно оберегал свой внутренний мир, гася всякий серьезный разговор на дальних подступах. Тут он был на редкость бдителен. Ольга, вечная дилетантка, к числу своих привязанностей относила и старую ленинградскую архитектуру, ей захотелось узнать, когда усталые певцы смолкли, как относится Кирилл к итальянским зодчим, привившим свое искусство столице северного государства. Она спросила о Росси. «Очень, очень гениально! — засмеялся Кирилл. — Но ведь не Палладио?» — «А Растрелли?» — «Очень, очень гениально, но ведь не Альберта?» — «Значит, вы не считаете их?..» — «Стоп! — прервал Кирилл. — Вы требуете от меня утверждений, а утверждения погубили Трою». — «Почему?» — спросила она обескураженно. «Не знаю. Так считает Жироду, а уж он зря не скажет». Она слышала о Жане Жироду, читала о нем у Моруа, называвшего его «всегда и во всем первым», но ни романов его, ни сборника рассказов, ни пьес, переведенных на русский язык,

ей достать не удалось. Она пыталась расспросить Кирилла об этом французском писателе, но услышала в ответ лишь шутливо-уклончивое: «До того изысканный, до того изысканный! Хушь плачь!» — и поняла, что продолжать разговор бессмысленно. Ему это неинтересно, ему интересно вот так играть, выскальзывая из пальцев прилипчивых людей. Возможно, он бы сменил тон, если б она ему хоть немного нравилась, но он так захвачен Жанной! А полноватенькая приставучая коротышка, являющая совершенную противоположность его прекрасно удлиненной жене, должна вызывать у него отвращение. Ну, нет, оспорила Ольга сама себя, если уж он кого и способен заметить сейчас, так лишь приставучую коротышку — хотя бы по закону контрастов. Но закон на этот раз не сработал.

И тут она увидела пробудившиеся, заблестевшие глаза угрюмого нелюдимца Игоря — грудной, тоскующий, неподвластный волевому императиву прирожденного администратора голос Жанны вновь притянул его к ней. «Странно, я ревную, — подумала Ольга, — хотя сейчас тот редкий случай, когда мне ничего не грозит. Завтра мы уедем и никогда больше не увидим этих притягательных, но неспособных к сближению людей. Да я и не имею права ревновать, ведь мне нравится Кирилл, несмотря на все его ерничание и душевную скупость. Я никогда не изменяла Игорю, но, честное слово, если б у меня хватило смелости, я бы изменила ему с Кириллом. В моей любви с Игорем было все, кроме упоения, страсти, то бедное наслаждение, какое я получала, да и сейчас изредка получаю от него, не могло породить Ромео и Джульетту, Антонин и Клеопатру и даже застойных яростных скандалов наших соседей, неутомимо ревнующих друг друга. Я люблю Игоря, предана ему как собака и, если понадобится, отдам за него жизнь, но я хотела бы хоть раз потерять голову, застонать, закричать и оказаться на небе… Может, Игорь потому и отдалился от меня, что не получает ответа? Мужчине унизительно, если он не в силах разбудить женщину. Крепко же мне не повезло, что впервые понравившийся человек так упоен собственной женой. Или, напротив, повезло. Это Игорь умеет, отпылав, возвращаться на круги своя, а у меня бы все полетело под откос. Господи, а как же дети?..»

Вдруг, внутренне спохватившись, она подивилась дикой стремительности этих беспочвенных мыслей. Ни с того ни с сего она проделала огромный путь — предала мужа, разрушила семью, и все это в считанные мгновения. Наверное, и в окружающих людях происходит нечто подобное и кто-то, в свою очередь, только не Кирилл, уводил ее от мужа, страстно любил,

потом бросал, а может, и убивал, — кто его знает? Боже, как опасна жизнь при такой быстроте и силе человеческого воображения и разболтанности нравственных тормозов! Сколько раз была она влюблена, брошена, растоптана, убита?..

А вдруг ни разу? Это еще страшнее. Она слишком незначительна и малопривлекательна, к тому же прочная репутация безнадежно верной жены губит на корню всякую мужскую инициативу. Ей стало жаль этих не состоявшихся в чьем-то воображении драм, немного обидно и от глупой обиды — смешно. Она рассмеялась. Кирилл поглядел на нее впервые с интересом и не спросил, чему она смеется, как сделал бы всякий нормальный человек, а сам засмеялся. И словно искорка промелькнула между ними.

Но не из этой искры, а от зажигалки Игоря возгорелся великолепный костер, умело и бережно сложенный на песчаной косице. Огонь сразу отогнал едучих комаров и безвредную, но утомительную мошкару, облеплявшую лицо, руки, ноги, проникавшую за пазуху и пытавшуюся внедриться в глаза. Комара надо прихлопнуть, чтобы прекратить его маленькую и злую поневоле жизнь, а этих мошек достаточно было коснуться — так непрочно их существование. Смолистый дым разом отогнал всю летучую нечисть, и почему-то Ольга только сейчас заметила, что Кирилл и Жанна оставались в своих «бикини».

— Вы сумасшедшие!..

— Да ведь тепло.

— А гнус? — сказала она по-таежному.

— Комары нас не кусают, — заявила Жанна. — А мошки — бог с ними.

— Правда не кусают? — Ольге почудилось в этом что-то значительное.

— Еще как кусают! — успокоил ее Кирилл. — Мы научились не обращать внимания. Это очень упрощает жизнь на воде и в лесу.

— Вы, часом, не нудисты? — поинтересовался Игорь.

— Мы нуднисты, — засмеялся Кирилл. — Все время издеваемся над собой: делаем зарядку, стоим на голове, купаемся в проруби, два раза в год голодаем и собираемся перейти на сыроедение…

— Не пьем, — подсказала Жанна.

— Но ты куришь. — И Кирилл сразу омрачился.

— Хорошо, что напомнил, — сказала Жанна. — Я не курила целую вечность. — Она достала из невидимого кармашка сигарету, подкатила к себе уголек и закурила. — Я могу отказаться от чего угодно, но пять сигарет в день обязана

выкурить. Иначе не стоит жить.

— А мы с Ольгой не курим, — сообщил Игорь, — не делаем зарядки, не стоим на голове, не купаемся в проруби и не голодаем. Зато не прочь выпить. Ольга, правда, дуреет с трех рюмок, а меня хрен свалишь!..

— Не выношу подобного тона, — ледяным голосом сказала Жанна.

— Я говорю как говорю, — ответно обозлился Игорь. — И менять свою речь ради голой дурехи не намерен!

На миг Ольге представилось, что тут и погаснет зажженный ими костер, но Жанна почему-то не обиделась и показала Игорю язык, а Кирилл расхохотался — несколько натужно. «Да он токует, мой муженек! — осенило Ольгу. — Вот оно что!.. Грубость, резкость, прямота — это впечатляет. И Жанна клюнула… Как-то не согласуется это с образом беззаветной влюбленности, который у меня сложился. Но что можно понять в людях при таком летучем знакомстве? А понять хочется — зацепило душу…»

Лежа ночью в палатке, уже в полусне Ольга вдруг сшиблась с подавшимся к ней мужем и догадалась о своем встречном движении. Они соединились с давно забытым рвением и тайным стыдом, ибо каждый понимал и про самого себя в про другого, откуда родился этот порыв.

Казалось, обе пары настолько сблизились за минувший день, что уже не расстанутся. Ольга, но всяком случае, была уверена, что продолжать путешествие они будут вместе. Но Иванцовы не собирались оставлять этот островок, считая его чуть ли не своей собственностью, и надеялись продержаться здесь «до последней галеты», как по-морскому выразился Кирилл. Более того, Курбатовым стало ясно, что молодоженам вовсе не хочется делить свое уединение с кем бы то ни было. При всей симпатии, какой они прониклись к зашельцам, а на этот счет не было сомнений ни у Ольги, ни у Игоря, редко сходившихся во мнениях, Иванцовым не терпелось вернуть свою тишину и одиночество, насыщенное друг другом. Им нравилось разгуливать и купаться голыми, целоваться сколько душе угодно, вести дикарскую жизнь на прогретом солнцем островке, заросшем розовым иван-чаем и голубым шалфеем, и где в ракитнике у них было оборудовано уютное логовище. Но обе пары вопреки сиюминутным соображениям были убеждены, что случайная, странная встреча будет иметь продолжение. Их не смущало, что они живут в разных городах, а ведь даже в одном городе мудрено свидеться и все страстные летние дружбы, завязывающиеся «на всю жизнь», не выдерживают расторгающей силы привычного быта, поразительно

косного и плотного, неспособного найти в себе места для чего-то нового…

У них все произошло несколько иначе. Они помнили друг о друге: Курбатовых по возвращении домой ждало смешное, с рисунками письмо Кирилла, где он и Жанна были изображены в виде голых дикарей то на деревьях, то на охоте с копьями и томагавками, то на плоту с острогой, нацеленной в водную глубь, то у костра. Текст под рисунками был менее остроумен, хотя в нем чувствовалась старательность напрягающейся над непривычным мысли, и Ольга решила, что тут потрудилась Жанна. Но том трогательнее выглядело это усилие повеселить далеких людей. С тех пор на все праздники от Иванцовых приходили поздравительные письма, всегда с рисунками, особенно затейливыми на Новый год. Курбатовы отвечали открытками, но иногда Ольга размахивалась на большое письмо, которое адресовала Жанне в тайной надежде, что той будет недосуг читать и рассеянно, но диагонали его проглядит Кирилл и, может, раз-иной усмехнется над ее бытовыми наблюдениями.

Эти письма открыли Ольге возможности, о каких она не подозревала. Оказывается, ежедневная жизнь предстает в новом, «одрагоцененном» качестве, если о ней писать. Все мелкие, привычные события дня обретают иной смысл и странную значительность, когда их укладываешь в слова, а слова предаешь бумаге. Писать часто Иванцовым было неловко, она стала адресовать письма самой себе, а потом, отбросив искусственную эпистолярную форму, завела «записок толстую тетрадь» в блестящей и праздничной черной клеенчатой обложке.

Каждый год Иванцовы собирались приехать в Москву и, случалось, приезжали — то Жанна, то Кирилл; вместе ни разу, но были так завалены делами, что добраться до Курбатовых, обитавших в тридцати километрах от города, им не удавалось. С приближением лета Иванцовы неизменно предлагали провести отпуск вместе. Курбатовы охотно соглашались. Велись долгие телефонные переговоры, строились планы, но всякий раз дело срывалось — по вине ленинградцев. У Курбатовых жизнь была более упорядоченная, Кирилл же, связанный со стройками, и Жанна — с частыми заграничными командировками, никак не могли спланировать свой отпуск. Так продолжалось года три-четыре, а потом, словно смирившись с неизбежным, они перестали писать друг другу, обмениваться праздничными поздравлениями и прорываться сквозь пригородный коммутатор. Все связи оборвались, хотя память осталась…

А когда уже и память померкла, нежданно-негаданно нагрянули Иванцовы. Не было ни письма, ни звонка, ни

телеграммы, просто два больших, дородных, красивых человека — мужчина и женщина, — оба сплошь в джинсовой ткани, вышли из забрызганной грязью «Волги»: недавно прошел короткий, но хлесткий июльский ливень, расквасивший землю, — и направились к крыльцу Курбатовых, мимо босоногой Ольги, мывшей машину. Ольга сразу узнала их, хотя они не просто изменились, а стали совсем другими людьми, задохнулась от странной боли, сжавшей грудь сожалением, печалью и чем-то темно-тяжким, что хотелось вытолкнуть из себя. Ей самой непонятна была острота ее отзыва на появление этих чужих, давно канувших в прошлое людей. Они ее не заметили или не признали — тем лучше. Игорь дома, он откроет Иванцовым, примет на себя неловкость и смуту нечаемой встречи, поставит на стол вино и яблоки, настолько его хозяйственных способностей хватит, а она забежит к подруге, наденет чулки и туфли, благо у них один размер, причешется и подмажется. Ольга выскочила за дверь по-деревенски, в затрапезе; хотя их научный поселок пользовался статусом города, быт и правы отличались сельской простотой.

Приводя себя в порядок у туалетного зеркала подруги, Ольга старалась представить, какое впечатление произведет она на Иванцовых. Как будто она мало изменилась, да ведь за собой не замечаешь. Если Иванцовы, жившие куда легче и проще, как всякие бездетные люди, не сохранили молодости, стали другими — у них сменилась физиология: задержавшаяся поджарая юность уступила место тяжеловатой мясной зрелости; особенно велика перемена в Жанне — эта дородная, широкобедрая, грудастая матрона ничем не напоминала стройную, удлиненную, как лунная тень, островитянку, да и сухопарый Кирилл смахивал теперь на штангиста тяжелого веса, так во что же должна была превратиться Ольга, пережившая мучительнейшую пору в своей жизни? Ее дочь Лена была жертвой акселерации. Она болезненно стыдилась своего «безобразного» роста и не подозревала о своей редкой, какой-то скандинавской прелести: в вышине подснежниками синели ее глаза из-под легких, как кудель, прядей зло начесанных на лоб льняных волос. Лена считала, что у такого монстра, как она, не может быть ни любви, ни полноценной женской жизни, и в семнадцать лет бросила себя, как кость, какому-то подонку, забеременела, тайно сделала аборт, а потом, придумав себе дивного неродившегося эльфа, зажалела его смертно и покатилась под откос. Того парня она прогнала, но пришли другие — ничуть не лучше, появилось вино, много вина, она неминуемо погибла бы, если б мать не поднялась на спасение. На полтора года было заброшено все: муж, сын,

отданный под надзор бабушке, друзья, книги, театры, все, что Ольга любила, чему отдавала упоенно и радостно свободное душевное время; единственной опорой — Игорь грубо и вместе жалко устранился — была тетрадь в черной клеенчатой обложке, которой она поверяла свои муки. Ольга перестала быть матерью Лены, стала ее подругой, почти такой же беспутной — пила и курила в компании прыщавых хлыщей, пытавшихся к ней приставать. Ночи напролет выслушивала горячечные, бредовые, страшные признания своего несчастного детеныша, исходившего пьяными слезами из-под льняном кудели, и медленно, осмотрительно, незаметно и неуклонно, осененная какой-то вовсе не присущей ей мудростью (наверное, то был просто материнский инстинкт, поднявшийся до проникающего знания), шаг за шагом вытащила свою девочку из болота, вернула к жизни, доверию, радости, надеждам. Кошмар черных дней рассеялся, как последний дымок тех скверных сигареток, которыми отравляли Лену прыщавые недоноски. Лена поступила в институт, у нее появился кавалер, еще более рослый мальчик-баскетболист с огромными ступнями и кистями, тон кои шеей и детски миловидным лицом с глупыми усиками. Его поразительная наивность помогла Лене вернуться в свой возраст. К тому же он пристрастил ее к спорту. Те, что было ее вечным проклятием, обернулось залогом спортивных достижений. Теперь она не без зависти говорила о какой-то Ульяне, вымахавшей за два метра и ставшей незаменимым центровым…

Спасая дочь, она упустила сына и мужа. Впрочем, с сыном не оказалось хлопот. Этот тринадцатилетний философ — он запоем читал Платона, а в школе учился на одни тройки — опрометью кинулся в освободившиеся материнские руки, жестоко презрев бабушкину самоотверженную заботу… Ему нужна была только мама, и никто не мог ее заменить. Ольга не догадывалась, что хмурый книжник так оголтело ее любит, теперь она могла платить ему тем же. Что же касается мужа, то вряд ли он принадлежал ей и до несчастья с дочерью. Постоянным было лишь его материальное присутствие в ее жизненном пространстве; в душевном смысле он существовал дискретно, слишком часто исчезая в своих безоглядных, хотя и краткосрочных влюбленностях. И все же она почувствовала его молчаливую стыдящуюся благодарность за дочь и многое ему за это простила.

История с дочерью имела два разнозначных последствия: менее значительное — она стала красить свои густые темные волосы, поседевшие прядями; сплошная седина — красиво, особенно при моложавом лице, но она стала пегой, как

Холстомер, а это смешно. Красилась она из презрения к своей бабской слабости всякий раз в другой цвет и сама чувствовала, как это отзывается если не на характере, то на манере поведения. Блондинкой она становилась нежной и легкой, ее ткнуло к людям; шатенкой обретала какую-то томность, загадочность, вовсе ей не свойственные; брюнеткой была решительна, жестковата и не стеснялась говорить людям правду в лицо, вернее, полуправду — разве всю правду кому скажет даже брюнетка? — рыжей она сама себя боялась, столько появлялось в ней отчаянности и своеволия. Впрочем, все эти превращении были скорое в самоощущении, в готовности воплотить каждую ипостась, нежели в действительном выявлении личности, стиснутой семьей, работой, трудным бытом и — буквально — транспортной давильной — на работу и обратно. Настоявшись в очередях, натерпевшись в переполненном вагоне метро, затем в рейсовом автобусе, где о тебя гадко трутся слюнявые обормоты, намаявшись у плиты и корыта, ты уже не станешь ни томной, ни дерзкой, ни отчаянной, ни опасной. Лишь в отдушинах праздников, отгулов или благословенных дней инфекционного гриппа удавалось ей если не воплотить, то хотя бы намекнуть окружающим на идею избранной масти.

А второе: ее записи в черной клеенчатой тетради перестали быть «дневником сумасшедшей домохозяйки», обрели литературность. Она вдруг открыла, что форма наделяет пережитое прочной жизнью. Ты овладеваешь материалом, лишь когда находишь ему точную форму, аморфность слаба и нежизнестойка, как островная мошкара. Она нередко старалась придать своим записям вид маленьких новелл, завершенных в самих себе, стала работать над фразой, изводить бумагу на черновики. Она не помышляла о напечатании этих набросков, но как-то допускала, что их прочтут. И не то чтобы родные после ее смерти, обнаружив в недрах письменного стола связку толстых клеенчатых тетрадей, а совсем посторонние люди при ее жизни.

Она никогда не думала всерьез о том, чтобы выйти на суд людской, и гнала прочь подобные мысли, если уж слишком наседали, но подспудно это жило в ней, ибо есть в человеке тот подвал, куда он вроде бы не заглядывает, а там-то и таится самое главное…

И, втирая в кожу крем перед туалетным зеркалом, Ольга думала, чем пополнится ее тетрадь после неожиданного приезда Иванцовых, думала о своем лице, вроде бы сохранившем четкий овал, о своей шее, еще округлой, и с раздражением понимала, что Иванцовы без особых усилий разглядят все пятна и следы времени, оставленные на ее плоти, жалела, что их приезд застал

ее в «шатеновый» период, куда проще было встретить их брюнеткой или того лучше — рыжей, и удивлялась своему волнению.

Радостные возгласы, приветствия, она зачем-то поцеловалась с Жанной, шутки по поводу взаимного неузнавания (итак, она тоже неузнаваема), пролитое на скатерть в спешке — скорее чокнуться! — красное вино, громкие упреки не поймешь в чем: «Это все вы!», «Нет, вы!» — словом, встреча по высшему классу старой дружбы, а значит, с бескорыстной фальшью: ведь дружба не успела начаться. Но что-то все-таки началось, иначе почему Иванцовы здесь? Почему они приехали через столько лет к людям, которых видели меньше суток, с которыми обменивались лишь телеграммами и открытками (Ольгины послания не в счет, на них не бывало и не ожидалось ответа) да короткими, неслышными, полубредовыми телефонными разговорами? И почему они приняты так, словно их все время ждали? Значит, действительно что-то зацепилось тогда?.. Или что-то кончилось потом?..

Ольга с наигранным умилением, на деле же цепко и остро приглядывалась к гостям. Тот несколько загадочный образ, в котором удерживал ее нынешний цвет волос, помогал ее наблюдательности, исключая внешнюю активность, суету, организацию быта. Игорь безотчетно и безропотно подчинился этой перемене, требовавшей от него большего включения в хозяйственные заботы, и сейчас неуклюже, но старательно обслуживал гостей, предоставив жене свободу.

Ее первое впечатление, что нынешние Иванцовы не имеют ничего общего с прежними, укрепилось. Прежде всего они начали пить. Потом перешли в другой вес, в буквальном и фигуральном смысле. Какие они большие, могутные, иначе не скажешь, здесь дышала сама древняя богатырская Русь. У Жанны в наплечной кожаной суме (суме переметной, а не дамской сумочке) свободно мог бы поместиться богатырь средних габаритов. Кирилл?.. О нем очень точно сказал Игорь, подметивший пытливый взгляд жены: «Верно, он похож на конную статую?» Лучше не придумаешь. При всей своей отяжеленности, даже живот наметился, Кирилл остался красивым человеком, хотя красота его стала другой: огромная, совершенной формы голова, прекрасной лепки просторное лицо с широко расставленными серыми чуть навыкате глазами, большой, четко очерченный спокойный рот. Он освободился от своей ернической манеры дыбиться невесть с чего, сыпать шутками и присказками, всякими защитными фразочками, вроде «большие, большие и красивые, красивые дома», которые якобы собирался строить. Вспомнив об этом,

Ольга спросила, удалось ли ему осуществить намерение. Он удивился ее вопросу: верно, не понял, что это цитата из него самого, а, получив разъяснение, усмехнулся и сказал, что «больших, больших домов» он построил во множество, а вот «красивых, красивых»… и развел руками. Ольге почудилось, что он не просто шутит, веселый ответ скрывал какое-то разочарование. Жанна с нежданной тонкостью поняла все это и стала превозносить мужа. Кирилл застраивает целые районы, он в Ленинграде нарасхват, получил Государственную премию… «Уймись, — полуобернувшись к ней, бросил Кирилл. — Премию мы получили целой шарагой». Они заспорили, а Ольга подумала, что плохо дело, когда достоинства творца надо подтверждать наградами, премиями и прочими вещественными знаками признания. Впрочем, это справедливо не только для творцов. Она не станет хвастаться, что Игорь стал профессором.

Да, свершилось уже нечаемое. Игорь перешел на преподавательскую работу, получил кафедру, а если всерьез, то распрощался с надеждой сказать свое слово в науке. Но, видимо, он так устал гоняться за призраком великого свершения, так был измотан неудачами, безнадежной застылостью своей судьбы, что эфемерные лавры расслабили в нем какой-то мучительный сцеп, сняли судорогу неудовлетворенного честолюбия, оскорбленной гордости, и он принял подачку куда охотнее, чем можно было от него ждать. Он не обрел счастья, для этого в нем должна была бы смениться кровь, но ему стало легче. Душа многослойна, и живет человек обычно верхними слоями; особенно хорошо защищенные люди умеют вообще не помнить о наличии глубинных слоев, Игорь к их числу не принадлежал, он затаил горький вздох, но было бы куда хуже, если б все оставалось по-прежнему. Игорь и влюблялся теперь реже, словно нехотя, чтобы не потерять форму. Значит, он достиг какого-то душевного равновесия. Но Ольге казалось порой, что он жалеет о своей проклятой лаборатории, о сумасшедших надеждах, сменяемых отчаянием, о фанатичных поисках и вере, вере… Нет, он не обманывался на тот счет, что за внешним успехом — капитуляция…

А вот у Жанны — полный порядок. Она достигла вершины в своей области. У нее был большой тугой зад, крепкие икры, распирающая кофточку грудь, яркое до грубости лицо, она еще в большей мере, нежели Кирилл, изжила свой юный образ, но то, что получилось, наверное, нравилось мужчинам. От нее исходил какой-то сухой жар, и глаза ее ярко блестели. Ольге она не нравилась. Но, может, это обычная зависть малых росточком людей к великанам? Жанны было на редкость много не только телесно. Ольга редко встречала столь мощно озвученного

человека. Она говорила неумолчно — уверенным, громким, чуть хриповатым от табака голосом, басовито смеялась, кашляла, щелкала сумкой, хрустела чем-то в одежде и создавала вокруг себя кинетическую бурю: хваталась то за сигарет, то зам ронсонскую зажигалку, роняла ее, подбирала, шаря рукой по полу, то за пепельницу, хотя сбрасывала пепел или в тарелку, или на скатерть, или себе на юбку, собирала этот пепел длинным ногтем и опять рассыпала, часто прикладывалась к бокалу, то и дело поправляла красивые, естественного орехового цвета волосы, рылась, гремя и звеня, в суме переметной и ничего оттуда не доставала, хлопала в ладоши при каждой удачной фразе — своей или чужой. Ей было совершенно безразлично о чем говорить, с поразительной легкостью она перескакивала с предмета на предмет и обо всем все знала.

Ольга украдкой поглядывала на Кирилла. Вид у того был отсутствующий. Разглагольствования жены шли мимо его слуха, а он, откинувшись в удобном мягком кресле, потягивал вино, отдыхая после долгой дороги. И, наверное, был доволен, что велеречие Жанны избавляет его от необходимости участвовать в разговоре. Подобный негласный сговор облегчает ход семейной телеги. У них с Игорем так не получалось. Он мог ее обрезать при посторонних, если его что-то в ней раздражало, она была бережнее к больному мужескому самолюбию, но тоже при случае давала сдачи и не всегда приходила на помощь. Наверное, им не хватало любви, осенявшей Иванцовых уже столько лет. И тут в ней шевельнулось сомнение: так ли уж беззаветно влюблены друг в друга Иванцовы, как в далекие островные дни? Жанна берет игру на себя, что вполне устраивает Кирилла, она производит впечатление человека то ли заленившегося, то ли подутратившего азарт жизни. Возможно, он не испытывает восторга от ее разглагольствований, но так проще и удобнее. Не чувствовалось в них прежней поглощенности друг другом, может, этим и объясняется нежданный приезд? На необитаемый остров их явно не тянет. Впрочем, не стоит спешить с выводами.

Иванцовы мнились с диковатым предложением: ехать вместе, прямо сейчас, машиной, на юг. Почему же было не написать об атом заранее, не позвонить? «Этот метод скомпрометирован, — сказала Жанна. — Сколько раз мы так делали, и в результате увиделись через восемь лет». И вдруг оказалось, что бредовая идея вполне осуществима. Игорь уже находился в отпуске, Ольга могла взять его хоть завтра, многоумный сын веселился в «Артеке», а Лена уезжала на спортивный сбор. Старую кошку Василису можно, как всегда, подсунуть соседям. Людям мешают не столько дела и заботы, сколько косность и боязнь нарушить

инерцию.

Когда уже все было обговорено и решено, возникла мысль изменить маршрут и вместо надоевшего перенаселенного юга махнуть на север. Курбатовы недавно приобрели вездеход «Нива», на котором Игорь собирался ездить на рыбалку. Он не был рыболовом, но в профессорской среде, к которой он теперь принадлежал, считалось обязательным иметь какое-то увлечение, связанное с природой. Приходилось выбирать между альпинизмом, скалолазанием, подводной охотой, просто охотой и рыбалкой. Игорь остановился на самом простом и наименее утомительном — рыбалке, ради этого он и взял вместо «Жигулей» «Ниву»: передние и задние ведущие — это звучало убедительно для любителей усложнять жизнь, Игорь сразу стал своим, хотя дальше экипировки дело пока не двинулось.

— Поехали на Север, — предложил Кирилл, — к старым великим монастырям, где роспись Феодосия, иконы Кушакова, а главное — тишина, безлюдье. И нет оголтелых южных толп, очередей в молочные и шашлычные и кишащих телами пляжей.

Что-то похожее на воодушевление проглянуло в тоне и повадке Кирилла. Игорь был равнодушен к монастырям, не интересовался церковной живописью, но еще больше не любил юга — из-за многолюдства. «А купаться там есть где?» — «Еще бы! Великолепные озера, прозрачные до самого дна, монахи знали, где селиться. Рыба сама ищет крючок, вот такие сазаны и караси! Я там часто бывал в студенческие годы». Ольга давно мечтала о Севере, знала там каждый монастырь, каждый храм и каждую старенькую деревянную церквушку, пощаженную огнем небесным и людским, но все по книгам. Она пришла в восторг, что, впрочем, мало затронуло присутствующих. Окончательное решение зависело, по-видимому, от Жанны. Та освежилась глотком вина, закурила новую сигарету, все это с крайне значительным видом, и заявила, что паломничество по северным святым местам давно ее привлекало, но старой их «Волге» не осилить проселков, особенно если зарядят дожди. А коли бог послал вездеход — передние и задние ведущие, — то и думать нечего. От радости Ольга захлопала в ладоши, на что никто не обратил внимания.

Ольгу обычно не слишком занимало, как относятся к ней люди, ей было важно собственное отношение, свой жадный к ним интерес. Чувство это неизмеримо возросло с появлением тетради в черной клеенчатой обложке. Но она не могла воспринимать Кирилла просто как знакомого или дорожного спутника, и его пренебрежение ее коробило. «Неужели все дело в том, что они люди нерядовых профессий, а я простая служащая? Но ведь

Жанна всего лишь администратор от искусства. Преуспевающий администратор, по какое нам с Игорем до этого дело? И все нее Игорь считается с ней, а Кирилл со мной нет. При этом Жанна нисколько не волнует Игоря. Разве так смотрел он на нее на острове? Сейчас у него взгляд вареного судака. И Жанна это чувствует и распускает хвост. Неужели ей нравится мой мрачнюга? Он привлекает женщин, но более молодых, наивных, неискушенных, он им безотчетно напоминает тех антигероев, о которых они не читали и которых не видели на экране, но чей манящий образ реет в воздухе. Но Жанна — тертый калач, впрочем, ум и ловкость администратора не имеют отношения к женской сути. Забалованная любовью Кирилла, она могла остаться недоразвитой в сфере чувства. К тому же в своем кругу она привыкла царить и сонный взгляд когда-то жадно распахнутых глаз ее задевает. Ладно, поживем — увидим. Мне здесь отводится роль собачьей души, верной, преданной, заранее на все согласной и радостно лижущей хозяйские руки. Вообще-то мне плевать на их дурацкое высокомерие, я действительно всему рада, с тех пор как выздоровела моя девочка и… с тех пор как у меня есть моя тетрадь», — последнее сказалось в ней через заминку, разозлившую Ольгу. «Почему я должна этого стесняться? Потому что я не просто веду дневник, а замахиваюсь на литературу. В дилетантстве есть что-то стыдное. Но так ли уж величествен профессионализм, если за ним нет бога? Чем ремесленник от науки или искусства лучше одаренного дилетанта? Тем, что он, как правило, точнее, тверже делает свое дело. А я даже не знаю, есть ли у меня хоть какие-то способности. Но я никому не навязываю своих писаний. Стоп!.. Я отдаю им время, которое должно принадлежать дому, семье, детям. О господи!.. Кто-нибудь еще задумывается над этим?.. Ладно, хватит ныть, надо собираться в дорогу. Ни от Игоря, ни от гостей не жди проку, а ведь двое из нашей компании — настоящее „кладбище для отбивных“ — откуда это?..»

* * *

…Через три дня погожим утром они ели тощие шашлыки на струганых деревянных палочках, запивая горячее, с дымком мясо бледно-розовым молдавским вином у стен Троице-Сергиевой лавры.

А затем долго слонялись по монастырскому подворью, приглядываясь к похожим на хлопья копоти старухам с обглоданными древними лицами и горящими глазами фанатичек, к калекам в креслах на колесах и самодельных тележках, иные перемещались вползь, отталкиваясь от земли деревянными утюгами, обезножевшие страдальцы пронесли веру в исцеление со дней Сергия Радонежского, к ражим молодцам-семинаристам, наводящим на мысль о бессмертном забулдыге Хоме Бруте и разудалым бурсакам, столь любимым русской словесностью, к чинным слушателям — или как их там? — духовной академии с бледными лицами в обрамлении жидких молодых бород и пытливым, исподлобья, взглядом; куда меньше привлекали их многажды виденные храмы, колокольни, трапезные, палаты. У скорбных могил Годуновых Игорь покинул компанию и пошел в машину читать «Графа Монте-Кристо». «Мне нравится, что ваш муж не притворяется любителем старины, — заметила Жанна. — Кажется, он вообще не играет ни в какие культурные игры». Уж не в Ольгу ли она метила, считая показным ее наивный энтузиазм? Но Ольга была искренна, в чем не собиралась убеждать Жанну, впрочем, поступаться в поездке чем-либо для себя интересным она тоже не намерена, пусть лучше Жанна подозревает ее в ломанье. «Да, он естествен, как природа, — сказала она о муже. — Правда, природу никто не обвинит в невоспитанности». — «Господь с нами, мне это и в голову не приходило, — впервые смешалась Жанна. — Мне очень нравится простота его поведения. Я сама такая же». — «Ну, значит, вы легко найдете общий язык». Ольга заметила, что Кирилл прислушивается к их разговору, как-то подозрительно щурясь. Похоже, ему доставило удовольствие, что Жанну сбили с толку…

Из тетради Ольги Курбатовой:

«…Мы уже четвертый день в пути. Я мало записываю, потому что негде уединиться. Я не люблю раскрывать свою тетрадь даже на глазах Игоря. Это все равно что раздеться при посторонних. Правда, большинство людей относится к этому с простотой богов Олимпа, не замечавших, драпируют ли легкие ткани их совершенные тела или сорваны шаловливым зефиром, а я так не

умею. Я до сих пор стесняюсь Игоря и ни за что не покажусь голой своей дочери. И дело не в том, что я стыжусь своего тела, я нормально сложена, не одрябла, у меня чистая кожа, но мои старомодные родители внушили мне в детстве несовременную стыдливость. И мне отчаянно стыдно записывать свои сокровенные мысли на глазах других, ощущение такое, будто я душевно обнажаюсь. А приткнуться негде, твое укромье сразу обнаруживают я с ехидцей: „Никак сочиняете!“ или что-нибудь столь же дурацкое. И почему об этом положено спрашивать с лукаво-усмешливым видом, будто ребенка, изображающего курильщика с помощью щепки или карандаша: „Да ты никак дымишь, малыш?“ То ли так бессознательно выражается неверие в твои возможности, то ли замаскированное презрение к бездарной любительщине? У Чехова есть рассказ про сельского сочинителя, замученного насмешками и кличкой „писатель“. Я уже не раз слышала и от Жанны и от Кирилла: „Наша сочинительница“. Нет, я ничего не сочиняю, записываю как есть. Вернее, как вижу. Стараюсь понять себя и других, все, что происходит с нами, хотя с нами ровным счетом ничего не происходит. Но вот я раскрываю тетрадку, беру карандаш, и пусто прожитый день заполняется; на самом деле все время что-то происходит, только мы не задерживаемся на „мелочах“, ничему не придаем значения, торопимся жить дальше. Единственный способ дать происходящему вокруг тебя значение и вес — это фиксировать его на бумаге. Но не так, как я делала все предыдущие дни, — на скорую руку, чтобы, упаси боже, никто не застал меня за стыдным занятием. Ведь не думала же я о том, как выгляжу, когда рожала, мне надо было дать жизнь ребенку, помочь ему появиться на свет, ничего в нем не повредив, я была сосредоточена на своем важном труде, так и здесь нечего стесняться, надо тужиться и не думать о том, какое впечатление ты производишь на окружающих…

Посмотрела я свои записи — до чего же они бедные и формальные! А ведь мы проехали Загорск, Переяславль, Ростов, Борисоглебское — мои любимые места. А пишу я о них так, будто собираю материалы для туристской брошюрки, голые факты, пустые сведения. Кстати, для этого можно было бы и не ехать. Жанна знает все о каждом здании, церкви, колокольне. У нее поразительная механическая память, и она запомнила все, чему ее учили на лекциях по истории отечественной архитектуры. Правда, я заметила у нее странную особенность: она не узнает здания, даже целые ансамбли; так она не узнала Горицкий монастырь в Переяславле, но стоило назвать его, как она буквально засыпала нас сведениями об этом памятнике. То же

самое произошло в Ростове и в Борисоглебском. Может, потому и не вышло из нее зодчего, что ее глаз не отзывается на форму и образ строений? Зачем же пошла она в архитектурный? А зачем я пошла в финансовый? В школе мне легче всего давалась математика, возможно, Жанна была первой по черчению. В отличие от нее Кирилл сразу узнает любой памятник, но ни дат и ничего прочего, сопутствующего не помнит. И тут Жанна берет свое. О любой церкви она может сказать, когда и кем построена, по какому поводу, когда освящена, когда и как перестраивалась, какие хранит культовые ценности. Раньше я бы с ума сошла от радости, что мне все так замечательно объясняют, а сейчас притворяюсь, будто в восторге и упоении. Конечно, мне приятно видеть кремли, и храмы, и золотые купола, но жизнь, творящаяся в железной коробочке нашей машины и на привалах, интереснее „седой старины“ и плоских грустных пространств, приютивших ее в себе. Храмы, колокольни, звонницы, трапезные, палаты, алтари, иконостасы, царские врата, простите мне мою холодность, я еще вернусь к вам, а пока мне хочется разобраться в моих спутниках, прежде всего, конечно, в Иванцовых. Игоря на время исключаю, хотя и он любопытен в сложившихся обстоятельствах. Об Иванцовых, если просто и коротко: разомкнулось объятие. Но как, почему и кто первый убрал руки, не знаю. Скорей всего резкого разрыва не было, время исподволь развело сцеп. Но не ошибаюсь ли я? Юный пыл нельзя сохранять вечно. Страсть уступает место другой любви: спокойной, верной, надежной и по-своему не менее сильной, чем в головокружении начала. Мне хочется уверить себя, что у них что-то разладилось. Но я исхожу из внешнего, поверхностного впечатления. Конечно, сейчас они не укроются на острове и не выйдут обнаженными навстречу непрошеным гостям, чтобы изгнать их из своего рая. Им прежнее уединение не только не нужно, но, пожалуй, опасно, поскольку обнаружится возникшая между ними пустота. Они редко обращаются друг к другу: все переговорено, и каждый заранее знает, что скажет другой. Кирилл, правда, подсказывает Жанне названия церквей и делает это деликатно, как бы между прочим, щадя ее самолюбие, чего никак не скажешь о моем профессоре. Конечно, Игорь хам, да и я не прежняя овечка, но разве мы ничего не значим друг для друга? Да он загнется без меня, прежде чем научится жарить себе яичницу. Впрочем, погибнет он не от голода, а от неконтактности, полного неумения строить отношения с людьми. Я веду его сквозь жизнь на невидимых помочах, как малыша, учащегося ходить. Сам он не сделал мне, в сущности, ничего хорошего, кроме детей, но и этого более чем достаточно, чтобы я прощала ему жалкие грехи. А честно — и мне без него стало бы куда труднее. Своей

слабостью, неприспособленностью он будит во мне какие-то скрытые силы, делает смелее и выносливей. И не только это. Он необходим мне со своим вечно дурным настроением, болезнями и странной гордостью. Он никогда ни перед кем не заискивал, не искал окольных путей, нужных людей, покровителей, был сам по себе и поступал только себе во вред. Это редкость в наше прагматическое время. Мы никогда не были Адамом и Евой, но молодость у нас была, и были единство, и радость, и хорошая компания, и доброе застолье. Потом у него испортился характер, все потускнело, я переключилась на детей, он — на баб, но, по совести, мне трудно его упрекнуть. Неудовлетворенность главным делом плохо компенсировалась в семейной жизни, где он тоже оказался на вторых ролях. По-моему, из-за этого он не смог по-настоящему сблизиться с детьми. Он их любит, но словно на расстоянии. Нельзя сказать, что у нас с ним наступило охлаждение, пламени-то сроду не было, поскольку я не сумела зажечься. Но у нас с ним застыло в приемлемой форме *супряги* — мне недавно попалось это слово в романе о послереволюционной деревне, так называли объединение двух крестьянских дворов на экономической основе. Нас с Игорем связывает не только экономика, мы нужны друг другу, нужны детям, мы будем до конца тащить вдвоем свой воз. Впрочем, за это нельзя ручаться. Недавно я поняла, что время работает не на укрепление, а на расслабление уз. И вдовцы с такой быстротой женятся, а вдовы — выходит замуж, что не только не успевают износить башмаков, в которых шли за гробом, но и просто разуться после похорон. Очевидно, в слишком затянувшихся браках изгнивает живая сердцевина и остается мертвая оболочка из рутины, привычки, боязни осложнений, и смерть несет избавление более жизнестойкому. Но это уже в старости, которой мы покамест не достигли. А сейчас мы с Игорем — замечательная, крепкая советская семья, а вот что такое Иванцовы — неясно. Они начинали на очень высокой ноте и, кажется, сорвали голос. Получился каламбур: они действительно больше не поют дуэтом. К тому же у них нет детей, а это тоже кое-что значит. В их душах просторно, там найдется место для любого постояльца. Похоже, Жанна решила приручить — скажем деликатно — моего невежу. Это по ее инициативе мы разбились на пары. Правят в очередь то она, то Игорь, поэтому они занимают передние места. Кирилл поначалу брал в руки баранку, но с такой ленью, что его перестали тревожить, я же так и не научилась водить машину, мы задние пассажиры. Жанна правит лучше Игоря, увереннее, а главное, куда свободней. Игорь вопьется в дорогу и уж ничего не замечает, кроме встречных машин, дорожных указателей, обочин

и пищеварения мотора. А Жанна правит как бы между прочим, одной рукой, другая обычно занята сигаретой — курит она беспрерывно, иногда поправляет прическу или пудрит нос, разглядывает себя в зеркальце, к тому же трещит без умолку. Из-за шума мотора почти ничего не слышно, но иногда долетают волшебные имена Феллини, Минелли, Мартини, впрочем, последнее, кажется, не из державы искусства, а по винной части. Жаль только, что Игорь не оценит всех этих тонкостей, он терпеть не может кино, эстраду, за границей не бывал, а из напитков предпочитает водку и пиво. А я вдруг поняла Игоря. Он не может простить Жанне, что она украла у него ту стройную девочку с необитаемого острова. Ведь если не делать удручающих сравнений с прошлым, то Жанна по-своему хороша и уж, во всяком случае, неизмеримо лучше Игоревых лохмушек. Но он помнил островитянку, а Жанна ее убила. И он мстит ей вызывающим пренебрежением. А Жанна не привыкла терпеть поражения. Ей необходимо самоутверждаться в любом окружении, любой среде. А зачем? Она же очень преуспевает по службе. Но не преуспевает у Кирилла, и это ей небезразлично. Ей кажется, что, швырнув Игоря к своим ногам, она выиграет в глазах Кирилла. А чего хочу я? Чтобы Кирилл заметил меня, догадался, что я тоже женщина. Неужели он мне действительно нравится? Нет, это что-то другое. Он мне по-человечески не нравится. Ужасно трудно сформулировать свое отношение к нему. Он проник мне в кровь. Это случилось еще тогда, на острове. Потом я забыла о нем, по вот он появился, и давно канувшее вернулось. Мне это мешает. Я не представляла, что в такой тесной территориальной близости — нас же прямо кидает друг на друга на ухабах — можно остаться столь разобщенными. Незнакомые люди в общем купе невольно вступают в какие-то отношения. Кирилл же меня не видит. Что я — порченая, или патологический урод, или непроходимая дура? Да ведь нет ничего этого, и другим людям я чаще всего нравлюсь — и мужчинам и женщинам. Но здесь я провалилась и у него и у нее, хотя и устраиваю их как спутница, тем более что веду наше маленькое дорожное хозяйство.

Лишь раз он обратился ко мне. Жанна, почти бросив руль на скверном, ухабистом, разбитом шоссе за Ярославлем, что-то с жаром доказывала Игорю, почти задевая горящей сигаретой его сонное лицо.

— Отелло и Дездемона, — сказал Кирилл. — Только навыворот.

Я не поняла.

— Старый мавр доконал девчонку болтовней. Здесь роли

переменились: Дездемона берет мавра за горло.

— Вы ревнуете? — спросила я.

Он усмехнулся и ничего не сказал…

15 июля

…Давно ли я написала, что древности меня не волнуют, и вот уже должна взять назад эти безответственные слова. Мефодиевский монастырь перевернул мне душу. Боже, до чего же хороши белоснежный кремль, и собор, и надвратная церковь, опрокинувшиеся в прозрачное озеро! А трехсотлетние живые дубы, бархатистый исчерна зеленый мох на камнях в изножии монастырских стен, а трапезная с узкими прорезями окон, а деревянная галерея, идущая вдоль долгого пристенного здания, где находились монашеские кельи! Как это чудесно и как горестно мое словесное бессилие… Великая и проклятая русская литература сказала о монастырях, церквах и соборах все, что можно сказать, и с верой, и с безверием, и до слез трогательно, и насмешливо, и восторженно, и осуждающе, и с печалью, как об уходящем, и с каннибальим оскалом: да сгинь!.. Нет у меня своих, никогда и никем по произнесенных слов, а придет человек, посмотрит вокруг такими же, как у меня, серо-голубыми глазами и увидит вроде бы то же, что вижу я: белые стены, золотые главы, узкие окна, бойницы, дубы и ворон, но увидит так, будто никто до него не видел, и скажет об этом такое, словно не было ни Тургенева, ни Лескова, ни Чехова, ни Бунина, ни Мельникова-Печерского, никого, и люди ахнут и сами увидят все по-новому, как он велел. Какое же это счастье, и почему мне не дано? Лучше бы уж вовсе не догадываться о нем, тогда бы душа была спокойна. Как у моего Игоря или Жанны. Кирилл, тот малость загрустил, но по своему поводу. Вот, мол, обычное строение XV века: крепостца на северном пределе начавшего расползаться княжества Московского и собор как собор, ничего гениального, строили безвестные мастера, хорошие ремесленники, а мы ахаем и охаем. Может, время возводит обыденное в высший чин? Может, и наши микрорайоны будут казаться потомкам чудом красоты? Ишь, скажут, как строили, черти, какой вкус, какая фантазия! И какая во всем соразмерность, гармония! Что за гений это создал? Кирилл Иванцов, ныне забытый зодчий. Боже, вздохнет потомок, как же мы расточительны, если забыли Кирилла Иванцова!

— Не завидую потомкам, если наши микрорайоны покажутся им чудом, — пробурчал Игорь.

— Завидовать нечего… — рассеянно, думая о своем, отозвался Кирилл.

Сосет червячок. И не в шутку было сказано при встрече: „большие, большие“ дома построил, а „красивых, красивых“ пока

не видать…

В монастырском дворе много разного люда, одни сидят и лежат на траве, другие расположились на лавках и что-то едят из газет и мешочков — дорожный припас, — иные дремлют под сенью старых дубов, мухи садятся на потные лица. День солнечный, но паркий, душный, похоже, гроза собирается. Поглядишь на все это и забудешь, какой на дворе век, — паломники, страждущие духом и телом, сползлись со всей Руси поклониться святым иконам. Николаю-угоднику дивной кисти солнечного Феодосия и его же Спасу на плафоне, грозному лику, сильно пострадавшему от времени. Как странно, что единственная роспись, поддавшаяся тлену, — лик Спасителя. Странная и многозначительная двусмысленность, чем-то напоминающая конфуз с мертвым телом старца Зосимы, доставивший такое гнусное удовольствие старику Карамазову. Может, и тут испытание: я покроюсь тленом и плесенью среди сохранившей всю первозданную красоту и яркость живописи, а вы не дрогнете в своей вере в меня. И началось это испытание со страстей богочеловека.

Конечно, все эти люди не были странниками, каликами перехожими, но паломниками ко святым местам Феодосиева искусства их можно назвать. Немногие, как и мы, приехали на машинах, другие на автобусах, есть и такие, что добирались попутным транспортом и просто пешком — древним русским способом: разувшись, шагали по теплой земле, по толстой мягкой пыли, по жестким складкам проселков и полным влаги колдобинам, по траве-мураве, по цветам терпеливо шли бескорыстные люди разного чина-звания, но здесь все без чинов становились; перед богом, пусть ему и не служат, он все равно пребывает в своем доме, равны большие с малыми. Так думала я в простоте души, пока не услышала ужасные слова: из-за повышенной влажности к Феодосию не пускают. Вот почему так картинно раскинулись под дубами, мгновенно обретя древле-истомленный вид, паломники-туристы. Добирались сюда с муками, а к святыне-то нет хода. Оказывается, не все равны в бывшем божьем доме, в чем я не замедлила убедиться с радостью, крепко смешанной с отвращением и стыдом. Нас пропустили. Как только узнали, что тут архитектор-лауреат и профессор — завкафедрой, повышенная влажность воздуха перестала играть роль. Впрочем, не исключено, что главную роль сыграла всюду вхожая Жанна. А может, наши драгоценные легкие не выдыхают влажных пузырьков? Сама заместительница директора по научной части вызвалась быть нашим гидом. Тут возникла небольшая заминка. Пока мы расписывались в книге почетных

посетителей, несколько паломников прорвались следом за нами в вестибюль. Их стали гнать прочь.

— А кто дал вам это право? — с ненавистью крикнул Кириллу голубоглазый бородач.

Господь бог, — смиренно ответил тот. А почему он так оробел? Почему признал наше преимущество? Раз нельзя, так всем нельзя. Фрескам Феодосии едино дыхание профессора или счетовода. Мне было стыдно, и все же и пошла. Еще стыднее было бы, если б я не пошла и поставила в глупейшее положение пашу любезную гидессу, которая в дальнейшем раскрылась весьма замечательным образом.

Поначалу я как-то не обратила на нее внимания, смущенная мерзким проявлением непотизма. Когда мы уже перешагнули заветный порог и робкие бунтари удалились, в святая святых ворвались какие-то тетки типа пригородных огородниц или молочниц, а с ними крепкий, с каленым лицом старикан. Они, верно, услышали, что кого-то впустили, и решили силком осуществить свое право. Доказывать что-либо этим решительным людям не имело никакого смысла. Они были из тех, кто никогда не ждет милостей ни от природы, ни от себе подобных. Наша гидесса сразу это поняла, кинулась им навстречу, загородила проход, за которым голубел, розовел и золотился Феодосий, своим крупным телом, увеличенным холщовым хитоном, старинным русским платьем, которое она надела, когда пошла с нами в храм, до этого была в строгом английском костюме, крестом раскинув руки, она произнесла низким, из глубины, голосом, который, усиленный резонансом, был почти страшен: „Стой, дерзкие! На что покушаетесь?.. Выйдь!“ В этом было что-то библейское, что-то от древних пророков, и тетки со своим красноружим вожаком отпрянули. „Назад! — продолжала пророчица. — Иль не будет вам удачи в делах ваших!“ Последнего энергичная команда никак не хотела, и торгаши вновь были изгнаны из храма.

Гидесса заперла дверь большим ключом и спокойно присоединилась к нам. Ни улыбки на лице, ни слова в объяснение диковатой сцены — вот это характер! — и жестом пригласила нас следовать за ней.

Теперь уже я пригляделась к ней. Она на редкость хороша собой, но типично русская красота ее сурова. Это не Кустодиев, не Архипов, такой могла быть боярыня Морозова, еще не истомленная заточением, пытками, но уже ведающая о своем избранничестве. Очень правильное, классически правильное лицо, бледное, с черными матовыми глазами, в которых изредка вспыхивает искра, твердый обветренный неулыбающийся рот,

высокая гордая шея. Благородно удлиненные кисти рук. О фигуре ее трудно судить из-за бесформенного хитона. Она довольно высока ростом, с развернутыми плечами и очень прямой спиной, высокая грудь натягивает льняную ткань. У нее неспешные, торжественные движения и плывущая поступь, вот оно, старинное: как лебедь белая плывет. Я подумала, что ее поведение — игра, умно найденная поза, но когда она заговорила, рухнула к ее ногам.

Дело не в том, что она говорила, а *как* она говорила.

Очень ровным, глубоким, довольно низким, чистым голосом, сохраняя на лице спокойную величавую печаль. Она ни разу не сбилась на скороговорку, не поддалась профессиональной монотонности, не позволила себе той полуулыбки, какой умный экскурсовод извиняется перед квалифицированной аудиторией за то, что в тысячный раз повторяет одно и то же. Нет, ее речь звучала так, словно она впервые произносила вслух давно выношенное в душе. При этом она не делала вида, будто импровизирует, слова были отобраны, тщательно выверены; весомые пространные фразы со сложным синтаксисом и торжественным ритмом поначалу озадачивали необычайностью и непростотой построения, а потом обрели музыку, усиливающую впечатление от сказанного. Так говорил бы орган, если б обрел дар слова. А когда она чуть смягчила интонацию, сделала более житейской и теплой, то слезы навернулись на глаза. Так она рассказывала о приходе сюда из-за лесов, болот, полей и рек старого Феодосия с двумя дюжими сыновьями; монастырь был почти необитаем, мастера работали в глухой пустоте, кормились ржаными сухарями и козьим молоком, спали в балагане из веток и древесной коры, с восходом солнца, помолившись, брались за кисти. Сохранилось предание, будто старый Феодосии, пока творил свое художное дело, не потреблял ни медка, ни мяса животных и молодцов-сыновей держал в той же строгости, чтобы никакие греховные помыслы, никакое горячение крови не осквернили чистоты создателей божественных образов. К концу работы Феодосии так иссох и ослабел, что приходилось поддерживать под локоть руку, сжимающую чудодейственную кисть.

Она говорила, что исследователи так и не смогли установить, что писал Феодосии, а что его сыновья. Можно лишь о подкупольном Спасителе сказать с уверенностью, что это написано самим Феодосией, ибо не допустил бы мастер к изображению сына божьего учеников, пусть они ему родная плоть. Такое ведь не рукой пишется, а всей верой и мукой сердца. Да еще в большом и совсем не благостном Николае-угоднике

трудно заподозрить участие чужой руки. Тут наша гидесса задумалась или сделала вид, что задумалась (я совсем как Толстой: воробей сделал вид, будто клюнул зерно, — верх недоверия), и сказала: „Феодосий был совсем стар, когда приехал сюда, он расписал собор, исполнил главное дело своей жизни и отошел. А сыновья его, еще молодые, крепкие и, несомненно, искусные художники, исчезли, как и вовсе не бывали. Никто не знает, куда они делись, как жили дальше, где работали, ни один из них не нажил самостоятельного имени. Как странно, писали неотличимо от гениального отца, а он ушел — и они канули. Видать, настолько ему подчинились, что уж не способны были на творчество, или же иное: не было в них творческого огня, только наследственные способности, вот они и дали поглотить себя без остатка чужой творческой силе“.

Когда мы прошли в последний придел со Спасом на плафоне, гидесса (ее зовут Надежда Дмитриевна) не пошла за нами. „Там слова не нужны?“ — спросила я. „Нет, — прозвучал ответ. — Я не могу туда сегодня ступить“. — „Что так?“ — поинтересовался Кирилл. „Недостойна“. — „Согрешили?“ — не удержался тот от пошлости. Она так поглядела глубокими, сузившимися, потемневшими глазами, что, не будь он защищен броней самоуверенности и наплевательства, быть бы ему испепеленным. „Да, — сказала она, чуть вскинув голову, — была гневной“. — „К женам-мироносицам вы, похоже, не принадлежите?“ — продолжал резвиться Кирилл. „Нет!“ — отрезала она и отступила от дверей.

Когда-нибудь я напишу об этом создании Феодосия, но не в суете нашего нынешнего существования. Перед ним меркнет даже поразительный Николай-угодник с его большим, темным мужицким лицом и странно тоскующими глазами. Я не видела такого Христа — грозного и чуждого прощению. Может быть, нечто подобное есть в Христе Микеланджоло в „Страшном суде“, но трудно судить по репродукциям. Но для меня гневный, яростный, поражающий грешников сын девы Марии вообще не Христос. А это Христос, но в такой безнадежной печали, и разочаровании, и отчуждении ото всего, что щемит сердце. И невероятно, что такого Христа написал просветленный, нежный Феодосий. Его Христос искупил грехи человеческие и понял, что ни к чему его жертва. Невыносимо угрюм его взгляд, в нем нет ни сострадания, ни снисхождения, не говоря о прощении. И пятна сырости усугубляют угнетающее впечатление от образа. И ко всему он дивно, как-то грешно красив.

Что сталось с Феодосием, если он после всех своих не написанных даже, а выласканных нежнейшей кистью

небожителей и угодников божьих написал Христа, *отвернувшегося* от людей и тем отказавшегося от своей сути? Что сталось с мастером, откуда у него такая безнадежность после столь долгого пребывания в божьем саду? Во что перестал он верить: в человека или бога?..

Когда мы вышли из придела, я спросила Надежду Дмитриевну: известно ли хоть что-нибудь о последних днях Феодосия, что сотрясло его угасающую душу? Она вдруг обняла меня, прижалась так, что я почувствовала запах сухих полевых цветов от ее кожи, волос и льняного платья, и шепнула:

— Зови меня Надей!

Она мгновенно угадала подтекст моего вопроса, значит, я верно увидела Феодосиева Христа: ее жест и слова были как посвящение в сестры. А потом она призналась мне, что не один год пытается разгадать эту тайну.

Когда-то существовало предположение, что это вообще не Феодосий писал, но тщательный анализ, проведенный крупнейшими знатоками, неопровержимо доказал принадлежность фрески кисти Феодосия. Да тут не нужно никакого анализа: не было тогда на Руси другого художника, которому такое было бы по плечу. Да разве допустил бы Феодосий другого к самому заветному? Надя считает, что какое-то страшное потрясение постигло художника. В его фреске — вызов, богоборство, поразительные для его светлой и кроткой натуры. „А может, он потерял сыновей?“ — высказала я предположение. „Какой ты молодец! — сказала она с суховатой усмешкой. — Я вот сколько лет бьюсь, а ты явилась — и тайна раскрыта. Нет, сыновья Феодосия пережили отца, о том сохранились свидетельства“. Может, Надя и похоронила себя здесь, чтобы разгадать эту тайну? Сейчас тут людно: полно экскурсантов, работают студенческие отряды — укрепляют осевшие монастырские стены, приезжают художники, реставраторы, искусствоведы из разных городов, но зимой — медвежий угол… Она как в заточении, и нужна какая-то большая цель, чтобы лучшие годы жизни убивать в такой глухомани. Будь Надя хоть местной, еще можно было бы понять, но она коренная ленинградка, там у нее мать, квартира. И странно, что она не замужем и никогда не была, а ведь ей к тридцати. Надя — незаурядная личность, к тому же красавица, наверное, многие мужчины добивались ее руки. Похоже, что тайна Феодосия не единственная загадка этой тихой обители…

24 июля

Я думала, что тесно сойдусь с Надей, и много накрутила вокруг этого. У меня есть странная особенность: я быстро

схватываю в живом разговоре и поразительно тупа в чтении. Я имею в виду не беллетристику, а серьезные книги: по искусству, литературе, истории. Читаю — и ничего в меня не входит, вернее, входит, пока читаю, а закрыла книгу — и все испарилось, хоть начинай сначала. Но в тех редких случаях, когда мне случалось говорить со специалистами: искусствоведами, литераторами, историками, я сразу начинала понимать то, что ускользало от меня в умных книгах. За полтора часа с Надей я узнала о русской иконописи больше, чем за все предыдущие годы. Но какие-то мелочи мне стыдно у нее спрашивать, чтоб не показаться круглой дурой: например, почему у всех коней на старых иконах и фресках такие маленькие головы? Что это за общая у всех изографов аберрация зрения? И я обратилась к Кириллу. „Божественные кавалеристы скакали только на ахалтекинцах“, — ответил этот обормот. У туркменских коней, правда, маленькие головы, так что острота потянула на три с плюсом, но ответа я не получила. Ну и ладно. Куда хуже, что я совсем не вижу Надю. Влажность прошла, и все исстрадавшиеся паломники валом валят к Феодосию. Экскурсоводов не хватает, и Надя водит группы. К тому же директор в отпуске, и на ней все хозяйство заповедника и строительные заботы. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь.

Кругом немало старинных церквей, заброшенных монастырей, а ходок я хороший, да и попутные машины случаются, и я не теряю времени даром. Хуже обстоит с моими попутчиками, их никуда не вытянешь. Они вполне насытились Феодосием и не хотят больше ничего, тем более что не раз тут бывали, а Игоря далекое прошлое не интересует. Так на кой черт было ехать сюда? Не ради же мерзкого пива местного производства и мелких раков, которыми мы объедаемся до типуна на языке, и купания в довольно-таки холодном озере? Тогда уж честнее было махнуть на теплое море, к дымящимся шашлыкам и сухому грузинскому вину. А здесь стыдно вести такую растительную жизнь…

29 июля

Эти дни мне особенно везло с транспортом. Удалось съездить в Светлогорск, где сближаются две системы великих каналов — старая и новая, и оказалось, что старая надежнее, не заиляется, в то время как новую, затопившую столько богатейших поименных угодий, не успевают расчищать. Старый канал, довольно узкий, идет через город, его краем, а новый вливается в Светлое озеро, затем продолжается на другой его стороне. Задумано вроде бы рационально, но почему-то не учли то, что испокон веку известно каждому местному жителю: озеро весьма капризно, бо′льшую часть года здесь свирепствуют штормы, и суда нередко терпят

бедствия, поэтому сейчас срочно строят молы, волнорезы, чтобы как-то погасить губительную ярость водной стихии. И все громче раздаются голоса, что новый канал вообще не нужен, достаточно было углубить старый, построенный с образцовым расчетом. На узком бульварчике, идущем вдоль старого канала, я увидела бронзовый бюст строителя — графа Клейнмихеля, так вот он каков, столь щедро осмеянный Лесковым балбес Кленыхин, любимая жертва русских исторических романистов, включая Тынянова, царский подхалим, которого мутило при виде царя от страха и угодничества. Неплохо сработал шут гороховый!.. Полтора столетия прошло, а построенный им канал исправно несет службу, в то время как нынешний, созданный во всеоружии техники, не только подорвал экономику края, сильную молочными продуктами (с затоплением лучших покосов — заливных лугов — скот захирел), но и требует неимоверных средств для своего поддержания. И я подумала, а что, если вся русская история основана на литературных мифах? Едва ли есть другая великая страна со столь неразработанной историей; большинство наших представлений о знаменитых людях и событиях прошлого почерпнуто не из научных трудов, а из беллетристики. Русская философия — эти литература, русская история — тоже литература. Вот и живут в нашем представлении пьянчуги-гвардейцы братья Орловы, ворюги Меншиков и Шафиров, карикатурный Шувалов, половой психопат-меланхолик Потемкин, развратница Екатерина, интриган Безбородко, болван Клейнмихель, злой карлик Нессельроде, а кто строил Россию, кто собрал это непомерное государство и оберег от бесчисленных врагов, кто скрепил его расползающееся тело дорогами, каналами, почтовой связью? Жалко, что у меня нет гуманитарного образования, как интересно было бы записать роман о созидательных силах России. При этом взять не эпоху Петра — тут много сделано, а, скажем, время Алексея Михайловича, или елизаветинское опамятование от кошмара бироновщины, или „дней Александровых прекрасное начало“…

Я попробовала заговорить об этом со своими спутниками, но они посмотрели на меня как на сумасшедшую. Похоже, они вообще подзабыли о моем существовании, благо кормятся теперь своей мочью. Я удивительно умею выпадать из кузовка, как последний, лишний гриб. И в моей собственной семье я становлюсь необходима, лишь когда несчастья, болезни, тяжелые неудачи. А здесь все, слава богу, отменно здоровы, веселы и, похоже, замечательно ладят друг с другом, хотя последнее для меня загадка. Жанна крайне серьезно взялась за моего мужа, и ему это начинает льстить. Первый и самый трудный барьер взят

этой энергичной женщиной — память о стройной нагой девочке уже не мешает Игорю находить привлекательность в нынешнем пышном ее расцвете. При виде Жанны мне всегда вспоминается постановление об излишествах в архитектуре. Но гранит, мрамор, бронза, позолота и мореный дуб больше не отпугивают моего неблаговерного. А какова позиция Кирилла? Впечатление такое, что это его не только не задевает, но даже устраивает. Сегодня я получила тому подтверждение.

Когда я вернулась из Светлогорска, их не было в доме приезжих, дежурная сказала, что они на озере. Я пошла туда. Они варили на костре уху из плотиц, которых наловили днем. Я подошла туда одновременно с Кириллом, нагруженным вином. И хотя я вернулась из дальней поездки, мне едка кивнули. Иные заботы туманили им чело.

— Достал? — сказала Жанна. — А где Надя?

Кирилл пожал плечами.

— Что-то опять со строителями…

— А нет ли у тебя соперника? — полюбопытствовал столь нелюбопытный Игорь.

Вот те раз! Оказывается, они сошлись с Надей куда короче, нежели я со своими „культурными запросами“, и даже вон куда повернуло!

— Соперник есть, — нехотя сказал Кирилл с тем странным, нечитаемым выражением, которое я уже не раз видела на его крупном, обманчиво открытом лице. — Хотя совсем не такой, как ты думаешь.

— Не темни, — сказала Жанна. — К ней в келью прилетает Змей Горыныч? Или дух Феодосия?

Надя, правда, жила в монастырской келье, сырой и темноватой, но всегда хорошо протопленной.

Феодосию с ней не справиться, — заметил Игорь. — Разве что сыновья подсобят.

— Никто к ней не прилетает, в том-то и загвоздка. Соперник — она сама… По вечерам наша милая Надя запирается на замок, снимает одежду, ложится на одр, гладит себя ладонями по всему телу и приговаривает: „Никому это не достанется, никому“.

— Вот те раз! — всерьез удивился Игорь. — Плохо твое дело.

— Это нарциссизм, — авторитетно сказала Жанна. — Очень распространен в Швеции. Я видела фильм, снятый скрытой камерой.

— Грязное вранье! — крикнула я.

— Нет. — Кирилл повернулся ко мне. — Прежде всего тут нет ничего грязного. Все даже слишком чисто. А когда врут, то берут слово, что никогда, никому, ничего… С меня слова не брали. А

рассказала экскурсовод Люда, знаете, которая носит ромашковый венок. По-моему, они все тут малость чокнутые. Видать, возле разжалованного бога ясности ума не сохранишь. Я тоже не поверил сперва, больно дико, глупо и… досадно. А Люда: да будет вам! Мы сколько раз подглядывали. Хотите — можете сами убедиться. Что я, школьник?

— Подлость! — сказала я. — А Люда просто дрянь.

— Почему?.. — противно протянул Игорь. — Люди и вообще не щадят друг друга. А тут нет никакого криминала.

— Ни малейшего, — поддержала Жанна. — Просто затянувшееся девство. У Фрейда все это описано. Пройдет с первым же мужчиной.

Почему она меня так раздражает? Я едва различаю, что она говорит, протест возникает при первых звуках ее самоуверенного голоса.

— Это месть запоздниившимся женихам, — сказал Игорь. Тем прекрасным, достойным ее мужчинам, что не спешат к Мефодию, а если и приезжают, то с женами.

— Вот чего недостает легенде о Дон-Жуане, — озарило Кирилла. Он отбивал женщин у мужей, любовников, господа бога — помните монахиню? — и даже у мертвецов. Но никогда не отбивал женщину у самой себя.

— За чем же дело стало? — сказал Игорь. — Ты можешь превзойти севильского обольстителя.

Но тут Кирилл вдруг потерял вкус к этому сомнительному трепу, стал каким-то рассеянным, занялся ухой, принялся снимать пену, подсыпать перловку, чтобы осадить слизь. Жанна завела свои бесконечные истории, уснащенные знаменитыми именами и названиями прославленных местностей, чего я не выношу. Я стала помогать Кириллу, у которого тоже не моя группа крови, но, оказывается, это не всегда вызывает отталкивание. Теперь я знала точно: Кирилл больше не с Жанной. Это вовсе не манера поведения, а подлинная суть. Они врозь. Кажется, это называют свободным браком. Кирилл выиграл для себя полную независимость, предоставив и Жанне свободу, которую та использует лишь для того, чтобы вернуть его. Видимо, она опробовала немало способов и сейчас решилась на самый отчаянный: возбудить его ревность, уязвить мужское самолюбие. Говорят, что это помогает. Странно, я вдруг ощутила сочувствие к Жанне или просто по-бабьи поняла ее. Но мне куда легче: у меня дети, и даже какая-то частица Игоря остается при мне. И эта тетрадь. А что у Жанны?..

2 августа

Вчера я оказалась свидетельницей довольно неприятной

сцены. Дело было под вечер. Я вернулась из пригородного бывшего женского монастыря, куда ходила пешком по очень скверной разбитой дороге, покалечила ноги и душу, но уже не ухабами, а удручающим видом порушенной обители. Грязь, смрад, нечистоты, битый кирпич, страшноватые закожаневшие лопухи. В доме настоятеля поместилась контора утильсырья, там еще относительно чисто, все остальное — мерзость запустения. Наружные стены собора и остальных строений целы и крепки, внутри все ободрано с каким-то остервенением и гнусно загажено. А купола со сбитыми крестами сохранили свое золото и синь. Наверное, не так уж трудно и накладно восстановить этот памятник XV века. С ним связана какая-то трагедия: то ли здесь задушили по приказу Грозного княгиню Старицкую, то ли свершилось иное выдающееся преступление волей длиннорукого царя, старожилы, которых я пыталась расспросить, давали сбивчивые показания. На монастырь же им наплевать с высокого дерева. Разочарованная и подавленная, я покатила на своих сбитых пятках с горки к озеру. Там в затишке под мефодиевскими стенами, где студенты-строители заделывают разлом, под старыми ветлами, наклонившимися к воде, хорошо ловится рыба. И сейчас там трудился какой то рыбачок, я не обратила на него внимания, зашла за большие серые валуны и погрузила ноги в прохладную воду. Вот когда я поверила Наде, что это целебная, *живая* вода. Воспаленную, зудящую кожу остудило, успокоило, будто разгладило, и какое-то не физическое, а душевное наслаждение разлилось внутри. Вот так бы и сидеть на валуне, болтать ногами в нежной, серебристой воде, глядеть на белые, слегка похилившиеся стены, и проблескивающие сквозь листву купола и ничего не хотеть, ничем себя не томить, потому что все уже состоялось. Только не надо спрашивать себя, что именно состоялось. Потому что тогда окажется, что ровным счетом ничего не состоялось: ни ты сама, ни твоя семейная жизнь, ни твой честолюбивый муж. И все же что-то другое, более важное состоялось, ну хотя бы ты ощущаешь себя в истории родины, ты способна радоваться всему, что вокруг, и делать это своим. „Все глядеть бы на синие главы…“ Если это тебе дано, то ничего иного не нужно. Не нужен ни успех, ни прямое или косвенное утверждение себя, надо лишь чувствовать, что свята вода, свято небо, свята земля, свято все сущее.

Так я сидела там в какой-то непонятной растроганности, а потом от пролома в стене к озеру спустился юноша из строительной студенческой бригады, Я его немного знала: он однажды подошел прикурить, когда мы валандались на берегу. От него приятно пахло стружками; а за поясом был заткнут топор.

Значит, не из каменщиков, а из плотников. Приятный интеллигентный молодой человек с большими влажными, почти черными главами, толстогубый, с ниточкой усов и смуглой, по-юношески пенистой кожей. Он из энергетического института, работает тут второй год и здорово поднаторел в церковном зодчестве. Он не знал, что двое из нас архитекторы, и с наивной гордостью прозелита стал делиться своими познаниями о зависимости архитектурных форм от материала. Мне и в голову не приходило, что сводчатые перекрытия стали возможны лишь с появлением камня как основного материала. Но Жанна почувствовала себя ущемленной тем, что новобранец культуры залез в их огород. Жанна уронила свысока, что крайне признательна за лекцию, но архитектура — профессия ее и мужа. Были названы, как положено, чины и звания. Бедный парень аж побелел сквозь смуглоту. Он был, видать, человек с характером: самолюбивый, страстный, и не простил своей промашки ни себе, ни нам. Было любопытно наблюдать, как он исподволь нащупывал слабину наших профессионалов. Он быстро понял, что Жанну не подковырнешь, поскольку она ничего не строит и в этом смысле неуязвима. Но к Кириллу он таки подобрался. Он спросил, почему сейчас понятие типового строительства стало синонимом бездарности. „А чем еще оно может быть?“ — лениво процедил Кирилл. „Ну хотя бы тем, что оно было при Бове, после московского пожара, — сказал студент. — Все чудесные особняки построены по типовым проектам мастерской Бове“. — „Сравнили!“ — усмехнулся Кирилл. „А почему нельзя сравнивать? Разница только в масштабах, но сделайте поправку на время. Там было творчество, а тут ремесленничество“. — „Ой, бросьте! — прервала Жанна. — Вы же ничего в этом не понимаете!“ — „А чего тут понимать? Типовые проекты Бове создали Замоскворечье, арбатские переулки, а ваши…“ — „Ладно, неинтересно!“ — сказала Жанна и пошла к воде. Кирилл — за ней. Я хотела поговорить со студентом, но он уже всех нас считал врагами. Пробурчал что-то злое и, не попрощавшись, ушел.

Сейчас я могла извиниться перед ним за случившееся, по он меня не увидел. Он шел к рыболову. Валуны скрыли их, но ветер доносил слова.

— Кирилл Петрович, нам надо поговорить, — сказал студент.

Оказывается, там был Кирилл, а я не узнала его издали, наверное, потому, что никак не ожидала здесь встретить. Был священный час пива и раков.

— Кирилл Петрович, — сказал студент. — Оставьте Надежду Дмитриевну в покое.

Кирилл довольно долго не отвечал, потом закинул удочку, я

видела, как прорадужилась леска в воздухе; когда грузило ушло на дно, он поддернул, чтобы крючок не зацепился за водоросли.

— Это она вас послала?

— Никто меня не посылал.

Я сразу поняла, что студенту этот разговор не даст ничего, кроме унижения, и была благодарна Кириллу, когда тот произнес довольно мягко:

— Знаете… в такие дела лучше не вмешиваться.

Мальчишка тоже держал себя в руках, представляю, чего ему это стоило.

— Ну какие там „дела“? Вы же сами знаете, что никаких дел нет и быть не может.

— Тогда о чем же вы беспокоитесь?

— О Надежде Дмитриевне. О ее покое. Ее тихой жизни. Не надо ее сбивать по-пустому.

— А вы кем, простите, ей приходитесь: братом, сватом?.. Кто вам дал такие права?..

— Не надо, Кирилл Петрович! Вы же умный человек. Зачем вы так?

— Молоды больно меня учить!

— Разве возраст так важен? Вы старше не только меня, но и Надежды Дмитриевны, так будьте великодушны.

— Вы зря стараетесь. — Теперь в тоне Кирилла отчетливо пробивалась злость. — Ваши шансы равны нулю.

— Плохо вы говорите — шансы… Мне казалось, вы другой. Поймете.

— Я понимаю куда больше, чем вы думаете. — Кирилл уже не злился, он стал серьезен и прост, но собеседник не мог уловить этой перемены, потому что, говоря о Наде, они имели в виду двух разных женщин. — Вы хороший парень, но, не сердитесь, слишком молодой. Эта ситуация не для вас.

— Я вас предупредил. Наломать дров и смыться — не выйдет! — Студент, как и следовало ожидать, сорвался, его понесло. — Не выйдет!..

— Вы считаете, я должен жениться на Надежде Дмитриевне? — Такой издевательской жестокости я от Кирилла не ожидала, ведь он говорил с мальчиком.

— Ладно!.. Смейтесь!.. — Парню не хватало дыхания, как астматику. — Но смотрите… если что… я зарублю вас!.. Честное слово! Так и знайте!..

— Ого! — сказал Кирилл. — Доболтались. Я, дружок, не из пугливых. Но если бы вы только знали, до чего это никчемный разговор!

Это прозвучало искренне, не задиристо, скорее устало, и

парень озадачился. Он постоял там еще и, ничего больше не сказав, побрел прочь. Мне подумалось, что Кирилл отступился от Нади. Не из трусости, он нисколько не боялся этого мальчишки, который и правда мог взмахнуть топором, а из отвращения к сложностям. О его полном спокойствии я могла судить по тому, как ловко он подсек и потащил к берегу крупного, яростно бьющегося окуня…

…Вечером наши опять пропали. Была хорошая ранняя луна, и я решила, что они пошли на озеро. Так и оказалось. Я еще издали увидела их силуэты на широкой лунной полосе. Они резвились, плескались золотыми брызгами, орали. Я подумала, что они добавили к традиционному пиву что-то покрепче, но веселость их объяснялась другим: они купались голыми. Островной вариант, теперь уже на троих. Как однообразна и нища реализация бытовой человеческой свободы. Но даже это доступно лишь на необитаемой земле или под непрочным покровом довольно светлой ночи. Они стали убеждать меня последовать их примеру. И вдруг совершенно неожиданно для себя я разделась и пошла прямо на Кирилла, взывавшего ко мне метрах в пяти от берега, а тут враз примолкшего от обалдения. Видимо, они считали меня неспособной на такую смелость, Я и была неспособна, но что-то со мной случилось. То ли надоеда вечная изолированность, то ли меня подстегнул случайно подслушанный разговор на озере, сделала это с завидным бесстыдством и даже с удовольствием.

Мое хулиганство было воспринято как нечто героическое и прекрасное, можно было подумать, что я совершила подвиг, акт самосожжения во имя идеи или другой великий жертвенный поступок. После молитвенной тишины они разразились аплодисментами и дикими воплями восторга. Возможно, моя сдержанность и неучастие в их играх чему-то мешали, а сейчас пали последние препоны. Странное дело, мне самой стало легче с ними. В сущности, все это чушь собачья, и моя стародевическая стыдливость выглядела жеманно-ханжески. И все-таки во мне возникло ощущение какой-то утраты. Не очень важной, отнюдь не смертельной, ну вроде бы потеряла свою детскую фотографию, где снята с молодой матерью, или бабушкин театральный бинокль, или старый музыкальный ящичек с поющей птичкой — невелик убыток, но с ними: фотографией, биноклем и птичкой было все-таки лучше. Оборвалась какая-то ниточка, тянувшаяся с детства. Может, это нужно, а то я никак не могу оторваться от своего прошлого, словно куренок, привязанный за ногу к колышку. Теперь я лихая, разнузданная бабенка, мне сам черт не брат. Но мои партнеры ничего подобного о себе не думают, просто они люди, идущие в ногу с моралью времени, которому

всякие фиговые листочки не менее смешны, чем полосатые, до коленей купальные костюмы начала века.

После купания Кирилл, ставший вдруг очень внимательным, признался, что, хотя и чувствовал ко мне симпатию, считал синим чулком, занудой и моралисткой и даже слегка побаивался. Он так вдохновился, что вспомнил фразу какого-то французского романиста о женщине, которая, раздеваясь, надевала свой самый безвкусный наряд — наготу. „О вас можно смело сказать, что вам ничто так не идет, как одежда наших прародителей“. — „Может быть, — ответила я, впадая в тот же дешевый тон, — но я не франтиха“. Шутка вызвала всеобщий восторг. Я стала своей, полноправным членом разнузданного братства…

3 августа

Неожиданное решение: мы отправляемся домой. Мне заявили: „Монастырское окружение давит“. И лучше провести оставшиеся отпускные дни у нас в Подмосковье, благо квартира свободна. Оказывается, наши ленинградцы больше всего на свете любят белоствольные березовые рощи, которых нет ни здесь — серые тощие кривулины, ни под Ленинградом. Что-то плохо верится в эту березовую страсть, здешняя жизнь исчерпала себя для них, не дав ожидаемого удовлетворения, а перемена декораций сулит новые надежды. Подробнее думать мне об этом не хочется, и так у меня образовалась привычка слишком многое решать вперед. Спорить с ними я не могу, получится негостеприимно. Надо собираться, через час мы выезжаем. Каковы же предварительные итоги? Мы все очень хорошие люди; не залезем в чужой карман, не предадим, не продадим, мы не употребляем в пищу маленьких детей. Мы милые. Мы дерьмо собачье. Оба суждения равно справедливы…»

* * *

Они выехала в назначенное время, не затруднив себя прощанием с Надеждой Дмитриевной, которая, правда, куда-то отлучилась, и Ольга напрасно просила дождаться ее и сказать слова прощании и благодарности. Вместо этого написали теплую записку и оставили в дирекции. И вот они уже мчались в обратном направлении с Жанной за рулем, не запомнившись людям, возле которых провели без малого три недели, никаким добром, если не считать ларечницу, у которой брали пиво и раков, хорошо приплачивая сверх положенного, поскольку с двери не снималось объявление «Пива нет».

Они ехали то медленно, то быстро — в зависимости от

дороги, пока не попали на московское шоссе, и там припустили во все лопатки. Их настигали дожди, грозы, солнце высушивало капли на стеклах и капоте, по вечерам жуки и мошки разбивали свои бедные тела о лобовое стекло, которое темнело до непроглядности, и приходилось включать дождевики и дворники, а иногда останавливаться и пускать в ход тряпку.

Со скоростью восемьдесят-девяносто километров в час мчались они в своей смуте, в неясности целей и смысла овладевшей ими спешки, не отдавая себе отчета, что их ждет, не ведая самих себя и не ожидая никакой ясности от будущего. Они жили какой-то мелкой данностью, сиюминутностью: подробностями дороги, случайными и неслучайными прикосновениями друг к другу, которые их волновали, — нет, это слишком сильно, во всяком случае, для троих из них, — но которые замечались; они жили своим микромиром, загнанным в железную коробочку вездехода «Нива», а большой наружный мир обнаруживал себя случайной чепухой вроде дождя, выщерблины шоссе, гравия, забарабанившего по днищу машины на ремонтируемом участке дороги, расплющившегося о стекло жука, машин, которых надо обойти; этот мир почти не требовал ответа, ибо, казалось, не задавал никаких вопросов, не ждал ни отзыва, ни отклика, разве что чисто механических: дать сигнал, указать обгон, прибавить газ или притормозить. Но даже та, которой приходилось это делать, — Жанна, окончательно завладевшая рулем, не осознавала своих чисто автоматических движений, выработанных долгой практикой…

2

Самое трудное для Андрея Петровича было подняться утром с лежанки. Его наломанное в долгой жизни тело, выстуженное в окопах, плену, накореженное в полевой работе, с некоторых пор вовсе не хотело ему подчиняться, отзываясь нестерпимой болью на каждое усилие. Болели, не сгибались ноги, руки, поясница, шея, он не мог встать с лежанки, как делают все нормальные люди и как еще год-другой назад делал он сам, скинув ноги и легким толчком отнял спину от теплой тверди. Он долго лежал, собираясь с силами, которых не было, и с духом, помогающим выдержать и одолеть боль и немочь, скопившиеся и затаившиеся в ночном покое сна. Наконец, почуяв некий толчок из глубины организма, он спускал с лежанки ноги, дотягивался до пола, утверждался на нем и, цепляясь за свое ложе, вставал; сперва он был скрюченным, будто сломленным в пояснице, затем

выравнивался почти до полной прямизны. Лишь малым сломом в крестце платила старости его небольшая фигура, сохранившая и сейчас крепкую соразмерность. Трудными были и первые шаги по избе, колени не хотели гнуться, и поясница опоясывалась острой, отдающей под сердце болью. Придерживаясь за стены, стулья и комод, он добирался до сеней, где висел рукомойник, всегда налитый всклень, ополаскивал лицо, шею, грудь холодной водой, отчего ему сразу становилось лучше. Свежесть входила к нему внутрь, утишала боль, что-то упорядочивала в костях и мышцах. Он будто собирался нацельно. Хороша была родниковая водица, которую он каждый день приносил из дальнего лога. А колодезную, тоже хорошую, сладкую воду признавал лишь для чая и готовки пищи.

Освежившись, покрепчав, Андрей Петрович старательно намыливал руки до плеч, потом лицо, грудь, шею и смывал мыло наручной мочалкой, которую ему подарил сын. На редкость опрятный человек, Андрей Петрович даже в самые худые дни своей жизни старался держать тело в чистоте, насколько было возможно. Вытеревшись суровым полотенцем и проведя гребенкой по седому ежику волос, Андрей Петрович возвращался в горницу более легким, прочным шагом, и тут жизнь на мгновение замирала в нем: он вспоминал, что Марьи Тихоновны нет на свете и весь долгий день он опять должен прожить без нее. Жена его померла от сердца два года назад, а он все не мог к этому привыкнуть и в утреннем туманце током не очнувшегося сознания забывал, что ее больше нет. Это повторялось изо дня в день, и он всегда разом слабел, опускался на табуретку, дрожа телом и шлепая отвисшими губами. Потом утирал рот, сжимал зачем то ладонями виски и начинал жить один. Но не вовсе один, он вспоминал, что у него есть сын Пашка, неплохой мужик, а у сына семья: добрая баба — жена и две дочки.

Позавтракав молоком, хлебом и яйцами, он разжигал печь, наполнял чугунки водой, словом, хозяйничал. Обслуживал он себя сам: ездил на мопеде, недавно подаренном ему сыном, в сельмаг, случалось, и в райцентр, готовил обед, ковырялся в огороде, кормил кур и мастерил всякую всячину. Он руками все умел: и по дереву, и по железу, мог и набойки поставить, валенки свалять, и одежду поправить: зашить, заштуковать, мог и любую технику починить. До того как сын подарил ему мопед, он ездил на собственного изготовления тарахтелке: собрал моторчик, приладил к велосипеду, и хоть трещал и вонял ужасно бензиновый конек, а возил безотказно.

Дел у Андрея Петровича хватало: и на себя время тратилось, и на семью сына, давно зажившего своим домом. Только скучно

ему было. Пока обезножевшая Марья Тихоновна лежала на высокой деревянной кровати, не знал он слова такого «скука», а как ее не стало, хотел даже на работу вернуться, чтобы не быть одному, да врачи не допустили. А им-то какое дело? Это все Пашка подстроил, что-то сделалось с ним после смерти матери, пробудилась душа к отцу, которого он не больно прежде жаловал, чересчур заботлив стал. Впрочем, куда взяли бы семидесятидвухлетнего старика, разве что в сторожа, а это тоже одиночество, пожалуй, похуже домашнего.

О сыне Андрей Петрович начинал думать, когда чуть отпускала ежеутренняя печаль по жене. Сын упорно хотел переселить его к себе. Дом у Пашки, правда, громадный, да еще с летником, размашист был знаменитый на всю область колхозный кузнец. А Андрей Петрович не шел к нему, хотя чуть не всю жизнь тосковал о сыне, даже когда они после долгой-долгой разлуки опять стали жить вместе, сына он но обрел. Андрею Петровичу крепко не повезло, пусть сам он не считал это невезением и никогда не жаловался на судьбу, уверенный, что каждому человеку определен его путь, и как ни ловчи, а пройдешь своей стежкой, не чужой.

А путь заместителя предколхоза Андрея Петровича лежал, как и у всех его здоровых сверстников, через войну, изранившую его тело и наградившую за то орденами и медалями. Уже недалеко от победы, зимой сорок пятого года, прямой солдатский путь дал злой зигзаг. Приказано было драться до последнего патрона окруженному стрелковому взводу, так и дрались, а у противника патроны еще оставались, и попали в плен несколько уцелевших подраненных бойцов, в том числе и Андрей Петрович. После, вспоминая об этом бое, Андрей Петрович считал, что приказ следовало дать другой: последний патрон оставить дли себя, тогда все вышло бы правильно. В лагере его кое-как подлечили и отдали хозяину на ферму, где он проработал до разгрома гитлеровской Германии, недолго — месяца дна. Хозяин относился к нему ни хорошо, ни плохо, кормил худо, но с голоду сдохнуть не дал, немцы и сами тогда едва перебивались. Освободили его из немецкой неволи — и в наш проверочный лагерь: надо было выяснить, не завербован ли он гитлеровской разведкой для причинения всякого ущерба своей Родине. Андрей Петрович понимал такую осмотрительность и не имел претензий.

Вернулся он домой много позже уцелевших земляков, и не гремели оркестры в его честь, не произносились приветственные речи и не сдвигались пиршественные столы. Только рыдала и щупала руками его голову и плечи постаревшая жена, будто не веря, что это действительно он, и угрюмо пялился из-под крепкой

— отцовой — лобной кости плечистый незнакомый подросток — его сын. Андрей Петрович понимал его и огорчался: у всех отцы пришли героями, в орденах и медалях, с сундучками, полными гостинцев, в почетной солдатской одежде, а Пашкин батька притащился в засаленном ватнике, сношенных обутках, и не простил отцу разочарования и стыда самолюбивый Пашка. Отслужив действительную, он женился и сразу отделился от родителей. Заглядывал к ним редко, но к себе на праздники приглашал.

Работал Андрей Петрович в полеводческой бригаде рядовым колхозником, палочек в тетрадку, наверное, больше всех записывал: для памяти и порядка, потому что не полагалось за них никакой выгоды, а кормился с женой от огорода, козы и кур. А потом пришла пора, когда палочки стали оплачиваться грубыми кормами, картошкой, а там и зерном и даже деньгами. Зажили хорошо. Хотели его на прежнюю должность выдвинуть — зампреда, но жена вдруг сказала: не надо, и он, малость удивленный, отказался. Потом Пашка завел разговор, чтобы он на восстановление наград подал, и опять Марья Тихоновна сказала: не надо, и он послушался. Наверное, она считала его настолько виноватым, что отказывала ему в праве на какое либо возвышение. Он недолго так думал, поняв, что причина в прямо противоположном. Любящая женщина не простила другим его беды и обиды и не хотела для него запоздалых милостей. Андрею Петровичу открылось, что в душе своей жены он был и остался самым первым героем. Любил он ее смертно, иначе не скажешь. И чем старше и некрасивей она становилась, тем огромней любил. Поседевшая, сырая, с распухшими ногами, дряблой темной кожей, она оставалась ему желанна, что стыдило, даже мучило, но в тайне души восхищало бедную Марью Тихоновну, страдавшую, что она ухудшается телесно, в то время как перенесший всяческие страсти Андрей Петрович на диво застыл в прочном образе полного жизненных соков человека. Он резко и сразу сдал после ее кончины, как будто из него выдернули стержень. Он, правда, держался на людях, но лишь усилием воли, не стало в нем внутреннего скрепа, и все, из чего он состоял, томительно заныло, заболело.

Но умереть Андрею Петровичу не хотелось, потому что он хотел думать о Марье Тихоновне, вспоминать ее, когда она была босоногой девчонкой с веснушчатым седлом на широком переносье и косеньким резцом — об лед зуб повредила, катаясь на санках; когда стала высокой, худощавой девушкой со строгим светлым лицом, коронкой заложенными косами и редкой радостной корзубенькой улыбкой; когда вымахала в крупную

женщину с тяжелой грудью, крепким станом, широкими бедрами, и старый, разменявший восьмой десяток человек чувствовал молодое волнение; память скользила дальше: к их долгой разлуке и его мыслям о ней, попыткам представить, что она делает, говорит, как ходит по избе и по улице, укладывается спать; потом замирала на его возвращении домой после войны, плена и проверки и текла дальше, когда он надышаться не мог близостью этой единственной за всю его жизнь женщины и не заметил, как она стала старухой с тяжелыми носами и всегда слезящимся глазом:, словно полились и расслаблении отпущенного болью сердца все зажатые внутри слезы, — для него она навсегда оставалась в своей первой прелести.

Ставя самовар, завтракая, готовя обед, прибирая в горнице, занимаясь хозяйством, он все время находился в общении с Марьей Тихоновной, чаще молчаливом, слишком хорошо они друг друга понимали, чтобы им нужно было тратить слова, но и разговоры тоже между ними случались, больше о том, что произошло уже после ухода Марьи Тихоновны и о чем она не могла без него знать. Он не жаловался ей на свои хворости и тоску, а рассказывал о простой текущей жизни: кого из ее старых подруг повстречал на улице или в магазине, о домашней скотине, о какой-нибудь птице, залетевшей в огород, иногда что-нибудь из газет, только не о войнах и политике — это Марья Тихоновна ненавидела и презирала всем своим честным сердцем, а о том, что какой-то чудак съел на спор сто десять мясных пирогов или выпил сто шестьдесят кружек пива, а другой неделю на голове простоял, а еще один с ядовитыми змеями полгода в одной клетке просидел. Марья Тихоновна любила в людях всякую чудину, если то не шло в ущерб и муку другим, а самим собой пусть человек распоряжается, как хочет. Ведь если всерьез, у человека нет ни над чем власти, кроме него самого, да и эта власть сильно ограничена. Мы все делаем по чужой воле: и вниз головой стоим, и со змеями живем, вот только на мясные пироги нас не принуждают, так пусть же мудрит над собой, сердешный, коли есть к тому возможности и охота.

В последнее время появилась у Андрея Петровича новая тема для разговора с женой, хотя он тут ничего прямо не говорил, ибо сам еще не разобрался, что к чему, а бросал намеки или сообщал голые факты, без умозаключений. А похоже становилось, что жизнь не только на худое и жестокое способна, но и на доброе, на утешение изнемогающему сердцу. Речь шла о сыне — совсем другим он стал. То ли потянуло его к отцу каким-то запоздалым прозрением, то ли пустынно оказалось без матери посреди своего семейства, которому он и голова, и судья, и милостивец, и

каратель, а нужно человеку, чтобы и над ним кто-то был старший. При всем своем вызывающе самостоятельном характере, своеволии Пашка чтил мать и в самые трудные минуты шел к ней, всячески затемняя желание получить помощь, поддержку. А может, мать сказала сыну на смертном одре какое-то главное слово об отце, выправила его кривой взгляд, а может, просто поручила сыновней заботе. Андрей Петрович этого не знал. Меньше всего допускал он разговор умирающей с сыном о нем. Марья Тихоновна презирала Пашку за отношение к отцу и не унизилась бы ни до каких просьб. Скорее могла ожечь его горьким и казнящим словом.

А ныне как подменили Пашку. Речь отрывистая, вздорная осталась, повадка быстрая, небрежная, вроде бы пренебрежительная — тоже при нем, но появилось и новое, прежде всего интерес к отцовой жизни. Будто между прочим стал спрашивать: «А ты под Сталинградом был?» «И Днепр форсировал?» «Здорово вам тогда дали?..» Другой раз: «Значит, ты всю Польшу прошел?» «А на своей земле немец крепко дрался?» Отвечал Андрей Петрович всегда односложно и без охоты, а однажды сказал: «Что ты, сынок, все равно как меня пытаешь? Успокойся наконец. Был я солдат как солдат, не лучше и не хуже других. Потом не повезло мне сильно, такая уж доля. А в конце так повезло — домой вернулся, многие до этого не дожили. Гордиться мне особо нечем, но и стыдиться нечего». — «Я не к тому, — буркнул Пашка. — Недодано тебе за войну. Терпеть не люблю несправедливость». — «Додано, сынок, всем, кто воевал, сполна додано нашей победой. Прочее все — пена».

Перестал расспрашивать его о прошлом Пашка, но стал интересоваться его нынешним существованием. Продукты подкидывал, приемник хороший приволок, потом вознамерился купить ему мотороллер. Андрей Петрович наотрез отказался, не привык подарки получать, да и не нравилось ему все время на моторе ездить. Нравилось педали крутить и только по усталости включать чужую силу. Тогда сын привез из Москвы новенький, весь в желтом жирном солидоле мопед. И по своей нетерпячести стал сразу орать, предупреждая отказ. И чтобы не обижать сына, Андрей Петрович с благодарностью принял дорогую игрушку. Покойная Марья Тихоновна утверждала, что всем хорошим, что в нем есть: трудолюбием, ручной хваткой, прямотой, честностью, пошел Пашка в отца, а всем дурным: вспыльчивостью, лишним самолюбием, «закидонами», в покойного деда, ее отца — выпивоху и рукосуя, которого Марья Тихоновна не больно уважала, хотя и жалела, пока жив был.

А Пашка как завелся, так уж не мог остановиться. Зачем-то

повез Андрея Петровича на председателевой «Волге» в городскую больницу, где его осматривали разные врачи, просвечивали и фотографировали в полной темноте, включали в электрическую сеть посредством многих проводов, заставляли читать мелкие буквочки в отдалении — и в результате прописали очки с более сильными стеклами. И еще оказалось, что он плохо слышит. Он-то считал, что вполне достаточно, хотя левое ухо вышло из строя еще во время войны, контузия убила какой-то нерв. Ему выдали слуховую кнопку, от которой окружающий мир стал ужасно громким, назойливым, одуряющим ненужными сигналами: гудками, грохотом, лязгом, треском, ревом — чудовищная звуковая мешанина взамен прежней блаженной тишины, наполненной нежным шорохом в ушной перепонке или шепотом Марьи Тихоновны. В разговоре же он слышал собеседника, подставляя ему живое ухо, а также хорошо улавливал по губам, что ему говорит. Поэтому кнопку он, вернувшись домой, спрятал подальше, а очки надевал, когда требовалось рассмотреть что-то мелкое: козявок в пшене или печатные буквы на каком-нибудь продуктовом пакете. Никаких лишних хворостей, кроме положенных по возрасту, у Андрея Петровича не обнаружили, но лекарства, купленные сыном в аптеке по рецептам врачей, он принимал из уважения к сыновней заботе все разом, жменей, по утрам перед чаем.

Но сыну и этого всего оказалось мало, стал нажимать на отца, чтобы тот переехал к нему. Ему, мол, создадут настоящий уход. По тут Андрей Петрович был непреклонен: из своего старого дома у него будет только один путь — на погост, под бок к Марье Тихоновне. Он не верил в бессмертие души и твердо знал, что за смертью ничего не будет: ни встреч, ни искупления, ни воздаяния. Все здесь. И человек длится после ухода лишь памятью любящих. А память эта может быть такой сильной, что человек как бы и не умирал. Поэтому он и хотел еще жить, чтобы длилась Марья Тихоновна, она ведь жила в нем каждый день, каждый час и во сне продолжалась, и он, изнемогая от одиночества, все-таки хотел продолжать жить, как жил до сих пор, чтобы ничто не отвлекало его от этой непрерывной памяти. А в доме сына так не будет, не может быть, потому что волей-неволей станет он отвлекаться на внешнее существование посреди большой семьи. К тому же старый дом его был весь пропитан покойной, здесь она жила, любила, рожала сына, ждала мужа, бедовала, радовалась, пела песни, гуляла в праздники, все, что тут есть, знало прикосновение ее рук, нет даже самой малой вещицы без ее отметины; все бессловесные насельники: печь, чугунки, стол, стулья, лавки, табуреты, комод, фикусы, горшочки с геранью на

подоконниках — отвечали своим непонятным человеку взором на взгляд слабеющих глаз Марьи Тихоновны, и ей куковала время пестрая, выскакивающая из деревянного домика кукушка, которую Андрей Петрович не слышал своим контуженым слухом, но раз услыхал через усилительную кнопку и поразился ее пронзительному голосу.

На память сына ни в отношении матери, ни в отношении самого себя даже при всей нынешней Пашиной преданности Андрей Петрович не слишком полагался. Конечно, они с Марьей Тихоновной сохранятся в Пашке, но это не животворящая память, слишком многое другое его отвлекает: своя жена, свои дети, своя жизнь.

Но Пашка наседал крепко. Упрямством он тоже пошел в отца. Только у Андрея Петровича упрямство тихое, терпеливое, защитное, а у Пашки — бурное, нетерпячье, наступательное, ему надо под себя согнуть человека, взять верх над обстоятельствами, а не просто выстоять против них. «Хочешь, батя, дом сохранить, перенесем его к моему, делянку тебе прирежут». Наверное, прирежут, только не трудилась на той делянке Марья Тихоновна, не ступала по той земле. И видела она из окошка золотые тары в своем палисаднике, а не красные георгины, как у Пашки. Сколь ни докучна и даже тяжела Пашкина настырность, а открывалось за ней такое дорогое, о чем раньше и мечтать не мог старый, не избалованный жизнью человек, — ответная любовь сына к отцу. Андрей Петрович даже растерялся, не отнимет ли его окрепшее от взаимности чувство чего-то у Марьи Тихоновны, а потом понял, что ничего отнять нельзя, ибо это в великую отраду покойной.

Утро Андрея Петровича продолжалось необходимыми хозяйственными заботами. Как ни скромно живет человек, а всегда-то ему чего-то надо. Кончились спички, соль, лавровый лист, как раз те товары, которые в избытке имелись в сельмаге, но хотелось Андрею Петровичу намариновать банку подберезовиков, до которых охоч был Пашка, а сноха умела только солить сырые грибы. Для маринада требовались уксус и перец, а за этим надо ехать в райцентр. Там можно и внучкам гостинцы купить и сношку чем порадовать, она, как маленькая, жадничала на даровую чушь: рамочку из мелких ракушек, тарелочку с переводной картинкой… Поездка осмыслилась, и уж не жалко стало бензина, поедаемого мопедом не по мощности. Да и день выдался солнечный и не особо жаркий, с легким продувом низкого легчайшего ветерка.

Он оделся по-дорожному: старые штаны со вшитым в межножье шинельным куском, чтобы не протирались о седло,

куртку из кожзаменителя, картузик, непрочно сидевший на его плотном седом ежике. Андрею Петровичу собственная глубокая старость рисовалась с большой гладкой розовой плешью в обрамлении легких седых волос; молодежь бы, конечно, подтрунивала, загадывая в затяжные дожди одиннадцать лысых для перемены погоды, зато лысина свидетельствует о глубокой работе мысли, в которой истлевает волос. Но у него голову плотно прикрывал короткий, жесткий, не вовсе седой, а будто присоленный волос. Мечтал Андрей Петрович и о вставных челюстях, как у Марки Тихоновны, чтобы каждый клал их на ночь в свой стакан, а утром начищал и вставлял в рот. Но он сохранил все свои крепкие желтоватые зубы. Как он сохранил такую зубастую пасть, понять невозможно: он и в немецком лагере подголадывал, и у хозяина питался скудно, а потом от цинги кровью плевался и мог каждый шаткий зуб пальцами из гнезда вынуть. Но вот вернулся домой, и обратно упрочились зубы в деснах, грыз мозговые кости и щелкал грецкие орехи. Ему хотелось стареть вровень с Марьей Тихоновной, которая и зубов рано лишилась и облезла на темечке и висках, ему бы маленько опережать ее во всех неизбежных потерях, но природа не пожелала. Марья Тихоновна, горюя о своем увядании, не могла нарадоваться сохранности своего старика. Он только спекся маленько, ссохся, потемнел кожей, а так почти не изменился с возвращения из долгой военной отлучки.

Защемив брючины стиральными зажимками, Андрей Петрович долил бензина в бачок, подкачал шины, приторочил к багажнику клеенчатую сумку и авоську и вышел со двора.

До шоссе он катил мопед вручную. Улица была горбатой, педали крутить трудно, а вонять и тарахтеть двигателем посреди деревни не хотелось. У колодца ему повстречалась старуха Махонина, вдовствующая бригадирша огородников.

— Здоров, мотоциклист! — бросила она вроде бы небрежно, а с тайным подкатцем в медовом голосе. — Куда собрался?

Было ей уже за шестьдесят, но ни сама она, ни окружающие не считали ее женскую жизнь исчерпанной. Была она еще в теле, при хорошем доме и лучшем в деревне приусадебном участке, да и на сберкнижке кое-что имелось. Андрей Петрович, который по деревенскому счету еще числился в женихах, не хотел впустую крутить женщине голову.

— В район, — сказал он деловито. — Не нужно ли чего?

— Красненького не захватишь? — жеманно попросила бригадирша.

— Будет сделано, — пообещал Андрей Петрович и прибавил шагу.

С пустыми ведрами — плохая примета — шла навстречу ему старуха Богачева, по кличке Сойка, — она первая подымала тревожный звон по деревне, предупреждая односельчан о грозящих опасностях — мнимых в отличие от умной розоватой птицы с синим мазком на каждом пере.

— В район, что ли? — осведомилась Сойка. — Чего бидон не взял?

— А на кой он мне?

— Керосину набрать. Война с Полярисом будет.

— На такую войну керосина не напасешься, — улыбнулся Андрей Петрович. — Баталия предстоит затяжная.

— Как думаешь, будут вкуировать или самим уходить?

— Самим. В леса.

— А может, не дойдет он сюда? — вдруг преисполнилась надежды Сойка. — Гитлер же не дошел.

— У этого — как ты называешь? — Поляриса лошадей больше.

— Я так и думала! — сказала с горьким торжеством Сойка и двинулась дальше, гремя ведрами.

Андрей Петрович продолжал свой путь. Дети дразнили индюка, тракторист Панков, безжалостно растерзывая гусеницами колхозную площадь, кратчайшим путем гнал свой «Минск» к магазину за водкой, шла обычная летняя деревенская жизнь, несколько вялая перед близящейся страдой.

Он вышел на шоссе. Здесь простор открылся широко, и было в нем много всякого: полей ржаных и пшеничных, лесов хвойных и смешанных, столбов высоковольтной передачи и труб по горизонту, и небо разное: над головой синее, в белых хлопочках, в стороне Москвы — задернутое плотными низкими облаками; в противоположном направлении из высокой тучи с белой сердцевиной, похоже, сыпался град, но эта туча сюда не придет, ее в обход поведет, — ласточки высоко-высоко летают. А шоссе сейчас тихое, только молоковозы прошли к городу, солдаты на грузовике куда-то проехали, наверное, на войну с Полярисом, легковушек почти не видать. Он перебрался через кювет на обочину…

* * *

…Серая «Нива» приближалась к Москве. До окружного шоссе оставалось менее ста километров. И неутомимо сидевшая за рулем Жанна торжественно объявила, что разменена последняя сотня. На что задние пассажиры отозвались вялым «ура». После

этого Жанна вновь поделила внимание между дорогой, довольно пустынной в субботний полдень, особенно в направлении столицы: из города изредка проносились запоздниившиеся любители природы, курением приходилось оживлять щелчком зажигалки то и дело гаснущую сигарету, и вконец оттаявшим Игорем. Жанна знала, что приручила этого сыча. Она могла шлепнуть его по руке, потрепать за ухо, толкнуть забытым спортивным движением в плечо, доверительно сжать ему колено — жест, означавший очень многое и разное. Он был твердый орешек, и Жанна чувствовала естественное удовлетворение, что расколола упрямца. К тому же ее взвинчивала какая-то слишком многозначительная тишина позади, тишина совсем иного толка, нежели та, что царила по пути к святым местам. То была свинцовая тишина скуки, несовместимости, сейчас — тишина особого напряжения. Что-то началось. Жанну никогда не занимало, как относятся женщины к ее мужу. Он не принадлежал к числу тех растроганных и податливых людей, которые могут ответить нежностью на любовь и преданность даже не нравящейся им женщине. В Кирилле все происходило автономно. Он сам выбирал, сам все решал и, за редчайшими исключениями, добивался успеха.

Жанна была права. На заднем сиденье творилась своя молчаливая жизнь. Сказать этим людям друг другу было нечего, но что-то такое между ними возникло, что заставляло каждого остро чувствовать близкое существование другого, порой касаться друг друга, словно проверяя и подтверждая наличие этой странной связи: ладонь Кирилла опускалась на круглое колено Ольги, а ее маленькие сильные руки с четкостью автомата отдирали его пальцы, но не отшвыривали прочь, а чуть задерживали и отпускали, слегка сжав, что было и наказанием и поощрением.

Ольга могла бы отодвинуться, изменить позу, ну хотя бы пониже натянуть юбку на ноги, но она этого не делала. При резких поворотах ее кидало на Кирилла, она не сопротивлялась инерции, но, восстанавливая равновесие, бросала возмущенный взгляд на затылок Жанны, целиком перекладывая вину на нее. Кирилл понимал и ценил эту молчаливую ложь, ведь Ольге ничего но стоило держаться за поручень.

Они проносились мимо деревень, райцентров, автобусных остановок, мимо автомобилистов, возящихся со спущенными шинами, туристов, жгущих костры за кюветами, мимо старух, торгующих у дороги молодой картошкой, огурцами, грибами, смородиной, но не уделяли внешней жизни даже мимолетного внимания, равнодушные к окружающему не потому, что ими

владели сильные страсти, а потому, что закрутившая их чепуха давала малое забвение, помогавшее не помнить хоть короткое время о несделанном, неполучившемся, ненайденном, о всех изменах своей сути или представлению о себе; в тусклом возбуждении маленького предательства, учиняемом в отношении друг друга, в жалких потугах представить эту бедную сублимацию игрой оживших чувств, и все же не обманываясь до конца на этот счет и ничуть не сознавая той малой, но несомненной опасности, какую представляла для окружающих их выключенность из взаимной мировой поруки.

Потом, как всегда бывает в подобных обстоятельствах, у каждого сложился свой образ случившегося. Игорь помнил, что он давно заметил фигуру старика с мопедом на обочине, собиравшегося выехать на шоссе. Его еще удивило, что Жанна не снизила скорости, не забрала влево, только коротко посигналила, и он восхитился ее уверенностью и хладнокровием. Видимо, в настоящий шоферский профессионализм входит расчетливое доверие к тем, кто на дороге. Любитель вроде него начинает без толку суетиться: оглушительно сигналит, выворачивает к осевой, а то и за осевую, что чревато неприятностями, резко сбрасывает скорость или жмет на тормоз. А вот как надо: короткий сигнал — прочь с дороги, и все!..

Кирилл тоже мельком уловил: что-то такое впереди, но не придал этому значения, сосредоточенный на красиво напрягшихся икрах Ольги, которая слегка изменила позу. Что ему прежде застило глаза, как он мог не видеть ее пусть коротковатых, но на редкость аппетитных ног!

Ольга вообще ничего не видела, занятая волнующими маневрами Кирилла. Икры у нее отличались особой чувствительностью, и она боялась выдать себя сидящим впереди.

Жанна увидела вполне вовремя старика, по-дурацки сунувшегося на шоссе со своим мопедом, и посигналила ему. Старику полагалось свернуть к закрайку шоссе, но Жанне невдомек было, что он туг на ухо и не услышал ее сигнала. Она еще успела заметить, что на спидометре значилось: 60 км/час — все законно. Она щелкнула зажигалкой и хотела что-то сказать Игорю, но вдруг увидела его перекошенное лицо и глупо открытый рот, из которого выкатилось круглое: «Оп!» Сама по зная почему, она резко затормозила и сразу почувствовала удар наезда. Ее кинуло грудью на баранку, и будто черная молнии вспыхнула в глазах…

Чудовищный толчок, кинувший мопед вперед, с еще большей скоростью перебросил Андрея Петровича через руль на асфальт. Он понял, что умирает, а вместе с ним прекратится и призрачное

бытие Марьи Тихоновны. От невыносимой этой мысли он потерял сознание, а когда очнулся, она опять была в нем, и душа его воссияла, осталась лишь дерьмовая физическая боль в отшибленных местах. Да этим его не испугаешь, не такое видывали. Откуда только пришла эта боль? Может, правда, война?.. Хватит придуряться, удар был сзади, его просто стукнула проезжая машина. Небось самосвал с пьяным по субботнему дню водителем. Он хотел встать, но тут почувствовал, что чужие руки отдирают его от асфальта, пытаются поставить на ноги, причиняя из лучших, конечно, побуждений лишнюю боль. Тогда он принялся сам помогать себе вырваться из очередного смертного капкана. Вздохнул поглубже, собрался весь, выпрямился и понял, что на ногах ему не удержаться. Но добрые люди подхватили его под микитки, подпирали сзади, не давали упасть обратно на землю. Он чувствовал к ним благодарность и несколько помутненным сознанием сообразил, что это пассажиры остановившейся неподалеку машины, они увидели его на земле и поспешили на помощь. Он только не мог взять в толк, почему высокая загорелая женщина в больших темных очках орет на него: мол, сам виноват, почему не послушался сигнала, зачем полез на шоссе!.. Конечно, сам виноват, каждый человек сам виноват во всем плохом, что с ним случается. Искать других ответчиков — хуже душу измучишь. «Нешто я кого виню? — проговорил он заплетающимся языком. — Глухой я. А который сшиб — небось не со зла, а отвечать — кому охота?» Тут он приметил знакомые лица — двое односельчан поделили: подвыпивший Петька Воронов и дурачок Косой, который сразу стал сокрушаться о покореженном колосе мопеда…

…Ольга видела, как сшибли старика, но видела это будто на экране телевизора, а не в действительности. Это принадлежало к печальным случайностям жизни, к дорожным происшествиям, неизбежным, увы, в век огромных скоростей: люди не поспевают внутренне за той чудовищной, смертоубийственной техникой, которую создали для мнимых удобств. Жалко старика, но если слишком сосредоточиваться на подобных печалях, не хватит сердца для тяготы всей жизни. Лишь когда машина, визжа тормозами и разбрызгивая гравий, резко и косо остановилась и Кирилл выпрыгнул наружу, а за ним — Жанна с Игорем, она вдруг осознала, что все происшедшее не кадры телехроники, а на самом деле случилось с ними, они задавили старого человека.

Потом с ней творилось что-то странное, она не помнила, как вышла из машины, но помнила, как ее рвало у обочины. И она видела пострадавшего, невысокого жилистого старика с рассеченными в кровь подбородком, скулой, лбом, с грязными

пятнами на морщинистом лице, мешающими разглядеть и запомнить его черты, в порванных на коленях штанах с бельевыми зажимами внизу и в старой куртке из поддельной кожи, тоже разорванной; видела Жанну в темных очках, широко разевающую рот, но не слышала ни слова из того, что та говорила. Она вообще ничего не слышала, кроме гуда, наполнявшего голову. Потом появились какие-то, тоже безмолвные, мужики, один из них подхватил старика, другой поднял его искалеченный велосипед с моторчиком. Первый голос, который она услышала, был ее собственный, истерически-громко требовавший, чтобы старика отвезли в больницу. Тут ей кто-то больно отдавил ногу, но она продолжала кричать о больнице, тогда Игорь, она только сейчас разглядела его в малой толпе, схватил ее, как клешнями, за локти и поволок к машине. Она упиралась, что-то кричала, он же с белыми от бешенства глазами шипел: «Заткнись!.. Заткнись, дура!..» Она вдруг ослабела и позволила втолкнуть себя в ненавистную машину. Там она расплакалась.

А затем они опять оказались все вместе, только за руль сел Игорь, и неторопливо тронулись дальше. А ей казалось, что после содеянного надо удирать изо всех сил. Она не понимала, как удалось им избежать немедленной расплаты. И тут Кирилл ударил себя по колену кулаком и сказал с ошалелой радостью:

— Ей-богу, пронесло!.. Ну и даем!.. Только с Жанкой бывает такое!..

— Могли записать номер, — заметил Игорь. — Нас задержит первый же пост ГАИ.

— Чепуха! Надо было составить акт на месте. Теперь мы отопремся.

— А вмятина?

— Успокойтесь! — резко сказала Жанна. — Я смотрела — ни царапины, Повезло, что не было свидетелей. А старик так обалдел, что и не понял, кто его сбил.

— И вы… вы… искалечив человека… вот о чем заботитесь? — Ольга заикалась от омерзения.

— Да, я сбила зеваку. Благодарите своего мужа. Это он крикнул мне под руку.

— Так это я виноват? — покосился на нее Игорь с насмешливым интересом.

— Сам знаешь, Игорек, что хуже нет кричать водителю под руку, — укорил Кирилл.

— Ну и подонку же вы оба! — медленно произнес Игорь. — Сразу спелись. А чего же ты сам не предупредил ее? Было бы полезнее, чем хватать за коленки мою жену.

— Ну-ну! — примирительно сказал Кирилл. Так мы черт знает до чего доболтаемся.

— О чем вы все говорите? — с тоской сказала Ольга. — Господи, какие же вы все… Да разве в этом дело? Надо было помочь старику. Отвезти его в больницу.

— Старик пошел своим ходом. — Голос Жанны звучал резко и властно. — Ничего с ним не случилось. Удар пришелся по колесу его драндулета. Он отделался легкими ушибами. Другой раз будет внимательней. А если б мы начали с ним возиться, нас бы накрыли.

— Ну и накрыли бы. Надо отвечать за свои поступки.

— Да?.. — Жанна сняла очки и поглядела на Ольгу блестящими от ненависти глазами. — Виноваты мы все; вы это отлично знаете. Но загремела бы я одна. Ловко придумано!

Ольгу поразили ее слова, гнусную правду которых она сразу приняла. Невероятно было, что это первая поняла и не побоялась сказать вслух Жанна.

— Тут я с вами полностью согласна, — почти спокойно сказала Ольга. — Убили старика мы все сообща.

— Не надо драматизировать, — вмешался Кирилл. — Никто никого не убивал. Старик оклемается. Одно неприятно, что нельзя было дать ему на бутылку и на ремонт мопеда. Это сразу показалось бы подозрительным.

— Опять вы об этом!.. — В голосе Ольги прозвучало отчаяние.

— Там два мужика подошли, — продолжал Кирилл. — Один бусой, а другой косой. Но косил он как-то плохо, то ли от дурости, то ли от излишнего ума. Этот мог запомнить номер. По-моему, он догадался, что наша активность не из чистого человеколюбия.

— Особенно Ольгин воинствующий гуманизм. Что за неумение держать себя? — брезгливо сказал Игорь.

— Неумение или нежелание? — ледяным тоном спросила Жанна.

— Это неважно. Позиция наша крепка — мы ничего не знаем.

— А чего вы так перетрухали? — спросила Ольга. — Посадят ее, что ли?

— Кто знает? — серьезно сказал Кирилл. — Вчерашний коньячок дает выхлоп. А за наезд в нетрезвом виде по головке не погладят.

— Когда мы познакомились, вы пили только рижский бальзам — ложку к чаю.

Это было глупо и ненужно, ответный удар, более увесистый, не заставил себя издать.

— Когда мы познакомились, — Жанна даже повеселела от ловко найденного ответа, — вы купались в костюме!

— Бойтесь несостоявшихся людей, — в пустоту произнесла Ольга. — Это потенциальные убийцы…

— Может, хватит? — сказал Игорь.

— …они не видят ни самих себя, ни окружающих, им ничего не жаль, ничего не ценно, не дорого…

— Остановите машину! — крикнула Жанна. — Я сойду.

— Прекрати истерику! — прошипел Игорь Ольге и впервые на ее памяти добавил грязное ругательство…

…Конечно, ни о каком гостевании у Курбатовых и речи не было. Иванцовы в тот же вечер уехали в Ленинград. Кирилл попил с Игорем чаю на кухне, но Жанна даже не зашла в дом. Она выкатила из гаража «Волгу» и провозилась с ней все время. Кирилл чаевничал, разбирал вещи и прощался с хозяевами. Руки Жанна ополоснула под колонкой, а Игорю и Ольге махнула из окошка машины. За руль опять села она — в чем-чем, а в силе характера ей не откажешь.

Они уехали, а Курбатовы остались в пустом доме, но еще пустыннее было в их душах после так нежданно начавшегося, так странно продолжившегося и как печально завершившегося вояжа. Впрочем, для Ольги ничего не кончилось. Она все время думала о старике, которого они вышибли из седла мопеда, а может, вообще из догоравшей жизни. Что с ним? Как тяжко он пострадал? Он был в шоковом состоянии, и то, что его поставили на ноги и даже повели домой, ничего не значит. У него могло быть все отбито внутри. Хорошо, если врачебная помощь поспела, а могли и до дома не довести. Много ли надо старому, истасканному организму? Но если он даже в относительном порядке, что думает он о людях, поступивших с ним так беспощадно? Сшибли, всего окровенили и даже помощи не подали. Но ведь он не догадывается, что это они. А так ли?.. Похоже, он просто не хотел с ними дела иметь. Но пусть он даже не признал их, ведь те люди, которых он презирает за подлую трусость, все равно они.

Жить с такими мыслями было особенно трудно в пустом жилье, наедине с Игорем, который представлялся ей теперь не мужем, а сообщником по мокрому делу. Она с надеждой подумала о тетради в черной клеенчатой обложке и вдруг с ужасом поняла, что написать о случившемся не сможет. Ни строки, ни слова… Ее охватило отчаяние. Значит, все ее писание гроша ломаного не стоит, раз она не в силах говорить о главном?.. Ее боль была так велика, что она призвала на помощь Игоря. «Знаешь что — угомонись, — посоветовал тот. — Почему ты считаешь, что не бывает безвыходных ситуаций? Вот мы

попали в безвыходную в моральном плане ситуацию. Мы ничего не можем сделать для старика, не угробив Жанну. А разве это справедливо?» — «А бросить искалеченного старика справедливо? И потом — нельзя равнять нашу вину с ее». — «Тебе так хочется ее упечь?» — гадливо спросил Игорь. «Плевать я на нее хотела. Мне старика жалко. Я места себе не нахожу. Меня тошнит от себя самой». — «Хочешь казаться лучше нас?» — «Плевать я на вас хотела! Я не могу жить». — «Тут я бессилен… — Он посмотрел на нее, и в нем проснулось забытое великодушие. — Хочешь, я съезжу туда и узнаю, что со стариком. Он наверняка жив и здоров, и я придумаю, как сунуть ему деньги». Она посмотрела на мужа с благодарностью. «Тебе нельзя ехать. Могут узнать машину. Я сама это сделаю».

…Они не помнили, да, верно, никогда не знали названия деревни, возле которой произошел несчастный случай. И четких примет местности не осталось в памяти, и все-таки Ольга была уверена, что найдет. В человеке заложено столько всякого, о чем он не подозревает дневным рабочим сознанием. Его темные глубины храпят бесчисленное множество случайных и ненужных образов, он может вспомнить такое, чего вроде бы и не было вовсе, его знания об окружающем неизмеримо больше того, чем он привык обходиться, и Ольга не сомневалась, что внутренний толчок подскажет ей, где сходить.

Сев возле Рижского вокзала в рейсовый автобус, идущий в Переяславль, она отправилась в коротенькое, но самое важное путешествие в своей жизни. Они долго ехали по никак не кончавшейся Москве; вот уже вроде иссяк город, и пошли старенькие почерневшие ропетовские дачки, и вновь громадные корпуса загораживают горизонт. Город теснит природу все дальше на север, и не верится, что перед самой войной тут были чистые реки в травяных берегах, березовые рощи, сосново-еловые боры, колодцы с чудесно и печально скрипящим воротом. А сейчас высокие, сверху донизу застекленные корпуса, трубы, гигантские резервуары, какие-то вышки, ажурные столбы высоковольтной передачи, провода с желтыми шарами в предупреждение идущим на посадку самолетам.

Где-то за Братовщиной вспомнилось, что есть еще природа, возделанные и отдыхающие поля, пастбища, избы, проселочные, клубящиеся пылью дороги. И пахнуло в вонький автобус травой, И хвоей, и землей. Она спокойно проехала Загорск, не уплатив дани дивным куполам, а потом возле какой-то невзрачной деревни уверенно поднялась и вышла из автобуса.

Здесь это было, чуть дальше, по ту сторону шоссе, но ее интересовало не место происшествия, а деревня, куда увели

пострадавшего. Были все основания думать, что он местный. Найти его не представляло бы труда, если действовать в открытую, но она должна быть предельно осторожной ради Жанны. Ольга охотно взяла бы все на себя, но никто ей этого не позволит. Надо найти старика, не навлекая на себя подозрений. Помочь ей мог лишь случай, весьма вероятный, принимая во внимание небольшие размеры деревни и сельскую общительность.

Исхаживая из конца в конец пустынные улочки: дети уже пошли в школу, взрослое население занято на работе или по домашности, — она наткнулась возле колодца на востроносую старушку с тесно поставленными и круглыми, как у птицы, глазами. Ольга хотела к ней обратиться, но старуха предупредила ее намерение.

— И чего ты, милка, взад-вперед шныришь? — спросила старуха, укорной ворчбой прикрывая любопытство.

— Дедушку одного ищу, а как звать, забыла. — Ольга лгала с таким спокойствием, будто всю жизнь только этим и занималась. А может, ее тайная душа хранила и эту способность?

— Какого еще дедушку? Тут одни бабушки остались.

— Хороший такой… — Ольга улыбнулась, вспомнив тайной душой, что за всеми ссадинами, кровью и грязью, за всем безобразием, сотворенным с ним наездом, дедушка был правда хороший — благообразный, не поддавшийся дряхлости.

— А мы все тут хорошие. — Старуха обнажила в усмешке свой единственный желтый клык.

— Он на мопеде ездил, — сказала Ольга.

Лицо старухи притемнилось, или Ольге так почудилось? Нет, какая-то хмурость набежала на морщинистый лик, а блеклый взгляд выострился.

— А зачем он тебе?

— Дом хочу снять.

— Кто же это дачу в сентябре снимает, на зиму глядя?

— Сыну воздух чистый прописан. Я на весь год сговорилась.

— Сомневаюсь я чего-то, — сказала старуха. — Андрей Петрович сроду не сдавал.

«Значит, с ним все в порядке! — вспыхнуло в Ольге. — Иначе не стала бы точить лясы старая!»

— Не сдавал, а мне решил сдать. Видать, деньги понадобились.

— Зачем ему деньги? Когда человек при пенсии и своем огороде… Нет, милка, ты чегой-то врешь.

— А зачем мне врать? — храбро сказала Ольга. — Может, просто любезность хотел оказать.

— Это на него похоже, — раздумчиво молвила старуха. — С другой стороны, Пашка к себе его тянул. Пустой дом — отчего не сдать?

— Какой Пашка?

— Да сын его, кузнец.

— А где он живет — Андрей Петрович? Не покажете?

— Нету Андрея Петровича, милка, преставился, царствие ему небесное. — Старуха осенила себя мелким крестом.

— Как преставился?..

— Да помер он. Ты что, русского языка не понимаешь?

— Отчего?.. — пробормотала Ольга, чувствуя подступающую дурноту. — Отчего он помер?

— Отчего люди помирают? — Старуха вздохнула. — От смерти.

— Да как же так?.. — Ольга понимала, что говорит лишнее, ее назойливость странна и подозрительна, и еще немного, старуха обо всем догадается, но ничего не могла поделать с собой. — Жил, жил и вдруг помер. Он же крепкий был, ничем не болел!..

— Да чего ты расплескалась так? Нешто он родной тебе? Или за избу переживаешь?.. — Старуха вскинула зад и уселась на край колодезного сруба. — Неизвестно, отчего он помер. В одночасье. Сидел в избе, куртку зашивал, вдруг повалился, тут ему и причина… Ушибли его, правда, сильно, — добавила, подумав, старуха. — Машина на него налетела, когда он в район ехал. Может, оборвала ему что внутрях. Кто его знает? Врачи разве правду скажут? Он после того случая долго болел, но отлежался и встал. И далее керосинку свою собрал. Пашка шумел, чтобы отец на ней больше не ездил, но Андрей Петрович, окромя покойной жены, никого не слухал. А тут взял да помер.

Ольга смотрела на старуху и видела, как на лоб ей сел маленький черный жучок и подполз под платок, в щелку над теменем.

— Жучок, — сказала она.

— Чего? — не поняла старуха.

— Жучок вам под платок заполз.

— И ляд с ним! Как заполз, так выползет… Андрей-то Петрович век свой прожил, — пустилась в рассуждения бабушка. — Хоть жизнь его не больно баловала, знал и войну и плен германский, а солнце ему всежки посветило. Кого жалко, так это Пашку. Золотой мужик, хоть пыли много. И семью его жалко аж не знаю как.

— А что с ним? — Внутри у Ольги все мелко и часто дрожало, но голос звучал ровно.

— Приятеля на поминках в висок убил.

— За что?

— Да это он Косого-придурка. Тот видел, кто Андрея Петровича сковырнул, и не сказал. Побоялся. Два, говорит, амбала здоровенных, а с ними еще бабища, кобыла, прости господи! Это она Андреем Петровичем распорядилась и еще орала на всех. Видать, из начальства. С такими свяжешься — жизни рад не будешь.

— А номер?.. Чего же он номер-то не запомнил?

— Нешо он понимал в номерах? Говорю — дурачок. А глаз на личность имел вострый. Вот он и ляпнул на поминках: а я знаю, кто твоего батьку ухайдакал. Так чего же молчал? А боялся. Ну, Пашка с обиды и ахнул ему в висок. Кузнец!.. А у дурачка кость слабая. Восемь лет Пашке впаяли, прокурор вовсе десятку требовал. Была семья, и нету семьи: старики на погосте, сын в тюряге… Постой, милка, ты куда? Может, тебе в правление зайтить? Глядишь, и сдадут избу Андрея Петровича. Все равно пустует.

— Спасибо, бабушка, я зайду.

— Правление как раз за магазином.

— Знаю. Спасибо. До свидания.

— Привози мальца-то. Здесь воздух — хрусталь. Соляркой, правда, воняет, но где теперь не воняет, нету таких мест. Постой, я радива два дня не слушала. Как там война идет?

— Хорошо, — заверила Ольга, не понявшая вопроса бабушки.

— Видать, мы крепко стоим. С керосином до сих пор свободно…

Ольга не помнила, как добралась до дома. Зато хорошо помнила, что била мужа чем попало по голове и лицу и он бил ее с не меньшей жестокостью…

Самое трудное было, пока не начались домашние напасти. Но вскоре у сына открылось воспаление среднего уха, а дочь разочаровалась, хотя и не слишком болезненно, в баскетбольном мальчике. Ольге стало не то что легче — просто не оставалось времени для самоедства. Ко всему у Игоря вскочили нарывы в горле. Надо было лечить: ухо одному, горло другому, душу третьей. А тут еще залило кухню живущим под ними соседям, и жэковские умельцы разворотили стену в уборной в поисках источника бедствия. И хотя уборная доказала свою невиновность, стену долго не заделывали, и борьба с домоуправлением потребовала от Ольги много душевных и физических сил. В начале зимы прорвало трубу отопления, потом в поселке исчезло мясо, а Лене потребовались вельветовые джинсы, которых днем с огнем не сыскать. Игорю предложили должность замдиректора

института, он не знал, соглашаться или нет, ворочался ночью без сна и требовал к себе повышенного внимания. На работе Ольгу выбрали в местком: дел так прибавилось, что только успевай поворачиваться. А свою тетрадь в черной обложке она в злую минуту сожгла. И, всплакнув, почувствовала облегчение.

Время шло. Дни сменялись ночами, дожди — снегом, мели метели, раскалялись морозы, вытягивая прямые столбы дымов, потом холода отпустили, засочились сосульки, пахнуло весной. Болели, выздоравливали дети и муж, приходили какие-то люди, отмечались праздники вином и пирогами, повседневность не давала спуску, лишь иногда вспоминалось, что где-то на погосте лежит убитый машиной дед возле старой своей подруги, а в колонии томится по семье скорый на расправу молодой кузнец и что она как-то странно, бессмысленно причастна к чужой беде. Порой она с недоброй ухмылкой думала, что расточительная жизнь так неэкономно распорядилась лишь для того, чтобы на свете стало одним графоманом меньше.

Где-то посреди жаркого, сухого лета, когда пришло время отпусков, Игорь сказал:

— Соберись с духом. Звонили Иванцовы.

— Кто?

— Вот те раз! Забыла Иванцовых?

— Аа!.. Наши сообщники.

Игорь поморщился, помолчал, в последнее время он быстро уставал от жены, но имел привычку все доводить до конца:

— Может, хватит самоистязаний? Неужели тебе еще не надоело?

— Надоело. До смерти надоело. Но я вовсе не так часто этим занимаюсь.

— И правильно делаешь. Они предлагают поехать вместе на Донской лиман.

Она не ответила.

— Ты оглохла?

— Нет, я слышу. Только почему ты так далеко?..

— Я могу подойти ближе. — Игорь с дурашливым видом сделал несколько шагов к ней. — Хватит ломаться. Посмотри на себя со стороны. Эта трагическая маска!.. Противно и безвкусно.

— Противно и безвкусно, — повторила она, словно прислушиваясь к звучанию этих слов. — Наверное, ты прав. Что же ты им ответил? Согласился?

— Сказал, что должен посоветоваться с тобой. Знаешь, они против тебя ничего не имеют, хотя ты хотела закопать Жанну. Кирилл сказал, что нам вместе будет лучше, чем с другими людьми.

— Он прав. — Ольга несколько раз кивнула головой. — Мы же из одной банды и повязаны общей мокрухой.

— Перестань… Старик отравился тухлой рыбой. А может, у него был инфаркт. Или диабетическая кома. Откуда мы знаем?

— А тебе легче, что ты не знаешь?

— Легче. Старик встал и пошел — это я видел. Что было с ним дальше — не знаю.

— Знаешь: он скоропостижно умер.

— Ежедневно скоропостижно умирают сотни, тысячи людей. Всё! Я не могу тратить на это остаток жизни.

— Ты счастливый человек. Вы все счастливые люди.

— Так едешь ты или нет?

Она долго смотрела на него — и чем дольше смотрела, тем хуже видела. Он как бы расплывался, терял очертания: съеживался, умалялся, будто поглощался туманом.

— Как же я поеду? — сказала она этому крошечному призраку. — Ведь я осталась на дороге…

Еще раз о бое быков

Рассказ

Кто только не писал о корриде: Проспер Мериме, Бласко Ибаньес, Эрнест Хемингуэй — имена самых прославленных, имя всем остальным — легион. И художники не обходили вниманием бой быков: Гойя создал знаменитую графическую серию «Тавромахия», ряд живописных полотен, Пикассо всю жизнь рисовал тореадоров и быков. Первый вопрос человеку, побывавшему в Испании: «На бой быков ходили?» Уже потом могут спросить о Гойе, Веласкесе, Эль Греко, национальном танце фламенго, о Толедо, Севилье и серенадах. И я не избег общей участи, вернувшись из страны Сервантеса: ну как, видел живых тореадоров? Видел, видел! Чуть не целое представление высидел в Мадридском цирке: четыре боя из шести положенных, но больше меня на корриду не заманишь. Почему? Вот об этом и поговорим.

В 1830 году Проспер Мериме писал из Мадрида: «Бой быков *все еще* (разрядка моя. — Ю. Н.) пользуется фавором в Испании, но среди представителей высших классов редко кто не испытывает некоторого стыда, признаваясь в пристрастии к подобного рода зрелищу». Из приведенных слов видно, что Мериме предвидел скорое угасание корриды: средние классы, как всегда, потянутся из духа подражания за высшими, и бой быков или выродится в зрелище для бедных, или вообще прекратится. Но минуло полтораста лет с письма Мериме, а коррида не думает спускать флаг, все так же гремит и сверкает ежегодный праздник Памплоны, так же полны до отказа цирки, а среди зрителей и министры, и генералы, и крупные чиновники, богачи и знать, профессора, деятели искусств. Если зрелище демократизировалось, то лишь в той степени, что и само общество. Неизмеримо расширилась география корриды, охватив всю Латинскую Америку. Обоюдоострая шпага матадоров сверкает в Италии и Франции. И все же бой быков в этих странах не очень привился вопреки всем усилиям блистательного матадора и очень волевого человека Луиса Мигеля Домингина, который был одержим идеей распространить корриду по всему миру. Он предлагал устроить показательные выступления и в нашей стране, не помню уже почему эта затея сорвалась.

Любопытно, чти коррида имеет настоящий успех там, где звучит испанская речь. В землях, где сделана прививка испанской

кропи, что, естественно, сказывается на обычаях и нравах, на пристрастиях и всем стиле жизни. Будь дело только в огненном испанском темпераменте, Италия непременно стала бы второй родиной корриды. Но даже женитьба лучшего матадора Испании Домингина на первой итальянской красавице Лючии Бозе не превратила итальянцев в рьяных поклонников боя быков.

Футбол, родившийся в Англии, давно забыл о своих корнях и стал интернациональным, всемирным безумием. Коррида осталась испанской. Надо полагать, это жестокое, острое зрелище чему-то соответствует в психологии народа.

Суровые горы, нашествия завоевателей и беспощадная борьба с ними формировали характер нации. Средние века, которые ныне так превозносят на Западе над языческим возрождением за силу и чистоту христианской идеи, подчинившей себе мировоззрение, культуру, искусство, быт, не отличались нежностью — религиозное рвение воплощалось в пытках, казнях, кострах, на которых сжигали заподозренных в ереси. Но нигде так ярко не пылало очистительное пламя, нигде так естественно не вписывалась виселица в пейзаж, как в Испании, нигде так не изощрялись пыточных дел мастера — дробящий кости ног железный сапог недаром получил название «испанского». Костры, виселицы и застенки усилиями святой инквизиции перенеслись в другую эпоху, в век Мурильо и Веласкеса. При такой закалке трудно было пронять испанца буколическими развлечениями.

Он хотел страсти, огня, крови, игры со смертью. Он получил фламенго и хоту, петушиные бои и деревенские схватки на ножах, где зрители делают ставки, он получил корриду. Смерть дружественна душевной жизни испанца. Его любовь — это песни и кровь. Серенада под балконом красавицы, стук мечей, распростертое тело в бледном свете равнодушной луны. «Много крови, много песен для прелестных льется дам…» Кровь не отпугивала, а притягивала. И уж если где-то должна была возникнуть коррида, то, конечно, в Испании.

Меняются времена, но не меняются нравы. И в монархической, и в республиканской, и в аристократической и вновь монархической Испании бесчисленные толпы с неиссякаемым энтузиазмом устремляются на корриду. И хотя мне показалось, что пыл вроде бы пригас, не чувствовалось того накала страстей в Мадридском цирке, который обещают Мериме, Ибаньес и Хемингуэй, не стоит доверять этому впечатлению. Ничего не изменилось и никогда не изменится. Дело просто в том, что сейчас на арене нет великих героев, старые сошли, а новые еще не нарастили мускулов. Смена поколений, как в спорте. Есть одаренные и умелые мастера, есть обещающая

молодежь, есть любимцы, но нет кумиров, таких, как Домингин или Ордоньос, не говоря уже о Манолете. Да и коррида, на которую я попал, была вроде оперы с третьим составом.

В своей обычной хладнокровной манере, Мериме восхищался корридой, признавая и оправдывая ее жестокость… «— Ни одна трагедия на свете не затрагивала меня до такой степени. За время моего пребывания в Испании я не пропустил ни одного боя и со стыдом признаюсь, что бои со смертельным исходом я предпочитал тем, где быков только раздразнивают…» Бласко Ибаньес основательно живописал жестокость зрелища в чуть устаревшем и все-таки очень хорошем, честном романе «Кровь и песок». Хемингуэй, очарованный эстетикой корриды, не скрывал грубую и тягостную физиологичность творящегося на арене. Но сейчас на Западе о корриде принято писать с какой-то противной усмешечкой, подчеркивающей несерьезность зрелища и незатронутость автора.

Откуда это идет? После Хемингуэя писать о бое быков всерьез неоригинально. Куда удобнее поза эдакой усмешливой снисходительности, мол, на такие «ужасы» нас не возьмешь. Конечно, после второй мировой войны, Освенцимов, Майданеков, после двух атомных бомб, разорвавшихся над Хиросимой и Нагасаки, после Вьетнама, после тех чудовищных содроганий, которыми природа напомнила о себе распоясавшемуся человеку, не говоря уже о всех прочих менее масштабных зверствах людей и стихий, наверное, как-то неловко ужасаться тем, что убивают на арене быка, которого иначе забили бы на бойне. Но вот какое дело: смерть никчемного Ивана Ильича потрясает больше, чем газетное сообщение о массовом уничтожении. Тут нет ничего удивительного и ничего позорного для человека. Ивана Ильича мы знаем, о жертвах же массового уничтожения нам известно только число. Мы не видели их лиц, их глаз, их мук, как видели лицо, глаза и муку Ивана Ильича, в нас потрясено и возмущено гражданское чувство, по оно далеко от слезного мешка. Есть и более убедительный пример. Мы не знаем тех миллионов быком, которых ежедневно забивают на всех бойнях мира, и тех милых телят с девичьими глазами, и тех ягнят и поросят, и нам нет до них дела. Не всем, правда, Толстому было дело, вегетарианцам есть дело. Да ведь подавляющее большинство человечества принадлежит не к травоядным, а к хищникам. Но быка, которого выгоняют на арену, мы знаем, он мгновенно выделяется для нас из мирового бычьего стада и обретает индивидуальные черты. Вот он стоит перед нами, ошеломленный громадной чашей цирка, многолюдством и шумом, не бык вообще, а отдельная живая особь, со своей, только ему принадлежащей статью и окраской, со

своими рогами, копытами, хвостом с кистью, своим взглядом и выражением, своим характером, повадками, единственный на свите, копий но существует. Уже в первые секунды становится ясно: этот — литой, как из одного куска слаженный, смельчак, а этот — робковатый увалень, Один ошарашен, другой гневно удивлен, третий взбешен, четвертому кажется, что он не туда попал, лучше вернуться в темный тесный закут. А потом эти быки начинают жить перед нами, жить совсем коротенькой, но много вмещающей в себя жизнью, бороться, нападать, отступать, выжидать, кидаться, являть героизм, робость, смятение, испытывать жгучую боль, возмущение, ненависть, усталость, смирение, последний гнев, смертную оторопь. Иной бык дерется до последнего, весь скользкий от крови, утыканный бандерильями, исколотый пикой, измученный мулетой, он гибнет, но не сдается. А иной, горячий поначалу, вдруг поникает, словно угадав свою обреченность и позорные правила игры без выигрыша, в которую его заставили играть.

Все так, но чувствительный этот лепет не имеет никакого отношения к сидящим на каменных ступенях цирка. Ни малейшего сочувствия к животному тут нет. Хорошему быку от души желают эффектной кончины, быка, не склонного подыгрывать своему убийце, презирают и ненавидят. Хемингуэй совпадал во мнении с цирковой толпой: хороший матадор показывает быку, чего тот стоит. Когда же быка приканчивают по высшему классу: красиво, чисто, с одного удара, он разделяет славу матадора и, полный благодарности, отправляется в зверьевый эллизиум. При этом для Хемингуэя каждый бой был душевным событием. А нынешние заказные писаки посмеиваются: любопытно, занятно, ну, какая там жестокость — чепуха!..

От корриды мысль невольно обращается к охоте. Страстная и добычливая охота (тогда еще была дичь) окрасила целый период моей жизни и литературной работы. Я считал: раз есть дичь, должен быть и охотник. Любя природу и все населяющее ее, я спокойно укладывал из своего великолепного «зауэра» изготовившихся к любви селезней, томительно хоркающих вальдшнепов в смеркающейся просеке, токующих на рассвете тетеревов и прочую лесную, озерную и болотную дичь, не испытывая угрызений совести и даже мимолетного сожаления.

Все же охотника из меня не вышло. Я так и не смог выстрелить по зверю, давал уйти взятому на цель зайцу, упустил — сознательно — к великой ярости друзей-охотников, вышедшего прямо на мой номер лося, столь же бесславно охотился на лисиц. Конечно, это едино, что убить глухаря, тетерева, крякву или лося, лисицу, зайца, но, видать, в четвероногих я сильнее ощущал

родную кровь и не мог переступить какой-то внутренний запрет. А потом я вовсе прекратил охоту, раз и навсегда поняв, что это атавистическое занятие вредно для души. К тому же при нынешнем оскудении природы человек должен быть сориентирован в сторону, прямо противоположную истреблению.

Мои отнюдь не новые и не претендующие на новизну рассуждения ничего не стоит оспорить, безнадежно запутав вопрос. Вот самый простой путь. Вы что — вегетарианец? Нет. Значит, вы спокойно едите трупы животных, убитых для вас другими? Да, Выходит, все дело в том, чтобы убивали эти другие? Если хотите — да. Нравственное чувство натренированных в своем деле профессионалов не испытывает ущерба и потерь, им не грозит соскользнуть в преступление. Вы думаете, это убедительно? Не знаю. Возможны и такие возражения: нельзя огулом защищать всех животных, есть вредители полей и садов, хищные волки и ядовитые змеи, таежный гнус, комары, паразиты. Но коль священна всякая жизнь, то и эти жизни священны? Оставим в стороне соображение о том, что понятие вредности той или иной особи относительно и динамично. Вредное сегодня может оказаться полезным завтра. Останемся в державе нравственности и на заданный вопрос ответви твердо: да! Значит, нельзя убить комара, клопа, муху… Можно. В доказательство приведу пример из жизни Льва Николаевича Толстого, которого никак не обвинишь в легкомысленном отношении к символу его веры: не убий.

Однажды за вечерним чаем в Ясной Поляне Толстой прихлопнул комара на лбу своего гостя, друга и последователя, знаменитого Черткова. Несвойственный воспитанному и сдержанному хозяину жест разозлил самолюбивого Черткова и крепко озадачил. Он решил проучить графа. «Боже мой, что вы наделали! Что вы наделали, Лев Николаевич! — произнес он с таким страдальческим выражением, что Толстой не на шутку смутился. — Вы пролили кровь, отняли жизнь у божьей твари! Разве дано нам право распоряжаться чужим существованием, как бы мало и незначительно оно ни было?» Очень ловко, убедительно и безжалостно Чертков обратил против Льва Николаевича его же собственное учение. Толстой зажалел погубленного комара и тяжело омрачился. Чертков почувствовал себя отомщенным. Каково же было его разочарованно, когда неотходчивый Толстой на удивление быстро повеселел. Поймав его недоуменный взгляд, Толстой с лукавой улыбкой пояснил: «Всё, что вы говорили, святая правда. Но нельзя так *подробно* жить».

То-то и оно: нельзя так «подробно жить» и так педантично,

крючкотворно мыслить. Надо доверяться живому, широкому и непосредственному чувству, которое само произведет выбор…

Бой быков еще безнравственней охоты. Дичь имеет шанс спастись, у быка такого шанса нет. Он не может выиграть ни жизни, ни даже отсрочки. Как бы ни был он могуч, отважен, удачлив, он обречен. Он может победить матадора, пронзить насквозь рогами, даже прикончить, все равно с арены живым он не уйдет, его уволокут крючьями.

В той единственной корриде, на которой я побывал, произошел случай, когда по всем законам божеским и человеческим быка следовало отпустить в жизнь. То был четвертый бой программы и второй бой Рамона, лучшего из молодых матадоров, работавших в этот день на арене. Юноши только начинали свой путь — невысокие, стройные, с медальными оливковыми лицами, черными как смоль волосами, они казались издали на одно лицо. Но Рамон был восходящей звездой корриды, а его товарищи ничем не блистали. Бесталанность сводила на нет их отвагу. Они пытались работать близко к быку — в духе Ордоньеса, но бык обращал их в бегство. И убить с одного удара, как это сделал в первом своем бою Рамон, они не умели. Три шпаги понадобились Пепе, чтобы бык наконец рухнул. У быка Лопеса кровь пошла горлом, что означает неверный удар — грубейшая ошибка матадора, которую не прощают зрители. Но расскажем все по порядку.

Итак; корриду открыл Рамон с хорошим, не слишком крупным, по воинственным и резвым быком, которого не приходилось раззуживать на поединок. Бык сразу пошел в атаку, едва мулета затрепыхалась перед его глазами, и дал возможность гибкому и смелому матадору исполнить все положенные пассы. Смысл всего, что проделывается на арене: предельно утомить быка, «подготовить» к последнему, завершающему удару шпагой. Этой реальной задаче подчинена вся эстетика зрелища. Быка «доводят» прежде всего мулетой, чье назойливое мелькание перед глазами заставляет разъярившееся животное кидаться очертя голову на верткого человека, делающего из него дурака. Рамон не боялся в какие-то моменты поворачиваться к быку спиной и делать несколько шагов в вершке от острых рогов. За мулетой следуют бандерильи — палки с шипами, которые матадор с разной степенью ловкости втыкает в загривок быка, потом появляется пикадор верхом на тощей кляче. Он вонзает пику в спину быка и, навалившись на древко всей тяжестью, удерживает быка на расстоянии, не давая кинуться. Обычно бык все же преодолевает упор, достигает всадника и бьет рогами в толстый кожаный фартук, защищающий лошадь, и в железные сапоги

пикадора. Сплошь да рядом и лошадь и всадник оказываются на земле.

Раньше лошадь не была прикрыта, и бык вспарывал ей живот, кишки вываливались наружу. Вся тройка матадоров спешит на помощь поверженному и, размахивая плащами, уводит быка. Обычно тут ярость быка достигает высшего накала. И Пепе и Лопес, спасаясь от рогов, переваливались через невысокую ограду арены под улюлюканье зрителей. Пикадора поднимают вместе с лошадью, и он опять принимается за свое. Скользкого от крови, истыканного бандерильями, измученного быка снова дразнит матадор, вконец раздергивая зверьевую душу, после чего закалывает! Есть только одна точка на загривке быка, куда должна войти двулезая шпага, чтобы, пронзив твердые мышцы, достигнуть тяжело стучащего бычьего сердца. Хорошие матадоры чаще всего попадают в эту точку. Попал и юный Рамон. Бык глянул удивленно, встряхнул головой и вдруг замер, прислушиваясь к чему-то свершающемуся внутри его, со странным, будто сторонним и наивным выражением, — а внутри его свершалась смерть, которой требовалось время, чтобы прекратить все жизненные процессы в такой огромной массе, — вдруг колени его подломились, и он медленно, как в рапидной съемке, повалился через голову и откинул ноги. И в то же мгновение сидевшая рядом со мной женщина, средних лет туристка, увешанная фото- и киноаппаратами, вскрикнула и потеряла сознание. Сразу подскочили служители и унесли ее. С той же натренированной быстротой другие служители уволокли крючьями и мертвого быка, его темное тело прочертило широкий след на песке.

Счастливый, улыбающийся Рамон вышел раскланиваться. Трибуны неистовствовали. Я тоже изо всех сил хлопал в ладоши, не потому что зрелище мне понравилось, но я был благодарен матадору, что он избавил быка и меня от лишних мук. Один мастерский удар, и дело сделано. Бык вроде не очень мучился, я ожидал неизмеримо худшего. И сейчас вместе со всеми громко возмущался скаредностью президента корриды, отказавшего Району вопреки нашим требованиям в ухе убитого быка. Иные знатоки утверждали, что юный матадор заслужил оба уха, но президент разрешил лишь триумф. Рамон обошел трибуну, потрясая в воздухе рукой и ловя летевшие к нему шляпы. Зря пожадничал президент, больше поводов для награждения не было. И усугубляемая бездарностью исполнителей, жестокость зрелища стала невыносимой.

Утром, уже с билетом на корриду в кармане, я по туристской ненасытности заскочил в кино. После обычных реклам и

киножурнала на экране появился очаровательный молочный теленок и заскакал по заросшему травами и цветами весеннему лугу. Палевая шелковая шкурка золотилась под солнцем. Его позвала мать, белая, прекрасная, как обращенная в корову По, возлюбленная Юпитера. Подскакивая сразу всеми четырьмя ножками, он помчался на зов. Повернув голову, корова принялась облизывать сына огромным травяным языком. Весь влажный от ласки, он сунулся ей под брюхо и, чавкая, сопя, стал пить молоко из тяжелых сосцов. А счастливая мать прикрыла глаза белыми жесткими ресницами.

Я сразу почуял недоброе и не ошибся. Это был трехчастный документальный фильм о ферме, где выращивают боевых быков. Оказывается, это целая наука — выходить, выкормить и воспитать быка для нескольких минут на цирковой арене. Золотистый теленочек становится бычком, шкурка его темнеет, крошечные вздутия над плоским лбом превращаются в острые, как ножи, рога, наливается мускулатура, крепнут кости, и вот уже матадор-тренер хлопает перед его носом мулетой, пробуждая первую злость, а затем — кульминация и одновременно финал короткой жизни: огромный, мощный, литой бык выбегает на арену навстречу стройному, худому человеку с печальным смуглым лицом, которого Пикассо умел изображать одним росчерком карандаша. И все — залитый кровью, он падает на песок, сраженный твердой рукой Домингина, и перед его заволакивающимся взором возникает солнечная лужайка, высокая трава, цветы и нежный травяной язык матери, вылизывающей ему нос, темя, глаза…

Волнение, испытанное во время первого боя, помешало мне вспомнить о фильме, но когда появился бык Пепе, я сразу представил себе его палевым теленочком. Я уже говорил о том, как плохо работал Пепе. Трижды наносил он удар, шпага проникала глубоко в плоть животного, но острие не находило сердца. И на это горестное зрелище, где бездарность оборачивалась ненужной жестокостью, в моем мозгу наплывала лужайка в цветах и безмятежная радость малютки бычка.

Две шпаги остались в теле быка, как бандерильи, а неумело всаженные бандерильи он брезгливо стряхнул прочь. Я ждал, что публика освищет безрукого убийцу, прогонит с арены и другой матадор прекратит мучения животного, но торсида, хоть и охала обвально при очередном промахе, почему-то щадила неудачника. Плоские вонючие кожаные подушки, защищающие зад от стылости каменных седалищ, не летели на арену. А Пепе все шел и шел на быка с нарочитой бодростью, но не было в нем ни бодрости, ни уверенности, как не было стыда и отчаяния,

овладевавших матадорами Хемингуэя, когда они не могли поразить быка. Я сидел довольно близко к арене и хорошо все видел: на смуглом, залитом потом лице была лишь тупая непреклонность человека, который обязан довести дело до конца. Это его профессия, другой нет и не будет, и он не может отступить. Лоск матадора сползал с Пепе с каждой новой неудачей, он все более становился похожим на крестьянина, у которого крепко не заладилось какое-то хозяйственное дело. Быка он добил кинжалом.

Лопесу достался самый большой и безрассудно смелый бык странной свинцовой масти. Эта зловещая масть и чудовищные рога радостно возбудили торсиду. Но я-то видел его палевым теленочком, влажным от материнского облиза. Этот бык поистине показал матадору, чего тот стоит — три копейки в базарный день. Он вырвал рогом мулету из рук Лопеса и прогнал его с арены. Он не дал воткнуть ни одной бандерильи и в довершение всего дважды опрокинул пикадора вместе с лошадью. Но все его подвиги были тщетны. Лопес проколол ему легкое, и он долго, изнемогая, захлебывался кровью, прежде чем рухнул.

Но самое безотрадное произошло с четвертым быком, когда снова вышел на арену любимец публики Рамон. Его бык был не так громаден и тяжел, как бык Лопеса, но по бойцовым качествам еще выше. Тот не управлял своей яростью, а этот вышел драться и победить. Ему невдомек было, что и победителя все равно венчает смерть.

Бык Района не тратил себя даром, он выжидал, приглядывался и вдруг кидался вперед, заставая матадора врасплох. Рамон был юноша гордый и уже избалованный успехом, он не хотел ни отступать, ни уступать быку. Острый рог порвал ему куртку, распорол рукав, задев и окровавив предплечье. Раз он споткнулся, упал, но, оттолкнувшись ногами от бычьей морды, сумел избежать удара и вскочить на ноги. Толпе все это нравилось. Но что-то утратилось в действиях Района — легкость, очарование. Бык измотал его. Рамон был талантливый матадор, но бык оказался талантливей. И хотя в отличие от Рамона он дрался впервые, казалось, что у него больше опыта, расчета и целенаправленной ярости. Я глядел на этого мощного бойца, и образ палевого теленочка не тревожил мне душу.

Бык со странным спокойствием принял бандерильи, он словно не хотел расходовать себя по пустякам, а пикадора опрокинул раньше, чем тот вонзил в него пику. Пикадор, видимо, ошибся. Он лежал раскорячившись, как краб, в коже и железе, и над ним хлопотали служители. Неуклюжая возня кончилась тем, что пикадора унесли на руках, а лошадь увели. За быка взялся

другой пикадор, но то ли он трусил, то ли был неопытен в своем деле. Ему не удалось подготовить быка для Рамона, который совсем выдохся.

По-моему, все сидящие на трибунах знали, что удар у Рамона не получится. Так и было, шпага встретила кость лопатки и сломалась. Району подали другую шпагу. Бык ждал его, понурив лобастую голову. Но, когда Рамон ударил, бык косо посунул плечом и выбил оружие из руки матадора. Шпага отлетела метров на десять. Нет ничего унизительнее для торьеро, когда шпага валяется на песке. Но Району пришлось испытать это унижение еще дважды. На трибунах послышался смех, грозный смех презрения.

Рамон медленно приближался к быку. Пот заливал его смуглое лицо, стекал на глаза, он резко смаргивал капли. Полуослепленный, с ушами, залепленными, как грязью, насмешливым гулом толпы, он нанес удар, и шпага вошла чуть не по рукоятку. Бык постоял и медленно, спокойно пошел прочь с торчащей из тела шпагой, охлестывая бока тугим хвостом. И тут Рамон заплакал. Он плакал на глазах огромной, разозленной, мстительной толпы и по-деревенски утирался рваным рукавом.

Мне вдруг показалось, что столь полный и очевидный провал человека обернется спасением животному. Ведь бык победил по всем статьям. Израненный, окровавленный, со сталью в теле, он выстоял, явив поразительную силу жизни. Пусть он уйдет в те же ворота, из которых выбежал на арену. Пусть залечит раны, придет на пастбище, вспомнит вкус свежей, сладкой травы, покроет корову, пусть в темной для нас душе своей испытает уважение к человеческой справедливости. Давайте считать, что он может это испытать, ведь мы ничего не знаем всерьез не только о тех жизнях, которые нас окружают, но даже о себе самих. Одно мы все же знаем, что и мудрейшие научные теории объясняют ничтожно мало в той великой тайне, которую являет собой носитель жизни. Может быть, справедливость, явленная быку, всего нужнее нам самим. Какое там!.. Уже получив смертельный удар, шатнувшись и валко переступив ногами, бык остался стоять, обводя глазами цирк, словно хотел запомнить каждого и покарать непрощением. Он был мертв, но отказывался упасть на колени перед теми, кого презирал всем своим огромным мужественным сердцем…

Вечером я видел Рамона, Пепе и Лопеса в нашем отеле, где каждый из них занимал по крошечному номеру на последнем этаже. Такие номера сдаются обычно на ночь или на несколько часов. Бедные мальчишки! Без своих расшитых курток и поясов просто уличные продавцы газет…

Два старика

Рассказ

Сперва о памятниках. Каждый памятник призван увековечить и возвысить в сознании потомков то или иное историческое лицо и дела его. Естественно, что в памятнике дается обобщенный, идеализированный (в большей или меньшей степени) образ ушедшего.

Но существуют исключении.

Первый памятник-карикатура появился в царской России. Как это ни дико, его поставил своему отцу, покойному императору Александру III, последний Романов, редкостно несчастливый во всех начинаниях. Трудно вообразить более злую сатиру не только на царя Александра, но и на все самодержавие, чем эта скульптура, созданная живой и своенравной фантазией ваятеля-самоучки Паоло Трубецкого. Чудовищного всадника и сейчас можно увидеть во дворе Михайловского дворца, где расположен Русский музей. Глумился ли талантливый скульптор над своей моделью, или — человек взбалмошный, неуправляемый, странный — не ведал, что творил, — не знаю. Но трудно поверить, чтобы такой откровенный гротеск создавался помимо замысла и намерений, нельзя так преувеличивать роль бессознательного в творческом акте.

Граф Витте пишет в своих мемуарах о том потрясении, какое испытали приближенные покойного императора на торжестве открытия памятника, когда сдернули покрывало и ошеломленному взору сановников предстал страшный истукан — не то великан-городовой, не то разжиревший казачий сотник верхом на бегемоте. Царь и лошадь стоили друг друга. Вся косность, тягостность и безнадежность отжившего режима чугунно (хоть памятник бронзовый) застыла в этом зловещем символе. А это и в самом деле был символ, могучее и страшное обобщение, ибо живой царь Александр при внешности гостиничного швейцара из бывших героев русско-турецкой войны был умнее и значительнее всех остальных Романовых, вместе взятых. Он единственный из них понимал обреченность русского самодержавия и близкий конец царствующей три столетия династии. Он надумал, и это была сложная по тому времени и уровню русской государственности мысль, что спасение России (от революции) только в мужике. Следствием его идеи, покорно и тупо усвоенной наследником, возник при дворе сибирский ямщик

Носых, он же Старец, он же Гришка Распутин…

Еще один памятник-карикатура установлен в Осло, на площади «7 июня 1905 года» — с этого дня отсчитывается норвежская самостоятельность — в честь короля Гокона. То был первый норвежский король, взошедший на престол воспетого Ибсеном Гокона Гоконсена, когда Норвегия расторгла унию со Швецией и стала независимым государством. Он был родом из Дании, но норвежцы быстро признали его своим. Король Гокон, проживший очень долгую жизнь, — больше чем эпоха в жизни Норвегии, это вся ее новая история: при нем были совершены Великие географические открытия, блистали имена Нансена, Амундсена, Свердрупов, при нем Норвегия подверглась гитлеровской оккупации (король нашел приют в Англии), его голос прозвучал в рудничной штольне Киркенеса, где скрывалось от немцев все население городка и окрестностей, когда Советская Армия разгромит войска генерала Рандулича и начала освобождение Финмарка и всей Норвегии, при нем залечивались раны войны.

Гокон был очень худ и высок — под два метра. Скульптор беспощадно обыграл эти две характерные особенности облика норвежского короля. Норвежцы в массе своей крайне демократичны; в начале прошлого века они упразднили дворянское сословие, им ненавистны пышность, торжественность, этикет, всякий намек на привилегии, что неизбежно при королевской власти, даже урезанной парламентом до чистого представительства.

Для жителя Осло нет большего удовольствия, чем, встретив нынешнего короля Улафа в вагоне метро-трамвая, подымающегося на Холмен-коллен, где монарх прогуливает своих собачек, осведомиться ворчливо, сколько он вчера «принял». При этом обращаются на «ты». Гокон не допускал такой фамильярности, вот и стоит пугалом на площади, названной в честь гордой даты.

Третий памятник-карикатура находится в Лондоне, неподалеку от Вестминстера. Он изображает тучного человека, чуть посунувшего вперед голую, лысую голову с мощным сводом лба и темени, словно приглядывающегося и прислушивающегося к жизни, к тому, что творится вокруг. На нем плотно обтягивающее пальто с поднятым воротником, со спины он похож на ласточку. И это невероятно, ибо в облике человека, которому он посвящен, не было ничего от птицы: приземистый, коренастый, грузный, он был так прочно прикован к земле, что и Гераклу не оторвать. С других точек памятник дает представление о привычной сути знаменитого Уинстона Черчилля.

Похоронен бывший премьер в Чартвелле на фамильном кладбище Черчиллей-Мальборо. Могильная памятная плита с его именем находится сразу за порогом Вестмиистерского собора, на самом почетном месте, этим как бы утверждается, что не было, нет и не будет в Англии государственного деятеля значительнее Уинстона Черчилля. Морской министр в первую мировую войну, немало сделавший для уничтожения подводного и надводного флота кайзера Вильгельма, он стал премьером во вторую мировую войну, в самые страшные за всю историю Англии дни, с его именем связана в сознании соотечественников одержанная победа. Популярный на Западе Шарль де Голль — фигура романтическая, Черчилль — олицетворение трезвой буржуазной государственности. И все-таки Сталин обвел его вокруг пальца. Не помогли Черчиллю ни пресловутый ум, ни опытность, ни проницательность, помноженная на ненависть, — новую карту Европы он дал скроить Сталину в близорукой надежде на вечные очаги напряжения, которые якобы свяжут по рукам и ногам Советский Союз. Крупнейший политик старого мира ничего не понял в тех новых формациях и отношениях, какие неминуемо должны были возникнуть в послевоенной Европе. Он, правда, быстро, хотя и запоздало, спохватился и уже через год после окончания войны произнес свою знаменитую поджигательскую речь в Фултоне.

Вот что значит слишком задержаться во времени, которое тебе уже не принадлежит. В личном плане Черчилль — фигура трагическая. Нет ни малейшего сомнения, что он любил Англию с ее особняками, коттеджами, парками и садами, старинными замками, фамильными кладбищами, туманами и горьковато-ясными осенними днями, дымящими каминами, грелками, пудингом, традициями, старомодностью, независимостью, с ее Вестминстером и Тауэром, где старые злые вороны состоят на государственной службе, с мешком шерсти под задницей лорда-канцлера в палате лордов, с ее Хоггартом, Констеблем, Рейнольдсом, Гейнсборо, Тернером (он и сам был отличным художником), с Шекспиром, Теккереем, Диккенсом, Маколеем, Карлейлем (он сам был превосходным историческим и политическим писателем), с ее бурной историей и предприимчивыми героями, с ее ретроградностью, упрямством и стойкостью, столь бесспорно доказанной в войне с Гитлером, с ее институтами и учреждениями, с ее консервативностью, в которой был уверен, даже когда верх взяли лейбористы (он свысока называл их лидера Эттли «овцой в овечьей шкуре»); он любил Великобританию с ее колониями и прежде всего с Индией, сокровищницей английской короны, с большими и малыми

владениями во всех частях света, с ее гордым (некогда) морским флотом, готовым орудийным огнем подавить любое недовольство замордованных туземцев, со всей беспощадностью грабительской колониальной политики (в молодости сам усмирял восставшие индийские племена), видя в ней доблесть и верность заветам отцов. Такой, и только такой, хотел он видеть Англию.

Ему дважды довелось быть на авансцене истории в ключевые, поворотные моменты мировой судьбы. Правда, когда сокрушали кайзеровскую Германию, первая роль принадлежала не ему, а Ллойд-Джорджу, но политическое влияние Черчилля уже тогда было очень велико. В войне с гитлеровцами он стоял у штурвала своей страны. Ни в первый, ни во второй раз его нисколько не интересовала такая условность, как «человечество», он служил лишь Великобритании, воплощенной для него, конечно же, не в миллионах рядовых граждан, полуграждан, слуг и рабов чудовищно расползшейся империи, а в классе господ, которому он и сам принадлежал по рождению, воспитанию и убеждениям. И когда он увидел, что эта империя начала стремительно разваливаться, что могучая Британия — «владычица морей» стягивается в малый остров на западе Европы, что моральный распад поразил метрополию, где все разом загнило: идеи, учреждения, министры, то, не желая быть могильщиком британской славы, как он ее понимал, добровольно сошел с мировой арены. Правда, и в своем отдалении он еще пытался играть льва, но за хрипло осевшим от старости рыком не было силы, лишь страх и ненависть.

Когда-то многих людей в нашей стране поразил кадр кинохроники: прибывший в Москву (то ли перед концом войны, то ли уже после победы — не помню) Уинстон Черчилль обходит в аэропорту почетный караул. Он шел медленно, задерживался возле солдат, несущих службу почета, странно, почти впритык приближал к ним свое бульдожье лицо и сверлил злым, пронизывающим взглядом. Казалось, он хочет разгадать какую-то важную для него тайну. Было что-то жутковатое и трагическое в неприличной настойчивости старого человека, который, пользуясь своей безнаказанностью, пытался проникнуть под черепную крышку молодых людей неведомой ему формации. В замыкающего строй он буквально вклещился злыми бледными глазами. Ему, под чьим взглядом потуплялись люди класса Рузвельта, хотелось смутить мальчишку в солдатской каске, заставить его отвести, опустить глаза. Но солдат с чеканным лицом, непреклонно и жестко застывшим к концу долгого взаимного разглядывания, и не думал подчиняться чужой враждебной воле.

Черчилль вынужден был проследовать дальше, его лоб под козырьком морской фуражки покрылся испариной. Видать, он что-то понял…

У бронзового Черчилля такое же пытливое, напряженное и мучительное выражение лица, как тогда, перед строем почетного караула. Он словно пытается вычитать в изменившихся чертах мелькающей мимо него жизни, что же сталось и что еще станется с Англией.

Странный памятник! С разных точек он смотрится по-разному.

В одном ракурсе вас приковывает некрасивое, умное, значительное и несчастное лицо, и вы видите только его; в другом — перед вами старый, усталый, но бодрящийся клерк; в третьем — вас поразит громадная энергия, сконцентрированная в нелепой, почти пародийной фигуре; наконец, издали, со спины, вы вдруг обнаружите ласточку с характерным скосом острых сложенных крыльев. Похоже, у скульптора был непростой счет с Уинстоном Черчиллем, если он в таком веском человеке углядел невесомость птичьей мелюзги.

Того, другого старика из живой, хоть очень дряхлой человечьей плоти я встретил возле памятника Черчиллю, когда в сопровождении переводчика шел осматривать Вестминстер. В старом человеке не было особой примечательности, чтобы выделить его в толпе пешеходов, он запомнился мне лишь сходством с одним из персонажей пьесы Сомерсета Моэма «Всегда в пять». Спектакль по этой сильной и печальной пьесе я смотрел в давние времена в театре-студии Симонова. Название пьесы Моэма — от традиционного английского чаепития: файф-о-клока.

Насколько я помню, это что-то вроде чеховских «Трех сестер», перенесенных из русской провинции в Англию после первой мировой войны: скука, безысходность, ни женихов, ни денег, ни надежд, остались лишь выхолощенные традиции, мнимая верность семейному началу и до поры — хорошие манеры. У томившихся одиночеством сестер имелся брат-слепец, жертва минувшей войны, образцовый англичанин: сдержанный, корректный, всегда в чистом воротничке. Этот брат был слеп вдвойне, он заставлял себя не знать того, что не могло укрыться от внутреннего взора чуткого человека: краха домашних устоев, исконного образа жизни добропорядочной английской семьи. Он убеждает себя: ничего не изменилось с тех дней, когда он был юн и зряч, дом его все так же крепок, уютен и чист, а близкие счастливы своей скромной участью, и не напрасны были все жертвы, не напрасно стал он калекой, оплатив вечной ночью драгоценные устои семьи и родины. В конце спектакля к нему

приходит страшное, беспощадное прозрение. Несчастный близок к самоубийству, но… бьют напольные часы, время пить чай.

Он навсегда врезался мне в душу, высокий, немного деревянный, с палочкой, в черных очках, трогательный, тупой и жалкий. На нем были брюки для гольфа, шерстяные клетчатые чулки, спортивный твидовый пиджак. Точно так был одет старый англичанин, остановившийся возле памятника Черчиллю с прижатой к сердцу огромной, как лопата, пятнистой рукой: пиджак с накладными карманами и хлястиком, короткие брюки, застегнутые на пуговицы под коленями, шерстяные чулки, ботинки на толстой подошве. Все это было порядком заношено, истерто, замучено бесконечными чистками, но опрятно — ни пятнышка. И крупной статью, и квадратным, с сильными челюстями, добротным английским лицом он был родственно похож на моэмовского слепца, лишь много, много старше, да за темными стеклами очков скривились от солнца живые глаза.

Когда после осмотра Вестминстера мы шли назад, то вновь обнаружили возле памятника этого старика. Он сидел на ярко-зеленом газоне, не мнущемся ни под ногой путника, ни под копытом коня, несравненном английском газоне, воспитанном многовековой заботой, возле пустой скамейки, в неловкой, неудобной и напряженной позе человека, вовсе не считающего свое местоположение во вселенной наилучшим. Большими руками он упирался в землю, но нелепо подогнутые ноги отказывались принять груз тяжелого тела. Крупное лицо, иссеченное склеротическими сосудиками, налилось грозным багрецом.

Видимо, жестокий сердечный приступ стащил его со скамейки на траву, а сейчас боль немного отпустила, и он пытался вернуться на скамейку. Мимо него то и дело проходили люди: мужчины, женщины, девушки с такими длинными и стройными ногами, какие увидишь только в Англии, юноши в срамно обтяжных джинсах, крепкие спортивные дети, но никому не вспало на ум помочь несчастному старику или хотя бы сдержать шаг. Самые щедрые из них позволяли себе беглый, равнодушный взгляд. Солнце стояло так, что тени прохожих проскальзывали по беспомощной фигуре на газоне, тени теней — не бесплотных, но вполне бездушных.

Когда мы приблизились, стало видно, как крупен, даже громаден поверженный на траву человек, правофланговый любого воинского строя. Он вполне мог быть по своему типу лондонским полицейским в дни войны, когда в полицию отбирали самых рослых, сильных и телом и духом людей. Храбрость и самоотверженность лондонских полицейских, хладнокровно

несших уличную службу во время самых ожесточенных бомбежек столицы, известны всему миру. Годился он и в морскую пехоту, куда тоже не брали слабаков. А в мирной жизни ему пристало быть рудокопом или шахтером — руки выдавали человека, привычного к тяжелому физическому труду. Но сейчас ему не помогла былая сила. Да и что стоят все мускулы человека, если отказал главный, тот, что в грудной клетке?..

По усиливающемуся встать гиганту скользнула тень быстренького клерка в черном котелке, медленно проползла тень священника в сутане — где же милосердный наклон Учителя к страждущему? — чуть задержались, колышась, тени влюбленных или просто юных блудодеев, решивших поцеловаться прямо против загибающегося человека, прокатилась, по-чеховски, колесом тень собаки, а потом долго влачилась тень коляски с младенцем и толкающей эту коляску молодой женщины, и снова тень клерка, тень матроса, неспешащая тень уличного ротозея, тень солдата, тени, тени, тени. И наконец, мы с переводчиком накрыли старика нашей общей тенью, чтобы помочь ему подняться.

Он странно принял нашу попытку: с легким ироническим любопытством и словно бы с легкой досадой: мол, занимайтесь-ка лучше своими делами, едва ли они у вас в таком блестящем порядке, чтобы тратить время на посторонних. Чувствовалось, что старик сердится на себя — развалился не к месту! — но не имеет никаких претензий к равнодушным соотечественникам. Он был тяжеленек и неуклюж от слабости, я же и сам сердечник, мне запрещено подымать тяжести, а толмач хоть молод и здоров, но в весе блохи. Нам пришлось изрядно повозиться, прежде чем мы перебазировали центнер с гаком на скамейку. Старик все приговаривал: «Да ладно… ладно уж… Идите своей дорогой!» А оказавшись на скамейке, оглядел нас с насмешливой симпатией и произнес топом утверждения, но вопроса: «Иностранцы, конечно».

Мы вроде бы ничем себя не выдали. Одежда? На нас лондонские костюмы. Произношение? Я помалкивал, а переводчик владел языком так: в Ист-сайде говорил как заправский кокни, в Вест-сайде как лондонский аристократ, в Америке его принимали за потомка первых переселенцев, а в Кении — за белого негра. Внешне же он — вылитый лондонский клерк, только без котелка. Я спросил: «Как вы догадались?» — «Ну, это нетрудно. Англичанин никогда бы не стал помогать». Тяжелая кровь медленно отливала от его лица, оставляя обычную лиловую сетку. «Неужели англичане такие жестокие?» — «Ничуть. Стариков слишком много, всем не поможешь. Ну, подняли вы меня, а через десять шагов я опять свалюсь. Люди стали слишком

долго жить. Единственное спасение от таких, как я, — не замечать».

Он говорил спокойно, без осуждения, как о чем-то само собой разумеющемся в предназначенном ему бытии. Так можно говорить о тумане или смоге. Конечно, ясная погода лучше, но что поделаешь, такой уж климат. Столь же непреложным казался ему и нравственный климат его родины. «Люди слишком трудно живут, — повторял он. — Нельзя ни с кого требовать…» Тут не было и следа религиозного смирения, юродства во Христе, нет, — тяжелый жизненный опыт, приучивший точно знать свои возможности, знать, на что можно рассчитывать среди себе подобных. «О стариках много пишут в газетах», — заметил переводчик, тщательно следивший за лондонской прессой. «Пустое, — сказал старик. — Не заставишь любить стариков, когда у всех одна забота: как бы уцелеть». — «Где же выход?» — спросил я. «А почему должен быть выход? — Старик тихо засмеялся. — Лучше всего дело поставлено у гренландских эскимосов: дряхлых родителей оставляют в, снежной хижине. Это хоть без дураков. Нам тоже дают подыхать, но под газетную вонь. Гренландский способ самый чистый, но у нас не пройдет, нет снега, климат гнилой…»

Слышал ли, что говорил этот бедный старик, другой старик, стоящий рядом на пьедестале? А если слышал, то как ему там, в трех посмертных обиталищах: на тихом фамильном кладбище, под мраморной плитой Вестминстера, в бронзовой фигуре посреди Лондона? Если б мертвые видели последствия дел своих! Не кто иной, как Черчилль швырнул этого старика со скамейки на траву, и он же научил лондонцев проходить, не оглядываясь, мимо затухающей жизни, научил безразличию друг к другу, оставив в опустелых душах одно — страх за себя единственного…

Англия открывалась мне в разных образах: впервые я попал в Лондон во время негласного всемирного съезда хиппи. Они забили Пикадилли-серпл своими живописными фигурами, как голуби — площади итальянских городов. Сколько бород, усов, огненных грив, загорелого тела, изношенных джинсов, гитар и песен! На них яростно нападали блюстители нравственности, но они были куда безвредней и симпатичней нынешних, потребителей марихуаны, озверелых: мотоциклистов; или тех, в черных кожаных пиджаках, от которых разит фашизмом.

Я широко, охватно видел Англию в пору погожей ранней осени, в золоте и ржави густой, необлетевшей листвы, под синим промытым, упруго выгнутым небом, Англию маленьких городов: исторических, университетских и просто провинциальных; видел Ковентри с ошеломляющей спайкой двух соборов: старого,

растерзанного бомбежкой, и прильнувшего к нему нового — дива дивного современной архитектуры; видел Англию феодальных замков, заросших влажных парков, брошенных кладбищ, которые все же не были так мертвы, как нынешний Сохо, некогда звенящий квартал блистательного лондонского разгула; видел и деловую Англию Сити и заводских районов Бирмингема, и все же самым сильным образом Англии осталось для меня двуединство стариков: бронзового, которому уже ничего не страшно, и другого, которому тоже ничего не страшно, хотя он состоит из слабого умирающего тела, но ему не страшно, ибо нечего жалеть о мире, созданном первым стариком.

Огнепоклонники

Рассказ

В Калькутте, на маленькой киностудии я познакомился с Раджем. Эта студия делает фильмы о простых людях для простых людей. Но вот беда — простые люди почему-то любят фильмы про богатых, а про бедных, то есть про самих себя, не жалуют. И студия, стремящаяся создать народное кино, едва сводит концы с концами.

Я так и не понял, кем является Радж на студии. Прежде всего он сценарист. Кроме того, он отыскивает годные для экранизации произведения, заказывает сценарии, помогает не слишком опытным авторам, редактирует, правит диалоги. Но это далеко не все, Радж выступает и в качестве режиссера, администратора, играет эпизодические роли, а коли надо, становится к осветительным приборам, монтирует декорации; если же в фильме оказывается опасная погоня, рассеянный, погруженный в свой мир, близорукий Радж берет в руки баранку, ведь настоящий каскадер так дорог! Раджу хочется, чтобы фильм был снят, и ради этого он станет кем угодно. Энтузиазм Раджа приносит ему много хлопот и забот, много шишек и синяков — физических и душевных — и совсем мало денег. Он очень бедный человек. Конечно, Радж не спит на улице, как многие его сограждане, у него есть комнатушка, в кармане бренчит несколько грошей, чтобы угостить приятеля пивом, сам Радж пьет только чай, его внутренней раскаленности противопоказан алкоголь, хватает ему и на порцию рыбы с красным перечным соусом в закусочной, и на чашку риса встояка на улице, и на темные вонючие сигареты — в изумляющем количестве. Никотин почему-то щадит его большие, ровные, белые как кипень зубы. На худом лице Раджа не хватает кожи, при самой легкой улыбке кожа мгновенно оттягивается к ушам, и великолепные зубы его обнажаются в опасноватом оскале. Ему трудно упрятать их назад под тонкие губы, людоедская улыбка подолгу гостит на лице этого добрейшего человека. У Раджа блестящие, словно набриолиненные, волосы, черные и тоже блестящие глаза, сухая смуглая кожа, он высок, костляв, длинные руки далеко высовываются из рукавов чесучового пиджака, некогда белого, а сейчас расцвеченного всеми красками жизни своего беспокойного хозяина: здесь земля и песок, зелень трапы, радужные разводы смазочных масел, чернильные пятна, ржа перечного соуса, глубоко въевшийся пепел

сигарет, так же расцвечены и узкие национального кроя штаны, ниспадающие на разношенные сандалеты, из которых доверчиво и трогательно торчат изящные пальцы с удлиненными ногтями. Если б Радж хоть сколько-то следил за собой, за одеждой, выражением лица, жестами, он был бы хоть куда. Но и в своем не слишком презентабельном образе, к тому же осложненном легкой сумасшедшинкой, проглядывающей в затяжных улыбках, ломаных странных жестах, лицевых тиках, внезапных приступах рассеянности, он привлекал к себе внимание женщин, что его ничуть не занимало. У Раджа была подружка, такая же чокнутая, как и он, но только не на кино, а на живописи (Радж называл ее мрачноватые видения «индийским неореализмом»). Она то и дело возникала на нашем пути: в павильоне, в кино, в кафе, на базаре, просто в уличном потоке возле такси, безразличная к чудовищному движению, как священная корова, но отнюдь не столь защищенная, и так же внезапно исчезала, не обменявшись с Раджем и двумя словами. Казалось, ей нужно лишь убедиться, что Радж еще существует, да и ему показать, что она тоже жива. Я не улавливал ни мига ее появления, ни мига исчезновения, не мог понять, как высчитывала она наше местонахождение, и меня это нервировало, но Радж оставался невозмутим.

Он заставил меня посмотреть несколько фильмов, сделанных на его студии, один из них, про сельского таксиста, мне определенно понравился, остальные показались скучноватыми при всей добродетельности замыслов.

— Вот видишь — и тебе скучно! — Радж в отчаянии ударил себя по костлявым коленям. — Но ведь это настоящая жизнь. Неужели тебе нравится слащавая галиматья, которой кормит зрителя коммерческое кино?

Я сказал, что совсем не нравится. Но чем объяснить громадный успех этих фильмов у индийских зрителей? Ведь их должны раздражать, оскорблять дворцы, их сусальная роскошь, белые лимузины, подобострастные слуги, томные красавицы и поющие молодые люди — наследники богатых отцов, весь этот бредовой пир во время чумы, который выдается за современную индийскую действительность.

— Да что ты! — вскричал Радж. — Не только не раздражает и не оскорбляет, а чарует, манит, кружит голову. Бедняки отказывают себе в лепешке и чашке риса, чтобы пойти в кино и погрузиться в сладостный сон наяву. Никто не завидует, не возмущается, и никто не соотносит эти видения с жизнью. Обездоленные, лишенные крова, пищи, одежды люди погружаются в дивную сказку. Этот уже не уличный попрошайка, а наследник миллионера, которого похитили в детстве бродяги, а

та не посудомойка, а возлюбленная младшего Капура, горбатый карлик не рыночный шут, он живущий во дворце прокурор, наделенный прозорливостью и властью бога Вишну. Больные, калечные, нищие, изломанные жизнью чувствуют себя героями, красавцами, богачами, победителями, и это дает силу толкать дальше свою тачку. Отними у них сказку, что останется?..

Я сказал Раджу, что удивлен и несколько подавлен этим гимном воинствующей пошлости. Радж болезненно поморщился. Высокие души часто обделены чувством юмора.

— Ты меня не понял. Я ненавижу коммерческое кино, но сознаю его силу. Все филиппики в его адрес ничего не стоят. Зрелище можно побить только другим зрелищем, лучшим. Вот мы и пытаемся это сделать. И сделаем, можешь не сомневаться. Ведь коммерческое кино при всей своей очевидной глупости вовсе не безвредно. Это усыпляющее, расслабляющее, деморализующее…

— Демобилизующее, — подсказал я, потому что всегда любил перечисления, недаром же «Гаргантюа и Пантагрюэль» с детства моя настольная книга.

— Совершенно верно; демобилизующее, затуманивающее мозги и душу, лишающее воли к борьбе, уводящее из действительного мира в обманный чертог псевдоискусство — своего рода наркотик. Так же разрушающий личность, как опиум, хотя несколько медленней. А мы хотим создать кино, которое будило бы, тревожило, заставляло вглядываться в себя самого и окружающее, рождало бы в людях неведомые им силы. Мы не собираемся ни развлекать, ни радовать зрителей, пусть они мучаются, страдают, тоскуют, плачут…

— Но не скучают, — вставил я.

— Да, — чуть упавшим голосом согласился Радж, — скука — это смерть. По как же непросто ее избежать, когда говоришь о серьезном! В фильме о таксисте это удалось. На него ходили, и студия поправила свои дела. Может быть, причина в том, что он не до конца серьезен? Как ты думаешь? Фильм грустный, как грустна наша жизнь, но герой улыбается даже в самые тяжелые минуты, он не верит в окончательность зла. Наверное, это и привлекает. Людям нужен хоть крошечный просвет, хоть лучик надежды. Кинокоммерсанты все мажут золотом, а мы — серой краской печали. В этом наша ошибка. И потом — мы снимаем очень дешевые фильмы. А сейчас время дорогого кино. Даже фильм о бедняках должен дорого стоить, ты понимаешь меня? Совершенная достоверность в кино достигается путем затрат. А мы стараемся снимать подешевле. Зрителя не проведешь. Дешевое зрелище унижает зрителей, особенно таких требовательных, как бедняки. Коммерсантам не откажешь в

знании человеческой психологии…

…Я вспомнил об этом разговоре через неделю в Бомбее, когда перед поездкой на остров Элефант, где находится знаменитый храм Шивы, заглянул в Приморский отель попить кофе. Вызывающая пышность громадного караван-сарая показалась мне странно знакомой. А потом я увидел надписи над высокими резными раззолоченными дверями, выходившими в широкий сумеречный коридор: «Золотой зал», «Серебряный зал», «Алмазный зал». Поочередно заглянув во все эти залы, я узнал интерьеры душераздирающих мелодрам «из жизни» индийских судей, врачей, инженеров, перед которыми, если верить бомбейским фильмам, ассирийские цари и американские миллиардеры — оборвыши. Конечно же, нужны сильные средства, чтобы вытянуть из цепкой ручонки маленькой нищенки последний грошик. Золотые, серебряные, алмазные покои воюют с плотью бедняка, с его урчащим от голода желудком, с его сбитыми в кровь босыми ногами, тоскующими по мягким чувякам, с его замятыми на асфальте ребрами, мечтающими о подстилочке, с его нёбом, алчущим сладкою холодка мороженого, и неизменно побеждают. Вместо горсти риса, чувяк, тряпки, стаканчика с ядовито-красной благодатью бедняк получает полтора часа золотой, серебряной, алмазной грезы. Радж и его друзья хотят отнять у бедных людей их игрушку, короткую нирвану, чтобы всегда бодрствовало, томилось, искало поступка сознание, чтобы старая, отнюдь не волшебная сказка о безволии нации не обернулась былью.

На Элефант мы плыли на стареньком колесном катере, настолько перегруженном туристами, что плицы лишь пахтали воду, но не рождали движения. Если смотреть с палубы вниз, то вода вроде бы обтекала дряхлый, облупившийся корпус, но берег за кормой не отдалялся, а поросший высокими, тонкими пальмами островок впереди не становился ближе.

Я задремал, не теряя ощущения катера со всем его мощно озвученным старческим бессилием, с ненужно-хлопотливой жизнью пассажиров, а когда меня растолкали, сперва отозвался гусиной кожей на прохладную тень, а затем лишь обнаружил прямо по носу ее источник — зеленое двухолмие, разделенное узкой долиной, — Элефант, Слоновий остров. Катер не прибавил хода, спицы колес с той же яростной тщетой взбивали воду, а долгий путь остался позади, похоже, я проспал чудо, сотворить которое мог только могучий джинн.

Мангровая растительность покрывала изножие холмов до песчаной, с намывами грязи береговой кромки. У деревянных сходней толпились туристы, возвращающиеся на большую землю.

До этого мой рассказ шел от «я», сейчас появится «мы». Это «мы» — маленькая киноделегация, состоявшая из двух известных актрис и двух куда менее известных сценаристов. Поскольку спрос на нас в индийской кинодержаве был велик, мы часто действовали поврозь, а потом вновь соединялись для какого-нибудь важного мероприятия или развлекательной поездки, на что не скупились наши тороватые хозяева. Вот и сюда мы приплыли всей четверкой.

На берегу нас поджидала статная, ярко и уверенно красивая женщина лет под сорок, в розовом сари и серебряных туфельках, ее унизанные кольцами пальцы придерживали на груди края долгого бледно-сиреневого платка, накинутого на плечи. Небольшая аристократическая голова, горделиво сидевшая на высокой, необыкновенно стройной шее и подчеркнутая прямизна стана придавали ей обескураживающую величественность. Мы смутились и слегка пали духом, узнав, что эта торжественная женщина прикомандирована к нам гидом на весь день. Нам бы чего-нибудь попроще. Несоответствие значительного облика скромной профессии неизбежно толкает мысль ко всяким печальным догадкам. Прекрасная женщина чутко уловила наше смущение и сочла нужным сообщить, что она не профессиональный гид, а преподаватель и администратор балетной школы, где учится ее дочь, и сотрудница отдела искусств в одном из бомбейских журналов, кроме того, связана с кинокомпанией, построившей новую студию на окраине Бомбея, где нас ждут сегодня к вечеру. И хотя все сказанное ею звучало более чем скромно, мы догадались, что получить такого вожа — немалая честь. Тревога была снята, но некоторый налет загадочности остался.

Вслед за гидом мы стали подниматься по очень крутой и высокой лестнице, ведущей к пещерам, где находилось святилище Шивы. В обгон нас дочерна пропеченные носильщики в набедренных повязках возносили наверх в открытых портшезах состоятельных туристов, не желавших утруждать себя подъемом. Я провожал их завистливым взглядом. Как ни тощ был мой кошелек, на портшез хватило бы. Но не хотелось расписываться в своей немощи перед богиней, притворившейся гидом. И, чувствуя сердце у самого горла, я карабкался по крутой лестнице, закрыв глаза, чтобы не видеть бесконечных, уходящих в перспективу ступеней. А достигнув вершины и не умерев, возблагодарил небо и собственное упрямство. Громадные скульптуры, высеченные с дивным искусством в каменных пещерах, о которых так сладко поет Индийский гость, ошеломили, смяли и вознесли душу, и на какое-то время я стал видеть в нашей прекрасной спутнице

только гида, обратив к ней не жадный взор, а правое, еще слышащее ухо.

Раннее средневековье создало этот храм, запечатлевший превращения загадочного Шивы, чья страстная и трогательная любовь к дочери Гималаи, застенчивой, пленительной, пугливой, порой кокетливо-капризной Парвати, придает грозному многорукому богу неожиданную человечность. Хотя в пещерах есть изображение триликого Шивы: разрушителя, созидателя, охранителя, первый и главный образ неистового бога в остальных скульптурах не воплощен, так же как и страшный, зловещий образ жены Шивы, когда она — Дурга, кровожадная, мстительная, отвратительная ведьма. Бог и богиня представлены здесь, по терминологии нашего гида, в «благожелательном аспекте».

Поразительный символ — Шива как Натараджа, король танцев. Неистовым танцем Шива раскручивает вселенную. Скульптура сильно пострадала от времени: отбиты по колени ноги, обе правых руки — по локоть, одна из левых — до кисти, но это лишь усиливает ощущение бешеного вихревого движения, подобно той смазанности, что бывает на фотографиях, изображающих народные пляски. Невозмутимо погруженное в свою тайну лицо танцора с сомкнутыми веками.

История Шивы не просто чувственна, как и все легенды Древней Индии, она пронизана безудержным эротизмом. Этот бог, чьим самым распространенным символом является каменная лигма, не мог остаться внешней силой в отношении женского начала, должен был узнать его изнутри, заключив в собственную суть. Шива как Арджанаришвара — это полумужчина-полуженщина; справа он, Шива, — воин, слева — полногрудая Парвати. Так узнал Шива высшую чувственность — двойное вожделение к самому себе.

Наша прекрасная и стыдливая гидесса, рассказавшая легенду с благородной простотой и сдержанностью, мягким, серьезным взглядом положила предел нашей любознательности.

Но индуизм так тесно повязан с необузданной эротикой, что суровой матроне все же трудно было сохранить свинцовую невозмутимость. Защитная оболочка плавилась на глазах. Стараясь сохранить ее, гидесса налегла на цифровые данные: глубина пещер, высота скульптур, параметры постаментов…

Но и сквозь сухую цифирь пробивалась чувственность древних, этих далеких предков гидессы. И она на глазах становилась земным воплощением Парвати: нежность и строгость, сознание долга и напор сильной жизни, напрягающей плоть, цветение глаз и рта и волнующейся под сари груди. Лишь громадная внутренняя дисциплина позволяла ей сохранять

расстояние между собой и окружающими. И было в этом что-то странно печальное.

— Не на меня надо смотреть, а на скульптуры, — тихо сказала женщина, когда мы переходили из одной пещеры в другую. — Это чудо неповторимо.

— Ваше тоже, — сказал я.

Ответ напрашивался сам собой, и можно было пропустить его мимо ушей, но ей зачем-то понадобилась гримаса оскорбленного достоинства: профиль натянулся, и в сузившихся по-кошачьи зрачках расплющилось мое отражение.

…Вернувшись на большую землю, мы отправились на двух машинах — у гидессы был свой маленький «фиат» — через весь дивный, сверкающий, сияющий, пальмовый, цветочный, фонтанный Бомбей к знаменитым «висячим садам».

К нашему разочарованию, оказалось, что «висячие сады» вовсе не висят, как некогда, а прочно стоят на земле и под ними находится городское водохранилище. Не знаю почему, я ожидал увидеть что-то весьма экзотическое и таинственное — густой, влажный, душно-благоуханный рай, а попал в индийский Сан-Суси, в расчисленное, строго организованное в чопорном французском стиле парковое пространство. Вдоль прямых, посыпанных красным песком дорожек выстроились кусты, превращенные искусством садовников-скульпторов в фигуры зверей: слона, буйвола, тигра, дикой свиньи, тапира. На круглых клумбах и длинных грядках цветут огненно-красные цветы, высоченные ухоженные пальмы держат небосвод на своих сильных кронах. И странным контрастом в левом углу парка поднимаются темные бетонные здания без окон, над которыми кружат грифы на широких неподвижных крыльях. Птицы парят очень высоко, порой вовсе исчезают в блистании неба, затем вновь обнаруживаются лезвистым прорезом в лазурном тугом шелке. И человек уж так устроен: когда слишком много красоты вокруг, он тянется к уродливому. Среди диковинных зверей, огненных цветов, стройных пальм нас больше всего заинтересовали бетонные, тюремного обличья здания.

— Это башни молчания, — своим глубоким, спокойным голосом сказала гидесса. — Вы, наверное, слышали о них?

Мы и впрямь что-то слышали, но ни один из нас не мог вспомнить, что именно.

— Вы что-нибудь знаете о зороастризме, или парсизме, проще — об огнепоклонниках?

Вроде бы что-то знали, но, убей бог, не вспомнить. — Пойдемте туда, по дороге я расскажу вам об этой религии.

И она рассказала. Подавленные индуизмом, мы не были

настроены на восприятие новою головоломного способа самоспасения несчастнейшего из всех творений природы — человека, которому лишь одному дано знать, что он смертен. Нас поразил обряд исхода огнепоклонников. Впрочем, возможно, что так принято лишь в парсизме — индийском варианте зороастризма. Огнепоклонники считают, что все остающееся от человека после смерти должно служить покинутому миру. Свои глаза они завещают медицинскому институту, равно и те внутренности, которые могут быть использованы в научных или лечебных целях; тело идет на корм грифам. Обнаженных покойников укладывают на открытых площадках башен молчания: отдельно мужчин, отдельно женщин, отдельно детей. Получив сигнал густым черным дымом, грифы камнем падают вниз и в несколько минут расклевывают покойника, оставляя чистый белый скелет, который сжигают в печи. Из белых спекшихся комочков приготовляют костную муку, идущую на удобрение полей. Таким образом, утилизируется весь состав человека, но пропадает ни одного волоконца. Мудро поделенное меж наукой, фауной и флорой, мертвое тело служит добру жизни. Вот и подъемная сила крыльев парящих в бездонной синеве грифов — из отслужившей человеку оболочки, а из человечьего остова прорастают рис, просо, ячмень.

Все разумно и правильно, так почему мороз по коже? Чем крылатые могильщики хуже могильных червей? Вроде бы предпочтительней стать посмертной добычей птиц, чем пустых страшных трубок, кишащих в земле. Так почему же мороз по коже?..

Может, отвращает наглядность этого обряда? В земле все скрыто, а здесь на виду. Хищные птицы, расклевывающие труп, — образ, непосильный для человеческого сознания. И образ этот надо нести в себе всю жизнь. Обычно человек отдает распоряжения о своих похоронах перед кончиной и то далеко не всегда, а тут, едва осознав свое нахождение в мире, ты уж знаешь, что тебя сперва распотрошат, затем растерзают кривыми клювами, а остаток пустят на удобрение. Надо обладать на редкость крепкими нервами и несмятенным духом, чтобы знать все это и спокойно жить.

— Много в Индии огнепоклонников? — спросили мы гидессу.

— Много. В одном Бомбее более ста тысяч.

— А у вас есть среди них знакомые?

— Разумеется. Ведь и я сама, и мой муж, и дочь, мы все — парсы.

В моей не бедной впечатлениями жизни ничто так меня не потрясало, как это сообщение. Ну, будь на ее месте престарелый

дервиш, пустынник-аскет, изведший свое тело почти до полного уничтожения, — куда ни шло, но представить, что прекрасную, жаркую, радостную плоть расклюют омерзительные гарпии, — этого не принимала душа.

А ведь с самого начала я чувствовал исходящие от этой женщины волны странной тревоги, пространство напрягалось вокруг нее. Это не было явлением воли. Она жила иным законом, нежели нее мы, не осиянные той верой, что позволяет бесстрашно и безжалостно распорядиться своей земной оболочкой…

Когда, покинув «висячие сады», мы садились в машину, на белом спортивном «мерседесе» подъехал элегантный человек в больших темных очках. Он вышел, упитанный, лысоватый, но легкий, с ловкими движениями, любезно поклонился нам и о чем-то спросил гидессу.

— Мой муж, — представила она его.

Порывшись в сумочке, она достала записную книжку в перламутровом переплетике и стала диктовать мужу какие-то сведения, которые он тут же заносил в блокнот. Он что-то сказал жене, улыбнулся, и супруги расстались.

«И этого расклюют грифы», — меланхолически думал я, глядя в хвост быстро удаляющемуся «мерседесу»…

По дороге на студию мы два раза останавливались, и огнепоклонница звонила куда-то по телефону. Мне казалось странным, что она может заниматься бытовой чепухой, когда грифы несут дозорную службу над башнями молчания. Но ей это было в привычку, и в своей медлительной, величественной манере она предельно нагружала быстротекущее. Так, мы еще раз встретились с ее мужем, нуждавшимся в новой информации, а затем и с дочерью, которую куда-то завезли, сделав маленький крюк.

Студия со всеми угодьями оседлала двухолмие, господствующее над обширным пространством, отсюда видны заливы, невысокие горушки, поросшие то густым кустарниковым лесом, то редкими тонкими пальмами со слабой кроной, у горизонта обрисовываются хребты, но иногда хребтами притворяются причудливо громоздящиеся облака. Огромное небо не узнать — дневная синева лишь проглядывает из тяжелых кучевых облаков, слоисто заполнивших небесный свод. Потускневший солнечный диск порой вплывает в промоины, отдавая усталый свет площадке студии, остальному простору достаются оранжевые пятна, а к заливам протягиваются долгие лучи, серебрящие водную рябь.

Будь моя воля, я так бы и стоял на холме, не в силах насытиться поминутно меняющимся пространством, но суета

жизни не терпит остановок. Зовут осматривать павильоны, тонстудию, административный центр, складские и прочие подсобные помещения…

Студия построена по высшим мировым стандартам, великолепно технически оснащена и богата землей, на ее огромной территории, включающей лес, воду, холмы и пади, будут производиться натурные съемки. Джунгли, саванну, сцены на воде и под водой — все можно снять, не выходи за ворота. Директор студии, дававший пояснения, с гордостью скатал, что неподалеку от главного павильона обитает в зарослях тигр, чей рык слышен по ночам. «Он уже зачислен в штат студии», — пошутил рослый, вальяжный директор, которого то и дело отвлекали какие-то озабоченные люди с большими портфелями — среди них мелькнул и знакомый нам огнепоклонник. Мелькнул и похитил свою жену до встречи на вечернем приеме у какого-то фирмача. Она простилась с нами благословляющим движением узкой руки в золотых кольцах и плавным, неспешным, почти не ощутимым под сари шагом повлеклась к костру. Конечно, то были шутки моего раненого воображения. От бредовых мыслей отвлекло странное цоканье, назойливо долбившее мне барабанную перепонку. Обернувшись, я уткнулся взглядом в длинную фигуру Раджа. Он-то как сюда попал?..

Радж сунул мне горячую, сухую руку, осклабился, и по обыкновению зубастая улыбка задержалась на его странно отсутствующем лице. Радж видел меня и не видел, завороженный расстилающимся перед нами кинораем. Язык его упруго бился о нёбо, рождая птичий звук безграничного восхищения. Радж не сделал уступки месту: на нем все так же истлевали его национальные штаны и чесучовый грязный пиджак. Путешествуя, люди всегда меняются. Одни надевают дорожное платье, другие, наоборот, модничают, иные обзаводятся сумкой через плечо, палкой, зонтиком, темными очками, фото- или киноаппаратом, какой-нибудь немыслимой шапчонкой, фляжкой в шерстяном чехольчике. За тысячу верст от родного порога Радж сумел сохранить свой домашний облик, как будто выбежал на угол за сигаретами.

Оказывается, он прилетел в Бомбей специально для того, чтобы посмотреть новую студию в горделивой мечте воспользоваться когда-нибудь здешним опытом. За минувшие дни народное кино в Калькутте одержало большую победу: прокатчики купили вторую серию фильма о таксисте, и Раджу как одному из сценаристов, сорежиссеру и администратору перепала толика деньжат — как раз на авиационный билет в Бомбей и обратно. Он был уверен, что нашел капиталу наилучшее

применение, я же придерживался другого мнения: лучше бы купил новые штаны. Но тогда он не был бы Раджем.

Какие чувства бушевали сейчас в тощей груди Раджа, работника студии, где режиссеры дрались из-за одного-единственного павильона, а операторы — из-за одной-единственной старой, но надежной кодаковской камеры? Эта новая студия была как невеста, которой еще не коснулись нетерпеливые руки жениха, прекрасная, ждущая, трепещущая.

Но Радж-то знал, какой любви откроется эта невеста, и страдал.

Мы еще находились в павильоне, когда явился жених. Знаменитый актер, кинозвезда первой величины. Он был далеко не молод — картинно просоленная грива, белые нити в черни усов и бороды, — но актеру на характерные роли возраст не помеха, громадный, в светлых развевающихся одеждах, с толстыми волосатыми пальцами, унизанными перстнями, с драгоценным ожерельем на шее, а на груди в золотой рамке фотография, величиной с блюдце, любимой жены — шумный, размашистый, самоуверенный, избалованный Бог киноудачи. Как-то сразу стало известно, что он снимается одновременно в тридцати пяти картинах, что со старшего брата — продюсера он сорвал миллион за участие в его фильме, свою обычную сверхставку, не поддавшись родственной слабости, что здесь он будет впервые сам ставить и субсидировать двухсерийный боевик.

Появление великого человека заставило директора свернуть экскурсию, что нас втайне обрадовало, — мы не чувствовали под собой ног, а предстоял еще вечерний прием. Директор и актер удалились для переговоров, и я с удивлением обнаружил в деловой свите знатного гостя мужа гидессы-огнепоклонницы. Этот человек не терял времени даром.

— Представляешь, — сказал Радж с ужасной и потерянной улыбкой людоеда-вегетарианца. — Через неделю вспыхнут софиты, помощник режиссера объявит первый дубль, прогремит из рупора: «Мотор!», и вся эта красота, это техническое чудо падут жертвой очередной пошлости. Огромный, волосатый, ничего не стесняющийся человек будет произносить глупые слова, делать глупые жесты, лить глицериновые слезы ради не просто пустого, но вредного зрелища. И ведь он вовсе не бездарен, в нем есть талант и темперамент, он мог бы будить спящих. Но для этого надо пойти на риск. А разве он решится? Ведь можно потерять сколько-то денег. Отчего такая сила в дурно пахнущих бумажках? Ему же не истратить своих денег, хоть убейся, но загребущие руки все чешутся, как бы еще урвать. А какие фильмы можно поставить в этой студии!.. Что бы мне найти

клад, находят же другие. В фильмах этого волосана найти клад — раз плюнуть. Или наследство получить! В коммерческих фильмах чем беднее человек, тем проще ему схватить миллион. На моей стороне все шансы. Да не схвачу я ни черта! А может, жениться на богатой? На принцессе или дочери нефтяного магната. Это самое реальное. Если немного подкормиться, я буду хоть куда! Жаль, конечно, мою подружку, но искусство требует жертв. Кароян говорил: ради искусства я не щадил ни близких, ни любимых, ни самого себя. Кино для меня что для Карояна оркестр. Дам объявление в брачной газете: срочно требуется дочь миллионера. Самое грустное, что я не шучу, почти не шучу. Я попал под гипноз коммерческих фильмов и все время прикидываю к себе их варианты скорого и верного обогащения. Я вижу, понимаешь, вижу кино, которое нужно, но у меня связаны руки. Слушай, у тебя нет знакомой миллионерши?

Никогда не был он таким говорливым. И мне подумалось, что у Раджа голодное возбуждение. Все деньги он ухлопал на авиационные билеты и питается в Бомбее дымом своих черных сигарет.

— Радж, — сказал я, — пойдем куда-нибудь перекусим. Я с утра на одном кофе.

— Боюсь, что не смогу тебя угостить…

— Ладно, Радж, найдешь клад и закатишь пир в «Алмазном зале» Приморского отеля. А на китайский ресторанчик у меня хватит.

И мы поехали в город.

По тому, как накинулся Радж на крепкий суп из плавника акулы, я понял, что не ошибся в своем предположении. Но то ли у него усох желудок, то ли он просто не в состоянии был долго жить велениями плоти, — вкуснейшую «лакированную» утку, которую подают в два приема: сперва золотисто прожаренную кожицу, затем снятое с костей мясо, он лишь поковырял, опять унесясь выспрь. Я слушал его чуть рассеянно, отвлеченный семьей огнепоклонников, обедавшей через два столика от нас.

Семья насыщалась основательно и неспешно, они знали толк в еде. Видимо, знакомый с их привычками метрдотель приставил к ним специального официанта, старенького юркого китайца с траченным оспой личиком. Глава семьи колдовал над соусами и подливами, переделывая их на свой вкус. Он то и дело требовал у официанта то сою, то уксус, то горчицу, то красный перец, то оливковое масло, то едкое табаско, и требования его выполнялись с завидной быстротой. Жена полностью доверяла гастрономическим познаниям мужа и брала пищу лишь после его обработки. Послушная дочка следовала примеру матери. Они не

ели, а священнодействовали, изгнав всякую память об окружающем мире. Умели эти люди наполнять каждую минуту или делом, или наслаждением жизни. Они не разговаривали друг с другом, не глазели по сторонам, они питали свою плоть. Будет работа грифам, когда пробьет их час. Но до этого еще далеко, а они, несомненно, принадлежали к тем деревьям, о которых поэт сказал: «И мысль о смерти неизбежной не свеет с древа ни листа».

Радж при всей своей рассеянности к внешним обстоятельствам и одержимости «главной» темой остро, как настоящая художественная натура, чувствовал настроение собеседника. Он замолчал на полуслове, произвел несложный расчет — исходными были: моя невнимательность и смещение взгляда, и сразу в точном полуповороте нашел семью.

— А-а, эти дельцы!.. — сказал без всякого интереса.

— Ты их знаешь?

— Кто их не знает!

— Тебе известно, что они огнепоклонники?

— Нет, — сказал он равнодушно. — Ну что ж, раз совесть спокойна, можно все силы бросить на обслуживание самих себя.

— Ты так это понимаешь?

— А как же еще? Их религия возводит материальное благосостояние в цель жизни. В Бомбее все ростовщики — парсы.

— Вот те раз!.. Слушай, Радж, а ты вам какой веры?

— Я?.. — Вопрос словно застал Раджа врасплох. — Индуистской, конечно. Но честно — я никудышный верующий.

Нет, Радж, ты-то как раз верующий. Ты не откупился от мучительной ответственности посмертным даром, а горишь живьем. Чистым и светлым пламенем. Ты настоящий огнепоклонник…

Воробей

Рассказ

Друзья повезли нас в Нормандию, в старинный город Онфлер. Для русских ушей более привычны названия соседних курортных городков: Трувиль и Довиль — там нередко оказываются персонажи переводных французских романов. Я, правда, не могу назвать ни одного романа, но мешанина из неизлечимых недугов, расстроенных нервов, случайных и роковых встреч, разбитых сердец, букетов весенних роз и осенних хризантем — символов свиданий и разлук заполняет мою ослабевшую с годами память, как только я слышу: «Трувиль», «Довиль». Мы же отправились в Онфлер, о котором я ничего не слышал, в гости к поэту и прозаику Грегуару Бренену, о котором я услышал тогда впервые. Мне сказали, что в Нормандии он знаменитость, его имя знакомо всем детям и всем взрослым: каждое утро он читает по радио новую придуманную им сказку, раз в месяц выступает с собственной программой по телевидению; кроме того, он является основателем, устроителем и непременным участником Нормандского фестиваля литературы, а также организатором, но не участником Нормандского фестиваля джазовой музыки. Эта его вполне бескорыстная деятельность получила признание в столице Франции, и Грегуар удостоился официального титула председателя фестиваля литературы Нормандии. Никаких материальных преимуществ, равно и шумной славы, энтузиасту нормандской культуры это не приносит. А вообще во Франции, которая вовсе не столь уж велика и необъятна, в порядке вещей такая вот локальная, губернская слава, не выходящая или почти не выходящая за пределы края. Я не хочу сказать, что Грегуара Бренена не читали жители, скажем, Иль-де-Франса, Бретани или Лангедока, им наверняка попадались его стихи и поэмы, и автобиографический роман «Воробей», но знаменит талантливый поэт и прозаик лишь у себя в Нормандии, что не так уж мало: от Гранвиля, лежащего на берегу залива Сан-Мало, до Дьепа и Ле-Трепора, портов в восточной стороне Ла-Манша, гремит его имя, его знают и любят в столице провинции Кане и в Руане, где сперва сожгли, а затем посмертно реабилитировали Жанну д'Арк, его знают в Шербуре, нерасторжимо связанном для нас с зонтиками и Катрин Денёв, в Аржантоне и Лизье, и в крупнейшем порту Франции Гавре, восстановленном из развалин. В Бетюне,

Шоне, Эвре, Алансоне слава его резко убывает, поскольку здесь глохнет нормандское радио и меркнет нормандское телевидение. И я вовсе не уверен, что в Гренобле, Авиньоне или Тулузе имя Грегуара Бренена что-нибудь говорит людям, но всяком случае, в Ментоне и Антибе я тщетно пытался отыскать его читателей, его знали здесь не больше, чем В Шилове или Выксе, Читают во Франции чрезвычайно мало, только самых признанных, разрекламированных, увенчанных академическими лаврами, выдающимися премиями или, на худой конец, сумевших вызвать громкий скандал. Я имею в виду литературу, а не бульварщину, которую листают жадно.

Воробей, так прозвали Бренена в Нормандии, не академик, не лауреат, не скандалист, он культуртрегер — самое неблагодарное занятие (точнее, призвание) во Франции, как и вообще в Западной Европе. Но это дает ему возможность не умереть с семьей от голода, что непременно случилось бы, будь он только поэтом.

Мы выехали утром из Парижа и, сделав крюк в честь Жанны д'Арк, полюбовались прекрасным Руанским собором, а на Рыночной площади — лобном месте спасительницы Франции — обнаружили непроглядные строительные леса. Потратив на это столь редкий нынешней весной солнечный просвет в безнадежной хмари и зноби, мы за полдень прикатили в Онфлер, едва различимый в белесой дождевой пыли. То не было дождем, а именно водяной пылью растерзанных ветром небесных струй.

И все равно город сразу пленил нас. Седая дождевая пыль, забившая его узкие улицы, обволакивающая стены дряхлых зданий, погружала его в глубь средневековья.

Потом, когда выглянет солнце, мы увидим город сильно омоложенным, но в этой влажной хмари он казался целиком принадлежащим той таинственной и влекущей воображение поре европейской жизни, которую долго считали предрассветной, а ныне готовы поставить выше Ренессанса по цельности и одухотворенности созидательных усилий, воплощавших идею нового христианского мира.

В Онфлере есть и современные здания, и большие магазины, и новая гостиница, но лицо города создают старые дома под темной черепицей, разбухшие от обильных нормандских дождей, поливающих их из века в век, дома, словно разрисованные по меловой побелке черными полосами, на самом деле то крашеный деревянный каркас, в который набивали камни и глину. В стены вбиты железные скрепы, без них дома рухнут в узенькие улочки, закупорив город. А еще лицо города создают старинные церкви, одна из них — святой Екатерины Онфлерской — деревянная с

деревянной же колокольней, и другой подобной нет во Франции. Но мысль о Кижах, о деревянных церквах нашего Севера, Вологодчины, Ярославщины не приходит в голову — совсем разные идеи заложены в русском церковном деревянном зодчестве и Онфлерском храме. Наши церкви будто взлететь хотят, так напряженно устремлены ввысь, к небу. Церковь св. Екатерины прочно прикована к земле своим длинным смуглым телом. И даже довольно высокая колокольня не возносит ее выспрь, а точным расчетом пропорций еще крепче привязывает к земле.

Но Онфлерский храм прекрасен и без того воспарения, каким дарит душу русская деревянная архитектура, его строители сознательно «заземлили» божий дом, ибо на земле надлежало блюсти божье дело. То не было вызовом небесам, а призывом к косматому сердцу недавних варваров.

Улыбка Онфлера — чудесный маленький заливчик, вторгшийся в самый центр города и забитый рыбацкими и прогулочными лодками с разноцветными парусами. Рыбацкие суденышки — строгих деловых цветов, а прогулочные и спортивные состязаются в яркости; нет просто зеленого — изумрудный, просто желтого — канареечный, а если синь — так небесная лазурь, если красное — как заря. Радость этой живописи открылась нам не сразу, когда мы подъезжали, заливчик со всем онфлерским флотом был блекл, пасмурен, как-то влажно-задымлен, словно его создала грустная кисть Марке, но тут, пробужденный солнцем, за него взялся Дерен и вмиг переписал в праздник.

Грегуар Бренен жил в доме четырнадцатого века, выпучившемся вторым этажом на улицу, такую узкую, что проехавший по ней «фольксваген» размазал нас по сырым стенам.

Старинные водосточные трубы истекали из львиных зевов последней торопливой влагой, входная дверь, обитая железом, была высока и торжественна, как в соборе, окна — заподлицо со стенами — благородно высоки и узки, и хорошо отяжелила ладонь бронзовая ручка колокольчика, гулко сообщившего хозяевам о прибытии гостей.

И вот мы уже в холле вполне современного жилья. Настроенный на встречу с низкими прокопченными потолками, давящей тишиной замшелых стен, склепьей, пронизывающей студью, деревянной тяжелой мебелью, оловянной утварью на присадистом темном дубовом столе, сырыми дровами у прокопченного очага, я был сбит с толку электрическим светом, высотой потолков, светлой окраской стен, вешалкой красного дерева и всем современным комфортом открывающихся в

перспективе комнат. А затем возникло ощущение, будто в прихожую влетела стайка щебечущих хлопотливых воробьев. Этот быстрый, сухой шум производил небольшой, худощавый и моложавый (обманчиво моложавый) человек, весь какой-то взъерошенный и трепещущий, будто воробей над кормом. Да он и был Воробьем — так называет вся читающая Нормандия Грегуара Бренена по кличке главного героя его автобиографического романа. Иначе и не назовешь, он воробей по облику, по малости плоти, подвижности, безобидности и жизнестойкости; он не подчиняется земному притяжению, может враз вспорхнуть и перелететь на другое место, да и клюет он по зернышку.

Как-то сразу всплыло, что дом не принадлежит Бренанам, их пустил сюда приятель за вполне условную мзду, и мебель тоже им не принадлежит, равно как и все прочее материальное наполнение средневекового жилья, что настоящий их дом — на колесах, старый рыдван, на котором они всей семьей разъезжают по Франции и соседствующим землям в поисках корма.

У Грегуара не было имущества — да и зачем оно Воробью? — но у него было кое-что получше: черная дворняжка с лисьей мордочкой и говорящая сорока в большой клетке.

Нас представили жене Воробья, оказавшейся вовсе не Воробьихой, а довольно крупной, неторопливой женщиной, погруженной в какую-то внутреннюю тягостную заботу, с гостем — сангвиническим месье, рослым, жизнерадостным и на редкость любознательным, с огромной, рыхлой, отечной старухой из дома престарелых; мы приняли ее сперва за деревенскую бабушку, приехавшую потетешкать внука (внук тоже был очаровательный!), затем за кормилицу сына Бренона, оставшуюся в доме по иссушении молочного источника. Все было проще и печальней — одинокая, очень старая женщина, пережившая всех родных и близких и нашедшая тепло и привет в чужой семье. Она приходит сюда каждое утро, пьет чай (по-нашему «сластит»), потом усаживается в глубокое кресло в столовой и сквозь дрему внимает кипящей вокруг жизни, поздно вечером возвращается в свое старушечье убежище. И еще нас представили пожилой артистического облика даме с подчеркнуто прямой спиной, высокой грудью, хорошо уложенными седыми волосами и выражением какого-то больного достоинства на розовом, тщательно «сделанном» лице. Дама оказалась бывшей артисткой, тоже из дома для престарелых, лишь более высокого ранга, нежели обиталище сельской бабушки, но сюда приходила за тем же самым — за человечьим теплом.

Для тех, кто хорошо знает французов с их эгоизмом и расчетливостью, сразу скажу: Воробей не выродок своего народа,

в нем слиты три крови: французская, бельгийская и русская. Его отец из балетной семьи, и сам балетчик ребенком был вывезен из России с бродячей танцевальной труппой и после долгих странствий прижился во Франции, обзаведясь по пути женой — бельгийской танцоркой, чьи предки были выходцами из Франции.

Воробей довольно сносно говорит по-русски, хуже понимает — отсутствие разговорной практики. Куда сильнее, как вскоре выяснилось, он в языке птиц.

— Кто они?.. Кто они?.. — взволнованно спрашивала сорока, дергая коротким, будто оборванным хвостом.

— Спокойно, Коко, спокойно, малыш, — успокаивал Грегуар. — Добрые люди.

— Что они, Грегуар?.. Что они, Грегуар? — беспокоился Коко, прыгая и громко стуча тонкими жесткими лапами по фанерному полу клетки.

— Из Москвы, Коко. Они из Москвы.

— Из Мос-квы?.. — повторил совершенно потрясенный Коко.

И тут я спохватился, что тоже понимаю язык птиц. Это была моя детская мечта. Боже, как завидовал я сказочным персонажам, понимающим язык птиц и зверей, особенно Нильсу, другу гусиной стаи! И вот на склоне лет меня постиг желанный дар. Но Воробей, с которым я поделился своей радостью, разочаровал меня: они говорили по-французски. Я много раз бывал во Франции, и неудивительно, что накопил сорочий запас слов. И тут только постиг я суть другого чуда: Коко владеет человеческой речью.

— Да, он недурно говорит, — снисходительно кивнул Грегуар. — Но страшный болтун и несет всякую чепуху. Вы только не подумайте, что мы не любим Коко. Он наш самый близкий друг. Я вам расскажу одну историю. Однажды он пропал. Это случилось в поездке. Раньше мы много ездили всей семьей. Теперь жена занята внуком, у сына керамическое дело, много работы, мало денег… А тогда чуть весна, и мы в путь. Я читал стихи, сын собирал деньги в шляпу — бродячие комедианты, да и только. На стоянках Коко выпускали из клетки, он прыгал по веткам деревьев, немного летал — крылья у него слабые. И вот раз Коко исчез. Уже в путь пора, а его нет. Зовем, сигналим — чуть аккумулятор не посадили, — обшарили все заросли: как в воду канул. Ничего не поделаешь, надо ехать. Километров полтораста отмахали, дождь зарядил. И мы представили себе Коко — маленького, мокрого, беззащитного. Я развернулся и рванул назад. Подъехали уже в темноте, я заглушил мотор. И вдруг слышим сквозь шорох дождя: «Коко!.. Коко!.. Бедный Коко!» — он сидел на ветке дикой груши и так отчаялся, что не узнал

машины. Сами понимаете, что тут было…

— А куда он девался? — спросил я.

Грегуар посмотрел на меня с повышенным интересом.

— Коко бывает порой на редкость скрытен.

Наша мирная беседа была прервана мягким прыжком, железным осклизом когтей по прутьям клетки, шумным скачком Коко, другим прыжком, лязгом зубов и стремительным вознесением на шкаф серой в яблоках кошки, пришедшей в гости вместе с бывшей актрисой. Черная дворняжка Грегуара старательно вычихивала кошачий пух, забивший ей нос. И вновь тишина, покой, будто ничего и не бывало. Мне понравилось, что Грегуар никак не отозвался на происшествие, он знал, что звери сами разберутся, и умная бдительная Лисичка, не даст в обиду Коко. Он был настолько близок естественному миру, что все свершающееся там ощущал изнутри.

С каждым годом я лучше и лучше узнаю беды и преимущества старости. Все тяжелее двигаться, все тяжелее что-то начинать, все тяжелее жить, по и все интереснее. Утихают страсти, отпадают, как струпья засохших ран, пороки, в стерильной чистоте освободившегося от земных тяжестей духа открывается широкий и незамутненный простор для наблюдения, растет бескорыстный интерес к шуму и движению жизни, больше видишь и слышишь и порой обнаруживаешь в привычье такое, о чем раньше не подозревал. К тому же старость — великий придумщик, игрун: она впрядает нити полудремы в туманец усталого, но бодрствующего сознания и создает новую действительность, радостно и тревожно отличающуюся от той бедной и однозначной, в которой проходила предыдущая жизнь.

Что были для меня раньше два бокала красного столового, чуть тяжеловатого вина, выпитые за поздним завтраком? Я забыл бы о них прежде, чем поднялся из-за стола. А сейчас они повергли меня в то полупризрачное состояние, когда без всякого усилия оказываешься за очевидной сутью вещей. Молодым, здоровым и плоским, как блин, я никогда бы не увидел прекрасного спектакля, разыгранного после завтрака в гостиной, где мне предложили отдохнуть в глубоком дряхлом кресле перед прогулкой по городу.

Воробей сидел на буфете, величественном, как готический собор, и был одновременно уличной серенькой, с коричневыми крыльями птичкой, и нашим гостеприимным хозяином, достигая этого не увеличением и очеловечивающим изменением своего состава, а выражением маленького птичьего лица. Фокус его превращения был в круглых с золотым обводом глазах: чуть прищурится, скосится, напустит в черно-млечную капельку зрачка

иронической нежности и какой-то жалкой безунывности — и готов наш милый поэт Грегуар, сморгнет все разом, оставит пустой черный кружок — суетливый глупый воробей. Зато высвободившийся из клетки Коко стал ростом чуть не с человека; самоуверенно до нахальства он напяливал на себя одежду хозяина, приготовленную на выход: белую рубашку с галстуком-бабочкой, сине-стальной вельветовый пиджак с платочком в кармане, голубые фланелевые брюки.

— Коко, — проникновенно звучал голос Грегуара с вершины готического буфета. — Может быть, не надо?

— Но ты же знаешь, Грегуар! — надменно отзывался Коко, намекая на какие-то им двоим известные обстоятельства.

— Не будь таким упрямцем, Коко!

Вместо ответа Коко всунул тонкие ноги в замшевые туфли Грегуара и подтянул брюки.

— Коко! — молил Грегуар. — Коко, не уходи так далеко!

— Ни слова, Грегуар! — с тем же противным высокомерием оборвал Коко.

Откуда взялся его покровительственный — свысока — тон, и почему он присвоил себе право на выходную одежду Грегуара? Быть может, тут сказалось превосходство сороки над воробьем? К тому же Грегуар был сейчас совсем крошечным воробьем, а Коко — сорокой-гигантом.

Я обнаружил еще одну интересную пару. Развалившись на диване, Лисичка и Кошка-гостья распивали рубиновый шатонеф дю пап из хрустальных бокалов. Недавней ссоры как не бывало — лучшие друзья, усы испачканы вином, в глазах шальной блеск, но в чужие дела не вмешиваются, заняты только друг другом. Мне нравилось все это не знаю как, только жаль, что меня не взяли в игру. Я все-таки из Москвы и тоже мог бы чего-нибудь отчудить.

— Ну, я пошел! — послышался мягкий и звучный голос Грегуара.

Он стоял передо мной в сине-стальном, сильно приталенном пиджаке, ноги в голубых наглаженных брюках нетерпеливо переминались, а Коко, умалившись до положенной сороке скромной величины, прыгал в клетке, подергивая куцым хвостом, на диване нежилась серая кошечка, а собака несла у двери свою вахту.

— Куда вы? — спросил я с неприятным чувством, что мне это должно быть известно.

Грегуар улыбнулся своим большим ртом, полным крепких желтоватых зубов, его улыбка прощала мою невнимательность.

— Торговать поэзией. Близится священный час французского обеда. Мое место в ресторане.

— Я думал, вы ходите только вечером, — попытался вывернуться я.

— Да, в будние дни. А по субботам и воскресеньям — два выхода: в обед и в ужин. — Грегуар почему-то всегда посмеивался, когда говорил о своих делах. — Пищеварение располагает к лирике и развязывает кошельки. Видите, я беру с собой десять экземпляров поэмы и шесть — романа. Если продам хотя бы половину — я на коне. Вечором, как правило, урожай богаче.

Любовная поэма Грегуара Бренена издана в Париже по макету автора: искусно набрана, великолепно иллюстрирована; книга не сброшюрована, это отдельные, большого формата листы толстой гладкой матовой бумаги, вложенные в обложку из очень тонкого мягкого белого картона. Конечно, это дорогое издание, книги и вообще недешевы на Западе. Распродать тираж обычным путем — при том пониженном интересе к поэзии, какой переживает сейчас Франция, — дело безнадежное. Современный француз — рационалист до мозга костей, воплощение душевной трезвости и плоского материализма, ему ненавистно все, что несет смуту, тревогу, сомнение в раз и навсегда установленных ценностях. А он давно знает цену всему: вещам, идеям, развлечениям, чувствам, даже точно рассчитанным заблуждениям. Поэтому во Франции равнодушны к стихам, поэтому там плохой спорт, ведь для победы в сегодняшнем спорте надо быть немного безумцем, а уж фанатиком — наверняка. Но всякая чрезмерность, по мнению французов, — дурной тон.

На вооружении Грегуара не только поэзия, но и проза — роман «Воробей», который легче продать, но и стоит он куда дешевле. А ведь в двух этих книгах — всё, что мы ели и пили за завтраком: омлет, кролик, салат-латук, масло, хрустящие круасаны, яблочный сидр и тяжеловатое красное вино, всё, что будут есть и пить сегодня и все последующие дни в доме, где за столом всегда гости, в этих книгах — молоко и каша для внука, его ползунки, соски, игрушки, в них — помощь родителям малыша, изнемогающим в своем почти бездоходном ремесле, равно и конопляное семя для Коко и косточки для Лисички.

— До встречи! — сказал Воробей.

Вспорхнул и улетел.

А мы отправились в город, и пока бродили но его узеньким, извилистым, то тянущим навздым, то под гору улочкам, раз-другой мелькнул Грегуар с папкой под мышкой, перебегающий из ресторана в ресторан. Мне казалось, что ноша его не уменьшается, но после он хвастался, что почти выполнил план. Погода неважная, мало приезжих, но закат розов, чист, завтра

будет отличная погода, и он «сорвет банк». Впрочем, есть надежды и на сегодняшний вечер: люди весь день отсиживались по домам — онфлерцы в отличие от шербурцев не любят гулять с зонтиками — их наверняка потянет в кафе. Рассуждая, Грегуар быстро поклевал свой обед, ему подавали вне очереди, чтобы, отдохнув, он мог пораньше отправиться на вечерний промысел. Он ел быстро и невнимательно, как человек, вовсе не замечающий, что у него на тарелке, — совсем не французская черта; француз — гурман, лакомка, он смакует еду, священнодействует за столом, ничуть не тревожа себя мыслью, что чревоугодие — один из смертных грехов. Грегуар слишком духовен и скуп плотью, чтобы придавать значение пище телесной, и он единственный из встретившихся мне во Франции людей, который не пьет вина — ни капли. Оказывается, он дал зарок не пить вина — последней отрады в его аскетической жизни, когда тяжело заболела жена. У врачей опустились руки, и тут Грегуар крикнул в пасмурное небо Нормандии: «Если любимая останется жить, не притронусь больше к вину!» Кому-то там, наверху, захотелось испытать на прочность слабого человека: жена выздоровела, и Грегуар забыл вкус французской лозы. Из добросовестности он не пьет даже славного нормандского яблочного сидра, от которого чуть пошумливает в голове…

…Обед был в самом разгаре, а Грегуар уже отправился на промысел.

До чего же милым стал мне этот честный дом, но стоило хозяину скрыться, и будто отлетела душа от жилья, повеяло бытовой отяжеленностью. Я уже знал, как называется забота, туманящая чело Грегуаровой жены: единственный, горячо любимый сын, славный, прилежный, одаренный молодой человек. Он рано увлекся керамикой, его изделия отличались выдумкой, изяществом и вкусом, отец помог ему завести дело. Сейчас у Бренена — младшего небольшой керамический магазин на одной из центральных улиц Онфлера, при магазине мастерская. Мы заходили туда днем во время прогулки. Чуть не вся улица состоит из таких вот маленьких магазинов-мастерских. Лучшая часть французской молодежи, разочаровавшись во всех видах умственных спекуляций, в науке, работающей в конечном счете на войну, в технике, служащей тому же или усугубляющей физическое падение человека, не говоря о политике и культурном ширпотребе, устремляется в ремесла; наиболее чтимы профессии гранильщика, керамиста, ювелира, чеканщика, лепщика, краснодеревщика, раскрасчика тканей, реставратора картин, икон, старинной мебели, антикварных изделий и — как назвать умельца, внедряющего живой цветок в стеклышко, становящееся

брошкой или настенным украшением? К сожалению, в Онфлере все эти одаренные и увлеченные молодые люди довольно плохо зарабатывают. А ведь у многих семьи, и не за каждым есть папа-Воробей, который хочешь не хочешь, а наклюет для любимого сына, невестки и внука. И неудивительно, что тревожная тучка залегла в прихмуренных бровях жены поэта.

— Где Грегуар? — послышался отчаянный вопль из кухни. — Где Грегуар? — Коко тосковал о своем друге.

Ужасно, с лунным подвывом зевнула Лисичка и зашипела ответно Кошка-гостья. Крестьянская женщина из богадельни похрапывала, задремав в кресле, с тарелкой из-под сладкого в большой натруженной руке, клевали носом и другие дамы, вздыхала и хмурилась хозяйка, бубнил малыш в своем деревянном закуте, послеобеденная одурь распростерла над домом совиные крылья, и только любознательный сангвиник, раскрасневшийся от пищи и вина, жадно расспрашивал мою жену о Москве, словно собирался рвануть туда по шпалам. Предложение погулять, сделанное нашим парижским другом, было как спасательный круг.

На этот раз мы пошли в сторону недалекой окраины, откуда открывался вид на бухту, кипящую не сенской, а морской водой, и на лежащий по другую сторону Гавр, уже зажегший вечерние огни. Цепочка фонарей отмечала долгую линию гавани, а перед гаванью исходило мощным сиянием громадное вместилище электрического света. Это был океанский пассажирский лайнер «Франция», проданный за ненадобностью нефтяному магнату одной из тех стран Аравийского полуострова, что в пору моего детства отмечались на картах пунктиром, словно географы не были уверены в их реальном существовании и уж, во всяком случае, не знали точных границ. С некоторых пор полупризрачные страны не только точно обрисовались в географических атласах, но стали играть ведущую роль в мировой кутерьме. Наружная пустынность и голизна аравийских монархий и эмиратов с избытком искупается тем, что содержится в недрах: черная, густая, вонючая жидкость, в которую изгнила древнейшая флора земли, сделала их господами в мире, обожествившем двигатель внутреннего сгорания. Истекающие золотым потом, плюющие, рыгающие золотом нефтяные набобы скупают все, что плохо лежит, а сейчас все плохо лежит в обезумевшем мире: оружие, корабли, самолеты, замки, картины, скульптуры, идеи, позитивы порнофильмов, публичные дома со всем личным составом, футбольные команды, приценяются к городам, Венере Милосской, Джоконде, Сикстинской капелле, Эскуриалу, Вестминстеру, Реймскому и Кельнскому соборам. И

несомненно, получат все это, если и дальше так пойдет. Покупка нефтяным человеком «Франции» поистине символична. Он намерен превратить корабль, некогда гордо рассекавший океанские волны, в ресторан с барами, дансингом, секс-шоу и кабинетами для утех…

С Воробьем мы встретились за ужином. Он был вымотан, но держался молодцом: порхал, прыгал, щебетал, делал вид, что жизнь прекрасна, и, похоже, сам верил этому.

Он привел в сильнейшее возбуждение друга-Коко, пришлось накрыть клетку темным платком. Получив свою маленькую ночь, Коко сразу угомонился, спрятал клюв под крыло и погрузился в сон.

Увела домой дремлющую хозяйку серая кошечка, отбыли, расцеловавшись с Брененами, и другие гостьи. Сморился и слинял месье сангвиник.

— А Маяковский тоже выступал в кафе, — вспомнил Грегуар. — В желтой кофте.

Мои родители, задолго до того как стали моими родителями, дружили с молодым Маяковским. Мать рассказывала, что Маяковский заходил за ней в дом издателей Соедовых, ее дальних родственников, у которых она жила в Москве, и говорил своим великолепным голосом: «Ксёна (так он переиначивал мамино имя Ксения), пошли буржуев дразнить». И они шли в какое-нибудь кафе с французским, как правило, названием, там Маяковский читал стихи и крыл в хвост и в гриву сидящую за столиками богатенькую публику, которой его ругань доставляла противоестественное наслаждение. Книги поэта шли нарасхват.

Грегуар от души радовался и восхищался отважной манерой Маяковского, но в конце не удержал глубокого вздоха.

— С французскими буржуа такой номер не пройдет. Они полны величайшего самоуважения, коренящегося в твердой уверенности, что в целом мире одни лишь французы умеют жить и получать удовольствие от жизни. Конечно, французы, у которых есть деньги. Наша буржуазия чувствует себя пупом земли, она отдает должное богатству американцев, по их образ жизни презирает. Богатые позволяют себе чуть посмеиваться над своими очаровательными слабостями, но от окружающих требуют почтения. Маяковский достоин зависти, но попробуй я эпатировать аудиторию, меня просто выгонят, как испортившего воздух лакея.

…Мы ночевали в гостинице на центральной площади города, возле церкви св. Екатерины. Было чудесно просыпаться среди ночи и видеть пучки звезд в прорывах туч над колокольней, и ошеломленно сознавать, что ты в Онфлере, куда так милостиво

занесла тебя судьба, что в нескольких кварталах отсюда спит Грегуар, прижавшись к своей большой, теплой, грустной жене, откупленной у вечности его мужественной клятвой; спят неугомонный Коко и верная Лисичка, спят одинокие женщины, забыв о своем одиночестве, спят молодые ремесленники, поймав во сне удачу, спит в умерщвленном им корабле энергичный пришелец из далекой Аравийской земли, овеянной сухими горячими ветрами, и видит «Францию» плавучим борделем…

Утро выдалось не по нынешней весне. Тяжелое серое нормандское небо поднялось, высветлилось, голубизна просачивалась сквозь тонкую наволочь, порой разрывала ее, и солнце успевало бросить луч на курящуюся туманом землю. И было тепло, хотя поверху тянул сильный ветер, ломавший полет голубиных стай. Мы решили дать семье Брененов немного отдохнуть от нас и, попив кофе в гостинице, пошли бродить по городу, быстро наполнявшемуся туристами, преимущественно из Парижа. Снова навестили полюбившиеся нам места, от заливчика с парусниками — сегодня здесь потрудился Клод Моне: в сиренево-розовом дымке истаивали корпуса лодок и яхт, и вдруг вычерчивалась в воздухе мачта с реей, словно крест в незримой руке, — до тесной улочки молодых ремесленников, уже распахнувших двери своих пустынных магазинов.

А потом нас соблазнили блюда с дарами моря на столиках летнего ресторана, отхватившего чуть не половину городской площади с фонтаном посредине. Бьющая из отверстого рта бронзовой рыбы тонкая, высокая, прямая, как стебель ночной фиалки, струя упруго и стойко выдерживала напор зюйд-веста, лишь вверху с султана срывались пригоршни капель и звонко кропили плитняк мостовой.

Мы успели занять последний свободный столик. Ветер здесь совсем не чувствовался, он проходил на уровне зонтов, заставляя мягко погуживать их упругие шелковые купола. Было солнечно, тепло, пахло морем от залива и блюд с устрицами, крабами, раками, мидиями, уложенными на мелко колотом льду. И мы заказали себе такое, вот, невероятных размеров блюдо, которое незамедлительно подал стройный мальчик-официант. К устрицам полагались нарезанные дольками лимоны, белый хлеб — «багет» с золотистой корочкой, масло со слезой и, разумеется, бутылка холодного белого вина.

И наступило то мгновение, когда каждый погружается в свою отдельную тишину, и нет мира вокруг тебя с его болями и радостями, все твое существование сосредоточивается на устричной створке, куда ты выжимаешь лимон, заставляющий съежиться живой опаловый студенистый комочек; ты

подковыриваешь его вилкой с короткими зубчиками, отделяя от раковины, и отправляешь в рот кисловатую, холодную восхитительную малость и запиваешь глотком терпкого вина. И тут становится понятно, почему обжорство является смертным грехом — бурное выделение желудочного сока убивает бога, твоим богом становится устрица.

Вдруг шумно зацвиркали воробьи. Я еще раньше приметил маленькую стайку, то и дело налетавшую с площади на освобождающиеся столики с остатками еды.

Быстро поклевав что попало, они по взмаху салфетки разгневанного официанта враз снимались и улетали. На миг мне подумалось, что Он отделился от их стайки, но я сразу отбросил эту мысль — стайка сохраняла свое четкое построение, в ней не возникло пустоты. Наш Воробей прилетел откуда-то со стороны. В этом царстве плоти, среди раскормленных, холеных людей он казался таким непрочным, невесомым, что сжималось сердце. В висок стучало:

> В обе стороны он в оба смотрит — в обе —
> Не посмотрит — улетел!

Но он никуда не улетел, да и как можно улететь, когда к лапке привязано чугунное ядро семьи? С помощью скупого онфлерского солнца, зазолотившего его русые длинные волосы, капнувшие золотом в зрачки усталых глаз, омолодившего и засмуглившего худое изношенное лицо, он с удивительной ловкостью и быстротой обрел поэтичный и даже юный облик. В который раз поэт выходил на ристалище, чтобы победить равнодушие и косность. Удастся расшевелить этих едоков, пожирателей устриц и крабов, этих винососов, тающих в животном блаженстве, — заскрипит дальше семейная колымага, не удастся — завалится на обочину.

Грегуар увидел нас, обрадовался, подбежал, упрекнул, что не пришли к завтраку, строго наказал быть к обеду, отверг угощение: «Мне работать!» — и, объяв мгновенным птичьим взглядом всю окружность, выбрал соседний столик.

Там обедала парижская семья, я видел номер их «ситроена», когда глава семьи, моложавый, крепенький, как ранет, высаживал возле ресторана унылую жену, очень похожую на нее, но яркую, соблазнительную девицу, самой природой предназначенную на роль французской свояченицы, взрослую дочь, ее жениха или друга — бархатного ангелочка и сынишку лет десяти, толстощекого бутуза. Ловко подав задом машину, Месье со снайперской точностью вогнал ее в единственную щель на

стоянке, присоединился к семье, мгновенно нашел свободный столик, дал заказ и сейчас вовсю наслаждался громадным, вдвое больше нашего, блюдом даров моря. От него веяло достатком, удачей, крепкой жизненной силой. Он не мешал своим близким вести себя, как им хочется: жене вздыхать и брезговать пищей, свояченице неотрывно смотреть на него красивыми сочными глазами, не забывая при этом тщательно освобождать раковину эскарго от начинки, дочери перешептываться с молодым человеком, сынишке кочевряжиться, жадничать, разводить панцирно-ракушечью грязь вокруг тарелки. Сам он целиком предался насыщению. Чуть поддернув рукава клетчатого пиджака, он маленькими смуглыми руками ловко брал устрицы, мидии, ракушки, морских колючих раков, быстро, опрятно, даже изящно расправлялся с ними, отпивал глоток вина, смаковал и вновь обращал твердый взор к блюду.

Этот человек умел сполна отдаваться делу, которому в данный момент служил. Подобная волевая сосредоточенность не уступает страсти, наверное, он был хорошим любовником.

Когда Грегуар подошел, семья уже насытила свой скромный аппетит, за исключением самого Месье, он по-прежнему тянулся к блюду и брал то устрицу, то мидию, то клешню омара, сопровождая движение легким вздохом удовлетворения. Он был настоящий едок и глубокий стратег, знающий, что не надо ничего оставлять врагу. Мне подумалось, что выбор Грегуара не слишком удачен, да ведь он лучше знает эту публику; на всякий случай я дал зарок не притрагиваться к вину три дня, если ему повезет. В играх с французским провидением вино хорошая ставка.

Грегуар раскланялся, представился, семья сдержанно ответила на его поклоны, Месье так и вовсе заменил кивок вскидом и медленным опусканием век. Грегуар положил на свободный стул стопку книг и, видимо, почуяв исходящий от семьи спертый дух прозаизма, предложил им свой роман. Решительный пресекающий жест главы семьи напомнил об уличном регулировщике, останавливающем поток машин на Елисейских полях. Грегуар засмеялся, отложил роман и взял папку с поэмой. Непривычный вид печатного произведения, большой формат, благородная матовость обложки с красивым рисунком пробудили интерес семьи. Дочь перестала копаться в ракушке, вытерла салфеткой рот и переключилась на иной жизненный регистр, бархатный молодой человек автоматически последовал ее примеру. Мадам захлопала рачьими глазами — ей вообще было место на блюде, а не за столом — и опять провалилась в свою грустную пустоту, свояченица разрумянилась, что было ей очень к лицу, бутуз смущенно и недовольно притих,

и лишь глава дома сохранил полное хладнокровие. Все так же сдержанно отдуваясь, он потянул с блюда очередное лакомство и отправил в рот. Он не желал ничем поступиться обстоятельствам, возникшим не по его вине или желанию.

Еще раз поклонившись и попросив извинения, что вторгается в трапезу и отдых семьи, Грегуар начал читать вступление к поэме. Французская манера чтения стихов совсем не похожа на нашу. У нас стихи будто вколачивают в мозг и душу оторопелых слушателей или вгоняют под компрессией волчьего завывания. Французы читают тихо, почти без эмоциональной окраски, не навязывая ни чувств, ни мыслей, ни отношения; они делают *сообщение*, распоряжайтесь им как хотите. Не слишком ли много доверия к обремененным собственной судьбой слушателям? Маяковский не так читал и не так вел себя с жующими рябчиков буржуями. У него каждое слово — удар в челюсть, плевок в глаза. Обвал а горах, а не воробьиный щебет.

Грегуар выглядел удивительно мило и артистично, и его чтение было чуть живее, теплее обычной французской манеры, сказывалась славянская кровь. Мне даже показалось на миг, что он расшевелит слушателей.

— Почему так нежны трава и листья?.. — спрашивал Грегуар.

«Крак!» — страшными никелированными щипцами Месье перекусил крабью клешню и стал выедать нежное мясо.

— Почему деревья тянут ко мне свои ветви?..

«Р-р-р!» — включили бормашину — глава семьи ввинчивал буравчик в жерлице витой раковины улитки.

— Почему улыбаются цветы?..

«Хлюп!» — опустошил мощным всосом устричную раковину от кисло-соленой влаги неугомонный Месье.

Горек твой хлеб, поэт! Где пресловутая французская вежливость? Где воспитанность, которой так гордится этот народ? Можно не любить стихи, можно не уважать поэтов (только за что?), но имейте же совесть — к вам подошел приличный человек, не мазурик, не клошар, попросил разрешения почитать стихи, так примите с благодарностью маленький поэтический спектакль, за который можно и не платить.

Поведение Месье было не просто невежливым, а откровенно хамским. Его раздражало, что бедный поэт все-таки завладел вниманием его семьи, где должен безраздельно царить лишь он один.

Первой почувствовала его настроение жена и постаралась придать своей отключенности вид сознательного пренебрежения. Свояченица могла позволить себе большую самостоятельность, на грани неподчинения: она мечтательно откинулась в кресле и

устремила взор к голубому небу, вдруг вскипевшему быстрыми прозрачными тучками.

И внезапно из этих, просквоженных солнцем тучек пролился неуместный по ранней весне грибной дождь. Зонт защитил семью, но не защитил Грегуара, оказавшегося как раз за сухим кругом. Он рассмеялся, прервал чтение и сказал что-то задорное и, очевидно, остроумное — все сидящие за столом засмеялись, а дочь хлопнула раз-другой в ладошки, и даже глава семьи допустил улыбку на плотоядные уста.

Но остри не остри, а, промокнув до нитки, ты уже не имеешь вида. Длинные волосы как-то жалко облепили костлявый череп поэта, дождевые капли слезами скатывались по ложбинам худого лица, свернула крылышки бабочка-галстук, некрасиво потемнел и обвис пиджак. Он не сдавался, наш мужественный Воробей, и опять кидал слушателям золотые пригоршни солнечных слов, но в ответ получал лишь недоброжелательную настороженность, и даже самая отзывчивая — дочь, то ли боясь показаться наивной, глупой, то ли привыкнув подчиняться вкусам отца, смотрела на Грегуара хоть и сочувственно, но слишком издалека. Бархатный молодой человек томился скукой. Что касается свояченицы, то ее послеобеденные грезы давно оторвались от породившей их поэзии и сейчас отяжелили красивое лицо сонливым практицизмом. Месье тщательно дочищал блюдо.

Горек твой хлеб, поэт!..

Грегуар кончил читать и с поклоном преподнес поэму дочери. Та неуверенно повертела ее в руках, но, похоже, у нее не было собственных денег, и поэма перешла к бархатному молодому человеку, который без промедления отдал ее мадам. Та взяла папку с таким видом, словно опасалась взрыва, зачем-то взвесила на руках и хотела отдать Месье, но тот протестующе замычал — рот забит — и творение Грегуара досталось свояченице. Тут у меня опять шевельнулась надежда — свояченица принялась листать поэму, задерживаясь проснувшимся взглядом на иллюстрациях в античном духе. Но какой-то рисунок задел ее стыдливость, она усмехнулась, стукнула поэмой по темечку бутуза: не запускай глазенапы! — и вернула Грегуару.

На мгновение, буквально на мгновение улыбка сбежала с губ поэта. Он потратил столько усилий и времени, вымок, продрог, и все впустую. Но он был слишком поэтом и достаточно французом, чтобы не найти изящного выхода из положения, выхода для этих — нищих духом, а не для себя. Он спросил дочь, как ее зовут. Колеблясь, надменничая и ломаясь, она все же назвала свое имя. У Грегуара оказался оттиск с отдельной главой поэмы на той же прекрасной бумаге. Он сделал посвящение и преподнес оттиск

молодой особе. Дар был принят с той благосклонностью, с какой богатые неизменно принимают подарки бедняков. Листок пошел по рукам. Во мне все дрожало от обиды и ярости. Последним листок взял глава семьи, но поскольку он еще возился с остатками жратвы, рука его была занята вилкой, листок выскользнул и лег на устрично-мидиево кладбище, и рыхловатая бумага мгновенно адсорбировала морскую влагу, пойдя пятнами.

— К оружью, граждане! — вспыхнуло во мне. — За стихи и прозу, за Грегуара, за всех обиженных на земле!..

Я не успел подняться. Грегуар подошел и положил мне руки на плечи. Как он догадался?.. Да и что мог я сделать — гость чужой страны, только навредить Грегуару?

Еще одно неотмщенное надругательство над человеческой душой отяжелило мировую совесть.

Нет проблем?

Рассказ

Ты ничего не забыла сделать?

Каждый день после нашего довольно позднего завтрака, хотя жизнь в доме начинается рано — надо выпустить во двор двух чудных английских сеттеров, едва дотерпливающих до утра, — звучит этот нежно-укоризненный вопрос, с каким хозяин дома, тридцатишестилетний инженер Жак Дармоп, обращается к своей жене Жанне. Вообще-то завтрак продолжается, мы еще долго будем сидеть за столом, подливая в чашки остывающий кофе и делясь впечатлениями о романских соборах, ради которых прикатили из Парижа на берег Бискайского залива, но Жанна покончила с домашними хлопотами и может бежать по своим делам. Она много успела: приготовила завтрак, убрала комнаты, накормила собак, проверила уроки детей и собрала их в школу, поставила суп на плиту, накрасилась, надушилась, приоделась и сейчас, свежая, благоухающая, готова на выход. Не на службу, как думал я вначале, — Жанна, работающая чертежницей в строительной конторе, взяла отпуск на время приезда гостей.

Гостями были их старые друзья и верные партнеры по летнему отдыху Воллары — парижская семья: муж — журналист, жена — фотограф и моложавая черноглазая хохотушка, которую язык не поворачивается назвать тещей. Мы с женой гостили у Волларов, пригласивших нас во Францию и устроивших эту поездку. Предполагалось, что Воллары остановятся у Дармонов, а нам снимут номер в маленькой приморской гостинице. Но Жак, с которым мы виделись однажды у Волларов, запомнил, как я уплетал привезенные им из Олерона великолепные устрицы, запивая терпким белым вином, и, будучи большим гастрономом, настоял, чтобы мы тоже остановились в его не слишком поместительном доме. Нам выделили комнату на первом этаже, в гаражной пристройке, удобную своей полной изолированностью, хотя и несколько холодноватую по нынешней дождливой, знобкой весне.

Жак перевернул наше представление о французском гостеприимстве, весьма сердечном по форме, но крайне скудном по содержанию. Чем богаче француз, тем прижимистей, у бедняков обнаруживается порой и широта, и даже щедрость. Но в зажиточных домах неизменно поражает несоответствие сервировки: хрусталь, серебро, старинный фарфор — мизерности

угощения.

Широта Жака обескураживала. И главное — тут не было никакого насилия над собой, болезненного преодоления собственной сути. Жак, несомненно, был выродком в своем племени. Я часто вглядывался в его четкое смуглое лицо, обрамленное небольшой ухоженной черной бородкой, пытаясь угадать примесь чужой крови, делающей понятной совсем не галльскую, а какую-то славянскую, итальянскую или закавказскую тороватость. Нет, он был истинный француз и внешностью, и манерами, и душой, типичный француз, лишь с одним отклонением — щедростью. В духе своей доброты Жак воспитал и детей: десятилетнюю Флоранс и одиннадцатилетнего Жоржа, и жену, тут уместнее сказать «перевоспитал», ибо у радушной Жанны все же кривилось лицо, когда Жак безрассудно ставил на стол третью опутанную паутиной бутылку коллекционного вина, но атавистический спазм бережливости, унаследованный от крестьянских предков, быстро проходил, и Жанна опять сравнивалась в учтивости с мужем.

Дети Дармонов — серьезный, грустный, худенький Жорж и на редкость статное для десяти лет, крепенькое существо Флоранс, чемпионка города по дзюдо в своем возрасте, озабочены тем, чтобы дать выход томящей их доброте. Они то и дело одаривают окружающих собственными рисунками, изделиями из бумаги, картона и щепочек — у них замечательно умелые руки, — игрушками, книжками, фруктами, разной чепухой, возведенной в ранг значительности детским сознанием: шишками, пуговицами с военной формы, камешками, зацветшими ветками; обрядно, каждый день гладят и целуют собак, шелковых, ушастых, трогательно-костлявых сеттеров, воспевают родителей в стихах. Жорж выражает свои чувства в сонетах и четверостишиях, любовь богатырши Флоранс эпична, как и ее большая душа, она корпит над поэмами. Уходя спать, дети всех подряд целуют, даже нас — приживал из гаражной пристройки. В них нет ни слюнтяйства, ни сентиментальности, ничего от расслабленности домашних баловней — серьезные, задумчивые, тихие и деятельные дети. Они живут не просто потому, что родились, а словно бы догадываясь о необходимости своего пребывания в мире.

Душою дома был Жак, а не его миловидная, всегда приветливая жена. Ее словно бы чуть-чуть не хватало на ту жизнь, какую они вели, жизнь очень разнообразную, насыщенную и почти всегда осложненную гостями. Жак был жаден к жизни, людям, знаниям, на редкость отзывчив на мировую кутерьму. Он не терпел покоя и заверчивал каруселью окружающий его мирок. Ему хотелось все знать. Ни в одном доме не видел и такого

количества отменной справочной литературы. Стоило возникнуть какому-либо спорному вопросу, Жак тут же доставал с полок нужный справочник, Его интересовали — не знаю, одновременно или в разные годы жизни — цветы, деревья, птицы, бабочки и звери Франции, марки и монеты, марксизм и философия экзистенциализма, французская литература от древности до наших дней и русская классика, мировая история, новейшие течения в музыке, кино, охотничьи собаки и охотничьи ружья, спиннинговая рыбалка, романская архитектура, виноградарство и виноделие, рыбы рек и морей, коневодство, учение йогов и, конечно, бетон во всех видах, ибо он был специалистом по бетону.

Разумеется, Жак не ограничивался справочниками, у него была неплохая библиотека исторических и философских сочинений, полные серии большого и малого Скира, много мемуаров и старых редких книг о приготовлении пищи, о винах, о лекарственных растениях, о ведьмах и оккультных науках. И главное, Жак все это читал и помнил, обладая феноменально цепкой памятью. Он умел, никогда не торопясь и не суетясь, удивительно много успевать за день. Он, как и жена, устроил себе маленький отпуск, но кое-какую не терпящую отлагательств работу взял на дом. Утром он выгуливал собак, ездил на базар и до завтрака работал. Потом просматривал газеты, иронизируя и возмущаясь, иногда делал вырезки и вклеивал в альбомы, после чего вез нас на очередную экскурсию — мы находились в центре романской архитектуры, которую Жак ставил выше готики и Ренессанса, не говоря уже о последующих стилях. За обедом — о, благость долгого застолья! — он объяснял нам достоинства той или иной марки вина, доставая холодные, запотелые, а то и опутанные паутиной бутылки из своего погреба. Оказывается, вино дегустируют языком, нёбом и горлом, это три совершенно разных ощущения, но только так можно вполне оценить букет и плотность. Мы научились различать бургонское урожая разных лет, стали тонкими ценителями бордо и славного анжуйского винца, которым миледи хотела отравить д'Артаньяна и его друзей. И лишь отсутствие свободного времени не позволило нам вступить в «клуб божеле». Жак открыл нам душу вина, как и душу романской архитектуры. Мы изъездили всю Нижнюю Шаронту, и нам открылось, что грузноватая, хотя и догадывающаяся о высоте неба средневековая архитектура значительна и прекрасна не тем, что в ней проглядывает устремленная ввысь готика, а совершенным выражением очнувшейся в свет варварской души. Слезило уголки глаз дивное уродство церковных горельефов и скульптур — простодушный и трезвый реализм, призванный

воплотить духовную экзальтацию. Каким неискусным вдруг стал человек, желающий выразить себя в пластических образах, куда кануло изысканное мастерство греков и римлян! Конечно, то был совсем другой человек, и в своих грубых созданиях он воплощал идею времени и собственную душу с не меньшей полнотой, чем божественный Пракситель в своих. Каждая эпоха начинает все с начала, и опыт предшественников не служит постаментом новому искусству.

И все же прав Паскаль: человеку по-настоящему интересен только человек. И меня куда больше романских соборов, колоколен и часовен привлекал Жак. Должен признаться, что поначалу он показался мне современным вариантом флоберовских бедолаг: Бювара и Пекюше, недалеких буржуа, решивших овладеть всеми знаниями и наслаждениями века, но в результате лишь набивших шишки на тугодумные лбы и заболевших дурной болезнью.

Я ошибся. Жак был умен, остер и необыкновенно способен к физическим и умственным упражнениям, — меткий стрелок и сильный спорщик, блестяще владеющий оружием диалектики, он добивался успеха во всем, чем только ни занимался. Собаки Жака — золотые медалисты выставок, его дом набит охотничьими трофеями — чучелами зверей и птиц, он чемпион провинции но стендовой стрельбе, его статьи о памятниках старины печатаются не только в местных, но и в парижских газетах; член общества по охране природы, Жак считается грозой браконьеров и устричных пиратов. При этом он никогда не упускал из внимания своей нежности ни жены, ни детей, ни друзей, ни соседей. А вот Жанна, занятая меньше мужа, забывала поцеловать его, когда уходила после завтрака. Настигнутая уже в дверях его вопросом: «Ты ничего не забыла сделать?», она вспыхивала своим круглым лицом, высокой открытой шеей и грудью в глубоком вырезе корсажа; неловким девичьим движением, трогательным в ее налитой, зрелой женственности, непременно запнувшись о ковер, она кидалась к Жаку и целовала в висок. Жак задерживал ее сильной волосатой рукой и целовал в губы. Смущенная, красная, она выскакивала за дверь.

Но Жак оказался сложнее, чем я думал, уже отбросив образы Бювара и Пекюше. Я видел примерного семьянина, обаятельного и даровитого дилетанта, возмещающего многосторонней деятельностью скромные успехи в основной профессии. Жак не был светилом в своей бетонной специальности, занимал среднюю должность, дающую среднеприличный заработок. Я его недооценивал…

Черноглазая теща Воллара, одинокая и незанятая, претворяла

в наблюдательность богатые возможности своей живой, не остуженной годами натуры. Она приметила мою заинтересованность Жаком и на редкость проницательно угадала, что я на ложном пути. Однажды, когда мы возвращались к машине после осмотра очередной романской церкви, она заговорила со мной будто из глубины давно начавшегося диалога, хотя за все время нам не пришлось обменяться и десятком фраз.

— Жак вовсе не такой благодушный пресняк, как вам кажется.

— А он вовсе не кажется мне таким, — сказал я удивленно. — С чего вы взяли?.. Меня поражает его многогранность; наполненность, энергия…

— Да, он за все хватается. Увлекающаяся натура. Но собирать марки, стрелять по тарелочкам и рыться в справочниках — это все чепуха. Жак способен на куда большее. Он настоящий мужчина.

— Что вы имеете в виду?

— Жак может покончить с собой из-за любимой женщины, — с той важностью, с какой даже самая циничная парижанка говорит о любви, произнесла черноглазая теща. — Дармоны и Воллары всегда отдыхают вместе. Несколько лет назад они поехали на машине в Болгарию, на берег Черного моря. И там Жак влюбился в гречанку. Она была с мужем, много ее старше, но не лишенным обаяния. А гречанка — прелесть: черные волосы, синие глаза, я ее потом видела, она приезжала во Францию. То ли она любила мужа, то ли у них не приняты случайные связи — Жак получил решительный отказ. Он стал как помешанный. Бродил целыми днями невесть где, ничего не ел, только лил в себя литрами красное вино, худой, черный, с запавшими глазами. Дочь и зять ужасно за него переживали, пробовали говорить с гречанкой, но та и слушать не стала. Одна Жанна ни о чем не догадывалась, она была на редкость инфантильна, чему теперь довольно трудно поверить. Она застала Жака, когда он писал прощальную записку. Девочка мгновенно превратилась в женщину и ринулась на защиту мужа и семьи. Никто не знает, что она там сказала гречанке, но уже на другой день Жак был самым счастливым человеком на свете. Он и вообще заводной, но таким его еще не видели. Фейерверк!.. Они провели замечательный месяц.

— Вряд ли это можно сказать о муже гречанки.

— Почему? Он быстро утешился. — Черноглазая пожилая дама издала какой-то нутряной мурлыкающий звук. — Он стал ухаживать за моей дочерью.

— А как это понравилось вашему зятю?

— Он ужасно тщеславный. Любит, чтобы жена имела успех. Его злило, что Жак безумствует из-за другой женщины, а не из-за Люси. Теперь все были довольны.

— И Жанна?

— Конечно! Она спасла мужа. И сразу выросла в глазах окружающих… и в своих собственных глазах. Жак молился на нее.

— Значит, нет проблем?

— Проблема была снята мужеством малышки Жанны. Ах, это так хорошо, когда нет проблем!.. Вы только не выдавайте меня, — сказала она быстро, увидев, что моя жена остановилась и поджидает нас. — Рано или поздно Жак сам все расскажет, он так гордится мужеством Жанны.

Очаровательно улыбнувшись моей жене, словоохотливая дама прибавила шагу и ушла вперед.

— Какие у нее черные глаза! — удивленно сказала жена. — И какие блестящие!.. Наверное, вы здорово посплетничали!..

О да! Плоскостной пейзаж семейной жизни Дармонов обрел стереоскопичность, в нем открылись глубины и размытая, лунная, как у Леонардо, перспектива. Я думал, что дальнейшее пребывание в доме приведет к новым открытиям, но неожиданно мы заторопились в отъезд. Жака срочно командировали в Париж. Он предложил ехать вместе, чтобы показать нам по дороге дивные замки Луары.

На прощание Жак решил угостить нас дарами моря. Ни свет ни заря мы отправились с ним на рыбный базар.

Огромный, под стеклянным куполом павильон стоял у самой воды, и рыбачьи катера доставляли улов к его воротам. Рыба была еще живой, в корзинах бились тунцы, камбалы, скаты, мурены, горбыли, душно пахли короба с устрицами, креветками, мулиями. Но их сильный йодистый запах не шел в сравнение с той острейшей, свежайшей, великолепной и невыносимой вонью, какой пропитался воздух базара. Меня слегка мутило, а Жак наслаждался, его волосатые ноздри плотоядно сужались и раздувались, вбирая и выпуская крепчайший настой воздуха. Он погружал руки в цинковые ванны, где истомлялись последней жизнью красные морские окуни; иные еще плавали, сонно шевеля плавниками, другие медленно наискось всплывали светлым брюхом кверху, но, ощутив прикосновение Жака, ударяли хвостом и погружались на дно. Жак восторженно копался в скоплении тугих гладких тел, оставлявших серебристые блестки на его пальцах. Он жадно нюхал свои руки.

— Люблю! — сказал он, подметив мой взгляд. — И не передать, как люблю все это. И вонь, и скользоту под ногами, и

всю эту холодную рыбью плоть, которой будет насыщаться другая плоть — горячая, человеческая. Есть тут что-то первозданное, как в романской архитектуре, — готика уже от лукавца разума, — как в виноградном вине, как в любви… Только не надо мудрствовать! — воскликнул он, предупреждая возражения. — Права рыба, которая хочет остаться в своей сумрачной глубине, но прав и человек, который хочет ее к себе на стол.

Меня раздражали его раблезианские восторги прежде всего своей искренностью; я тоже буду жрать эту рыбу, но предварительно оболью серебрящиеся полумертвые тела незримой и тухлой слезой раскаяния. Я ведь, гад этакий, у каждой устрицы прошу прощения, прежде чем отправить ее, живую, пищащую от едкого лимонного сока, в пасть. Жак был целен, прям и честен в своем отношении к подчиненному миру. Мне это не дано…

И потому я покорно и молча помогал Жаку выбирать рыб, лангуст и розовых колючих морских раков…

— …Ужасно трудно признать, что есть не только твоя правда, по и чужая правда, столь же справедливая, — заметил Жак, когда мы ехали назад в душно воняющей рыбой машине.

Я думал, он возвращается к прерванному разговору, но мысль Жака унеслась далеко от исходной точки.

— Вы слышали о нашей болгарской истории? — спросил он.

Из деликатности следовало бы соврать, но не хотелось утруждать его понапрасну, и я подтвердил, что слышал.

— Жанна вела себя благородно?

— В высшей степени!

— Я сумел ей не уступить, хотя мне это куда труднее. Жанна при двух детях оставалась девочкой, женская суть еще не очнулась в ней тогда. Но я-то не мальчик… — Он искоса внимательно посмотрел на меня. — А-а, вы ничего не знаете!.. — И просто, деловито: — Жанна изменяет мне. Она каждое утро ездит к своему любовнику.

Я поймал себя на том, что не могу представить себе Жанну, рядом с которой провожу столько времени. Ее облик все время менялся: то молодая, но уже усталая женщина с лицом, оплывающим, как воск на жару, то крепенькая безмятежная кобылка, звонко цокающая копытцами крепких ножек, то растерянная крестьяночка, так и не приспособившаяся к городской жизни, то красавица спортсменка, тугая, как тетива, вся в устремлении к далекому ристалищу. Зыбкость ее облика, видимо, как-то связана с переменчивостью внутренней жизни.

Признание Жака застало меня врасплох, я пробормотал какую-то чушь: мол, ему только кажется…

Он поглядел насмешливо.

— Жанна ничего не скрывает. Зачем ей делать из меня дурака? Я этого не заслужил. Мы всегда были честны друг с другом.

— Честнее было бы расстаться, — услышал я с удивлением голос старого моралиста, вдруг вселившегося в меня.

— И швырнуть кошке под хвост четырнадцать лет жизни? И любовь, и семью, и благополучие детей? Мы пережили столько трудного: нужду, болезнь Жоржа, мои сумасшедшие влюбленности, со всем справились, а сейчас разжать руки? Ну нет… Я делаю все, чтобы сохранить Жанну, не дать ей забыть меня, отвыкнуть…

— А тот человек?

— Я его не знаю. Он старый холостяк и вроде бы не собирается терять свободу. Много старше меня, совсем седой, но Жанне хорошо с ним, и это главное.

— Главное — для кого?

— Для Жанны, разумеется. Бедная девочка, за тринадцать лет не поцеловать ни одного мужчины. Вы понимаете, я сделал ее женщиной, но пробудилась она только сейчас. Я рад за нее. В этом есть вечная правда жизни!..

Мне хотелось понять, что в рассуждении Жака идет от живого чувства, а что от «лукавца разума», но нам не удалось договорить — нас окликнула Жанна. Она тоже решила внести лепту в прощальный обед и вышла за корзиночкой клубники. Сейчас она пребывала в образе школьницы: никакой косметики, чистое свежее лицо, волосы расчесаны напрямую, вылинявшие джинсы и майка-безрукавка. Это было что-то новое и, наверное, наиболее годилось под отъезд Жаку…

А разговор наш мы продолжили на другой день по пути в Париж, куда продвигались со многими остановками не только у старинных замков, но и у всех винных подвальчиков. Жак был возбужден и счастлив. Жанна хорошо попрощалась с ним, поцеловала без напоминания, Флоранс вручила завершенную наконец-то поэму, прославляющую отца, а Жорж, чуть захлебываясь, прочел патетическое четверостишие.

Жак настырно крутил ручку радиоприемника, попадая то на венские вальсы, то на старинную лютневую музыку, то на скрипку Вивальди, но его возбуждение требовало иных звуков, и, оставив какой-то гавот, он добавил к нему ядреный рок-н-ролл Элвиса Пресли. В оглушительном шуме мы мчались от замка к замку, от погребка к погребку и, наливаясь местным, домодельным, терпким и легким вином, исполнялись все большей веры в будущее.

— Мне здорово не хотелось ехать, — признался Жак. — А сейчас я даже рад. Надо дать малышке Жанне немного свободы.

Мне казалось, что Жанна никак не может пожаловаться на недостаток свободы, но Жак был иного мнения.

— Ведь я давлю на нее просто своим присутствием. Она будет благодарна мне за короткое самоустранение.

— И вам все это по душе?

— Так вопрос не стоит. Это случилось, это данность, факт нашего существования. И положив руку на сердце нельзя сказать, что факт нежелательный. Рано или поздно Жанна должна была стать настоящей женщиной. И стала. Она расцвела, похорошела и безумно мне нравится. Наш брак выйдет из этого испытания окрепшим, а любовь — освеженной.

— Но ведь вы ревнуете?

— Конечно, ревную! — Жак повернулся ко мне и утишил музыку. — Откуда вы знаете? Кажется, я ничем себя не выдал?

— Я просто спросил.

— Ревность тоже естественное и по-своему прекрасное человеческое чувство. Оно делает жизнь горячей и богаче. Вспомните, без него не было бы «Отелло».

Он произнес это таким искренним и глубоким голосом, его концепция жизни была так крепка, цельна, округла, будто тронутое морозцем антоновское яблоко, что я ощутил другое естественное человеческое чувство, которое все же не решаюсь назвать «прекрасным», хотя именно оно, жгучее, ядовитое чувство Яго, в основе шекспировской трагедии, а ревность — вторична, — я ощутил зависть.

Быть настолько защищенным от жизни, от ее самых больных ударов, от самых невыносимых терзаний несложными построениями, обретающими в душе, выдрессированной снисходительной и удобной этикой многих поколений соглашателей, непреложную и освобождающую силу закона, — этому остается только завидовать. Впрочем, чему тут удивляться? Разве не описал все это в костюмах и декорациях иной эпохи Ф. М. Достоевский в своих гомерически смешных парижских очерках «Зимние заметки о летних впечатлениях»? Его великолепно приладившиеся друг к другу Мабиш, Брибри и Гюстав — чем не сегодняшний треугольник? У Достоевского глубокий аморализм буржуазной семьи изображен беспощадной кистью сатирика, в чем никто не мог соперничать с самым трагическим писателем мировой литературы, в жизни все выглядит мягче, человечней, но суть-то одна.

Как удобно, однако, устроились на клочке земного пространства, именуемого Францией! Понятно, откуда даже у

самого захудалого французa чувство насмешливого превосходства над остальными жителями земли, не сумевшими так ловко договориться с богом, роком и собственной душой. И брала досада, что я не могу искренне восхищаться этой великолепной защищенностью, — несчастный и безумный Рогожин мне ближе, понятнее…

Изложив свой символ веры, Жак совсем развеселился и стал подсвистывать Элвису Пресли. Под его искусный свист я задремал и проснулся в электрической ночи Парижа, на углу Елисейских полей, где мне надо было сходить. Вторая машина отстала, и я решил дождаться жену в маленьким кафе при драг-сторе.

— До свидания, Жак. Спасибо за все. Желаю удачи.

Зеленый неон вывески драг-стора, растворяясь в вечернем тумане, погружал эту часть улицы словно на дно аквариума.

— Все будет о'кэй! Желаю хорошо провести время.

Мы обменялись рукопожатием. Я ждал, когда он сядет в машину, чтобы помахать ему на прощание, но Жак чего-то медлил. Из черной рамы бороды смотрело бледное, в прозелень, будто неживое лицо.

— Мне одно непонятно, — донеслось словно издалека, — Там, в Болгарии, я действительно помешался… Хотел умереть… Но с холодным дневным сознанием… как она может?..

Итальянская тетрадь

Рассказы

Кондотьер

На площади Сан-Джиованни и Паоло, бегло осмотрев собор и заглянув в примыкающий старинный госпиталь, мы с женой расстались; она пошла в город по магазинам, мне же хотелось побыть с Бартоломео Коллеони, чей знаменитый конный монумент высится у левого крыла собора. Мы решили встретиться в обед в небольшой траттории, примеченной нами, когда мы шли сюда с набережной Большого канала.

Бронзовый гигант известен каждому, кто бывал в Музее изобразительных искусств в Москве, по великолепной, и натуральную величину копии, установленной в нижнем зале, с которого начинается осмотр. Я влюбился в лучшее творение Андреа Верроккьо, когда впервые десятилетним мальчишкой попал в музей, который мать по старинке называла Музеем изящных искусств. В тот прекрасный жгуче-морозный январский день я раз и навсегда полюбил изящные искусства, и кровь во мне сменилась: послушное домашнее животное, прилежный ученик стал злостным прогульщиком, лентяем и лгуном. Вместо школы я чуть не каждый день отправлялся в музей, без зазрения совести обманывая и домашних и учителей, выгадывая своим враньем свободу и очарование. Так облагораживающе подействовали на незрелую душу изящные искусства.

Конечно, я полюбил многое в музее, но Коллеони остался во мне первой любовью. Он могуч и прекрасен, так же могуч и прекрасен его конь. В горделивом поставе прямой крепкой фигуры, в жестких морщинах грозного лица, в косо выдвинутом вперед плече под железным оплечьем, в неумолимом и победном облике воителя было все, чем пленяется героическое мальчишеское сердце. К тому же очаровывало, туманило голову звучное и таинственное слово «кондотьер». Я так же не задумывался над его смыслом, как и над смыслом другого заветного слова: «мушкетер». Мне не было дела, что кондотьер — это наемный военачальник, продающий свой меч любому, кто хорошо заплатит, а мушкетер — хранитель королевской особы. Я вкладывал свой смысл в эти слова, в тяжело-звонком «кондотьер» звучала битва, стук мечей, топот тяжелых коней, в «мушкетере» —

скрежет острых шпаг.

Было и еще одно, сделавшее скульптуру Верроккьо столь важной для меня. Подавленные муки совести отыгрывались смутным ожиданием расплаты, я всякий раз не верил, что попаду в музей. Не верил, садясь в кольцевую «аннушку», не верил, приближаясь к ограде музея, не верил, подымаясь по широким каменным ступеням и слыша свое громко стучащее сердце, не верил, минуя контроль — это было самым страшным испытанием, — и разом исполнялся захлебывающейся веры, обнаруживая исчерна-зеленого кондотьера на своем место. Правда, до этого счастливого мига мой стыдливый взгляд должен был скользнуть по белому, голому, как из бани, Давиду, держащему на плече что-то вроде мочалки, а затем уже находил Коллеони, и был мне бронзовый воитель гарантией предстоящего счастья.

Я продолжал любить Коллеони и взрослым, видя в нем уже не героя, а воплощение не пробужденной временем к сомнению и милосердию средневековой души, зная, что полагается больше любить другого конника в том же зале — Гатемалату, созданного учителем Верроккьо, великим Донателло, ибо в нем больше гармонии, спокойствия, величавости, столь приличествующих скульптурным образам. Не экспрессия и движение стихия скульптуры, а состояние великого, сосредоточенного покоя. Это утверждали в один голос все экскурсоводы. Но я оставался верен Коллеони и всю жизнь мечтал о встрече с ним подлинным, первозданным под небом Венеции. И как всегда бывает, оказываясь в Италии, не мог добраться до жемчужины Адриатики. Тоска по Коллеони стала ностальгическим бредом о детстве и пронзительной чистоте былого мировосприятия.

Наконец-то свершилось… Вот он стоит на высоком постаменте еще более величественный в просторе и одиночестве, чем в тесноте музейного зала. И два времени — нынешнее, венецианское, и давнее, московского детства, — слились в моей душе.

Полное, радостное, чуть усталое чувство паломника, достигшего земли обетованной, владеет мною. Я не спеша захожу в прохладную мглу храма, смотрю на темные, почти неразличимые фрески и картины, на яркие пятна витражей и возвращаюсь на площадь, под синее венецианское небо, по которому проплывают битые осенние морские облака, погружая в тень фигуру кондотьера.

Я не замечаю движения времени, мгновение остановилось…

— Синьор, я к вашим услугам. Хотите осмотреть храм, госпиталь или вас интересует памятник?

Он был похож на артиста Тото, такая же небольшая озябшая фигурка в светлом плаще с поднятым воротником, горбоносое, узкое, насморочное лицо с выступающим подбородком, полоской усов и темными, будто исплаканными глазами. Его грудь защищал от вея морских ветров несвежий шерстяной шарф, на руках были замшевые перчатки с дырочками на концах пальцев, но лихо заломленная фетровая шляпа придавала унылому облику некоторую жизнестойкость. Фигура этого человека уже мелькала передо мной и здесь, на площади, и в храме. Таких вот гидов-добровольцев полно возле любого памятного места, они подхватывают растерянных туристов-одиночек и за малую мзду знакомят с достопримечательностями. Этим занимаются разные люди: чаще всего пенсионеры, иногда безработные, нередко просто бездельники, предпочитающие случайный, но легкий заработок трудам праведным. Мне показалось, что обратившийся ко мне человек принадлежит к последней категории. Для пенсионера он недостаточно стар, для безработного слишком беспечен при всей своей захудалости. Он был одним из тех людей, что держатся в жизни лишь привычкой жить и при этом сохраняют хорошее настроение. Мотылек, моль, и все-таки пусть будет и такая краска на палитре жизни. Но сейчас мне хотелось остаться наедине с Коллеони, и я повел себя не слишком любезно.

— Не говорю по-итальянски, — сказал я по-немецки и тут же раскаялся.

— Синьор — немец? — спросил он с мягким венским произношением. — У нас не будет затруднений.

— Будут, — буркнул я по-английски.

— Синьор предпочитает английский? — улыбнулся человечек и, предупреждая новый ход с моей стороны, произнес с американским акцентом: — Я могу и по-французски, и по-испански, и по-гречески…

— Не пойдет! — возликовал я на своем родном языке. — Я могу только по-русски…

— Чудесно! — радостно вскричал человечек. — Я три года провел в русском плену и даже думать стал по-русски. Конечно, прошло столько лет… Как я говорю?

Я вынужден был признать, что говорит он на удивление чисто.

— У меня большие способности к языкам. Сложись моя жизнь иначе… — Он вздохнул. — Так что будем смотреть?

И чего он ко мне привязался? Я видел, как с ним расплачивалась чета белобрысых, вываренных в щелоке шведов. Он получил достаточно на порцию спагетти, или равиоли, или

острой пиццы-неаполитано с анчоусами и на кружку светлого в таверне средней руки. А уже приближалось обеденное время, и не в обычае у таких людей жить впрок. Может, он разлакомился на порцию жареной рыбы с картофелем и бутылочку кьяити? Желание вполне понятное. Но у нас с женой на счету была каждая лира, мы всякий раз внимательно изучали вывешенное перед входом в тратторию меню, прежде чем переступить порог. Обойдется без рыбы с картофелем, гурман несчастный!

— Кондотьер Бартоломео Коллеони родился в Бергамо, — сообщил человек, не дождавшись моего ответа.

— Я был в Бергамо, заходил в церковь, где он похоронен, видел надгробье и каменную конную статую, не идущую в сравнение с памятником Верроккьо, — быстро проговорил я.

— Синьор много успел! — с огорчением сказал человечек. — Может быть, мы пройдем в храм?

— Я уже был там и прослушал по автомату немецкое объяснение. Вряд ли вы скажете мне что-то новое.

Он не пытался убедить меня в противном. Свои сведения о храме он, несомненно, почерпнул из того же источника — автоматического гида, приводимого в действие двумя монетами по сто лир. И все же нелегко ему было вычеркнуть из своего меню жареную рыбу с картофелем и бутылочку кьянти. Впрочем, не исключено, что он мечтал о мельбе и чашке черного душистого кофе. Он сказал, хитровато прищурившись:

— Но ведь о Коллеони вы не слышали лекции?

— Я и так все знаю. С детства.

— Я говорю не о памятнике. А что знает синьор о самом Коллеони? Не о свирепом и беспощадном воине, страшном для врагов Венеции, умевшей платить больше других нужным людям, а о Коллеони-человеке?

— А что о нем знать?.. — пробормотал я, чувствуя, что крючок бьет меня но губам.

— Это будет стоить всего одну миллю, — сказал человечек. — Жалкую тысячу лир. Неужели знаменитый кондотьер этого не стоит?

Тысяча лир, мятая бумажка с портретом Микеланджело, полагается мне в день на карманные расходы. Это чепуха — один доллар и двадцать центов. Но с другой стороны, это большая кружка пива или две чашечки кофе и право сидеть допоздна в открытом кафе на площади Сан-Марко, слушая музыку. И если б я верил, что он действительно может рассказать что-то интересное!..

— Знаете, — сказал я, — а ведь мы с вами встречались. Лет десять назад.

Он почему-то смутился.

— Н-не думаю… Где, простите?

— В Риме, Вы рассказывали, почему улыбается Джоконда.

— Синьор, поверьте, за всю мою жизнь я лишь раз покинул Венецию и сразу оказался в плену. — Для убедительности он прижимал руку к сердцу. — А там — Сибирь, снег и очень холодно. Это навсегда отбило у меня вкус к путешествиям. Я не был в Риме, даже в Падуе не был. Вы меня с кем-то путаете. И я не знаю, почему улыбается Джоконда. Наверное, просто от хорошего настроения. Но зато я знаю, что Коллеони, этот знаменитый воин, гроза врагов, звонкий щит и разящий меч Венеции, свирепый и непобедимый кондотьер, был… слабым человеком…

Я ждал чего угодно, но только не этого, и попался:

— Господь с вами! Откуда вы это взяли?

— Могучий кондотьер смертельно боялся своей жены. Это была настоящая ведьма, дьявол в юбке. Но, конечно, для своих домашних, окружающие видели ее улыбку. И потому лишь немногие догадывались о семейном кошмаре Бартоломео. Когда он возвращался из походов, то попадал из огня да в полымя. С той разницей, что в битвах лил чужую кровь, а здесь терял свою. Да, да, скандальная и здоровенная баба швыряла ему в голову чем попало, дралась, царапалась и кусалась. Бедняга не решался снять латы и даже спал во всем своем железе.

— За что же она его так?

— Она считала, что он мало приносит в дом. Другие, мол, кондотьеры больше берут. Злая и корыстная баба. Для нее он был никчемным человеком, шляпой, размазней. Тут она сильно расходилась с его врагами, которых он крушил и топтал на полях сражений, а потом безжалостно грабил. Но дома он был тише воды, ниже травы. Что, храбрец, — теперь он обращался прямо к кондотьеру, — нашлась и на тебя управа? Крепко доставалось от женушки?.. И знаете, — он хохотнул и втянул носовую влагу, — она ему изменяла. Кондотьер, под которым дрожала земля, не мог заставить дрожать семейное ложе. Он был рогоносец. Рогоносец Коллеони — хорошо звучит! — И, оттопырив указательный палец и мизинец, он стал показывать козу кондотьеру.

Для итальянца нет ничего оскорбительнее этого жеста. Сама измена не ранит так сильно, как насмешка. Тихий, мирный, робкий итальянец может кинуться в драку, обнажить нож, чтобы рассчитаться с обидчиком. Мне почудилось, что Коллеони тронул коня, сейчас он рухнет с пьедестала и разотрет в порошок наглеца. Железный гнев не минует и того, кто прислушивался к

сплетне. Конечно, это была игра воображения. Недоступный земному лепету, надменный и сокрушительный, вел он сквозь вечность, как сквозь битвы, своего могучего коня.

И все-таки история гида меня позабавила. Он точно сработал на контрасте и, главное, посеял во мне какое-то сомнение. А что, если в самом деле могучий Коллеони был мужем-подкаблучником? Занятна такая живая и неожиданная краска в человеческом балагане. Да нет, гид использовал старый, давно известный прием. Как там у Лермонтова о другом бесстрашном паладине?

Вернулся он в свой дом
Без славы и без злата.
Глядит — детей содом.
Жена его брюхата.
Пришибло старика…

Но разобраться в этом мне не удалось. Тишина взорвалась праведным гневом моей вернувшейся жены. Она столько успела, а я все еще валандаюсь, как нищий у церковной паперти. Давно пора обедать. Она сбила ноги, разыскивая меня по всем трattориям. Никакие объяснения не принимались. Торопливо кивнув гиду, я подхватил жену под руку.

— Кондотьер, — послышался укоризненный голос, — а где же обещанная милля?

Я ему ничего не обещал, но сразу дал деньги. Не за вранье о Коллеони, а за новеллу, которую он мне подарил своей прелестной наглостью…

Кошка, голуби и Тинторетто

От нашей гостиницы на улице Скиавоне до улицы Тинторетто, где находится расписанная им скуола ди Сан-Рокко, путь немалый, если судить по карте, но я решил проделать его пешком. За неделю, проведенную в Венеции, я убедился, что тут нет больших расстояний. Перепут узких улочек и горбатых мостиков быстро выводит к любому месту, которое на красно-синей карте кажется бесконечно далеким. Прежде всего надо было попасть на другую сторону канала. Я пошел от площади Сан-Марко, пустынной в этот утренний час, не забитой туристскими толпами, гидами, фотографами, продавцами искусственных летающих голубей, ползающих змей и бешено вращающихся на резинке светящихся дисков, горластыми

слепцами, предлагающими лотерейные билеты, томно-неопрятными венецианскими детьми. Даже голубей не было — раздувшись для тепла, они сидели на крышах и карнизах окружающих площадь зданий.

Маршрут я выбрал по улице пророка Моисея, по широкой улице 22 марта к площади Морозини, откуда уже виднеется горбатый мост Академии. За мостом начинается самая сложная и путаная часть пути. Проще было добраться через мост Риальто, но мне хотелось еще раз зайти в музей Академии и глянуть на «Чудо св. Марка» Якопо Робусти, прозванного Тинторетто, что значит «маленький красильщик». Кличку дали ему в детстве, когда он работал в мастерской своего отца. Я полюбил прекрасное и странное полотно Робусти по репродукциям. Святой спускается с неба к распростертому на земле мученику вверх тормашками. Словно он кинулся с небесной тверди, как ныряльщик с вышки, — вниз головой. На всех известных мне картинах небожители нисходят самым корректным образом: в блеске и славе, ногами вниз, головой, осиянной нимбом, вверх. Святой садится на землю, как дикий гусь, далеко и прямо пустив под себя ноги. А здесь он летит кувырком в великой спешке, чтобы сотворить свое чудо. Удивительно мускулистое и по-земному сочное зрелище. В этой сложной многофигурной композиции, на редкость единой и цельной, притягивает взгляд молодая женщина в золотистом платье с младенцем на руках. Она изображена сзади в сильном и женственном полуповороте к распростертому на земле мученику. Стоя перед картиной, я хотел понять, что возбуждало творческую волю Тинторетто, кого он здесь любил? Конечно, летящего вниз головой святого, эту молодую, холодно любопытную, но прекрасную упругой статью женщину и еще двух-трех резко выразительных персонажей в толпе, но только не мученика — голого, бессильного, неспособного к протестующему усилию. Было что-то кощунственное в этой яростной картине, столь далекой от обычной трактовки религиозных сюжетов.

На маленькой площади перед храмом св. Видаля я чуть задержался. Кто то уже позаботился о голубях, рассыпав им корм, и оголодавшие за ночь стаи слетелись сюда на пиршество. Голуби толкались, ссорились, взмахивали крыльями, подпрыгивали, с остервенением клевали зерно, не обращая внимания на пушистую рыжую кошку, изготовившуюся к прыжку. Меня заинтересовало, чем кончится охота. Голуби казались совсем беззащитными перед ловким и быстрым зверем, к тому же алчность притупляла инстинкт самосохранения. Но ведь кошка не торопится, тщательно рассчитывает прыжок, значит, не так уж просто сцапать голубя.

Безмятежность голубей словно провоцировала кошку на бросок. Но крошечная тигрица была опытным охотником. Медленно, почти неощутимо подползала она к стае и вдруг замирала, словно всякая жизнь останавливалась в ее худом под рыжей пушистой шкурой тельце. И я заметил, что суматошливая голубиная толпа с каждым подползом кошки отодвигалась от нее ровно на столько, на сколько она сокращала разрыв. Ни один голубь в отдельности не заботился о своей безопасности — защитный маневр безотчетно и точно производила общая голубиная душа.

Наконец кошка изловчилась и прыгнула. Сизарь выскользнул из ее лап, поплатившись одним-единственным серым с приголубью перышком. Он даже не оглянулся на своего врага и продолжал клевать зерна ячменя и конопляное семя. Кошка нервно зевнула, открыв маленькую розовую пасть с острыми зубками, расслабилась, как это умеют лишь кошки, и вновь сжалась, собралась. Ее зеленые глаза с узким рассеком зрачка не мигали. Кошка, похоже, хотела прижать жадную стаю к увитой бугенвилиями стене, но голубиная масса не просто отступала, а поворачивалась вокруг незримой оси, сохраняя вокруг себя простор площади.

…Четвертый прыжок кошки достиг цели, голубь забился в ее лапах. Кажется, это был все тот же голубь, которого она облюбовала с самого начала. Быть может, у него был какой-то ущерб, лишающий его ловкой подвижности собратьев, неправильность в сложении, делающая его более легкой добычей, чем остальные голуби. А может, то был неопытный молодой голубь или больной, слабый. Голубь забился у нее в лапах, но как-то бессильно, словно не веря в свое право на освобождение. Остальные продолжали насыщаться как ни в чем не бывало.

Стая делала все, что могла, для коллективной безопасности, но раз жертвы избежать не удалось, спокойно поступилась своим неполноценным сородичем. Все произошло в рамках великой справедливости и беспристрастия природы.

Кошка не торопилась разделаться с голубем. Она вроде бы играла с ним, позволяя биться, терять пух и перья. А может, кошки вообще не едят голубей?.. Так что же это — выбраковка дефектной особи? Или тренировка хищника?.. Я мучился, не понимая, имею ли право вмешаться в круговерть неподсудных человеку сил, и тут какой-то прохожий швырнул в кошку блокнотом, угодив ей в бок. Та мгновенно выпустила голубя, в невероятном прыжке взвилась на забор и скрылась. Голубь отряхнулся и, оставив по себе горку сизого пуха, заковылял к стае. Он был сильно помят, но отнюдь не выглядел потрясенным

и все так же хотел жрать.

Я злился на себя. Есть положения, когда надо не рассуждать, взвешивать все «за» и «против», а действовать. Когда правда только в жесте, в поступке. Я же мог сразу прогнать кошку, но относился к происходящему эстетически, а не этически. Меня восхищало и поведение кошки, и поведение голубей, и в том, и в другом была своя пластическая красота, и которой исчезал жестокий смысл происходящего. Лишь когда голубь забился в когтях, я вяло вспомнил о нравственной сути дела. А прохожий не рефлектировал, просто сделал жест доброты…

В главном зале музея Академии прямо напротив «Чуда св. Марка» висит «Ассунта» Тициана. Страшно сказать, но дивная живопись Вичелио блекнет рядом с неистовством венецианского Микеланджело. Но есть в полотно Тициана то, что вовсе отсутствует у Тинторетто, — старший мастер думал о боге, когда писал. А Тинторетто создал не чудо св. Марка, а фокус св. Марка. А ведь Тициан куда телеснее, куда приземленнее Тинторетто, уже шагнувшего к той духовности, бесплотности, что будут отличать его великого ученика Эль Греко…

Скуола — это место для религиозно-философских рассуждений и споров, призванных открыть высшую истину. Когда братство ди Сан-Рокко решило декорировать фресками верхнее помещение, оно объявило конкурс, призвав к нему лучших венецианских художников. Надо было представить эскиз росписи плафона для Зала Совета. И Паоло Веронезе, и Андреа Скиавоне так и сделали, а Тинторетто, угадавший свою художническую судьбу, совершил невероятное: написал огромное, исполненное яростного вдохновения полотно. Его соперники почтительно самоустранились, и он приступил к осуществлению главного дела своей жизни. Созданное Тинторетто по мощи и художественной полноте можно сравнить лишь с «Сикстинской капеллой», а по исчерпанности самовыражении с росписью доминиканского монастыря св. Марка во Флоренции братом Беато Анжелико.

Сюжеты фресок традиционные: легенда о Христе. Тинторетто как будто задался целью вскрыть ту чудовищную энергию, которая, выражаясь современным языком, «аккумулирована» в краткой жизни Сына человеческого. Начинается с Благовещения, где крылатый св. Георгий в сопровождении ангелов могучей птицей врывается в тихий покой девы Марии, проломив стену. Надо долго и пристально вглядываться в картину, дабы обнаружить, что Тинторетто не нарушил канона, за что художников предавали церковному суду, и архангел со свитой влетает в окна. Но и разобравшись в этом, вы продолжаете видеть

пролом в стене, ибо сам Тинторетто не мог иначе представить себе явление богова посланца с такой вестью. Громадная энергия вскрыта художником в тихом, благолепном поклонении волхвов; на заднем плане гарцуют призрачные кони, созданные кистью настоящего импрессиониста. Что ж говорить об «Избиении младенцев», где огненный темперамент мастера, а равно и его импрессионистическая манера получили полную свободу. Соблазн и кощунство в этой картине, где перед восхищенным экспрессией зрелища глазом художника равны жертвы и палачи. Но предела неистовства Тинторетто достигает в «Распятии». Многие большие художники писали Голгофу, каждый по-своему, но у всех эмоциональный центр картины — распятый Христос. У Тинторетто Христос — формальный центр картины. Огромная фреска представляет собой апофеоз движения. Голгофа? Да нет, стройплощадка во время аврала. Все в работе, все в движении, в предельном и каком-то радостном напряжении сил. И те, что еще возятся с распятым Христом, и те, что водружают крест с прибитым к нему разбойником, и те, что приколачивают к перекладинам другого разбойника, и те, что копают яму в правом углу картины, и те, что горячат коней в чудовищном возбуждении. Даже группе скорбящих на переднем плане не подарил художник покоя боли. Выпадает из живого буйного действа распятый на кресте атлетически сложенный Христос. Лицо его скрыто в наклоне, поза на редкость невыразительна и нетрогательна. Он исключен из деятельной жизни и потому неинтересен Тинторетто. Художник откупился от Христа огромным кругом очень холодного сияния, а всю свою могучую душу, всю страсть отдал тем, кто живет и делает. Совсем иным предстает Христос на фресках «Се человек», «Крестная ноша», «Вознесение», здесь он включен в мировое напряжение и потому желанен кисти Тинторетто. Все же Тинторетто лишен истинно религиозного чувства, его бог — пластика, движение. Он и за кошку, и за голубя, если они верны своему предназначению, своим инстинктам и месту, определенному им в природе. Больше всего он любит потную работу, так прекрасно напрягающую человеческое тело, будь то работа землероба, воина, чудотворца и даже палача. Лишь бы гудели мускулы и звенели сухожилия. Церковники привлекали к суду живописцев, нарушивших канон: не тот размах крыльев у архангела и прочая чепуха, но проглядели дерзостный разгул, учиненный Тинторетто в их собственном доме. Есть великая ирония в том, что братья скуолы ди Сан-Рокко привлекли к богову делу человека на редкость далекого от неба.

Тинторетто гениален и трагичен в этих фресках, но мало

поэтичен, если исключить две небольшие картины со стаффажными фигурами Марии Египетской и Марии Магдалины. А поэтичен он в иных «светских» картинах: «Суссане», «Нарциссе» и в таинственном полотне «Спасение Арсинои», где закованный в латы рыцарь опускает в утлую лодку нагую красавицу.

Я пишу все это, зная, что Гёте, восхищаясь «Раем», одной из последних картин старого Тинторетто, называл ее «предельным славословием Господу». Быть может, в исходе жизни Тинторетто пришел к тому, чего я никак не мог обнаружить в его «библейской» серии. Нет, не чуду Бога, а чуду Человека поклонялся художник. Но ведь бывает, что даже заядлый безбожник в близости смерти тянется к кресту.

Вечерняя прогулка к термам Каракаллы

Решив рассказать, как мы ходили к термам Каракаллы в Риме, я вдруг удивился сходству этого слова с русским «теремом». Неужто тут общий корень? Термос — это тепло. Нет бани без тепла, и терем, как всякое жилье, дает кров и тепло. Непременная принадлежность терема — теплые сени. А с другой стороны, терем — высокое строение, стало быть, он как-то связан со словом «турн» — башня.

Императорские термы (в Риме есть еще термы Диоклетиана и термы Траяна) служили не только для омовения, они были чем-то вроде клуба, здесь беседовали, рассуждали, спорили, читали вслух и пели, здесь звучали кифары, авлосы и лиры. И прохладное вино лилось в термах для остуды и освежения купальщиков, и тонкие яства подкрепляли умащенную плоть отдыхающих на благоуханном ложе.

Каракалла — обычный древнеримский подонок, взошел на убийстве (прикончил своего брата-соправителя Гету), держался на массовых убийствах (резня в Александрии) и пал от руки убийцы — преторианца Матрица. В свободное от убийства время он покровительствовал строительству. При нем много строили — и в Риме и в римских провинциях. Его бани — самые громадные после Колизея останки цезарийского Рима. Сейчас здесь ставят оперы и монументальные спектакли. Здесь же, под звездным небом, наш поэт в расцвете своей громокипящей юности сеял разумное, доброе, но, увы, не вечное. Понятно, что нам не терпелось к баням Каракаллы, и, найдя их на карте города, составив маршрут, мы отправились в ранний, окрашенный нежно-алым закатом подвечер из нашей маленькой гостиницы, затерявшейся в кривых улочках близ форума, в сторону Колизея.

Впрочем, я зря расписываюсь за жену, которая вовсе не разделяла моего энтузиазма в отношении терм. Она почему-то не доверяла Риму за Колизеем. Ей по душе была та часть города, которая примыкает к вилле Боргезе, древние обнажения ее тревожили, арку же Константина она считала тем пределом, за который вообще лучше не выходить. Мне стоило немалого труда убедить ее, что нас ждет очаровательная и романтическая прогулка.

В новых городах полезно менять маршруты даже с риском запутаться. Смело сворачивайте в незнакомые улицы, переулки, дворы, пусть вы собьетесь с дороги, испытаете растерянность, страх, в конце концов вы непременно будете вознаграждены каким-нибудь открытием, встречей. Вопреки обыкновению мы пошли к Колизею не по виа Кавур, самой прозаической и деловой улице Вечного города, а по узенькой улочке, носящей имя древнеримского цирка, и сразу были награждены вознесением. Непонятно, каким образом мы очутились высоко над городом, над Палатинским холмом, вровень с верхними ярусами Колизея.

Прямо под нами оказался вход в метро и полицейский участок с крошечными фигурками блюстителей порядка в нарядных плащиках с алым подбоем; справедливо было бы называть их жертвами итальянского беспорядка, ибо не проходит дня, чтобы их не убивали. От Сицилии до швейцарской границы идет беспощадная охота на полицейских. Но эти «моритури» (обреченные смерти) не становятся осмотрительней, собранней и серьезней; под дулами бандитских пистолетов они думают только о девочках.

Нам надо было спуститься вниз, чтобы попасть на улицу С. Грегорио, которая приводит к широченной и длинной улице Терм Каракаллы. Но спуска не было. Нам не оставалось ничего другого, как идти вперед, и гигантская обкусанная чаша Колизея медленно тронулась в одном с нами направлении. Конечно, то был обман зрения. Мы отмахивали урны, деревья, кусты, скамейки, клумбы, внизу скрылась арка Константина, прежде зримая в перспективе, но если судить по Колизею, то мы не продвинулись ни на шаг. Пытаясь осилить наваждение, мы все прибавляли шагу, но темный громозд справа, за узким глубоким ущельем улицы, опровергал наши жалкие усилия. Я не суеверен, но чувствителен к смещениям в трезвой обыденности бытия и вижу в них настораживающий знак каких-то тайных сил. Из этого вовсе не следует, что я охладел к цели нашего похода, скорее наоборот, ибо понял, что нас ждут неожиданности. Видимо, и жена это поняла, но с другим чувством.

— Знаешь, — сказала она мрачно, — я не вижу ничего очаровательного в нашей прогулке.

Выручить нас мог только спуск. Уйти от Колизея в этой выси было невозможно. Он медленно плыл вровень с нами сквозь сгущающуюся тьму, а потом вдруг озарился бледным, мертвенным светом, явив чудовищный оскал мертвеца. И тут мы увидели узенькую крутую каменную лестницу, уступами сбегающую вниз. Мы кинулись к ней и, совершив головокружительный спуск по ее обшарпанным, покрытым мохом ступеням, оказались напротив арки Константина. Мы с женой молча приняли это издевательское чудо, неразгадываемость которого как-то странно настроила нас друг против друга. Каждому казалось, что другой не был на страже, что лишь ослаблением заботы о близкой жизни объясняется тревожная нелепица получасового бега, ославившего нас на том же самом месте.

Переходили мы улицу на одном из худших перекрестков Рима поврозь. Я — в несколько бросков, угадывая мгновения спада в лавинном потоке транспорта. Мне помогли платформы трамвайных остановок и резервные зоны. Жена задумала дело вовсе безнадежное: дождаться, чтобы все светофоры Т-образного, с двусторонним движением перекрестка дали красный свет. Она ждала этого теоретически невозможного момента с терпеливым упрямством трусости, глухой ко всякой логике. И когда я уже начал махать ей рукой, чтобы она возвращалась в гостиницу, случилось невероятное: все светофоры зажгли красный свет, парализовав движение на всех улицах, выходивших к перекрестку.

…Мы миновали арку Константина и пошли по очень прямой, ярко освещенной улице С. Грегорио. Справа чернели на фоне затухающей зари развалины Палатино, слева тянулось темное, поросшее деревьями всхолмие, светились огни вилл. С чудовищной быстротой проносились машины, казалось, все они куда-то опаздывают. И было в этой части города что-то странное, тревожное, а что — мы не могли взять в толк, пока не увидели одинокую юношескую фигуру на краю тротуара. На улице не было прохожих, широкий тротуар пустынен из конца в конец, только шуршат шипами равнодушные, словно не обитаемые автомобили.

И так приятно было явление живой человеческой плоти в этом бездушии металла и скоростей. Можно спросить незнакомого человека, правильно ли мы идем, просто обменяться взглядом. Но мы опоздали. На огромной скорости подлетел маленький «фиат» и, взвизгнув тормозами, замер возле юноши. Тот что-то закричал и приветственно взмахнул рукой, в которой держал цветок. Дверца машины распахнулась. Мы увидели

смуглую обнаженную руку, большие темные очки в пол-лица, рыжие курчавые волосы.

Рослый юноша сложился и ловко юркнул в машину. В салоне горел свет. Мы видели, как он вручил цветок водителю и был награжден нежным шлепком по щеке. Его большая рука легла на рыжий загривок, пальцы зарылись в волосы, заиграли там, он медленно приблизил губы к любимому лицу.

Я почувствовал легкое прикосновение к своему локтю. Очарование чужого счастья вернуло мне жену.

— Тьфу, гадость! — сказала жена и отдернула руку, отстранилась, вновь убедившись в моем бессилии перед окружающим миром.

В машине находились два парня: рыжий и брюнет. Через мгновение они пронеслись мимо нас, рыжая голова покоилась на плече спутника.

Пьяцца ди Порто Капена повергла нас в растерянность и ужас. На карте это аккуратный кружочек, в действительности хаотическое пространство, где скрещиваются, переплетаются потоки машин, автобусов, троллейбусов и трамваев, где в беспорядке торчат высоченные дома и угрюмые развалины, где подступает лес, шумят деревья, воет негородской ветер; сюда вливаются и отсюда вытекают широченные, похожие на реки улицы без тротуаров — нельзя же считать тротуарами узенькие полоски плитняка, охлестываемые ветром проносящихся машин. И невозможно понять систему движения, приспособиться к нему, опасность грозит со всех сторон, здесь нет ни правил, ни ограничений, человек брошен на растерзание железным хищникам. Здесь признают только дальний ослепляющий свет. Лучи смерти тянутся со всех сторон, и нет спасения. Ослепленные, оглушенные, ошарашенные безжалостным буйством площади, мы бессмысленно метались среди машин, не выгадывая даже малого приближения к цели…

Звонки, гудки, скрежет и лязг тормозов, наше сбитое дыхание, резь в глазах, охлест воздушных волн от больших машин и вдруг — небольшое возвышение, три сросшихся корнями дерева и урна, набитая доверху палыми листьями. Островок в бушующем море, здесь можно перевести дух, осмотреться. Но лучи мощных фар не дают проглянуть пространство. Лишь ночное небо дарит ощущением покоя и прочности в этом взбаламученном мире. Справа по мутной мгле нарезан какой-то силуэт: то ли кроны деревьев, то ли облака. Вспоминаю, что по карте там должен быть зеленый массив. Тогда рослые деревья слева — парк Кайенских ворот. Значит, надо идти прямо, в сторону площади Нумы Помпилия. Не доходя ее, мы должны

увидеть термы. Обреченно, забыв о безопасности, мы ринулись поперек светового потока…

Нам не суждено было погибнуть на этой площади. И настал такой миг, когда мы увидели чудовищный мрачный громозд, облитый луной, ставшей прямо над ним. Термы в отличие от других исторических развалин не подсвечивались, во всяком случае в этот вечер. И у жены мелькнула надежда, что мы ограничимся лицезрением их со стороны. Но мы приняли столько мук, что надо было довести дело до конца, и, крепко взяв жену за руку, я потащил ее через все струящиеся гибельным светом аллеи безбрежной улицы.

Наверное, термы выглядят иначе, когда преображаются в театр или даруют трибуну поэту, но сейчас эти колоссальные черные мертвые камни производили удручающее впечатление. Они усугубляли бездушность ночи. И тут мы увидели крошечный костерок под стеной и компанию молодежи вокруг него и доверчиво пошли на этот свет.

Девочка лет пятнадцати в белом коротком платьице, открывавшем тонкие руки до плеч, впадины подмышек и длинные ноги до тощих бедер, ломалась в странном танце, озаряемая красноватым светом пламени. У нее были густые длинные волосы, то и дело падавшие ей на лицо. Она отбрасывала их назад сильным взмахом головы. Странно, никак нельзя было понять, какой она масти. Волосы то отблескивали медью, то казались совсем черными. Девочка танцевала изо всех силенок, она так выламывала свое худенькое тело, что становилось за нее страшно. Ее усилия пропадали впустую, никто на нее не смотрел. Смотрели на нас — трое или четверо подростков, лежащих на траве и передающих друг другу красную точку сигареты.

Внезапно костер потух. То не был настоящий костер, горела кучка бумажного мусора и палых листьев. Девушка продолжала изгиляться, отбрасывая с лица меняющие цвет волосы. Глаза парней горели зеленым в темноте. Они лежали очень тихо и неотрывно смотрели на нас. Чем-то нездоровым веяло от этих затаившихся наблюдателей да и от плясуньи с движениями твистующей лунатички.

В траве обозначилась тропинка, она вела внутрь терм. Неторопливо, спокойно, словно таково и было наше намерение, мы пошли этой тропинкой. Волчьи глаза неотступно следили за нами. Сквозь лиственную и бумажную гарь тянуло сладковатым дымком.

Мы беспрепятственно ступили в широкую расщелину, разломившую толстую стену. Я успел заметить, до чего хорошо стала луна над развороченным нутром терм, с графической

четкостью распределив здесь серебро и чернь, как мимо нас метнулась, возникнув из-под земли, мужская фигура и прянула во тьму. И тут же послышался короткий, резкий свист. Мы ненароком вторглись в чью-то дорожащую покровом жизнь, вспугнули ее, встревожили. Разумнее не настаивать на своем присутствии. У нас хватило выдержки выйти из терм через другой лаз, чтобы не сталкиваться с юными наркоманами, возможно уже одолевшими стадию безволия.

— А все-таки хорошо, что мы сюда пришли, — сказал я. — Только вечером это производит впечатление. А днем все становится обыденным — очередные развалины.

Была у нас такая домашняя игра: в любом свершенном промахе стараться найти что-то положительное, доказать друг другу, что мы не такие уж растерянные перед жизнью идиоты. Но впервые жена не подхватила игры.

— Думай лучше о том, как попасть домой.

Я обиделся и прошел вперед. И сразу завизжали тормоза. Возле жены стал, как лист перед травой, серый «фиат», и курчавый парень, высунувшись из дверцы, что-то кричал ей. Нас предупреждали: женщина с сумочкой на плече не должна ходить близко к поребрику тротуара — есть такие ловкие водители, что сдергивают сумку на полном ходу. Я кинулся на выручку. Парень поглядел, захлопнул дверцу и, круто отвалив от тротуара, укатил.

Пройдя немного вперед, мы увидели стоящий у тротуара серый «фиат» с погашенными фарами. Но через заднее стекло там кто-то проглядывался. Неужели курчавый обормот решил повторить попытку знакомства с сумочкой жены, сообразив, что ему противостоит лишь старый седой человек?

— Пойдем на ту сторону, — сказала жена. — Вон к той часовенке.

Насчет часовенки она добавила, щадя мое самолюбие, но я не собирался делать вид, что мне море по колено. Как-то вдруг я понял нашу совершенную безоружность в этом темном, безжалостном и молодом мире.

Мы перебежали аллею и оказались на клочке земли, мысом вдававшемся в площадь. Здесь стояла старенькая часовня под рослыми, еще не облетевшими деревьями, в их тени приютилось две машины: старый «ситроен» и новенький «альфа-ромео». Мы заметили их, только очутившись между ними. А справа у тротуара остался серый «фиат» — то ли с нашим курчавым знакомцем, то ли с каким-то другим умелым ночным человеком.

— Наверное, у них тут стоянка, — тихо сказала жена.

Но она сама понимала, что на такой стоянке машина не задержится. К тому же в «ситроене» сидел человек и, положив

подбородок на руль, неотрывно глядел на «альфа-ромео». Это нас подбодрило: если он что и злоумышлял, то, очевидно, не против нас.

Мы как раз поравнялись с «альфа-ромео», когда оттуда вышла голая женщина. Так показалось нам в первое мгновение — нам бросилась в глаза ее большая белая грудь, которую она грубо запихивала в лифчик, и голые ноги. Нет, на ней были трусики телесного цвета. В свободной руке она держала светлый пыльник. Женщина пронесла мимо нас свое немолодое, серое, влажное от трудов и закупоренной духоты машины, усталое лицо, опахнув спертым запахом дешевых духов, пота и папиросного дыма, и медленно направилась к «ситроену».

А первая машина резко рванула с места. И тут же от тротуара на ее место приземлился серый «фиат». Конвейер любви работал образцово.

Мы побрели к площади Нумы Помпилия, которую я вдруг вспомнил, как вспомнил и эту улицу и термы Каракаллы; все это я не раз видел, ведь тут проходит главная дорога в аэропорт Леонардо да Винчи, поэтому так велик и стремителен поток машин.

— Жаль, что термы не работают, — сказала жена. — После нашей романтической прогулки хочется отмыться.

Поэт

Когда мы вернулись в Милан после трехнедельной поездки по стране, наш милый хозяин Джанни сказал, что его друг-миллионер приглашает нас на ужин. Мы приняли известие хладнокровно, быть итальянским миллионером не фокус, если при всех падениях один американский доллар стоит восемьсот двенадцать лир. Джанни поторопился уточнить: его друг — миллионер в долларах, а в лирах — миллиардер. Лет десять назад ему досталась в наследство небольшая фабрика; талантливый инженер и волевой администратор, он превратил фабрику в одно из самых доходных предприятий Ломбардии.

Миллиардер жил под Миланом, в небольшом городке, где проводятся автомобильные гонки. Там у него вилла, но есть еще квартира в Милане, охотничий домик в горах, за озером Комо, и мыза в Скандинавии, его жена-северянка любит фиорды и снежную зиму. Из шутливых намеков Джанни мы поняли, что если будем хорошо себя вести, то удостоимся приглашения во все резиденции миллиардера, кроме скандинавской в связи с ее отдаленностью. Мы дали себе слово на один вечер забыть о

классовых боях.

Я никогда не имел дела с миллиардером и думал, что появление его должно быть обставлено торжественно, вроде выхода восточного властелина или римского кесаря, — трубы, букцины, флейты, карнаи, кимвалы, ковровые дорожки, белые слоны, полуголые рабы. И был сильно разочарован, когда в полутемном баре миллиардерской виллы, где мы пили аперитивы, невысокий круглый человечек с чаплинскими усиками сунул мне небольшую теплую руку и назвался священным именем. Он показался мне тихим, скромным, рассеянным и даже грустным. Потом, в клубе, где нас ждал ужин, во время долгого застолья, наблюдая, как он ест, пьет, разговаривает, вернее, ленится есть, пить, разговаривать и даже слушать, я понял, что его поведение диктуется пресыщением. Ему все надоело, и он не хочет притворяться, будто ему весело. Героический период жизни, когда он подымал фабрику, давно миновал, теперь дело движется почти без его участия; он был три или четыре раза счастливо женат, особенно удачным оказался последний брак с красивой северной женщиной, подарившей ему наследника; младенец надежно защищен от процветающего в стране киднапинга двумя вооруженными до зубов охранниками, мамками и няньками в пуленепроницаемых жилетах; к путешествиям он давно остыл, скучная доступность всех остальных радостей заставляет его быть верным жене, воздерживаться от вина, не одеваться по моде, на нем поношенный клубный пиджак с оторванной на животе пуговицей, мятые фланелевые брючки, нечищеные ботинки, кое-как повязанный шерстяной галстук; его «мерседес» полагалось бы давно сменить, даже будь он убогим миллионером по-итальянски. Но все это ему безразлично. К его услугам лучшие портные Лондона, штучные «роллсройсы» или «мерседесы» с блиндированными стеклами, впрочем, к личной безопасности он совершенно равнодушен. Похоже, он не прочь, чтобы его похитили, все-таки какое-то разнообразие. Считается, что большие деньги заставляют стремиться к еще большим деньгам, но этот инженер, видать, не стал настоящим капиталистом.

Лишь раз обнаружил он свой сильный характер. Джанни пошел танцевать. Ресторан был почти пуст. Из-за частых нападений на рестораны миланцы утратили вкус к ночной жизни. После девяти улицы города пустеют, одинокие фигуры принадлежат полицейским, карабинерам, наркоманам и педерастам. И хотя у въезда на территорию клуба дежурит крепкий паренек с перебитым носом и вздувающейся от пистолета подмышкой, клубмены предпочитают ужинать дома.

Почувствовав себя по-домашнему, Джанни разошелся и стал пародировать новомодные танцы. Джанни — коммерсант, но он явно прошел мимо своего настоящего призвания: с удлиненным, глазастым, необыкновенно подвижным лицом и долгим пластичным телом, с умением подмечать смешное в окружающих и ловко копировать, он прирожденный комик. Убежден, снимайся Джанни в кино, он затмил бы умученных режиссерами и порядком выдохшихся Альберто Сорди и Уго Тоньяци. Любимый номер Джанни — это пресловутый Андреотти, которого он почему-то особенно не любит. Так и сейчас Джанни выдал танец рамолизованного старичка, в котором все сразу узнали бывшего премьера.

Потом Джанни танцевал, как подвыпивший карабинер, как накурившийся марихуаны наркоман, как гомосексуалист, испытывающий отвращение к партнерше, как усталый жиголо на Ривьере. Ему стало жарко, он скинул пиджак и с блеском изобразил танец провинциального мафиози, из которого сыплются ножи и пистолеты. А когда музыка стихла, к нему подошел администратор и сказал, что устав клуба запрещает танцевать без пиджака и что отныне он здесь «персона нон грата». Джанни рассмеялся, поклонился и, сделав лицо скорбящего Андреотти, вернулся за столик.

И тут послышался неожиданно громкий и жесткий голос: миллиардер потребовал счет и лист чистой бумаги. Счет он небрежно подписал, кинул официанту чаевые, а растерявшемуся администратору вручил заявление о выходе из клуба.

— Шампанское и кофе будем пить дома, — сказал он нам и, резко двинув стулом, поднялся.

Пока мы шли к выходу, к нему подбегали взволнованные, огорченные люди и упрашивали взять заявление назад. Их лепет словно не достигал его слуха. Обращались и к Джанни — с извинениями и просьбами о заступничестве, тот улыбался, прижимал руки к груди, закатывал глаза — мол, рад бы, да не властен. Откуда-то извлекли древнего, впрозелень старца, наверное одного из старейшин клуба. Миллиардер снизошел до ответа:

— Оскорбили моего друга, здесь мне нечего делать.

А дома за кофе он подсел ко мне и спросил по-немецки с грустно-доверительной интонацией:

— Вы любите поэзию?

— Очень!

— Вы правду говорите?

— Конечно. — Меня удивило, что он придает этому значение. — Я люблю поэзию больше прозы.

— А знаете, — сказал он застенчиво, — я пишу стихи.

— И печатаетесь?

— Зачем?.. Но для друзей я издал небольшой сборник. Всего сто экземпляров, впрочем, и это куда больше, чем нужно. Разве бывает у человека сто друзей? Даже если причислить к друзьям всех бедных родственников.

Он вышел из комнаты и вернулся с папкой в руках. Стихи не были сброшюрованы: отпечатанные на отдельных листах изумительной, плотной и нежной, как сафьян, будто дышащей бумаги не типографскими литерами, а рисованными буквами, они были вложены в строго оформленную папку. Меня трудно удивить полиграфическими чудесами, я видел старинные издания Библии, молитвенники королей, монографию о Босхе семнадцатого века в переплете из свиной кожи, с золотыми застежками, и все же я был потрясен. Расточительная щедрость издания была обуздана безукоризненным вкусом.

Он писал маленькие стихотворения — четверостишия и восьмистишия, каждое напечатано на отдельном листе.

— Великолепно! — восхитился я от души…

— Подарить вам?

— Спасибо. Жаль, я не читаю по-итальянски.

— Хотите послушать коротенькое стихотворение по-немецки? Оно сложилось, пока мы ужинали.

Как разительно меняет человека прикосновенность к проклятому и благословенному делу литературы! Куда девался пресыщенный, равнодушный хозяин жизни? Из-за очков струился мягкий, молящий свет коричневых беспомощных глаз. А что ему до меня — случайного захожего человека, которого он больше не увидит, к тому же глухого к итальянскому звучанию стихов? Но мы принадлежим к одному братству боли, и сейчас я был важнее для него всех друзей и всех бедных родственников.

Он прочел коротенькое стихотворение, набросанное на бумажной салфетке.

— Хотите знать, как это звучит по-русски? — спросил я.

— Я все равно не пойму.

— У вас же ухо поэта.

Слова, слова,
Всего-то лишь слова…
Но — высшая вам честь!
Все тлен и суета,
Вы — есть.

— И это стихи?

— Я не умею переводить, стихи получились сами собой.

— И смысл есть?

— Да. Очень неожиданный для владельца фабрики.

— Как она мне надоела! Вот единственное, для чего стоит жить. — Он что-то размашисто написал на титульном листе своего сборника и подвинул папку ко мне. — Я несчастен, видит бог… — Беспомощный взгляд коричневых глаз за очками приметно потвердел. — Но без фабрики я был бы еще несчастнее.

Животный мир Италии

Животный мир Италии богат. Прежде всего здесь очень много собак. Их любят. В нашей маленькой гостинице не было ни ресторана, ни кафе, и мы ходили завтракать в бар на углу улицы Кавура. Несколько столиков было вынесено на тротуар под цветные зонтики; отсюда хорошо открывалось всхолмие форума с базиликой Массенцио, и кормили тут недурно — за две милли можно получить завтрак туриста: омлет с ветчиной, булочку, кофе. Мы приходили в девятом часу, когда итальянцы выводят собак на прогулку. Через несколько дней мы уже знали всех местных псов. Очень мила была старая овчарка, хотя я не люблю эту породу. Связано это для меня с карателями в дни войны. Умная и преданная овчарка в том ничуть не повинна, так распорядился ее судьбой Великий Хозяин. Этот же старый пес на полусогнутых ногах и с обвислым брюхом, почти касающимся земли, был существом домашним, он никогда никого не выслеживал и не преследовал, не сторожил, не облаивал, чтобы привлечь погоню, не валил на землю и не рвал зубами. С огромным, неомраченным доверием к людям и всему сущему, он лишь в силу врожденной деликатности и тонкого воспитания не обнаруживал бурно распирающих его нежных чувств. Он приходил сюда в сопровождении дряхлого хозяина в поношенном, но безукоризненно отутюженном костюме и белой рубашке с крахмальным воротничком. У хозяина был голый смуглый череп в коричневых пятнах и крапчатая рука, он заказывал себе чашечку крепчайшего кофе, а псу — хлебец. Но до этого, только ступив на территорию бара, пес начинал со всеми раскланиваться, при каждом кивке еще ниже припадая к земле. Это напоминало придворные поклоны испанской знати. Он раскланивался с посетителями, с их собаками, не умевшими ему ответить и глупо лаявшими, с розовой кошкой владельца бара, с ней особенно любезно, потому что то была злая и несчастная кошка, она то и дело шипела и выгибала горбом шелудивую спину. Он кланялся

даже голубям, ходившим враскачку меж столиков, нахальным воробьям, залетавшим под цветные зонты. Его приветливостью окрашивалось утро.

Появляясь здесь, он всегда заставал двух молодых бродячих дворняжек сорочьей расцветки, видимо близких родственниц — где у одной бело, у другой черно, и наоборот. Завидев овчарку, дворняжки ложились на спину, кверху нежным блохастым брюхом, передние лапы поджаты, их жалобная поза читалась как непротивление злу насилием. Старая овчарка хмурилась от смущения и отвешивала каждой по любезнейшему поклону. Дворняжки вскакивали, благодарно повизгивая.

Был еще маленький пуделек, который все время служил. Сперва перед собственным хозяином, молодым толстым обжорой, затем, получив кусок сахара и твердо зная, что ничего больше не дождешься, у других столиков. Подачку он брал нежадно, но, верно, гордился своим умением сидеть столбиком. Был еще красный сеттер, приходивший с хозяином за газетой. Толстую, свернутую в трубочку утреннюю газету ему полагалось нести в зубах, но это было еще не главное его умение. Хозяин неизменно забывал у стойки бара зонтик. Пес деловито возвращался, опускал газету на пол, брал в пасть зонтик, осторожно и ловко подхватывал газету и трусил за хозяином.

Был мрачный жесткошерстный терьер со спутанной бороденкой, был огромный добродушный сенбернар, пускающий тягучую слюну с брыл, и была жемчужная тонконогая борзая, которая смеялась, обнажая верхние мелкие зубки.

Много было всяких собак, и была ужасная собака. В ней смешались разные крови: блютерьер дал заросшую морду, спаниель — расцветку и гусиные лапы, эрдель — курчавый чепрак. Из этой мешанины получилось милое существо, сейчас уже очень старое, потрепанное жизнью, но живое и доброе. Беда была в другом: под брюхом у нее колыхались большие черные тугие мешки — изуродованные болезнью, раком видать, сосцы. При ходьбе они раскачивались словно колокола. Бедняга не понимала своей непривлекательности и доверчиво сновала между столиками, ожидая подачки. Люди брезгливо отворачивались, иногда не глядя кидали какой-нибудь кусок. Она съедала его неторопливо и признательно и тянулась мордой к дарителю в надежде, что он ее погладит. Похоже, ей больше хотелось ласки, чем куска. На моих глазах она этого не дождалась. Правда, никто ее не гнал, не шпынял, не обидел словом. Но хозяин бара, рослый черноглазый молодец в спортивной куртке и туфлях «адидас», видел, что больное животное неаппетитно посетителям. Он подзывал собаку свистом, давал понюхать обрезок колбасы и

кидал его за ограду заведения. Что-то странное и тягостное появлялось в собачьем взгляде. Неужели она догадывалась?.. В этом нет ничего невозможного: поведение окружающих, прежде таких приветливых, стало иным, когда она почувствовала неудобство и тяжесть от своих чудовищно разбухших сосков.

Но и это несчастное существо не было вовсе обделено лаской. Каждый день на угол тупичка возле траттории приходил старик пенсионер со складным креслом и двумя нахлебниками: собакой и кошкой, которые в своем возрасте были еще старше его. Он устанавливал кресло, удобно усаживался и начинал созерцать окружающую жизнь.

Нахлебники заваливались спать у его ног, прижавшись друг к дружке спинами. Кошка спала беззвучно, собака повизгивала во сне, сучила лапами, наверное, ей снилось, что она гонится за кошкой.

У старика была странность: он всякий раз приносил с собой коробку с форсистыми оранжевыми полуботинками. Он доставал их, разглядывал, мял, нюхал, оглаживал чистые, не касавшиеся пола подметки, терся о них щекой и клал туфли назад в коробку. Когда же мимо проходили соседи и знакомые, а старика знал весь квартал, он снова доставал обновку и горделиво показывал. Я так и не узнал: купил ли он их, или получил в подарок, или сам стачал, или выиграл в лотерею. И навсегда осталось для меня тайной, что значили оранжевые полуботинки в символике мирового бытия.

К этому старику, покончив с колбасой, подходила больная собачонка. Нахлебники не чуяли ее во сне. Она ложилась по правую руку старика. Он что-то говорил ей, потом нагибался, отчего кровь приливала к его лбу и темени, как у святого Петра, распятого вниз головой, и начинал осторожно массировать ей сосцы большой и легкой рукой рабочего человека. Собака потягивалась, благодарно поскуливала, что-то отпускало ее внутри, и, лизнув старикову руку, она умиротворенно закрывала глаза седыми ресницами и засыпала. Старик распрямлялся, кровь медленно сплывала с лица. Он кричал хозяину бара, чтобы тот подал ему стакан пива.

Хорошо относятся в Италии к собакам, с уважением. Собак много, они гадят на улицах, но никто не делает из этого трагедии, не предлагает их уничтожить, ни даже ограничить место для выгуливания одним квадратным метром за помойкой. И лай их никому не мешает и лезущая в линьку шерсть. Собаки не мешают людям, и люди не мешают собакам. Похоже, помнят, что некогда вырвали из природы и приучили служить себе дикого, свободного зверя, воспитали в нем собачью преданность и

тем самым обязали себя ответной заботой. На этом негласном сговоре все равно больше выигрывают люди, собаки и так совершенны, а люди научаются доброте…

Италия — голубиная страна. Голубей много во всех городах, но особенно в Риме, Венеции, Флоренции и Милане. Прошу прощения у Неаполя, возможно, он не уступает своим собратьям, но я попал туда в какой-то неголубиный день. И запомнились мне крупные чайки. В Риме голуби — хозяева площади Навонна; треск голубиных крыльев не умолкает над площадью Дуомо во Флоренции, площадью Сан-Марко в Венеции; соборная площадь в Милане кишмя кишит голубями, случается, им отдавливают лапы зазевавшиеся прохожие. В голубиной толпе всегда есть хромцы, но потом лапка заживает, и голубь возвращается к обычной беспечности. Самые забалованные голуби — на Домской площади в Милане. Они не боятся ни людей, ни кошек, ни собак, никому не уступают дорогу и взлетают только для того, чтобы облепить голову и плечи туриста, ставшего перед аппаратом уличного фотографа. Они знают, что турист ради хороших снимков будет скармливать им отборное зерно, которое приобрел у того же фотографа. Огромный пассаж Виктора Эммануила, выходящий аркой на площадь, затянут частой сеткой от голубей, лишь внизу оставлен проход для посетителей. Если б не эта предосторожность, знаменитая галерея стала бы голубятней — от пола до потолка в клейком, несмываемом и несчищаемом помете. При всем том газеты не называют голубя «опасным другом», «разносчиком заразы», «птицей-антисанитаром», наталкивая нервный ум граждан на мысль, что уничтожение голубей оздоровит общество. Нет, тут твердо помнят, символом чего был и остался для человечества голубь.

Очень много голубей на площади Ла Скала. В центре площади — памятник Леонардо да Винчи. Мастер стоит на высоком постаменте, а ниже его по четырем углам разместились леонардески — преданные ученики, оказавшиеся в вечном плену у таинственной Леопардовой улыбки. Они так и не обрели собственной индивидуальности, хотя картины их можно встретить в лучших музеях мира: изысканный Джованни Антонио Бельтраффио с острой аристократической бородкой, простодушный Марко Д'Оджионне — каптенармус художнической артели, трагический Чезаре Да Сесто, мучительно томившийся своей зависимостью от Учителя, и самый талантливый — Андреа Соларио, едва не вырвавшийся из магического круга. Леонардо чуть наклонил в раздумье голову под знаменитым плоским беретом, борода струится по груди. Лицо сосредоточенно, пытливо и мягко-печально. В рослой фигуре — изящество и сила,

чем и отличались искусство и личность художника. Хороший памятник. Я что ни день ходил к нему, и в конце концов мне открылось странное чудо. Огромный Виктор Эммануил на соседней Домской площади загажен голубями от копыт лошадей по треуголку, кажется, что он гипсовый, а не бронзовый. Иное дело — памятник Леонардо. Голуби делают различие между Мастером и учениками. Хотя высящаяся в центре монументальная фигура Леонардо является самой привлекательной посадочной площадкой для голубей, редко-редко на плечи или голову Мастера опустится одинокий сизарь и тут же летит прочь, будто вспугнутый окриком… В то же время низенькие леонардески облеплены голубями и ссохшимися потеками их внимания. Я не вижу тут ничего мистического: когда чужой голубь или невоспитанный малолеток, незнакомый с правилами поведения, нарушает этикет, старожилы предупреждают — прочь, сюда нельзя, садись на Бельтраффио или Д'Оджионне, что тебе, места мало?.. Растения, как известно, отзываются на ласку и могут сами регулировать подачу влаги к своим корням и тепла к зеленому телу — такие опыты ставились неоднократно, так неужели же одушевленным существам, тысячелетия проявившим возле человека, не знать, кто такой Леонардо и как надо обходиться с величайшим гением Ренессанса?..

Когда мы приехали в Рим, то оказалось, что заказанный нами по телефону номер в маленькой неплохой гостинице освободится только завтра утром. Администратор, в меру смущенный накладкой, предложил отвести нас в соседний отельчик, где есть свободный номер, крайне спартанский, зато и очень дешевый. Мы, конечно, согласились, не ночевать же на развалинах форума. Багаж у нас забрали, утром его перенесут в наш законный номер, и мы отправились налегке, что было весьма кстати, поскольку лифта в захудалом отельчике не имелось. Поднявшись на пятый этаж по узкой деревянной винтовой лестнице, мы оказались прямо перед нашим номером, выше — чердак. Отомкнув дверь ключиком от обычного английского замка (как я люблю массивные гостиничные ключи, так блаженно заполняющие ладонь!), мы ступили в маленький голый номер с полутораспальной кроватью, одним-единственным стулом, тумбочкой и тяжеленной настольной лампой. Не было ни шкафа, ни вешалки, ни хотя бы гвоздя, чтобы повесить одежду. Не было и умывальника, зато имелась дамская фаянсовая ваза и ночная посудина из того же сверхтяжелого металла, что и лампа. Нам предоставили для ночевки убежище летучей любви. Жена раскрыла постель, белье было свежее, чистое, но все же мы решили спать не раздеваясь. Несколько подавленные, мы

погасили свет и легли на грешное ложе, накрывшись нашими плащами. Жена сразу затихла, но я не мог понять, спит ли она или добросовестно притворяется в надежде, что ее притворство обернется настоящим сном. А потом я и сам ненадолго заснул и увидел короткий сон, связанный с Флоренцией, откуда мы приехали в Рим. Мелькнули Старый мост с золотыми рядами и ползущий по дну обмелевшей Арно экскаватор, и какой-то желчныйй человек, дергаясь, говорил: «Вот увидите, он устроит новое наводнение!» Я был в Италии во время страшного флорентийского наполнения, унесшего бесценные сокровища живописи, и страшно затосковал от пророчеств желчного человека, даже заплакал и проснулся. Но проснулся как-то не совсем. Флоренция еще дотаивала во мне смутными, не обретающими формы видениями, и, словно сквозь туман или болотные испарения, я различал обиталище, в котором находился, хотя не умел его назвать, но это меня не пугало — я был защищен несомненным присутствием жены.

Странное полубодрствование озвучилось каким-то топотом. Я поднапрягся той частью своего существа, которое принадлежало яви, и топот стал яснее, определеннее. При этом я отчетливо сознавал, что в комнате никого, кроме нас, нет. Видимо, заоконные звуки создавали эффект присутствия незримого бегуна. А затем что-то шарахнуло меня по накрытым плащом ногам, и, резко вздрогнув, я окончательно стряхнул с себя сон, и увидел комнату в тусклом свете, процеживающемся из-за ставен, и довольно крупное животное, сидящее на полу. Оно то вытягивалось, то сокращалось. Когда вытягивалось, слышался царапающий звук. Глаза привыкли к полумраку, теперь я видел, как животное, цепляясь за мой пиджак, висевший на спинке стула, становится столбиком. В нем было не меньше полуметра. Я перебрал в уме разных животных от ласки до бобра, по размерам подходила выдра.

— Выдра! — сказал я вслух.

— Что с тобой? — послышался тихий, напряженный голос жены. — Это крыса. Прогони ее.

Я смертельно боюсь крыс. Меня пятилетнего напугала крыса, впрыгнувшая в мою кровать с сеткой, когда я болел корью.

— Кыш! — сказал я неубедительным голосом. — Пошла вон!

Крыса прислушалась замерев. Потом опять зацарапала когтями но моему пиджаку и вытянулась на задних лапках. Я увидел ее чудовищную тень, достигающую потолка. Нагнувшись, я нашел ботинок, швырнул в крысу и по обыкновению попал. Крыса зыркнула клюквенным глазом, взяла ботинок в зубы и затопала в угол комнаты. Я заорал, схватил тяжелую лампу и

швырнул в крысу. Она исчезла, а ботинок остался…

Проснувшись утром в отменном итальянском настроении, я потянулся и задел рукой свинцовую лампу. Мне вспомнилась ночная баталия, и я подивился реальности своего сна. Мне захотелось рассказать об этом жене, но ее не оказалось рядом. Оглянувшись, я увидел, что она сидит на стуле у окна, тоскливо вперившись в узкую щель меж ставен.

— Проснулся наконец? Идем скорее отсюда. Я чуть не наступила на эту гадость.

Я проследил за ее взглядом: в углу комнаты, там, где порванные обои обнажали черную дыру, лежала громадная дохлая крыса. Я никогда не видел таких больших крыс…

Италия поражена крысами. По статистике, их не менее миллиарда. Это так называемые серые крысы, самые крупные, сильные и свирепые из всех помоечных крыс. Они пришли в Италию из Индии в средние века, частью уничтожив, частью загнав на чердаки исконных обитательниц Апеннинского полуострова — не столь больших и агрессивных черных крыс. Серые крысы — настоящее бедствие страны. Они нападают на маленьких детей, на беспомощных стариков и паралитиков, разносят заразу, сжирают несметное количество зерна и всяких продуктов.

Бороться с крысой, уверяют виднейшие итальянские ученые-крысоведы, почти невозможно. Немногочисленные по сравнению с крысиной несметью кошки боятся крыс, все виды крысоловок бессильны, отрава недейственна, крысу нельзя утопить, она может сколько угодно держаться под водой. Крыса так долго живет возле человека, что досконально изучила все его жалкие уловки, обрела великую человеческую приспособляемость, пластичность и выживаемость, ей не страшны ни морозы, ни жара, она всеядна и неприхотлива. Она обогнала своего учителя. И если мы хотим знать, чего можем достигнуть в ближайшее историческое время в результате напряженного самоусовершенствования, нам следует внимательно приглядеться к крысам.

Но я не разделяю пессимизма итальянских ученых. Население страны приближается к пятидесяти миллионам. Отбросим стариков, детей, больных, инвалидов, останется двадцать миллионов боеспособного населения. Двадцать миллионов тяжелых настольных ламп — это по силам итальянской промышленности; каждому крысобою придется сделать всего пятьдесят бросков. И с серой опасностью будет покончено. Если же этого не сделать, страна будет перемолота резцами серых обитателей помоек и подвалов…

А еще в Италии водятся серны, дикие кошки, зайцы, белки, хорьки, многочисленные птицы и пресмыкающиеся, а также рыбы, имеющие промысловое значение. Но я пишу лишь о том, что видел собственными глазами.

Что сказал бы Гамлет?

Из путевого дневника

Редко бывает, чтобы человек ехал в чужую страну и не создал в душе хотя бы смутного, приблизительного ее образа. И конечно, отправляясь по делам кинематографическим в Копенгаген (совместный фильм о великом пролетарском писателе Мартине Андерсене-Нексе), я нес в себе образ Дании — зыбкий, нестойкий, расплывающийся при малейшей попытке придать ему хоть какую-то определенность.

Этот образ строился из весьма разнородного и случайного материала: пахнущие цветами и снегом сказки Ганса Христиана Андерсена, страстные исповеди удивительнейшего мыслителя и писателя Сёрена Киркегора, расплесни той эротической волны, которую лет десять назад поднял, погнал и обрушил на Европу маленький, пристойный от века народ, — иные западные социологи окрестили это порнографическое цунами «сексуальной революцией».

Когда я приехал в Данию, мои представления об Андерсене и Киркегоре нисколько не изменились. Пожалуй, лишь одно царапнуло душу — до чего верна поговорка «Нет пророка в своем отечестве»! Великий сказочник популярен в собственной стране куда меньше, нежели у нас. Внешне все в порядке: в Оденсе на острове Фюн, куда я не попал, приезжим показывают дом, где родился Андерсен; в Копенгагене поставлен памятник не только ему самому, но и дивным его лебедям-оборотням; в центре города, от площади Ратуши, пролегает широкий бульвар его имени. Но датчане были искренне удивлены моим настойчивым желанием попасть в Оденсе и еще больше тем, что в эти дни в Ленинграде начался «фестиваль Андерсена». «За что вы его так любите?» — вежливо округляли глаза интеллигентные датчане. «А кому дети человеческие обязаны пробуждением фантазии, сладкого дара мечты? — не слишком напрягаясь, отвечал я. — Чем были бы мы все без Кая и Герды, Спящей королевы, Стойкого оловянного солдатика, Русалочки?» Собеседники деликатно пожимали плечами: вы полагаете?.. «Ну а за что вы его так не любите?» — улыбаясь, но про себя злясь, спрашиваю я. «О нет, мы любим, конечно…»

Никогда и ни о чем не спрашивайте датчанина впрямую, постарайтесь узнать интересующее вас обходным, окольным путем. На прямо поставленный вопрос датчанин почти никогда не

отвечает. Конечно, бывают исключения, но я говорю о характерном, общем свойстве. Датчанин сразу замыкается, уходит в себя, на лицо его наплывает тень печали, а взгляд становится отрешенным, он смотрит то ли мимо вас, то ли сквозь вас в какую-то далекую арктическую пустоту, где небо, льды и тишина, где в помине нет докучных, тягостных вопрошателей. Он молчит и ждет, чтобы вы отказались от своего вопроса. И нередко старания его увенчиваются успехом. Тогда он возвращается из своего далека, оживляется, светлеет, вновь становится мил и любезен. Но если вы настаиваете, если вы упорно и безжалостно хотите получить ответ на свой вопрос, он будет уходить все дальше и дальше в сумрак, в чашу, в свое укромье, как смертельно раненный зверь.

Откуда это свойство? Не знаю. Влияние климата? «А мысли тайны от туманов», — поет варяжский гость, утверждая, что волна морская проникла в кровь варягов. Опасное, изменчивое море вырабатывает в людях настороженность, молчаливость, всегдашнюю готовность к отпору. А может, все дело в повышенной щепетильности — ведь слово изреченное есть ложь, так не лучше ли промолчать? Даже на простой бытовой вопрос редко услышишь прямой ответ. Спросите датчанина, пришедшего с улицы, какая сегодня погода, он кинется к телефону и позвонит в бюро погоды. После этого даст вам исчерпывающую официальную справку, за точность которой не отвечает.

Мне слишком хотелось понять необъяснимую холодность соотечественников Ганса Христиана к своему величайшему писателю, и я проявил жестокую настойчивость. Помню, как мучительно, неуверенно, задушенно прошелестел наконец ответ: «Его сказки слишком печальны для детей, а иногда… даже слишком страшны». Признаюсь, я так и не понял, что это значит. Печаль Андерсена легка и поэтична, она не угнетает, а возносит душу. А сказки братьев Гримм или русские народные сказки куда страшнее, но ведь дети в них души не чают. И все же мне пришлось отступиться — потомки викингов недвусмысленно дали понять, что больше не скажут ни слова.

Что касается Сёрена Киркегора, чью потрясающую книгу «Повторения» я прочел незадолго до поездки, то с него и началась мои Дания.

Оглушенный перелетом, я но заметил, как мы выехали с запруженной машинами площади, промахнули пятнадцать километров, отделяющих аэропорт от города, миновали окраины и проскочили центр. Я очнулся в накрытой плотной тенью длинной и узкой улице, чей печальный сумрак проблескивали золотые луковки православной церкви. Но луковки я вдруг

потерял, не успев поместить в пространстве, а машина оказалась перед величественным круглым собором с редкостно мощным куполом. «Марморкирке», — сказал мой спутник и соавтор по будущему сценарию Томми Флюгт.

Собор окружали по цоколю позеленевшие от времени бронзовые статуи отцов церкви, осчастлививших свой народ кто переводом евангелия на датский, кто распространением христианства, кто отстаиванием праведной лютеранской веры, кто просветительством, кто иным богоугодным деянием. Исполненные смиренного достоинства и бесконечного терпения к безжалостным голубям, залепившим их почтенные головы, рясы и мантии белесым, в проголубь клейким пометом, несут они вековую вахту у округлых стен храма. И тут меня резануло по глазам нарушением декоративного ритма слева от входных дверей — там, на цоколе, помещался кто-то явно лишний, втиснувшийся между зелеными старцами своим смуглым бронзовым телом, еще не тронутым патиной времени и пощаженным голубями. В этой фигуре были живость, нервность и острота, принадлежавшие как самому оригиналу, так и современной манере ваяния. Человек носил мирскую одежду: обтяжные панталоны, прихваченный в талии сюртук, тугой жилет и высокие воротнички по моде середины девятнадцатого века. Его большая, несоразмерно большая голова чуть наклонена, чем подчеркнута мощь крутого чела, и странной кажется словно извиняющаяся полуулыбка, нет, складка красивого, горького рта. Скульптор не дал ему бронзового покоя — человек сделал торопливый, короткий шаг, он хочет поскорее проскользнуть туда, где будет защищен от любой любопытства окружающих. Сильно забившимся сердцем я вдруг угадал его, хотя никогда не видел ранее изображений Сёрена Киркегора. А ведь он проскользнул-таки, подумалось мне, мимо своих ничего не понявших в нем современников в двадцатый век, — Хейдеггер, Ясперс, Сартр — духовные дети Киркегора, не имевшего детей во плоти. Любовная трагедия, пережитая им на заре жизни и потрясшая его существо (он оказался неспособен к браку, и невеста его досталась другому), открыла в скромном, умственно благовоспитанном молодом человеке такие странные силы, что он разом вышагнул из своего времени.

Юный богослов утверждал, что с богом нужно разговаривать не языком лицемерного смирения, а зычно-требовательным басом библейского Иова. Силой взыскательной веры можно не допустить Господа выйти из образа всеблагого. Киркегор считал, что поднимись он в своей вере до простодушной наглости Иова, то сохранил бы невесту.

Здесь не место излагать философские и религиозные воззрения Киркегора. Но поразительно, что из насильственного оскопления средневекового философа Абеляра возникло новое этическое учение и дивная переписка с потерянной возлюбленной, ставшая жемчужиной эпистолярной прозы, а из фиаско, как назвал Стендаль в трактате «О любви» драму неполноценности, Сёрена Киркегора — целая философская система, имя которой экзистенциализм. Разумеется, не системой взглядов дорог мне Киркегор, а редкой, художественной силой своей прозы.

Маленькая Дания представлена в коллективной работе человечества великими мастерами: в глубине семнадцатого столетия астроном Тихо Браге с непостижимой точностью определил положение светил, что позволило Кеплеру вывести свои знаменитые законы движения планет; великий физик Эрстед, открывший явление электромагнетизма, искал связь между светом, теплом, электричеством и магнетизмом, предвосхитив идеи будущего. Сёрен Киркегор, Ганс Христиан Андерсен… А был еще ваятель Торвальдсен, в котором сконцентрировалось последнее — могучее и уже мертвое — напряжение классицизма; был властитель дум нескольких поколений литературный критик и публицист Георг Брандес; были прекрасные прозаики: Понтопиддан, Банг, Иенсен и величайший — после Горького — пролетарский писатель Мартин Андерсен — Нексе; был путешественник, писатель, гуманист, один из лучших людей века — Петер Фрейхен; была королева немого кино Аста Нильсен; был и навсегда остался в мировой науке тот, кого следовало бы назвать первым, Нильс Бор…

Но где-то в шестидесятых годах Дания решила удивить мир не формулами Бора, но странными грезами художника Вилюмсена, не новыми вкусовыми изысками золотистой продукции пивника Туборга и не другими всплесками национального гении, а великой сексуальной свободой. Быть может, Дания ничего не решала, даже наверняка не решала, просто игрой обстоятельств оказалась во главе исподволь назревавшей в Европе половой раскрепощенности. И потекли на экраны мира искусно состряпанные сексфильмы, до предела откровенные лайф-шоу отбросили в провинциальное забвение классический стриптиз, заработала мощная порнопромышленность. И пусть богатые, завистливые шведы, жадно тянущиеся к Дании и не могущие простить ей, что Копенгаген, а не Стокгольм неофициальная столица Скандинавии, вскоре превзошли своих соседей и возглавили «сексуальную революцию», подведя солидную теоретическую базу

под оголтелое забвение всех нравственных норм, несомненный приоритет Дании долго поддерживал в глазах знатоков ее порнографическое величие. В большой мере этому способствовало кино, где шведы не потянули. Диву даешься, как ловко умеют позлащать грязь датские киношники! В их фильмах много вульгарного блеска, выдумки, находчивости, остроумия, а порой и драматизма, тут снимаются (без раздеваний) лучшие артисты кино, театра, даже оперы. Так, в супернепристойном фильме «Агент 69» одну из главных ролей играет знаменитый датский тенор.

Фильмы, подобные «Агенту 69», — последние отблески датского эротического расцвета. Сексуальная волна спала. То, что еще сохранилось в Копенгагене, служит лишь приманкой для туристов, преимущественно заокеанских, в их представлении Дания остается самым заманчивым эротическим садом бабушки Европы. Я видел их на Истедгаде, за главным вокзалом — старых, развеселых, очень пестрых, на мужчинах красные штаны, полосатые пиджаки, на рослых, лошадеобразных женщинах — облегающие комбинезоны, яркие шейные платки. Они, посмеиваясь, забегали в секс-лавочки, смотрели за пыльными занавесками кошмарные короткометражки, с тем же добрым смешком перебирали резиновые изделия и что-то приобретали на память, листали преступно-кощунственный журнальчик «Лолита».

Среди этих туристов, являя какую-то мистическую суетность, толкался крепкий слепой старик в черных очках, держась за подпругу, то бишь за ремень своей жены-лошади. На другой день я встретил этих туристов в Эльсиноре. Они всерьез считали, что трагическая история принца датского разыгралась во дворце XVII века, главной достопримечательности Эльсинора. Поняв это, весельчак гид стал плести несусветную чушь, утверждая, в частности, что тень отца Гамлета до сих пор бродит по источающим тлен и сырость залам. Я видел, как раздувались ноздри слепого старика, в этих воньких покоях он получал неизмеримо больше впечатлений, нежели на Истедгаде. Гамлет же присутствует в Эльсиноре лишь в виде большого приморского ресторана с очень высокими ценами, носящего его имя.

Датчане крайне холодно относятся и к Гамлету, и к Эльсинору. Их раздражает, что страну прославил случайный и ничем по примечательный эльсинорец Амлет, чье имя, переврав, Шекспир извлек из средневековых хроник и наградил бессмертием.

Еще одно средоточие ночной жизни Копенгагена — Нью-хавн, неподалеку от моего отеля «Викинг». Здесь развлекаются преимущественно моряки и самые отчаянные прожигатели жизни,

так, во всяком случае, считает большинство коренных копенгагенцев. Но я подозревал, что за таинственно закрытыми с вечера дверьми, расписанными широкобедрыми русалками, скелетами, кинжалами и масками — манящими атрибутами опасности, за дверьми, отрыгивающими в мгновенном распахе оглушительно шумную музыку из полутемных, подсвеченных красным недр, ничего не происходит. Днем там скучно торговали сигаретами, пивом и аперитивами, а некоторый аромат романтической морской жизни исходил от расположенных в полуподвальных этажах татуировочных заведений. Не раз можно было наблюдать, как полуголый дядя в клещах терпеливо подставлял живот и грудь для наведения на смуглую кожу нагих дев, пронзенных сердец, якорей и трогательных надписей.

Однажды, возвращаясь в отель около полуночи после долгого, утомительного рабочего дня, одуревший от бесконечного пережевывания политической ситуации той давней поры, когда Нексе разочаровался в социал-демократах, я возжаждал острых ощущений. Старый-престарый мотив нэповских времен всплыл из глубины памяти:

Однажды некий барон
Зашел случайно в притон,
Увидел крошку Джанель,
Всю извиваясь, как змей…

Неужели Новая гавань, настолько выдохлась, что там не осталось хоть отзвука былых оргий, поцелуев, лязга матросских ножей? Забытое танго изнывало в моей душе, подгоняя к закрытым дверям.

Я выбрал самую зловещую дверь, на ней была намалевана голова саблезубого вампира с окровавленным ртом. Полутьма, табачный и каминный дым, оглушительная музыка на миг ввели меня в заблуждение. Мне почудилось, что тут и впрямь что-то есть. Сейчас из сизых клубов ко мне кинется крошка Джанель, вся извиваясь, как змей. Я вспомнил, что — «Матрос был дико ревнив…».

Будь что будет! Моя лихая молодость вспыхнула во мне. Но никто не кинулся навстречу. Ни малейших признаков крошки Джанель не было в пустом, прогоравшем кабачке. А матрос? Он одиноко сидел за столиком над рюмкой зеленого ликера и бутылкой пива — толстый, белобрысый, с баками-колбасками на красной добродушной физиономии. Обрадованный появлением живой души в безнадежной пустоте, он окликнул меня и пригласил за свой столик. Я подсел к нему, он не дал мне сделать

заказ.

— Я из Ирландии, — сказал он с таким видом, будто это доказывало его право поставить угощение.

— А я из Москвы! — с некоторой запальчивостью возразил я.

Он привстал и пожал мне руку.

— Я из Ирландии, — мягко, но с намекающей настойчивостью повторил он.

Я давно не видел газет и не знал, что происходит в Ирландии, к тому же матрос не сказал, какую из двух Ирландии он представляет. Надо думать — главную, где Дублин. Воспользовавшись моим замешательством, он успел сделать заказ сонному грустному официанту. Через минуту перед каждым из нас стояло по бутылке пива «Туборг», высокому стакану и рюмке зеленого ликера. Наклонив стакан, я наполнил его светлым пенящимся пивом, и мне запахло не пивной горечью, а сладковатым ароматом Тропической Африки.

— Я из Ирландии, — сказал матрос, коснувшись моей руки.

— С чем тебя и поздравляю, друг!.. — А в памяти было зеленое повыбитое копытами поле для игры в конное поло и рослый, красновато-загорелый, рыжеволосый человек, подошедший к нам, ведя в поводу небольшую гнедую кобылку. Матч только что закончился, и человек, игравший за команду дипкорпуса, забил решающий гол. Он смахивал пот со лба, раскланивался со знакомыми, белозубо улыбался, принимая поздравления. Высокая яркая блондинка протянула ему жестянку с пивом. Он дернул колечко и опрокинул банку над жадно открытым ртом.

— Только ради этого и стоит изнурять себя игрой, — сказал он, напившись. — В такие минуты я души не чаю в своем тесте.

Это был датский посол в Нигерии, зять пивного короля Туборга. В Копенгагене знаменитая марка «Туборг» лезет вам в глаза со всех сторон: с рекламных стендов, с экрана телевизора и кино, с кузовов громадных грузовиков, без устали перевозящих ящики с полными и пустыми бутылками, возле каждого магазина, ресторана, бара, ларька высятся штабеля этих ящиков; пиво пьют всюду, всегда, в любое время дня и ночи: в учреждениях, институтах, универсальных магазинах, кино, издательствах, редакциях газет, на паромах и пароходах, в потреблении пива датчане оставили позади таких исконных пивохлебов, как чехи и немцы.

Фирма «Туборг» — это государство в государстве. В отелях дают карты города, где красной полосой вычерчен путь из центра к заводу «Туборг»: от площади Ратуши по бульвару Андерсена на прямую, длинную Остерброгаде, переходящую в Странвейн,

упирающуюся в красный дворец под королевской короной: Туборг — поставщик двора. Дальше пути нет, как бы говорит карта. На самом деле шоссе проходит мимо предприятия, где возле заводоуправления высится гигантская, с небоскреб, пивная бутылка. Порой кажется, что вся Дания лишь привесок к империи «Туборг». Мне попадались карты, где слово «Туборг» написано более крупным и жирным шрифтом, чем слово «Копенгаген». И все же в Дании пивное двоевластие: удачливый Карльсберг поднялся почти вровень с великим Туборгом. Кроме того, в разных городах варят свое пиво. Дания — страна пивная и молочная; «европейской маслобойкой» называют город Ганса Христиана Андерсена — Оденсе. Красные датские коровы щедры на прекрасное жирное молоко. В стране совсем нет рек, только фиорды, каналы, озера, пруды. Здесь текут символические молочные и пивные реки. Но я не люблю ни молока, ни пива и сейчас впервые по приезде отведал напитка, так хорошо освежившего после бешеной скачки моего нигерийского знакомца. Кстати, я слышал, что старый Туборг умер и теперь на троне королевства Туборг, как и на троне Датского королевства, сидит женщина, та самая яркая блондинка. А муж ее, бывший дипломат, стал принцем-консортом.

— Я из Ирландии! — капризно сказал матрос.

Я вспомнил о Гомруле, борьбе за освобождение, Джойсе, Шопе О'Кейси и Питере О'Туле.

— Да здравствует Ирландия!

Мы чокнулись, рука матроса дрожала, слезы налили уголки бледно-голубых глаз. Да, выродилась матросская удаль. Уверен, что никакая крошка Джанель не расшевелит этого телка, вспоенного пивом. Надо сматываться, тут ничего не будет, потому что не будет никогда, если перефразировать чеховского «ученого соседа».

— Я из Ирландии, — напомнил матрос.

Мне захотелось дать ему в ухо. Но повода не было.

— Будь здоров, друг, — сказал я. — Кланяйся своей Ирландии.

Он забормотал жалобно, кажется, уговаривал меня посидеть еще. Я был уже в дверях, когда он вскочил, уронив бутылку, и в два прыжка настиг меня.

— Ты из Ирландии? — спросил я в упор.

Он растерялся, отступил, заморгал пшеничными ресницами.

— Да… Откуда ты знаешь?

— Догадался!

И я вышел на прохладную пустынную набережную.

Кончился ночной Нью-хавн. Изжил себя ночной Копенгаген.

Но стоит ли об этом жалеть? Дурные чары рассеялись, врожденное здоровье нации победило. Один датский социолог сказал мне, что в «сексуальной революции» был свой положительный смысл. Она уничтожила иные «табу», способствующие возникновению у подростков дурных комплексов. Так ли это — судить не берусь. Ученого социолога я вскоре потерял, а рядовые датчане крайне неохотно говорят на подобные темы, лишь замечают с лукаво-сочувственным видом, что их соседям шведам сексуальная свобода отнюдь не прибавила пыла…

Но довольно об этом. Датчан сейчас интересует не секс, а политика. Слишком много проблем поставила жизнь перед маленькой страной, и демократическая партия, стоящая у власти со времен бородатого винолюба Стаунинга, не может их разрешить, датское общество лихорадит. Казалось бы, и десяти партий довольно для страны с менее чем пятимиллионным населением, а недавно возникла одиннадцатая. Ее появление весьма примечательно.

Подробно я узнал об этой партии в парламенте на короткой лекции, которую читает посетителям в зале заседаний служащий в форменной синей рубашке, похожий на актера Бельмондо. То был на редкость веселый, ироничный, лишенный пиетета к чему бы то ни было человек. Указав с комически значительным видом, кто где сидит — места у депутатов постоянные, он познакомил нас с политической структурой страны, весьма вольно и малопочтительно охарактеризовав платформу каждой партии. «А к какой партии принадлежите вы сами?» — спросил я его. «К партии свежего воздуха!» — ответил он со смехом. «Это что же — двенадцатая партия?» Он снова рассмеялся: «Нет! Но знаете, двенадцатая партия появлялась-таки на свет. Это партия пенсионеров. Она участвовала в последних выборах, выставляла своих кандидатов. Эту партию упрекали в неполноценности: у всех, мол, есть свои молодежные организации, у вас нет и быть не может. Но пенсионеры нашли выход и создали молодежную организацию из… дебилов. Партия провалилась на выборах и распалась, а дебилы вновь стали несоюзной молодежью». Самое невероятное, что все это правда.

А вот с одиннадцатой партией шутки плохи. По количеству мандатов (двадцать семь) она занимает второе место вслед за социал-демократами. Называется партия «прогрессивной». Ее позиция, со смехом сказал датский Бельмондо, чуть левее самых правых, чуть правее наименее левых. Но чем больше рассказывал он об этой партии, тем меньше видел я причин для веселости. Главный лозунг партии, привлекший к ней много приверженцев,

прежде всего мелких торговцев: освобождение от налогов, которые действительно тяжелы в Дании, поглощают значительную часть доходов населения. Перспектива эта столь заманчива, а глава партии, юрист Могенс Глиструп, специалист по налоговой системе, так красноречив, что даже людей, но вовсе чуждых интеллектуальной жизни, не отвращает предложенный Глиструпом путь: все, что безвыгодно, убыточно, должно быть изъято из жизни датского общества. Невыгодна, оказывается, культура — долой культуру! Если даже Королевский театр — гордость нации — убыточен, закрыть Королевский театр! Никаких дотаций на искусство, литературу, к черту музеи, выставки, фестивали, неокупаемые издания! Ликвидировать министерство культуры. К черту социальные учреждения, если они приносят убытки: ясли, детские дома, бесплатные школы. Немедленно ввести строжайший контроль над дотациями и, разумеется, политическую цензуру, ибо без нее партия «прогресса» не выполнит своих высоких задач. Не правда ли, знакомая песня? Если к этому добавить, что «прогрессистов» отличает зоологическая ненависть к Советскому Союзу и странам социализма, то само собой всплывает иное, крепко настрявшее в ушах поколений название партии: фашистская. С тех же лозунгов начинали нацисты в Германии, чернорубашечники в Италии и опору имели также в мелкобуржуазном слое.

У Глиструпа практика не расходится с теорией: создатель многих липовых акционерных обществ, он скрыл от государства 60 тысяч крон подоходного налога. Но его приверженцы видят в этом лишь цельность натуры вождя: поделом государству — рассаднику убыточных, никому не нужных институтов, тяжким бременем ложащихся на плечи народа. Против Глиструпа начат судебный процесс, самый дорогой в истории Дании. Опытный крючкотвор ловко использует все пробелы в датском законодательстве. Одна ревизия обошлась налогоплательщикам в сумму, на которую можно было бы построить новый Королевский театр. Это вполне в духе Глиструпа, он ратует за экономию и против бумажной бюрократии, но с появлением его партии в парламенте расход бумаги в главном законодательном органе страны увеличился втрое.

Так чего же резвился парламентский служащий? Дело в том, что многие порядочные датчане не принимают всерьез бредовых устремлений «прогрессивной» партии. Они брезгливо посмеиваются, читая в газетах сообщения об очередных вылазках фашиствующих молодых людей, у которых полиция конфискует ножи, кастеты и даже огнестрельное оружие, чаще всего обрезы боевых винтовок. Опасное благодушие! Когда-то Мартин

Андерсен-Нексе говорил: начинают дети и сумасшедшие, а расплачиваются взрослые серьезные люди.

После, сидя с моим соавтором Томми Флюгтом в парламентском ресторане, я снова повернул разговор на «прогрессивную» партию. Томми, поэт, кинематографист, член муниципалитета города Хольбека, коммунист, не склонен преуменьшать опасности неонацизма. Он считает, что сейчас в ряде европейских стран повторяется ситуация двадцатых годов, когда люди смеялись над «героями пивных погребков», а к чему это привело?

— Социал-демократы пустили фашизм в Германию, — говорил Томми. — Я вижу вечную слабость социал-демократии перед фашизмом и в истории с Глиструпом. Он же уголовный преступник, а с ним ничего не могут поделать. Печальный и тревожный симптом…

Но не одно это волнует Томми Флюгта, а с ним и миллионы его сограждан. Количество безработных в Дании перевалило за пятнадцать процентов — это много. И хотя пособие по безработице очень высоко — 95 процентов заработной платы в течение двух лет, затем человек должен двадцать шесть недель отработать, после чего вновь получает право на пособие, — никто в стране не хочет этой «даровой» жизни. И не в потере пяти процентов дело, а в том, что человек деклассируется, утрачивает личность. Датчане всегда отличались трудолюбием, даже в нищих батраках была своя профессиональная гордость, заставлявшая их вкалывать не за страх, а за совесть. Лишенный работы человек кажется себе неполноценным, он перестает быть главой семьи, авторитетом в глазах детей. Безработица для датчан — это пока еще не нужда, а моральное умирание. К тому же «Общий рынок» несет беспрерывный рост цен, вроде бы соответственно повышается и заработная плата, но как-то незаметно среднему датчанину пришлось отказаться от кофе, заменить масло (и это в «масляной» Дании!) топленым жиром; курильщики запасаются табаком и папиросной бумагой — после предстоящего повышения цен сигареты станут не по карману. Недоступна и хорошая одежда. Квартирная плата съедает треть бюджета.

— Почему же за социал-демократами по-прежнему идет большинство? — спросил я.

— Традиция. Боязнь перемен. Лидеры социал-демократической партии любят повторять: может, мы и не так хороши, но без нас будет куда хуже. На осторожных, недоверчивых датчан это действует завораживающе.

Ведь уровень жизни все еще достаточно высок, в стране порядок — от добра добра не ищут.

…Мартин Андерсен-Нексе говорил о себе, что родился в тени, отбрасываемой храмом Спасителя. Эта высокая зеленого цвета церковь с уникальной витой наружной лестницей на колокольне принадлежит двум эпохам: низ — далекой старине, верх — недавнему прошлому. И на памятник Андорсену-Нексе — превосходно выполненный бронзовый бюст, он весь словно в заусенцах, что придает ему колючую, воинственную силу, тоже ложится тень храма Спасителя, но при ином солнцестоянии. По странному совпадению взгляд бронзового Мартина обращен к той необыкновенной части города, куда устремлены сейчас взгляды многих датчан.

Называется эта часть города Христиания. Впрочем, неверно определять Христианию как часть Копенгагена, вся суть, весь смысл ее существования в противопоставлении себя столице, в отрицании ее. Это город в городе, со своим особым лицом, своим колоритом, запахом, своим уставом, хотя на поверхности никакого устава нет да и быть не может. Но он есть, этот неписаный устав, и о нем в своем месте.

Вот краткая история Христиании. Здесь находились заброшенные казармы. Когда-то в самом большом, пяти-шестиэтажном здании стала селиться городская протерь: бродяги, наркоманы, алкоголики, люди без определенных занятий. Но постепенно социальный состав будущей Христиании менялся. Сюда потянулись люди, по преимуществу молодые, которым не нравится буржуазный уклад копенгагенской жизни, не нравится потребительское общество, воинствующее мещанство, люди, не согласные с политикой военных блоков, решением спорных вопросов с позиции силы, люди, разочаровавшиеся в том мире, в котором обречены жить, тоскующие о человечьем тепле и простых добродетелях, но не ведающие или отвергающие пути прямой борьбы. Сюда же потянулись парни и девушки, не поладившие с родителями, не принимающие их веру, идеалы, вкусы, уставшие от разобщенности, отчуждения — неизменных спутников буржуазного образа жизни.

Поначалу копенгагенцы весьма благосклонно отнеслись к заселению пустующих казарм «вредными элементами». Так их куда удобнее наблюдать и контролировать, в случае же необходимости легко набросить сеть, как на диких голубей в местах привычных кормежек. Отношения усложнились, когда заброшенные казармы из ночлежки превратились в ядро странного города, а потом и в город Христианию, где тон задавали не отщепенцы и наркоманы, а вполне здоровые молодые люди, отстаивающие новые формы человеческого общежития.

Многие из новоселов не хотели жить в грязных, пропитанных

сладковатой вонью «кэша» казарменных зданиях, они приспособили под жилье бывшую комендатуру, госпиталь, домик командующего, иные притащили сюда автофургоны, железнодорожные вагоны и вагончики, в которых живут строительные рабочие — по окончании строек их распродают за бесценок. А ребята, связанные с ипподромом, прибыли о-конь и поставили в пустующие стойла своих скакунов и рысаков. Появились на улицах и пустырях Христиании коровы, овцы, козы, домашняя птица и огромное количество собак, вскоре создавших свою отдельную от людей коммуну. Открылись лавки, кафе, пивные, даже рестораны — все силами постоянных жителей, возник и рынок близ въездной арки и другой — крытый, по разнообразнейшему ассортименту под стать парижскому «блошиному». Вскоре у Христиании оказался и свой народный театр, несколько музыкальных ансамблей, постоянно действующая художественная выставка. Надо было упорядочить жизнь. Появилось что-то вроде самоуправления, распределяющего жилую площадь, устраивающего на побывку временных обитателей, следящего за санитарным состоянием города, за восстановлением и ремонтом водопровода, канализации.

По-прежнему здесь никого ни к чему не принуждают. Хочешь жить семьей, изолированно, опрятно, чисто — бог в помощь; хочешь жить табором, спать впокат на грязных половичках или старых газетах — на здоровье! И все же первичный хаос все отчетливей обретает черты разумного человечьего существования. И вот уже в «чистом» Копенгагене заговорила зависть. Как же так, обитателям Христиании жилье ничего не стоит, они не платят налогов, хотя многие прилично зарабатывают и торговлей, и кустарным промыслом, и концертной деятельностью, и другими способами. К завистникам подключились военные, задетые тем, что брошенные казармы приносят кому-то пользу. Да и городские власти взирали на изменившуюся Христианию уже не с прежним благодушием.

Начался поход против Христиании, в который включились многие доброхоты, газеты, радио, телевидение. Как только не обзывали общину «неохристиан»: рассадник заразы, угроза для детей, клоака посреди столицы, вертеп. Но у Христиании нашлись и защитники, которых очень интересует этот единственный в своем роде социальный эксперимент. Один крупный юрист взялся безвозмездно защищать интересы Христиании в затеянном против нее городскими властями процессе. Видный архитектор стал помогать ребятам в ремонте зданий, водопроводной и канализационной сетей, чтобы покончить с обвинениями в антисанитарии — одном из главных козырей противников

Христиании. И хотя в первой инстанции дело проиграно, обитатели Христиании, уповая на социальное лицемерие социал-демократов, твердо надеются отстоять свой город.

Что же такое Христиания? Поселок хиппи? По виду здешние обитатели близки к классическому типу хиппи: длинные, до плеч, сальные волосы у парней и у девушек (у парней иногда косы), джинсовые выгоревшие костюмы, у девушек еще в моде длинные обтяжные юбки, мексиканские пончо и широкополые черные шляпы, цыгано-индейские украшения. Но такой способ одеваться присущ всей западной молодежи, в Христиании он только приметнее, поскольку почти все население молодо. Жизнь в христианском первопоселении — старой большой казарме — до сих пор очень похожа на кошмар какого-нибудь Гринич-вилледжа начала семидесятых годов: никакой мебели, тряпки, газеты, вытертые шкуры на полу, алкоголь, марихуана (кэш), гитары, песни, безделье и беспорядочная любовь. Но прежде всего сильно поредевшее население большой казармы не характерно для сегодняшней Христиании, это подонки, отбросы здешнего общества. Остальная молодежь лишь на поверхностный взгляд напоминает хиппи. Ведь хиппи антисоциальны, они говорят «нет» войне, «да» любви и цветам, но по-настоящему любят лишь безделье, свободу от всяких обязательств. Обитатели Христиании придают большое значение досугу, общению, но при этом все они (я исключаю подонков) чем-то заняты: работают, учатся (многие в городе), а главное — их бытие социально заострено.

Они не просто декларируют свое отвращение к войне, насилию, военным блокам, а идут куда дальше. Так, в Христиании было создано… подразделение НАТО. Вымуштрованные офицером на пенсии «солдаты» были облачены в форму НАТО, вооружены по уставу и выпущены в город. Мнимые натовские патрули создавали в Копенгагене нервозную, напряженную обстановку. В парке Тиволи подвыпившие «натовцы» приставали к женщинам, затевали драки друг с другом и с прохожими. Словом, вели себя как оккупанты. Военный блок НАТО и без того не пользуется популярностью в Дании, а тут жители столицы буквально зубами скрежетали от справедливого возмущения. Однажды на улицах, дезорганизовав движение, появился «натовский»… танк. Тут только городские власти спохватились…

Музыкальные ансамбли Христиании, выступающие в разных местностях страны, поют политические песни, направленные против «Общего рынка», неоколониализма, нейтронной бомбы. В дерзких, веселых и жутковатых театральных спектаклях высмеивается мещанство, пошлость сытой жизни, слепота

обывателей. Как видите, это совсем не хиппи!..

Конечно, не следует преувеличивать политическую сознательность, общественную активность и социальный протест Христиании. Тут многое идет от простого эпатажа, от юного вызова «отцам», от неосознанного анархического бунтарства.

Неверно видеть в Христиании альтернативу буржуазному обществу, она порождение этого общества и может существовать лишь внутри его.

В чем же главный пафос обитателей странного городка, где отсутствуют удобства, столь привычные столичным жителям, довольно грязно, много бродячих собак, страшновато освободившихся от власти человека, но с каким-то свирепым добродушием еще терпящих прежних хозяев, всякой тягостной неразберихи? Мне думается, главное, что держит этот мирок, — в общности, чувстве локтя, плеча. Преодолены барьеры разобщенности, отчуждения, достигнуто единение с себе подобными на условиях равенства, доверия, душевной открытости. А этого больше всего недостает западной молодежи. Иные женатые люди, перебравшись в Христианию, расстаются без размолвки и взаимных претензий, просто хочется быть со всеми, а не с ней, не с ним. Это вовсе не значит, что тут отвергают брак или семью, ни в малейшей мере. Основной принцип здешней жизни: не навязывать ничего другим, люди и так устали от наставлений, требований, предписаний, ограничений, вонючего морализирования старших и власть имущих. Живите как хотите, только не ущемляйте прав окружающих.

Мне лично в Христиании увиделась извечная ребячья мечта пожить без взрослых, что-то трогательное и жалкое. Так и слышишь юный ломкий голос: «Оставьте нас в покое!»

Можно встретить и другие воплощения идеи Христиании, ибо Христиания — это, конечно же, идея, а не место жительство. У моего соавтора Томми Флюгта есть молодые друзья, с которыми я виделся в его домике под Холбеком. Ото несколько семей, решивших жить вместе — коммуной. Люди музыкальные, они создали ансамбль политической песни и ездят по стране в автофургоне, размалеванном под цирковую повозку. Живут они в загородном доме, приобретенном и обставленном на общие деньги, сообща ведут хозяйство, воспитывают детей. Такая форма общежития очень популярна у датской молодежи. Хочется, ох как хочется молодым разорвать тенета одиночества, той противостоящей миру обособленности, которой, не жалея сил, добивались их деды и отцы. Сладко слышать рядом с собой дыхание друзей и знать, что не одна лишь бедная ячейка семьи защищает тебя в этом холодном и враждебном мире, а нечто куда

более прочное и способное к сопротивлению.

Перед Данией, как и перед каждой страной, стоят свои сложные, требующие большого напряжения сил проблемы. Но, конечно же, одними лишь трудными заботами не исчерпывается образ страны. Очарование Дании, пленяющее душу с первыми сказками Андерсена, в ее неунывающих, работящих, склонных к доброй шутке людях, в ее чудесных ландшафтах с зелеными долинами, помеченными островерхими кирками и темными старыми ветряками, с невысокими холмами, поросшими буками, каштанами, кленами, березами, соснами и ежевикой в чернильной сладости переспелых крупных ягод, с фиордами, озерами и каналами, где парами плавают лебеди, а по воскресным дням раздуваются цветные паруса яхт, с теплым дыханием Гольфстрима, так чудесно смягчающим климат этой обращенной к северу страны.

Но датская погода умеет и крепко злиться. Мне не забыть, как однажды под вечер легкий осенний ветерок вдруг напрягся, посвежел, загудел, заныл и обернулся бурей. Тихое озеро, на берегу которого стоял мой маленький Страндпаркотель, заходило бурунами, клочья пены, сдуваемые с волн, полетели в окна верблюжьими плевками, а потом стекла задребезжали от сухих веток и сучков, обрываемых ветром с буков и кленов. Я вышел из гостиницы. Ветер растерзал облака, они повисли черными шапками в белесостеклянном небе, казалось, то кроны деревьев, отъятые от стволов и взметенные ввысь. Запад тяжело завалило иссиня-черными облаками, щель заката была багрова и страшна, как будто там зарезали солнце. Припускал дождь, но, гонимый ветром, не достигал земли и тратился на крышу и листву деревьев. Казалось, это навсегда, нет такой силы, которая могла бы унять разбушевавшуюся стихию. Но наутро вновь светило солнце, в синем глубоком небе ни облачка, по зеркалу воды, не тревожа ее, не плыли даже, а плавно влеклись лебеди, и только зеленые ежи каштанов и сучья, усеявшие аллеи, напоминали о вчерашнем буйстве.

Я как-то лучше почувствовал Данию, которая умеет не только улыбаться, но и грозно хмуриться. Терпеливый и мужественный датский характер воспитан бурями, непостоянством морской стихии…

Говорят, в Исландии чуть ли не каждый четвертый поэт. У меня создалось впечатление, что в Дании чуть ли не каждый четвертый художник. Быть может, это объясняется тем, что провел я большую часть времени в живописнейшей части Зеландии, издавна облюбованной художниками, где обитали герои Андерсена-Нексе. Странствуя по земле Дитте, я то и дело

натыкался на усадьбы и мастерские художников.

Въезд на участок восьмидесятилетнего абстракциониста Карла Бейера охраняли два фантастических дерева с короткими стеклянными сучьями. Приглядевшись, я обнаружил, что на обрубленные сучья насажены всевозможные бутылки: из-под пива, водки, вина, бренди, виски, джина. Если хозяин участвовал в осушении всех этих сосудов, можно только подивиться его выносливости и долголетию. Он вышел нам навстречу — крепкий, плечистый старик с красноватым, добродушно-насмешливым лицом, от него приятно пахло кюммелем, стало быть, стеклянные деревья будут и впредь произрастать в его сказочном саду, приютившем среди буков и сосен троллей, русалок, медведей, белок, райских птичек и огромного филина с глазами как плошки. Хотя мы заявились не вовремя — художник принимал знакомую даму, — он не отказался показать мастерскую, битком набитую новыми работами. Его мастеровитая и уверенная живопись показалась мне несколько сухой и однообразной, возможно, я вообще не воспринимаю подобного искусства; куда больше приглянулась мне деревянная скульптура.

А вот сосед Карла Бейера, пятидесятисемилетний Фабер, реалист чистейшей воды. Он влюблен в Зеландию и, похоже, задался целью перенести ее на полотно всю, до последнего валуна и березки с сероватым стволом. Ни разница в возрасте, ни исповедание разных художественных вер не препятствуют художникам-соседям любить и ценить друг друга. Подобная терпимость, воспитание души, ничуть не мешающая твердости пристрастий, верности набранному пути, — одна из самых привлекательных черт датчан.

В современном изобразительном искусстве Дании строгий реализм соседствует со «странным» реализмом, абстракционизм с сюрреализмом; любопытно освоение африканских (танзанийских) форм у Георга Бро, претворение кошмарных видений Иеронима Босха в очень современной графике Томаса Арнеля, сумел избежать ловушек Сальвадора Дали и Макса Эрнста талантливый фантазер Мортенсон…

Не могу расстаться с Данией, не сказав хоть нескольких слов о писателе, поэте, публицисте Карле Шарнберге, кумире прогрессивной молодежи. У нас его знают лишь по двум рассказам, опубликованным в сборнике «Датская новелла»: «Бабушка» и «Малыш»; в первом писатель прощается со старой труженицей, во втором приветствует приближающуюся новую жизнь. Но не рассказами и даже не широко известными романами «Пожар», «Всяк кузнец своего счастья» обязан Шарнберг своей нынешней популярности, а маленьким, коротким и броским, как

лозунг, стихотворениям, которыми он откликается на животрепещущие события в жизни своей страны и всего мира. Ведь сейчас почти не бывает так, чтобы случившееся в одной точке земного шара не отозвалось немедленно в других, самых отдаленных. Дымят трубы в Лондоне, а гибнет рыба в норвежских озерах, колокола по убитому где-нибудь на Гудзоне проповеднику разносятся над всеми континентами. Чеканные по форме, сочетающие аттическую соль с горячим гражданским чувством и силой боевого призыва, эти маленькие стихи, едва появившись, тут же оказываются у всех на устах. Карл Шарнберг вечно в дороге, в общении с живой аудиторией, он не считает себя профессиональным писателем и открещивается, как черт от ладана, от литературных разговоров. «Литература сама по себе меня не интересует, я ею не занимаюсь и плохо знаю» — с этого его не сдвинешь. Но как ни крути, а литература дала агитатору и борцу за мир самое сильное оружие. Не будь его стихи так отточены, так стилистически совершенны, так изящны, не владеть бы ему людскими душами.

Такие люди, как Шарнберг, служат лучшим доказательством духовного здоровья нации. Принц Гамлет утверждал в разговоре с изменившими ему друзьями витенбергской студенческой юности Розенкранцем и Гильденштерном, что весь мир тюрьма, «причем Дания одна из худших». Если б он взглянул из своего далека на сегодняшнюю Данию, то, несомненно, взял бы назад последние слова.

Летающие тарелочки

Из путевого дневника

1

Мне хочется написать этот очерк так же непринужденно, как я гулял по Америке. Стоп! Непринужденность эта была весьма иллюзорна. Конечно, не потому, что я чувствовал за собой некий присматривающий глаз, не потому, что, дыша мне в затылок кукурузным виски, хватал меня за рукав полицейский… Ан раз и случилось такое. Летел я из Роли — столицы штата Северная Каролина в Остин (штат Техас) с пересадкой в Далласе, где совершилось убийство века, и заблудился в громадном Далласском аэропорту. Мне надо было перейти с линии ТВА на линию «Юнайтед», тогда еще не бастовавшую. Увидел я человека в форме, показавшегося мне аэродромным служащим: синие брюки, серая рубашка, фуражка, в руках радиопередатчик. Морщась красным загорелым лицом, вслушался он в мой невразумительный лепет (произношение у меня хуже нету — английское), глянул в билет, молча и цепко схватил за рукав и куда-то поволок. Мы промчались длиннющим коридором мимо ресторанов, кафе, баров, закусочных с гамбургерами и «горячими собаками», мимо туалетов, именуемых «комнатами отдыха», потом через зал ожидания с магазинами сувениров и газетно-журнальными киосками, спустились по эскалатору, пробежали тоннелем и очутились на улице, где стояла полицейская машина с мигалкой на крыше, сейчас, разумеется, выключенной. Полицейский — наконец-то я разглядел его форму — втолкнул меня в машину, захлопнул дверь, издавшую какой-то убедительно-безнадежный звук, и сел за руль. Машина тронулась, сразу отвернув от аэровокзала. Я крепко приуныл. У меня было не все в порядке с американской визой, что выяснилось по прибытии в США в аэропорту Кеннеди, где я проходил паспортный контроль, перед тем как лететь дальше, в Детройт.

В этом центре автомобильной империи Форда меня ждали профессора Мичиганского штатского университета, чтобы отвезти на машине в свою епархию Ист-Лансинг. Затеяв мою грандиозную двухмесячную поездку в обход госдепартамента, они по неведению пренебрегли какими-то формальностями, отчего выданная посольством США виза оказалась действительной лишь

на месяц. Гостеприимные хозяева заверили меня, что визу без труда продлят и нечего беспокоиться. Я и не беспокоился вплоть до сегодняшнего дня, когда полицейский втолкнул меня в машину и повез, по всей видимости, в участок. Как раз сегодня, на половине путешествия, отмеченной тем, что я расстался с автобусами и пересел на самолет, истек срок посольской визы.

Скрылось вдали темное, мрачно-красивое здание аэровокзала, я подумал, что Далласу к лицу траурный цвет — в память о запятнавшем его преступлении. Мелькнули зеленые квадраты газонов меж взлетными и посадочными полосами, багажные помещения и ангары крупнейших компаний — ТВА, «Юнайтед», «Американ», «Вестерн», и выплыло из утреннего туманца другое здание аэровокзала, тоже траурного цвета. Машина на крутом, резко-ловком повороте, как в детективных фильмах, подрулила к входу. Полицейский выскочил и распахнул дверцу.

Оказалось, что громадный аэропорт Далласа, уступающий разве лишь Чикаго, состоит из нескольких отдельных аэровокзалов, находящихся друг от друга на солидном расстоянии и связанных местным аэродромным метро. Из любезности к чужеземцу полицейский не стал мучить меня сложностью подземных переездов и доставил к аэровокзалу на своей машине.

Вернусь к тому, с чего начал: к иллюзорности моей непринужденности. Программа была жесткая, нарушь ее хоть в одном звене, и рвется вся цепь из двадцати четырех университетов. Все было рассчитано по дням, по часам: когда прибываю, когда читаю лекции, провожу семинары, встречаюсь с профессорами и студентами в неофициальной обстановке, как уезжаю. Билеты и на автобусы и на самолеты были взяты заранее. Мои мичиганские хозяева вели меня по сложнейшему, запутаннейшему маршруту, как космический корабль, — в бесконечном отдалении чувствовал я их надежную руку. На конечных остановках автобусов, а потом в аэропортах меня встречал с машиной представитель очередного университета, чаще всего профессор русской литературы, иногда чейрмен отделения, вроде бы профессор-распорядитель. При отлете провожающие сдавали меня аэродромному служащему, а тот отводил сперва в регистратуру, затем к положенным «воротам», как называют в Америке выход на посадку.

Меня усаживали в самолет раньше остальной массы пассажиров, в небольшой группе инвалидов, эпилептиков, слепцов, дряхлых, обезножевших стариков в кресле на колесах, а также «немцов» — не владеющих английским языком. Я владею

английским, вернее, мне так казалось, до этой поездки. А тут обнаружилось, что я знаю какой-то другой язык, по-своему красивый и звучный, но малопонятный туземцам, особенно простым людям (и самым нужным): кассирам, стюардессам, шоферам такси и автобуса, продавцам, официантам, коридорным. Куда лучше понимали меня гостиничные администраторы, привыкшие к тому, что иностранные туристы, каждый на свой лад, ломают язык, и сметливые интеллигенты с богатым ассоциативным миром. Надо сказать, что и я, в свою очередь, понимал их неплохо. Вообще же в живой речи аборигенов было слишком много произношения, слова тонули в каком-то волнующе-горловом клёкоте. Здешний английский был непонятен, как голубиное воркование, и, спрятав самолюбие в карман, я охотно вступил в братство неполноценных. Правда, под конец поездки мне это надоело: я по-прежнему не различал отдельных слов, но то ли научился по артикуляции понимать их смысл, то ли изучил все не слишком многообразные варианты аэродромных разговоров и безошибочно догадывался о сути — и потому смог покинуть инвалидную команду, смешаться с нормальными пассажирами.

Четкое перемещение в огромном американском пространстве подверглось серьезной угрозе, когда забастовали служащие крупнейшей в стране компании «Юнайтед». На других авиалиниях воцарился хаос. Не хватало мест, пассажиры застревали на пересадках без всякой гарантии вылететь не только в ближайшие часы, но и в ближайшие дни. Те, кому было не слишком далеко, кидались на автобусы, но «Грейхаунд» и «Трайлэйс» тоже вскоре затрещали под этим напором, и в аэропортах начались тяжелые сцены с рыданиями, криками, истерическими припадками. Оказалось, что образцовый американский порядок крайне хрупок. Правда, через неделю-другую все относительно наладилось — компании организовали дополнительные рейсы, но все же напряжение не было снято, и я всякий раз сомневался, удастся ли мне попасть на самолет.

Маршрут у меня был дьявольски сложный: из Лансинга я отправился в небольшой университетский городок Оберлин (штат Огайо), откуда вернулся в Лансинг; самолетом с двумя пересадками добрался до Итаки (штат, Нью-Йорк) в знаменитый Корнельский университет; из Итаки автобусом через Нью-Йорк в Вашингтон, оттуда назад в Нью-Йорк, в Колумбийский университет — один из Большой четверки, оттуда… Но стоп! Не буду утомлять читателя перечислением всех мест, где я был. Мне проще сказать, где я не был: в Бостоне, Филадельфии, Нью-Орлеане, Сан-Франциско. Первые два — это культурные центры;

Нью-Орлеан, где зародился американский джаз, обладает, по общему мнению, особым южным очарованием, а Сан-Франциско — красивейший из американских городов. Во всех остальных стоящих городах, хоть проездом, хоть пролетом, я побывал. Страна показалась мне широко: заводами, рудниками, нефтяными вышками, фермами, полями, прериями, где пасутся стада, красной пустыней и Большим каньоном, великими озерами и великими реками, горами и лесами, я был там, где строят «Боинги», где играют в рулетку и где убивают президентов.

Если вычертить мой маршрут по карте, получится нечто весьма причудливое, наводящее на мысль о паранойе. От Тусона (штат Аризона) рукой подать до Калифорнии, я же отправился на берег Соленого озера, к мормонам, а в Лос-Анджелес летел потом через всю страну; возле города Колумбуса (штат Огайо) я оказался в самом начале путешествия, а попал туда под конец: в южный Нашвилл (штат Теннесси) я катил из Вильямспорта (Пенсильвания) через северный Кливленд и т. д.

На то были свои причины: Калифорния и Сиэтл возникли по ходу путешествия, в других случаях вмешивался текучий график студенческих каникул. Как ни скрупулезно был составлен маршрут, одна осечка все же произошла. В Вашингтоне меня принимали профессора университета имени Джорджа Вашингтона, но они оказались генералами без армии, и единственное занятие я провел со студентами Джорджтаунского университета, не успевшими, себе на горе, разъехаться на каникулы.

Но следует объяснить, как я вообще очутился в США. Ежегодно в Московский университет из США приезжает большая группа профессоров-русистов для повышения квалификации. В прошлом году с такой вот группой приехала Эллен Кохрам, профессор Мичиганского государственного университета, совсем молодой: доктор философии. В США все доктора гуманитарных наук имеют звание «д. ф.» — доктора философии. В Европе, кажется, то же самое. Диссертацию Э. Кохрам защитила по моим рассказам. В связи с изданием части работы, включающей обширную библиографию, ей понадобился целый ряд справок и уточнений. Мы встретились, и между нами возникло то, чего так часто не хватает людям, — доверие. По возвращении в Ист-Лансинг Э. Кохрам подала своему научному шефу, профессору и главному редактору журнала «Русский язык» д-ру Муниру Сендичу идею пригласить меня с лекциями. Идея привлекла Сендича, человека горячего, заинтересованного, влюбленного в русский язык и литературу и не боящегося жизненных сложностей. А сложностей было немало, и первая — отсутствие

денег. Да, американские университеты материально стеснены. Это объясняется в основном системой распределения средств. Деньги распределяют загодя, и когда возникает даже малая непредвиденная трата, она сплошь да рядом оказывается университету не по плечу. К тому же распоряжаются деньгами попечители, имеющие весьма отдаленное представление о науке и образовании, они просто несведущи в тех вопросах, которые призваны решать. И случается, что у одних отделений нет средств пригласить… Эйнштейна, а у других деньги пропадают, и они мучительно придумывают, на что бы их потратить, чтобы сохранить в смете на будущий год.

Громадный Мичиганский университет не мог в одиночку поднять моей поездки. Нельзя же звать человека из Москвы на берег Мичигана ради одной-двух лекций, а на курс не было средств. И Мунир Сендич придумал такой ход: пригласить меня как бы в складчину. Он связался с коллегами. Двадцать университетов откликнулись на его предложение. Когда я приехал, их число увеличилось до двадцати четырех. Темы лекций: советский рассказ, экранизация литературных произведении. Последнее связано с фильмом «Дерсу Узала», который минувшей весной совершил третий круг по американскому экрану. Тематика семинарских занятий оказалась куда шире: связь советского рассказа с русской классической традицией, взаимовлияние русской и западной новеллистики, Иван Бунин, Андрей Платонов, сибирская тема в современной литературе, стиль и ритм в прозе, язык Тургенева, русские символисты, инсценировки и экранизации Достоевского, новые силы советской литературы, работа с Куросавой над фильмом «Дерсу Узала», собственное рассказовое творчество. Вот так я очутился в Америке.

Прежде чем продолжить свой рассказ, должен сделать одну существенную оговорку. Я пишу лишь о том, что сам видел, с чем соприкасался. Я не имел дела ни с американским правительством, ни с политиками, ни с заправилами монополий, и тут мне нечего добавить к тому, что со знанием дела пишут наши американисты на страницах газет и журналов. Но полагаю, что этого от меня никто и не ждет. Мои возможности и цели в другом. Поделиться впечатлениями о повседневной жизни страны, о ее простых, нечиновных, невлиятельных людях. Как бы ни складывались отношения между нашими странами, мы всегда делаем различие между великим американским народом и его отнюдь не великими правителями. Народу этому приходится сейчас решать нелегкие задачи, но он не дает заморочить себя идеологам господствующих классов, в чьих руках все средства

массового оглупления. По роду своей поездки я лучше всего узнал университетскую публику: студентов, аспирантов, профессоров, но приходилось мне общаться и с людьми, непричастными к высшему образованию, о них тоже пойдет речь в этих записках.

2

Студенты в США делятся на две основные группы: на тех, кто бегает, и на тех, кто кидает. Кидают разные предметы, по большей части — тарелочки. Это не игра, счета тут не ведется. Наипопулярнейшая забава американских студентов возникла из ажиотажа вокруг таинственных «летающих тарелочек». Как известно, их «видели» чаще всего в Америке. Некий смекалистый делец ловко сыграл на пристрастии своих соотечественников к посланцам иных миров. Он изготовил пластмассовую тарелочку, которая, пущенная определенным способом, может пролететь значительное расстояние, издавая легкое шуршание и красиво посверкивая гладкими плоскостями. Вы кинули, партнер поймал и отправил назад. Начинающие любители стоят довольно близко один к другому, затем расстояние все увеличивается, броски становятся все смелее и точнее, траектория полета все изящнее. В погожий день воздух над кампусами, студенческими городками полон трепещущих, светлых, отражающих солнце, поющих дисков. Изобретатель тарелочек заработал не меньше, чем создатель гамбургеров, впрочем, не убежден, что Макдональд, покрывший всю страну своими закусочными, действительно придумал мини-обед в продольно разрезанном круглом хлебце.

Американцы крайне впечатлительны и отзывчивы на все новое, будь это летающие тарелочки или… русский язык. И в том и в другом случае сработал жадный интерес к космическому пространству. Когда-то русские отделения можно было по пальцам пересчитать, теперь трудно найти уважающий себя университет, где бы не изучали русский язык. И пришло повальное увлечение русским после запуска первого спутника. Полет Гагарина довел это увлечение до высшей точки. Молодежи захотелось знать язык нации, настолько обогнавшей Америку в самой современной области знания. На поспешно создаваемые русские отделения студенты повалили валом. Потом число «русистов» несколько сократилось. И все-таки русский язык и русскую литературу не только изучают, но нередко выбирают как специальность, прекрасно отдавая себе отчет в малой перспективности подобного выбора: поскольку в США почти нет

школ, где бы русский входил в программу, учителя русского языка не очень нужны. В университетах, посольстве, консульствах, торговом представительстве, фирмах, связанных с Советским Союзом, все места прочно заняты, переводческой работы ничтожно мало. И диву даешься, что при таких неблагоприятных обстоятельствах столько народу занимается по аспирантской программе, то есть связывает с русским языком свое будущее. Молодежь верит, что диалог между великими странами необходим, что он не может прекратиться, а будет расти и расти. И огромен соблазн русской литературы, в первую голову Достоевского и Толстого, хочется читать их в подлиннике. С популярностью Достоевского в США не сравнится ни один американский классик.

Впрочем, попасть в классики у молодых американских читателей — незавидное дело. Я не раз слышал не только о Фениморе Купере, Марке Твене, Брет Гарте или О'Генри, но и о недавно ушедших — Хемингуэе, Фолкнере, Дос Пассосе, Стейнбеке: «Ну, это же классика!» — с весьма кислой интонацией, означающей, что этих литераторов можно изучать, но не читать по доброй воле. А читать надо Томаса Пинчона, автора романа об охотниках на крокодилов в канализационной системе Нью-Йорка, Джона Барта, Бартелма и некоторых других авангардистов, мастера черного юмора Курта Воннегута, а еще — Апдайка, документалистов «новой журналистики»: Трумэна Капоте, Нормана Майлера, Тома Вульфа, некоторые бестселлеры, не стараясь запомнить имя однодневки-автора; Джозеф Хеллер после блистательной «Уловки 22» испортил себе репутацию романом «Что-то случилось», Стайроп и Чивер остаются писателями для избранных, Гор Видал никак не составит себе прочной репутации.

Достоевского читают страстно, он участвует в жизни духа сегодняшней Америки. То же относится и к Льву Толстому, в меньшей степени — к Чехову. Остальные русские писатели — для специалистов.

И тут дело дошло до изощренности. Докторские диссертации посвящают порой писателям даже не второго, а третьего эшелона: я знаю две работы о Вельтмане, по одной о Каролине Павловой, графе Сологубе, велеречивом митрополите Даниле, предшественнике протопопа Аввакума. Это объясняется тем, что от Державина и Фонвизина до Бунина и символистов все давно расхватано. Конечно, о наших классиках выходят и будут выходить все новые труды, но иные соискатели степени «доктора философии», боясь повторений, углубляются в дебри русской словесности.

В последнее время все чаще стали обращаться не только к

советским писателям двадцатых-тридцатых годов, но и к литературе военной поры и нынешних дней.

Все же было бы крайним преувеличением сказать, что нашу литературу хорошо знают. В широкой читательской массе царит полное неведение, иное дело — русисты. Трудно, ох трудно оторваться им от Тынянова, Пильняка, Зощенко, Булгакова, Бабеля, но жизнь берет свое, и появляются первые серьезные работы, посвященные ныне здравствующим писателям и недавно ушедшим. Приметно растет популярность Андрея Платонова. И хотя «открыт» для Америки он был еще Хемингуэем, пишут о нем с удивленным восторгом, будто впервые услышали. И все же… Систематических исследований советской литературы почти нет. А те, что есть, оставляют грустное впечатление. Если Эдвард Браун не ставил себе целью дать сколько-нибудь целостное представление о путях развития нашей литературы и свершающихся в ней процессах, просто собрал под одну обложку написанное и разное время о привлекших его внимание авторах, то его однофамилец, известный профессор Демминг Браун, выпустил и минувшем году толстый том, несомненно претендующий на чин курса советской литературы. Я просмотрел этот «курс», а большой раздел, посвященный рассказу, прочел целиком. Впечатление такое, что Д. Браун перестал следить за советской литературой где-то в начале шестидесятых годов. Выдающейся рассказчицей он считает писательницу, лишь прикоснувшуюся — очень талантливо — к этому жанру и перешедшую в тяжелый вес романа. А Виктора Астафьева и Георгия Семенова, без которых невозможно представить себе советскую новеллистику, он даже не упоминает. Студенты, изучающие русский язык, знакомятся с нашей литературой только по рассказам; повести и романы им не по силам. В качестве пособий они пользуются сборниками, выходившими в милые Д. Брауну годы: конец пятидесятых — начало шестидесятых, с тех пор подобные сборники почти не появлялись. Представление студентов о нашей рассказовой литературе вполне адекватно брауновскому. И если они заглянут в толстый труд ученого, то сочтут, что знают советскую малую прозу в лучших образцах.

Браун не наталкивает студентов на новое, более современное и зачастую более талантливое. А ведь книги наших писателей поступают и в студенческие библиотеки, и в студенческие книжные магазины, но американца нужно ткнуть носом, чтобы он чем-то заинтересовался.

То, что мне показывали на кафедрах под видом «курса советской литературы», вызывало порой глубокое недоумение.

Однажды, не выдержав, я прямо сказал: «По-моему, это курс не советской, а антисоветской литературы». Старый профессор-славист посмотрел на меня с видом крайнего изумления, огорчения и растерянности: «А что бы вы посоветовали?» Я стал называть авторов, он старательно записывал, но свет узнавания не вспыхивал в его темных опечаленных глазах. Он не был злоумышленником, лишь жертвой крайней и труднообъяснимой неосведомленности.

Я не хочу упрекать всех американских славистов в пренебрежении советским периодом русской литературы. Я познакомился со многими учеными, хорошо знающими и тонко чувствующими нашу литературу, но иные профессора живут на редкость устарелыми представлениями, они заснули где-то посреди тридцатых годов, а ныне, очнувшись, оказались неспособными наверстать потерянное. Громкие имена Распутина, Шукшина, Трифонова стучат им в барабанную перепонку, втесняются в память, но целые десятилетия канули в черном провале. Многие профессора читают нашу литературу лишь в переводе, а переводят нас в США удручающе мало, неизмеримо меньше, нежели американских писателей в Советском Союзе. На это обстоятельство ссылаются с грустным вздохом неповоротливые любители российской словесности, а ведь к услугам тех, кто хочет знать нашу литературу, есть отличный журнал «Sovjet literature», который получают университетские библиотеки. Но нет этого журнала на руках ни у профессоров, ни у студентов. Поистине удивительно в американцах противоречивое сочетание живого любопытства с отсутствием истинной заинтересованности, требующей для своего утоления некоторых душевных затрат, тем паче легкого насилия над собой. Что там ни говори, а назойливая, не знающая ни сна, ни устали реклама развращает. Люди привыкли, чтобы им все навязывали: вещи, еду, развлечения, книги, идеи, зачем искать самим, когда все должно быть подано на блюде.

Узнать что-либо сразу, даже вовсе ненужное, американец всегда готов, он любопытен, как ребенок. Мало обремененный бытовыми тяготами, он открыт всем впечатлениям мира. Нельзя заговорить в общественном месте по-русски, чтобы тут же не последовало взволнованное: это вы по-каковски? В аудиториях студенты засыпали меня вопросами, по два с лишним часа не отпускали с кафедры, но то была любознательность без продолжения. Я уверен, что в лучшем случае лишь единицы воспользовались моими советами достать тот или иной журнал, прочесть ту или иную книгу. На это нужно время, а интерес пригасал, едва мы выходили из аудитории. Ну что ж, господь

даже ради одного праведника готов был пощадить вертеп. Прямо диву даешься, как легко повышенная реактивность уживается с душевной и умственной ленью. Но главное — это нежелание хоть чуть-чуть принудить себя: к усилию, терпению, той скуке, что нередко предшествует открытию новых миров.

Столь раздражающая нас американская реклама исходит из ясного представления о толстой шкуре потребителей жизненных благ, включая массовую культуру. Надо очень долго, настойчиво и бесцеремонно лезть в глаза, уши, мозг американцев, чтобы пробудить в них действенный интерес, желание взять. Они спокойно идут на поводу собственных легкоутолимых и необременительных желаний, преимущественно физиологического свойства. Маловато духовности. Куда больше спорта, некрепкого пива «Мюллер», сигарет с дурманцем, зрелищных фильмов, легкого чтива, быстрых, неволнующих, но приятных отношений. Нужна была очень серьезная встряска — вьетнамская война, — чтобы общество и самая отзывчивая его часть — молодежь — обрели способность громкого, сильного слова и активного действия.

Но есть и еще одно, что, на мой взгляд, мешает американскому студенту проявлять любознательность, стараться расширить и углубить свое знание изучаемого предмета, — сама система образования. Американцы шутят: у нас есть высшее образование, но нет системы. Остроумно, но едва ли верно. Отсутствие системы — это тоже своего рода система, здесь же система положительно есть. Прямо противоположная нашей, стремящейся дать студенту общее и по мере сил полное представление о предмете. Американский студент сам выбирает, чем ему заниматься. Я говорю не об аспирантских программах, дающих специальность, а лишь о четырехгодичной студенческой программе. Он может взять на первом году обучения такие курсы: начертательная геометрия, утопические взгляды Фомы Кампанеллы, творчество Ле-Корбюзье и сербохорватский язык; а следующий год — хромосомную теорию, житие другого Фомы — Аквинского, женские образы в русской литературе, лишь иностранный язык останется тем же. Я не шучу и не утрирую, а называю реальные курсы. Бывает и похлестче. В Ирвайне (филиал Калифорнийского университета) читается курс о Гурджиеве, сомнительном и справедливо забытом философе двадцатых-тридцатых годов. Студент не будет иметь представления о движении русской философской мысли, ему неведомы останутся имена Чаадаева, Чернышевского, Соловьева, но зато в отношении Гурджиева для него не окажется никаких тайн. Когда я выражал привычное американцам удивление этой все-таки системой

образования, то слышал в ответ от ироничного — с намеком на дороговизну университетского обучения: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку», — до серьезного, убежденного: «Это развивает способность к самостоятельному мышлению». Но почему более полное, охватное, фундаментальное представление о научной дисциплине препятствует живости мысли? Если студент слушает курс по русской философии, он может заинтересоваться тем или иным течением философской мысли, той или иной фигурой мыслителя, начать искать соответствующую литературу, но, «загнанный» в Гурджиева, он просто не знает иных течений, иных имен.

Известный профессор русской литературы, председатель общества Достоевского в США Роберт Белнап говорил мне, что в серьезных университетах, в частности Колумбийском, где он сам преподает, начинают отказываться от системы бессистемности в пользу общих курсов. Это не так просто. В Америке не только профессора ставят отметки студентам, но и студенты профессорам: за знания, за живость изложения, за поведение на лекциях и т. д. И провалиться профессору куда страшнее, чем его ученику…

Я вовсе не склонен преувеличивать бездуховность американской молодежи. Люди всегда разные, и среди молодых американцев немало интеллектуалов, приверженцев идеи и веры, служителей духа.

Конечно, все сказанное касается молодежи из обеспеченных слоев населения и не имеет никакого отношения, скажем, к молодым безработным неграм или пуэрториканцам, которым не до жиру, быть бы живу. Я уже говорил, что по роду своей поездки имел дело преимущественно с университетской публикой, и естественно, что мои наблюдения и соображения носят односторонний характер. Впрочем, не претендуя даже на поверхностное знание, я хотел бы немного поговорить о том населении страны, с каким встречался не в кампусах, а в рейсовых автобусах и на автобусных станциях.

3

У меня создалось четкое представление, что в американских междугородных автобусах ездят лишь негры и я. Это самый дешевый вид транспорта, дешевле даже железных дорог, служащих сейчас главным образом для перевозки грузов. Кроме того, железнодорожная сеть не так густа, многие линии перестали обслуживать пассажиров, поезда вечно опаздывают, в них

небезопасно. Говорят, что и автобусы, особенно ночные, тоже небезопасны, и уж подавно небезопасны ночные улицы больших городов, когда переходишь со станции на станцию.

Меня предупреждали насчет Кливленда (промышленные города очаги злостного хулиганства) и как в воду глядели. Я прикатил сюда из Вильямспорта в четверть второго ночи на автобусе «Грейхаунд» и должен был пересесть на «Трайлэйс», чтобы ехать в Нашвилл. Для этого надо было всего лишь перейти наискось улицу, отнюдь не окраинную, такие станции находятся всегда в самом центре города. Я вышел со своей наплечной сумкой и тяжеленьким полиэтиленовым мешком, нажитым в дороге, — книги, журналы, бутылочки с виски, сувениры — отказов не принимают, — когда на меня надвинулся огромный молодой парень с желтыми взболтанными белками неподвижно-вытаращенных, немигающих глаз. Он был явно не в себе, но дыхание, вырывавшееся из спекшихся сизых губ, не смердило сивухой — наркоман. Вначале я в него не поверил, именно потому, что он был предсказан женой профессора из Пенстейта, отвозившей меня на машине в Вильямспорт. Но жизнь — я убеждался в этом неоднократно — очень грубый драматург, чрезвычайно приверженный к приему совпадений и всем тем натяжкам, нарочитостям, которые, по мнению театральных критиков, «не бывают в жизни». Милая женщина напророчила мне нападение именно в Кливленде, не в Цинциннати, не в Луисвилле, тоже лежавших на моем пути, а в городе, которому я верил, уж побывав там дважды (правда, в дневное время), да и как было не поверить чудесным паркам, свежему ветру с озера Эри, бронзовым Гёте и Шиллеру — копии веймарского памятника, музею Сальвадора Дали и картинной галерее с дивными Эль Греко, Веласкесами, Гойями, Гальсами и предтечами высокого итальянского Возрождения. И вот сейчас Кливленд наслал на меня своего одурманенного желтоглазого агрессивного гражданина. Я пытался его обойти. Тщетно. Он упорно заступал мне дорогу, что-то бормоча сквозь запекшиеся губы и выделывая пассы вокруг моей головы, почти задевая лицо, а я этого терпеть не могу. Но что делать, я был беспомощен перед ним, руки заняты, да и будь они свободны, разве мне справиться с этим здоровяком, к тому же распаленным наркотиком? Впереди, чуть слева, светились желанные буквы «Трайлэйс». Но между ними и мною все время вырастал этот несчастный и страшный человек. Доведенный до отчаяния, я вспомнил «большой одесский заход», за которым во время съемок фильма «Председатель» специально посылали для Михаила Ульянова в наш славный южный порт, славящийся перлами русского красноречия. Помните, когда Егор

Трубников обкладывает на деревенской сходке хулиганов, испохабивших матерной бранью изображение светлого будущего колхоза? Тогда еще снялась с деревьев и с паническими ржавыми криками унеслась прочь галочья стая? Так вот, напрягая связки, я выдал в ночную тишину Кливленда тяжело-звонкую, как скаканье бронзового коня, портовую россыпь. И ей-богу же, с не меньшей убедительностью, чем это сделал Ульянов — Трубников, — защитный инстинкт может заменить талант. Конечно, я не испугал его, но он призадумался. Незнакомая, странная и прекрасная речь затронула глубокие пласты в его затуманенном сознании. Кто знает, быть может, это праязык человечества, потому и не в силах устоять люди перед соблазном древнего татаро-славянского велеречия? Душа моего преследователя словно вспоминала самое себя в ночных безднах предбытия, и передышки хватило на то, чтобы достичь дверей станции.

Было и другое — на станции в Ноксвилле, где я пересаживался с автобуса на автобус по пути из Нашвилла в Чапел-Хилл. Я оформил билет и сел на лавку — сумка под ноги, мешок под бок — и задремал. Было около десяти вечера, а мне предстояло всю ночь трястись в автобусе. Очнулся я от толчков в плечо. Медленно разлепил склеенные сном веки, увидел серую неопрятную юбку, обтягивающую массивные бедра и большой слабый живот, потом кофточку, где без лифчика тяжело провисали груди, шею эбенового цвета, все лицо молодой негритянки и лишь через какие-то мгновения допустил в сознание черную жесткую, затупленным клинышком бороду. Женщина толкала меня в плечо, улыбаясь доброй, застенчиво-бессмысленной улыбкой, что-то бормотала, я ее не понимал, завороженный жуткой, ухоженной — не в пример всему остальному на этой женщине — бородой.

Я так и не узнал, него она хочет и что вообще означает странное ее явление, меня окликнули, назвав по имени. И это было почти столь же ошеломляюще, как женщина с бородой, — кто мог узнать меня на автобусной станции в Ноксвилле? Оказывается, профессор Вандербилтского университета Ричард Портер позвонил своему другу профессору Финни, чтобы тот нашел меня, помог с билетом, коль понадобится, и увеселял до отхода автобуса. «Мы заняли столик в ресторане, тут неподалеку, — сказал Финни. — Как вы относитесь к виски-сауэр?»

С благодарностью подумал я о Ричарде Портере, Дике, как он просил себя называть: красивом, элегантном, по-южному чуть церемонном и трогательно заботливом под маской прохладноватой сдержанности. Нигде я не чувствовал себя так

надежно и защищенно, как в Нашвилле, под крылом Дика. И вот его покровительство продолжает осенять меня в пути. Сейчас будет ресторан, музыка, холодное виски-сауэр с тепловатой пеной, долькой апельсина и черешней, нанизанными на пластмассовую булавку, вкусная еда, любезные люди. А затем я ощутил какой-то странный укол — не то сожаления, не то вины. Мне показалось, будто я ухожу от соучастия в чем-то, что мне должно быть ближе нарядного ресторана, будто я ловко и неправедно скинул положенную мне ношу. Бородатая женщина, все так же робко-бессмысленно улыбаясь, расталкивала дремлющего на скамейке пожилого мексиканца в пончо и черной широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Через зал медленно ковылял, опираясь на четырехногую подставку, парализованный на левую сторону дряхлый негр в халате поверх расстегнутой до пупа ковбойки и драных джинсов; обнаженная грудь заросла седой шерстью. Юноша-негр сидел над раскрытым футляром от виолончели, служившим ему чемоданом, и перебирал какие-то бедные вещи: майки, носки. На скамейках дремали, покачиваясь и что-то бормоча, смертельно усталые люди, другие томились в бессонном ожидании, вяло переговаривались, тянули сладкую воду из бутылочек, женщины играли с детьми, и среди всех этих ночных пассажиров не было ни одного с белой кожей. Иные из них станут моими попутчиками, иные сядут в другие автобусы во все четыре стороны света, иные, как женщина с бородой или парализованный старик, останутся тут безнадежно обшаркивать заплеванный пол, мыкая свое горе. И все это такие же законные граждане страны, как и те, что кидают тарелочки, отдуваясь, лупят битой по тугому мячу, купаются в бассейнах и пахнут всевозможными одораторами. Некое теневое население…

В Нашвилле меня водили в начальную школу — в приготовительный и четвертый классы. Как теперь и повсюду в Америке, белые и черные дети учатся вместе в этом южном штате. Зрелище было идиллическое: малыши дружно готовили пиццу — такой у них сегодня урок, — старшие напрягались над тайнами родного языка. Приготовительные классы вроде нашего детского сада, тут играют, а не учатся. С малышами мои отношения остались в рамках строго гастрономических — я должен был попробовать изделие каждого, а вот в старшем классе завязался живой, интересный разговор, позволивший мне расчленить аморфную массу детских лиц. И постепенно вниманием моим завладел черный мальчик, самоустранившийся из беседы. Этой своей исключительностью из общего веселого возбуждения он мне и приметился. Угрюмо и сосредоточенно созерцал он лишь ему видимое нечто, до глубины души презирая зримую

очевидность всех окружающих: соучеников, учительницы и меня, захожего чужака. В зоне его внимания пребывал лишь сосед по парте, толстый добродушный парнишка с такой же черной, как у него, матовой кожей, с пышной мелкокудрявой шевелюрой. Бесхарактерный толстяк был в кабале у своего волевого приятеля, но по живости и любознательности то и дело нарушал запреты. Он долго крепился, игнорируя меня, едва успевавшего отвечать на вопросы, и вдруг заорал, раздираемый любопытством: «А китайский вы знаете?» Дети рассмеялись, а суровый друг посмотрел на него с такой злобой, что толстяк сжался и даже зажмурил глаза. Но через короткое время его снова прорвало: «А в космос вы летали?» — и прикрыл голову руками. Под конец учительница предложила ребятам спеть в мою честь песенку о Гавайских островах из пьесы, которую они ставят на школьной сцене. Все запели с огромным воодушевлением и очень мелодично, кроме маленького мстителя, как я окрестил про себя черный комок ненависти. Он с такой силой сжал зубы, что на челюстях вздулись желваки. Толстый мальчик, не в силах одолеть соблазн песни, вплел в хор свой сильный фальцет. Бешеный, слепящий взгляд сковал судорогой голосовые связки певца, в горле как будто виноград прыгал, но звук умер. Он жалко, умоляюще поглядел на своего вождя и покорился.

Тяжело и больно было видеть в ребенке такую ненависть. Он был побегом того же дерева, что и парализованный нищий старик, полубезумная женщина с бородой, что все убитые, повешенные, сожженные по суду линча, затравленные собаками, застреленные куклукскла новцами, замордованные в полицейских участках, брошенные за решетку по заведомо ложным обвинениям, а также и преступившие закон из мести, все обреченные на безработицу и прозябание. У него не было оснований доверять миру белых людей, тем паче любить этот мир. Его душа, отягощенная родовой памятью, не хотела прощать.

Директриса этой школы, типичнейшая — до подозрения в подделке — южная леди, пожилая, но стройная, как девушка, с искусно, уложенной седой головой, красивая какой-то фарфоровой красотой, сказала мне тоном горестного изумления: «Поверите ли, порой мне кажется, что есть негры, которые ненавидят белых!» Я спросил, неужели это ее так удивляет. «Да..! Я полагала, что это привилегия белых». До чего же это было по-южному! На миг мне показалось, что я провалился в пряный мир Маргарет Митчелл, в мир «гонимых ветром». Как сильны и устойчивы предрассудки среды, как велика власть прошлого. Красивая, симпатичная, образованная и, наверное, в глазах окружающих передовая женщина решительно отказывала неграм

в праве на равные с белыми чувства. Негры должны млеть и задыхаться от благодарности, что в исходе двадцатого века их согласились числить, во всяком случае формально, за людей. Но жизнь мало считается с представлениями красивых южных леди, и чернокожие граждане Соединенных Штатов вовсе не считают себя осчастливленными.

Они получили равные с белыми права, оплатив их кровью лучших своих сыновей. Да, теперь, если негритянских детей не пускают в белую школу, за них вступаются войска. Все гостиницы, рестораны, стадионы открыты для черных. Но из этого вовсе не следует, что расизм умер. Есть и другое, что куда хуже частного негрофобства. Права даны, а ими трудно, порой невозможно воспользоваться. Негритянские дети идут в школу и садятся рядом с белыми, учителя не делают между ними различия, но черный ребенок скоро начинает отставать. Не всегда, но часто. И не потому, что он глупее, а потому, что его дедушка ковыляет в распахнутом халате по автобусной станции, потому, что дома вокруг него неграмотные или полуграмотные люди, потому, что в семье не читают, не смотрят телевизора — его просто нет, потому, что он растет на улице, не имеет своего угла, книжек с картинками, игрушек, никакой помощи от взрослых. Сказанное не относится к тем неграм, которые пробились к достатку, но ведь подавляющее большинство негритянского населения принадлежит к бедноте. У отстающего подростка развивается комплекс неполноценности, ожесточенно против общества, которое обмануло его мнимым равенством возможностей; недостаточная подготовленность мешает найти работу, на которую он вправе рассчитывать как окончивший школу. А уж если он получает такую работу, то редко удерживается на ней и пополняет собой армию безработных. Подлецы видят в этом подтверждение умственной отсталости негров, честные люди — а их подавляющее большинство — новую вину белых. Мало было допустить негров в белые школы, следовало обеспечить им соответствующую подготовку. Сейчас об этом много говорят, но никак не перейдут от слов к делу.

Молодые безработные негры, которым не пошло впрок школьное образование, делают столь тревожной ночную жизнь нью-йоркских улиц, что из-за них одинокая женщина даже днем не рискнет пойти в Центральный парк, это они главные герои уголовной хроники больших городов. Ничего удивительного тут нет — что посеешь, то и пожнешь. Белые не препятствуют неграм появляться где угодно, но попробуй белый даже днем ступить в нью-йоркский Гарлем: хорошо, если просто изобьют, а могут и нож всадить. Я жил возле Колумбийского университета и ездил

на такси через Гарлем — ни разу не видел я на улицах белого пешехода. Так отыгрываются не только былые преступления, но и нынешнее преступное недомыслие. Права имеют смысл, если они обеспечиваются, если люди могут ими воспользоваться. В противном случае они оборачиваются издевательством. Покамест совместное обучение белых и черных детей принесло лишь снижение общего уровня школьной подготовки и глухую обиду черной молодежи. Пока не будут созданы истинно равные шансы, толка нечего ждать. И черный мальчик с лицом, как сжатый кулак, не хочет размыкать губ в классе, а в глазах его отчуждение и ненависть. «Сейчас еще ничего, — говорила директриса. — А раньше чуть что — хватался за нож». Боюсь, что он еще схватится за нож. Среди молодых негров едва ли обнаружишь характер дяди Тома. Да и с какой стати им натягивать на себя личину смирения, самоуничижаться? Черные не раз доказывали, что нет такой области человеческой деятельности, где бы они не могли успешно соперничать с белыми. Оставим в покое спорт, где их преимущество бесспорно, равно как и джазовую музыку, эстрадные песни и танцы, но сколько блестящих театральных актерок-негров («Черный Орфей» в Гарлеме — самый талантливый театр в США), сколько превосходных писателей, поэтов, художников; в последние десятилетия негры заняли видное место в науке, юриспруденции, бизнесе, государственном аппарате. Негры — несравненные проповедники, энергичные общественные деятели, умелые администраторы. В столице США — Вашингтоне — черный мэр. И хочется верить, что в ближайшем будущем негры добьются не формального, а истинного равенства с белыми. Иначе Америке несдобровать.

Я говорил об одной из самых больных проблем сегодняшней Америки, привлекая нужные мне примеры из лично наблюденного. Только не надо рисовать себе всех американских негров с костылем, или с ножом в кармане, или с волчьим блеском ненавидящих глаз. Да нет же, в большинстве своем это здоровые, крепкие, изящные люди с гибкими телами, воспитанными спортом и музыкой, общительные, улыбчивые и удивительно приятные в обхождении. В этом умении сохранить любовь к жизни и вкус к радости мне видится великая сила расы.

Вернусь к своему ночному рейсу из Нашвилла, вернее, уже из Ноксвилла в Чапел-Хилл, штат Северная Каролина. Название штата дает полный простор для американского произношения. У меня всякий раз сбивалось с ритма сердце, когда звучало горловое, клекочущее, раскатистое, как эхо далеких выстрелов войны Севера и Юга: Н-о-о-р-с К-э-р-р-о-л-я-й-н-е. Перед отправкой из Ноксвилла случилось маленькое недоразумение:

водитель автобуса, называемый почему-то не «драйвер», а «оперейтор», отказался везти молодого пуэрториканца с початой бутылкой вина под мышкой. Парень, подбадриваемый товарищами, негрубо, но настойчиво пытался осуществить свое право на передвижение. Пожилой рослый оперейтор, напоминающий мощной статью героя вестернов Джона Уэйна, загораживал вход и знай бубнил: «Не хочу из-за тебя терять работу». Тут не было каприза: над водительским местом висит объявление: «Проезд в нетрезвом виде запрещен». Но парень не был пьян, и профессор Финни почувствовал себя задетым в своих демократических идеалах. «Пропустите юношу! — потребовал он у водителя. — Ему необходимо в Шарлотт». — «Проспится, тогда поедет», — отозвался водитель, заслоняя вход. Почувствовав поддержку, юноша, торопившийся в Шарлотт, стал активнее, и водитель позвал полицейского. Тот был столь же выразителен и фотогеничен, как оперейтор: двухметрового роста, с телосложением нынешнего Мохамеда Али; тяжелые кулаки уперты в бока, картинный пистолет на одном боку, резиновая палка в черном футляре — на другом, фуражка надвинута на нос, челюсти разминают жвачку. У меня было впечатление, что сейчас помощник режиссера объявит помер дубля и качнется съемка.

— Где мы живом — в Америке или в Никарагуа? — спрашивал Фиппи. — Картер у нас или Сомоса?

Оперейтор закурил, полицейский ловко выдул меж губ пузырь из жвачки, затем снова занялся челюстной работой. Юноша с бутылкой попытался протиснуться в автобус, полицейский взял его за худое плечо и отстранил: «Полегче, паренек!» — сказал с отеческим видом.

— Здесь гость из Советского Союза! — возмутился Финни. — Хорошего же мнения он будет об Америке! Как коммунист в душе, я буду до последнего бороться за права этого юноши.

— Угомонитесь, — сказал полицейский. — А ты, парень, проваливай, если не хочешь огорчений. Продрыхнешься — поедешь!

Финни продолжал спорить, а парень, в жалком самоутверждении хлебнув из бутылки, поплелся восвояси. Мы уже тронулись, когда Финни вскочил в автобус и попросил у меня прощения за попранную американскую демократию. Я боялся, что его заберут, но все обошлось. Финни соскочил на землю и еще долго бежал следом за автобусом с поднятым кверху кулаком — жест борьбы и единства.

История эта имела продолжение. Сидевший позади меня молодой негр в рубашке-хаки — эти рубашки американской пехоты, прочные, удобные и ладно сидящие, популярны среди

штатской молодежи — понял, что я иностранец и не слишком боек в английском языке. Он взял меня под свое покровительство, что оказалось весьма уместным. Подробный маршрут, составленный еще в Лансинге, был неточен как раз на этом перегоне. Указаны лишь две пересадки: в Ноксвилле, уже миновавшем, и в Шарлотте, их же оказалось пять. И первая в месте историческом — Ашвилле, ставшем бессмертным благодаря его уроженцу Томасу Вульфу. Два великих честолюбца американской литературы, вечно считавшиеся славой друг с другом. Хемингуэй и Фолкнер в своих списках пяти лучших писателей США дружно поставили на первое место Томаса Вульфа; но было у них разногласия и с последним местом, отданным Стейнбеку, а в остальном они разошлись: Фолкнер почел себя вторым, Хемингуэй же отдал это место Дос Пассосу, скромно посчитав себя третьим. Но это к слову. Городок Ашвилл я, не ведая о том, что мы по нему едем, проспал. Очнулся же, когда автобус уже въезжал на стоянку маленькой станции, — меня кто-то нежно раскачивал за плечо.

— Простите, я слышал, вам в Чапел-Хилл? Здесь пересадка.

Я поблагодарил юношу в хаки и вышел из автобуса. Процедура с билетами не заняла много времени. Устроившись на лавке, я продолжил свой сон с того места, на котором его прервали. Такое нечасто случается. Мне снилось что-то странное, намешанное из впечатлений разных жизненных периодов, во сне участвовали: мой мещерский друг, одноногий егерь Макаров, грациозный южный джентльмен с тихим, мелодичным голосом Ричард Портер, бородатая женщина, музей космонавтики в Вашингтоне и ракета, летавшая на Луну. Мы всей компанией собирались на Юпитер (я только что посмотрел «Космическую одиссею» Стенли Кубрика), что несказанно меня радовало, но совсем хорошо стало, когда борода сплыла с лица женщины, вмиг ставшего миловидным, и прилепилась к веснушчатому подбородку егеря Макарова, сообщив мужественность. Тут я опять почувствовал легкий толчок в плечо, и вежливый голос произнес сожалеюще:

— Простите, что опять нарушаю ваш сон. Посадка.

Что-то ткнулось мне в руку — банка «севен-ап», прекрасного освежающего питья.

Мы вышли из станционного помещения. К ночи похолодало, гудели под ветром провода.

— Это город Томаса Вульфа, — с застенчивой улыбкой сказал молодой человек, словно желая подбодрить меня. — Жаль, что темно и ничего не видно.

Вот когда я узнал, где мы находимся.

Уже в автобусе он подсел ко мне и показал книжку карманного формата. «Том Вульф», — прочел я на обложке и не сразу сообразил, что это тезка и однофамилец классика, вошедший в славу за последние годы.

— «Новая журналистика»? — вспомнил я.

Молодой человек довольно закивал курчавой головой. Наверное, его обрадовало, что я знаю этого писателя, и не получилось неловкости.

— Я не читал. У нас его, по-моему, не переводили. Это хорошо?

— Мне очень нравится. Интересно читать. Не то что Барта или Кувера. — Он вдруг смутился: — Простите, может быть, вы любите этих писателей?

— Может, и любил бы, если б знал. Это авангардисты?

— Да, да!.. Наверное, замечательные писатели, но не для меня. Я хочу знать о мире, какой он есть на самом деле, а не о том, каким они его видят.

Я сперва удивился, что так хорошо его понимаю, а уж потом самой мысли, достаточно сложной для паренька в хаки. Он произносил слона четко, ясно, медленно, исключив начисто «прононсейшп». Эх, если бы всегда так!..

— Но ведь каждый писатель изображает мир, каким его видит.

— Это другое дело. Есть же общее для всех. Я не знаю, как выразиться… Люди о многом договорились. Это вот автобус, а не птичья клетка, и мы едем, а не штопаем носки. Авангардисту же автобус свободно может представиться птичьей клеткой, и птицей, и его покойной бабушкой. Меня интересует мир, о котором договорились, который назван. Он меняется, усложняется, куда-то движется. Мне в этом мире жить. И я хочу, чтобы литература помогла мне. Наверное, для того она и существует.

— А вы сами случайно не писатель?

Он рассмеялся и смеялся так долго, что я заподозрил его в неискренности.

— Куда мне! Я автомобильный механик. Просто люблю читать. А вы профессор литературы, как доктор Финни?

— Вы знакомы с доктором Финни?

— Нет. Просто знаю его в лицо.

Водитель выключил свет в автобусе, оставив лишь контрольную лампочку.

— Отдыхайте. Я разбужу вас.

Он действительно в нужную минуту разбудил меня и весь последующий путь неотступно следил за мной, потому что с

удивительной точностью я засыпал как раз перед тем, как сходить, или перед тем, как ехать дальше. В городе Шарлотт он покинул автобус, поручив меня на последнем этапе юноше с футляром для виолончели, заменявшим чемодан. Прощаясь, он доверчиво сказал, что приехал сюда для свидания с невестой.

— Вы замечательный спутник, — сказал я. — Вашей невесте можно позавидовать.

Он засмеялся, пожал мне руку своей узкой аристократической рукой с шафрановой ладонью и такими же ногтями и скрылся.

А таинственный футляр обманул мои ожидания, за ним не оказалось никакой истории. Старший брат-джазист выкинул старую рухлядь, купив новый футляр, а младший подобрал. С ним хорошо путешествовать, девушки принимают за музыканта, начинают расспрашивать о знаменитых певцах, завязываются знакомства. А он сам чертежник, получил работу в Роли и едет туда. Хочется скопить достаточно денег и поступить в университет, чтобы обучиться на строителя.

Будущий строитель оказался так же точен, как и его предшественник, и не дал мне проспать очаровательное местечко Чапел-Хилл, где вовсю цвели магнолии, айва, японские вишни, сливы и удивительное «собачье дерево»…

А разговор, начавшийся в автобусе с негритянским юношей, я продолжил через некоторое время с профессором Белнапом, рассеянным, как Паганель, набитым знаниями, как оба Гумбольдта, эксцентричным, как Рассел.

— Так кто же сейчас лучший писатель США?

— Это трудно сказать. Официально Сол Беллоу, он единственный живой лауреат Нобелевской премии, но последние его романы читаются далеко не так, как прежние. По элитарному вкусу — Томас Пинчон.

— Он действительно хорош?

— Вы читали, наверное, Курта Воннегута? Пинчон — это Воннегут на высшем уровне; та же бесконечная возня со смертью, но неизмеримо изысканнее литературная ткань.

— Он идет от Джойса?

— Все идут от Джойса. — Он вдруг засмеялся. — Томас Пинчон — от Рабле. Такое же пристрастие к перечням. У нас шутят: одного Хемингуэя, который был молодцом и в творчестве и в жизни, разменяли на Пинчона и Трумэна Капоте. Первый превосходно пишет, по совершенно неведом широкой публике, второй пишет хуже, но каждый шаг его известен всей Америке…

Наездившись в автобусах до одури, я вынес твердое убеждение: насколько разнообразна американская природа, настолько же однообразны ее города. От холодных, замерзших Великих озер штата Мичиган я переносился к лесам и лесным круглым озерцам Огайо, темневшим утиными и гусиными стаями; от живых водопадов в окрестностях Итаки, низвергавшихся с обледенелых скалистых круч, — к цветущим лиственным рощам Мериленда; переваливал через Аппалачи — меж темных ребер искрился снег, а зеленые поляны в распадках желтели первоцветом. С гор в долины, с полей в леса, через полноводные реки и вдоль озер, снегопады сменялись весенним буйством солнца, грибной дождь пронизывал его лучи, и голубым прозрачным маревом занималось пространство, и вдруг — гром, первый гром, что ни час, все менялось в природе. А города?.. Я проснулся на стоянке в Цинциннати и пошел побродить по городу, по его обставленному небоскребами центру, пустынному, как и во всех больших городах. Эта странная лунная пустынность взрывается дважды в день — перед началом и после окончания работы. Центры городов ныне безраздельно отданы учреждениям, здесь не торгуют, не отдыхают, не веселятся, потому и нет прохожих на широких тротуарах. Вернувшись в автобус, я вскоре задремал, а когда проснулся после долгой тряски, увидел все тот же Цинциннати, только теперь он назывался Луисвиллом. А мог бы называться Кливлендом, Нашвиллом, Балтимором… За редким исключением, все большие города США на одно лицо: высотный центр, или «даунтаун» — деловая часть, вокруг все та же «одноэтажная Америка». Собственный домик — по-прежнему голубая мечта каждого американца. Многоэтажные дома презирают и селятся в них лишь в силу необходимости. Однообразное оживление в городской пейзаж вносят бензозаправочные станции, закусочные «Макдональдс» с рекламой в виде гигантского М, закусочные с «Кентаки-фричикен», кафе-мороженое с тридцатью двумя сортами пломбиров и шербетов — ровно столько, ни больше ни меньше, ибо сладкая жизнь страны монополизирована одной компанией, барами, ресторанами, кинотеатрами. Но зрелищных предприятий в подавляющем большинстве городов совсем немного. Некий атавистический душок пуританства подмешивается к бензиновой вони, отравляющей воздух улиц. Не случайно Лас-Вегас с его игорными домами и прочими греховными заведениями лежит на пустынной окраине штата Невада. Ханжеские души тешатся иллюзией, что порок изгнан со стогн градов в пустыню.

Торговая жизнь вынесена на окраину, она сосредоточена в гигантских торговых центрах. Лишь завершивших земном путь

обслуживают особые магазины.

Я уже говорил, что из заслуживающих внимания городов не видел лишь Сан-Франциско, Ньо-Орлеан и Бостон. Из всего же виденного лица необщим выраженьем наделены Нью-Йорк и Чикаго, прежде всего в силу своей ошеломляющей громадности, очень хорош и нетипичен для страны Вашингтон с его портиками и фронтонами, куполами и памятниками, Миннеаполис с аллеями старых гибнущих, увы, вязов, с Миссисипи в обрывистых берегах и дремлющими прудами. Сиэтл на семи холмах с врезами воды в его зеленую густотищу, объявшую серый камень зданий, небольшой Белфорд, весь в восемнадцатом веке, и не любимый американцами Лос-Анджелес, он ужасно расползся, но в этом есть некое отрицательное величие, и потом он такой разный: кручи и виллы Беверли-Хилс, вечерний шумный грех Голливуда, океанские волны с заплеском через весь золотой пляж, впечатляющая гроздь небоскребов из темного стекла в одном из многочисленных центров, а единого центра нет в помине. Я оставляю в стороне маленькие университетские городки с их неповторимой прелестью, такие, как Оберлин, Итака, Чапел-Хилл, Боулдер…

5

В рейсовом автобусе, когда не спишь, хорошо и просторно думается о разных разностях. В самолете тоже неплохо думается, хотя и хуже, чем в автобусе, — то и дело подходят стюардессы с журналами, прохладительными напитками, джином, виски, пивом, ленчем или обедом, кофе и чаем, с вопросами о самочувствии и откуда вы такой взялись. В своих мыслях я часто обращался к американской литературе. Мне хотелось понять на основе своего нового опыта, как соотносится она с жизнью.

Вспоминалась знаменитая пьеса Олби «Кто боится Вирджинии Вульф», легшая в основу одноименного фильма, где голливудская кукла Элизабет Тейлор вдруг поднялась до настоящей трагедии. Пусть жалкой, низкопробной — иной и не может быть в современном буржуазном обществе трагедия леди Макбет — женщины, обреченной на бесплодие. В средневековье обманутое материнское чувство обернулось кровавым властолюбием, в профессорской среде сегодняшней Америки — бескровным, но жестоким издевательством над собственным мужем, развратом, истерией. При том, что и пьеса и фильм мне всегда нравились, некоторое сомнение в жизненной и художественной правде все-таки точило душу. Сейчас появилась возможность проверки, ведь я довольно хорошо узнал среду, изображенную Олби.

Мне бы хотелось рассказать об одной истории, свидетелем которой — и отчасти участником — я оказался. Началось с прилета в очередной университетский город. Пройдя в зал ожиданий, я, как и обычно, сразу узнал в толпе встречающего меня. Правда, на этот раз толпа была негуста, но и встречавший профессор резко отличался от всех знакомых мне славистов. Их было несколько типов: рассеянный, нелепый, плохо умещающийся в земных координатах, почти театральной недостоверности муж науки; подтянутый, очень современный американский джентльмен — белейшая рубашка, тщательно повязанный галстук, синий блейзер; небрежный, заросший волосами человек, не помнящий, во что одет, скорее вечный студент, нежели наставник юношества, и, наконец, энергичный мужчина с крепким рукопожатием, твердым и веселым взглядом и с такой уверенно-свободной и добродушной повадкой, словно вы знакомы с ним с детства, — как правило, администратор от науки. Этот же человек, с обвислыми моржовыми усами, усталым, бледным сквозь природную смуглость, изношенным лицом и

коричневыми печальными глазами, тихим голосом и слабой, беззащитной улыбкой, не походил ни на одну категорию.

— Только что потерял двадцать пять центов, — сообщил он вместо приветствия, угадав меня среди прибывших на мгновение раньше, чем я его.

— Давайте поищем, — предложил я.

— Нет, их сожрало вот это чудовище, — слабым движением руки он показал на один из бесчисленных аэропортовских автоматов. — Я хотел проверить кровяное давление, и вот… — улыбка бесконечного, но покорного, и тем словно бы просветленного отчаяния сползла из-под усов, сморщив вялый подбородок.

Я удивительно хорошо и уютно почувствовал себя в его печали. Признаться, я несколько устал от напора беспокойной жизни последних недель: с перелетами, новыми знакомствами, остротой отношений, спорами, впечатлениями почти ранящей яркости, хотелось тишины и спокойной грусти, похоже, я это здесь получу.

Мы подошли к маленькому «фольксвагену» с изуродованным крылом и почти уничтоженным передом; ни облицовки, ни фар, ни бампера, капот не закрывается, просто лежит поверх мотора, держась на одной петле.

Машина не заводилась, только противно зуммерила.

— Ах, вы не пристегнулись, — сообразил мой новый знакомый — назову его Джонс.

Я ненавижу пристегиваться, у меня тут же начинается клаустрофобия, но делать нечего. Я выхватил ремень из гнезда и, растянув, с усилием всадил металлический конец в паз сиденья, приковав себя к спинке кресла. Машина продолжала зуммерить. Джонс открыл дверцу и с силой захлопнул — не помогло. Он повторил опыт — тот же результат.

— Выйдите, Юрий Маркович, я сразу заведусь. Я отстегнулся, вышел, но машина не завелась.

— Садитесь, Юрий Маркович, это не помогает.

— Кто же вас так стукнул? — спросил я, чтобы переключить раздражение.

— Девочка, студентка. Зимой. Женщины вообще плохо ездят, а тут еще гололедица. Ее потащило, она — на тормоза. Ну, конечно, занесло, и задом мне по передку… Попробуйте приподняться, Юрий Маркович. Только не отстегивайтесь.

— Как приподняться?

— Упритесь ногами в пол, а туловище подвесьте — так можно сказать по-русски?

— Сказать можно, сделать трудно. — Но я все же попытался

выполнить его просьбу. Нелегко было держать на весу в малом пространстве машины восемьдесят шесть килограммов.

Зуммер не прекратился. Тогда и Джонс вывесился над своим сиденьем, и, о радость, машина завелась. Мы тронулись в подвешенном состоянии.

— Зачем я польстился на это проклятое устройство! — смеялся и плакал Джонс. — Дьявольски неудобно править, ничего не видно.

— Надо было сделать ремонт, — полузадушенным голосом укорил я.

— Я надеялся, что ее добьют, тогда бы я просто поменял машину.

И тут это едва не случилось. Джонс с такой силой затормозил, что меня вознесло к потолку, затем швырнуло вниз на сиденье — в вертикальном направлении ремень растягивался легко, как резинка от трусов. Перед нами высился зад громадного рефрижератора.

— Можно сидеть нормально, — решил Джонс, поскольку машина не заглохла. — До чего же выносливая машина «фольксваген», наши такой живучестью не обладают.

— Нам далеко ехать? — спросил я, но столь уверенный в выносливости «фольксвагена» и еще менее — в собственной выносливости.

— Нет. Считайте, что мы уже приехали. Я помещу вас в студенческое общежитие, но сперва мы заедем ко мне, буквально на минутку.

Он круто свернул и остановил машину под старым развесистым деревом. Выбравшись наружу, я обнаружил, что у «фольксвагена» изуродована вся задняя часть.

— Как можно было разбить сразу зад и перед?

— А-о! — Джойс с тихой улыбкой покачал головой. — Это не тогда. Тоже в гололедицу, и за рулем тоже была женщина. Преподавательница.

— А страховка?

— Пошла на другое, — меланхолически произнес Джонс. — Вы, наверное, никогда не ездили на такой машине?

— Признаться, нет. У нас это запрещено. Первый же милиционер остановит.

— А у нас смотрят сквозь пальцы. В конце концов, это дело каждого — ездить на чем он хочет.

И чего я привязался к его машине? Я уже шагнул к дому, но Джонс остановил меня.

— Вам нравится дом?

— Нравится.

— Продаю! — объявил Джонс с обреченной улыбкой.

— Вы думаете, я могу купить дом на гонорары за лекции?

— Я вам не предлагаю. Продаю вообще. Моя старшая дочь кончила школу и пошла работать стюардессой на ТВА. В общем, семья уменьшилась, зачем нам такой большой дом?

— А у вас нет других детей?

— Есть. Две девочки: четырнадцать и одиннадцать. Я уже подыскал другой дом. Меньше. Тысяч за шестьдесят, а мой стоит все сто.

— Значит, вы в стадии переезда?

— Да, но еще неизвестно, переедем ли.

— У вас нет покупателя?

— Есть. Но я не могу дать шестьдесят тысяч за тот маленький дом, а хозяйка уперлась.

— Сколько же вы даете?

— Пятьдесят восемь.

— Ну, где пятьдесят восемь, там и…

— Пятьдесят девять, — опередил он меня. — Больше ни цента.

— Наверное, она согласится, — выразил я надежду.

— Хочется думать. Глупо, если все развалится из-за одной тысячи.

Чего-то я не понимал в этом грустном, но твердом человеке и счел за лучшее прекратить разговор о доме.

Внутри дом не показался мне таким уж большим, особенно для семьи из четырех человек, тем более что девочки едва ли остановились в росте и в неудержимом движении быстротекущего станут взрослыми девушками, а для молодой сильной жизни необходимо пространство. Полутемный холл — окна были почему-то пришторены — носил следы сборов. Стены оголены, не было и тех малостей, безделушек, что придают обжитость человечьему жилью; ни фотографии, ни вазочки, ни цветка, ни картинки, никакого украшения. Когда глаз привык, я обнаружил сваленные в углу картины в рамах.

Оказалось, жена Джонса — художница. Работает она в стиле, который называется фигуративный символизм, очень мастеровито, хотя и чуть суховато. Но колористка она замечательная, от картин было трудно отвести взгляд.

Я впервые почувствовал, что бывает цветовая жажда, так же нуждающаяся в утолении, как и та, что саднит пересохшую глотку.

Тут появилась и сама художница — стройная, худощавая, гладко причесанная. Казалось, она так сильно стянула черные сухие волосы к маленькому пучку на затылке, что это причиняло

ей боль. Страдание слезило ей громадные темные глаза, морщило бессильный улыбнуться рот.

И тот во мне, о ком я часто забываю, но кто не забывает меня, заставляя вопреки всем изменам собственной сути быть писателем, произнес уверенно и сожалеючи: ну готовься, брат, к откровениям.

Они не заставили себя долго ждать.

— Вы посмотрели мои картины? — спросила женщина. — Меня зовут Катарина.

— Мне понравилось. У вас сильная и мрачная фантазия.

— Это мои сны.

— Вы выставлялись? — спросил я, пытаясь увести разговор от признаний, буквально рвущихся из нее.

— Да. Мои выставки были в Нью-Йорке и Вашингтоне. Американцам не нравятся мои картины, они их пугают.

— А вы не американка?

— Я родилась в Европе. Мой родной язык фламандский.

— Ваша живопись чужда плоти и чувственности фламандцев, — пошутил я.

— Я не могу выразить себя целиком в моих картинах. Что-то остается недосказанным. Я пишу стихи. К каждой картине у меня есть стихотворение. Оно как будто бы вовсе не о том, но оно о том же самом, только по-другому и чуточку больше. Я плохо говорю. Ваш Скрябин придумал звуко-цвет, а я верю в слово-цвет или цвето-слово, — мучительная улыбка дернула ее губы. — Это шутка, хотя и не совсем шутка. Американцам не нравятся мои стихи, они кажутся им сентиментальными.

— На них не угодишь, — сказал я, плоско обманывая себя, что столкнулся с банальной темой непризнанности, и твердо зная в глубине, что это не так.

— Угодить можно, но какой в этом смысл?.. Хотите чаю? — словно вспомнила Катарина о своих обязанностях хозяйки.

Я отказался, и Джонс в одиночестве выпил чашку чая с молоком.

— Вы обедаете у нас? — Глаза женщины набухали слезами, казалось, от моего ответа зависит все будущее семьи.

— С удовольствием.

— Я хорошая кулинарка, — проговорила она с той же трагической интонацией. — У нас будет мексиканский обед. Вы не боитесь острого?

— Напротив, очень люблю.

Сухие, горячие руки коснулись моей руки и благодарно-доверчиво сжали.

— Я жду вас к обеду.

— Спасибо.

Джонс доел сахар из чашки и вытер усы.

— Поедем в гостиницу?

— Мы не прощаемся…

— О, нет. Мы не прощаемся! — вскричала женщина, хрустально сверкая налитыми влагой глазами. — Конечно, мы не прощаемся! Нет, нет!..

Мне очень хотелось настроить себя на юмористический лад, но ничего не получалось. Смертельно жаль было ее узких горячих рук, налитых слезами глаз, искусанных губ, всей странно напрягающейся, беззащитной фигуры, и я не понимал, откуда борется эта жалость. Неприкаянная она какая-то… Да ведь у нее муж, семья, она может заниматься своим искусством, не думая о хлебе насущном. Вон и выставки были…

— Картины продаются плохо, — говорил Джонс, борясь с зажиганием. — В лучшем случае ее живопись самоокупается. Да, — произнес он после некоторого раздумья, видимо, подсчитав, — на краски, холсты и рамы как раз хватает. Я ничего не добавляю… Можно вас снова попросить вывеситься?

Я «вывесился», и мотор заработал.

— Кажется, я должен буду поехать в Канаду, — грустно сказал Джонс. — У меня там дом. Достался но наследству. Надо скорее продать, пока родственники не ограбили.

Прежде чем ехать в гостиницу, мы заглянули в студенческий центр, где Джонс измерил-таки кровяное давление. Этот центр был смесью супермаркета с почтой, банком, клубом и клиникой. У Джонса оказалось 160/90 — вполне терпимо для человека за пятьдесят. Но Джонс притуманился: он принимает сильнейшие лекарства, а давление на пределе допустимого. И ведь еще недавно у него было давление юноши-бейсболиста.

— У нас плохо в семье, — сказал он со своей меланхолической улыбкой. — Мы едва не разошлись перед вашим приездом. Отсюда давление.

— Но сейчас все наладилось?

— Не знаю. Маловероятно. Скорей всего затишье перед бурей. Сосуды не разжимаются, не берут приманку мнимого примирения.

— Сколько вы прожили вместе?

— Старшей дочери девятнадцать, значит, более двадцати.

— Поздновато для развода.

— Почему? Жене нет и сорока. Даже я еще не совсем сдался. Но я для нее не муж. Она видит во мне отца.

— Разве у вас такая разница в возрасте?

— Пятнадцать лет. Но дело не в этом. У нее комплекс отца.

Он никогда не ласкал ее, не брал на руки, даже улыбки его она не видела. Боялся, что еще заподозрят в инцесте. Нет дыма без огня. Ей всегда хотелось иметь отца, доброго, ласкового, все понимающего, как у подруг. Вдруг она открыла отца во мне. Но я никакой не отец, я люблю ее совсем по-другому. Она этого не хочет, все время плачет и настаивает на разводе.

Я читал о чем-то подобном, и не раз, но не верил, что такое на самом деле бывает. Мне всегда казалось, что Фрейд на виток перекрутил гайку. Сексуальное начало играет громадную роль в жизни человека, но не решающее, и в споре с судьбой почти всегда отступает перед велениями насущных обстоятельств. Кроме, конечно, клинических случаев. Что ж, я снимаю шляпу перед бесстрашием старого австрийского профессора, не боявшегося крайних выводов.

— Развод не даст ей отца.

Он как-то странно посмотрел на меня.

— Развод даст ей другого мужа или близкого человека, и она сможет опять обходиться без отца, как было столько лет у нас.

— А если без развода?..

— Я это ей и предлагаю. Заведи себе друга дома, у меня будет женщина на стороне. Но мы останемся вместе, сохраним семью. Это нужно для наших девочек. И мне это нужно, — добавил он, чуть помедлив. — Мне надо, чтоб она была рядом. Просто рядом.

— А что жена?

— Говорит, что не может. Не может мне изменить, пока мы вместе, пока мы муж и жена, хотя бы формально. Она очень чистый человек… и очень несчастный. Я люблю ее, смертельно жалею и не знаю, что делать.

— Не отпускать ее. Она же погибнет одна. Я ее почти не знаю, но, по-моему, она человек, мало приспособленный для самостоятельной жизни.

— Беспомощна, как малый ребенок.

Когда пишешь об этом, все вроде бы выглядит естественно: мужская откровенность, мгновенное доверие к чужому, случайному человеку. Но тогда мне было очень не по себе. Меня словно на медленном огне поджаривали. Советовать что-либо — безответственно, молчать — бездушно. Я спросил:

— А если она уйдет, девочки будут с ней?

— Нет. Девочки все знают, они сказали, что останутся со мной.

— Неужели и это не остановит вашу жену?

— Боюсь, что нет. Конечно, ей мучительно и страшно, но то, что она испытывает сейчас, еще мучительней, еще страшнее. —

Он вскинул на меня коричневые истомленные глаза. — Может, вы поговорите с ней?

Поистине утопающий хватается за соломинку!

— Господь с нами! Разве можно постороннему человеку?..

— Наверное, нельзя, — улыбнулся он, и я понял, что он находится на пределе отчаяния.

Он держался, держался из последних сил, и его бедная выдержка отыгрывалась высоким давлением. Все было сжато, стиснуто невыносимой болью, кровь с трудом пробивалась сквозь сузившиеся сосуды. И ничего нельзя было сделать. Умная, талантливая, честная, добрая женщина губила его и себя, не властная над темными велениями, завладевшими ее существом. Если б она была влюблена, если б муж ей изменил, если б ей открылось, что она прожила жизнь с недостойным человеком, еще можно было бы что-то понять и даже исправить. Но никаких разумных объяснений случившемуся нет. Она охладела к мужу, но ведь это почти неизбежно в долгих браках и никогда не ведет к разрыву, если не вмешиваются посторонние силы. Люди приспосабливаются жить без счастья или находят на стороне суррогат счастья и терпят свою долю, или как-то сублимируют тяжкую неутоленность, уходят в детей, в работу, в книги, мечтания. А у нее есть творчество, она талантливая художница и поэт с божьей искрой, у нее славные девочки, есть дочь-барышня, а ведь матери умеют разделять волнения взрослых дочерей, есть возможность ждать, искать, надеяться, а ей нужно все немедленно разрушить. Почему мы убеждаем себя, что в жизни нет безвыходных положений? Можно и отмахнуться: бабья дурь, пройдет, возрастное, лечиться надо, но ведь это от бессилия. Что мы знаем о человеке? Несколько беллетристических угадок. Науки о человеке до сих пор не создано, главные умственные силы планеты направлены не на познание, а на уничтожение человека, в чем немало преуспели…

А потом был домашний обед, и оказалось, что Катарина действительно превосходно готовит: острый холодный суп «чили», сложное мексиканское блюдо из мяса, сои, тертого гороха, теста, овощей с обжигающим пряным соусом, чудесная мельба и настоящий турецкий кофе, какого я еще не пил в США. Эта женщина вносила артистизм во все, что делала. За обедом, на котором присутствовал еще один молчаливый и крайне сосредоточенный на еде гость — профессор истории, я познакомился с прелестными дочерьми Джонсов: старшая уже вступила в подростковый возраст, не оплатив этот шаг к созреванию ни косолапостью, ни неуклюжестью, ни угрями, ни угрюмостью, — чистая, свежая, стройная, нежно и таинственно

улыбающаяся, она почти обрела будущую форму взрослой девушки; сестра была проще — небольшая, прочно сбитая, с крепкими ножками футболистки. Она играла в европейский футбол за школу, а тренировал команду ее отец. Девочки были тихи, как мышки, но когда они изредка оживлялись, становилось ясно, что тихость эта не от строгого воспитания, а от грусти. Они все время помнили о семейном разладе, и страх перед будущим сжимал их маленькие души.

После кофе Джонс пошел немного проводить приятеля, а девочки как-то незаметно скрылись, будто истаяли. Я сказал хозяйке, что восхищен многообразием ее талантов: художница, поэт, кулинарка.

— Почему он не хочет отпустить меня? — произнесла она с такой интонацией, словно это было прямым отзывом на мой нехитрый комплимент. — Почему он не хочет быть мне просто отцом?

Что было сказать? Я стоял перед ней, презирая себя за бедность, сухость, за полное неумение помочь чужому горю. Странная доверительность этих людей открылась мне с неожиданной стороны; я был для них старший. Искусственно взращенный в себе инфантилизм из-за вечной возни с собственным детством, ностальгический бред о прошлом, которому я отдал столько времени и душевных сил, подчиненность матери до последних дней ее жизни, отсутствие своих детей — все это позволило мне до сих пор не сознавать свой истинный возраст, возраст старика, деда. Эти люди ждали, что я подскажу им что-то из глубины дряхлого опыта, а этого опыта не было. Да я и вообще не верю, будто можно помочь чужому душевному горю, другое дело, что есть шарлатанские приемы утешения, известные настоящим старикам, привыкшим отвечать не только за себя, но и за меньших: детей, внуков. Я этих приемов не знал. Не знал, чем можно обмануть страдающего человека, чтобы он хотя бы плакать перестал. А она плакала — глазами, ртом, грудью, плечами, но беззвучно, чтобы не услышали дочери. И вдруг я разозлился, сам не знаю с чего.

— Ну, хватит! Куда вы пойдете и на что будете жить? На картины, на стихи, которые никому не нужны? Джонс любит вас, он дает вам делать что вы хотите, даже терпит этот разнузданный фрейдизм. Подумайте о дочерях. Им-то каково?

Она перестала плакать и вытерла глаза платочком. Потом высморкала нос — очень по-детски.

— Я знаю, что потеряю их. Но чем я виновата?..

А что, если ей просто необходимо остаться одной? Я где-то читал, что бывает такое состояние, когда все окружающие тебя,

еще недавно родные, бесконечно близкие, становятся непереносимы. Человеку надо оборвать все связи, быть одному. Тогда бессмысленно ее уговаривать, бесцельны и попытки Джонса решить проблемы внутри существующей формы. Он правильно понял, что ей опостылело окружающее, и хочет сменить дом. Но это ничего не даст, в новом доме все пойдет по-старому. Ее бунт — против кого? Против мужа? И да и нет. Ведь она и его готова сохранить в качестве… отца. Против семьи в целом? И да и нет. Ей смертельно жаль девочек. Против себя самой?.. Против своей непризнанности, неудачливости, ненужности людям? Ей нужна всеобщая любовь, она же творец, а ей дана лишь маленькая любовь семьи. Ей неприятна, оскорбительна навязчивая любовь одного Джойса, когда ей нужна любовь всех Джонсов. Она хочет принадлежать им всем, конечно, не физически, но как бы и физически, а он, муж, мешает. И может быть, фигуративному символизму невыносимы вечные поиски малых выгод? И это верный инстинкт в ней — уйти, скрыться. Но лишь признание спасло бы ее. Это не тщеславие, не честолюбие, не жажда успеха. Это сознание своего права выйти на суд людской. Надо что-то сломать, разорвать, сокрушить, чем-то пожертвовать, может быть, тогда явятся какие-то новые, неизвестные силы, чтобы одолеть слепоту и глухоту окружающих? Америка, откликнись искусству Катарины Джонс, ты сохранишь ее душу; спаси мать для дочерей, жену для мужа. Америка не откликнется. Каждый умирает в одиночку. Каждый страдает в одиночку. Каждый сходит с ума в одиночку. И самоубийством кончает каждый в одиночку.

Катарина хочет одиночества, чтоб перестать быть одинокой. Теплая, плотная, липкая родная плоть обволакивает ее, но по только не скрадывает одиночества, а делает его душащим, безвыходным, непереносимым.

— Попробуйте уйти не уходя, — сказал я, сам не понимая, что это значит.

…Как и всегда после бури — затихло. Каждый занимался своими делами. Джонс записывал на магнитофон интервью со мной — для газеты, сказал неопределенно; о Катарине напоминал легкий шум из кухни; девочки гладили на террасе футбольную форму младшей — завтра матч. Потом мы с Джонсом отправились в университет.

Вместо лекции Джонс неожиданно устроил вечер вопросов и ответов. Так еще никто не делал. К моему удивлению, опыт удался: вопросов оказалось предостаточно, и если б не сам Джонс, выступавший в качестве переводчика и ограничивший встречу полутора часами, конца бы не было завязавшемуся разговору. Выступать, конечно, лучше без переводчика, во многих

университетах так и делали, рассчитывая на достаточную языковую подготовку большей части присутствующих. Меньшинство приносилось в жертву — пусть вслушиваются в звучание русской речи, это тоже полезно. Раза три-четыре я работал с замечательными переводчиками из профессоров-русистов, один из них даже опережал меня, и казалось, я ему вообще не нужен. Джонс применял иной метод: он спокойно, не перебивая, выслушивал какой угодно длинный период, затем давал отжимку. Так было на концертах знаменитой в свое время исполнительницы песен народов нашей Родины Ирмы Яунзем. Певица переводила длиннющую песню: «Девушка идет к ручью. О, как светла вода!» Боль Джонса была так велика, что ему все было немило, он старался предельно упростить не отставшие от него обязанности профессии и быта. Ему хотелось сжаться, умалиться, самоограничиться лишь самым необходимым, все стало ненужным и докучным в объявшей его беде. В несчастье, как правило, недостатки человека усугубляются, а достоинства тускнеют. Джонс явно не был транжирой: ни в материальном, ни в душевном плане. Сейчас он доводил свою осмотрительность до аскезы. Он экономил деньги, эмоции, слова. Нет смысла ни на что тратиться, ибо ничто ничего не стоит. Правда, оставались девочки, Джонс должен был ради них жить и работать, но с минимальной затратой себя. Вот и получалось: я разливался Ирмой Яузем, а студенты слышали: «Девушка идет к ручью. О, как светла вода!»

Телеграфная краткость перевода огорчала — уж больно живой заладился разговор. Студентов интересовало, как у нас становятся писателями. Расспрашивали с такой горячностью и дотошностью, словно хотели незамедлительно воспользоваться нашим опытом. И, махнув рукой на своего скупого толмача, я заговорил на языке, который некогда в самообольщении считал английским. Рассказал про Литературный институт имени Горького, про творческие кружки на заводах, фабриках, при клубах и учреждениях, про московские и всесоюзные семинары молодых авторов. Последнее особенно заинтересовало студентов.

Я едва успевал отвечать. Сохраняется ли зарплата участнику семинара, кто оплачивает проезд, проживание, питание, привлекают ли к этому делу издателей. Все такие практические вопросы в истинно американском духе. Примолкший, тоскливо понурившийся Джонс вдруг поднял голову:

— Я правильно понял, что этим ребятам сохраняют жалованье?

— Разумеется.

— И оплачивают проезд?

— Да.

— И проживание?

— Конечно.

— И питание? — Джонс почему-то понизил голос.

— Ну да. Все бесплатно.

— Живут же люди!.. — со вздохом сказал Джонс… Джонс, в чем я вскоре убедился, потерял доверие к окружающим. Если уж самый близкий и родной человек может быть так беспощаден, то чего ждать от других. Он подозревал своих коллег в интригах, желании его выжить. Даже второму тренеру команды, где играла его дочка, он не доверял, полагая, что нет такого второго, который не желал бы стать первым. У всякого иного подобная подозрительность была бы отвратительной, но Джонса выручало странное обаяние. Темные глаза сужены в монгольские щелки, слабая, удивленная, жалобная улыбка заблудилась в излучинах морщин, голова чуть покачивается. «Хочет на мое место» — это о коллеге-профессоре; «Не подает руки, считает меня виновным в поражении» — это о тренере. И не скажешь, что эти открытия огорчают его, они вносят какую-то ироническую ноту в его страдания…

Студенты и аспиранты пригласили меня на вечер. Видимо, так было решено заранее, обычно прием устраивал главный профессор. Джонс сказал с мягкой, загадочной улыбкой: «Вас ждет сюрприз». Но главный сюрприз ждал его.

Он пришел вместе с Катариной, необыкновенно элегантной: в белом комбинезоне из какой-то упругой плотной ткани, красиво подчеркивавшей крепкую худобу ее молодой фигуры и цветом — бронзовый загар четкого лица. Но что-то в ее темных, с расширенными зрачками глазах настораживало. И улыбалась она слишком часто, преувеличенно любезно, явно не видя, кому она улыбается. С ней что-то случилось, едва она перешагнула порог этого милого и непритязательного дома. Я так и не знаю, отчего произошел взрыв. Возможно, она ощутила свою изолированность: возле нее был человек, притворявшийся ее мужем, хотя он — отец, а кругом двадцати- и тридцатилетние, чей возраст она прозевала. К тому же хозяйка дома, аспирантка Джонса, пела песни Булата Окуджавы — это и был обещанный сюрприз, усиливая заложенную в них печаль. Я слушал песни и не видел, что произошло в соседней комнате, где стоил стол с бутылками и закусками. Была какая-то малая суматоха, всплеск голосов, затем донеслось: «Джонсы уходят!» Я нагнал Катарину в дверях: «Куда же вы?» Она не ответила, только покачала головой в тугом обжиме волос. Ее щеки из-под смуглоты палило, и шея, и обнаженные руки горели. Казалось, притронься — вскочит

волдырь. Я от души пожалел Джонса. Скрытое стало явным, она вынесла на люди семейную беду. Ей уже было все равно, что подумают, а это непросто для такого человека, как она. Тайна обнажилась, как у Олби. Джонс был похож на свой «фольксваген»: перебиты крылья, передок снесен…

Но следующий день, как и обычно после бури, выдался спокойным. Мы с Джонсом ездили на футбол, где команда, в которой играет его младшая дочь, потерпела поражение с сухим счетом, а веснушчатое существо среднего пола — второй тренер — отказало Джонсу в прощальном рукопожатии, натолкнув его на мысль о готовящихся кознях.

Усталая, опустошенная, притихшая Катарина выразила желание проводить меня в аэропорт. По пути Джонс стал настаивать на ленче, и все мои отказы и уверения, что я поем в самолете, во внимание не принимались. Ему, видимо, требовалась искупительная жертва за малую передышку, ниспосланную судьбой.

Мимо нас, как и всегда на выезде из города, мелькали бесчисленные «Макдональды», кафетерии, закусочные, но Джонс ими пренебрегал. Он искал что-то особенное, и меня это начало тревожить — времени в обрез, а изысканный стол, как и «служение муз», не терпит суеты.

С трудом отыскали мы какое-то невзрачное кафе в одной из боковых улиц. «Я нарочно привез вас сюда, — сказал Джонс. — Это необычное кафе, в таком вы больше не будете. Оно принадлежит индийцу, последователю и чуть ли не основателю какой-то религиозной секты. Здесь вы получите пищу, максимально приближенную к земному образу. Никаких подделок, никакой химии, никакого обмана. Так питались наша праматерь Ева и праотец Адам до грехопадения. Одним словом, пища чистая и естественная, как в раю». Его витийство показалось мне подозрительным.

Внутри кафе украшено огромным портретом толстого индийца и бумажными полосами с его изречениями. А смысл «райской пищи» открыло тощее меню. Это было вегетарианское заведение, где выбор ограничивается разного рода салатами. Пища действительно была максимально приближена к райским пастбищам и возможностям наших безденежных прародителей. Джонс хотел и на судьбе выгадать. Какой все же цельный характер, не дающий размякнуть твердому ядрышку ни при каких невзгодах…

Для чего уделил я столько внимания Джонсам? Люди и вообще заслуживают внимания, особенно те, кому плохо. Но дело не в этом. Как читатель, несомненно, понял: ситуация Джонсов

напоминает происходящее в пьесе «Кто боится Вирджинии Вульф». Конечно, драматург предельно обострил и довел до трагического гротеска житейскую скорбную историю, разыгравшуюся в профессорском доме, но в этом есть художественная правда. Пусть в жизни все выглядит куда опрятнее, тише, «нормальнее». Олби как художник прав. Его пьеса — концентрат тех малых и не очень малых житейских драм, что разыгрываются на всех ступенях американского общества.

Иное чувство вызывает роман Джозефа Хеллера «Что-то случилось». Герой романа, служащий неназванной фирмы, с кокетливым упорством на протяжении многих страниц предается душевному стриптизу самого вульгарного свойства. Это противно, но совсем не ново. С великой откровенностью и серьезностью Жан-Жак Руссо в своей «Исповеди» открыл двери в неопрятный мир детской и юношеской сексуальности. Но Руссо не эпатировал читателя, с предельной искренностью пытался разобраться, из чего строилась его, Жан-Жака, личность. У Хеллера нет такой пакости, которой не наделил бы он своего жалкого и противного героя и его близких: жену, дочь, сына. Чтоб было еще страшнее, второго сына он делает идиотом. Вот, мол, рядовая семья среднего американца: сексуальный маньяк и мелкий честолюбец папа, алкоголичка жена, изломанная наркоманка дочь, старший сын с признаками истерии, младший — полуживотное. Ко всему еще с самого начала объявлено, что герой находится в состоянии непрекращающегося трясучего страха. В ходе повествования эта декларация ничем не подтверждается, но правила хорошего тона соблюдены — какой же современный роман без фобий! В конце романа, где вкус окончательно изменяет автору, написавшему некогда великолепную антивоенную сатиру «Уловка 22», герой душит в объятиях — и приканчивает — старшего сына, единственное существо, которое он любил. Символика неестественного поступка — он задушил в себе остатки человечности и стал готов к преуспеванию в том обществе, которому принадлежит.

Жизнь современного американца при всей бытовой облегченности достаточно сложна. И нет ничего удивительного, что американские писатели берут ситуации конфликтные, драматические, острые, болезненные, ими движет стремление не только сделать свое произведение увлекательным и уцелеть в жесткой конкуренции, но и помочь обществу искоренить свои недостатки, пороки, заблуждения, помочь человеку выйти из душевного и социального тупика, равно и защитить его от гнета, внешних и внутренних разрушительных сил. Я говорю о писателях серьезных, ставящих себе серьезные цели, а не о

производителях развлекательного чтива. Конечно, и серьезный писатель может оступиться. У Хеллера, несомненно, были серьезные намерения, когда он садился за свой «семейный роман», но желание ошеломить, повторить успех «Уловки 22», дурное литературное кокетство привели к провалу — американские читатели дружно не приняли роман.

Я склонен думать, что разоблачительная литература в какой-то мере льстит американцам, они выглядят в ней сложнее, загадочнее, значительней, демоничнее, чем на самом деле. В действительности Сноупс вовсе лишен того помоечного величия, каким наградил его Фолкнер, он вполне бытовой человек с заурядной и даже уютной душонкой, а не мистический накопитель. Живые американцы не разыгрывают бессалий Апдайка, Трумэна Капоте, Пинчона, не охотятся на крокодилов в нью-йоркской канализации, не живут в ветвях деревьев, не скачут и не кровоточат раненым кентавром. Все куда проще и плоше…

Вообще же литература — дитя неустройства. Вот почему в раю, во всяком случае, до грехопадения, не могло быть литературы. После грехопадения стало о чем писать, появилась первая проблема. Живописать же самих себя, свои совершенства, в поучение самим себе — занятие пустое, это понимали небожители и не брались за перо. И хотя Библия утверждает, что в начале было слово, потом был бог, я в это не верю. Предбытие не нуждалось в словах, ибо нечего было называть. И в эдеме царила немота, поскольку безошибочны были все движения населяющей его жизни. Слово возникло с первым конфликтом — появилась тема.

Пусть бегло, поверхностно — нельзя за несколько дней проникнуть глубоко в тонкую и сложную драму незнакомых людей, но все же я смог что-то рассказать о Джонсах. А мог бы я рассказать о мире и ладе, который наблюдал в десятках профессорских семей? Кого интересует тихая, спокойная, дружная жизнь, порой с налетом старомодной сентиментальности? У профессора К. с женой — преподавательницей русского языка — общий письменный стол, разделенный пополам, хотя в своем просторном доме, без детей, они свободно могли бы иметь каждый по кабинету. Но им радостно и нежно работать бок о бок, у них тогда лучше получается. Когда К. за рулем, он поминутно теребит жену: «Моллинька, куда поворачивать? Ох, Моллинька, кажется, я проехал. Юрий Маркович опоздает на лекцию, все пропало. Зачем только он приехал сюда, я его погубил. Вся надежда была на тебя, Моллинька, а ты мной не руководишь». Конечно, он вовсе не испытывал такого отчаяния, да и ехал правильно, но так любил

жену, что хотел все время чувствовать на себе ее внимание, чтоб она направляла его, поругивала, одергивала. Это вызывает улыбку, но не раздражает, поскольку за всеми воплями К. чувствуется хорошая и любящая душа. «Моллинька, видишь, мы приехали не к тому подъезду. О горе! Люди собрались, а лектора нет. Моллинька, зачем ты пустила меня за руль, такого нелепого человека, ты разделяешь мою вину. Бедный, бедный Юрий Маркович!..»

Я ничего не могу рассказать о красивой семье Ричарда П., состоящей из него самого, белокурой жены, чьи предки, видимо, обитали на берегах Рейна или Эльбы, рослого сына-баскетболиста, который, вскакивает, когда взрослые входят в комнату; покидая дом даже ненадолго, высокий и мощный, нежно целует родителей — деликатность и взаимное уважение доведены в этой семье до утонченности. А что можно рассказать о прекрасной семье профессора Б., с двумя золотоволосыми сыновьями-погодками, схожими, как близнецы, и столь привязанными друг к другу, о светлой, радостной семье, где понимание — с полуслова, с полувзгляда, где отец все время в трудах и размышлениях, а мать хозяйничает, кухарит, изобретая все новые блюда, а для души занимается гончарным делом. Ребята упоенно читают, гоняют на роликах и велосипедах, смотрят телевизор, что-то мастерят и настолько тратят себя в этом, что у них не остается ни сил, ни времени для хулиганства. Очень это увлекательно? Вот так же и во многих других знакомых мне семьях — нет материала для литературы. Место писателя там, где нарушились привычные связи…

6

Я вдруг задумался над законностью слова «американец», которым так щедро пользуюсь. Рокфеллер — американец, нью-йоркский безработный тоже американец, а что между ними общего? Жаклин Кеннеди-Онассис — американка, и черная женщина с бородой — американка. Стоп! Тут положено сказать «американская негритянка». Да, «американский негр» — распространенное выражение, реже употребляются: «американский еврей», «американский итальянец», но никогда не говорят «американский француз», а тем паче «американский англичанин», видимо, из-за давности их пребывания на этой земле. Мой знакомый профессор Дин, чьи предки прибыли на легендарном корабле «Майфлауэрс», никогда не признает настоящим американцем уроженца США профессора Сиднея

Монаса, чей папа — выходец из Одессы. Но и Дин, хоть он считается аристократом в стране, не имеющей аристократии, зря задается: когда его предки прибыли в Америку, тут уже обитали голландцы. А до них были испанцы. Строго говоря, вся Америка состоит из эмигрантов, кроме забитых и почти истребленных первожителей страны — индейцев, но как раз их «американцами» не числят. Выходит, американцев как нации не существует? И вместе с тем весь мир, произнося слово «американец», имеет в виду нечто такое же определенное, во всяком случае, поддающееся характеристике, как англичанин, француз, немец, итальянец.

Вообще в этой области все зыбко и условно. Разве похож д'Артаньян на Шарля Бовари, Кола Брюньон на адвоката Ребандара, гасконец на нормандца, пикардиец на уроженца Турени? И все-таки можно говорить о типе француза. Есть что-то общее, характерное, что сохраняется при всех различиях — социальных, имущественных и тех, что связаны с местом рождения, воспитанием и религией. В отношении Америки дело обстоит сложнее, слишком много тут намешано рас, слишком велико имущественное неравенство и неравенство людей перед законом, слишком пестро во всех смыслах население страны. Американец — это некий национальный полуфабрикат, который со временем доформируется в нацию. Я же, произнося слово «американец», подразумеваю жителя Америки среднего достатка, имеющего работу, жилье, счет в банке, дающего детям образование, любителя телевизора и газет с воскресным приложением, пива, бейсбола и футбола. Когда-то его все узнавали по цилиндру величиной с паровозную трубу, потом — по котелку и канотье, потом — по мягкой фетровой шляпе с широкими полями, а ныне — по готовности обходиться без головного убора в любую погоду. Вовсе не желая скаламбурить, скажу, что для меня, как и для всех, американец — это средний американец. Ну, вот о нем и поговорим.

Прежде всего американец необыкновенно опрятен. Несмотря на внешнюю дремучесть иных молодых людей: патлы, бороды, усы (сейчас всего этого стало куда меньше), рваные, выгоревшие джинсы, стоптанную нечищеную обувь, телесно они всегда чистые. Душ — первая необходимость — утром, днем, вечером. От американца не может скверно пахнуть, он стерилен, к его услугам десятки одораторов — для рта, для подмышек, для ног, вокруг американца реет ароматное облачко. Американцы не пижоны. Босяцкий вид молодежи — в какой-то мере франтовство наизнанку, но взрослый американец одет просто. Если же на американце красные или клечтатые штаны, то это не из

щегольства, а от безразличия и безвкусицы — бросилось в глаза яркое, купил и напялил. Француз, англичанин, итальянец сроду себе такого не позволят, потому что думают, как одеться, а американец — нет. Некоторое, весьма скромное внимание к одежде можно обнаружить на юге, где люди и вообще подтянутее, северяне начисто равнодушны к своему внешнему виду.

Американцы очень любопытны, о чем я уже говорил, но едва ли любознательны, последнее для своего удовлетворения требует усилий, а к этому не больно приучены. Они мало интересуются шумом постороннего мира, но политики и государственные деятели то и дело напоминают им о существовании этого мира, всегда тревожного, неспокойного, грозящего неприятностями разного масштаба: нехваткой бензина, притоком эмигрантов, какой-нибудь ненужной войной, в которую почему-то надо влезть, и никогда ничего не дающего Америке, кроме того, что она получает за доллары. При отсутствии настоящего интереса к мировым заботам, к чужой истории и культуре, в стремлении изолироваться, отгородиться американцы, особенно пожилые, любят туристские поездки в Европу, меньше в другие части света, и волнуются, слыша чужую речь. В Европе американцы скидывают сдержанность, становятся шумны, развязны, эксцентричны, в этом проявляется своеобразная любезность к Старому Свету: не нарушать традиционного образа.

Изоляционизм американцев не государственная, а народная идея, в резком противоречии с которой находится активная и агрессивная политика правящих верхов. Достаточно сказать, что они вернулись к такому анахронизму, как «политика канонерок», безнадежно скомпрометированная историей и похороненная еще в прошлом веке. Ныне труп эксгумирован…

Американцы очень приметливы к предметам материального мира. Удивить их нелегко при том переизбытке вещей, какой их окружает, но легко озадачить стариной: шкатулкой или табакеркой с музыкой, поющей заводной птичкой, часами с репетиром или современной чепухой с глупыми розыгрышами. В американцах много детского, недаром Хемингуэй считал, что американские мужчины никогда не становятся взрослыми. Более состоятельные американцы помешаны на старинной мебели и антиквариате. Это понять легко: США — страна без истории. Нельзя же считать за историю двести незаметно промелькнувших лет. Американцы очнулись где-то в середине прошлого века, когда кончился золотой век тонкого вкуса, изысканной мебели и воцарилась эклектика. Какой-нибудь завалящий «чеппендейл» или «жакоб» даже в богатом доме служит предметом культа.

В американцах много привлекательного. Они гостеприимны и

широки, хотя, разумеется, в семье не без урода: я видел профессора, который приходил в гости с бутылкой водки, настоянном на стручках красного перца, щедро всех потчевал, а остаток уносил домой; они откровенны, искренни, отзывчивы, очень обязательны и точны. Иметь дело с американцами приятно: они не заставят ждать, любое обещание выполнят, но требуют такой же четкости от партнеров. При всем том американцы эгоцентричны и неприметливы к окружающим. Чужая душевная жизнь их мало интересует. И потому не стоит переоценивать сердечность американцев при знакомстве и случайных встречах: восторженные крики, улыбки от уха до уха, похлопывание по плечу, можно подумать, что человек жить без тебя не может, а весь этот внешний энтузиазм сиюминутен, он не имеет ни корней, ни будущего. Впрочем, когда ты это знаешь и соответственно относишься, американская повадка кажется довольно милой. Разве лучше холод, сухость, равнодушие? Что ни говори, а при поверхностном общении форма много значит.

Я не раз слышал, что, мол, американцы чем-то похожи на русских. А чем-то на англичан. И чем-то на скандинавов. Думаю, что они немножко похожи на всех людей в мире и далее на самих себя, таких, какими их хочет видеть мир.

Подвижность американской психики, а стало быть, и вкуса, особенно приметна в отношении к искусству. Я уже говорил о той легкости, с какой тут зачисляют в классики — в литературные мертвяки. Страшно быть американским писателем: оглянуться не успеешь, как ты уже в пантеоне, иначе говоря, на почетной свалке. Но особенно быстро «снашиваются» новые течения в изобразительном искусстве.

Мы еще ратоборствуем с абстракционизмом, а американцы, взяв все возможное удовольствие от чистой игры красок этой декоративной живописи, не отягощенной содержанием, но дарующей физиологическую радость глазу, спокойно перенесли свое внимание на прямо противоположное: предельную, почти фотографическую конкретность и точность изображения вещного мира.

Я попал на выставку одного из таких художников в Нью-Йорке, в «Метрополитен-музее», забрел случайно из залов, набитых самыми отчаянными абстракциями. Признаться, я несколько пресытился их кричащей немотой, хотелось чего-то конкретного: красноватого бюргерского лица над кружевным жабо, терборховского атласа или дымчатой виноградной кисти возле хрустального кубка Хедды с недопитым рубиновым вином. Но крутился я среди отвлеченностей, как жертва Миноса в Лабиринте, безнадежно выходя на свой собственный след, и вдруг

увидел телефонные будки — четыре в ряд. Они сулили избавление, и я кинулся к ним со всех ног. К великому моему изумлению, будки были изображены на большом холсте в натуральную величину. Я пригляделся к ним, и мне расхотелось терборховского атласа и печального хрусталя Хедды. Я попал в окружение ошеломляюще реальных кусков действительности — большие, предельно четкого письма полотна предлагали мне то прилавок овощника с помидорами, зеленым луком, морковкой, петрушкой, спаржей, укропом, сельдереем, артишоками — словом, всем, что растет на грядках (овощи тщательно вымыты, капли воды блестят на клубнях и ярко-зеленой ботве), то маленькую, еще запертую на замок часовую мастерскую, то лавку древностей, где каждый выставленный на витрине предмет хочется взять в руки и рассмотреть, то аптеку со всем, что полагается этому заведению, то автобусную остановку с расписанием маршрутов и старой облупившейся скамейкой, изрезанной перочинными ножиками, то вход в киношку с рекламным стендом, выгоревшими афишами, замусоренным тротуаром — окурки, горелые спички, обертки от мороженого и конфет. А вот помойное ведро у двери какой-то хибарки, старое, мятое, полное через край мусором, овощными очистками, всякой ослизлой дрянью, и притягательное не менее, чем подносы Хедды с серебром и хрусталем; хочется рассматривать его, не обходя вниманием ни одной подробности. Человеку интересно все, что наполняет его жизнь, — и высокое и низкое. В этом смысле телефонная будка, прилавок овощника, витрина и даже помойное ведро наделены в искусстве ничуть не меньшим чином, чем изыски старых мастеров. К тому же долгое засилье абстракций придало вещному миру новую значительность, поэтичность и странную глубину. Ни на одном полотне нет «оживляющей» изображение человеческой фигуры, от чего частенько не удерживался даже Слайдерс. Видать, и ему казалось, что без человека пустынно и скучно. Нет, не скучно. Ненаселенный, но целиком созданный человеком и принадлежащий человеку мир этих картин обладает необъяснимой одухотворенностью. Доведенная до предела иллюзорности натуралистичность как бы взрывает свою узость и растворяется в мироздании. Эти телефонные будки, прилавки, витрины, поганые ведра, скамейки, асфальт, штукатурка принадлежат не улицам каких-то скучных городов, а вселенной.

И все-таки я не могу передать, чем так прекрасен и волнующ этот пустой оцепенелый мир обыденных вещей. Быть может, все дело в том, что именно привычное, каждодневное мы видим хуже всего, ибо никогда на нем не задерживаемся. Мы так суетливы,

торопливы, беспокойны, вечно куда-то опаздываем, где уж тут вглядеться в окружающее нас изо дня в день. Но, крутясь в своем привычье, мы непроизвольно населяем его поэзией наших тревог, надежд, разочарований, ожиданий, трепета и, вдруг увидев возле глаз в музейном покое, тишине и нетревожимой сосредоточенности, получаем назад все, что туда вложили. Боже мой, каким зарядом поэзии обладает одна только телефонная будка! А трамвайная или автобусная остановка! А угол улицы, за которым только что скрылась незнакомка!.. Я чувствую, что приближаюсь к сути дела, и будь у меня в запасе вторая жизнь, непременно додумался бы до последних, окончательно точных слов. Но мне не светит вторая жизнь…

Этот род живописи был нов только для меня, американцы уже успели привыкнуть к нему. Хотя абстракционизм на Западе подчинил себе на какое-то время вкус большинства, на него не переставали яростно кидаться многочисленные противники. Но ничего не могли поделать с ним, как никогда не могли ничего поделать с естественно возникающими новыми формами искусства приверженцы старых. Восприимчивость людей к тем или иным формам искусства с годами притупляется, и тогда искусству, чтобы выжить, надо дать что-то новое, иную точку зрения на окружающее. На этом в свое время взошел абстракционизм. Но как бы сейчас ни изощрялись сторонники беспредметного искусства, им не одолеть всевозрастающего равнодушия публики. Оказывается, пришла пора — по закону контраста — максимально сблизиться с предметным миром. Презренная «фотография» (говорю условно, ибо в живописи, о которой идет речь, есть отношение к изображаемому, она не бесстрастна, как объектив) победила игру чистой живописности. Нельзя уговорить человека покончить самоубийством: либо этого хочется, либо нет. Так же нельзя заставить человека отвергнуть полюбившееся ему искусство и принять чуждое. Человек может сделать вид, будто подчинился, в душе же останется при своем мнении. Почему-то мне кажется, что интерес к живописи, заимствующей основной прием у фотографии, не будет продолжительным. Тут нарушается закон о переходе количества в качество: чем ее меньше, тем лучше, свежее впечатление, в переизбытке же возникает странное и тягостное ощущение духоты. У этой живописи есть что-то общее с «новой журналистикой», берущей в основу художественного повествования документ, хронику подлинных событий. Интересно, порой захватывающе («Холодная кровь» Трумэна Капоте), но и вроде бы тесновато. Не дает полного утоления жажды такая литература, и вновь тянет читателя в «даль

свободного романа», ныне почти разрушенного в США дружными усилиями авангардистов….

7

Любопытен процесс, наметившийся и американском театре. С одном стороны, продолжаются поиски в области абсурдного, в чем — пользуясь панурговым способом острословить — дошли до полного абсурда, с другой — в оформлении спектакля, в сценическом поведении пришли к некоему подобию фотоживописи.

В свое время Мейерхольд, Вахтангов, Таиров, Каверин, на Западе — Крэгг, Пискатор в своих сценических поисках полностью разгрузили сцену от бытовой захламленности, что так сближала подмостки с жизнью в поэтике реалистического театра. И все же эти новаторы не отважились на совершенную условность театра дней Шекспировых, где написанное на дощечке слово *«лес»* давало обстановку гибели Ричарда III. Малый театр, да и МХАТ, уплативший дань символической отвлеченности, создавали на сцене не подобие — дубликат жизни. Я хорошо помню, как в прекрасном спектакле «Хозяйка гостиницы» кавалер Риппафрато съедал на сцене целый обед, приготовленный и поданный соблазнительницей Мирандолиной. Мой старый друг, артист Малого театра П. И. Старковский, игравший генерала Крутицкого в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты», отказывался дома от чая, до которого был большой охотник, перед спектаклем. «Попью на сцене», — говорил он и действительно с аппетитом чаевничал в третьем действии, уминая коржики, пастилу, печенье и райские яблочки в меду. Высмеивая бытовую загруженность актеров на сцене, Вахтангов заставлял их подниматься по лестнице, приставленной к пустой стене, или совершать другие, столь же бесполезные действия. Оказалось, что зрителю совсем не нужно, чтобы актеры ели и пили на сцене, он хочет от театра не бытового правдоподобия, не рабского копирования каждодневной жизни, а чего-то совсем другого. И до чего же удивительным показался мне на редкость натуралистический обстав сцены в одном из самых своеобразных и загадочных спектаклей из всех идущих в нью-йоркских забродвейских театрах «Последняя любовь Вархолла».

Энди Вархолл — современный художник поп-арта, известный и своим оригинальным искусством, и еще более экстравагантным поведением. То он разъезжает по стране с выставкой картин, а потом выясняется, что это вовсе не он, а загримированный под

него актер. То оказывается героем скандальной любовной истории, озвученной пистолетными выстрелами. То его видят верхом на рассветных улицах Нью-Йорка в костюме прустовского светского льва, горячащего скакуна в аллее Булонского леса.

В спектакле, кроме самого Вархолла, действует призрак знаменитой террористки из ФРГ Майнгоф-Баадер, которую нашли повесившейся в тюремной камере. По мнению автора пьесы, дух террористки нашел приют в одной из галактик, откуда и нисходит на землю. Впрочем, некоторые зрители отказывались признать в таинственной женщине с золотым рогом на лбу, без всякой причины убивающей героев пьесы из пистолета, призрак Майнгоф-Баадер. Но поскольку суть зрелища непознаваема, это не так уж важно.

Первое действие, которое называется «Эмигранты», происходит на втором этаже небольшого театрика. Сидят зрители в верхнем зале, довольно просторном, на ступеньках четырехрядного амфитеатра. Сцены нет. За сценическим пространством находятся огромные, во всю стену окна, глядящие на крыши, чердаки и пожарные лестницы соседних домов. Вдоль окон снаружи проходит довольно широкий карниз, по которому некоторые персонажи пьесы, сделав, что им положено, проходят к пожарной лестнице и спускаются во двор. Другим персонажам разрешено удалиться через двери, которые служат и зрителям. Третьи никуда не уходят, остаются на грязном полу после выстрелов золоторогой незнакомки.

Когда мы заняли места, сценическая площадка уже была населена: на узкой койке спал одетым молодой парень, а его подруга в легком халатике ловила какие-то сообщения по радио. И поймала — насчет духа Майнгоф-Баадер. Но я хотел о другом. Условное, даже бредовое зрелище — лишь отдельные частности поддаются приблизительной расшифровке — обставлено с реализмом, которому позавидовали бы МХАТ эпохи сытных обедов кавалера Риппафрато и Малый театр с долгим чаевничанием генерала Крутицкого. Там было все, что только может быть в жилище бедных эмигрантов, и создающих свой быт с помощью добрых людей, блошиных рынков и мусорных свалок. Старый приемник без ящика на колченогом, заваленном газетами столе, там же пишущая машинка в помятом футляре; несколько убогих стульев, кухонный столик, на нем закопченный металлический кофейник, электроплитка, разнокалиберная посуда, почерневший серебряный молочник, фарфоровая сахарница с отбитыми ручками, пол застелен драными, захоженными половиками, у рукомойника — грязные полотенца, вороха неопрятной одежды, какие-то ржавые инструменты, под

столом старомодный патефон с набором пластинок, битком набитая корзина для мусора, а вокруг пачки из-под сигарет, обертки жевательной резинки, бутылки из-под кока-колы и еще не счесть сколько всякой дряни, обременяющей существование современного городского человека, даже самого неимущего. Из всей этой несмети для сценического действия необходим едва ли десяток предметов.

Столь же подробным и вполне жизненным — в элементах поведения действующих лиц — было и все происходящее на сцене. Женщина бесконечно долго настраивала барахлящий приемник, пока не поймала интересующее ее сообщение, потом занялась кофе. Плеснула воды в кофейник, заварила, поставила на плитку, вымыла и вытерла насухо две чашки, положила туда сахару. Закурила, промучившись довольно долго с отсыревшими спичками. Мужчина все это время крепко спал. Попив кофе с молоком, женщина долила в кофейник воды и снова поставила та плитку. Видимо, почувствовав запах кофе, проснулся мужчина и, нащупав под койкой сигареты, закурил. Женщина подошла, откинула одеяло, засучила на нем брюки и очень профессионально сделала ему массаж ног. И тут я поймал себя на том, что слежу за происходящим затаив дыхание. Ты словно подглядываешь в щелку за чужой жизнью. Искусство тут ни при чем, возбуждено чисто житейское любопытство. Но есть и другое, пожалуй, более важное. Это как в поп-арте. Самые обычные предметы: банки из-под крупы, жестянки из-под сардин, канистры, будучи изъяты из привычья и помещены на стенде музея, вдруг обретают значительность символа. И смотришь на них не отрываясь, будто сроду не видел. Так исполнились высшего значения все бытовые мелочи дома эмигрантов. А как интересны и содержательны простейшие движения человека, когда он курит, пьет кофе, вертит ручку приемника! Сколько изящества в человеческом теле, воспитанном не природой, а цивилизацией. Это не надоедает. Приходили новые люди, что-то приносили, складывали в угол комнаты, пили кофе, курили и удалялись через окно. Можно было придумать, что они приносят контрабанду, наркотики, оружие, но мне лично ничего придумывать не хотелось. Неизвестные были привлекательны своим бытовым поведением: каждый по-своему зажигает спичку, по-своему затягивается и выпускает дым, по-своему держит чашку, глотает кофе… Потом хозяин вытащил из-под койки патефон, завел ручкой и поставил заигранную, хрипатую пластинку. Музыка, как всегда, встревожила, стало казаться: что-то произойдет. Но пластинка знай себе играла забытое танго тридцатых годов, персонажи продолжали свою простую

безмолвную жизнь, в которой самым важным были сигареты и кофе, из их смиренной вялости ничего возникнуть не могло. Как вдруг появилась золоторогая женщина и перестреляла из пистолета всех, кто оказался под рукой. Первое действие кончилось, и зрители перешли в нижний зал.

Хочется разобраться в увиденном, но и не хочется одновременно. При чем тут Энди Вархолл? Ну это понятно, недаром же мне вспомнился поп-арт. А его последняя любовь? Но ведь пьеса продолжается. Не будем слишком требовательны. В конце концов, нам и так показали немало: скудость, тщету, случайность жизни и случайность — предопределенную — гибели обобранных до нитки — душевно и физически — людей, которые называются «эмигрантами».

Одна из стен нижнего зала была сплошь стеклянной и глядела на скучную пасмурную вечереющую улицу. У обочины стоял старый «бьюик», изредка мелькали фигуры прохожих, большей частью негров; паренек с бородой, которого мы видели в первом действии, без устали отбивал чечетку на тротуаре. Сценическое пространство предельно разгружено: стол, два кресла, небольшое настенное зеркало, телевизор и белая простынка киноэкрана. Да, еще на полу стояла шкатулка неизвестного назначения. Вот и все.

Действие началось как-то незаметно. Появился уже знакомый нам актер, игравший одного из посетителей эмигрантского дома, он пил «из горла» пузатой бутылочки светлое пиво. Подойдя к стеклянной стене, осведомился жестом у чечеточника, не хочет ли тот пивка. Чечеточник хотел — зазвенело выбитое бутылкой стекло, и освежающий напиток оказался у него в руках. Я не заметил, кто зажег старую автомобильную покрышку, валявшуюся на мостовой возле «бьюика», огромное пламя озарило улицу, к вящему восторгу набежавших откуда-то зевак. И тут оказалось, что за всем происходящим на улице можно следить по телевизору.

Оживился и киноэкран. Вархолл в бриджах, верховых сапогах и низком цилиндре скакал по еще не пробудившимся улицам Нью-Йорка на вороном коне. Мимо запертых магазинов, спящих автомобилей, в безлюдности, какой не знает бессонный Нью-Йорк. И раз он спешился, и к нему выбежала девочка, набоковская нимфетка, и напряглась страсть, но ничего не случилось — девочку властно позвал бородатый молодой человек, тот самый, что отбивал за окнами чечетку. Похоже, он был ее отцом, и девочка покорилась. Вархолл снова скакал, но теперь за ним гнались на автомобиле. И будь город все так же пустынен, настигли бы в два счета, но Нью-Йорк уже очнулся и закрутил

свою сумасшедшую карусель, и здесь гибкий конь обладал преимуществом перед автомобилем. Преследователям все же удалось спешить Вархолла, коня угнали, а художник, странно беспечный к своей судьбе, ничего не замечал, разговорившись с какой-то полной, средних лет женщиной. И вдруг оба сошли с экрана и во плоти предстали перед нами.

Вархолл стал интервьюировать женщину. Она оказалась профессиональной ведьмой. Художник попросил продемонстрировать свое искусство. Женщина деловито сняла халат и, совершенно голая, принялась справлять колдовской обряд: кадить, чадить, произносить заклинания то лицом к зрительному залу, то к окнам, за которыми собралась немалая толпа (молодые негры пустились от восторга в пляс), то перед зеркалом. Весь необходимый для обряда реквизит ведьма доставала из шкатулки: чаши, кости, бусы, стеклянные шарики, каменные фигурки. Работала она сперва при полном электрическом свете, потом при свечах, и длилось это не менее академического часа. Когда же залилось электричество, ведьма накинула халат, закурила и, присев к столу, объяснила Вархоллу, что театр — случайный эпизод в ее жизни, она женщина скромная до застенчивости, но, взявшись за гуж, не говори, что не дюж? — уважая свою профессию, она вынуждена править обряд в голом виде на глазах толпы, ибо так требуется по ритуалу. Томительную ситуацию, в которой ничего не происходило, да и не могло произойти, разрядила золоторогая пришелица. Метким выстрелом она прикончила Вархолла, ко всеобщему облегчению. Свет погас, а когда вновь зажегся, ведьма старательно прибирала за собой, целуя каждый культовый предмет, прежде чем уложить его в шкатулку. От нее мы узнали, что театр давал сегодня последнее представление — уезжает в Гамбург на гастроли. «А вы не едете?» — «С какой стати, у меня тут клиентура. Что, в Гамбурге своих ведьм нету?» Я недавно был в Гамбурге и авторитетно могу сказать — хоть завались…

Я рассказал об этом странном, как полотно Сальвадора Дали, спектакле не ради него самого, ибо не знаю, в чем его конечный смысл. Наверное, в том, что конечного смысла нет, но много промежуточных. А когда у тебя отнимают любимую и отнимают коня, а к этой любви ты мог явиться только на коне, то не помогут тебе и ведьминские чары, ничто не поможет, и пуля из галактики самый лучший выход. Но нельзя же принимать эту метафору за конечный вывод…

Меня заинтересовало, что в оформлении сюрреалистического спектакля использованы приемы сценического натурализма, родственные той «вещной», фотографически точной живописи, о

которой говорилось выше. И это любопытный поворот в американском искусстве, объевшемся абстракциями.

Все же условное искусство продолжает существовать и порой одерживает новые победы. Пример тому — громадный и неубывающий успех своеобразнейшего спектакля «Мумменшанц». Это немой спектакль. У нас в Москве есть театр мимики и жеста. Тут только жест, и то лишь во втором отделении, где тела актеров затянуты в черное трико, а лица скрыты различными масками. В первом отделении нет и жеста, есть лишь движение упрятанных в меняющуюся оболочку актеров. Первая миниатюра буквально потрясает. На сцене возвышается помост, похожий на каменный брус. И некая аморфная материя, праматерия, которой еще предстоит формообразоваться, пронизанная первым волевым импульсом, пытается взобраться на этот помост. Бесформенная груда, мучась отсутствием упора внутри себя самой, выпускает беспомощные отростки, неспособные заменить конечности, чтобы уцепиться ими за помост, но жалко, неуклюже срывается, некоторое время лежит в изнеможении и вновь карабкается наверх. И кажется, что эта работа рождает в груде нечто вроде мышления: она делает выводы из своих неудач, пытается переместить в себе центр тяжести, чтобы уже не уцепиться за помост, а рухнуть на него, но снова терпит неудачу и вновь идет на штурм. И в какой-то момент ей удается отделиться от земли и повиснуть на краю помоста, это много, но до победы еще далеко — мучительное балансирование завершается сырым ударом об пол. И ты ловишь себя на том, что изо всех сил сочувствуешь этому прообразу тебя самого; ты уже понял: у вас одна суть, и это только кажется, будто ты решаешь более сложные задачи, так же нелепо, упорно, бессильно, жалко и величественно пытаешься ты оседлать судьбу, срываешься, падаешь, расшибаешься и снова упрямо лезешь наверх. Весь зал восторженно рукоплещет, когда чудовищная медуза, желе, студень, как еще сказать, оказывается-таки на помосте. Удивительное и глубокое зрелище!..

Прообраз некоего кольчатого осваивает в следующей миниатюре возможности дарованной ему формы, как бы развивая тему становления жизни. Но во втором отделении спектакль, сохраняя изящество и тонкость, мельчает, превращается в чистое развлечение.

Сейчас в американском театре, как и в искусстве вообще, междуцарствие: натурализм вклинивается в условность, которая вовсе не думает сдаваться. Приметно возрос интерес к высокому реализму Шекспира, Ибсена, Чехова, Лилиан Хеллман. Их пьесы ставятся и имеют успех. Быть может, после всех малопитательных изысков захотелось честного хлеба?..

У меня создалось впечатление, что американская публика вообще очень терпима в вопросах искусства, видимо, от некоторого равнодушия. Нашего горячего, «печеночного» — выражение Лескова — отношения нет и в помине. Горячатся критики, знатоки, профессионалы, а читатели и зрители сохраняют вид рассеянной снисходительности. Так ли уж все это важно? — просвечивает в усмешке легкого превосходства. Повышенный энтузиазм вызывают лишь некоторые эстрадные певцы и джазы, но в природе этого чувства в пору разбираться психоаналитику фрейдовской школы. Вообще же американцы не склонны преувеличивать значение искусства, его влияние на действительность. Они не считают, что решение проблемы на страницах книги равнозначно решению той же проблемы в жизни.

Говоря проще, к искусству и литературе рядовые американцы относятся не очень серьезно. А есть ли что-то такое, к чему бы они относились по-настоящему серьезно, кроме своего прямого занятия и налогов? Да, есть. Защита природы. Недопущение войны. Простая регистрация лиц призывного возраста вызвала решительный протест, многотысячные молодежные демонстрации напомнили Вашингтону о грозных событиях 1968–1969 годов. И когда произведения искусства говорят о предмете главной заинтересованности и делают это «понятным сердцу языком», американцы не остаются равнодушными. Отсюда бешеный успех антивоенного романа «Уловка 22».

Несколько чрезмерный, на мой взгляд, успех фильма «Дерсу Узала» объясняется глубокой озабоченностью американцев проблемой сохранения окружающей среды, естественного мира, дарящего дыхание всему живому. Фильм привлек их и обилием превосходно снятой природы — лунными пейзажами, морем тайги и характером гольда-проводника, все знающего про зеленый мир и его обитателей, дружащего с животными и птицами и верящего, что все на земле наделено тонкой человеческой душой и потому заслуживает безмерного уважения и бережи. Американцы пресытились погонями, стрельбой, мордобоем, кровью, сексом, полонившими экран, им хочется тишины и простых человеческих добродетелей: дружбы, верности, сострадания, понимания чужой боли, готовности помочь, им хочется леса, неба и воздуха — все это они получили в «Дерсу Узала» и отблагодарили фильм премией Оскара. Что лишний раз доказывает, насколько хорошо знает требования сегодняшней публики режиссер Акира Куросава, говоривший мне, сценаристу: «Зачем нам „восточный“ вестерн, зачем приключения и фабула?

Пусть будут тишина и скука. И пусть зритель вспомнит о кислороде — ничего другого но надо».

Отношение американцев к природе не эстетическое, хотя и это не исключается, прежде всего оно деловое и действенное: природу надо спасать, иначе кончится жизнь на земле. Ни о чем не говорили молодые американцы так охотно и горячо, как о сохранении природы. Что надо делать, чтобы не исчезали леса, не выветривалась родящая почва, не распространялись пустыни, не гибли звери, не замолкали голоса птиц, не пустели моря и океаны? Понять такое отношение к природе нетрудно. Мало найдется на земле мест, где бы человек так наразбойничал, как на огромном пространстве между Атлантическим и Тихим океанами. История Америки неотделима от чудовищного браконьерства. Оно началось с той поры, когда меткие, но примитивные лук и стрелы хозяев страны — индейцев, чтивших охотничьи законы, сменились огнестрельным оружием безудержных в своих аппетитах белых пришельцев, с поразительной быстротой истребивших громадные стада бизонов — гордость американских равнин. А покончив с бизонами, перенесли огонь на других животных. Такого беспощадного и бездумного уничтожения жизни не знал мир. Когда же спохватились и подсчитали потери, то оказалось, что изведены под корень многие ценнейшие виды четвероногих и пернатых и убыль эту не возместить. К тому времени промышленность переняла эстафету у зверобоев в деле тотального уничтожения природы. К чести человека, он не щадил и самого себя, энергично отравляя воздух своих становищ. По зараженности атмосферы лишь Токио может потягаться с промышленными центрами США. Я где-то читал, что, если бы Нью-Йорк не продувало с океана, он вымер бы за несколько дней. А устрашающая эрозия почвы, отравление водоемов отходами производств, чудовищная автомобильная вакханалия, пронизавшая бензиновой гарью все поры страны… — отступать, как говорится, некуда.

И граждане США, в частности студенческая молодежь, не сидят сложа руки. Многочисленные общества по охране природы приметно набирают силу и заставляют считаться с собой не только безответственных стрелков, но и куда более страшных браконьеров — промышленные компании. Как ни богаты, ни могучи компании, им все чаще приходится уступать защитникам природы, за которыми общественное мнение страны. Поджали хвост любители бесконтрольной охоты. И оживают водоемы, леса, слышнее голоса птиц и кое-где зверье вновь обретает, казалось, навсегда утерянное доверие к своим ужасным старшим братьям. И я рад, что видел это собственными глазами.

Сиэтл расположен на семи холмах. Мне никак не удавалось насчитать столько, но местные жители твердо знают, что столица окраинного штата Вашингтон оседлала именно семь холмов, как Вечный город Рим, и гордятся этим. Улицы Сиэтла не уступят по крутизне лыжным трамплинам; машины спускаются по ним, с террасы на террасу, скрежеща тормозами, а вверх ползут, рыча на первой скорости. Часть старого города находится под землей, напоминая о себе застекленными окошечками в тротуарах. Окошечки, смотрящие в небо, сделаны из толстого небьющегося стекла, которому не страшны каблуки прохожих, но солнце сквозь них проникает в подземелье, где находятся магазины, кафе, бары. Сиэтл лежит на берегу залива, самолюбиво именуемого морем: залив глубок, сюда приходят океанские пароходы, в том числе из Советского Союза. Холмистый Сиэтл окружен горами, защищающими его от ветров и стужи, склоны покрыты густыми лесами, понизу — лиственными, выше — хвойными, у подножия гор — широкие чистые озера, на которых полно водоплавающей дикой птицы.

Я долго бродил по берегу одного из озер в виду университетского кампуса и многоэтажных корпусов клиники медицинского отделения. Город под боком, наверное, озеро лежит в городской черте, а на меня доверчиво наплывали большие и торжественные, как лебеди, только не белые, а буро-коричневые канадские гуси. Они ждали корма и, похоже, ласки, так грациозно и мило тянулись ко мне длинными, гибкими шеями. Заветнейшая дичь, мечта каждого охотника, они ничуть не боялись, зная, что на водоемах Сиэтла им ничего не грозит. По старой, забытой дрожи, охватившей меня, давно уже зачехлившего ружье и предавшего охоту анафеме, я понял, чего стоило местным природолюбам погасить ту же дрожь в сиэтлских стрелках. Это своего рода подвиг. Потом, когда я шел сквозь высокие камыши, на болотистую, влажно проминающуюся под ногой тропинку выскочила кряква с целым выводком желтеньких пушистых утят. Она взволнованно закрякала, но без паники, в голосе лишь естественная материнская озабоченность, все-таки она совершила оплошность по их утиным правилам. Но утка-мать не стала исправлять своей ошибки, не юркнула назад в камыши, что было бы лицемерием, поскольку ни ее детям, ни ей самой ничего не грозило. Без излишней спешки она стала уводить семейство по тропинке, приметно оступаясь на правую лапку. Она была калечкой, хромоножкой, но в этом надежном, охраняемом месте жила полноценной утиной жизнью.

Не надо все же рисовать себе слишком идиллической картины этого уголка земли. Сиэтл вовсе не эдем, где люди и

животные, насытившись щедрыми дарами природы, трогательно ластятся друг к другу. Грустное впечатление оставила семья негров-рыболовов: нездорово-тучный глава семьи в белом грязном плаще и фетровой шляпе, рыхлая женщина с курчавой головой Анджелы Дэвис и длинноногий, шарнирный сын-подросток в заношенном джинсовом костюме. Все трое с удочками, не со спиннингами, а с дешевыми пластмассовыми удилищами. Бестолково, не умея определить глубины, отчего поплавки то ложились на воду, то тонули, увлекаемые на дно тяжелым грузилом, забрасывали они удочки, но поклевок не было, и, уныло переглянувшись, рыболовы тащились дальше. Это не было ни спортом, ни развлечением. Так и оказалось, когда, столкнувшись раз-другой в камышах, мы познакомились и разговорились. Семья без работы. Хочется чего-нибудь вкусного, а денег нет. Вот и рыбалят. Иногда удается поймать несколько карасиков или карпа. «Это не запрещено!» — испуганно воскликнул глава семьи….

В самом центре города, возле бронзового бюста индейского вождя Сиэтла, без сопротивления пустившего белых людей на землю родного племени и потому удостоившегося памятника, сидят на скамейках, а больше валяются на асфальте или на зеленом газоне сквера бронзоволицые, черно- и прямоволосые, вдрызг пьяные соплеменники мудрого вождя.

В многочисленных голливудских вестернах белые смельчаки, пробивающие себе путь на запад, одолевают индейцев в смертельных схватках, иногда даже теряя двух-трех второстепенных персонажей и немало безымянных смельчаков из «массовки». Схватки, конечно, были: ружья против луков, потом пулеметы против ружей — индейцы, гордый и смелый народ, не хотели без боя отдавать чужеземцам землю отцов. Но покорены были индейские племена, романтические друзья всемирного детства: снуксы, каманчи, могикане, делавэры, навахи, кроу не силой оружия, а водкой и болезнями. Слишком здоровый, не привычный ни к каким отравам и потому лишенный защитной сопротивляемости организм краснокожих сломался под воздействием завезенного гнилыми, но выносливыми белыми людьми яда алкоголя и гнусных болезней. Повальное пьянство уложило на лопатки первожителей Американского континента. У них отобрали все: землю, оружие, лошадей, честь и гордость. Согнанные в резервации, лишенные цели и смысла жизни, племена могли ответить своим развратителям и угнетателям лишь одним: стали стремительно вымирать. Отдал бы или не отдал вождь Сиэтл, с его широким, умным и добрым лицом, землю белым — значения не имело. И все же, поди, ему

мучительно видеть соплеменников распростертыми возле его памятника.

Конечно, ныне отменены резервации, индейцы формально уравнены в правах с белыми, индейских юношей можно встретить даже в университетах, хотя и редко.

Хороши величавые канадские гуси, непуганые кряквы, чирки и крохали на сиэтлских водоемах, но спасать надо в первую очередь людей. Это куда труднее, мучительнее и не так эффектно, но неизмеримо важнее. Один студент уверял меня, что у хорошей американской молодежи изоляционистский комплекс, присущий всей нации, зиждется не на отсутствии интереса к остальному миру, не на чудовищном эгоцентризме, не на мещанском «нас не троньте, мы не тронем», а на сознании вины — перед индейцами (ошибке Колумба обязаны люди с красной кожей своим всемирным названием) и перед неграми (которые, кстати, так себя не называют). Нечего вмешиваться в чужие дела, навязывать другим свою волю, свои жизненные правила и свой уклад, когда столько тягостного, преступного беспорядка в собственном доме.

Не берусь судить, насколько истинна эта мысль, хотя не подвергаю ни малейшему сомнению искренность своего собеседника, но отрадно уже то, что такая мысль существует и даже обрела формулировку. Дело не в искуплении вины дедов и отцов — нельзя отвечать за чужие грехи, лучше не совершать собственных, — а в очнувшемся чувстве справедливости, ответственности, в желании сдвинуть с места глыбу.

Когда все это уже было написано, произошло знаменательнейшее событие в жизни США: индейцы доказали, что есть еще порох в старых пороховницах — сухой, горячий порох гнева, несмирения и решимости. Вызрел протест в неубитой вопреки всему народной душе, и вашингтонский акрополь услышал грозный боевой клич истинных хозяев земли, по которой течет Потомак. Явив редкую расовую жизнестойкость, индейцы скинули оцепенение и поднялись на борьбу за свои права. Не за права на бумаге — они есть, а за права на деле. И мой бледнолицый знакомый, и его друзья-единомышленники имеют возможность доказать силу своих верований и в том обрести гражданскую зрелость.

9

Мой рассказ идет к концу, и я предвижу упрек читателей: старый кинематографист, а с Голливудом разделался одной фразой. Упрек естественный и справедливый. Когда я рвался в

Калифорнию, которая отсутствовала в моей изначальной программе, то едва ли не главным магнитом был Голливуд. Мы с детства наслышаны о «фабрике снов», нам туманили голову имена знаменитых актеров — Дуглас Фербенкс был для меня, мальчишки, земным воплощением божественного д'Артаньяна; к тому же до войны я учился в киноинституте, а для всех киношников, особенно для начинающих, Голливуд как Мекка для мусульманина. Мысленно я уже тогда отправился к святым киноместам, но лишь на пороге старости достиг цели своего паломничества и увидел храм разрушенным.

Разочарование горчайшее: Голливуда не оказалось. Есть город с таким названием, соединившийся с Лос-Анджелесом и ставший его частью. Есть с тем же названием бульвар, есть другой знаменитый бульвар Сан-сет, упирающийся в закат, очень длинный и прямой, воспетый во многих американских романах. Но Голливуда — кинематографического центра страны и мира — уже нет. Почти все студии покинули его и возвели свои павильоны в других местах. Интеллигентная университетская публика настолько презирает киномирок, что я не мог толком установить, какие студии остались на пепелище. Кажется, «Парамоунт» — частично и студия телефильмов. Что же касается старой легендарной студии Чарли Чаплина, то она находится в самом Лос-Анджелесе, я видел ее темные печальные останки, и что-то сжалось в душе — все-таки это целая эпоха не только в художественном, но и в этическом бытии нашего мира, ныне безнадежно канувшая.

Так что же такое нынешний Голливуд? Это — киношка, стриптизные заведения, бары, несколько дурного пошиба ресторанов, магазины, чаще лавчонки, много уличных проституток в стиле «ретро»: пост — на углу, сумочка крутится вокруг пальца, шляпа ниже бровей. По понедельникам город словно вымирает, его пустынный пейзаж чуть оживлен потерянными фигурками жриц любви. Во вторник к вечеру он пробуждается, наполняясь всякой швалью: мошенниками, наркоманами, алкоголиками, педерастами, профессионалами любви обоих полов. Становится очень людно, пестро, беспокойно, даже опасно, но нет в этом зловещей живописности порока, а что-то провинциальное, захудалое. Чувствуется, что Большой Порок реализуется где-то в другом месте.

От старого Голливуда сохранился знаменитый китайский театр и асфальтовая площадка перед ним, испещренная автографами живых и угасших кинозвезд. Кто оставил потомству несколько строк, кто — отпечаток ладоней или ступней и подпись: Алиса Фей, Кэтрин Хепберн, Бинг Кросби, Фред Астор,

Синатра, Куросава… Сюда приезжают туристы, читают наасфальтные письмена, вздыхают и уезжают с ощущением, что еще что-то кончилось.

Есть еще изысканный Беверли-Хилс, прежде нерасторжимо связанный с Голливудом. Там находятся виллы звезд первой величины. Но и об этом месте ничего интересного не скажешь — виллы спрятаны в глубине садов за густейшей растительностью. Лишь иногда распахнутся ворота, открыв на миг в глубине аллеи портик или фронтон — у разбогатевших актеров эллинские пристрастия, — и выедет бесшумный «роллс-ройс» с очаровательной блондинкой за рулем, и ты начинаешь лихорадочно соображать, кто это: Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Джоан Кроуфорд, Мерилин Монро, и вдруг вспоминаешь, что тем из них, кто еще попирает землю подагрической ногой, по сто лет, а эта красотка тебе неведома, так же как и твоим спутникам.

Конечно, есть и сейчас любимые публикой актеры и актрисы, первых, как ни странно, больше, но таких кумиров, как были в пору расцвета Голливуда, уже нет. Даже Марлон Брандо, Дестин Гофман и Джейн Фонда не тянут. Спектр преклонения и обожания резко сместился в сторону эстрадной музыки. Герои молодежи там. Иные телевизионные ведущие, украшенные лишь развязностью и белоснежной, в тридцать два зуба улыбкой, могут поспорить в популярности с Сэзерлендом или Войхтом — самыми даровитыми из молодого голливудского поколения.

Мне было в Беверли-Хилс напряженно и неуютно. Потом я вспомнил: на одной из таких вилл, прячущихся в густой заросли, была зверски умерщвлена золотоволосая, безвинная перед богом и людьми Шарон Тейт вместе со своими гостями.

И все же к ветеранам экрана интерес не угас. Все газеты на первой полосе давали сообщение о повторной операции рака у Джона Уэйна, героя вестернов, где он иногда был шерифом, но чаще человеком, не умещающимся в рамках закона. И очнувшийся от наркоза Уэйн мог узнать много противоречивых соображений о своей смертельной болезни. А ведь при тех лекарствах, что не только успокаивают боль, но и создают больному эйфорию, ему необязательно было знать, что он умирает. Но он бы все равно узнал. И США больному непременно сообщают, что он обречен. Скрыть могут свинку или воспаление среднего уха, но не рак и не саркому. Человек должен знать, что умирает, дабы распорядиться имуществом и провести оставшиеся дни как ему хочется. Сделать то, что он бесконечно откладывал, слишком надеясь на свое здоровье: мол, успеется, например, убить кого-нибудь.

Куда большее впечатление, нежели агонизирующий Голливуд, произвел на меня его «филиал» Старый Тусон, Это городок, построенный в наше время в двадцати милях от университетского Тусона, на красной земле таинственного штата Аризона, где гигантские кактусы, багровые горы, отбрасывающие фиолетовые тени, Гранд-каньон, пустыни, золото Маккенны и свирепые дикие кошки, заходящие в селения.

Большинство вестернов последних лет поставлено в Старом Тусоне, в том числе лучший из всех — «Эльдорадо» с Уэйном и Митчумом, длинная серия о Циско Киде, многие фильмы с Джоном Фордом-старшим, Стюартом, Мак-Куином.

В городе — церковь, гостиница, салуны, магазины, парикмахерская, зубоврачебный кабинет, «веселое» заведение, коновязь, железнодорожная станция с медным колоколом. Салунами и магазинами можно пользоваться, тут все настоящее: продукты, напитки, сувениры, музыка, продавцы и официанты; коновязью тоже можно пользоваться, если прискачешь на коне. А вот тюрьмой, зубным и просто врачебными кабинетами, равно и «веселым» заведением, пользоваться нельзя. Там обитают муляжи. В одной из тюремных камер арестанты играют в покер, в другой повесился какой-то бедолага; врач с перерезанным горлом валяется на полу своего кабинета, выронив из руки не помогший ему кольт, а в парикмахерской испустил дух клиент под белой простыней в кровавых пятнах.

Что поделаешь, такова была жизнь на Диком Западе, где людям со слабыми нервами не место. В Старом Тусоне ты чувствуешь себя как дома: тебе знаком и этот салун с оцинкованной стойкой и маленькой эстрадой, и этот белый храм, служивший убежищем для подвергшихся нападению жителей, и эта зубчатая гора, в которую упирается главная улица, — сколько раз уносился к ней на тонконогом коне Джон Уэйн, снова создавший чужое счастье, но не выгадавший удачи себе. Конечно, и церковь, и салун, и цирюльню, и тюрьму, и все остальные уголки Старого Тусона ты без числа видел на экране. Когда приходит время съемок, посетителей удаляют, муляжи выносят, и город заселяет киногруппа. Появляется Джон Форд или Митчум с оловянной звездой шерифа на груди, и огромный, но легкий Уэйн спешивается у коновязи.

Я попал в Старый Тусон в субботу, когда на улице дают короткое представление — квинтэссенцию вестернов. Из салуна выходит человек в широкополой черной шляпе, у бедра болтается кольт в кобуре, и со скучающим видом начинает прохаживаться по галерее. Сразу ясно, что это плохой человек. Разве хороший наденет черную шляпу? Свою дурную суть человек в черной

шляпе подтверждает жестоким обращением с добродушным старым бродягой. Этот обрюзгший, небритый человек, несомненно, знал лучшие дни, в нем порой вспыхивает утраченное достоинство, но сразу гаснет — алкоголь разрушил его личность, и за рюмку водки он готов терпеть любые унижения. Плохой человек в черной шляпе сбивает его с ног, вываливает в пыли и, что самое страшное, не дает на водку. Плача и бессильно потрясая кулаком, бродяга ковыляет по улице. Его замечает молодой официант, а может, парикмахер, не помню, это не играет роли, он выходит к старику и пытается его утешить. Сочувствие юноши пробуждает в размокшей душе забытую гордость, старик кидается к своему обидчику и падает, сраженный пулей. Официант (или парикмахер) выхватывает револьвер, но и его находит меткая нудя. Кончается все ожесточенной перестрелкой между убийцей и шерифом в белой шляпе. Изрешеченный пулями, но, как полагается, живой и невредимый, блюститель закона приканчивает негодяя, который умирает в долгих и ужасных корчах. По чести, это довольно злая пародия на фильмы, которые изготовляются в Старом Тусоне.

А затем через город проходят «горные люди» в меховых шапках, с женами и детьми, с лошадьми, впряженными в волокуши, на которых продукты и скарб. Это, надо полагать, белые первопоселенцы в Аризоне. Все очень достоверно: одежда, снаряжение, длинные ружья, даже то, что у многих жены — индианки, несколько портят впечатление круглые очки на слабых глазах современных американских детей…

10

Я до сих пор ничего не сказал о Нью-Йорке, который принято считать символом Америки. Многие писавшие о США отождествляли этот город со всей страной, они говорили «Нью-Йорк», а подразумевали «Америка». Нью-Йорк — квинтэссенция Америки, ее экстракт, здесь сконцентрировалось до чудовищной плотности все самое дурное в американской жизни и кое-что лучшее. Но именно поэтому нельзя ставить знак равенства между Нью-Йорком и Америкой. В Нью-Йорке велика преступность. Здесь больше, чем где бы то ни было, краж, взломов, угонов машин, нападений на банки, резче всего контрасты, разительней нищета, тут грабят и насилуют в Центральном парке, а в метро небезопасно ездить, тут особый темп и особый ритм, но тот, чей пульс выдерживает, не променяет Нью-Йорк ни на какой другой город в мире, ибо здесь каждый найдет свое: художник, поэт,

мечтатель, гангстер, наркоман, борец за справедливость, изобретатель, певец, аферист, вор, артист, музыкант, ведьма и хулиган. И все-таки Нью-Йорк — это не Америка, а скорее жестокий шарж на нее. Таких улиц-ущелий нет нигде, даже в Чикаго высотная часть далеко не так обширна, а в остальных городах пучок небоскребов — в центре, а вокруг — россыпь одноэтажных домиков. В Нью-Йорке нет площадей, одни перекрестки, он гол, если исключить Центральный парк, куда боязно ступить. Остальные города очень зелены, их разбросанность дает простор не то что площадям, но даже пустырям, где дуются в футбол, бейсбол и кидают тарелочки. Нью-Йорк несравнимо грязней всех американских городов, среди которых немало весьма опрятных, он целиком зависит от своего ужасного, хотя и насыщенного общественного транспорта; в других городах — опять же кроме Чикаго, где и метро, и автобусы, и такси, — все обходятся собственными машинами, автобусов мало, в основном для школьников и студентов — бесплатные. В Нью-Йорке есть негритянское гетто — Гарлем, есть неопрятный богемный Гринич-вилледж, китайские и пуэрто-риканские трущобы, нищенские обиталища итальянцев; в других городах негритянская часть никак не выделена, а художественные кварталы не сплетены с грехом и наркотинам.

Но лишь в Нью-Йорке могут одновременно гастролировать балет Бежара, театр Кобуки, Краснознаменный ансамбль, бразильский цирк, мадридский ансамбль «Фламенго», дирижер Кароян, тенора Паворотти и Гедда, пианист Горовиц, а блестящая дягилевская экспозиция в музее «Метрополитен» — отбивать посетителей у огромной выставки Казимира Малевича, занимающей весь «Гугенхейм», и сто бродвейских и забродвейских театров — потрафлять любому вкусу — от самого традиционного до авангардистского.

Городу «желтого дьявола» резким контрастом является «одноэтажная Америка», спокойная, тихая, даже скучноватая под розовым жирком изобилия. Провинциальная Америка (говорю условно, здесь отсутствует понятие провинции, никто себя провинциалом не чувствует) очень ценит каждое происшествие, потому что они редки, снисходительна к гангстерам, о которых знает по газетам и телевидению, а Нью-Йорка побаивается и не стремится туда «пожуировать жизнью»…

11

И вот еще о чем следует рассказать: я был в стране мормонов.

Гористый штат Юта, который они населяют, — это государство в государстве, здесь все наособицу, не так, как в остальной Америке. Мормоны есть и в Огайо, где зародилась их вера, и в Иллинойсе, Миссури, в Канаде и Мексике и даже на других континентах. Их эклектическая религия вобрала в себя понемногу из самых разных верований: от мусульман — многоженство (официально отмененное в конце XIX века) и запрет на горячительные напитки (мормоны пошли дальше приверженцев ислама — изгнан не только алкоголь, но и все возбуждающее: чай, кофе, даже табак), от протестантизма — отсутствие церковной пышности и обрядности (богослужение сведено к проповеди), от язычества — признание, кроме христианской троицы, других богов, от католицизма — теократическое построение (глава церкви — пророк, провидец обладает не только церковной, но и светской властью), что-то взято от иудаизма и от других вер.

Название религии идет от пророка Мормона, чью мистическую книгу нашел в лесу в 1830 году Дж. Смит, томимый несовершенством и злонравием всех существовавших тогда в Америке церквей. Пророк Мормон получил учение прямо из рук Христа, посетившего Америку за шестьсот лет до возникновения христианства. Естественно, что принадлежность к столь древнему и первозданно чистому учению наделяет мормонов чувством превосходства над теми, кто не сподобился света истины. Вот что раздражало меня в этом горном царстве, раскинувшемся вокруг усыхающего Соленого озера.

Когда в ресторане мне отказали в бутылке пива, я увидел на лице встречавшего меня профессора Р. (милого, с творческой жилкой человека) выражение чуть пренебрежительного сочувствии, которое в расплывшихся чертах его истомленной бесчисленными родами жены (мормоны не знают ни абортов, ни предупреждающих беременность средств — надо множить последователей правой веры) сместилось в сторону пренебрежения, а на одинаковых лицах пятилетних близнецов явило всю беспощадность детского презрения к порочной слабости чужеземца. Другой профессор, у которого я поселился в Прово, где находится мормонский университет Янга, не без высокомерия подвигал мне за завтраком — после утренней молитвы — стакан воды из-под крана. Молока, основного напитка мормонов, мой желудок не принимает, особенно по утрам. Кстати, отсюда название русской разновидности мормонов — молокане, они не пьют ни зелена вина, ни пива, ни чая, ни кофе, а заливают жажду коровьим или козьим молоком.

В день моего приезда, когда профессор Р. показывал мне

Солт-Лайк-Сити, столицу штата, я увидел разные мормонские чудеса. Редкое архитектурное диво — молельня с феноменальной акустикой: звук разрываемой газеты или уроненной на пол иголки разносится по всему громадному, на тридцать тысяч мест, залу. В свободное от религиозных собраний время зал служит для концертов.

В главную церковь, расположенную напротив и имеющую вид обычного христианского храма, доступ рядовым мормонам закрыт, туда вхожи лишь пророк и двенадцать апостолов — церковная и гражданская верхушка. Жизнь любит посмеяться над человеческими установлениями. Мы почтительно разглядывали наглухо запертую боковую дверь церкви, откуда, по словам Р., в день второго и окончательного пришествия выйдет Иисус Христос, как вдруг дверь отворилась, оледенив нам души, из глубокого сумрака храма показалась мешковатая фигура в комбинезоне не то монтера, не то водопроводчика, и, клянусь, в это светлое утро он пил не только молоко и воду. Немного смущенный всеобщим вниманием, простой и великий человек, сумевший раздобыть выпивку в сухом царстве мормонов, хмыкнул и, ссутулившись, заковылял по своему делу. Но и это не поколебало превосходства профессора Р.

Он дрогнул, когда мы вернулись на главную площадь, где стоит памятник пророку Янгу. Дж. Смит основал религию, за что поплатился жизнью, а Янг вывел мормонов из «тьмы египетские» в образе жестоких штатов: Огайо, Иллинойс, Миссури, и привел на берег тогда еще полноводного, хотя такого же мертвого Соленого озера, под защиту высоких заснеженных Скалистых гор, за это он удостоился памятника. Янг стоит на высоком постамента задом к храму, лицом к деловой части города и левой рукой патетически указывает на огромное здание банка.

— Позу надо понимать символически? — спросил я профессора.

— Вы сами заметили или вам подсказали? — произнес он недовольно.

— Сам. Для этого не требуется особой наблюдательности.

— Да… оплошность, — пробормотал он. — Нас всех это коробит.

— А нельзя его переставить? Чтобы храму — приветствие, а золоту — презрение.

Р. как-то странно посмотрел на меня и промолчал. Мне подумалось, что пренебрежение к золоту не входит в число признанных здесь добродетелей. Как я вскоре убедился, в организации мормонов гармонично уживаются бескорыстие, даже самоотверженность, с ясным сознанием важности материальной

основы бытия. Профессора университета Янга отдают каждую субботу безвозмездно на богоугодные дела: занятия с молодежью, служение в церкви (здесь нет института священников), но оклады их куда выше, чем у коллег из других штатов. Впрочем, это справедливо, учитывая многодетность мормонов.

Чтобы сгладить неблагоприятное впечатление от позы Янга, Р. повез меня к красивому, сверхсовременному зданию с притемненными окнами и предложил осмотреть гинекологическую библиотеку, единственную в мире, Я вежливо отказался. Полгода, проведенные в медицинском институте на заре туманной юности, отнюдь не пристрастили меня к медицине. О чем я и сказал профессору. «При чем тут медицина?» — не понял он. «По-моему, гинекология — раздел медицины», — немного свысока бросил я. «Кто говорит о гинекологии? Ге-не-а-ло-ги-чес-ка-я библиотека! Здесь мы отыскиваем своих предков, чтобы, отслужив по ним молитвы, обратить их души в истинную веру». Мне было совестно, что я так обмишулился, и голос мой прозвучал запальчиво: «А если они не хотят?» — «Кто?» — опешил Р. «Души! Может, им там хорошо?» — «Нет, — в спокойствии Р. снова проглянуло высокомерие, смягченное жалостью к дураку. — Душам тяжко их вольное или невольное заблуждение. Они ждут, чтобы живые отмолили их у тьмы для света истины и вечного блаженства».

И мы пошли в эту действительно уникальную библиотеку, оснащенную компьютерами и скоростными лифтами. Старинные фолианты в кожаных полуистлевших переплетах хранят на своих пожелтевших сухих листах списки жителей средневековых европейских городов, метрические записи, новорожденных. Есть тут книги с родословными дворянских и бюргерских семейств, с записями состояний, равно и всякая документальная литература, которая может помочь найти своего далекого или близкого предка…

Надо не только спасать души усопших, но и обращать живых в свою веру. Мормоны при кажущейся замкнутости, отдельности своего бытия, окольцованного Скалистыми горами, обладают повышенной активностью в отношении внешнего мира. В Прово, центре мормонского религиозного образования, находится семинария, готовящая проповедников «на вынос» и для этого обучающая их разным иностранным языкам.

Это, так сказать, профессиональные проповедники. Но каждый молодой мормон, окончивший «хайскул», должен отслужить два года проповедником, лишь после этого он может поступить в университет, а по окончании жениться — раз и навсегда. Университет является для юных мормонов не только

храмом науки, но и ярмаркой невест. Жениховство долгое — на весь университетский курс, к невесте не прикоснись, зато потом — нерасторжимый, плодоносный брак. Так в идеале, которому стараются следовать. Но сейчас слишком подвижное и нервное время, слишком обильная информация и неуправляемый людской коловорот, и, как ни защищают молодежь от дурных влияний, порнографической литературы, сексуальных фильмов и пьес, какие ни накладывают запреты на юную плоть и дух, прочные формы трескаются под напором беспокойной нечистой жизни. В бытие мормонов, хоть это старательно замалчивается, вошли добрачные интимные отношения и довременные браки, чтобы прикрыть грех, измены и разводы. И гомосексуализм проник в молодежную среду, и преступления на сексуальной почве. И тщетно напрягают высокие лбы пророк и двенадцать апостолов, пытаясь охранить свой храм от разлагающего влияния современности.

— Почему они ходят парами? — спросил я о воспитанниках семинарии профессора Р., вдосталь наглядевшись на молодых людей в строгих темных костюмах.

Его правдивое чело чуть притуманилось:

— Для присмотра друг за другом. Если один нарушит, другой сообщит.

Услышав русскую речь, возле нас остановились двое юношей. Один был мал и невзрачен, другой ростом и статью напоминал знаменитого югославского баскетболиста Чосича. «Откуда вы?» — спросил Чосич. «Из Москвы». Он присвистнул: «Дайте мне адрес, я заеду к вам». — «Охотно. Вы собираетесь в Советский Союз?» — «Нет, но я буду в ваших краях». — «Где именно?» — «В Новой Гвинее». — «Вы считаете, что это так близко?» — «А разве далеко? Тут Китай, а тут вы!» Что ж, у каждого свои представления о расстояниях. «А зачем вы туда едете?» — «Да проповедовать!» — беспечно отозвался баскетболист. «Ладно, заезжайте», — и я дал ему адрес.

Географическим кретинизмом страдает большинство человечества. Куда сильнее поразила меня неосведомленность студентов университета Янга о том, чем живет их собственная страна. Рассказывая о дискуссии советских и американских писателей, я назвал имена Олби, Стайрона и недавно ушедшего лучшего поэта Америки Роберта Лоуэлла. Ни в одних глазах не вспыхнуло ответного огонька. «Вы что же, не знаете их? — опешил я. — Не знаете своих знаменитых писателей?» — «Они знамениты только у вас!» — с высокомерием невежества произнес какой-то юноша, и все рассмеялись. Может, это сознательная неосведомленность, нежелание знать ничего, что происходит за

кольцом Скалистых гор? Подобный сверхизоляционизм крайне странен для энергичных экспортеров религиозных идей.

Конечно, каждый спасается как может. Но я никогда не понимал и не принимал стремления нести помощь туда, где в ней не нуждаются. Особенно когда в собственном доме столько дел, требующих сильных добрых рук и внимательного сердца. Полезно вызволять из тьмы души дальних предков: голландского суконщика XVI века, девонширского сквайра, рыцаря-храмовника, еще упоительней нести спасение всем заблудшим в этом огромном и тесном мире, где Новая Гвинея притулилась к Советскому. Союзу, но куда лучше трудиться в собственном вертограде, там столько больных деревьев, усыхающих кустов, истлевающих цветов и трав. Нет в миссионерской деятельности мормонов истинной любви к ближнему и участия к окружающему. Умозрительная любовь — не любовь.

Пушкин и Дельвиг часто говорили: «Чем ближе к небу, тем холоднее». Воистину так…

Возвращение Акиры Куросавы

Литературный портрет

Некоторое время назад французский писатель Ж. Шаброль отправился в Японию по приглашению офранцузившейся японки мадам Мото писать сценарий. Почему Шаброль поверил на слово небогатой, неделовой, рассеянной и плохо заземленной художнице-любительнице, приемышу парижской богемы, что по манию ее тонкой и слабой руки распахнутся двери японских киностудий и хлынет золотой дождь, — остается неясным. Похоже, этому и нет разумного объяснения. Просто сам Шаброль той же крови, что и очаровательно-нелепая мадам Мото. В наш расчетливый, математический, слишком деловой век в этом наивном, доверчивом, романтическом авантюризме нет ничего дурного, и Шаброль, пустившийся с дырявым карманом через весь земной шар за сомнительной приманкой славы и денег, не должен так уж строго судить мадам Мото, поманившую его с той же безответственностью, но совершенно бескорыстно. Ибо те надежды, что связывала с приездом известного — увы, не в Японии — французского писателя мадам Мото, принадлежат державе грез, и уж никак не корысти и строгим жизненным расчетам. Но Шаброль осудил и мадам Мото, и заодно всю Японию, обманувшую его ожидания. Затея со сценарием провалилась, и вовсе не потому, что не нашлось переводчика, как настойчиво шутил Шаброль, а потому, что времена Клондайка миновали безвозвратно. Даже самая щедрая кормушка мала для всех алчущих отведать тучного овса, заправленного вином.

Оказывается, гнев, раздражение, «отомщевательное» чувство способны дать новую точку зрения на привычные явления, освежить восприятие действительности, одарить множеством острых наблюдений и еще более острых выводов, но не способны создать по-настоящему значительную книгу. Это не удалось даже гению Лескова, из гнева и желчи возникший роман «На ножах» — пятно на литературном имени кудесника русской прозы. А Шаброль, при всем его несомненном таланте, не Лесков. Но книга «Миллионы, миллионы японцев» вышла повсеместно — кроме Японии, — имела громкий успех, и для многих людей, интересующихся Японией и несколько раздраженных тем, что принято считать «загадкой Японии», блестящий и неглубокий памфлет Шаброля развязал много узлов. Так вот она какая — Япония!.. Только и всего?.. А мы-то думали!.. Развенчание

кумиров, развеивание мифов дружественно природе современного человека, утомленного подлинными и воображаемыми сложностями.

Шаброль метко ударил по установившейся и, конечно, надоевшей традиции — восхищаться всем японским, видеть даже в нескладицах и трудностях быта загадочную красоту, в утомительных пережитках — манящую тайну непостижимой японской души, во вздоре, от которого не свободно бытие любого народа, глубочайший смысл, нуждающийся в прочтении, истолковании.

Такого рода работа всегда благотворна: чем меньше идолов, тем свободнее и чище сознание. Но напяливать на всю страну, на весь великий — и числом, и долей соучастия в мировых усилиях — народ шутовской колпак — дело, недостойное художника, даже если он потерпел афронт в своих киночаяниях.

Почему я начал свои японские записки с Шаброля? Наверное, потому, что и меня поманило кино в далекое путешествие. Впрочем, ныне это путешествие для всех европейцев стало куда короче, чем в пору авантюры Шаброля, обогнувшего чуть не весь земной шар, чтобы попасть из Парижа в Токио. Сейчас воздушная трасса идет напрямик через Советский Союз. Кстати, восемь лет назад я тоже летел в Японию кружным путем со многими посадками и пересадками: Ташкент, Карачи, Рангун — здесь я ночевал, а потом опоздал на самолет, — Бангкок и Манила. Тогда Япония казалась куда дальше и куда таинственнее.

В отличие от французского коллеги я отправился в свое новое путешествие не по заманчивому и легкомысленному приглашению мадам Мото, неразлучной с большой растрепанной телефонной книгой, откуда она тщетно пыталась выудить для своего доверчивого бородатого протеже счастливый номер (в Японии телефон играет громадную, несравнимую с европейским уставом роль в жизни людей, особенно в делах), а по приглашению маленького, но солидного «Ателье-41». Предстояло доделать литературный сценарий «Дерсу Узала».

Когда называют трех лучших современных кинорежиссеров, обычно говорят: Чаплин — Куросава — Феллини. Или, полагая Чаплина не то чтобы в прошлом, а вне времени, как неповторимое чудо, — Куросава — Феллини — Кубрик; иногда в тройку вводят Бергмана, или Креймера, или Антониони, но имя Куросавы присутствует всегда. Конечно, всем этим обоймам — грош цена. Но сейчас повсеместно царит увлечение «десятками», «шестерками» (по олимпийскому счету), «тройками» (по ступеням почета) лучших, равно как и выбором на каждый год главного героя — самый популярный человек мира, первая красавица,

лучший спортсмен, актер и т. д.

И если Куросаву до сих пор называют в тройке лучших, то быть главным героем киногода ему давно уже не приходилось. Этот самый знаменитый среди японских режиссеров — и самый японский среди знаменитых — лишен возможности снимать фильмы у себя на родине. Ведь и «Дерсу Узала» не совместная японо-советская постановка, а мосфильмовская. «Ателье-41», помещающееся в двух номерах «Акасаки-Принс-отеля», оказывает строго ограниченную помощь по формированию части группы, переводу сценария на японский язык и приему советского соавтора Куросавы (то есть меня) в Токио.

Было время, когда появлявшиеся один за другим странные, ни на что не похожие и буквально в каждом кадре пронизанные ярчайшим талантом фильмы Акиры Куросавы гремели по всему свету, забирая высшие награды на самых представительных фестивалях, принося славу не только своему создателю, но и всей японской кинематографии. «Телохранитель», «Семь самураев», «Расёмон», «Красная борода», «Идиот», «Рай и ад» — каждый фильм открывал какую-нибудь неведомую доселе возможность кино: новый прием съемок, способ монтажа, использование музыки, не говоря уже о значительности и красоте никогда не повторяющегося образного решения в целом. Ну, скажем, сакраментальное число «семь» возникло в кино с «Семи самураев». Многошумная голливудская «Великолепная семерка» сделана по сюжету японского фильма. Из «Семи самураев» пошел и прием экспозиции характеров членов команды — в виде коротеньких новелл, рисующих ведущее свойство каждого: мужество, хладнокровие, силу, хитрость, — и перекочевал в «пятерки», «десятки», «дюжины», объединяющие солдат, «коммандос», диверсантов, юных бунтарей, гангстеров, бандитов.

«Расёмон» открыл кинематографистам прием показа одного и того же события с разных точек зрения. «Идиот» доказал возможность переноса классического романа в обстановку другой страны, другого народа. И все приняли Рогожина — Мифуне с припухлостью узких глаз и японской окраской неистового темперамента. Куросава не подделывался под Россию, а создал отечественный эквивалент великого русского романа.

Новаторство никогда не было для Куросавы самоцелью, оно возникало словно неведомо для него самого, из глубины материала и служило раскрытию больших идей, владевших режиссером, а не бесу режиссерской гордыни. Навязывать себя зрителю — органически чуждо натуре Куросавы, самоуглубленной, печальной, застенчивой и строгой. Его страсть — театр Но, где актеру приходится начисто отказываться от себя,

от своей личности. Таков идеал Куросавы. Раствориться без остатка в своем творении, не отбрасывать даже малой тени на происходящее с героями на экране — в этом его гордость как художника. И тут он прямая противоположность Феллини, чья своеобразная и сильная личность громко заявляет о себе в каждом кадре. Не случайно в «Риме» он появляется воочию, без особой в том необходимости. И все же фильмы Куросавы не менее индивидуальны, чем фильмы Феллини, ибо в них столь же ощутима могучая творческая воля.

Пока японская кинематография процветала — и художественно и материально, дела Куросавы шли отлично. У него была своя студия и прочное бытовое благополучие. Но телевидение стало отбирать зрителей у большого экрана, с каждым годом пустели и пустели залы бесчисленных японских кинотеатров, все реже приносили фильмы кассовый успех, особенно отечественные. Отходила в прошлое память о кошмаре Хиросимы и Нагасаки, американские жизненные стандарты все сильнее привлекали японскую молодежь. А ведь молодежь — это самый главный потребитель кино. И молодежь голосовала иеной за вестерн или американский детектив против фильма из японской жизни, за бритоголового Юла Бриннера против Мифуне, за Форда против Куросавы, за ослепительного Джеймса Бонда против рыбаков Хоккайдо или жителей песчаных дюн, за полуголую Лиз Тейлор против скромной, наивно-чистой Юрико Асаока, за секс, за право кулака, за стрельбу, за кровь, за бешеные скорости «мустангов» и «ягуаров» против мысли, печали, нежной любви, социальных проблем, проникновений в глубины человеческого духа — словом, против всего, чем значительно японское кино и лидер его — Куросава.

И тут прокатчики, а за ними и продюсеры смекнули, что фильмы Куросавы никогда не приносили больших барышей, а порой едва окупались. Но их моральная выгода была так велика, что не хотелось думать о грубо материальной стороне дела. Тем более что отблеск славы «Расёмона» и «Семи самураев» падал на всю японскую кинопродукцию, повышая на нее спрос. А теперь зловеще пустующие залы и первые закрывшиеся в Асакусе кинотеатры красноречиво доказывали, что время расчетливого великодушия и забот о высоком искусстве миновало. В силу вступили волчьи законы борьбы за потребителя.

Чуть растерявшийся Куросава поставил фильм «Рай и ад» по американскому детективному роману. Он перенес действие в Японию и поднял навязшую в зубах тему похищения детей на уровень психологической драмы. Куросава не любит эту свою картину, хотя смотрится она хорошо и проглядывается в ней

почерк большого мастера — чаще там, где ад, реже там, где рай. И впервые Мифуне показал себя не божьим чудом, а просто высококвалифицированным актером, который может хорошо играть «героев нашего времени» — богатых, преуспевающих дельцов. Эта неожиданная способность Мифуне была взята на заметку кинобоссами не только в Японии, но и в Голливуде и привела его в супербоевик «Большие гонки», где он играл менеджера, но кто помнит его там? Впрочем, это относится к судьбе Мифуне, а речь идет о его учителе.

Куросава не хотел больше ставить картины о киднапинге и тому подобном. По логике вещей, сделав первый шаг навстречу новым киновеяниям, надо и дальше идти по пути моральной капитуляции. Это было не для Куросавы. И тут нежданно-негаданно поступило предложение от американцев: поставить большой фильм о Пирл-Харборе. В свое время превентивный удар Японии по Пирл-Харбору вывел из строя почти весь американский флот — Америка оказалась втянутой в войну. Это была странная и смелая мысль — сделать фильм о величайшем поражении американского оружия руками японского режиссера. Куросаву тревожило, что ему попытаются навязать неприемлемую историческую концепцию. Но его успокоили: никакого идейного пресса не будет. И худая высокая фигура Куросавы появилась на улицах Голливуда, где асфальт испещрен оттисками подошв кинозвезд — ушедших и ныне здравствующих. Да, Куросаве не навязывали никаких концепций, просто он должен сделать боевик со всем полагающимся набором: сверхгероями, свободными не только от всякой морали, но и от подозрения, что такая категория существует на свете, со сверхметкой стрельбой, кровавым мордобитием, захватывающими похождениями и тем, что Лесков в отличие от любви называл «любвой». Борьба оказалась тщетной. «Кто платит деньги, тот заказывает музыку» — на этом голливудские дельцы стояли крепко. Куросава не сдался, и все предприятие рухнуло.

И тут поступило предложение с берегов Сены: делать фильм во Франции. И, не оставив следов на голливудском тротуаре, Куросава вылетел в Париж. И здесь ему не навязывали мировоззренческих концепций и даже не требовали занозистых приключений, грома чудовищных битв и нечеловеческого героизма. Требовалось одно — любовь, как можно больше любви на экране. Под любовью же подразумевалась постель. Как можно больше постели — разобранной, во весь широкоформатный экран, и, разумеется, привкус экзотики. В глазах французских кинодельцов Япония — это пышный эротический сад, где процветают утонченные пороки, способные осилить европейскую

пресыщенность.

Куросава, человек редкой чистоты и целомудрия, сломя голову бежал из прекрасной Франции. Вернувшись на родину, он заложил дом и все свое имущество, нашел смельчаков, рискнувших в последний раз сделать ставку на старого призового коня, и создал один из лучших своих фильмов — горчайший «Додескаден» («Под стук трамвайных колес» — в советском прокате).

Это фильм о гибнущих и погибших, о пьяницах, наркоманах, о всякой человеческой протери, о немилостной жизни, чуждой сострадания к слабым и сирым, и о странном, безумном мальчике, мечтающем: водить трамвай. Да, всего лишь… Но для этого мальчика с печальными и одержимыми глазами даже такая жалкая мечта несбыточна. Через всю картину ведет он свой воображаемый трамвай, и лязгают незримые сцепы, гремят буфера, с железным скрежетом передвигаются рычаги управления, и печальная взвучь трамвайного сигнала отмечает остановки и отправления. Этот скрежет и звень сопровождают тебя после просмотра как наваждение, от них никуда не денешься, ими озвучена твоя явь, они проникают в сон, и ты просыпаешься с мокрым лицом.

Всего лишь шестьсот тысяч зрителей одарили вниманием горестные символы Куросавы. Для страны со стомиллионным населением, даже при всем охлаждении к кино, это страшно мало. На фильмы с вампиром Дракулой, на обновленного и малоудачного Джеймса Бонда, на вестерны «второй свежести» с тучным Уэйном ходит в десять, в двадцать раз больше зрителей. Дельцы, впрочем, и тут не прогадали — вернули свое с некоторым даже припеком. Мудро составленный договор с Куросавой защитил их от потерь. Разорился, потеряв все — студию, дом, имущество и деньги, — режиссер. Но не денежные потери были для него самым страшным, он понял, что больше на него уже никто не поставит. А жить без своего искусства он не может. И, крепко сжав в худой, нервной руке нож, он располосовал горло. Жена и дочь, ставшие сильнее от горя, сумели обезоружить проклинавшего их самоубийцу и сотворить чудо его спасения.

А потом произошло вот что: Куросаву пригласили на Московский кинофестиваль. «Додескаден» получил одну из главных премий, что мало тронуло мрачного, затворявшегося в самом себе, как в келье, режиссера. Его добровольной изоляции на фестивале помогало и то, что в отличие от подавляющего большинства интеллигентных японцев он не знает ни слова по-английски, а равно не владеет и никаким другим языком, кроме

японского. Так и прошел бы он безмолвной и безрадостной тенью по московскому кинопразднику, если б не один разговор с руководителями советской кинематографии.

Куросава уже обращался к русской классике, поставил «Идиота» по Достоевскому, «На дне» по Горькому, — быть может, есть еще какое-то произведение в старой русской или в советской литературе, которое ему хотелось перенести на экран? Крупнейшая киностудия «Мосфильм» была бы счастлива сотрудничать с Куросавой. Оказалось, у Куросавы есть давняя мечта: поставить фильм по замечательной книге русского писателя-путешественника, исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева «Дерсу Узала».

Эта книга давно захватила Куросаву своей человечностью, действенной любовью к природе, поэтическим образом чистого и мудрого героя — гольда Дерсу, и он собирался поставить фильм в Японии, взяв фоном, вернее средой, суровую природу Хоккайдо, откуда сам родом. Но не осуществил своего намерения: на Хоккайдо не было того размаха, той лесной, водной, горной беспредельности, что породила не только характер таежного насельника Дерсу Узала, но и характер самого Арсеньева, до дна русский и, стало быть, созданный громадами российских пространств. Куросава понял, что на Хоккайдо манившая его история невольно измельчится, и с болью сердечной отступился. И вдруг забрезжила возможность осуществить мечту тридцатилетней давности.

Нельзя сказать, что он сразу поверил в эту сказочную, неправдоподобную удачу — слишком свежа была память жестоких разочарований. Да ведь и поставлена уже такая картина — случайно он захватил ее хвост по телевизору, стоявшему в номере гостиницы. Да, фильм по роману Арсеньева был снят, подтвердили собеседники, но это не фильм Куросавы. И все же мрачная туча не сплыла с высокого чела: едва ли найдется сейчас в Японии студия, согласная на кинопродукцию по бессюжетному произведению и со «скучным режиссером». А советские кинематографисты и не стремятся к кооперированию в данном случае. Постановка будет осуществлена на советские деньги, студией «Мосфильм». Нужен только Куросава. Это было слишком хорошо, и вера окончательно погасла в душе режиссера. Он был несказанно удивлен, когда через некоторое время получил официальное приглашение в Москву для переговоров о постановке фильма.

Куросава приехал в Москву в сопровождении своего продюсера Иосио Мацуе, и начались переговоры. Он не был весел и поначалу, а когда дело дошло до меня — сценариста,

погрузился в беспросветную мрачность. Он достаточно наслышался всяких красивых слов и в Америке, и во Франции о творческой свободе, о невмешательстве в его режиссерские замыслы и уже не верил словам. Конечно, он понимал, что не обойдется без соавтора, но, похоже, рассматривал его как консультанта по русской теме, а не как полноценную «творческую единицу». И образ неведомой угрозы отчетливо воплотился во мне.

Четыре дня провели мы вместе, встречаясь сразу после завтрака и расставаясь после ужина. У нас была замечательная переводчица Доля, полурусская-полуяпонка, равно владеющая двумя языками. Я спросил однажды, на каком языке она думает. Доля озадачилась: наверное, на том и на другом, но она сама не замечает, на каком думает в каждую данную минуту. Шаброль относил большинство своих злоключений и Японии за счет плохого перевода. Хотя он преувеличивает по обыкновению, какая-то правда в этом есть. Когда Куросава вновь приехал в Москву, Доля была занята на основной работе, и случилось много досадных казусов по вине неопытного толмача. Еще больше сложностей возникало в Японии во время работы над последним вариантом сценария по той же причине. Порой мне казалось, что японцы не договорились между собой насчет языка, поэтому им так трудно понять друг друга. Простейшие мои просьбы или рабочие соображения становились предметом долгих и мучительных обсуждений между переводчиками и теми, к кому я обращался.

Потом, кажется, я понял, в чем тут загвоздка. В основе японской деловой жизни лежит точное, быстрое и неукоснительное выполнение полученного распоряжения. Помню, каким опасным желтым светом сверкнули обычно ласковые и грустные глаза Мацуе, когда «связной» доставил меня в «Акасаки-Принс-отель» с пятиминутным опозданием. Переводчикам хотелось бы действовать с четкостью, являющейся национальным стилем в работе, но мешает плохое знание русского языка. И они невольно вносят в устный перевод то творческое начало, какое и вообще не положено японским служащим, а тут запутывает самый простой вопрос. Переспросить же, уточнить японский переводчик считает то ли невежливостью, то ли унизительным для своей профессиональной чести. Вот и валят наобум. Я убежден, что замечательная переводчица Доля, мгновенно ухватывающая любые оттенки мысли, во многом облегчила нам с Куросавой путь навстречу друг другу.

Лед стремительно таял. Куросава благосклонно принимал почти все мои предложения. Слишком благосклонно… Затем по

ходу разговора возникло опасение: не будет ли слишком сух и холоден большой двухсерийный фильм без женщин. Правда, в самом конце появляется жена Арсеньева, но беглая роль ее носит чисто служебный характер. Я предложил ввести предысторию Дерсу, ведь была же у него любимая, ставшая женой, матерью его тоже погибших от оспы детей. Куросава решительно воспротивился. Почему женщина должна воплощаться непременно в любовь? А если безымянная орочонка или удэгейка несет полные ведра воды, и вставшая над лесом луна отразится в зеркале двух малых вод, и в мире станет три луны, три Селены, разве это не проявление прекрасного женского начала?

Я молчал, восхищенный и сбитый с толку чистотой старого режиссера. И вдруг впервые шевельнулось во мне подозрение, что наше видимое согласие окажется мнимым. Мне вспомнилось предупреждение Всеволода Овчинникова (автора превосходной книги «Ветка сакуры»): у японцев «да» вовсе не означает согласия — лишь подтверждение того, что тебя слышат.

Тем не менее расстались мы не просто дружественно, а нежно и даже обменялись рюмками за прощальным столом, что по японским понятиям является высшим знаком доверия. Во всяком случае, влюбленный в искусство Куросавы, Мацуе был потрясен жестом своего кумира, предложившего совершить этот обряд. Он хорошо сказал в последнем тосте: «Мы оставляем вам Куросаву. Он ничего не умеет в жизни, кроме одного — снимать фильмы. Будьте снисходительны и добры к нему, он беспомощен перед злом».

Прекрасные, благородные слова Мацуе содержали лишь одну неточность: Куросава еще не оставался у нас, он уезжал на родину писать свой вариант сценария. Я же отправился на берега вскрывшейся по весне Десны подмосковной делать свой вариант.

Каждый из нас оказался точен, и в положенный срок мы обменялись сценариями, почти не имевшими точек соприкосновения. Даже странно, что по одному и тому же произведению, фабульно столь нехитрому, мыслью ясному и образно немногозначному, можно сделать два таких различных сценария. А ведь мы не только договорились о главном, но и составили, пусть примерный, план.

У нас не совпадали взятые из книги эпизоды, а если мы даже брали один и тот же кусок, то непременно не там его ставили, не так освещали и не к тому вели. Отсебятина — у меня ее было неизмеримо больше, — конечно, совпасть не могла. И у нас появились два разных Дерсу и два разных Арсеньева. Наконец — и это ничуть не унижает Куросаву — в его варианте густо цвела развесистая «клюква». Потому он и согласился на советского

соавтора, чтобы тот правдиво и достоверно сделал все связанное с русским обиходом, но сценарист пошел значительно дальше.

Видимо, поначалу Куросава все-таки не понял размеров бедствия. Он знакомился со сценарием на слух, в дни нового Московского фестиваля, гостем которого был. Наша славная Доля читала сценарий и с ходу переводила. Но ведь и в самом прекрасном переводе разве поймешь с голоса сценарий, это же не стихи! Подействовало, наверное, и то, что сценарий в Москве дружно всем понравился, в том числе и созданной к тому времени съемочной группе. Куросава не мог заподозрить своих сотрудников в предвзятости — они пошли к нему на трудную, сложную, с мучительно долгой, суровой экспедицией картину не по приказу, а из любви к его творчеству — никого не принуждали, даже не уговаривали, в том не было нужды. Мы решили, что, пережив легкое потрясение, Куросава в целом принял мой сценарий, похерив свой. Уезжал он снова в благорастворении воздухов и вдруг нежданно-негаданно прислал новый вариант, как ему казалось — «сводный». Тут настала очередь удивляться нам. Да, режиссер значительно перестроил свой сценарий, ввел ряд эпизодов из московского варианта, в том числе и отсутствующие в книге Арсеньева, да, он сделал известное движение в сторону большей занимательности, драматизма, но, как ни странно, сохранил в неприкосновенности всю «клюкву», фрагментарность, замедленность действия и неприемлемый тон расположения к непрошеным зашельцам русской тайги, что противоречит основному направлению книги. Патриот и офицер Арсеньев считал священными границы своей родины. В довершение всего Куросава написал, что это окончательный вариант, речь может идти только о редактуре.

В нашем стане воцарилось глубокое смущение. Пошли унылые разговоры о таинственной и непостижимой японской душе…

Но душа душой, а фильм надо ставить. К тому времени уже была выбрана натура — Куросава и Мацуе с частью группы ездили в Уссурийский край, — собран огромный этнографический материал, сделаны фотопробы. Надо было срочно вылетать в Японию и на месте все улаживать. Вот я и полетел…

Все знакомые японцы допытывались: заметил ли я, как за время моего отсутствия изменился Токио. И были странно разочарованы, когда я совершенно искренне говорил, что не замечаю особых перемен. При этом японцы отнюдь не ждали от меня комплиментов своей энергично строящейся и развивающейся столице, напротив, они хотели, чтобы я ужасался

и соболезновал несчастным жителям «самого перенаселенного, бензинового, сумасшедшего города в мире». Но Токио наградил меня столь сильным впечатлением в первый мой приезд, что я стал устойчив к его обыденным чудесам. В тот раз я приземлялся под тайфун, разразившийся во всю мощь, едва я занял номер в «Принс-отеле». Боже, что творилось за окнами! Вырывало деревья из земли, сдирало с цепей урны, на открытой террасе кафе опрокидывало пальмы в кадках, взметало на воздух соломенные кресла и столики, над площадью пролетали, раскорячась, кошки и собаки, опрокидывались автомобили, словно им делали подсечку. Надсадный вой проникал сквозь кондиционер и заглушал голоса, небо стало черным с вороненым выблеском. А в нынешний кроткий пасмурный, с голубыми промельками осенний денек серый и какой-то печальный город спокойно входил в душу. Я не ощутил даже, что движение на его нешироких улицах стало напряженнее и гуще, а воздух душнее, что еще меньше неба оставили жителям каменные громады.

Токио взял свое поздно вечером, когда я вышел на Гиндзу, возле которой находился мой «Империал». Токио — ночной город. В еще большей мере, чем ультрасовременная Осака, приучен он к безумству ярких огней. Конечно, я имею в виду определенные районы города, такие, как Гиндза, Синдико, Асакузи. Остальной же неохватный город, где в крошечных и частых, как ячейки сотов, зыбких домишках ютится более десяти миллионов человек, никак не меняется с наступлением ночи. Он просто задергивается тьмой, чуть просвечиваемой из-за штор семейной лампой.

В стране переизбыток дешевого электричества (гидростанции), которое с бесшабашной щедростью расходуется на неоновую рекламу, освещение витрин магазинов и кафе, подъездов, общественных зданий, подступов к местам веселья, создание всевозможных искусственных солнц, комет во славу великих фирм — хозяев страны. Один концерн «Мицубиси» поглощает по ночам на рекламы и световые табло больше электричества, чем город средней величины.

В Синдико — квартале веселящейся молодежи, хотя тут полно людей на возрасте, знающих толк в молодых удовольствиях, где теснятся бесчисленные бары — с музыкой и без музыки, с японской, китайской, корейской и даже русской кухней, с профессиональными певцами и самодеятельностью из числа посетителей, с приторно-ласковыми бар-герлс, в Синдико, где смердящие прогорклым оливковым маслом и соей обжорки не без успеха соперничают с дорогими ресторанами и зазывалы мелких стриптизных заведений стараются перекричать зазывал

турецких бань (за распахнутыми дверями мелькают голоногие мойщицы), где подозрительные фотоателье, массажные и педикюрни скрывают свое истинное лицо за безобидными вывесками, — в этом Синдико целые улицы, площади, перекрестки залиты ослепляющим, переливающимся, меркнущим лишь с рассветом и будто звенящим золотом. Откуда звень — не знаю, может быть, то выплески музыки, пения, смеха, голосов… Неповторимое Синдико уверенно плывет на гребне музыкально-световых волн.

Токио восхищает и ужасает в одно и то же время, но это двойственное чувство не обязательно охватывает тебя сразу — к огорчению японцев, желающих мгновенной острой реакции. Впечатления скапливаются исподволь, количество переходит в качество.

Возможно, летний Токио, каменный, бетонный, плавящийся в тридцатипятиградусной жаре, почти лишенный зелени и вовсе лишенный зеркала воды, задернутый маревом от выхлопных газов (на регулировщиках — противогазные маски), производит иное, мгновенное в своей убийственной завершенности впечатление, нежели нынешний, погруженный в мягкую, ясную, сухую, ласковую осень. Мне досталась благословенная пора. И все же метро и улицы в часы «пик» с густой, одержимой, неумолимой толпой, заторы на перекрестках и площадях и, еще хуже, на односторонних автострадах, проложенных вровень с крышами домов, когда даже человек, начисто чуждый клаустрофобии, испытывает отчаяние безвыходности, заторы, которые не рассасываются часами, а когда машины наконец двинулись, то ползут черепашьим шагом, и вдруг становится нечем дышать, и шоферы включают эйркондишен и требуют закрыть окна, — все это возводит здешнее бытие в ранг кошмара.

Из-за жары и духоты чудовищно разросся подземный Токио, дышащий с помощью кондиционеров. Переходы метро и уличные подземные переходы превратились в обширные кварталы с магазинами, киосками, кафе, барами, ателье, почтовыми и банковскими отделениями. Отсюда есть и выходы в крупнейшие магазины. Человек может жить летом, почти не появляясь на раскаленных улицах. И, постигая эту жизнь не восхищенным умом, а смущенной душой, ты обнаруживаешь, что уже начали сбываться мрачные пророчества Герберта Уэллса и еще более мрачные — Алексея Ремизова, видевшего нашего далекого потомка в виде крота-дикобраза, полуслепого земляного жителя, с медвежьим косоступием и страшным косматым сердцем, забывшего о небе и светилах. Да, в Японии воочию видишь, каких успехов может добиться рядовой, обычный, в меру

одухотворенный, трудолюбивый и дисциплинированный человек в борьбе против самого себя. И до чего же пластичен человек! Чудовищно загрязнив воздух, он уходит под землю, деловито и безропотно осваивает кротиную науку. Такие вот победы над своей сутью, ведущие к окончательному поражению, ненавистны Акире Куросаве. Всей своей страстной душой хочет он вернуть человека к достоинству жизни в природе. Вот что такое для него «Дерсу Узала»! Через облик и судьбу самого современного среди мировых городов я стал лучше понимать моего упрямого соавтора…

* * *

Через несколько токийских дней меня неудержимо потянуло к чему-то мягкому, шерстяному, из живой теплой жизни. И как только выдались безрабочие часы, я помчался в зоопарк, раскинувшийся по холмам на краю города.

Великолепен обезьянник для некрупных бандарлогов, дающий большую свободу беспокойному племени. Он представляет собой искусственное нагромождение серых скал, по-моему, из бетона, отделенных от борта ровиком с водой. Выбраться обезьяны из своего загона не могут, да и не пытаются. Жизненного пространства им хватает, а конструкция скал — с падями, кручами, выступами, провалами — дает не меньшую возможность для акробатики и сумасшедшего движения, нежели тропическая чаща. Впрочем, так кажется мне, а какого мнения сами обезьяны о своей неволе — сказать трудно. Во всяком случае, ведут они себя непринужденно и независимо. Не позируют для зрителей, не попрошайничают, а носятся как угорелые, дерутся, орут, скалят зубы, ищут друг у друга блох, жадно выедают мякоть из бананов и апельсинов, брезгливо отшвыривают кожуру, валяются, дурачатся, спят и с азартом предаются любви. В вольере полно молодняка — от ползунков до юношей мятежных.

Старые вожди сидят истуканами, но порой, вспомнив, что нужно поддерживать свой авторитет, отпускают пару молниеносных и оглушительных оплеух подвернувшемуся под руку подданному. Наличие провинности вовсе не обязательно, предполагается, что каждый в чем-то подспудно виноват, ну хотя бы в мыслях.

Большие обезьяны — гориллы, шимпанзе, орангутанги — находятся в поместительных клетках с прочной решеткой. Причем у молодых горилл перед клеткой расположен небольшой

вольер, где они кочевряжатся на потеху публике. Их нарочито дурашливое поведение рассчитано на получение мзды. Животных разрешено кормить, и в киосках продается различный корм. Известно, что за все время существования зоопарка в хлебцах и пончиках не оказалось ни гвоздя, ни безопасной бритвы, ни иголки, ни штопора.

Поражает обилие детей. В Японии всюду, где есть трава и хоть какая-то возможность для прогулки, видимо-невидимо детей. Здесь настоящий голод по зеленой жизни. В Токио, как уже говорилось, почти нет растительности, исключение составляют чахлый городской парк в центре и территория императорского дворца. На улицах — ни деревца, а в крошечных двориках — традиционные японские садики, созданные кустиком, несколькими цветочками, каменным фонарем на яркой нашлепке мха, двумя-тремя серыми камнями и плошкой с водой. Эти трогательные, милые и жалкие садики — тоже знаки тоски о богоданном и утраченном мире.

Куда ни глянешь, всюду чернеют разогретые солнцем, будто наваксенные головенки: у клеток и вольеров, среди кустов и деревьев, на площадках для отдыха, у киосков, в траве, на скамейках, в колясках, за спиной у матери.

Был час обеда, и все дети подкреплялись из картонных или бумажных коробок: что-то мучное и молочное, иногда рыбное и непременно рис и сладкое: крем, желе, взбитые сливки, бисквиты, кексы. Для расправы со всей этой снедью каждый обеденный набор содержит палочки, ложечку, ножичек. Прибор по использовании выбрасывается вместе с красивой шуршащей оберточной бумагой, картонкой, бумажными салфетками и пустыми бутылочками из-под коки, оранжада, лимонной шипучки в проволочные переполненные корзины — горы цветастого, живописного мусора хорошо вписываются в пейзаж.

Это банальность — говорить о том, как любят детей в Японии. День детей — самый главный японский праздник. Но о том, как умна эта любовь, стоит сказать. Никакого сюсюканья, тетешканья — серьезное, уважительное отношение, и всегда ровное — дети не должны отвечать за перепады взрослого настроения. С самого раннего возраста детей приучают к самостоятельности и ответственности за свои поступки. И живость, непосредственность, раскованность маленьких японцев никогда не переходит в ломучую перевозбужденность.

Гордость зоопарка — львятник. В самом центре зверьевою мира выделен клочок редкого леса и обнесен рвом с высокой стеной. По лесу вьется асфальтовая лента шоссе. А в лесу обитают львы — десятка полтора, не считая родившихся в зоопарке

детенышей.

Львы лениво бродят по редняку, мелькая золотой шкурой в припыленной зелени; царственно развалившись на шоссе во всю длину, мешают движению автобуса. Да, по этим крошечным и редким, как расползшийся шелк, джунглям ходит автобус с зарешеченными окошками. Получается зоопарк навыворот: львы — на воле (весьма относительной, конечно), посетители — в клетке. Примерно как в кенийских заповедниках, только в миниатюре.

На таком автобусе отправился в путешествие и я. Посадочная станция находится с края львятника и соединяется с широким миром посредством герметически закрывающихся массивных дверей, приводимых в действие током. Закончив экскурсию, автобус входит в тоннель, занимая всю его ширину, с таким малым допуском, что и плоскому фанерному льву не протиснуться. Ворота за ним задвигаются, дверцы автобуса открываются, и пассажиры выходят. А из тоннеля с другой стороны впускают следующую партию. Все занимают свои места, и тем же порядком автобус отправляется в страну львов.

Начинается увлекательное путешествие по петлям и виражам шоссе. Львы настолько привыкли к автобусу и к ликующим за толстыми, забранными решеткой окнами наблюдателям, что не обращают внимания на шумное вторжение чужой жизни. Иной раз водитель с минуту отчаянно сигналит, чтобы заставить песочного занеживегося под солнцем гривастого красавца хотя бы повернуться на другой бок и дать проезд. Котята так же равнодушны к безвредному металлическому чудищу, как и умудренные опытом родители. Значит, нет, вопреки всем утверждениям Киплинга, врожденной и неодолимой ненависти и до тошноты брезгливости чистого зверя к человеку с его человечьим духом!

В траве алели шмотья свежего мяса — львов кормят досыта. В особом загончике обитала львица с новорожденными, а счастливый отец растянулся поблизости, как-то неимоверно удлиненный — гордостью, что ли? — от кисточки хвоста до кончика носа.

А потом было ужасное видение. На вершине холмика лежал в классической позе каменного льва — передние лапы вытянуты вперед, задние напряженно подобраны, голова дозорно вскинута — больной лев. Его морда, то ли с сощуренными, то ли с вытекшими глазами, была вся в болячках, гнойно-кровавых струпьях. У прокаженных в последней стадии болезни появляется «львиная морда», наверное, такая вот — распаханная, разъязвленная, в запеках.

Однажды в Кении я тоже видел льва с исколотой, кровоточащей мордой. Мне сказали, что его покалечил дикобраз. Лев не может справиться с иглоутыканным ничтожеством, но и отступить в гордой ярости тоже не может.

Но откуда в львятнике взяться дикобразу? Может, льва привезли уже пострадавшего в схватке и раны нагноились? Но разве станут ловить увечного льва? Или это какая-то львиная болезнь? Но почему его держат с другими, здоровыми львами? Не знаю. Одно знаю: слепой беспомощный лев живет среди сильных, хищных соплеменников, в положенное время забирает свое мясо и дожирает, и никто не пытается лишить его положенной доли, никто не преследует, не обижает калеку. Эх, если б и у людей было побольше такого вот — львиного!

Работа продолжается. Точно в назначенное время за мной приезжает «связной» — скромный молодой человек в очках, не знающий ни слова по-русски, но добивающийся от меня всего, что нужно, робкой до боли, далекой улыбкой, и мы едем в «Акасаки-Принс-отель», где уже поджидает Акира Куросава со своим штабом: вторым режиссером Тэруйо Ногами с трогательно нежными девичьими ладонями и мужским упорным, решительным характером, ассистентами: бесстрастным, молчаливым Норио Микошима, похожим на индейца, бледно-смуглым: Тамоцу Кавасаки, выпускником ВГИКа, он прекрасно владеет русским, но почему-то наотрез отказался от обязанностей переводчика. На столе бумага, остро очинённые карандаши, кока-кола, вода с лимоном и льдом, орешки, которые я всегда съедаю один (к сожалению, я заметил это лишь в последний день на последнем орешке). В положенное время нам подают черный кофе, а к исходу рабочего дня, когда силы слабеют, холодное пиво. Меня удивляла математическая точность обстава наших встреч. В дальнейшем я убедился, что это основа основ японского стиля работы в любой области: в офисах, на предприятиях, в журналистике, на транспорте, в сфере обслуживания. Как же непохожа эта по секундам выверенная точность на ту безалаберщину, которую Шаброль почитает сутью японской жизни!..

Мы уже достигли известных успехов: выпололи всю «клюкву», оснастили сценарий достоверными русскими именами, песнями, поговорками, русской повадкой, что-то сократили, что-то развили, перестроили, — все это необходимо, без всякого сомнения, но мы знаем, что не тут собака зарыта, и словно оттягиваем решительный разговор. Вернее, мы заводим его, но сразу же прячемся по своим норам. Мы боимся порвать какую-то тонкую нить, ждем чего-то — знамения, огненных письмен или

внутреннего посыла, чтобы перейти незримую черту. А может, мы надеемся избежать кровопролития, прийти к согласию каким-то неведомым путем?..

Но и на периферии главной темы нередко возникают ожесточенные споры. То и дело переводчик объясняет: «Совещание!» — и тут же японцы склоняются друг к другу и быстрыми, птичьими голосами начинают насвистывать сердитую песню несогласия. Можно подумать, будто Куросава ни один вопрос, даже пустячный, не в силах решить без своего штаба. Но я почему-то не верю в эту коллегиальность. Для чего-то ему надо, чтобы они выговорились, но решение он принимает единолично. Несколько раз случалось, что после особенно возмущенного свиста — больше всех старалась Ногами — мне вдруг говорили: «Принято!»

Неожиданным камнем преткновения оказался юмор. Книга Арсеньева весьма им небогата. Когда-то Томас Манн сказал о Стриндберге: «Подобно многим высоким душам, он был лишен чувства юмора». Это можно отнести и к Арсеньеву, и, думается, к Акире Куросаве. Я не ахти какой шутник, но все же попытался чуть оживить улыбкой элегический настрой нашего сценария. Как ни странно, Куросава очень доброжелательно принял все мои юмористические потуги, но поправил так, что смешное исчезло. Вернее, юмор стал как-то уж слишком ребячлив и наивен, как в мультфильмах для малышей. Возник очередной спор, и в разгар дебатов и пересвиста «японской стороны» я случайно сел на листок с записями. Поднялась суматоха. Наконец листок был обнаружен… подо мной. Японцы смеялись до слез, до изнеможения, минут пять мы не могли вернуться к работе. Очаровательно-беззащитно, по-детски, взахлёб смеялся суровый Куросава. И я вдруг увидел, каким он был славным мальчиком. У каждого народа свое представление о смешном, но все же я рад, что отстоял в сценарии наше, русское. Мне думается, эту уступку Куросава сделал в благодарность за наслаждение смехом, которое я ему предоставил…

* * *

На ближайший уик-энд гостеприимные хозяева запланировали нам с женой маленькое путешествие в Камакуру и Иокогаму, на берег океана.

Это недалеко, и мы поехали машиной. Часть пути пролегала по новой магистрали, проложенной на высоте пяти-шести этажей. Влево от нас, внизу, в провале, лепились сколько хватал глаз

крошечные двухэтажные домики, и казалось, им так же тесно и душно, как их насельникам в метро в часы «пик». И банальная, но оттого не менее приставучая мысль сверлила мозг: обитатели этого человечьего муравейника создали и это поднебесное шоссе, и мелькающую на горизонте громаду корпусов концерна «Мицубиси», и все чудеса современной жизни, весь переизбыток материальных ценностей, а себе и своей семье выгадали лишь муравьиный закут. Какое терпение, какое послушание или же какое незнание собственной силы лежит за этим?..

Замечательные дороги, отличные машины, великолепные скорости, а короткий путь до Камакуры — километров сорок — превратился в долгое и мучительнее путешествие. Виной тому бесчисленные пробки, которые не объедешь, не минуешь. А по сторонам — нескончаемый город, и не поймешь, где кончился Токио и начался Кавасаки, кончился Кавасаки и началась Камакура. Лишь по йодистому запаху океана мы поняли, что уже близки к цели.

В Камакуре — дивные храмы, темный, будто прокопченный, великан Будда, внутри — винтовая лестница, позволяющая подняться в голову бога и глянуть сквозь пустые щели глаз на храм, сад, толпы людей и деревца, покрытые вместо листвы клочками бумаги с молитвами. Посетители ведут себя в теле Будды непринужденно: курят, лижут мороженое и отшвыривают обертку. Можно ли уважать бога, внутри которого допускается такая свобода?

Настоящее счастье настало, когда мы достигли берега океана, бухты о пустынным и порядком замусоренным пляжем с глянцевитым заплеском, с далью, островом на горизонте, с парусами рыбарей, с благодатью не заполненного человеком пространства.

И был еще замечательным ихтиологический музей, а при нем — дельфиний и тюлений цирк. В огромном бассейне дельфины и два тупомордых молодых кашалота демонстрируют свою невероятную прыгучесть, ловкость, прекрасный характер и симпатию к людям. Особенно эффектны прыжки сквозь горящий обруч, причем руководит зрелищем и награждает умельцев живой рыбой обезьяна-шимпанзе в красных штанах, байковой рубашке с закатанными рукавами и жокейской шапочке. Все это увлекательно, удивительно и мило — с животными прекрасно обращаются, да ведь и подчиняются дельфины только ласке, они невероятно обидчивы и сразу обрывают контакт с людьми, если встречаются с хамством, но я все время ловил себя на мысли: лучше бы этого цирка не было.

Писатель Виктор Конецкий в своих интересных штурманских

дневниках «Соленый лед» сетует, что человек не вошел в такой контакт с обитателями морей, озер и рек, как с лесным и полевым населением, и что этим, мол, объясняется слишком уж хладнокровное зверство человека над водными жителями. В самом деле, ни одна охота не обставляется так жестоко, беспощадно, как рыбная ловля. Простой рыболовный крючок, вонзающийся в жабры, в глаза, чего стоит! Пуля и дробь куда гуманней. Мы слышим голоса страдания четвероногих и птиц и невольно подчиняемся известным правилам приличия в их убийстве. Но немых и словно бесчувственных рыб, от которых к нам не поступает никакой информации, стесняться нечего, над ними злодействуют без удержу: глушат толом, колют острогами, расстреливают из гарпунных пушек, травят химикалиями, живьем разделывают, швыряют на раскаленную сковородку или в котелок с кипятком. Они молчат. Они не возражают. Теперь мы узнали голоса дельфинов, научились немного понимать их. Мы узнали, что и рыбы (дельфины — млекопитающие) не безмолвны. Акваланги, аппараты Кусто, бурно прогрессирующая техника позволяют нам уходить все глубже в океанскую толщу, все ближе и ближе наблюдать рыб, входить с ними в соприкосновение в их привычной среде.

Но, думается, Конецкий напрасно возлагал надежды, что близкое знакомство породит более джентльменское отношение к рыбам. В той же Камакуре я посмотрел «рыбий» хроникальный фильм и вынес удручающее впечатление. В дальнейшем я видел множество подобных лент по телевидению и с печалью убедился в типичности камакурской продукции.

Сейчас по всему миру распространилась не только подводная охота — весьма жестокая, а и некие овеянные спортивным риском игры с обитателями морских глубин. Прокатиться верхом на подводном жителе, проплыть, держась рукой за его хвост, жаберную крышку или щупальце, в то время как напарник энергично накручивает волнующие кинокадры, ну хотя бы просто дернуть за хвост проплывающую мимо акулу, отчего ее желудок вываливается наружу, так слаб в ней внутренний сцеп, — модная забава состоятельных обормотов и их прихвостней. Появилась когорта подводных профессионалов вроде «белых охотников» на сафари, альпийских проводников или инструкторов горнолыжного спорта в Альпах. Киношники, фотографы, телевизионщики тоже прилежно взялись за «рыбный бизнес». Как были счастливы подводные очаровательные уродцы, мнимо грозные чудовища, а порой и впрямь опасные — акулы (это их святое и справедливое дело, определенное самой природой), пока человек не стремился к слишком тесному контакту с ними. Рыбы

оказались явно не готовы к этому знакомству.

Как жалка была огромная акула, которую красавица в акваланге (под охраной стрелка) дергала за хвост и плавники. Акула и не думала нападать и даже защищаться, она помышляла лишь о бегстве, чему мешал рельеф дна. А замученный другой настырной русалкой скат, такой страшный на вид, такой испуганный и беспомощный перед аквалангисткой! Бедные, бедные рыбы!..

Мне кажется, на сегодняшний день человек, убедившись, что подводные обитатели куда менее страшны, чем ему казалось, еще больше разнуздал свои дурные инстинкты. И если не будут срочно приняты суровые законы и охранительные меры, то несчастные «тигры» морей и все им подобные убийцы — сущие дети перед человеком — будут истреблены под корень. Да и не просто истреблены, а с издевкой, с дурацкой усмешкой, унижающей не их, а суть человека, и без того униженную слабоумным поведением в дающей жизнь среде. Дерсу Узала, Арсеньев, боявшиеся сделать лишний выстрел в еще богатой и населенной тайге, спугнуть вольного зверя, причинить хоть малый ущерб дышащему миру, вернитесь и напомните людям о законе круговой поруки, связывающей всех населяющих землю!..

Забавны, трогательны тюлени, жонглирующие мячами с булавами, вылавливающие из воды разные брошенные туда предметы, кувыркающиеся на гладком бетонном окоеме бассейна, безошибочно ловящие рыбешку, полученную в награду за очередной фокус, умилителен гигантский морской слон с добродушной мордой, облепленной лавой носовой жидкости, когда он вытягивает за кормом свою толстенную и гибкую шею, но есть ли этический смысл в этих представлениях? Тюлени давно уже на арене, а охота на них принимает все более зверский характер, морские слоны не первый год демонстрируют свою умилительную неуклюжесть, а тем временем их извели подчистую. Может быть, стоит отказаться от всякого шутовства с животными, нашими меньшими братьями не в поэтическом, а в биологическом смысле, и воспитывать детей в настоящем уважении к ним, в сознании того, что надругательство над зверем так же аморально, как надругательство над человеком?

…Через Иокогаму, сменившую день на ночь, пока мы ехали ее прямыми улицами мимо кварталов, сплошь занятых китайскими ресторанами, освещенных китайскими фонариками, мимо громадного порта, где дремали на рейде темные печальные грузопароходы, а у причала сверкал огнями кают, гостиных, баров и танцзалов океанский лайнер под английским флагом, мы вернулись в Токио, в свой настолько комфортабельный отель, что

человек, напрочь освобожденный от телесных усилий, в самом деле может превратиться в уэллсовского марсианина, состоящего из одной головы — вместилища мозга, весь остальной телесный состав заменен техникой.

Когда оказываешься в номере, рука невольно тянется к пультику управления телевизором на ночном столике и включает ярко расцвеченный экран. Черно-белые передачи крайне редки, разве лишь когда показывают старые кинофильмы. В первые дни, зная, сколько бед причинил телевизор японскому кино, я с некоторым ужасом поглядывал на большую полированную коробку с голубоватым бельмом экрана. Но затем пересилил себя и выпустил джинна из бутылки…

Здесь семь каналов, по которым с раннего утра допоздна беспрерывно идут передачи. Четыре программы иссякают к двенадцати, началу первого ночи, а восьмая, десятая и двенадцатая работают нередко до четырех утра. Порой в глухую заполночь пускают фильмы ужасов, чаще всего Хичкока.

Что можно сказать о телепродукции в целом? Сначала на ум приходят разные восторженные слова: богатство, разнообразие, яркость, выдумка! Затем восхищение начинает стремительно таять, и в конце концов остается одно: скучно. Да, знаменитое японское телевидение, наделавшее столько бед, едва не погубившее Куросаву и толкнувшее Синдо к порнофильмам, надоедливо, примитивно, аляповато и, главное, скучно. За обманчивой пестротой скрывается назойливое, удручающее однообразие и пустота. Конечно, бывают интересные передачи. Это прежде всего относится ко второй программе государственного телевидения, дающей интересные культурные и общеобразовательные программы. Бывают и хорошие спортивные передачи, научно-популярные фильмы, спектакли театров Кабуки и Но, концерты, политические обзоры, хроника текущих событий. Но ценное, содержательное, талантливое тонет в потоке халтуры, рекламы, доводящей до безумия, скверных и безвкусных мультипликаций, идиотских фильмов для подростков о пришельцах из других миров, побеждающих картонных чудищ, и гольф, гольф, гольф — без конца и без всякой меры. Самый неувлекательный, зрелищно ленивый и снобистский вид спорта буквально полонил голубой экран. Соревнования по гольфу нередко передаются сразу по трем программам. Если же не показывают состязаний, то обучают удару — какой-то среднеарифметический человек без конца замахивается клюшкой и лупит по тугому мячу, чтобы пустить его над поляной, кустарником, буераком и лужей. Это игра для одиночек, к тому же состоятельных. Куда популярней в Японии бейсбол, играют все

— от мала до велика, играют, как бразильцы в футбол, используя любой пустырь и самый примитивный инвентарь. Частый показ бейсбольных соревнований имеет, по крайней мере, основание в его массовости. Все остальные виды спорта куда более редкие гости телевидения.

Спортивная жизнь Японии, коль уж об этом зашла речь, разительно отличается от нашей. У нас наиболее популярны футбол, хоккей, легкая атлетика, коньки, лыжи, баскетбол. В Японии — бейсбол, американский футбол, регби, травяной хоккей. Американский футбол жесток и однообразен: сговор — свалка, сговор — свалка, и так до одури, пока наконец какой-нибудь счастливец не промчится с грушей мяча до положенного места. Этот футбол долго уступал в популярности регби, хоть и похожему на него, но отличающемуся куда большим разнообразием и обилием возможностей. Американизм побеждает не только во внешних формах жизни, в манере поведения, одежде, зрелищах, но и в спорте. Даже древние и любимые народом виды японской борьбы: сумо, дзюдо, каратэ — потеснились перед омерзительным кетчем, завезенным из-за океана. А в последнее время вошел в моду новый вид бокса — с участием ног. Это какой-то сплав нормального бокса с кетчем. Дерутся в обычных боксерских перчатках по правилам и в стойке классического бокса, и вдруг один из боксеров наносит противнику удар по ребрам ногой, тот лягает его, в свою очередь, и тут первый подпрыгивает и кетчевым приемом ударяет его коленками в грудную клетку. Глубокий нокаут. Такой глубокий, что происходит долгая церемония награждения победителя, он получает пышные и безвкусные призы от разных фирм, вазы, кубки, статуэтки, коробки, перевязанные лентами, а побежденный без сознания валяется на досках ринга. О нем забыли, никто не пытается ему помочь, привести в чувство. Профессиональный ринг, как известно, нежностью не отличается, но такого неуважения к спортсмену и наплевательства на человека я не видел даже в Америке. Когда сверхсчастливый победитель пролезал под канатами, чтобы попасть в объятия болельщиков, поверженный боксер очнулся, встал, хватаясь за канаты, и проковылял в свой угол, где висел его халат, но почему-то не было ни тренера, ни менеджера. Неужели на нем так вот сразу поставили крест?

В Японии придумывают все новые и новые виды спорта. Самое последнее изобретение — футбол на велосипедах. Выглядит занятно, но трудно сказать — привьется ли…

Что бы вы ни смотрели по телевизору — спортивное состязание, фильм, пьесу, концерт, — в самый неподходящий

момент вторгается реклама, чаще всего трех фирм: «Сони», «Сейко», «Сантори». Когда демонстрируется фильм, это еще куда ни шло. Художественное впечатление ломается, конечно, но смысл происходящего все же не пропадает. Пока на экране молодые люди с глупыми лицами наслаждаются «Сантори»-виски — «классическим виски Японии», показ фильма прекращается. Исчезла с экрана четырехгранная бутылка, пошел фильм дальше. Но ведь нельзя же остановить спортивное состязание. Идет третий раунд, судьба боя висит на волоске, и тут исчезает ринг — и во весь экран наручные часики «Сейко». Оттикала «Сейко», медовый голос — в который раз — оповестил усталое человечество о несравненных качествах этой фирмы, — вернулся ринг. Но на нем уже другая пара боксеров, и чем кончился предыдущий бой — неизвестно.

Фирмы в своем праве. Они не только приобретают безумно дорогостоящие минуты для рекламы, но и субсидируют передачи: и спортивных соревнований, и концертов, и всевозможных шоу. Это косвенный вид саморекламы. Мы наслаждались зрелищем бескомпромиссной борьбы двух теннисных богов — Лейвера и Розуолла, это устроил нам старик Сантори. Спектаклем театра Но мы обязаны фирме «Сони», а детской передачей — концерну «Марубани». По существу, они хозяева четырех из семи программ телевидения. И если передачи стали однообразными, скучными, порой убогими, то это объясняется пошатнувшимися делами фирм. Даже противники телевидения вроде Куросавы говорят, что несколько лет назад программы отличались несравнимо большей изобретательностью, разнообразием и блеском. К созданию их привлекалось все самое талантливое и яркое в стране, денег не считали. Расцвет японского телевидения отражал невиданный расцвет японской экономики и преуспевание ведущих фирм. Но этот полупаразитарный расцвет — на мыслях, скупаемых по всему свету, так же как скупается сырье, отсутствующее в Японии, — кончился. Нынешний спад объясняется прежде всего отсутствием идей, гибкой технической мысли, способности к решительному обновлению, Япония легко расставалась со своими гениями и талантами — нередко Нобелевская премия венчала японских ученых, но работали они, как правило, в американских исследовательских центрах. Японские промышленники делали ставку не на них, а на высокую квалификацию, дисциплинированность и усердие рядовых исполнителей. Быстро, много, хорошего качества — вот что характеризовало промышленность Японии, но отнюдь не новаторство, озарение. Надо прямо сказать: во главе японской экономики стоят люди с головой, волей, размахом и громадным опытом; очевидно, они

найдут выход из застоя. А как это отразится на японском телевидении — сказать не берусь.

Во что же обошлась стране борьба телевидения и кино? Закрылась самая большая и сильная киностудия «Дайэй». Ее президент, смелый и принципиальный Нозака, с донкихотской наивностью пытался удержаться на высоте искусства вопреки всему и пал под развалинами студии. Другая крупнейшая студия, «Тохо», тоже пытающаяся сохранить лицо, хотя и не так строго, как «Дайэй», еще борется за жизнь. Студия «Тоэй», первая спустившая флаг искусства и ставшая на путь откровенной халтуры — умопомрачительные приключения, чудовища, американизм, постель, — процветает. Уцелели в материальном плане, рухнув в художественном, студии «Никацу» и «Сютике». Первая славилась фильмами о чистой, юношеской любви, в них блистали нежные Юрико Асаока и Саюри Есинга, теперь отсюда льется мутный поток порнографии. Вторая специализируется на псевдоисторических картинах с бесконечной рубкой на мечах — так называемых Якуда-фильмах. Когда-то эти фильмы рисовали образ благородных разбойников вроде Робин Гуда, друга бедных, грозы богатых, но сейчас социальный и гуманный смысл исчез. Остался голый бандитизм.

В настоящее время телевидение, несомненно, победило кинематографию, но это пиррова победа.

Должен со стыдом признаться — горящей кошачьей зеленью в сумраке гостиничного номера глазок телевизора обладает завораживающей, гипнотической притягательностью. Проклинаешь назойливого и смекалистого предпринимателя Тори-сана, догадавшегося создать собственное японское «классическое» виски «Сантори» и наводнившего голубой экран молодыми красавцами, безмерно счастливыми сивушным вкусом его изобретения, а равно скверные мультипликации про банды Симидзу-икко, бодливых быков и шлемоблещущих героев из соседних галактик, смотришь, скрипя зубами, как очередной седеющий джентльмен развернулся — от плеча — клюшкой по мячу, балдеешь от стрельбы, от громкой музыки, но не можешь населить яркий квадрат блаженной и тихой тьмой. Ведь он избавляет тебя от необходимости думать, общаться с собственной усталой душой, помнить о мире со всем его неустройством, о тех, кому скоро уходить, о трудной твоей профессии, о всем, чем обременено перетруженное сознание. Ты свободен от дум, от болей, от забот, от жалости и ответственности, ото всего, ты пуст. Безмятежные волны глупости укачивают, убаюкивают. Крути ручку: улыбающиеся мойщицы турецких бань, рукосуи и ножебои, скрут борцовых тел — игра здоровой человечьей плоти, и

никаких сложностей! Пейте «Сантори»-виски! Живите по часам «Сейко»! Покупайте радиоприемники «Сони»! Все ясно и просто в этом мире. Нет слез и страданий, нет мучительных проблем, ешьте, пейте, стирайте порошком «Таюми», ходите в турецкие бани, бейте в морду и больше гольфа, больше бейсбола, черт возьми, смерти нет, полный вперед!..

Ненависть к японскому телевидению еще больше приблизила меня к миру Акиры Куросавы.

Любопытно, что Шаброль даже не упоминает о телевидении. В номерах, которые снимала ему бедная мадам Мото, не было телевизора. Но оглупленный образ японской жизни, лишенный истинных человеческих тягостей, призрачный в своей нелепости и безмятежном шутовстве, пришел в его книгу будто не из жизненных, а из телевпечатлений. И получается, что он смотрел на окружающее телеоком…

* * *

По желанию Куросавы я посмотрел «Семь самураев». И этот длинный, местами скучноватый фильм снова, как и прежде, потряс меня. И смотрел я этот фильм со всей свежестью первовидения.

Мне вспомнилась «Великолепная семерка», на которой в свое время тяжело помешались не только подростки, но и взрослые, утомленные люди. Мальчишки без устали швыряли ножи и подражали крадущейся поступи Юла Бриннера, взрослые упражнялись в шутливом обыгрывании цифр.

Успех этого фильма во всем мире был куда больше, нежели у породивших его «Семи самураев». Я имею в виду чисто зрительский успех, отношение людей искусства к двум «семеркам» было совсем иным. Наш талантливейший молодой режиссер Андрей Тарковский, начиная новую картину, непременно смотрит «Семь самураев», чтобы «зарядиться», настроиться на высокий лад.

После «Великолепной семерки» звезда Юла Бриннера, игравшего главную роль, поднялась в зенит. В чем секрет его успеха? Юл Бриннер, с круглой, как сыр, бритой головой, отнюдь не красавец, не геркулес, не образец ловкости или силы, не актер нутра, не мастер перевоплощения, и весьма сомнительно — есть ли у него хоть какой-то талант, кроме одного — таланта успеха. Он везде и всегда одинаков: в стэтсоне или в чалме, в котелке или белой, схваченной обручем бедуинской повязке, пеший или оконь, в своем цвете или перекрашенный, современный или из

прошлого — внутренне он не меняется ни на йоту. Такими неизменными не были даже корифеи немого кино, носившие постоянную маску: ни «вечно улыбающийся» Дуглас Фербенкс, ни «роковая» Пола Негри, ни предприимчивый Гарри Пиль, ни романтический Ричард Бартелмес. У них все-таки бывали отступления от стандарта раз выбранного образа, да и образ этот отличался если не глубиной, то неким порожденным временем и социальными условиями смыслом. У Юла Бриннера ничего подобного и в помине нет. А что есть? Привычный набор заурядного киногероя нашего времени: неправдоподобное хладнокровие, медленный взгляд, преувеличенное умение владеть оружием, неуязвимость…

Чем же потрафляет Юл Бриннер современному человечеству? Может быть, тем, что он действительно никакой, а вот смотрите, как преуспел! Может, в его неодухотворенности, обыденности — надежда для миллионов, наполняющих прокуренные кинозалы?..

А какой глубокий образ создал тот пожилой актер, который играл роль предводителя самураев у Куросавы! Тоже с голой, как яйцо, головой — может, это и натолкнуло режиссера «Великолепной семерки» на Бриннера?

Содержание двух картин идентично: крестьяне, подвергавшиеся систематическому грабежу вооруженной банды, нанимают для охраны — в одном случае «безработных» самураев, в другом — авантюристов, умеющих обращаться с оружием. Кстати, не мешает объяснить, что такое «самураи». Это далеко не всегда закованная в железо дьявольская сила, воплощение агрессии. Самураи — кастовое понятие, попросту говоря, профессиональные военные. У нас существует странный фетиш слов. Так, например, неплохо утоляющий жажду, бодрящий, хотя и приторный, напиток типа ситро кока-кола долгое время считался чем-то вроде опиума, каким американские империалисты одурманивают народы. «Самурай» же звучало синонимом воинственной одержимости. Но когда самурай не нападает, а защищает свой дом, он все равно самурай. Когда он побирается по рынкам в надежде получить тарелку супа или горстку риса, ибо его прогнал не нуждающийся больше в вооруженной силе феодал, он все равно самурай. Человек, носящий оружие, ратник, воин — это самурай. Все остальные свойства самураизма, что справедливо означает воинственность, могут быть, могут и не быть у носящего оружие. Человек становится военным вовсе не из желания проливать кровь, захватывать чужое имущество и землю.

Безработные самураи Куросавы отнюдь не кровопийцы, убийство гадко и противно этим прошедшим сквозь многие битвы

людям. Но им надо жить, и съедать свою миску риса, и чистить оружие, чтобы не заржавело, и прикрывать наготу, к тому же у них вызывает сочувствие горестная судьба деревни, замученной бандитами, и они идут на службу к крестьянам. А затем начинается бой, долгий, страшный, беспощадный, где каждый осуществляет себя до конца. В живых остаются трое: предводитель, его помощник и юноша новичок. Все то же самое, хотя и в социальном тумане, происходит в «Великолепной семерке».

Идентичны в картинах и образы героев, и способ предварительных характеристик, и, наконец, заключительная фраза предводителя, когда спасенные крестьяне возвращаются к своему труду, своим песням, своей привычности и разом забывают о чуждых им духом избавителях. «Мы всегда в проигрыше», — говорит Юл Бриннер. В японском фильме эта фраза звучит чуть иначе: «Мы всегда побежденные». Тут есть своя тонкость: в битве самураи победили, но, бездомные и неприкаянные, они ничего не получают от своей победы. Им достается лишь печальная память о погибших соратниках, да и та ненадолго. Супермены «Великолепной семерки» могут говорить лишь о проигрыше, как в картах, но не о поражении. Нищие самураи Куросавы куда проще, правдивее, ближе к черствой сути жизни. Они и вообще-то знают лишь поражения, ибо плодами их победы неизменно пользуются другие, обычно феодалы, как исключение — крестьяне, но все равно наниматели. Военные люди, по существу, так же бесправны, как и не понимающие их крестьяне.

Действие «Семи самураев» происходит в пору, когда Европу потрясла Варфоломеевская ночь, то есть во второй половине шестнадцатого века. И фильм бережно воспроизводит всю обстановку того времени, всю систему социальных связей, общественных отношений. И когда бритоголовый предводитель — видите, я тоже не запомнил фамилии замечательного актера, предшественника счастливца Бриннера, — решает помочь крестьянам, он делает это с большей сознательностью, нежели его соратники. У тех на первом плане нужда и профессия, у этого — глубокая дума о людях, растящих рис. Есть у него ученик, мальчик, тоже чуждый какой-либо корысти, но в нем бурлит юношеский романтизм и жажда огня. Рядом с этим горячим, наивным, влюбленным и доверчивым юношей до чего же туп и беден воинственно-нетерпячий подросток из «Великолепной семерки»!

В фильме Куросавы нет ничего случайного, все подчинено сильной и знающей свою цель художественной воле. И не

случайно оставил он в живых предводителя самураев, его помощника и мальчика. Уцелел самый опытный, испытанный и мудрый воин и самый неопытный, зеленый — смерть нередко щадит таких вот растерянных новичков, уцелел и «самый средний». И это верно по правде жизни. Ведь и неярким, заурядным личностям выпадает порой счастливый номер. Конечно, зрителю куда больше хочется, чтобы смерть пощадила крестьянского парня, силком затесавшегося в отряд самураев (этот чисто японский народный характер блестяще воплощен Мифуне), или старого худого самурая, «великого воина». Но вышел сухим из воды добродушный, улыбающийся средний человек, и это сделало достоверным судьбы двух других оставшихся в живых. Удельный вес этого среднего человека строго рассчитан, такие персонажи скучны на экране. А в «Великолепной семерке» на эту роль взяли знаменитого Макуина, и среднего человека стало неоправданно много. Макуину нечего играть, ему не дано материала, он только надоедно торчит в кадре. И в конце концов прискучивает так, что аж злоба берет, почему он выжил, а более привлекательные люди погибли.

Едва ли не главное достоинство «Семи самураев» — глубокое проникновение в крестьянскую психологию. Куросава с любовью и беспощадностью вскрывает потаенную крестьянскую суть, не позволяющую земледельцам понять и принять людей, носящих оружие. Даже общая борьба и пролитая кровь не в силах сблизить эти чуждые миры. Трагедия непонимания. А выигрывают в результате власть имущие, феодалы. Вот такого социального заряда начисто лишена «Великолепная семерка». Но битый идейно и художественно американский фильм все же «унес кассу»…

* * *

К очередному уик-энду мои хозяева разработали для меня новый увлекательный маршрут. Расстояния в пределах Хонсю, хоть это и крупнейший из образующих Японию островов, невелики, а поезда идут со скоростью 150–200 километров в час. Это удивительные поезда, будто насаженные на широкий и толстый рельс, с мягкими откидными, как в самолете, креслами, которые к тому же можно поворачивать по и против движения, с кондиционированным воздухом и прекрасными буфетами. На этот раз мне был предложен классический и однажды уже проделанный мною маршрут: Токио — Киото — Нара. На свой страх я решил прихватить Осаку, вознесенную всемирной

выставкой в ранг лучшего из современных городов Японии. Я не случайно оговариваюсь — «современных», ибо нельзя сравнивать Осаку с Нарой или даже с промышленным Киото, боящимися слишком далеко уйти от своего старинного облика.

В Наре, к слову, была сделана интересная попытка создать новый тип японской архитектуры: большие, высокие, технически оснащенные здания несут в своем рисунке, форме крыши, членении этажей что-то от древней пагоды. Уже в первый мой приезд, восемь лет назад, близ вокзала стали два великолепных дома, чудесно вписавшихся в зеленую, нерослую, населенную непуганными оленями старинную Нару. Я был уверен, что градостроители пойдут дальше по этому пути, и с разочарованием обнаружил, что домов в стиле пагоды так и осталось два. Быть может, есть что-то незаконное с точки зрения строгого вкуса в этих прививках старины современной архитектуре? Судить не берусь. А дома снова восхитили меня.

Куросава особенно настаивал на том, чтобы я побывал в «философском саду» Рюандзи в Киото. Я сказал, что был там однажды. Куросава внимательно и как-то грустно посмотрел на меня и ничего не сказал.

Оказывается, можно быть — и не быть, видеть — и не видеть. Своей тогдашней неготовой душой я не высмотрел в философском саду ничего, кроме зеленого прямоугольника травы с несколькими грубыми камнями.

Поэты и путеводители немало витийствовали но поводу философского сада, пытаясь увидеть в серых камнях, торчащих из зеленой низкой травы, то вершины гор над пеленой облаков — образ, навеянный Фудзиямой, чей снежный кратер постоянно скрыт за густыми облаками и зрим легче всего с самолета, то океанское дно на недоступных человеку глубинах. Но ни вознесение в заоблачную высь, ни погружение на дно морское ничего не объясняют в тайне печальных камней на матово-зеленом фоне, освобождающих вмиг полегчавшую и утешившуюся душу от всех бытовых тяжестей, мелких изнурительных забот, возрастной омраченности. Душа становится как звезда — чистой, ясной и задумчивой. И ты постигаешь вдруг, что не надо бояться, есть великий покой, и он не минует тебя, и удел смертного человека не трагичен, а благостен. Присев на деревянную скамью возле зеленого прямоугольника и серых, не отбрасывающих тени камней, ты словно пригубляешь чашу последнего умиротворения.

Какой независимой, дерзкой и глубокой сутью обладал старинный мастер, какой верой в способности человека к постижению чужих снов, если он в свое сумеречное время с непревзойденным лаконизмом создал такой сложный символ. Но

об этом думаешь уже позже, покинув философский сад и углубившись в храмовый лес, раскинувшийся по режуще-зеленым пышным мхам, а там ты был избавлен от суеты дум, как и от суеты чувств. Ты жил какой-то первозданной субстанцией, той, что древней и глубже души, проникновенней и мудрей сознания.

И куда ближе стал мне, мой трудный соавтор. Наконец-то сумел я ступить в его тишину, не тишину безучастия, сна, отрешенности от человеческих бурь, а тишину великой сосредоточенности на главном. Я понял, как не нужно внешнее напряжение событий в нашем сценарии, хотя, должен сразу оговориться, никто не тянул Куросаву к «остерну». Если есть «вестерн», то почему бы не назвать «остерном» приключенческий фильм на материале Дальнего Востока?

Но я нашел в других источниках (не в «Дерсу Узала») такой густой и сочный материал о странствиях Арсеньева по Уссурийскому краю, что, естественно, захотел включить его в наш сценарий. Это тем более законно, что сам Дерсу — образ собирательный, вобравший черты трех проводников Арсеньева, хотя был и настоящий гольд Дерсу Узала. Но ведь почему-то Арсеньев пренебрег этими бурными, порой окрашенными кровью, жестокими, разбойными похождениями? Наверное, душе Арсеньева так же претил грубый, вульгарный шум перенапряженной внешней жизни, как и душе Куросавы. Ему хотелось глубже, пристальнее вглядеться в тихую жизнь, хотелось зеленой малости и серых валунов и чтоб в них отражалась вечность.

И когда я с полным внутренним правом и убежденностью, что поступаю правильно, сделал решительный шаг навстречу Куросаве, тот ответил таким же широким шагом навстречу мне. Он как-то разом признал, что мир не только солнечен или хмур, зелен, желт, багрян или бел, но и социален. И этим он приблизился к той исторической правде, которую несет в себе роман Арсеньева и которая чрезвычайно важна и поучительна в наше время тревог и надежд. На агрессии, на силе не могут строиться отношения ни отдельных людей, ни тем более народов и государств.

В начале работы Куросава говорил, что сценарий должен быть как река. Он получил свою реку, но это не гоголевский Днепр, есть в ней пороги и водовороты…

Так выиграли мы наш сценарий.

…Может возникнуть справедливый вопрос: а не рано ли взялся я за перо? Ведь фильма и в помине нет, съемочная камера заработала только в апреле. И сколько еще пройдет времени, пока фильм выйдет на экран, люди посмотрят его и вынесут свое

суждение. Тогда, мол, и краснобайствуй о вашей «творческой кухне», а до того помалкивай[1]. Нет, это неверное рассуждение. И дело даже не в том, что Куросава просто не может поставить плохого фильма, а в том, что во всей этой истории есть нечто более важное, чем выход хорошего и даже превосходного фильма, — возвращение к жизни и труду выдающегося художника и человека. Вот что уже состоялось, чего не отнимешь. Мир, сыном которого является выходец из самурайской (военной) среды Акира Куросава, отверг, предал его, обрек на гибель. Мир, которого он почти не знал и на чью помощь не мог рассчитывать, протянул ему свою твердую руку. И давайте порадуемся этому, как радовался сам Куросава, когда после торжественного подписания сценария мы всей гурьбой повалили в Синдико, квартал веселящегося студенчества.

Ну а что же Япония?.. Живет, работает, задыхается от духоты городов, протестует, борется, ищет выхода, воспитывает детей, стараясь сделать их лучше и счастливей отцов, думает о завтрашнем дне и не вешает головы. Ничего смешного, Шаброль! Та же серьезность, муки, радости, то же множество нерешенных вопросов, как и на берегах Сены или Луары, а хотите, Темзы, Потомака, Ганга или Волги. Японцы — единственный народ на земле, переживший апокалипсис, справившийся с чудовищным потрясением и нашедший силы для продолжения жизни. Ему нелегко и непросто, а кому просто на нашей земле? Но Япония не отворачивается от мира и вносит свою неповторимую ноту в шум времени.

* * *

А сейчас — я получил горькое письмо от Абе-сана, нашего гида, — Япония переживает худшую с окончания войны пору. Не хватает нефти, погасли огни Гиндзы и Синдико, сделались черными токийские ночи, сбился ритм дневной жизни, защемило души страхом перед будущим…

До новой встречи, Аллан!

Литературный портрет

Не помню уж, в каком году, но где-то в конце пятидесятых, мне передали просьбу известной переводчицы с английского Риты Райт посмотреть ее перевод охотничьего рассказа австралийского писателя Аллана Маршала. Рита Райт сомневалась в охотничьей терминологии. «Вы получите удовольствие, — сказали мне, — Маршал очень хороший писатель».

Незадолго перед тем я познакомился с приезжавшим в Советский Союз австралийским рассказчиком Джоном Моррисоном и по-человечески влюбился в этого серьезного, глубокого, доброго и мрачноватого человека, напоминавшего героев Генри Лоусона — бродяг и стригалей.

Но Джон Моррисон никогда не бродяжил и не стриг овец на фермах. Правда, ему довелось быть и докером, и рабочим, а в пору нашего знакомства для поддержания жизни, которую новеллистика в Австралии не обеспечивает, он священнодействовал в розарии какого-то мельбурнского богача. Рассказ Джона Моррисона «Тебе Маргерит», опубликованный в «Огоньке», до сих пор представляется мне шедевром рассказовой литературы. «Лучше Моррисона?» — ревниво спросил я тогда. «Смотря на чей вкус, — последовал дипломатичный ответ, — но много популярней». Несколько обиженный за Джона, я все же взялся посмотреть рассказ. Просьба переводчицы мне льстила. Незадолго перед этим я приобщился к утиной мещерской охоте и опубликовал свои первые охотничьи рассказы. И вот ко мне уже обращаются как к признанному авторитету, было от чего возгордиться. Помню, в рассказе оказались две-три неточности, кроме того, я обогатил перевод словом «козырять». Но не тем, разумеется, значительна для меня встреча с прозой пусть и популярного в Австралии, но тогда вовсе неизвестного мне писателя. Прекрасен, высокогуманен был этот крошечный, страниц на восемь, рассказ, заставивший меня усомниться в собственных охотничьих воззрениях. В ту пору я исповедовал веру Хемингуэя: дичь создана для того, чтобы на нее охотились. Эта точка зрения соблазнительна для молодого охотника, самозабвенно отдающегося извечной мужской страсти, она снимает моральные запреты, ограничения, всю ту рефлексию, которую современный человек привносит в каждое дело. В моих

рассказах охоты были так же результативны, как и в действительности на богатых тогда Мещерских озерах, ныне печально оскудевших. В охотничьей литературе, не аксаковской давности, а современной, считается дурным тоном упоминать о добыче, надо делать вид, будто ее вовсе не было. Мол, не в трупах животных дело, а в единении с природой, самораскрытии человека в естественной среде и т. п… Хемингуэй открыто презирал подобное лицемерие. Не в подражание ему, а в соответствии со счастливой охотничьей практикой тех дней я живописал удачные, добычливые охоты.

Герой рассказа Маршала — озерный егерь. В день открытия охоты он наблюдает, как в строгом соответствии с правилами городские охотники, сидя в бочках, разбивают утиную стаю. Пусть стая велика, но уток на озерах осталось куда как мало, и егерь мучается, слыша ликующие вопли охотников: «Моя утка, моя!» Водит стаю, козыряющую с берега на берег, старый, матерый селезень, и егерь молится в душе, чтобы тот осилил инстинкт и вылетел за роковой круг. Тогда не все еще пропало, восстановится утиное племя. Но вот казавшиеся обреченными птицы прорываются за огневое кольцо в тишину чистого неба, и егерь кричит торжествующе: «Мой селезень, мой!»

Уже тогда, при первочтении, почувствовал я, что правда маршаловского егеря выше, человечнее, нужнее миру, нежели мужественная прямота Хемингуэя, безоговорочно принимающего от века существующий устав: есть дичь и есть охотники. И никаких мерихлюндий — стреляй, пока крепка рука и верен глаз. А начнешь разводить подранков, зачехляй ружье.

Аллан Маршал давно понял, к чему это приведет. Ныне охота потеряла даже ту видимость спортивности, какой она обладала два десятка лет назад. Тогда еще можно было тешить себя иллюзией некоего равенства шансов: смертоносному огню птица и зверь противопоставляют свою хитрость, быстроту, навык защиты, в некоторых случаях даже силу. Охотнику надлежало быть собранным, терпеливым, выносливым, хладнокровным, мужественным — вот сколько качеств требовалось, чтобы принести с охоты утку или зайца, не говоря уже о лосе или медведе. Слишком далеко шагнула техника. На мещерской охоте, ставшей до отвращения барской, признают только скорострельные карабины с удлиненными стволами. Мой репарационный «зауэр» производит жалкое впечатление, словно кремневое ружье. Я брал дичь на сорок-пятьдесят метров, чтобы не делать подранков. «Карабинщики» лупят очередями по стаям, проходящим в восьмидесяти-ста метрах. С двух выстрелов и промахнуться немудрено, эти скорострелы после каждой очереди

непременно сбивают хотя бы одну утку. Да еще скольких калечат, превращая в добычу для ондатр, лисиц, коршунов, в источник заражения водоема. А дичи мало, ох как мало!.. И, ей-богу, лучше лишить себя дивных апрельских зорь и августовских закатов, чем участвовать в убийстве, уничтожении утиного племени. А ведь так же изводят и болотную, и боровую дичь, и лис, и зайцев, и медведей — мир природы нищенски обеднел.

Бывает, хотя и не часто, что животных в данной местности оказывается больше, нежели может прокормиться, что изобилие их нарушает нормальную жизнь леса, водоема, вредит сельскому хозяйству. Тогда охота просто необходима. Но не о такой охоте идет здесь речь.

Читатель, наверное, в недоумении — взялся рассказать об Аллане Маршале, а завел об охоте. Что поделать, если разговор об этом австралийском писателе неотделим от разговора об охоте, лесе, зарослях, птицах, лошадях, детях, обо всем, что нуждается в защите, ведь Аллан Маршал прежде всего защитник всех слабых, угнетенных, будь то загнанное зверье, искалеченное дерево, плачущий ребенок или австралийский абориген с ночью в темно-влажных глазах.

Полюбив Маршала после первого прочитанного рассказа, я мечтал познакомиться с ним, сходить на рыбалку и на охоту — нужную, справедливую охоту. Он рисовался мне под стать своему егерю — большим, сильным, добрым человеком, с могучими мышцами, светлым разумом и умным сердцем.

Прошло какое-то время, и однажды вечером в Центральном Доме литераторов переводчица Оксана Кругерская предложила мне познакомиться с Алланом Маршалом. «Он рядом, за стойкой». Мы прошли в бар. Взгляд быстро обежал лица завсегдатаев и не задержался на единственном незнакомце в мятом сером костюме — маленьком, скрюченном, с кнопкой слухового аппарата в правом ухе. Машинальными движениями он все время хватался за прислоненные к стойке костыли. «Познакомьтесь, — сказала Кругерская, — Аллан Маршал — Юрий Нагибин». Калека быстро обернулся, поправил сползшие на кончик носа очки, оперся о стойку бара и скользнул с высокого табурета вниз, став ростом с ребенка. Левой рукой он взял костыли, правую, горячую и сильную, протянул мне.

Подошла высокая, крепкая девушка и что-то требовательно, даже резко, сказала человеку на костылях — я все еще отказывался верить, что это и есть Аллан Маршал.

— Моя дочь, — сказал Маршал и с улыбкой добавил: — Одна из двух.

Кажется, то была старшая, Гепсиба, но не отдам голову на

отсечение, что я не был представлен младшей, Дженнифер.

— Пойдемте за мой столик, — предложил я, все еще пребывая в тяжкой растерянности, потому что требовалось срочно переосмыслить многие представления, а я не был готов к такому душевному и умственному усилию. — Выпьем…

Гепсиба — но, может, Дженнифер? — обрушила на меня много австралийского диалекта, из которого я понял лишь, что пить вредно.

Аллан ничего не сказал, только пожал широкими плечами, бросил вперед костыли, шагнул им вслед живой левой ногой и подтянул бессильно болтающуюся, полностью парализованную правую. В поставе верхней половины туловища был приметен перекос — болезнь, называвшаяся в старину детским параличом, а сейчас полиомиелитом, затронула и позвоночник.

Историю своей болезни и преодоления ее Аллан Маршал с редкой откровенностью, простотой и достоинством описал в замечательной автобиографической трилогии: «Я умею прыгать через лужи», «Это трава», «В сердце моем». Первая повесть посвящена детству. Аллан родился крепким и здоровым мальчиком, его отец, объездчик лошадей, сказал: «Я сделаю из него бегуна и наездника. Клянусь богом, сделаю». Он не сделал из сына бегуна, а наездником тот действительно стал без чьей-либо помощи, и хорошим драчуном, и охотником, и рыболовом, и путешественником, и великим борцом за честь природы и человека; и одним из лучших австралийских писателей. Но когда Аллан, только что пошедший в школу, заболел детским параличом (эпидемия вспыхнула в штате Виктория и начале девятисотых годов), даже самые близкие люди считали, что резвому, любознательному, веселому мальчику предстоит отныне не жизнь, а прозябание. Иначе считал лишь сам больной. Привыкший с младенчества восхищаться лошадьми, совершеннейшим созданием бога, любивший собак и птиц, таких стремительных и быстрых, этот прикованный к больничной койке мальчик решил одолеть недуг, вернуть способность двигаться, более того, вновь научиться прыгать через лужу. Для этого надо было справиться с непослушным телом, с болью, страхом, с расслабляющими и бестактными соболезнованиями взрослых людей, с неверием в его силы даже тех, кто от всего сердца желал ему добра. Он принимал помощь, только если не было другого выхода и если помогавший не вкладывал в свой поступок ни грана жалости или — того хуже — снисхождения. Это перешло в его книгу: Аллан Маршал не хочет жалости от читателя, ему противны вздохи и слезы сочувствия.

Сейчас много пишут о ритме прозы, недавно вышло

очередное исследование на эту тему. Что ж, ритм весьма важен в прозаическом произведении, претендующем на звание художественного, но, по-моему, куда важнее тон. У Аллана Маршала самое чарующее, покоряющее, возвышающее дух — это спокойный, чуждый самолюбования и позы, глубокий и чистый тон его прозы. Тон умного исследователя, который не боится заглядывать в темные закоулки человеческой психики, в глубины человеческой боли, не боится говорить о скорбном, ущербном в человеке, но так, что читатель испытывает не жалость, не расслабляющее и бессильное сочувствие, а все растущее уважение к безграничной мощи человеческого духа.

Неторопливо, обстоятельно и благожелательно говорит он о своих соседях по палате, о нянечках и медицинских сестрах, людях вполне дюжинных, не умеющих, да и не пытающихся щадить тонкую психику маленького калеки; описывает пору жестоких мучительств, проделываемых над его плотью с самыми лучшими намерениями, тщетные надежды на возвращение здоровья, затем постижение своей участи: придется жить с «хорошей» (полупарализованной) ногой, «плохой» (висящей плетью), искривленной спиной — и обучение этой новой, неудобной, утомительной и все равно прекрасной жизни. Маленький Аллан никогда не плакал во время своих частых и болезненных падений при освоении костыльного передвижения. Не позволяет он рассиропиться и читателям. Он вызывает их на сопереживание, а не на слезный дым. Идешь с ним шаг за шагом по всему его крестному пути и страстно желаешь, чтобы он выполнил очередной, предписанный самому себе урок — одолеть кручу, добраться до далекой изгороди, влезть на спину брыкливого пони, проскакать на нем, — да, настанет день, и Аллан промчится мимо своего отца и услышит скупую похвалу этого сдержанного человека, — проникнуть в кратер погасшего вулкана, принять участие в охоте с гончими, одолеть в драке на дубинках обидчика. Лишь через лужу так и не прыгнет Аллан, но это и неважно, ведь он умеет прыгать через лужи, он умеет куда большее.

Если бы Маршал писал о своей детской страде с оттенком скромной горделивости, или зажав в горле крик боли, или даже с некоторой ожесточенностью, все равно никому не вспало бы бросить в него критический камень. Мы были бы признательны ему за описание беспримерной и поучительной судьбы. Но то, что он сумел говорить о себе почти со стороны, не с юмором, конечно, для этого у него слишком хороший вкус, а с легкой, чуть напрягающей уголки рта улыбкой, с полным доверием к слуху и постигающему аппарату своих слушателей и потому негромко, —

создает неповторимый, серебряный, завораживающий тон его книги, не просто хорошей, а исключительной.

Но тогда я еще не читал автобиографической трилогии, рассуждали же мы об охоте, рыбалке, путешествиях, а не о болезнях и литературе. Весьма смутно представляя себе картину постигшей его в детстве беды, а также характер Аллана, я вел себя экзальтированно, умиленно, словом, сопливо. Но Аллан отнесся на редкость снисходительно к моему бездарному поведению. Может быть, меня спасло, что он тоже выпил лишний стаканчик. В конце концов Гепсиба — или все-таки Дженнифер? — потребовала, чтоб мы кончали охотничий треп — отцу пора спать. Я высказал горячее желание отнести его на руках в такси. Аллан со смехом отверг любезное предложение и помог мне добраться до машины.

Самое удивительное — я не вызвал в нем отвращения. Это подтвердилось и авторитетным свидетельством Оксаны Кругерской, и присланной им из Австралии книгой рассказов с очень доброй надписью, а через годы — встречей в Мельбурне, где Аллан живет с юности. После окончания школы ему пришлось покинуть любимые заросли, кроликов, опоссумов, птиц и перебраться во второй по величине город Австралии для продолжения учебы и работы.

Но до того как мы встретились в мельбурнском доме Аллана, я познакомился с его книгами — и автобиографической трилогией, и чудесными маленькими рассказами, которые читал по-русски и в подлиннике. В переводе язык Аллана кажется простым, прозрачным и ясным, но читать его по-английски человеку со средней подготовкой очень трудно. Мне несравнимо легче давались многие современные авторы, обладающие значительно более усложненной и громоздкой фразой, нежели у Аллана. Австралийский — это все-таки диалект, к тому же Маршал щедро пользуется сленгом и специальной терминологией, связанной с охотой, объездкой лошадей, сельским хозяйством.

В романах «Это трава» и в «В сердце моем» Аллан продолжает тему, начатую в первой части трилогии. Как найти свое место в немилостивой, порой откровенно жестокой действительности человеку, с точки зрения данной общественной структуры, неполноценному? Мальчик Аллан научился прыгать через лужи; жестокими драками, скачкой на плохо объезженных пони, участием во всех ребяческих проделках, походах, приключениях он заслужил признание сверстников. Ему могли помочь при случае, но так, между делом, не придавая этому значения, и только немногие — глупые — взрослые люди оставались при

тупом убеждении, что жизнь его ущербна и он нуждается в особом отношении. Мальчишки же и девчонки из зарослей об этом вовсе не думали, они могли задрать Аллана, ударить, обидеть, как и всякого другого, и в этом было признание его равным среди равных.

Нелегко завоеванное равенство кончилось, когда он перешел в другой возраст, в юность, и сделал первые попытки найти работу. Оказывается, за калекой в мире жестокой конкуренции не признают равных прав. Было мучительно трудно получить место, когда же он наконец добился своего, ему стали платить лишь половину положенного жалованья. Аллан был хорошим, исполнительным клерком, потом стал высококвалифицированным бухгалтером, его ценность как работника не вызывала сомнений, но рядом с конторкой стояли костыли, а за окнами офиса маячили тени безработных — начиналась пора депрессии, — и хозяева не только спокойно обирали калеку, но еще почитали себя благодетелями.

И Маршал стал вновь яростно бороться за себя, за свое скромное достоинство, за равноправие с теми, кому не нужны костыли. Иными словами — вновь учиться прыгать через лужи. Но не через веселые дождевые лужи своего детства, а через мутные, грязные лужи холодного мира взрослых, тупой предубежденности, корысти, подлости, жестокости, обмана, безграничного цинизма. Он прорубал социальную чащу столь же настойчиво, мужественно и неустанно, как в детстве одолевал непролазные заросли вокруг своего жилья. Профессионально отлично подготовленный, исполнительный и трудолюбивый, Аллан тем не менее сразу оказался среди изгоев буржуазного общества, его самостоятельная жизнь начиналась вблизи мельбурнского дна. Это было несправедливо, трудно, опасно, но каким неоценимым жизненным опытом обогатила будущего писателя причастность к мрачному быту мельбурнских трущоб, к горестной судьбе униженных и оскорбленных! Он столкнулся с человечьей протерью, заглянул в самые черные бездны, это потребовало от него громадного напряжения душевных сил, мобилизации всех скрытых ресурсов личности. Ничего не потеряв в своей внутренней свободе, доброте и деликатности, он научился при необходимости пускать в ход кулаки, локти, зубы. Вновь в синяках и ссадинах, он заставил себя уважать, добился равноправия среди сослуживцев, друзей и недругов.

Человек не исчерпывается прямой борьбой за существование, особенно когда он юн, когда в жилах его течет горячая кровь и сердце полно нежности. Юноше на костылях хотелось любить и быть любимым, а он даже не мог пригласить девушку на танец. В

ту пору острого безденежья кафе и кино были недоступны начинающему клерку, лишь танцульки давали возможность приблизиться к девушке, завести знакомство, сказать те слова, без которых человек высыхает. Маршал ходил на танцы и даже танцевал с помощью… друга. Аллан говорил, какая девушка ему приглянулась, и друг, красавец и победитель, оттанцевав со своей партнершей, приглашал избранницу Маршала. Иногда удавалось представить ей Маршала, но главная цель «танца через друга» была в ином: сломать внутренний барьер, изжить ту вяжущую, обезволивающую робость, какой не знал Аллан в своих прежних конфликтах с окружающим. Сейчас перед ним встал враг более грозный, чем заросли, норовистые пони, работодатели, хозяйки меблирашек и населяющие эти меблирашки воры, сутенеры, жулики всех мастей, — его собственное затрепетавшее сердце.

Если в темах детского, отроческого и юношеского преодолений Аллан Маршал показывает, как пришла к нему победа, то здесь, в теме важнейшего, наверное, преодоления, выводящего человека в зрелость, он ограничивается многоточием. Возможно, это правильно, особенно для такой деликатной души, как у Маршала, но меня недосказанность последней части огорчает. Непонятно, почему автор, начисто отвергающий всякие литературные запреты, бесстрашный с другими и беспощадный к себе, вдруг проявляет чисто викторианскую, стародевичью стыдливость. Мне не хватает этой последней победы Маршала, хотя ее можно вывести умозрительным путем из всего контекста.

Я спросил Гепсибу — или Дженнифер? — живет ли она в доме отца или уже отделилась, празднуя самостоятельность. «Нет, мы живем в разных городах, — ответила девушка. — Папа в Мельбурне, а мы с мамой в Сиднее. Родители давно разъехались. — И, предупреждая мой вопрос, добавила: — Трудно быть папиной женой, он слишком нравится женщинам».

Вот так бы и закончить трилогию, не буквально, разумеется, а по смыслу. Пусть я прямолинеен и лишен тонкости, но уж больно хочется услышать и об этой победе Аллана Маршала, быть может, самой трудной из его побед, — укрощении строптивых…

Известный английский писатель Джек Линдсей в большом и содержательном предисловии к однотомнику избранных рассказов Аллана Маршала, вышедшему недавно в Сиднее, производит все творчество, а стало быть, и жизненную позицию автора из недуга, воздвигавшего барьер за барьером на пути формировавшегося сознания, и взятия этих барьеров, что иначе можно назвать неуклонным отстаиванием своей полноценности. Здесь, по мнению Линдсея, коренится и ненависть Маршала к дискриминации всех видов: расовой, национальной,

политической, общественной, моральной, равно и к войне, и к насилию над природой, его стремление к социальному равенству, обостренное чувство справедливости и даже трепетное отношение к детям — малым и слабым мира сего. Отсюда же, считает Линдсей, в романах и рассказах Аллана Маршала добро так часто и счастливо торжествует над злом.

Подобное утверждение столь же справедливо, сколь и условно. Оно вполне в духе современной западной психологии, охотно выводящей весь комплекс человека из одного посыла — чаще всего преодоления внешнего или внутреннего ущерба, фобии, запрета — табу, наложенного семьей, школой, обществом, религией или личным фиаско. Надо сказать, что ключ этот вручен Джеку Линдсею самим Маршалом. В автобиографической трилогии он прямо говорит, что болезнь, поставившая его (вернее было бы — пытавшаяся поставить) за рамки нормального детства, обострила в нем чуткость к чужой слабости, истинной или мнимой недостаточности и навсегда зарядила ненавистью к расизму, антисемитизму, милитаризму, всем образам насилия и угнетения.

Аборигенам так же отказывали в праве гражданства, как ему в месте рядом со здоровыми. Нация, ведущая начало от английских каторжников и тех, кто их сторожил, третировала белых переселенцев более поздних эпох, не говоря уже о людях с желтой и темной кожей — этим просто запретили въезд в страну. Капиталисты эксплуатируют рабочих, богачи угнетают бедняков, фермеры травят бродяг, взрослые подавляют детей и все сообща уничтожают природу. Против этого многоликого зла восстала сильная и закаленная душа Аллана Маршала, заключенная в изуродованное болезнью тело.

Но представим себе, что детский паралич пощадил Аллана и он не знал костылей. Разве стал бы он — в главном — другим? Он, выросший в зарослях, в простой, доброй, честной семье, под переступ копыт и шумное дыхание лошадей, он, с молоком матери впитавший свободолюбие и независимость, он, с младенчества окруженный домашними животными, ласковыми опоссумами, попугаями, за которыми преданно ухаживал? Не верю… А если взглянуть на дело с другой стороны: и калека может озлобиться, вознегодовать на мир здоровых и еще больше на увечных, видя в них свое горькое отражение, может и смириться перед роком, повесить голову, выйти из игры.

Одна и та же причина порождает разные следствия. И ничего не стоит представить иной образ страдальца, преодолевшего недуг. За науку прыгать через лужи такой человек мог расплатиться утратой важных и хрупких ценностей в себе, мог

стать как из железа, себялюбцем, гордецом, этаким хромым суперменом и свысока третировать всех неудачников и слабаков. Король Ричард III тоже был калекой, а сумел влюбить в себя королеву Анну над гробом ее венценосного супруга, убитого им. Вот уж кто преодолел свой ущерб, но остался в памяти потомков исчадием ада.

Аллан Маршал должен был стать тем, кем он стал, потому что у него была умная, добрая, способная вышагнуть за собственные малые пределы мать, чудесный отец, знавший про лошадей то, чего не знал никто другой, любивший народные песни и — что вовсе уж не обязательно — тонко чувствовавший литературу; потому что он, Аллан, с детства узнал голоса птиц, повадки животных, жизнь травы и земли, потому что у него была счастливая рука на хороших людей, которых он угадывал под самой невзрачной оболочкой, потому что забота близких и полная внутренняя свобода гармонично формировали его личность и потому, наконец, что у него были хорошие гены тех насельников Австралии, которые создали достоинство страны: земледельцев, пастухов, объездчиков, охотников, стригалей, старателей.

Джек Линдсей говорит о некоторой сентиментальности Аллана Маршала, которая, мол, обеспечивает ему успех у русских, но снижает популярность у английских и американских читателей, воспитанных на более жесткой, даже жестокой литературе и, добавил бы я, на более сложной по форме. Мне приятно, что крупный английский писатель высоко ставит восприимчивость к добру моих соотечественников, но дело обстоит не так просто. Конечно, Аллан Маршал признан у нас, широко известен, но что-то не помню я таких жадных читательских разговоров, восторгов, споров вокруг его произведений, какие вызвал недавно последний роман Айрис Мердок «Черный принц». Мне этот роман попался, когда я работал над очерком о Маршале и только что с глубочайшим наслаждением перечел, его трилогию, насвежо поразившую меня своей талантливостью, высотой нравственной позиции, пониманием людей, какой-то окончательной серьезностью и тем серебряным тоном, о котором говорилось выше.

И невыносимо раздражающим показался мне претенциозный, написанный вроде бы во всеоружии знания современного человека и литературной техники роман английской писательницы, заласканной свыше меры не только у себя на родине. Когда-то я спросил Святослава Рихтера, что значит хорошо играть на рояле. «Попадать в нужную клавишу, вот и все!» — спокойно ответил пианист. Мердок никогда не попадает в

нужную клавишу, в лучшем случае куда-то рядом, а то и вовсе лупит по дереву. Сенсационность, пустой эпатаж, мнимая саркастичность и мнимая глубина усугубляются уродливым приемом: повествование ведется от лица мужчины, хотя мужского в этом персонаже нет ни на грош. Это плохо замаскированная истеричная дама.

А ведь зачитываются!.. И в который раз задумался я над тем, что для успеха у современников необходима известная доза шарлатанства. Бижутерия привлекает сильнее истинных ценностей. Конечно, с Алланом Маршалом в нашей стране такого не произошло, его знают и любят.

А громкий шум вокруг писателя вовсе не обязателен, иные замечательные произведения тихо входят в душу и остаются там навсегда. Но что-то обидное, досадительное тут есть. И уж совсем грустно, что английские и американские читатели предпочитают чистому роднику Аллановой прозы мутные источники. Все же творчество и борьба Маршала получили признание в Англии, к своему семидесятилетию он был награжден высоким британским орденом…

* * *

И вот я наконец в Австралии. Таможенный досмотр и паспортный контроль с непостижимой быстротой был осуществлен в Сиднее, где часовую стоянку сократили вдвое. Я смутно подозревал, что эта спешка связана с огромной черной, золотом отороченной тучей, по самому краю которой мы скользнули на посадку. Тучу видели, разумеется, все пассажиры суперлайнера «Боинг-707», но в иллюминаторах по другую сторону было столько сине-блещущего, радостного неба, а воздушный гигант казался таким надежным, хоть его и здорово покачало перед посадкой, туча же так неправдоподобно, картинно грозна, что нельзя было всерьез поверить в опасность. Тем не менее из Сиднея мы удирали во все лопатки, забрались далеко в океан и, сделав крюк, благополучно приземлились в тихом, пасмурном Мельбурне. Там мы сразу услышали, что чудовищная буря обрушилась на Сидней.

Радио, правда, еще ничего не сообщило о размерах бедствия, разрушениях, человеческих жертвах, но мельбурнцы были хмуры и подавленны. После страшного брисбейнского наводнения тут перестали относиться с высокомерием защищенности к гримасам отнюдь не укрощенных человеком стихий.

Было еще одно обстоятельство, омрачавшее души людей, —

надвигались перевыборы и шансы лейбористов, только-только повернувших Австралию в сторону демократизации и миролюбия (эта отдаленная от всего мира скотоводческая страна участвовала во всех войнах, в том числе заведомо несправедливых), расценивались невысоко. Телевидение, самое мощное оружие агитации, находилось в руках их противников, которые вели избирательную кампанию шумно, агрессивно, вызывающе, не останавливаясь перед прямыми оскорблениями, и, как многим казалось, успешно. Прогрессивные писатели, пригласившие меня в Австралию, были, разумеется, на стороне лейбористов, уже сделавших немало и для литературы, и для всей культуры, и для связей с прогрессивными странами.

Наконец, было еще одно, чисто личное обстоятельство, набросившее тень на мое, так сказать, «явление австралийскому народу». Я прибыл сюда с безобразным опозданием. Меня ждали на писательскую неделю в рамках Аделаидского фестиваля искусств, но, пока шло оформление поездки — тридцать четвертое по счету в тридцать четвертую страну, кончилась неделя, кончился фестиваль, пробил иной исторический час, и пригласившие меня друзья, чьи жизненные планы я невольно нарушил, находились если не в смятении, то в легкой растерянности. Этим я поначалу объяснил для себя и то, что меня не торопились доставить к Аллану Маршалу.

Между тем имя его прозвучало на аэродроме сразу вслед за непременным «Хау ду ю ду!», раскатисто произнесенным Джудой Уоттеном, талантливым писателем, видным общественным деятелем и очаровательным человеком, инициатором моего приглашения. «Вам привет от Аллана Маршала». «Аллан все спрашивал о вас и удивлялся, что вы не едете», — присовокупила миссис Уоттен, большая, сильная и добрая, какой в моем представлении должна быть коренная австралийка.

Я засыпал чету Уоттенов вопросами об Аллане. Они с жизнерадостным видом сообщили, что он здоров, пишет, неутомимо воюет с браконьерами и расистами, недавно отметил свое семидесятилетие, награжден орденом. И вскользь: «Вы, наверное, слышали, что он потерял ногу? Ту, которую называл „плохой“. Она ему не служила, скорее мешала. Как потерял? Сломал, нога больная, не срасталась, возраст опять же… Пришлось ампутировать. У него великолепное кресло на колесах, он носится по квартире, как заправский гонщик». Хорошие люди Уоттены сделали прямо-таки невозможное, дабы уверить меня, что без ноги Маршалу куда лучше.

Я думал, что начну австралийский цикл с Аллана Маршала, по после этого известия не стал настаивать на немедленной

встрече. Надо было собраться с мыслями.

Почувствовав, что я скис, миссис Уоттен принялась рассказывать, как они катались верхом с Алланом. «Он отличный наездник, хотя и немного головорез», — говорила миссис Уоттен, ловко и рискованно лавируя в потоке машин на нешироких улицах Мельбурна. «Ты сама отличная наездница…» — начал Джуда, но замолк, ибо в этот момент должно было произойти наше вселение в гигантский рефрижератор, неведомо как оказавшийся перед носом машины. Сильные руки миссис Уоттен совершили непостижимое чудо с рулем, и мы вызмеились из-под серебристой железной громады. «Но тоже головорез», — закончил Джуда со вздохом облегчения.

Они еще много чего говорили, пытаясь привлечь мое внимание к старым домам Мельбурна в традиционном колониальном стиле, к памятникам и церквам, — точь-в-точь такой вот уютный, немного провинциальный и хмуроватый Мельбурн был изображен на иллюстрациях к «Детям капитана Гранта» дореволюционного издания, — но голову мне сверлила мысль о странном избранничестве Аллана Маршала.

Почему бог, творя свои символы, порой начисто утрачивает чувство художественной меры? Уж кто-кто, а Маршал, право, заслужил хоть в старости немного покоя и физического равновесия. Зачем ему за рубежом семидесяти лет вновь учиться прыгать через лужи, теперь уже на одной ноге? Да и какой смысл проверять его на разрыв, если заранее известно, что он выдержит, кому нужно это бессмысленное мучительство?

Я так ушел в свои мысли, что проглядел Мельбурн. Когда мне отведен короткий срок для ознакомления с городом, я лучше всего схватываю его при первовидении, по дороге с вокзала или аэропорта. Последующая беготня по улицам и площадям почти ничего не добавляет. Так у меня было, к примеру, с Лондоном, где я находился всего три дня. Не могу, конечно, сказать, что я знаю Лондон, но образ великого города, четкий, как на медали, отпечатался в мозгу. А в Австралии я запомнил Сидней, Брисбейн, Канберру, но Мельбурн подернут в памяти туманной изморосью, неясен и расплывчат. Кстати, все дни, что я провел в Мельбурне, не переставая сеялся нудный осенний (май — австралийская осень) дождик. Эта серая небесная слезница была исходом сиднейской бури.

Все же кое-что я уловил. В Мельбурне нет современного величия Сиднея, широко раскинувшегося по холмам, прорезанным излучинами глубокого залива, Сиднея с его небоскребами, гигантским чугунным мостом, уникальным оперным театром в виде корабля с надутыми ветром парусами, а

каждый парус — из бетона; в Мельбурне нет и женственности маленькой, изящной, нацельно построенной Канберры, и нагловатой самоуверенности быстро набирающего силу Брисбейна, он прост, добродетелен, слегка старомоден и уютен, как дедушкино вольтеровское кресло. И при этом Мельбурн вполне сегодняшний город, ибо в нем ключом бьет научная, общественная и художественная мысль, в нем первоклассный университет, старая интеллигенция, едва ли не лучшая в стране литература.

А еще есть замечательные окрестности, куда мы вскоре поехали, как выяснилось, по прямому указанию Аллана Маршала. Кстати, не увидев его в день приезда, я все же встретился с ним, едва переступил порог своего номера в отеле. На полу, возле двери, лежал свежий номер мельбурнской газеты. Я стал проглядывать его и сразу наткнулся на статью Маршала в защиту природы.

Он обращался к министру, в чьем ведении находятся леса и угодья страны, и от имени детей говорил, что они не желают получить в наследство голую пустыню, без деревьев, кустов, травы, цветов, без рек и озер. А к этому идет дело при нынешнем хищническом обращении с зеленой жизнью. То был хорошо знакомый мне Маршал, где касалось детей и деревьев, то был совершенно новый Маршал, где он разделывал под орех министра. Я и не подозревал, что Аллан может быть таким язвительным, острым и хлестким, это была публицистика белого накала. Он от плеча бил по чиновничьей косности, равнодушию, недальновидности, делячеству. Двести — двести пятьдесят от силы строк, но до чего же насыщенный раствор, до чего богатая интонация: от звонкого голоса боли и нежности до свифтовского сарказма. Аллан по-прежнему на посту, его сильная, гневная, юношески задиристая статья убедила меня, что Уоттены не преувеличивают — он в отличной форме. Андерсеновский оловянный солдатик, как известно, обходился одной ногой, но все же был самым стойким солдатом на свете.

Потомок выходцев из Одессы, Джуда Уоттен, преданный друг и почитатель Аллана Маршала, уютно совмещает в своем крупном существе иронию, лукавство с какой-то растроганной добротой. Разрабатывая для меня программу, он доверчиво выслушивал рекомендации Маршала, считая его великим знатоком «русского вопроса». И решено было первый день посвятить людям, второй — лесу. Позже до меня дошло: Аллан нарочно оттягивал нашу встречу, чтобы я хоть прикоснулся к австралийской жизни, побывал в австралийском лесу, подружился с австралийским зверьем. И это был добрый

замысел…

…До чего приятно было встретить старых знакомцев: обаятельного человека, щедрого писателя и прижимистого издателя Кристенсена и особенно — Джона Моррисона. За минувшие с нашей встречи полтора десятка лет Джон помолодел на эти пятнадцать. Я даже не узнал его в первый момент. Несколько унылый, с вытянутым и желтым от хронической язвы лицом садовник-новеллист превратился в доброго, моложавого, элегантного джентльмена, знающего толк в яствах и тонких винах. Он отпустил опасную острую бородку, носит светлые пиджаки и яркие галстуки. Постная мина вегетарианца уступила место на его округлившемся, порозовевшем лице живой, победительной улыбчивости. Джон женился по любви на довольно состоятельной русской женщине, отличной кулинарке, в два счета избавившей его от язвы.

— Ну а как работается на сытый желудок? — спросил я.

— Все о'кэй! — звучит жизнерадостный ответ, и я тщетно ищу на сытой физиономии остроту черт бывшего докера.

— Лев Толстой говорил, что писатель должен всегда немного недоедать.

— Поголодал бы он с мое! — рассердился Джон. — Я на этом язву заработал. Проклятые графские причуды! — И стал точь-в-точь докер…

…Когда мы поехали к зверям, изморось сменилась мелким, но довольно хлестким, слышимым и видимым дождиком. Все стало очень свежим и зеленым, желтое не примешивалось к краскам осени, и было трудно поверить, что на дворе по-нашему ноябрь. Обитатели громадного заповедника Маккензи, за малым исключением, содержатся на воле. Австралийское зверье доверчиво и добродушно. Исключение составляет собака динго, редкий случай возвращения в дикое состояние одомашненного животного. Говорят, собак завезли сюда десять тысяч лет назад малайские рыбаки, да и бросили на произвол судьбы. Сходного происхождения дикая австралийская свинья, но она пуглива и безвредна, а динго — дьявол. Дикая собака с утратой сторожевых качеств разучилась лаять, но умеет выть и с противным подвизгом тявкать. Избавившись от власти и обаяния человека, собака люто возненавидела бывшее божество и весь его уклад: и жену его, и детей его, и скот его. Между динго и фермерами непрекращающаяся война.

Есть и настоящий дьявол, правда, не с материка, а с острова Тасмания, он так и называется — «тасманский дьявол». Это небольшой, с кошку, зверек, черный, с голыми розовыми, почти человечьими ушами, с голыми розовыми лапами и храпом, с

железным сцепом маленьких челюстей, которым перегрызть человечью руку — все равно что белке орех.

Но поразительно, что самая кровавая война ведется не с хищниками, а с наикротчайшими кроликами и милыми, такими безобидными с виду кенгуру. Об этом много писалось, и все-таки трудно вообразить, что несметно расплодившиеся братцы кролики страшнее любого стихийного бедствия. Они способны уничтожить все посевы, весь зеленый покров материка, и против них ополчаются всенародно, как против вооруженных до зубов агрессоров.

Австралийский животный мир не похож ни на какой другой. Когда в незапамятные времена распался древний материк Гондвана и громадные водные пространства пролегли между Австралией и другими континентами, она вышла из мирового природного обмена. Впрочем, сказанное относится к фауне, не к флоре, ибо семена растений заносились сюда ветром, птицами, насекомыми и упавшими в воду деревьями. И не случайно из высших млекопитающих в Австралии встречаются (кроме завезенных человеком свиньи и динго) только летучие мыши, способные перелетать широкие проливы, и полевки, приплывающие сюда на стволах деревьев. Преобладают же в Австралии так называемые эндемичные — свойственные только данному месту — животные. Так, нигде больше не встречаются яйцеродные (клоачные) — ехидны и утконос. И лишь в Южной Америке имеется одно семейство сумчатых, а в Австралии мы найдем сумчатых аналогов почти всех типов млекопитающих. Хищников — сумчатый волк и сумчатая куница; насекомоядных — сумчатый крот и сумчатый муравьед; грызунов — вомбат: летяг — сумчатая белка; копытных — кенгуру; лазающих — кузу и коала, или сумчатый медведь. Я еще вернусь к этому жалостному чуду, маленькому серому ушастому полусонному существу с большим черным кожаным носом, свиными глазками и цепкими человечьими ручонками.

Обитатели заповедника, за исключением хищников, трогательно доверчивы, легко подпускают человека, позволяют трогать себя, а те, что поменьше, брать на руки. Не вступает в общение лишь хмурый утконос. Он помещается в длинной стеклянной ванне и при виде людей приходит в состояние лихорадочного, безостановочного, челночного движения. Словно пловец в бассейне, одержимый побитием рекорда, носится он от стенки к стенке. Лишь изредка над водой возникает по-утиному плоский клюв глотнуть воздуха. А гнездо для яйцеклада утконос строит на суше и делает очень узкий вход, чтобы отжималась влага со шкурки, когда он туда протискивается. Будучи один в

трех лицах: рыба, птица, зверь, утконос вовсе не считает себя чем-то исключительным, повышенное внимание посетителей его возмущает. Наверное, он прав.

А вот пасущиеся на зеленых лужайках кенгуру милы и общительны. Передвигаются они сильными, упругими прыжками, у самок из сумки на животе выглядывают детеныши. Когда малышу надоедает заточение, он выскакивает наружу, резвится, наслаждается жизнью и снова забирается в тело матери.

В нашей печати мелькали удивительные сообщения о кенгуру. Например, они великолепные боксеры, и матчи между ними собирают громадную аудиторию, способствуя обогащению дельцов от спорта. Или они чудесные няньки — заботливые, аккуратные и расторопные, недаром же австралийские газеты пестрят объявлениями: «Ищу няньку-кенгуру». Столь же безукоризненны кенгуру и в качестве горничных, сочетая опрятность с честностью и хорошим поведением. Мелькнули даже туманные намеки на заниженную оплату и жестокую эксплуатацию труда кенгуру в мире чистогана. Все это бред. Да, в цирковых представлениях — это и у нас можно увидеть — на передние лапы кенгуру напяливают кожаные перчатки, и они по знаку дрессировщика наносят друг дружке несколько сумбурных ударов, но при чем тут бокс? А кенгуру-няньки, кенгуру-горничные — вымысел настолько глупый, что мои австралийские друзья сочли это неудачной шуткой.

Самые удивительные, до слез трогательные обитатели заповедника — коала. Они живут на деревьях. Иное деревце усеяно ими, словно большими серыми грушами. Матери носят детенышей за спиной. И кажется, что все они, от мала до велика, дремлют. Изредка приметишь вялую, будто сквозь сон, челюстную работу. Ты можешь взять медвежонка на руки, он зыркнет черным глазком и туг же вцепится в тебя, как в дерево или в шкуру матери, и вновь уснет. Коала не встретишь ни в одном зоопарке мира, ибо питаются они листьями того вида эвкалиптов, который нигде, кроме Австралии, не водится. Они не пьют, получая необходимое количество влаги из этих листьев, а заодно и хорошую дозу наркотика, вот почему кажутся сонными. Коала впрямь слегка отключены, пребывая в мире зверьевых грез. И до чего же гадко, что этих очаровательных, безвредных и совершенно беззащитных зверушек безжалостно уничтожают. Их шкура не представляет ценности, мясо несъедобно, рогов и копыт у них нет, мускуса они не выделяют, их бьют без расчета и корысти, просто потому, что они не могут ни бежать, ни защищаться. Сохранение коала, являющегося наряду с кенгуру символическим зверем Австралии, стало делом государственной

важности…

После заповедника нам предстояло увидеть лес. По некоторой торжественности, с какой супруги Уоттен говорили об этом, я понял: изведя леса почти под корень, австралийцы гордятся тем, что осталось. И не без оснований: лес, обставший нас, едва мы выехали за пределы заповедника, был и впрямь неплох — хоть и малорослый, но довольно густой, с манящей глубью. Я похвалил лес.

— Где вы видите лес? — осведомилась миссис Уоттен. — Это кустарник.

— Разве?.. — пробормотал я. — По-моему, это деревья, не кусты.

— Ну какие там деревья! — пренебрежительно дернула плечом миссис Уоттен. — Буш!..

Я остался при своем мнении. Пусть не лес — лесок, но все-таки вокруг стояли эвкалиптовые деревца, а не кустарниковая поросль. Впрочем, через некоторое время я вынужден был признать, что звание леса в Австралии даром не дается — по сторонам шоссе, погрузив его в тень, поднялись рослые, раскидистые эвкалипты и акации с толстыми стволами, густыми кронами, и я от души поздравил спутников с великолепным лесом.

— Да нет, — равнодушно сказала миссис Уоттен. — Это буш.

Я даже рассердился. И по нашим российским масштабам такой лес заслуживал уважения.

Правда, вскоре я вынужден был признать, что не только пустая спесь и желание подразнить чужеземца заставляют миссис Уоттен называть лес кустарником, вот он — зеленый богатырь, дремучий, сказочный, таинственный лес-батюшка!..

— Да нет же, — сказала миссис Уоттен. — Какой вы нетерпеливый! Это буш.

— Перестаньте смеяться! — вскричал я. — Что же, по-вашему, лес?

— А вы сами увидите, — последовал хладнокровный ответ.

И я увидел и молча склонился перед чудом. Все слова разом обесценились. Я был ошеломлен, потрясен, подавлен. Только потом мне вспомнилось, что на иллюстрациях к незабвенным «Детям капитана Гранта», настольной книге моего детства, видел я стволы-колонны (из арсенала более поздних воспоминаний могу извлечь уточнение: колонны Баальбекского храма), у подножия которых фигура Гленарвана казалась не больше жучка. Но тогда я считал эти деревья — их кроны не помещались на иллюстрациях — порождением художественного вымысла, чтобы страшнее было. А он есть, этот исполинский лес, есть!..

Стволы эвкалиптов неохватны, но не кажутся толстыми, так стройны они и высоки. Задираешь голову до хруста шейного позвонка, а верхушек не видать, они где-то там, в прозрачно-серебристом сиянии процедившихся сквозь хмарь солнечных лучей. Меж стволами и листьями гигантских папоротников реет зеленоватый туман, то сгущаясь, то разрежаясь до полной прозрачности, и тогда взгляду открываются сумеречные влажные глубины с оранжевыми и голубыми мхами в изножий деревьев и седыми от влаги, тяжелыми травами. Лес словно дышит. И когда он набирает в грудь воздуха, студью опахивает тело, когда выдыхает — обдает влажным теплом.

Гигантские эвкалипты не облетают по осени, как наши лиственные деревья, а меняют кору. Длинные серые, в прозелень, бороды свешиваются с обнажившихся коричневых стволов, с розовыми мазками, словно кровь на обдире. Эта сползающая ошмотьями, как кожа у змеи, кора нарушает чистоту и нарядность леса, свободного от валежника, бурелома, всякой гнили, но ведь линька — это обновление, и, вспомнив об этом, находишь особую красоту в ободранности стволов.

Послышался стук топора, затем мерный, с отзвоном, скрежет пилы. Неужели я увижу сейчас, как падает великан эвкалипт? Умирание такого дерева будет длительно и грозно, как смерть допотопного ящера в знаменитом рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром». Помните, как долго он умирает, как медленно, постепенно, артерия за артерией, орган за органом выключается в нем жизнь? Такова *мгновенная* смерть гиганта. У меня аж в лопатках похолодало. Какой сейчас поднимется ветер, какой грохот сотрясет простор, сколько сокрушит и покалечит соседей падающий гигант, сколько малых жизней унесет с собой!

Ничего этого не случилось. Рубщиком и пильщиком оказалась лирохвостая красавица, извлекавшая из своего тонкого горла и хряск топора, и надсадный зуд пилы. Птица-лира, величайший пересмешник, изумительно копирует не только лесных обитателей, но и механические шумы: пилку, рубку, рокот тягачей, автомобильные гудки. Почему только роскошный хвост этой подражательницы образует на вскиде символ поэзии?..

* * *

…Как уже говорилось, мне следовало напитаться Австралией, а потом уже предстать пред очи Аллана Маршала. Но истинная Австралия — это аборигены, за права и достоинство которых Маршал дерется всю жизнь, а их в Мельбурне не было. Аборигены

живут на севере, в эти пустынные, неплодородные места оттеснили их колонизаторы. До недавнего времени, когда аборигенам наконец дали право гражданства в искони принадлежавшей им стране, они размещались в особых резервациях, вроде тех, куда в Америке загнали индейцев. Там аборигены охотились с помощью бумерангов и копий, собирали плоды, ягоды, коренья. Ни земледелия, ни скотоводства они не знали. Встречаются аборигены и в некоторых других местах страны, например, на островах возле Брисбейна, где я их позже увижу, но наиболее близкое знакомство сведу в Сиднее, в аборигенском центре, включающем школу-интернат и лечебницу. В школе они получают образование в объеме восьми классов, что позволяет им вести канцелярию впервые созданных аборигенских кооперативов. Некоторые ребята продолжают учебу, и сейчас среди аборигенов есть люди с высшим образованием: юристы, учителя, бухгалтеры. Вот так рухнула грязная легенда расистов об умственной неполноценности первожителей Австралии. Татуированный отец в набедренной повязке кидает бумеранг в птицу, а сын в адвокатской мантии выступает в суде. Одним из самых светлых воспоминаний поездки стала для меня встреча с учащимися аборигенской школы в Сиднее. Это были красивые воспитанные молодые люди, в меру скромные, в меру свободные, и под стать им девушки, стройные, с прекрасными волосами и глазами, мягкими движениями и легким привкусом горечи в улыбке. Ибо при всех решительных переменах, происшедших за последнее время в их жизни, чувство изолированности, нерастворенности в окружающем все еще остается. Чтобы это чувство прошло, нужно время и… новая борьба. Ребята пели, играли на гитарах, угощали нас кофе, печеньем и улыбались. И как же много можно сказать улыбкой!..

Но все это было позже, в Сиднее, а в Мельбурне вместо встречи я получил историю о том, как аборигены «вознесли» Аллана Маршала.

«Мы соплеменники» с полным правом назвал Аллан Маршал свою книгу, посвященную аборигенам. Люди с бумерангами всегда считали Маршала своим. И они были искренне огорчены, узнав, что для их друга, умеющего охотиться, ловить рыбу, метать копье, скакать на лошадях, недоступны горы. Он никогда не был в горах. Правда, мальчиком он вскарабкался однажды по заросшему папоротниками склону потухшего вулкана и заполз в кратер, но то не было настоящей высотой. А в Австралии есть очень высокие горы, с вершинами, покрытыми снегом, и земля оттуда видна далеко окрест, даже с самого рослого эвкалипта не охватишь столько пространства. Аборигены решили доставить

Маршала на вершину горы. Человек доверчивый, любящий риск и приключения, он ни о чем не спрашивал.

Вышли перед рассветом. Там, где началась крутизна, Аллана усадили на деревянную дощечку, подняли до уровня плеч и велели держаться за шеи носильщиков. У подножия горы ночь, уже утратившая плотность, была непроглядно-черна. «Держись!» — сказали невидимые носильщики Маршалу и прянули из тьмы во тьму.

Они продвигались быстро, почти бегом, и Маршалу подумалось, что они не рассчитали сил. Но шагов через пятьсот-шестьсот один из носильщиков коротко свистнул, ему тут же отозвались; от ночи отделились два сгустка тьмы, приняли ношу и, не задерживаясь, устремились вперед и вверх. Так подымались они без остановок: свист подстава, пробежка, хриплое дыхание — Маршал тщетно пытался угадать, кто его несет. Прореживалась тьма, светлело небо в близости восхода, вскоре Маршал стал различать лица своих носильщиков. Многих из них он не знал, но это и неважно, коль все они были его соплеменниками. Затем ему заложило уши — новое, незнакомое ощущение от разреженного воздуха.

Круче и круче становился подъем, чаще и чаще подмены — скорость не утрачивалась, молчаливые, коренастые, надежные люди все учли. Свист, толчок, пробежка, свист, толчок, пробежка… И вот раздался какой-то особый свист — долгий, ликующий, и не последовало очередного толчка. Носильщики стояли, тяжело дыша, от них тянуло мускусом пота. Над головой, мерцая, серебрился небесный свод в гаснущих одна за другой звездах. Светлая полоса на востоке заблистала, вот-вот из-за окоема появится солнце. В опрозрачневшем сумраке обрисовывались, обретая краски, становясь плотной материей и самими собой, гряды гор, холмы, леса, купы деревьев, реки, и задрожавшим сердцем постиг Аллан Маршал земное пространство.

Вот какой подарок сделали соплеменники своему писателю, вот как они понимали дружбу…

* * *

Наше ви′дение во многом зависит от предваряющих впечатлений. В свое время, настроенный на встречу с охотничьим богом, богатырем, пропахшим лесом и осокой, я не разглядел в поставе Аллана даже тех признаков силы, которые воспитываются хождением на костылях. Но, встретив в его книгах многократные

упоминания о диспропорции между его грудной клеткой, широкими плечами и «нижним этажом», я постиг ложность своего первовидения, и теперь даже инвалидная коляска не помешала мне узреть могучего Аллана. Ему за семьдесят, но крепок он, как топор, свеж гладким розовым лицом и загорелой лысиной, которая очень ему идет; у него седые, впроголубь волосы на висках и затылке и седые, припаленные желтым усы, хорошо обрамляющие крепкий рот. Одет Маршал франтовато: стального цвета рубашка, красный в горошек шейный платок, светлые брюки и коричневая замшевая туфля. И вообще Аллан Маршал красивый мужчина, и легко понять, что домашнее гнездо не устояло под напором неистовых гарпий.

Ампутация еще более сузила для него постижимое пространство, но подвижный, как ртуть, Маршал отказывается принять насильственный покой. То и дело, упираясь в подлокотники, он перемахивает из коляски в кресло или на диван, оттуда обратно в коляску, толкает колеса и вдруг оказывается в противоположном конце комнаты. И вовсе не от болезненной перевозбужденности, он спокойный человек, а для дела: чтобы удобнее было разговаривать, легче достать нужную книгу, газету, подать гостю прохладительное, сигареты, огня. Он сроду не любил прибегать к посторонней помощи, и сейчас верен своим привычкам. Презирая новую каверзу судьбы, он планирует поездку в Европу, и в первую очередь в Советский Союз. Я ведь не сказал, что Аллан Маршал — бессменный председатель Общества австралийско-советской дружбы, громадной организации с отделениями во всех крупных городах Австралии.

Активность Аллана вызывала некоторое раздражение у его племянника, осуществляющего при нем роль «дядьки». Этот юный Савельич, преданный и ворчливый, как и все Савельичи на свете, несколько преувеличивает свою обремененность причудами старого дяди, втайне гордясь его неуемным темпераментом. Он покрикивает и только что не щелкает бичом, словно перед ним не инвалид в коляске, а бенгальский тигр или дикий конь. Аллан относится к ого выходкам с той же спокойной, благожелательной иронией, как и к окрикам Гепсибы (Дженнифер) в ЦДЛ и ко всем малым нелепицам жизни. Мне племянник неожиданно понравился. Наконец-то я увидел воочию австралийца, полностью соответствующего типу бродяги-стригаля из чудесных рассказов Лоусона: большой, загорелый, светловолосый, горластый, ворчливый, с размашистыми жестами, добродушный, но достаточно твердый, чтобы оградить свою внутреннюю суть от любых посягательств и, добавлю, надежно сберечь то, что ему доверено.

Мы с Алланом обрадовались друг другу, но в небольшую квартиру набилось слишком много народа, и это не располагало к углубленной, сосредоточенной беседе. Когда же мы наконец уединились, весьма относительно — поминутно кто-то заходил, — я вдруг понял, что сказать надо слишком много, и этого все равно не скажешь, даже не будь мы ограничены во времени. Но я не особенно огорчился, ибо сделал открытие: когда людям хорошо друг с другом, то нет нужды сыпать словами, можно помолчать; оказывается, молчание тоже форма общения, едва ли не самая полная. Как хорошо молчалось нам с Алланом Маршалом! Мы молчали о литературе, о нашей работе, о работе других писателей, молчали о предстоящих выборах — почему-то я сразу понял, что в отличие от своих друзей и соратников Маршал убежден в победе лейбористов, так оно впоследствии и оказалось, — молчали о настоящем, прошлом и будущем, о женщинах, которых любили, о надеждах, с которыми еще не расстались. Я многое понял из этого молчания и стал тверже.

Но не бывает так в жизни, чтобы люди вкусили благость тишины и молча разошлись. Совершенная чистота приема возможна только в литературе, а не в сутолоке быта. И мы против воли оказались втянутыми в разговор.

Конечно, я поделился с Алланом своими скудными, хотя и сильными, австралийскими впечатлениями.

— А лес? — спросил Аллан и чуть привстал, опираясь о ручки коляски.

— Ого!.. — сказал я.

— Ого!.. — повторил он, радостно засмеялся и хватил стакан кока-колы.

Но, добрый человек, он тут же с большой похвалой отозвался о русском лесе и сообщил, что собирается я Советский Союз. Я пригласил его на охоту. Он медленно покачал головой:

— С охотой покончено… А вы охотитесь?

— Сейчас нет.

— И хорошо делаете. Время охоты миновало. Сохранить бы то, что еще осталось.

— Но ведь приходится уничтожать кроликов, кенгуру…

— Именно уничтожать! — с отвращением повторил Маршал. — Это мерзкое следствие всегдашней человеческой безответственности, неспособности да и нежелания видеть хоть на шаг вперед. Зачем было доводить до массового убийства?.. Знаете, что делают фермеры? — Он подкатил свое кресло ближе ко мне, за очками у него была боль. — Они нанимают стрелков — это демобилизованные солдаты корейской и вьетнамской войн, не нашедшие применения в мирной жизни. Банды этих парнюг

бродят по стране, у них сохранилось старое оружие. Может быть, они слишком привыкли убивать и теперь не годятся ни на что другое? Они косят кенгуру из пулеметов и автоматов, забрасывают гранатами.

На полях остаются сотни трупов прекрасных и добрых животных. Кончится тем, что кенгуру изведут вроде вашего волка.

— Да, теперь спохватились, что волк — санитар леса. А на севере, где выбили волков, олени вырождаются, теряют силу, выносливость, скорость бега. Волк был их тренером.

— Есть и еще одно, — чуть улыбнулся Маршал. — Ивану-царевичу не на чем вывезти царевну из леса. «Джип» в чаще не пройдет. У детей украли одну из самых красивых и поэтичных сказок…

Мой друг писатель Виктор Астафьев рассказывал, как били глухарей у него на родине, в Красноярском крае, года два назад, когда этой редкой, почти истребленной птице как-то удалось восстановить убыль. Приезжие охотники отстреливали столько, что пришлось срочно оборудовать пункты по приемке дичи. Но вскоре эти пункты свернули, не хватало ни рабочих рук, ни транспорта. А вошедшие во вкус стрелки продолжали лупцевать глухарей просто так, из азарта и распущенности. Повсюду гнили мертвые глухари, эти редкие зашельцы в наш век из глубокой древности, биологическое чудо — у них вместо голосовых связок косточки. Измаравшиеся по маковку в крови, пусть и птичьей, охотники убили что-то важное в самих себе. Они стали бояться друг друга, прятаться по ночам. «Зачем вы прячетесь?» — спросил одного из них Виктор Астафьев. «Как зачем? Убьют!» — ответил тот с жуткой простотой. «Да за что?» — «Вот те раз! Может, ружье мое приглянулось, или надувная лодка, или сапоги. А может, так, из настроения…» Это не были какие-то отщепенцы — самые обыкновенные, средние люди…

Аллан Маршал внимательно выслушал эту историю.

— Ну вот видите… Какая уж там охота! Людей слишком долго ориентировали на истребление, надо повернуть руль на сто восемьдесят градусов. Иначе черт знает до чего дойдем, уже дошли. Не охрана природы, а спасение гибнущего мира, включая и человека, — так стоит вопрос.

Я сказал, что прочел его статью.

— Это только начало. Нет страшнее браконьера, чем само государство. Тысячи нарушителей сроков и способов рыбалки не причинят того вреда, как одна бездарная плотина или стоячая лужа, гордо названная новым морем…

Я покинул Маршала поздно ночью — племянник-стригаль шипел от гнева, как сало на сковородке, — так бесило его

легкомыслие дяди, нарушившего режим.

Не помню, кто из мыслителей прошлого сказал: «Человек должен *стать* тем, что он есть», но мы с Маршалом вспомнили эту формулировку и взяли на вооружение. Подписались мы еще под несколькими отнюдь не новыми истинами. Надо ежечасно, ежеминутно помнить о детях и отвечать перед ними за все свои поступки. Мы оставляем мир в неважном состоянии, надо, чтобы дети были очень хороши, добры, умны, тверды и ответственны, иначе не потребуется термоядерной войны, дабы покончить с тем, что так широко и вдохновенно было задумано господом богом. На кумач — изречение Блейка: «Все существующее свято». Сразу оговариваюсь для тех, кто при малейшем проявлении «отвлеченного» гуманизма хватается за оружие: гитлерообразные не включаются в понятие «существующего», это нежить. Еще не поздно спасти этот безумный, безумный, безумный, но все равно самый лучший из миров.

Мы не открыли никаких Америк, даже Австралии, — кстати, почему вовсе безвестен голландский шкипер Биллем Янц, подаривший современникам целый материк? — нам просто хотелось укрепиться в нашей вере.

А потом я поцеловал Аллана в загорелое гладкое темя, мы обменялись рукопожатием, и гарцующий от нетерпения, как застоявшийся конь на ферме Маршала-отца, домовод-племянник выпроводил меня за дверь, в теплую и влажную ночь Мельбурна…

На другой день я вылетел в Брисбейн, лишившись доброй опеки гостеприимной четы Уоттенов. Но Общество дружбы во главе со своим президентом позаботилось, чтобы я не чувствовал себя одиноким в чужой стране.

На всем немалом пути меня заботливо передавали из рук в руки, как некогда аборигены — Аллана Маршала, чтобы он увидел свою землю с самой высокой горы. И сколько чудесных людей узнал я, сколько завязал дружб!..

Мир сегодняшней Австралии пестр, как попугай розелла, и в социальном, и в политическом, и в идеологическом, и в общественном смысле слова. Правда, краски его далеки от ликующей птичьей яркости. Эмигранты, хлынувшие сюда после второй мировой войны, несколько напоминают первопоселенцев конца восемнадцатого века — впрочем, среди них не было ирландских бунтарей. Зато всякой протери хоть отбавляй: дезертиры войны, украинские националисты, бандеровцы, фашиствующие всех мастей нашли здесь пристанище. На долю мне выпали не только спичи, тосты, рукопожатия, доверительные, душа в душу, беседы, внимание заинтересованных аудиторий, но и немало яда. Были и серьезные споры, и настоящие

идеологические бои, и словесные драки, да такие, что друзья на всякий случай засучивали рукава.

Это в порядке вещей, иначе жизнь была бы слишком пресна.

Поездка не изжилась в моей душе, но Австралия слишком сложна, чтобы писать о ней впрямую после двухнедельного пребывания. Не скрою, мне случалось писать о некоторых странах после столь же краткого визита, но то были страны, а это целый материк. И наконец, разве Аллан Маршал — это не сама Австралия с ее муками и радостями, победами и поражениями, с ее мужеством, твердостью, верой в будущее и умением за это будущее бороться? Конечно, каждая страна, каждый народ многолик, Аллан Маршал — самый светлый образ породившей его земли.

Островитянин
(Сон о Юхане Боргене)

Литературный портрет

Вот никогда не думал, что Юхана Боргена, знаменитого Юхана Боргена так трудно найти. Он не только самый большой из ныне здравствующих писателей Норвегии, но и один из лучших писателей современной мировой литературы. Норвежцы любят говорить с полуискренним смирением, что у них «маленькая страна», хотя по европейским масштабам территория Норвегии довольно значительна — и, главное, взгляните на карту: скандинавская «собака» лакает из Северного моря, а хвост купается в Баренцевом, далеко за Полярным кругом. Однажды мне пришлось лететь из Осло в Киркенес — со всеми остановками, и это напомнило мне по тягомотной длительности сибирские перелеты. Очевидно, норвежцы имеют в виду народонаселение: четыре с половиной миллиона, конечно, немного, особенно для такого пространства. И в этом малолюдстве великий писатель затерялся, как иголка в стогу сена. Найти Боргена оказалось делом весьма и весьма непростым, хотя в Осло, как меня уверяли, живет его дочь — писательница Ане Борген, но и она куда-то запропастилась.

Я обращался к людям, близким писательской среде: переводчикам, журналистам, литературоведам, издательским работникам, но таяли стремительно, апрельскими сосульками, мои недолгие норвежские дни, а создатель «Маленького лорда» оставался неуловим. А я-то думал, что любой прохожий, стоит мне произнести заветное имя «Борген», возьмет меня за руку и отведет к тому, кто в глазах всего света является гордостью Норвегии.

Быть может, мои знакомые шли по ложному следу, еще более вероятно, что они не столько искали, сколько выжидали с великим норвежским хладнокровием, что Юхан Борген объявится сам. Так некогда Фритьоф Нансен, впаяв в лед свой корабль «Фрам», терпеливо ждал, куда его вынесет движением ледовых арктических масс. Но мой «Фрам» никуда не двигался, на этот счет вскоре отпали последние сомнения, и я забил тревогу. Второй раз Борген ускользал от меня, но тогда я сам был виноват: поделикатничал, не проявил достаточной настойчивости, а сейчас я двумя кулаками стучался в глухие двери той удивительной

норвежской пассивности, основанной на каких-то неведомых остальным европейцам табу, что так затрудняет приближение к душе потомков викингов.

Норвежцы похожи на японцев — в который раз подумалось мне. Вроде бы что общего у рослых, бледнокожих, светловолосых и светлоглазых, неторопливо-задумчивых северян с низенькими, быстрыми, черноголовыми, прячущими ночь в узком разрезе глаз, рассыпающими любезно-необязательные улыбки насельниками страны, видящей, как рождается в океане солнце, а сходство, глубинное сходство, несомненно и значительно. Их роднит загадочность и несоответствие общечеловеческому стереотипу. У них сходный кодекс вежливости, правил поведения: боже упаси громко разговаривать, азартно спорить, навязывать свое мнение другому, проявлять слишком открыто свои чувства, будь то радость или горе, боль или сострадание (решительно исключаются: досада, раздражение, капризы, дурное настроение, рассеянность), с завыванием читать стихи, что-то напевать или насвистывать про себя. И при великой внешней покладистости — неодолимое, приводящее в отчаяние упрямство, несдвигаемость с мертвой точки.

Быть может, слишком много значили в жизни этих наций стихии — на географических картах Япония кажется лепестком на синей безбрежности; морские волны окатывают Норвегию с трех сторон, а море, как известно, учит терпению и мужеству, немногословию и дьявольскому упрямству. Умеют перемогать и настаивать на своем тихие бесстрашные рыбари, умеют ждать их жены. В Норвегии душу и тело испытывают северные ветры, над Японией гуляют тайфуны.

Господи, как далеко завела меня простая мешкотность моих друзей и знакомых в отыскании местожительства Юхана Боргена! Робкое предложение позвонить в газету «Дагбладет», где Борген сотрудничает, или в издательство «Гильдендаль», где вышла его последняя книга, не то чтобы отвергалось, а пропускалось мимо ушей с далекой, едва различимой улыбкой как нечто не совсем пристойное. Тут и меня осенило: в самом деле, некрасиво, даже неприлично вызнавать адрес писателя в учреждениях, с которыми он связан деловыми отношениями. В какое положение мы их ставим: а если Боргену нежелательна эта встреча, если он болен или вообще избегает людей, если он охвачен мизантропией, жаждет уединения, или углубился в новую работу, или, или, или… Член семьи, друг — словом, частное лицо еще может дать его адрес на свой страх и риск, но газета, издательство — разве им к лицу бесцеремонно распоряжаться покоем и временем своего уважаемого пожилого сотрудника? Они не имеют права

брать на себя такую ответственность, ставить под удар собственную репутацию, наконец!..

Норвежский гипноз действовал: я стал думать о нехитром деле в категориях преувеличенной ветхозаветной щепетильности, стародевичьей деликатности. А может, так и надо жить? Ведь есть в этой церемонности, осторожности, боязливой бережности какая-то печальная, с горьковатым ароматом увядших цветов, тонкая прелесть. Отношения между людьми становятся хрупко драгоценными и… невозможными. Разве совместима подобная деликатная канитель с нашим подвижным, переменчивым, быстрым и непостоянным веком? Еще немного — и я не увидел бы Юхана Боргена, теперь уже навсегда. И не было бы этих записок, что не такая уж большая беда, но не было бы и письма Боргена, присланного после нашей встречи, а это, как убедится читатель в своем месте, беда, да и немалая. И с теплым чувством обращаюсь я к отечественной простоте. Ну в каком бы нашем издательстве, газете, журнале затруднились дать мой адрес и телефон кому угодно? И звонят, и пишут, и даже валятся как снег на голову начинающие авторы, старые графоманы, мнимые родственники и соученики, какие-то ищущие девицы, равно и поиздержавшиеся в дороге, и просто сумасшедшие. Но пусть так будет всегда ради одной невероятной возможности: вдруг мои координаты понадобятся Юхану Боргену.

И все же неделя не пропала даром: установили, что писателя нет в Осло. А там уж и не знаю, какие таинственные силы сработали, быть может, молчаливый норвежский бог? — но стал известен адрес Боргена и даже номер его далекого телефона. Загородное обиталище писателя находилось километрах в ста от Осло, на острове, почему-то в Норвегии принято говорить: на островах. Как будто островитянин переносит свое легкое, съемное жилье с острова на остров. Быть может, когда-то так и делалось: выбил кабанов и оленей, переловил кроликов и куропаток, истощил каменистую почву и перебрался на другой остров, предоставив прежнему восстанавливать убыль. Борген жил на острове Асмалене, и еле слышный, текущий но тонкому проводу, все время затухающий, теряющийся в воздушном океане голос его жены прошелестел, что он рад гостям, их сын будет ждать нас в полдень с моторкой, чтобы перевезти через пролив.

Почему я так упорно рвался к Боргену? Должен признаться, знаменитости, особенно литературные, никогда не привлекали меня. Пушкин говорил: поэт весь в своих словах. То бишь нечего ждать, будто личное знакомство что-то прибавит к наслаждению его музой. Надменный Гримм писал Жан-Жаку Руссо: «Дайте мне наслаждаться Вашим прекрасным талантом и избавьте меня от

Вашей неприятной личности». Требование дерзкое, но примечательное. Впрочем, немногие великие люди, которых я знал, вызывали во мне восхищение и глубокую нежность, а отнюдь не разочарование, но все равно, сам не знаю почему, знаменитости мне противопоказаны.

Роман Юхана Боргена «Маленький лорд» потряс меня, как мало что в мировой литературе. Я могу сравнить впечатление, произведенное им, лишь с открытием для себя прозы Пруста, с «Уллисом» Джойса, с романом Томаса Вульфа «Взгляни на дом свой, ангел», с неистово-поэтичным бредом Маркеса «Сто лет одиночества». Каждое из этих произведений было рождением неведомого мира, с каждым я сам рождался наново, обогащенный новым знанием безмерных человеческих глубин, ошеломленный неисчерпаемостью литературных средств.

В «Маленьком лорде» нет новаторства формы, он вполне традиционен, в духе старого, привычного европейского романа, где жизненная история героя, выходца из буржуазной среды, излагается в хронологическом порядке, от дней безмятежного детства. Название, перекликающееся с известной умилительно-сопливой детской книжкой Барнетта «Маленький лорд Фаунтлерой», как бы призвано подчеркнуть добропорядочный настрой романа. Но в этом заключена жестокая, беспощадная ирония Боргена, умеющего быть таким добрым в своих рассказах о простых людях Норвегии, а здесь вдохновенно, скрупулезно и въедливо, с поразительными озарениями прослеживающего историю своего врага Вилфреда Сагена («Маленький лорд» — лишь первая часть трилогии), врага всех нас: высокоодаренного подростка, потом юноши, ставшего в роковой час норвежской истории предателем своего народа, пособником фашистов. Самое же удивительное, что роман, хоть он и не от первого лица, написан как бы изнутри центрального образа. Проникновение автора в суть странного мальчика с локонами до плеч — потому и зовет его Маленьким лордом любящая мать, усердно культивирующая нежный инфантилизм в быстро мужающем сыне, — столь глубоко, что он как бы сливается с ним, и нельзя отделаться от ощущения, будто это написано о самом себе. Кстати, Борген и социально близок своему герою — сын видного юриста, выласканный материальным переизбытком в сочетании с духовной утонченностью. В изображаемую Боргеном эпоху именно эта среда формировала крайних индивидуалистов, что в пору второй мировой войны и оккупации Норвегии повернулись к фашизму. Но как сочетать это с отчетливой автобиографичностью романа?

Юхан Борген последовательный антифашист, угодивший за

свои убеждения, когда гитлеровцы заняли Норвегию, в квислинговский застенок. Такова принятая у нас версия его ареста. Но в Норвегии я узнал, что вовсе не фельетоны, статьи, эссе, тонко язвившие оккупантов и коллаборационистов, привели Боргена в тюрьму Грини, — он был назначен связным между возглавившими норвежское Сопротивление коммунистами и «лондонским» правительством. Писатель может натянуть на себя любую личину, зажить в любой шкуре, но Борген не перевоплощался в Маленького лорда, он и есть Маленький лорд. Где и как расцепляется он со своим героем, когда из сообщника становится судьей — понять это значило бы понять очень много не только в самом Боргене, но и в природе творческого акта.

«Маленький лорд» загадывает трудные загадки. Я не знаю другого романа, столь прозрачного стилистически, столь сложного для постижения. Не замечаешь, как автор, легко и просто орудуя чисто бытовыми подробностями (при этом Борген вовсе не «бытовик», для него каждая присутствующая в мире вещь — знак некой высшей жизни), затягивает тебя в бездонные омуты, в такие грозные, темные глубины, что, даже умея плавать, ты начинаешь тонуть.

А как идилличны первые страницы! Торжественный семейный обед в богатом, нарядном норвежском доме. Любезно и важно принимает гостей трогательный хозяин, четырнадцатилетний мальчик с душистыми, до плеч локонами Вилфред Саген — Маленький лорд. Это милое прозвище нежно щекочет нёбо его прелестной матери, ведь оно — залог длящегося невинного детства сына и ее молодости, грустной вдовьей молодости — красивый, блестящий, даровитый муж рано покинул ее. Перед нами типично буржуазный дом благостной, но уже истекающей, уже пронизанной тревогой поры — канун первой мировой войны. Дом высокоинтеллигентный, духовный, утонченный, здесь не пахнет салом денег, и даже дядя-делец (а есть еще дядя-эстет, музыкант, знаток искусств) не излучает вульгарности, лишь бодрый, свежий практицизм.

Атмосфера создана, и читатель, уже поверивший мягкой и властной, легкой и мускулистой руке автора, готов с охотой следовать за ним в поэтичный мир одаренного, милого, странного мальчика с длинными волосами. Но уже в следующей главе эта добрая рука наносит читателю прямой в челюсть, от которого взбалтываются мозги в черепной коробке. Мальчик выпрашивает у матери разрешение пропустить школу, запасается у служанки бутербродами, надевает новое элегантное пальто, опускает в шелковый карман электрический фонарик и отправляется добывать чистотел из-под талого снега для своего гербария. Да,

если б так… На самом же деле он пробирается — с великими предосторожностями, достойными опытного преступника, — в квартал бедноты, где сперва провоцирует уличных мальчишек на столкновение, потом, ловко ошеломив их туповатые, доверчивые души фонариком-невидалью, приводит в покорность и подбивает на уголовщину: очистить кассу хозяина табачной лавки, жалкого старика. Мелкий и подлый грабеж удался. Сам Маленький лорд, конечно, не притронулся к деньгам, но, когда его сообщники убежали, двумя ударами поверг на пол несчастного старика, после чего спокойно покинул лавку и лишь затем до содрогания насладился воображаемой погоней, опасностью и счастливым избавлением.

Дикий поступок? Да. Но не более дикий, чем другое его деяние, тоже вроде бы ничем не вызванное. Однажды в исходе ночи он взял велосипед и помчался опять же в бедный квартал, но в другой, пригородный, и там развел между домами небольшой, но опасноватый костер. А затем, остановленный за езду без света, изо всех сил ударил коротышку-полицейского и вновь подарил себе ощущение погони, ужаса и спасения.

Что это — юный доктор Каллигари, давно в зубах навязший образ перевертня? О нет! Никакого раздвоения личности — Вилфред целен, как монета, в которой тоже две стороны, да ведь монета одна. Целен, как фальшивая монета. Но не будем забегать вперед. Что ж, читатель ныне опытный. Им немало читано-перечитано на тему такого вот ожесточенного, бессмысленного внешне, но глубоко органичного молодого бунта. И первое, что приходит на память, — Жюль из знаменитой эпопеи Роже Мартен дю Гара «Семья Тибо». Бунт одаренного юноши против затхлой буржуазной среды, ее лжи, лицемерия, сковывающих условностей, бунт порой нелепый, даже уродливый, но внутренней сутью своей здоровый, благородный, как и бессознательная тяга к людям другого класса. И все было бы очень просто, кабы было так… Но читатель скоро начинает чувствовать, что дикие бунтарские выходки Вилфреда лишены социальной подоплеки. Он всегда помнит, что он Маленький лорд, хотя претенциозное прозвище ему ненавистно, как и локоны до плеч, — просто вырос из этих атрибутов детства. Он тянется к низшим лишь для того, чтобы острее ощутить свое превосходство, свою избранность, утвердиться в презрении к тем, кто родился на теневой стороне жизни. Его бунт порожден стремлением освободиться от окружающего, создать свой собственный, замкнутый, никому не доступный мир. И это не препятствует вспышкам любви-жалости к матери, к изысканному дяде Рене и даже к примитивному дяде Мартину — словом, к родной крови, и влюбленности в молодую

тетку Кристину, и трепетной нежности к девочке Эрне, чьи губы шершавы от солнца и морской соли, и острой тяге к скрипачке Мириам, но все эти добрые чувства проявляются лишь к людям своего круга. Да, Жюлем Тибо тут и не пахнет!

Постепенно в книге нарастает тема редкой музыкальной одаренности Маленького лорда, которому по плечу — о хрупкое отроческое плечо! — все тайны Иоганна Себастьяна Баха, и меняется образный строй романа, ткань его становится легче, воздушней, поэтичней, и как легко дается Боргену это воспарение! Хоть он и не привязан к быту, его наблюдательный глаз цепко ловит все подробности жизни, обстающие человека, и будто сами собой возникают и натюрморт, и жанр, и городской пейзаж, но как же легко взлетает он по лунному лучу туда, где в хрустальной чистоте звучит лишь музыка сфер. Очарованный и несколько успокоенный читатель начинает думать, что ему предложен роман о трудном вызревании художественной натуры. В памяти оживает диковатый Юджин, герой романа Томаса Вульфа «Взгляни на дом свой, ангел», тоже окрашенного автобиографичностью. И принимаешь крайний субъективизм Вилфреда, его острые, порой враждебные отношения с окружающими, тайный конфликт с матерью, ожесточенное стремление скрыть от всех свое «я», и самолюбование принимаешь, и самовозвеличивание, и замыканье в раковину, и внезапный бросок к людям, и вечный поиск чего-то, и мучительные позывы созревающей плоти. До чего же непросто создается художник! Талант — дар божий, но и насмешка дьявола.

Не успев окрепнуть, сходство с вульфовским героем исчезает без следа. Пусть и не высказываемая прямо, цель индивидуалиста Юджина — в конечном счете — слиться с миром. Каждому истинному художнику необходим выход к людям, иначе зачем все, что он делает? Конечная и рано постигнутая цель Вилфреда — отделиться от мира непроницаемой стеной и тем обрести полную свободу. При этом Маленький лорд вовсе не освобождает мир от обязательств в отношении себя — ему должно получать из окружающего пищу для самоутверждения, любовь, удовольствия и удивление. Да, что-то непохоже на «портрет художника в юности»! Тем более что из патологического стремления скрыть свою внутреннюю жизнь он оборудовал рояль немой клавиатурой, и музыка из-под его пальцев звучит лишь ему одному. А вскоре он и сам онемел, заперев голос в сведенной судорогой гортани. И пусть потом голос вернулся к нему, это не меняет сути дела и роковой предопределенности пути. Вот в какую черную дыру загнал Вилфреда бес сверхиндивидуализма. Дальше, как

говорится, идти некуда. Ан есть еще шаг — за край, и герой совершает его в конце романа. Но здесь так смешалось реальное с символами, грубая правда жизни с видениями, проносящимися в воспаленном воображении героя, что финал романа во всей его сложности и не перескажешь. Если идти по поверхности, то дело выглядит так: движимый всегдашним стремлением ловить рыбу в мутной воде чужой социальной среды, пьяный Вилфред попадает в компанию двух проходимцев и проститутки, которые грабят его, раздевают, избивают и голого бросают в лесу. Дело осложнено тем, что к этим полупризрачным людям подтягиваются прежние, казалось бы, давно распутавшиеся узлы: совращение уличных мальчишек, покушение на хозяина табачной лавки — старик, представьте, умер от шока; ко всему еще скрипачка Мириам оказывается племянницей убитого старика, в память его она приходит играть на скрипке беднякам квартала. Бред заворачивается круто, образы, порождаемые ущербной совестью и диким страхом, переплетаются с явью, и уже не отделить правды от вымысла. Ко всему еще — и это не случайно — один из проходимцев вдруг выворачивается в социалиста… А завершается эта дьяволиада фантасмагорическим бегством голого, окровавленного, со сломанной рукой Вилфреда от преследующей его толпы (навязчивый кошмар всей его жизни) и отчаянным прыжком в море. Но тут, в море, и настигают откуда-то возникшие лодки, и чей-то голос вещает: «Теперь он от нас не уйдет». Сложный, запутанный узор раскрывается в очевидном символе краха индивидуализма и возмездии.

Не случайно голос принадлежит «человеку в рабочей блузе». Вилфред противопоставил себя всему миру, но один мир он в тайниках души любил — благоуханный, искусственный, фальшивый, порой невыносимый, но близкий всей кровью мир матери, дяди Рене и даже дяди Мартина, а другой — черный, луковый мир простонародья — боялся и ненавидел. И пытался причинить этому миру зло. И попался с поличным.

Но человек в блузе все-таки ошибся: Вилфред в конце концов попал совсем в иные руки. В последней части трилогии «Теперь он в наших руках» сверхиндивидуалист и человеконенавистник приходит к фашистам. Но незатухающая мысль о возмездии толкает его к самоубийству. Все закономерно. А как же Бах, Букстехуде, ведь было же это?.. Да, было. Один из самых мерзких нацистских преступников, палач Кальтенбруннер блестяще играл на рояле. Но это — к слову…

Казалось бы, при такой однозначности исчерпывающе точного решения не должно быть сложностей в понимании главного образа романа. Еще до войны появилось немало

хороших книг, достоверно изображавших превращение обывателя в нациста. Игра там велась с открытыми картами: читатель заранее знал, куда его ведут, и хотел лишь, чтобы его не обманывали, не подсовывали облегченных решений. Стоящие писатели, вроде Георга Борна, создавали математически точные структуры, это было полезное, обогащающее чтение. Но колдовство Боргена не чета даже самой мастеровитой, квалифицированной литературе, если она без бога, он прядет не из льняной кудели, а из лунного света, но его нитку не оборвать.

Борген не решает заранее поставленной задачи, не строит систему доказательств, а зорко, и трепетно следит за своим героем, выколупывая его из всех укромий, из всех защитных оболочек, до которых тот столь увертливо охоч. А это совсем не просто, ибо лучше всего герой хоронится в темных углах души самого писателя или еще глубже — в тайниках подсознания. Борген, об этом уже говорилось, выходец из того же круга, что и Маленький лорд, его искушали те же соблазны, дразнили те же бесы, насылаемые временем, средой, модной философией, литературой, искусством. Разумеется, он был нормальным мальчиком из теплого тела, а не литературной схемой, то плохим, то хорошим, склонным и к детской жестокости, и к добрым порывам, к дерзостям и к постижению чужой жалостной сути. Он не был запрограммирован, как и всякий живой человек, он испытал губительные соблазны, но спасся, одолел волей к творчеству смертный грех индивидуализма. А вот столь близкий ему Маленький лорд не одолел, не пожелал одолеть, заглушил в себе чистый родник творчества и человечности ради призрачного торжества над окружающим, принял причастие дьявола и пал под обломками своей распавшейся личности. Взаимопроникновение автора и героя определило незаданность и глубину образа и вместе с тем крайне затруднило его охват. Признаюсь, я рассчитывал, что Борген поможет мне укрепиться в моем понимании романа и героя, а глядишь, приоткроет дверцу туда, куда мне не дано заглянуть по недоступности всей трилогии.

И еще мне хотелось хоть что-то понять в Норвегии. Ну хотя бы почему живые норвежцы так непохожи на свое литературное воплощение у лучших писателей, будь то Ибсен или Бьернсон, Унсет или Гамсун или современный нам Юхан Борген. А может, правильней сказать, что герои лучших норвежских книг мало похожи на тех норвежцев, что заполняют улицы Осло и Бергена, Драммена и Тронхейма. Так, во всяком случае, мне кажется.

Тут я должен обратиться к дням десятилетней давности. Тогда я приехал в Норвегию за материалом для сценария фильма «Красная палатка». Меня интересовала в первую очередь

романтическая фигура великого путешественника Руала Амундсена. Взволнованный встречей со страной моих отроческих грез, я ожидал в каждом норвежце увидеть лейтенанта Глана, а в каждой норвежке — Эдварду. Когда о стране судишь по книгам, невольно попадаешь впросак. И юные богатырши, и длинноногие, спортивного напряжения спутники их, заполнявшие вечерние улицы Осло, обескураживали однозначностью простых своих устремлений к джазовой музыке, ледяному пиву, горячим сосискам, походам в горы с тяжелыми рюкзаками за спиной, спорту и кино. Их старшие соотечественники каменели в самодовольном спокойствии.

Я утешал себя тем, что Гланы, как им положено, скрываются в лесах, слушая мягкий постук еловых шишек о хвойный пастил, а Эдварды несут при них службу любви, томления и неверности.

И скользили мимо, не запоминаясь, оплывшие, равнодушные, отчужденные физиономии норвежских кинобоссов, не веривших в финансовый успех фильма и потому источавших арктический холод, любезно-безразличные маски ученых из института Арктики, которым невообразимо скучно было возвращаться усталой мыслью к далеким дням Амундсена и злосчастной экспедиции Нобиле, и сонные лица каких-то полуочевидцев тех грозных, повитых туманной дымкой событий, но Гланы… Гланов не было.

А потом поиск привел меня в дом-музей Амундсена, о существовании которого под боком у столицы и слыхом не слыхали мои многочисленные знакомые. Хранителем дома, пошедшего с торгов незадолго до гибели Амундсена (человек, подаривший родине Южный полюс и два великих северных пролива, разорился на своих экспедициях), был его племянник Густав, сын любимого брата.

Помню, наша машина, соскользнув с можжевелово-сосновой кручи, будто упала к крыльцу двухэтажного деревянного незатейливой архитектуры дома. Внизу простиралась пустынная, темно-синяя, жгуче отблескивающая вода фиорда; у песчаной кромки берега переваливалась с боку на бок, тревожимая набегающей волной, старенькая, рассохшаяся лодка; кроны сосен упирались в небо, сгущая над собой его синеву. От служебной постройки в нашу сторону шел, на ходу подтягивая старые штаны, загорелый пожилой человек с ярко-синими — уже издали — глазами.

— Капитан Амундсен! — представился он хриплым голосом.

До чего же похож на своего знаменитого дядю! Тот же рост, то же сухопарое сложение, то же сопряжение мускулов на худом выразительном лице, та же пронзительная, неистовая синь глаз.

Лишь орлиная крутизна характерного амундсеновского носа выпрямилась в ущерб лицу, потерявшему в резкой силе. А так хорош! Особенно когда закурил, сжав краешком обветренных губ мундштук, и вдруг поглядел вдаль, по-орлиному прямо на солнце.

Мы поздоровались и сказали о цели нашего приезда. Густав Амундсен издал странный горловой звук — не то взрыднул, не то всхохотнул, а может быть, два противоречивых чувства одновременно вспыхнули в нем. Впоследствии я убедился, что странный этот горловой звук вообще характерен для норвежских мужчин, для наиболее эмоциональных из них. Коротким всхлебом натренированная в сдержанности и слегка одеревеневшая душа высвобождается. Он извлек ключ из глубокого кармана заношенных штанов, но стершаяся бородка проворачивалась вхолостую в замочной скважине. Амундсен что-то крикнул насквозь прокуренным, навек простуженным, но хорошим, добротным мужским голосом, и откуда-то, вся развеваясь на ветру, которого не было, юбкой, кофтой вроспуск, незаколотыми легкими волосами, улыбаясь большой улыбкой ярко-красного рта, возникла молодая женщина с громадной связкой ключей. Кем была она Густаву Амундсену? Дочерью?.. Женой?.. Подругой?.. В нем снова взрыднулось-всхохотнулось — вспышка радости-боли навстречу любимому существу. И я понял, что все-таки нашел Глана на этой земле. И Эдварду.

Но как ни крути, а при множестве встреч один Глан и одна Эдварда — маловато. А где же строитель Сольнес, кинувшийся с верхушки возведенной им башни, которая мне почему-то представляется силосной, где демоническая Геда Габлер, все время помнившая о пистолетах своего отца-генерала, где бунтарка Нора, где мятущийся Пер Гюнт, где Нагель, так мощно заряженный страданием, где вообще все прекрасные и странные герои великой норвежской литературы? Должны же быть у них прообразы. Или извелись сильные и своеобразные характеры в нынешней бюргерской тишине, прочном достатке, легкой осуществимости всех доступных желаний? Но ведь есть молодежь, и ей от века свойственно беспокойство. Последний вопрос я задал уже в нынешний приезд своему знакомому, государственному служащему.

«Есть беспокойная молодежь, — сказал он, зевая. — Даже экстремисты водятся. Но не придавайте этому чересчур большого значения, из экстремистов вырастают самые добропорядочные буржуа: парусная яхта, загородный дом, рыбалка летом, лыжи зимой, заграничный туризм — в меру, счет в банке — желательно без меры, — вот на чем замыкается мир достигшего восковой

спелости левака. Причудливые характеры вы встретите скорее в деревне, или среди рыбаков, или на севере, там люди не так заштамповались».

И все же правда, наверное, в том, что норвежцы разные. Есть и Тур Хейердал, и его прекрасный сын Тур-младший…

В пятницу вечером, да и в субботу утром, лучше не выезжать из Осло, будешь плестись в хвосте длиннющей вереницы машин. Норвежцы исступленно стремятся на природу: в горы, в лес, на берега фиордов, озер, рек. Кого ждет собственный дом, кого походная палатка или просто костер под открытым небом.

Но мы отправились к Юхану Боргену ранним утром обычного трудового дня, и неширокое, ровное, в меру извилистое шоссе было просторно, как и весь мир вокруг нас, и так же просторно было мыслям, то растекающимся по окружающему, то собирающимся вокруг Юхана Боргена и его удивительного романа.

Видно, я крепко задумался. Еще недавно стоило оглянуться, и был виден порт Осло, грузо-пассажирские пароходы, прогулочные яхты, катера ловцов креветок — улов быстро распродается прямо с борта жадным любителям даров моря, разноцветные моторки, большой, несколько устаревшего обличья пароход, подаренный жителями Осло королю Улафу, любящему море, парусные гонки (в прошлом отличный яхтсмен, чемпион), а на суше породистых лошадей, и тот тревожный размерами и непривычностью громозд, напоминающий издали доменную печь, который сейчас докрашивают в доке: установка для добычи нефти с морских глубин, сконструированная норвежскими инженерами. В территориальных водах Норвегии обнаружены громадные запасы нефти, которые уже начали разрабатывать.

Дорога раскручивалась спиралью меж поросших то буками и кленами, то соснами и елями круч; оголенные скальные выступы омыто изумрудились плюшевым мохом. Затем мы прострелили ухоженную чистую равнину, аккуратно размеченную проволочными квадратами выпасов, купами деревьев, домиками под дымно притемнившейся красной черепицей; изредка промелькивали островерхие кирки с непременной стаей ворон и галок под слабо проблескивающим утреннюю хмарь золотым крестом. Мир был юн, прохладен, росен, грудь распахнулась дыханию, но, вместо того чтобы наслаждаться живительной бодростью, износившийся организм повлекся в неурочный сон. Неодолимый, глубокий сон, которому не мешали ни толчки, ни радио, включенное водителем на полную мощность, ни неудобство позы, ни подъемы и спады, отчего ватное тело то вжималось в спинку сиденья, то клонилось вперед, ни смех и

болтовня спутников. Этот стариковский сон слабости был мне легок, здоров и приятен. Я спал, как лишь в детстве спалось в сотово издырявленных древоточцами, розоватых, медово пахнущих стенах акуловской дачи под шорох дождя в сиренях.

Изредка опамятываясь, я видел или зеленую, под очистившимся, заголубевшим небом равнину, или ребра и огладья горных склонов, или лес в дымчатом выпоте, вспоминал, кто я и куда еду, и вновь радостно засыпал.

Проснулся я окончательно в городке Фредрикстаде, где мы заплутались, упустив нитку дороги. Мы стали спрашивать прохожих, где живет Юхан Борген. В Осло городок Фредрикстад казался столь приближенным к писателю и столь малым, захолустным по сравнению с его всесветной славой, что мы полагали: достаточно добраться сюда, и дело сделано.

Ничего подобного. Маленький Фредрикстад, предлагающий своим обитателям множество до отказа набитых магазинов, прекрасный парк и летнее кафе при нем, рестораны, бары, кино, бензозаправочные станции и все, что требуется для работы и быта, а завершившим земной путь — влажное, тенистое, кощунственно соблазнительное кладбище, не считал себя довеском к чужой славе и, утверждая свою независимость, упорно отказывал нам в нужной справке. Наконец мы сообразили спросить об острове Асмалене, и тут какая-то сердобольная душа снизошла к нашим мольбам. Резко кинула направление загорелая рука, простуженный морской голос добавил ориентир: проехать шесть мостов.

Мы выкрутились из узких улиц и принялись отсчитывать мосты то ли через реки, то ли через щупальца фиорда. И на одном самом широком и длинном мосту нас остановила застава — пришлось уплатить «мостовую» пошлину. Опахнутые веем средневековья, мы выложили сорок пять крон, за что получили карту местности и возможность двигаться дальше, к новым мостам, свободным от застав.

Нас было четверо: мой московский друг, правивший машиной, преподаватель Ословского университета, любезно взявший на себя роль переводчика, его сын, студент медицинского института, и я. Каждый из нас старательно отсчитывал мосты, но цифры почему-то не сходились. Километры наматывались на колеса, и неуверенность наша все возрастала, но отступать было некуда. Мы продолжали мчаться вперед, а вода то подступала широким разливом и едва не заплескивала на шоссе, то съеживалась в ослепительные пятаки и лепты. И вдруг воды не стало, дорога уцепилась за обрывистое подножие каменистого кряжа в зеленых и бурых, с красной искрой лишайниках. Два-три

витка, и впереди вновь простерлась вода — широкая и спокойная. Из нее выгорбились гранитными спинами острова. Хрипатый житель Фредрикстада не обманул нас, где-то тут укрылся Юхан Борген, но нам никогда не добраться до него, нельзя же верить тоненькой ниточке еле слышного телефона. Я забыл, что в Норвегии, коль тебе посчастливилось о чем-либо договориться, недоразумений не бывает.

Машина остановилась на краю берегового откоса, под которым находился деревянный причал. И тут же из серповидного ботика с высокими бортами и круто задранным носом поднялся молодой человек в старой кепке, кидавшей тень на загорелое лицо, ловко прыгнул на берег, в несколько рывков одолел кручу и подошел к нам, уже издали протягивая загрубелую руку. С красно-загорелого, обветренного лица растерянной, беззащитной, какой-то раненой добротой глянули ярко-голубые лучащиеся глаза. Я пожал его крепкую руку, поймал свое отражение в глубине раненых глаз и что-то с болью понял.

Сойти в колеблемую волной лодку с высокой пристани было делом нелегким, но мускулистая рука Боргена-младшего помогла нам справиться с этой задачей. Взревел, играя в ярость и силу, старенький мотор, расположенный не на корме, а посреди ботика, и мы затрюхали по мелкой зеленоватой волне к ближайшему острову. Три гуся прошли над нами, вытянув шеи, будто всматриваясь в далекую манящую цель и согласно взмахивая широкими крыльями. С их мощно-плавных крыльев низошла великая тишина. Я вдруг заметил, как тих нетронутый мир: он не гудит, не скрежещет, не визжит, не вопит, в молчании свершает свою серьезную жизнь. Молчаливы вода и небо и поросшие молчащими деревьями берега. Тут и мы, суматошные, источающие столько ненужного шума людишки, включились в благостную тишину, заглушив мотор и продвигаясь к причалу — дощатому настилу на сваях — одной лишь силой разгона. И мягко прибортились…

На каменистом острове, на самом его взгорбке, стоял большой деревянный дом; худенькие ветлы и низкие, приклоненные сосенки не давали ему ни тени, ни защиты от ветра, да, похоже, дом и не нуждался в этом, привычно и легко напрягаясь против стихий своими терпеливыми ребрами. Позже мы обнаружили, что жилище Боргенов состоит из двух домов: старого, более чем столетней давности, и пристроенного к нему молодого дома, но от причала зрился лишь старик, выбеленный ветрами и солеными заплесками, будто поседевший.

Вверх по узкой тропке, навстречу истошному лаю, ничуть не мешавшему тишине, лишь подтверждавшему ее гулкую емкость,

навстречу поднявшейся с камня молодой смуглой и черноволосой индианке в чем-то ярко-желтом. И не уловить было, как произошло ее превращение в пожилую норвежскую женщину с двухцветными волосами, рыжеватыми у корней по широкому разлому двух жестких угольных крыл, с цепким, вбирающим взглядом и спокойной складкой темных губ. То была жена Юхана Боргена Аннемарта, уроженка заполярного города Буде.

Я пожал небольшую, по-мужски твердую руку Аннемарты, в разрезе вязаной кофты, на смуглом подъеме груди покоилось украшение из бус, колечек, разноцветных камешков. «Здравствуйте, — сказала она и тут же спросила: — Так?.. — И, получив подтверждение, что именно так: — Я учила русский. В Осло. Все забыла». Ее низкий надежный голос звучал приветливо, но большое, свободное лицо сохраняло хмуроватую серьезность, не корчась в любезных улыбках. Эта женщина привыкла воспринимать жизнь как долг и заботу и не тратила себя ни на пустые условности, ни на преждевременную самозащиту. Она не приспосабливалась к новизне и не боялась ее. И мне вдруг перестало пахнуть нефтью.

Только сейчас я понял, что в этот приезд в Норвегию мне все время пахло нефтью. Ею пахли разговоры и споры, в которых слово «нефть» даже не произносилось, поведение самых разных людей, не имеющих ни малейшего отношения к нефтедобыче, сместившаяся в сторону отчуждения повадка иных знакомых и даже тех, кого я считал друзьями, пахли море и суша, и сквозь плотный аромат пышных столичных сиреней едко тянуло нефтью. Утверждения, доводы, надежды, апломб — все пахло жирной переливчатой жидкостью — черной кровью современного мира.

А здесь пахло — немного морем, немного нагретым камнем и очень сильно — освобожденным от корысти достоинством человека. Аннемарта посетовала, что лето в нынешнем году безбожно опаздывает и мы не услышим запаха даже самых ранних слабых роз. В ее розарии, разбросанном вокруг дома по всему участку, более семидесяти сортов. Розы собраны на клумбы и гряды, их кусты окружают дом с четырех сторон, образуют аллейки в саду, прячутся за деревьями и хозяйственными постройками, и все роскошество — на тонюсеньком, в несколько сантиметров, слое родящей почвы, под которой камень. Это какая-то разновидность гранита. Он — всюду, куда ни кинешь взгляд. Им сложены напирающие на участок горные склоны и круча береговой пади, он обнажается меж огородных грядок и кустов, у подножий деревьев, под дверным порогом.

Камень царит в просторе. А точнее, тут троецарствие: камень, вода, небо, совсем как на пейзажах Рокуэлла Кента, только без его

резкости и контрастности. Здесь все мягче, переходчивей, слиянней. Деревца, кусты, цветы, мхи зрятся лишь в приближении, как сквозь лупу, взятый же нацельно простор являет очарование чуть размытой лунной наготы.

Захлебистый лай преградил нам подход к дому. Но напрасно сдержали мы шаг: собаки исходили обороняющей яростью в загоне из железной мелкоячеистой сетки. Черные, короткая шерсть дыбом на загривке, с лисьими, только чуть более тупенькими мордами, они принадлежали к той чудесной породе, которую в Скандинавии называют «перекресток дорог». Но Аннемарта, будто разгадав мои кощунственные мысли, самолюбиво сообщила, что тут слились весьма аристократические крови. Хозяйка отпахнула дверцу: черный, визжащий, рычащий клубок выкатился из загона и распался, превратившись в трех добрячек. Маму звали Шальме, дочерей — Куре и Вире. Шумная компания скрылась в доме, а я задержался. Мне почему-то захотелось побыть одному. Тем более что Аннемарта предупредила: Борген выйдет немного позже, ему с утра недужится — сердце, Я слонялся по участку, узенько втиснувшемуся между горным склоном и обрывом. Каждый клочок земли средь валунов, гранитных выбросов, хрящей и каменюк понужден растить что-либо: розы, тюльпаны, весенние крошечные астры, кусты краснотала и шиповника, сосны, березки-кривулины, ивняк, какие-то овощи. Там и тут, в прислон или в лежку, — сельскохозяйственные инструменты; кирки, мотыги, лопаты свидетельствуют, как нелегко извлечь зеленую жизнь из здешней почвы. Весь отвоеванный у тверди участок в протяженности и ужине своей с трогательным тщанием обуючен. Видать, жена и сын любовно потрудились для Юхана, чтобы ему хорошо и удобно было в своем уединении. Деревянный столик со скамейкой под ветлами, диванчик и креслица в кустарниковой тени, другой диванчик на нестрашном здесь, в морской остыни, солнечном припеке, близ роз и тюльпанов; гладкий чурбачок, пригодный для передыха, с края огорода, охраняемого от птиц насаженным на шест черепом. Тут же валяется отбитая фарфоровая головка куклы — след неведомой мне жизни этой семьи. Но праздных, случайных предметов мало, все нужное: пластмассовые канистры, машина для стрижки газона, свернувшийся змеей поливальный шланг, садовые ножницы.

Таким же насыщенным до предела оказался и самый дом. Едва переступив порог, я понял, что не квартира в Осло, а эта островная хижина является главным обиталищем писателя. Борген, знать, не из тех, кто равнодушен к бытовому наполнению жизни, к предметным знакам минувшего. Дом набит старинными

вещами, фотографиями, картинами, рисунками, вышивками, какими-то странными композициями из тканей (автором оказалась Аннемарта), поделками народного искусства; мебель большей частью старая, из чистого природного дерева, не униженного полировкой, а если где и лоснится, так от долгой службы. И домотканые коврики, и шкуры, и всюду книги, журналы, газеты, какие-то проспекты, каталоги, — семья не исключает себя из современного мирового круговорота, просто живет наособь.

Борген не появлялся довольно долго. Хозяйка принесла несколько больших запотелых бутылок белого вина и разлила по бокалам. Прозвучало традиционное норвежское «Сколь!», я отпил очень холодного, чуть горчащего бордо и поймал себя на мысли, что готов уехать, вот так уехать, едва прикоснувшись к быту Боргена и даже не увидев его самого. И дело было не в том, что лишь сейчас до меня дошло, насколько обременителен наш приезд старому и, очевидно, очень больному человеку. Ну что я, в самом деле, восторженный собиратель автографов и улыбок великих людей? Что может дать этот летучий визит, этот промельк в окне мчащегося поезда, кроме печали и разочарования? Нельзя же всерьез верить, что меня «осенит свет истины». Я увидел место, где текут дни старого писателя, заглянул к нему в дом, прикоснулся к вещам, окружающим его исстари, выпил ломящего зубы вина с его женой, поймал улыбку сына, так чего же еще надо? Теперь, когда я буду перечитывать «Маленького лорда» или знакомиться с новыми произведениями Боргена, сквозь строки будут светиться и этот каменистый остров в звоне несказанной тишины, и дикие гуси с вытянутыми шеями, и Шальме-Куре-Вире, и садик на камнях под стать японскому, и оторванная головка куклы, и рыжеватый пробор в угольно-черных волосах пожилой царицы роз, и глубже станет ощущение писателя — этого довольно. Оставить ему книжку, изданную в Осло, с доброй надписью, выпить последний бокал вина с Аннемартой и — по домам! Не надо вторгаться в тишину того, кто избрал уединение. Но было поздно. На пороге комнаты стоял Юхан Борген. Боже, как он ветх и худ, как обобран возрастом и болезнью!

Я осторожно пожал его теплую, сухую, почти невесомую руку. О, как грозно хрупка оболочка, приютившая такой могучий дар! Он довольно высок, но плоск и тонок, как травинка. Ему нельзя выходить на ветер, особенно когда злой норд пластает деревья на его участке. Если за ушами от старости глубокие провалы, в народе это называют «лошадиной головой». А чело высокое и чистое, и сквозь толстые стекла очков лучатся небольшие светлые

застенчиво-проницательные глаза. Уши с четкой лепкой раковин не прижаты к почти голому черепу, а жадновато сориентированы на собеседника. Глаза и уши писателя — соглядатая-слухача. Худая крупная кисть то и дело непроизвольно тянется к сердцу, нашаривая тревожащую боль под вязаным жилетом. Его неимоверную худобу облегают жилет и шерстяная кофта, старые брюки и клетчатая рубашка с широким воротом, застегнутым на пуговицу под слабым кадыком.

Часто улыбаясь запавшим ртом, Борген говорит, что рад нашему приезду. Очень рад и благодарен от души. Все идет по протоколу. Но с каким-то растерянным выражением он продолжает: его тронуло, смутило, обрадовало, но еще больше удивило, что писатель чужой страны захотел увидеть его и не поленился проделать такой длинный путь. Конечно, он не дипломат и несколько пересаливает, вернее, переслащивает. Я возражаю: нет ничего удивительного в том, что стремишься увидеть своего любимого писателя. «Но вот это меня и удивляет!» — засмеялся Борген и вытер очки. И тут пришел мой черед удивляться: Борген вовсе не платил дань вежливости, он на самом деле искренне и смущенно недоумевал, с чего вдруг кому-то понадобился. Подобная скромность, хоть и обескураживает, все же неизмеримо приятнее елейной спеси *мэтра*, снисходительности старого мудреца и прочих ипостасей живого классика национальной литературы, с которыми я вполне мог столкнуться. Благодарный, я сказал, что вовсе не являюсь белой вороной среди моих соотечественников: на «Маленького лорда» в библиотеках всегда очередь. Борген шатнулся к книжной полке и безошибочно извлек том в черном переплете — «Маленький лорд» в издании «Прогресса». Большая полка была забита иностранными изданиями Боргена.

Он повертел в руках бедно изданный том, уважительно пошевелил изжелта-серые страницы.

— Значит, есть еще место, где меня читают, — и опять засмеялся.

Этот искренний, смущенный, какой-то детский смех исключал литературное кокетство, и уж подавно не было в Боргене той сосущей неудовлетворенности, что отравляет дни и ночи причастных непосильному делу литературы, даже самых взысканных славой, почестями, деньгами. Почти каждому писателю кажется, что ему недодали, ах как недодали по заслугам!

— А разве вас мало читают? — спросил я.

— В Норвегии?.. — Он посмеивается и гладит сердце, успокаивая, чтобы не рванулось прочь из грудной клетки. —

Книги выходят — значит, раскупаются. Несколько тысяч экземпляров всегда разойдутся, хотя бы для того, чтобы занять место на полках. И потом — старики, пенсионеры, у них уйма свободного времени. Но ведь главный читатель — молодежь. Там другие кумиры.

— Какие?

Он посмеивается.

— Не знаю… другие.

— Кумиры на час?

Снова смешок. Борген слишком норвежец, чтобы злословить, кого-то осуждать.

Я знаю за собой свойство — выдумывать наперед человека, вместо того чтобы постигать трудным, долгим усилием, и иметь дело с таким вот выдуманным человеком, отметая прочь все, что не сживается с заранее сочиненным образом. Но Боргена я не хотел придумывать и не стал этого делать, а, зримый, он как-то не давался мне. Он говорил, посмеивался, смущался, лучился из-за толстых стекол искренней добротой, даже пил вино, поднося дрожащей рукой бокал к моему бокалу — стеклянные выпуклости соприкасались без звона, — и пригублял поплескивающую золотистую жидкость — словом, не только присутствовал, но и находился с окружающими в живом обмене и все же безнадежно ускользал от меня. И недобрым словом поминал я пресловутую норвежскую сдержанность, доведенное до абсурда чувство такта: только не навязывать себя, своих мнений, чувств, не быть в тягость, не подавлять избытком индивидуальности, а смазаться, раствориться в облачко неопределенной благожелательности, дающей полную свободу другому, другим. А мне не хотелось этой свободы, мне хотелось зависимости от Юхана Боргена. Видит бог, я уже любил его — не за «Маленького лорда» и не за старую Лиз из дивного рассказа об одиночестве, а просто любил — его старое лицо, благородную округлость черепа, его бледные руки, милую худобу, улыбку, очки, застенчивый смешок. А он упорно не хотел уловить чужую душу, в нем не было ничего от проповедника, пророка, учителя, провидца, носителя истины, ничего толстовского.

…Почему-то заговорили о путешествиях. Я спросил Боргена: много ли он путешествовал?

— О нет! Куда меньше, чем хотелось бы. Когда были силы, не было денег. Теперь есть деньги, но нет сил. Конечно, я кое-что повидал… И в Старом, и в Новом Свете, даже в Африку забрался. Это были скорее странствия, нежели путешествия.

— А похожи норвежцы на японцев? — спросил я, усугубляя дурь вопроса скверным английским произношением.

— Я как-то не думал над этим. Наверное, похожи.

— В самом деле?

— Норвежцы немножко похожи на шведов, датчан, исландцев, финнов, немножко на русских, немножко на американцев и англичан… Мне кажется, они немножко похожи на всех людей в мире. Так зачем же исключать японцев?

Ответ оказался умен не по вопросу.

— А ездить и видеть мир — счастье, — сказал Борген, чуть приоткрывая створку раковины. — Особенно если можешь любить города, как людей. Вы можете?

— Кажется, могу.

— Ах, как я люблю Париж, Лондон, Копенгаген, Рим, Афины, Лос-Анджелес, Каир!.. — Он боялся пропустить хоть один любимый город. — Но сейчас они кажутся мне призрачными, как будто я придумал, что бывал там… Как будто я вообще придумал их.

А ты, видать, не так уж счастлив на своем острове! — вдруг понял я. Видимо, порой мне удавалось настраиваться на его волну. Вот и сейчас я знал, что он ускользнул из настоящего, затерялся где-нибудь в Копенгагене или Лос-Анджелесе своей молодости, и мой вопрос грубо втащил его в действительность, но он подавил в себе чувство жалости: нагрезится вдосталь, когда я уеду.

— «Маленький лорд»… это о себе?

— Конечно, — сказал он как о чем-то само собой разумеющемся.

— Но в конце… вы же ненавидите своего героя?

— Это в порядке вещей. Только себя человек умеет по-настоящему любить и по-настоящему ненавидеть.

— А как надо понимать, когда он, голый, окровавленный, бежит от разъяренной толпы? Как метафору, как истинное, хотя и не укладывающееся в трезвом сознании происшествие, как сон, как кошмар дошедшего до абсурда страха перед расплатой, не столько даже за содеянное, сколько за предстоящее?..

— Но ведь все это одно и то же, — сказал Борген рассеянно, — поскольку безразлично к сути дела. И потом, так ли четка грань между тем, что случилось, и тем, что могло случиться? Адом в яви или адом в душе? Важно, что он это пережил: голый и беззащитный перед толпой, голый трус, голый беглец, он, считавший себя неуязвимым.

— А его приход к фашизму?..

— Это предостережение среде, порождающей людей с гипертрофированным «я». Но вообще… тут сложнее. Нельзя считать, что он стал убежденным фашистом. Он предает свой

народ, но предает и гитлеровцев. Понимаете, в какой-то момент человек обязан сделать окончательный выбор, решить для себя, с кем он. А Вилфред с его ненавистью к людям и страхом перед ними этого выбора так и не сделал. И погиб.

— Нелегко, наверное, писать такой роман!..

Взгляд Боргена за очками напрягся.

— Когда я его кончил, у меня дергалась голова, дрожали руки, пропали сон и аппетит. Знакомый невропатолог сказал, что это от перенапряжения, что я слишком сильно пережил свою книгу… — И вдруг от глаз к вискам разбежались лучики, он беззвучно рассмеялся. — Но другой невропатолог авторитетно заявил, что все дело в белом сухом вине, которым я злоупотреблял. Ваше здоровье!..

Я понял, что он больше не хочет говорить о своем романе. И тут, весьма кстати, нас позвали к столу. За завтраком, состоявшим из омлета, черной, сухой, рассыпчатой, как дробь, норвежской икры, окорока, салата, масла и хлеба, под то же холодное бордо, разговор, как и обычно в застолье, двигался скачками — от одного предмета к другому вроде бы без всякой связи, но какая-то внутренняя логика в нем все же была. И не случайно подвернулся нам Кнут Гамсун, оказавший большое влияние на всех норвежских писателей, в том числе и на Юхана Боргена.

Борген. Я видел Гамсуна лишь однажды. Мы куда-то шли. Разговаривали, молчали. Что-то промелькнуло, не помню что. Я вынул блокнот и сделал заметку. И тут же Гамсун принялся мне выговаривать: мол, это все равно забудется, только завершенной, отделанной фразой можно сохранить образ явления, вещи. Если вы не доверяете своему воображению, его способности создавать что-то из пустоты, остановитесь и постройте фразу. Фраза — сачок, а ваша закорючка ничего не удержит.

Тут было над чем подумать…

Вспомнили о великом норвежском художнике Эдварде Мунке, чьи полотна украшают стены дома. Борген хорошо знал художника, дожившего до глубокой старости.

Борген. Мул к никогда не был сумасшедшим, сколько бы ни утверждали обратное.

Кто-то из собеседников. У него есть автопортреты, написанные в сумасшедшем доме.

Борген. В сумасшедшем доме он скрывался от сумасшествия так называемого нормального мира. Отдыхал среди корректных профессионалов от раздерганных дилетантов безумия.

…Чувствовалось, что Боргену все труднее становится поддерживать беседу. Короткий завод кончился. Он что-то

клевал, как птица, с тарелки, подносил бокальчик к губам, но куда чаще тянулся левой рукой к сердцу.

И, ловя последние мгновения, я спросил:

— Что вы сейчас пишете?

— Ничего. Если не считать коротких рецензий для газеты.

— Но почему?

— Устал… Болен. Да и кому это надо? — Он улыбнулся, затем спросил: — Как вы относитесь к радиотеатру?

Я пожал плечами:

— Сам не знаю… Хорошо, наверное.

— Стоит писать радиопьесы. Их слушают в деревне. Телевидение не совсем еще подавило радио. Его слушают в сельских местностях, особенно на севере, в рыбацких поселках.

Приверженность Боргена к радио я понял, когда, встав из-за стола, мы обменялись книгами. Его последний сборник, который он мне подарил, включает наряду с рассказами радиопьесу. Он сетовал — если только это слово подходит к покорно-иронической печали, звучавшей в его словах, — на охлаждение к нему современного читателя, радио дало ему новую связь с простыми людьми Норвегии, которые не покупают книг, но в своей глуши жадно ловят радиопередачи.

— Юхану надо немного полежать, — сказала Аннемарта. — И он снова выйдет. А мы пока попьем вино во дворе.

И, подавая пример, с полным бокалом направилась к дверям. Борген улыбался, румянец сплел паутинку на бледных щеках, он как бы просил извинения за свою слабость. Потом повернулся и, прижимая к впалому животу мою пестро одетую норвежскую книгу, зашаркал в глубь дома.

Провожая Боргена взглядом, я чуть задержался, и, когда вышел, во дворе уже составились прочные группы: переводчик чокался с Аннемартой, его сын разговаривал с мастерившим что-то у сараюшки Боргеном-младшим, мой друг дразнил Шальму, Куре и Вире, вновь загнанных в свое проволочное псовище. Я выбрал пару: фру Борген — переводчик и присоединился к ним.

— …да, на мотоцикле, — говорила Аннемарта, прихлебывая вино. — Его склеили буквально из кусков. Но то рука, то голова… Десятки операций, даже в Англию возили, ничего не помогало. С учебой, конечно, было покончено. Это длилось годы. А потом как-то выправился, только стал очень добрым, слишком добрым, невозможно добрым, как Христос. Готов все с себя отдать. Он не может владеть тем, чего нет у другого. Вот и живет при нас.

Она говорила о сыне. В своей драненькой тужурке, заношенных брюках и насунутой на нос кепчонке он усиливался против какой-то хозяйственной железяки, которую требовалось

согнуть, в тени наклонившегося над ним рослого, красивого сына переводчика. Улыбка безмерной, безысходной доброты искажала его черты почти что гримасой страдания — ему нечего было отдать собеседнику. Хорошо же устроен мир, если человека, единственный изъян которого — доброта, нельзя отпускать с отчего порога. Но ведь так было всегда. Боргены сделали правильный вывод из скорбного примера плотника Иосифа и жены его Марии, не удержавших сына возле пахучих стружек и теплого хлева.

Внезапно появился Борген с моей книгой в руке.

— Ты уже встал? — удивилась жена.

— Нет, еще не ложился… Я прочел предисловие. — Он многозначительно посмотрел на меня, покивал головой, улыбнулся — у сына была отцовская улыбка, только доведенная до критической черты, — повернулся и побрел прочь.

Утих даже тот слабый ветерок, который мышью шуршал в кустах, траве, каменистой пыли. Совершенная, хрустальная тишина повисла над всем оглядьем: водой, скалами, грядой островов. Бесшумно налетели чайки, покружились над домом и сгинули, как растворились в пустом воздухе. Потом в бесконечной выси два коршуна стали низать олимпийские кольца, и вдруг один из них, что-то высмотрев, косо, через крыло заскользил вниз.

И заскользили мои мысли вкось всего, что уже думалось и соображалось в последние дни. Борген мало сказал о своем романе и почти ничего о своей стране. Но неужели я всерьез рассчитывал постичь в коротком разговоре чужую древнюю страну? Да знаю ли я свою собственную страну, с которой мучаюсь общей мукой вот уже скоро шесть десятков лет? Ну а узнал ли я что-нибудь о самом Боргене? Может быть, что-то и узнал, сразу не понять. Да и надо ли понимать? Разве очарование человека не важнее всех головных построений?..

Так утешал я себя, предчувствуя то горькое ощущение упущенных возможностей, какое наверняка заточит мне душу, как только мы расстанемся с Боргеном.

А он опять появился, цепляя землю ногами. Усталость высосала лицо. Наш приезд выбил его из привычного режима, разволновал, лишил необходимого отдыха.

— Я прочел первый рассказ, — сказал он мне приглушенно-значительным тоном заговорщика.

Но нам не удалось развить наш маленький заговор против тех, кто не пишет рассказов и не читает их так. В голосе фру Борген пророкотала надвигающаяся гроза.

— Иди отдыхать, Юхан!

— А вы не уедете? — спросил он жалобно.

Но теперь мы поняли, что должны уехать сразу, иначе он не угомонится.

— Нам пора. Спасибо за встречу.

— Это я должен вас благодарить.

Его легкие руки в моих руках. В Норвегии не целуются с посторонними, не знаю, целуются ли с близкими. Я просто держу в своих ладонях эти невесомые, худые, милые руки, просвечивающие розовым, как фарфор, меж тонких пальцев. Его рот слегка шевелится, будто разминает какие-то слова, которые все равно не будут произнесены вслух: ведь маленького Юхана, как и всякого норвежского ребенка, научили не выдавать своих чувств. Мне было грустно, разве мог я предполагать, что в недалеком будущем узнаю, о чем молчал тогда Юхан Борген.

И он уходит. И вот уже скрылся в доме. И какая настала тишина!..

Никому из нас не выпало вульгарной участи первому нарушить эту великую тишину. Пронзительный свист рассек мироздание, вслед за тем низвергнулся чудовищный, сминающий душу грохот, и все вокруг, и мы сами превратились в безобразный, отвратительный грохот, несовместимый с достоинством места: тихими водами и немым камнем. Три сверхзвуковых истребителя с расположенного поблизости натовского аэродрома стали выписывать тренировочные круги, нагоняя собственный, сильно отстающий грохот. Не было тишины и у этого затерянного уголка земли, не было тишины у Боргена.

И прощались мы с Аннемартой под ломивший уши, высасывающий сердце и обеззвучивающий речь, с ума сводящий шум. Борген-младший звал нас улыбкой в путь. Аннемарта величаво опустилась на пригретый солнцем камень с налитой всклень рюмкой в руке, и не успели мы достичь причала, как вновь обернулась черной, смуглой, недвижной, будто изваяние, индианкой, колдуньей — хранительницей малого, истребленного племени, противопоставив грозному шуму тишину каменной недвижности и порядка в себе самой. Мы махали ей, но разве отзовется изваяние?

При расставании на том берегу молодой Борген мучился, чем бы нас одарить. Но ничего не было, и он сказал проникновенно:

— Приезжайте на будущий год, уже отменят мостовую пошлину.

Все-таки он исхитрился подарить нам сорок пять крон…

Я еще оставался в Осло, когда пришло письмо от Боргена на имя переводчика, но адресованное всем нам. Письмо удивительно трогательное и грустное. Я все-таки не понимал до конца, как

искренен Юхан в каждом слове и как он одинок. «Я испытываю странное чувство, когда находятся люди, рассматривающие меня как лицо, имеющее какое-то значение, — признается всемирно известный писатель. — Поэтому мои ответы на задаваемые вопросы бывают так бессодержательны» И он корит себя за «неуклюжесть и недостаток умственной гибкости» — это Борген-то, один из умнейших и образованнейших прозаиков века! Если б за этим была лишь преувеличенная скромность деликатной и стыдливой души! Но все куда печальней. Ледяной ветер одиночества… Нет среды, нет единомышленников, нет веры, что твое дело кому-то еще нужно. И прошлое, которое было таким наполненным, живым, гулким, представляется сном. «Я объездил много стран, выступал с чтением своих рассказов, играл на сцене и даже читал лекции, сейчас все это кажется не бывшим или принадлежащим совсем другому человеку».

Почему современники так неблагодарны, так жестоки к своим певцам? Почему торопятся воздать холодом, равнодушием или подчеркнутым пренебрежением за былое поклонение, славословия, упоенность? Не спешите, старые песни нередко оживают и опять ширят душу и ведут в бой, в то время как новые, что пьянят сейчас, оборачиваются немотой. Будьте же, люди, добрее и терпеливей к тем, чьими сердцами вымощены дороги веков.

«Я сам удалился от всего того, что называют литературными кругами. Но в действительности изоляция совершилась задолго до того, как мы покинули Осло и весь свет. Издавна любимые мной города кажутся призрачными. И вдруг все это оживает, становится близким благодаря короткой двухчасовой беседе. Какой благостный толчок». И еще Борген называет нашу встречу «стимулирующей», ведь он узнал, что его читают и любят.

Почему-то я рассматривал свидание с ним лишь со своей точки зрения: что даст оно мне. Я заранее исключал, что и для Юхана Боргена это может что-то значить. Наверное, я тоже скромный человек. И то, что получилось из этой встречи, куда больше и важнее моих бедных расчетов.

И особенно радостно: Борген ощутил прибыток энергии, ему захотелось действовать, бороться. «Пора уже сделать что-то с нашими чересчур скромными знаниями о русской, точнее, советской литературе… У меня часто бывает такое ощущение, что там (имеется в виду газета „Дагбладет“, где сотрудничает Борген. — *Ю. Н.*) ко мне вежливы просто как к ветерану. Тем не менее я постараюсь сделать все в этой области, насколько позволит мне остаток моих сил».

Прекрасное намерение, но еще лучше — пробудившееся в

нем желание писать. Ради этого стоило платить пошлину не на одном, а на всех шести мостах, что сцепляют дорогу, ведущую из норвежской столицы к месту его добровольного изгнания.

Голландия Боба ден Ойла

Литературный портрет

Недавно я обнаружил миновавший меня каким-то образом номер «Иностранной литературы» за 1975 год. Я получаю журнал по подписке и всегда внимательно просматриваю, а этот номер не был на глазах. Потом я вспомнил, что в пору его выхода находился на БАМе, журнал, верно, куда-то запропастился, а в нужный срок сам пришел в руки. Так нередко бывает с пропавшими вещами. Схоронившись невесть где в обжитом, лишенном укромий доме, они сами выбирают момент для возвращения.

Листая журнал, я наткнулся на фотографию человека средних лет с вытянутым лицом, большим, тяжелым носом, слабым ртом, изломанными бровями и длинными баками. Рядом крупным шрифтом его имя, звонкое, как цокот копыт по мостовой: Боб ден Ойл. Писатель был представлен циклом рассказов, первый назывался «Крабы в консервной банке». Название мне понравилось.

Я не принадлежу к всеядным читателям, которые, словно осы на варенье, набрасываются на каждую журнальную публикацию, на каждое новое имя. У меня первое движение — отгородиться, защититься от неподготовленных, необязательных впечатлений, которые чаще всего лишь по-пустому отнимают время и душевные силы. А и того и другого осталось не так много. За прожитую жизнь скопилось немало книг, которые хочется вновь и вновь перечитывать.

Мне кажется, что у определенной возрастной черты, если книги для тебя не просто заполнение досуга, не развлечение вроде телевизора, надо ставить дверь на запор и новых посетителей либо вовсе не впускать, либо — по самому строгому отбору. В одном Пушкине таятся такие глубины, что не хватит жизни добраться до дна. И все же трудно писателю решиться на это справедливое дело, ведь надо знать, что делается в литературе, и не из праздного любопытства и самолюбивого беспокойства, а ради профессиональной ориентировки: как и какими средствами отражается миг сегодняшнего бытия в искусстве, чьим материалом является слово.

Где взять на все время? И поневоле задумаешься: не лучше ли еще раз перечитать «Смерть Ивана Ильича», «Лику», «В сторону Свана», чем тешить беса любопытства новым романом модного

автора или рассказами таинственного незнакомца.

Вот почему я колебался: открывать ли консервы Боба ден Ойла или перемочь пробудившийся интерес. И тут я впервые задумался над тем, что почти не знаю голландской литературы. Ну, в отрочестве мне попадались романы популярного в двадцатые годы Мультатули, после войны я читал «Рыжеволосую девушку» и «Рембрандта» Тойна де Фриса, а что еще? Потрясающий дневник Анны Франк — больше чем литература. Тиль Уленшпигель изъят из тьмы веков пером бельгийца Шарля де Костера, хотя исторически он принадлежит Голландии в такой же мере, как и Бельгии.

Были еще «Серебряные коньки», на которых воспитывалось мое поколение, но написана эта книжка канадской писательницей. И слабо светит в памяти хрестоматийный голландский мальчик, который заткнул пальцем прохудившуюся плотину и тем спас свой край от затопления. Небогато!

Мое представление о Голландии создано не книгами, а великой живописью Иеронима Босха, Брейгеля, Вермеера Дельфтского, Франса Хальса, чудесных жанристов во главе с Остаде и Терборхом, мастеров натюрморта во главе с печально-изысканным Хедой. Я сознательно не назвал здесь Рембрандта. Несравненный, он не идет в строку, не ложится в перечень. Уверен, творец довольно потирал ладони и поздравлял себя с удачной мыслью завести хозяйство: небо и землю, твердь и воды, растения и животных — и увенчать творческий взлет сотворением по образу и подобию своему Человека, когда зажатая в твердой руке кисть Рембрандта вдохновенно билась в тугое натяжение холста.

Чувство вины перед голландской литературой решило дело: я стал читать Боба ден Ойла, и это оказалось превосходным чтением.

Признаться, от человека, каким он выглядел на фотографии, я ожидал благопристойного реалистического, весьма заземленного письма. Я попал в полупризрачный мир не голландской даже, а общечеловеческой обыденности, которая вдруг взрывается вторжением некоего малого обстоятельства, настолько невероятного, необъяснимого и произвольного, что мысленно пасуешь перед ним и принимаешь безропотно. В данном случае такой вот малостью оказалось внезапно изменившееся выражение лица мелкого служащего очень большой и важной компании, производящей консервы из крабов, Яхека — имя-то какое неупругое, дряблое — произносишь, и будто вата под языком.

Этот Яхек брился перед уходом на работу и уже стирал

остатки пены со щек, как вдруг с ужасом обнаружил, что его безвольный, неправильной формы рот скривился, от чего лицо стало жестоким, безжалостным и решительным. И что бы ни делал бедный Яхек, он не мог вернуть своим чертам прежнее выражение бессильной доброты, столь соответствующее его внутренней сути.

И начинается фантасмагория. Кроткого Яхека вовсе не радует гримаса силы, исказившая его черты. Ему, чуждому всякого честолюбия, и в голову не приходит, какие преимущества можно извлечь из угрожающе и презрительно опустившегося уголка рта. Но окружающие не остаются слепы к перемене, происшедшей в облике конторского мышонка. Наглые и бесцеремонные, они склоняются перед знаком грубой, ни с чем не считающейся силы. В мире мнимых ценностей, в мире, где все измерено ложной мерой, взвешено на врущих весах, легко проходит любая подделка (в данном случае вовсе не преднамеренная). Люди вокруг Яхека так слабы, так не уверены в настоящем, а пуще того — в будущем, так непрочны, незащищенны, так не соответствуют — в большинстве своем — занимаемому положению, что готовы склониться перед каждым, в ком видят *власть*. Язвительно-волевой рот Яхека обманывает и приводит к покорности не только сварливую хозяйку меблирашек мефру Камер или склочного соседа, но и служебных боссов: от заведующего отделом рекламы Фоогта до менеера Таке, одного из зачинателей дела. Последний давно спился, выжил из ума, но с ним считаются, ибо Таке владеет значительным пакетом акций. В деловом отношении этот старец такая же мнимость, как Яхек в роли руководителя отстающего филиала компании, а именно на этот высокий пост прочат «волевого человека». И быть бы Яхеку полномочным представителем компании в той африканской дыре, где «облепившиеся негры» не хотят набивать крабами консервные жестянки, не вмешайся случай, абсурд — главная движущая сила мира героев ден Ойла.

Очарованный Яхеком, менеер Таке, явный маразматик и тайный алкоголик, напивается с ним в своем кабинете, на верхнем этаже небоскреба. Он приобщает нового друга к полюбившейся ему забаве: кидать из окна окурки на голову прохожим. Яхек, непривычный к вину, к тому же почуявший в себе властелина чужих судеб — отрава проникла в жидкую кровь маленького человека, — охотно включается в дурацкую игру. В какой-то момент, слишком увлекшись и забыв об осторожности, оба вываливаются из окна и «вместе начинают свой последний бросок в глубину, вслед за окурками».

Так плачевно заканчивается история неудачника, на миг

приблизившегося к власти и успеху. Не по плечу это яхекам — пылинкам больших городов.

Меня всегда интересует элемент личного в произведениях писателя. Не примеривал ли к себе, пусть безотчетно, подсознательно, Боб ден Ойл судьбу Яхека, не мечтал ли он о малом чуде, способном сделать сильным в этом жестоком мире человека с добрым, слабым ртом и ранимой душой художника? Трудно судить всего лишь по трем рассказам и анкетно суховатым сведениям, которые приводятся в конце журнала, в справке об авторе. В скупых строках возникает образ завидного литературного благополучия: первый же сборник рассказов Боба ден Ойла отмечен премией Амстердама как лучшее прозаическое произведение года, следующий сборник — премией Анны Пальмен, гордости голландской литературы. Ох уж эти литературные премии — как часто флером ложного преуспевания обволакивают они образ и судьбу писателя!

А мне не верилось, что Боб ден Ойл благополучный человек, и даже утверждение — в справке — о повышенном и лестном внимании к нему голландских критиков не могло меня переубедить. Почему-то казалось, что этот лауреат и любимец критиков не раз мечтал проснуться с чужим лицом. Но неизменно видел в зеркальце для бритья лишь грустный расплыв мягкого рта, скорбный взлом бровей, и, верно, тогда, чтобы освободиться от смешных надежд, он создал мелкого служащего Яхека, завершившего головокружительным сальто-мортале невольную попытку зажить в чужой шкуре. В этом абсурдном на первый взгляд рассказе очень мало абсурдного, ведь опустившийся уголок рта — лишь символ многих и разных возможностей, равно безнадежных, пробиться в сильные мира сего. Но тому, кто не принял причастия дьявола, путь во власть имущие заказан.

Здесь использован очень распространенный сегодня прием в западной литературе: всего лишь маленькое смещение в сторону от реальности, одна-единственная невероятность, вторгающаяся в нормальное буржуазное бытие, — и сразу обнаруживается тщательно убранная с поверхности абсурдность этого бытия, чудовищность как будто бы вполне обыденных характеров, шаткость, непрочность мнимо незыблемых устоев и общепринятых норм.

Мне думается, приемы условно-фантастического, абсурдного, невероятного в литературе особенно хороши, когда надо оживить выдохшихся героев и замученные многими писательскими поколениями темы. Слабовольный, забитый маленький чиновник Яхек — это все тот же бессмертный Башмачкин, притащившийся — не за своей ли шинелью? — из старого Петербурга в

современную Голландию. Из гоголевской «Шинели», принято считать, вышла вся русская литература девятнадцатого века. Рассказать о Башмачнике сегодняшнем, не перепевая Гоголя, не вгоняя читателя в зевоту, можно лучше всего с помощью фокуса, резкого отстранения темы и образа. Бобу ден Ойлу этот фокус подсказало зеркало, ежеутренне отражающее невыносимую деликатность черт тихого, небойцового человека.

Отлично придуман и отлично выполнен другой рассказ Боба ден Ойла — «Человек без стадного инстинкта». Пассажирский самолет компании «Эр Франс» совершил вынужденную посадку во льдах Гренландии. Рассказчик, человек без стадного инстинкта, уверяет, что иначе и быть не могло, потому что «французские самолеты никуда не годятся», да и чего можно ждать от пилота «с внешностью киногероя тридцатых годов»? Радист погиб, радиоаппаратура вышла из строя, но взгляды потерпевших — покорного человеческого стада — по-прежнему с надеждой обращены к портачу пилоту, который без тени вины или смущения заявляет, что берет на себя ответственность за их целость и сохранность. Рассказчик с нетерпением ждет, когда командир изложит свой план, чтобы поступить наоборот. Пилот осрамился, проявил полную несостоятельность; очевидно, столь же бездарным и губительным будет он и в роли спасителя. Отсюда — сделай прямо противоположное тому, что хочет он, и ты уцелеешь. Логично? Да. Абсурдно? Да. Пилот решает: надо пробираться пешком через ледяную пустыню. Значит, надо остаться у разбитого самолета и никуда не двигаться. Этот смелый вывод кажется настолько убедительным очаровательной Джейн, секретарше богатого старика американца мистера Лейна, что она остается с человеком, лишенным стадного чувства.

Очень и очень нелегко противостоять тому, кто наделен хотя бы призрачной властью, и покорно-агрессивному человечьему стаду, превращающему мнимую власть в истинную, но рассказчик отважился и получил не только относительный комфорт самолетной кабины вместо ледяного ветра пустыни, но и доверчивое тепло милой девушки Джейн. «Чтобы не замерзнуть, мы все теснее прижимались друг к другу, и наконец я почувствовал, что мы обратились в единое целое». Похоже, он получил нечто большее, чем угрев.

А утром прилетел американский военный вертолет, и они были спасены. Но спаслась и та группа, которая послушно ковыляла вслед за пилотом по снежным увалам, — ее заметили с воздуха. Люди измучились, мистер Лейн был без сознания и не пришел в себя, когда его грузили в вертолет. Парадокс заключается в том, что спастись можно по-разному: и покорно

следуя за стадом, и противопоставив себя ему. В данном случае второй способ кажется привлекательнее. Что касается Джейн, то, очнувшись, старый мистер Лейн простил очаровательной секретарше ее предательство.

Он лишь покончил навсегда с путешествиями. Джейн написала об этом приятном событии своему товарищу по несчастью, с которым провела тревожно-упоительную ночь. Больше она не писала. Отсутствие стадного чувства — счастливое свойство, но его мало, чтобы привлечь к себе современную американскую девушку, нужны еще и деньги. Их-то у человека без стадного чувства как раз и не было. А у ничтожного старикашки Лейна были…

В иной тональности выдержан рассказ «Убийца». Начинается он с того, что пожилой, усталый человек, выпивая у стойки неуютного кафе на неуютной, вечно захламленной Ионнхерестраат, вынул из кармана и положил на стойку револьвер вороненой стали. Поступок, согласитесь, требующий некоторых объяснений. И Серейн, так звали владельца револьвера, охотно дал их и встревоженному трактирщику (правильнее — бармену), и угрюмо всполошившимся посетителям.

Оказывается, он — профессиональный убийца. Занялся этим делом в Америке, куда эмигрировал в пору великого кризиса. Но в Америке тоже оказался кризис, и Серейну, любившему «хлеб с маслом», не оставалось ничего другого, как пойти в убийцы. Работал он на гангстерские шайки, устранял неугодных. «Интересная, живая работа, — рассудительно говорит Серейн, — много свободного времени».

Его рассказ производит большое и чрезвычайно благоприятное впечатление на слушателей. Эти маленькие, невзрачные людишки чувствуют себя приобщенными к таинственному, романтическому миру, не подчиненному обычным законам и правилам. Нравственное чувство онемело в добропорядочных обывателях, все с душевным сочувствием внимают отнюдь не покаянной исповеди душегуба.

Заработав достаточно денег, Серейн вернулся на родину и после войны, которую скоротал ночным сторожем в бюро выдачи продовольственных карточек, оказался перед выбором: как жить дальше. Военная дороговизна, инфляция съели весь его нажиток. И тут он вспомнил о своей старой профессии — делать трупы за приличное вознаграждение, благо в Голландии появился спрос на метких и решительных людей. К сожалению, тут нет гангстерских шаек, располагающих деньгами и адвокатами, бедный убийца предоставлен самому себе и беззащитен перед законом. Серейн

нашел выход: он стал брать половину договоренной суммы вперед, а работу делать не до конца. Он выслеживал жертву, устраивал засаду, все честь честью, старательно прицеливался, спускал курок, но револьвер не был заряжен. От клиентов не стало отбоя, ибо каждый обманутый, изнемогая от злобы, спешил порекомендовать его другому нуждающемуся в услугах наемного убийцы, а тот, в свою очередь, — следующему. Оказывается, в тихой Голландии полно людей, которым необходимо избавиться от своих ближних. Вот и сейчас Серейн подстерегает престарелую чету. Волнение и восторг присутствующих достигают высшей точки — не каждый день выпадает удача наблюдать убийцу за работой. До чего же тонок моральный пласт в душах безобидных с виду городских обывателей! Все эти люди, трудящиеся за спиной Серейна, дышащие ему в затылок пивом и можжевеловой водкой, являются, по существу, сообщниками убийцы, ибо молчаливо желают ему удачи. Но они забыли, что револьвер не заряжен. И когда курок щелкает вхолостую, люди разочарованно расходятся по местам. Они ждали большего.

А Серейн мрачно смотрит на скучную, грязную улицу и тоскует по Америке.

Это страшный рассказ. И, дочитав его, я дал себе слово: коль мне приведется быть в Голландии, обязательно разыщу Боба ден Ойла. Очень заинтересовал меня писатель, умеющий облекать жутковатые свои видения в строгую, изящную форму. А попасть в Голландию у меня была возможность с фильмом «Дерсу Узала».

И сбылись мои надежды: я в Голландии. Миновала премьера «Дерсу», и можно целиком посвятить себя поискам Боба ден Ойла. А что мне придется его искать и, быть может, столь же мучительно, сколь совсем недавно Юхана Боргена в Норвегии, для меня было ясно с самого начала. Голландские писатели, как оказалось, плохо знают друг друга.

— Боб ден Ойл? — чуть в нос проговорила маленькая Пенкала, автор содержательных книг о фарфоре, китайском искусстве и менее содержательных, хотя пользующихся спросом романов: о переселении души умершего Гитлера в попугая, о похождениях загадочной княгини Клептоманской. — Впервые слышу!

В свой черед, наконец-то извлеченный на свет божий Боб ден Ойл скажет:

— Как, как?.. Пенкала? Понятия не имею!..

А ведь не так уж необъятна современная голландская литература. Но нет интереса друг к другу. Каждый обвел себя невидимым кругом, куда допускаются лишь немногие. Нашей широты, чуть неразборчивой (и благословенной), нет и в помине.

Никак не могу я привыкнуть к этой разобщенности западных людей.

Правда, все без исключения знают Гуго Клауса, автора скабрезных романов, недавно увенчавшего свою блистательную деятельность на ниве порнографии бракосочетанием с Сильвией Кристаль, исполнительницей роли Эмануэль — героини серии одноименных секс-фильмов.

Кроме Гуго Клауса, на слуху еще три-четыре имени, но о литературе говорят мало, даже те, кто ее делает, о голландской — тем паче.

К тому же Боб ден Ойл оказался жителем Роттердама, а между столицей, где я вел поиски, и крупнейшим портом Голландии (ныне, пожалуй, и всего мира) существует извечное соперничество, особенно усилившееся за последнее время, когда Роттердам так вырос, окреп и мощно погнал тоннели метро во все свои концы. Каково было слышать амстердамцам, что я разыскиваю роттердамского писаку!

Юные стажеры нашего посольства, будущие дипломаты, которые, как положено русским, всё читали и всё знали про голландскую литературу, в два счета нашли автора «Крабов в консервной банке» и доставили в мою «ставку» в Гааге.

Признаться, я ждал Боба ден Ойла с некоторым волнением. Одна фамилия чего стоит! Ойл — это сова, сестра ночи, с изжелта-зелеными прозрачными, слепыми днем и всевидящими во тьме круглыми глазами. Хищница с железными когтями, она избирает своим обиталищем старые заброшенные кладбища. Абсурдная птица!..

И прилетел Боб Сова в мой временный голландский дом и обернулся человеком, таким высоким, что казалось, под брюками у него ходули, и таким худым, что в моей далеко не сентиментальной душе сразу поселился испуг — не унес бы его влажный ветер, обдувающий голландскую площину, возникло желание защитить его, прикрыть, сберечь в мире, опасном, как передний края в час сражения. Ощущение непрочности Боба усугублялось быстрой, какой-то неуправляемой улыбкой, скорее гримасой слабости и доброты, возникавшей из его глубин вопреки отчетливо взятой установке на твердость, мужество и независимость. Он, конечно, очень добрый и наивный человек, что не мешает ни уму, ни проницательности, ни стойкости знающего свою цель таланта. Но это все отдается бумаге, а жизни — нервная сторожкость оленя, растерянная улыбка и великое терпение бедняка. Он беден в прямом житейском смысле слова, этот отличный писатель, беден посреди распухшей от изобилия страны. Литературный труд очень низко оплачивается в

Голландии, он почти бездоходен, если ты не Гуго Клаус — этакий Санта-Клаус XX века с мешком, набитым непристойностями, не автор фантасмагорических романов о княгине Клептоманской, не старый, заслуженный бард, сподобившийся многих переводов на иностранные языки, но последних — раз, два и обчелся. Боб ден Ойл за свою литературную жизнь издал всего шесть книг, а тиражи, естественно, невелики. И если б не работала жена Боба (а это в Голландии считается малопочтенным), то семья просто не сводила бы концы с концами.

Но сейчас обстоятельства изменились: государство наконец-то оценило заслуги талантливейшего новеллиста и назначило ему ежемесячное пособие в размере жалованья школьного учителя. Теперь он может заниматься литературным трудом без тревоги за завтрашний день.

Боб ден Ойл — настоящий мужчина, он напрягается всем своим долгим телом, всей своей гордой душой для самозащиты от сочувствия, упаси боже, от жалости и даже от ничем не обидной симпатии, он готов дать решительный отпор любой бесцеремонной попытке толкнуться в его храм. А ведь он знал, для чего ехал в Гаагу, знал, что ему будет задавать вопросы человек, намеревающийся о нем писать. Но Боб ден Ойл начисто лишен опыта газетной или журнальной работы, он никогда не «собирал материал» в нашем понимании, и такая вот неравная форма общения, когда один спрашивает чуть ли не в манере следователя, а другой отвечает, кажется ему оскорбительной. Он дергается при каждом моем вопросе, в серых глазах проблескивает если и не возмущение, то резкий протест свободного гражданина, не желающего давать кому-либо отчет в своих поступках, тем более в мыслях, потом спохватывается, добрая, слабая улыбка косит рот, и он выфыркивает ответ, сплетает длиннющие пальцы на худом, остром колене, хрустит суставами, сводит узкие плечи, словно собираясь пролезть в игольное ушко, и вдруг откидывается в кресле и устремляет взор мучимого на кресте Себастьяна к потолку, как к небу. А порой он огрызается. Он не дает спуску настырному допросчику и, похоже, очень доволен прочностью своей обороны.

Я и сам отлично сознаю, сколь несовершенен, убог мой метод. Старая пословица гласит: чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли съесть. И это о простом, бытовом, открытом, ничуть не зашифрованном человеке. А чтобы узнать художника, натуру сложную, противоречивую, не желающую раскрываться, все время скрадывающую себя в защитный панцирь, сколько надо съесть соли? А мне нельзя, у меня гипертония и бессолевая диета. Ну, предположим, я пошел бы на преступление перед своим

организмом, но разве дано мне время, чтобы терпеливо выследить этого пугливого оленя. Потому и вынужден я ломиться напролом, хотя прекрасно знаю, что это наихудший способ. Да ведь я и не замахиваюсь на портрет, мне бы хоть эскиз, набросок сделать. А там видно будет: может, я еще побываю в Голландии, может, Боб приедет к нам — он собирается в Москву, и новые переводы его рассказов появятся, — отчего бы не вернуться к этим запискам? А пока продолжаю «допрос»:

— Сколько у вас комнат, Боб?

— Три. — И подскочив как на пружинке: — У вас что — больше?

Успокаиваю, что у меня тоже три. Слава богу, с бытовой стороной дело покончено. Принимаюсь за новую тему: его литературные корни. Но у Боба утомительная манера или ускользать от прямого ответа в деликатные околичности (смысл их: ну разве это так важно? Стоит ли тратить время на подобную чепуху?), или ограничиваться телеграфной краткостью. Приходится настаивать, дробить вопросы, отчего возрастает неприятно-следовательское. Наконец удается установить, что своим учителем он считает Кафку, любит Джойса, Музиля, равнодушен к Прусту. И вот что любопытно: другим своим учителем он считает Чехова, особенно восхищается «открытостью» — недоговоренностью его концовок. А кто родствен ему из современников? Он знает Беккета, Ионеско, но многие другие известные имена вызывают у него подозрительное удивление.

Видимо, и мне не удалось скрыть удивления.

— Подумаешь! — Боб коброй взвился над столом. — Я могу назвать сто имен, которых вы не знаете!

— Несомненно, — согласился я. — Только это не относится к делу.

— Ну да, когда я не знаю — это относится, а когда вы…

— Так ведь это я буду о вас писать, а не вы обо мне.

— А-а!.. Угу!.. — пробурчал он с таким ошарашенным видом, словно только сейчас поверил, что о нем действительно собираются писать, — и кобра свернула кольца.

— Боб, ваш основной литературный прием — абсурд, почему вы избрали его?

— А вы оглянитесь вокруг. Каким еще способом можно изображать эту действительность?

Довольно странное, казалось бы, заявление для писателя одной из самых преуспевающих стран Европы. Наряду с ФРГ и Швейцарией Голландия сравнительно мало пострадала от экономического кризиса, охватившего Запад. Безработица

невелика, а пособия безработным значительны. Цены, как и всюду, очень высоки, особенно на жилплощадь, но высока и заработная плата. От нефтяного «потрясения» осталось лишь здоровое пристрастие к велосипеду, колеса крутят и стар и млад, матери возят младенцев в корытцах, притороченных к багажнику. Города, довольно однообразные (исключение — Роттердам, но о нем особо) и смывающиеся в памяти в один общий город с невысокими, крепкими домами под красной черепицей, с непременными стеклянными башнями и кубами офисов, банков и отелей «Хилтон», с каналами, отражающими космы плакучих ив, — дикие утки, лебеди и водяные курочки сплываются в стаи у мостов в надежде на подачку, — с величественным готическим собором и церквами самых разных эпох и стилей — от романского до модерна, со старой ратушей и живописной площадью перед ней, усеянной голубями, с широкими тротуарами, сложенными плитняком, — рисунок скорчившейся по нужде собаки и ящика возле нее тщетно напоминает любителям четвероногих друзей о правилах гигиены; с замечательными музеями, с богатейшими магазинами, набитыми всем, что делает современную жизнь такой удобной, легкой, нарядной, — так вот, эти основательные, благоустроенные, красивые города, все расширяющиеся и будто стремящиеся сомкнуть свои границы, слиться, подобно тому как они сливаются в памяти, кажутся воплощением незыблемого порядка, уверенности, спокойствия и какого-то оцепенелого довольства. И пока ты не проник хоть сколько-то за плотную пленку обманной видимости, тебе представляется абсурдной мысль, что «прием абсурда» годится для изображения этой ладной жизни. Да нет же, тут нужен добрый старый голландский жанр, слегка, правда, омещанившийся у Метсю, ну и натюрморт, конечно: Брейгель-Бархатный, так любивший цветы, Хода, так любивший усталоматовое серебро.

Но загляните поглубже в глаза обитателей крепких домов под красной, потемневшей от времени черепицей — сколько неуверенности, сколько страха перед будущим прочтете вы там. Разговоры — сплошные жалобы, нытье. Налоги… налоги… налоги… Дороговизна… дороговизна… дороговизна… Куда мы идем?.. Куда мы идем?.. Да идем ли вообще?.. Скорее нас влечет куда-то, как спичечные коробки, окурки, всякий мусор бурливыми весенними ручьями, неудержимо и стремительно несет в сточную канаву. Да, вера в завтрашний день неизмеримо важнее людям сиюминутного благополучия, а если ее нет, если человек то и дело спрашивает себя, что будет завтра со мной, с моей семьей, с моими детьми, то черная тень простерлась над его изобильным

столом, красивым жилищем, теплой постелью, его сны беспокойны, вино отравлено, горек хлеб и мед не сладок, и в каждой радости отстой печали.

Общий климат Европы нездоров, а Голландия слишком маленькая и слишком плоская страна, чтобы ее не продувало насквозь больными ветрами, зарождающимися далеко от ее равнин.

Но вернемся к Бобу ден Ойлу. Иные писатели ломаются, «интересничают под абсурд», проницательный взгляд легко обнаружит подделку, но этот способ литературного изображения мира может быть естествен, как дыхание, органичен, как почерк, и, как, почерк, связан со всей сутью человека. Бобу было девять, когда немецкие бомбовозы растерзали Роттердам.

Он жил в старой части города, приземистой, замшелой, уютной, скопившей множество ценностей, в которых взрослые ни черта не понимали и считали просто хламом: ржавые якоря (среди них один с «Летучего голландца»!), обрывки якорных цепей, увесистые пушечные ядра (их изрыгали пушки Вильгельма Оранского!), уломки чугунных оград, куски черного и белого (кладбищенского!) мрамора, обитая железом дверь в завалившемся, заброшенном доме, которую никак не удавалось открыть, но все мальчишки знали: если уж удастся!.. Вдоль канала, немного отступя от него, заживали чужой век вросшие в землю домишки, одурманенные старостью и непосильным грузом воспоминаний, в них ютились чудаки, бродяги, матросы с разбитого корабля, всякая человечья протерь, что была куда интересней и живописней так называемой чистой публики; там же изгнивали лавчонки, торговавшие всем на свете: от липучих конфет до зубов дракона. За каналом, над ярусами домов, дымились трубы старой фабрички и укладывали слои сажи на крыши и мостовые, на зелень, пробивающуюся сквозь камни, и на листья деревьев — после дождя пониклые ивы роняли тягучие дегтярные слезы. У причалов толкались бортами парусники, моторные лодки, катера, и несметные стаи голубей заливали, как гипсом, белесым, мгновенно застывавшим пометом карнизы и парапеты, тумбы и памятники, флагштоки и мачты, а за этим близким миром уходил к небу другой, исполинский, из стекла и железобетона, мир знаменитых банков, компаний, фирм и роскошных магазинов, переполненных всякой всячиной, объединенной словом «недоступно». А еще был порт, и корабли под флагами разных стран, и веселые матросы с качающейся походкой, держащие путь к веселым и страшным кварталам, где их ждали девушки, выпивка и поножовщина.

И все оглядье, и то, что за ним, невидимое, но как бы и

видимое, настолько привычно глазам, исчезло, превратилось в ничто, в щебень, труху, пыль за какие-то минуты. Бомбежка началась внезапно, и мальчик видел, как опрокидывались в воздухе тела идущих в пике бомбардировщиков и отделялись от них продолговатые темные бомбы; высасывающий душу свист разряжался оглушительным взрывом, что-то принадлежащее земле вместе с черным дымом вздымалось на воздух, тут он глох и слеп, и сердце стучало в горле, и как он очутился в подвале, он и сам не знал.

Содрогались ослизлые стены, что-то осыпалось, крошилось, сорило в глаза, люди причитали, молились, стонали, выли, и он вдруг почувствовал, что на свете нет ни одного близкого ему существа, потому что никто, даже мама, не может защитить его, он один, совсем один, навсегда один, и это было самое страшное.

А потом?.. Что было потом? В том-то и дело, что ничего не было. Ни домов, ни лавочек, ни пристани, ни набережной, ни фабричных труб, ни деревьев, ни голубей (они потом вернулись и были почему-то черные, как галки). Были развалины, воронки, горы мусора, дым и мертвецы. Его удивило, почему среди убитых столько голых. Людей вышибало из одежды взрывной волной.

Надо ли говорить о том, какое впечатление произвело это на душу девятилетнего мальчика, тонкую душу художника, хотя он, разумеется, и не подозревал, что он художник? Но, как ни велико было потрясение, на молодом хорошо заживает, и Боб, наверное, выкрутился бы, но через пять лет, в исходе войны, немцы повторили удар. Потом они вразумительно объясняли налет желанием устранить Роттердам как конкурента Гамбургу. Они метили по порту и верфям, но сильный ветер с моря сносил бомбы, и мертвый город убили еще раз. В пятнадцать лет Боб ден Ойл утратил доверие к небу, к его предательской голубизне.

Он уже не верил ни зримой прочности вещей, ни в охраняющую силу и мудрость отцов, ни в доброту пленивших в детстве сказок, ни в то, что есть некто, наблюдающий земной порядок, ни в ответственность человека, ни в смысл и цели бытия. Непрочный, картонный, хлипкий и свирепый мир был безумен и беспощаден к себе самому.

Но надо было жить дальше в этом мире, какой он есть, другого не дано, и Боб жил, и постепенно, не скоро какие-то утраченные ценности возвращались, каким-то нашлась замена, с чем-то пришлось смириться, сжиться, как сживается человек с осколком, лежащим под сердцем и годами не напоминающим о себе, чтобы вдруг вонзиться иглой в средоточие жизни. Но это все в будущем…

Время после войны наступило очень деловое, энергичное и

коммерческое, и Боб чувствовал себя в нем одиноко. Ему казалось, что люди не потрудились даже оглянуться вокруг, проститься с мертвыми, подумать тихо и скорбно, почему обратилось в руины и прах их прошлое, хотя бы просто глубоко, глубоко вздохнуть. Нет, они сразу принялись действовать, суетиться, обогащаться — корысть захлестнула даже юных, — наверстывать упущенное за войну. Конечно, это говорит о неистребимой жизнестойкости и жизнелюбии человека, но Бобу с того не легче, он не находил себе места в безоглядно ломящемся вперед, сметающем все на своем пути бурном потоке. Он кое-как закончил школьное учение и, не задаваясь мыслью о высшем образовании — и не только по недостатку средств, а и потому, что не видел в нем смысла, — пошел работать в контору пароходной компании. Он стал мелким служащим, вроде Яхека, одним из тех, о ком так интересно писать, но кем так неинтересно быть.

После скучной, не утомляющей, а отупляющей работы он медленно и бесцельно тащил по улицам свою длинную вечернюю тень. Город стремительно отстраивался, но из развалин вставал не его Роттердам, а какой-то новый, могучий, поражающий воображение, чужой город. Своим стал страшный памятник «Май 1940», поставленный знаменитым Цадкиным на бомбовом пустыре, который еще не скоро станет площадью. Трагедия дважды уничтоженного города влита в скрученного мукой, с пробитой, разорванной грудью и дико вывернутыми суставами бронзового гиганта. Он неописуемо страшен, чудовищен, как горячечный бред, но он и до стона прекрасен, ибо, уже убитый, длит миг, отобранный у вечности, чтобы, обратившись к небу запрокинутым лицом и взброшенными вверх руками, послать туда не мольбу, не вопль жалобы и боли, не проклятие, а то, что куда сильнее: счет крови. Его лица не видно, оно всегда, где бы ни стояло солнце, скрыто тенью рук, лицо как бы уничтожилось в муке. Ночами, в снах Боба бронзовый страдалец обретал лицо — его лицо…

Бытовое одиночество нарушилось женитьбой и рождением сына. К этому времени он уже пробовал писать. В 1958 году появился в печати его первый рассказ «Завтра, если будет светить солнце». К слову, одна из самых горьких утрат Боба — потеря уверенности в том, что и завтра солнечный свет озарит землю. Наконец-то он почувствовал, что порвал тенета одиночества в главном для себя смысле и его растерзанная войной суть еще может срастись. Рассказ остался почти незамеченным, как то обычно и бывает с первым рассказом, но не беда — важна сама возможность быть услышанным, уже это дает надежду, силу и

веру, что ты больше не один. Ну, хоть в чьем-то сердце отозвалось твое слово?..

Оно отозвалось в сердце его собственной жены, внимательно и неназойливо следившей за литературными опытами мужа. Она сказала: «Плюнь на свою контору. Пиши. На жизнь я заработаю». И Боб ден Ойл принял жертву. Через два года после этого разговора вышел его первый сборник рассказов «Птицы смотрят», в котором было заложено все то, что, развиваясь и обогащаясь жизненным и литературным опытом, сделало его одним из лучших рассказчиков в голландской литературе.

Рассказ, давший название книге, был посвящен теме, наиболее близкой Бобу ден Ойлу с юношеских лет: одиночеству и его преодолению. Жил одинокий человек и любил только птиц. Он был так одинок, что решил уехать в Португалию, потому что дальше ехать некуда. Но там, в полнейшей изоляции, его любовь к птицам вспыхнула с удвоенной силой. В городе птиц не было, он поехал на окраину и убедился, что птицы исчезли. У человека появилась в жизни цель: сделать так, чтобы птицы опять были. И он стал счастлив и уж не чувствовал себя одиноким.

Был ли счастлив Боб ден Ойл, осознав литературу как единственную цель в жизни, — не знаю. Да и бывают ли вообще счастливые писатели? Я имею в виду не тех, кто, поплевывая, заполняет бумагу словами, а тех, для кого непосильное занятие литературой — рок. Счастливому человеку — рай на земле. А в раю литература не нужна, это уж точно. Но известное удовлетворение Боб, несомненно, чувствовал: премия Амстердама была признанием его профессиональности. Жена надсаживалась недаром.

Вновь мы встретились с Бобом через несколько дней в Роттердаме. Я уже успел расшибиться в кровь о монумент Цадкина и усиленно врачевал себя роттердамскими видами, чуть подпорченными строящимся метро, перепахавшим город на военный лад, когда в конце улицы появилась длинная фигура Боба. Высокие люди кажутся особенно высокими в помещении, расшибая лоб о притолоку, но Боб нарушил это правило: между двумя рядами домов он казался еще выше, чем при первой встрече в домашних условиях. Он медленно плыл над уличной толпой, принадлежа ей нижней половиной туловища, а вокруг его головы парили голуби. И улыбка уже не казалась случайной, не туда забредшей гостьей, готовой мгновенно слинять в самолюбивый нахмур, ее прочно держали сухие, обветренные губы, и в глазах было что-то такое, от чего у меня потеплело на душе.

Боб сводил нас в «свой» Роттердам, вернее, туда, где некогда

был его Роттердам. Все-таки кое-что тут осталось и от тех домишек, и от тех лавчонок, и от того замечательного хлама, хотя, быть может, и домишки и лавчонки восстановили себя из останков былого, а хлам скопился в войну. Но мне стало легче представить себе мир маленького Боба.

К сожалению, разговора не получилось, Боб, очевидно, переоценил свою стойкость и непробиваемость, он притемнялся, замкнулся, а там и вовсе уполз в раковину, и вытащить его оттуда не было никакой возможности.

Он сам вылез на свет божий в Торговом центре — гордости Роттердама, шедевре современной ансамблевой архитектуры, совершенном и целесообразном, как космическая ракета. Он постарался возместить потери в общении, какие мы понесли у осколков его детства. К тому же в нем проснулся здоровый практицизм, и он решил показать, что тоже не лыком шит и не витает в облаках, а прочно вколачивает подошвы в землю, ушлый роттердамец, один из тех расторопных голландцев, что от века умели и зашибать, и считать деньгу.

— Тут все бесконечно дорого, — рассуждал Боб, пока мы медленно и оторопело брели вдоль витрин, вдыхая миндальный запах гвоздик в каменных вазонах. — У меня есть гонорар в Советском Союзе. Я думаю там одеться. У вас наверняка все дешевле.

— Разумеется! — И я вспомнил фразу одного остроумного писателя: «Манекенам было стыдно, что они так плохо одеты». — Боюсь, не окажется вашего размера. Мы народ кряжистый и не особо рослый.

— Досадно! — поморщился великий практик и островидец. — Я так на это рассчитывал. А машину?.. — сказал он неуверенно.

— Вы хотите на гонорар за три рассказа купить машину?

— А что — не хватит?

— Знаете что, — осенило меня, — купите лучше русскую матрешку.

— Это одна в другой? — улыбнулся Боб. — Я давно мечтал о такой матрешке. А мне хватит денег?

— Хватит!.. — уверенно сказал я.

Боб жил недалеко от центра, но словно бы и далеко: здесь было тихо, довольно пустынно и сумеречно, улица сама себя погружала в тень. Удивительно, как сумел он выкроить посреди щедро озвученного движением и строительством, многолюдного города такой укромный уголок. Напротив его дома соборно высилось торжественное здание банка.

— Здесь я держу свои сбережения, — с усмешкой заметил

Боб.

Нижний этаж дома, где жил Боб, занимал обширный магазин; темнота еще не наступила, а уже фосфоресцировали двухметровые буквы его названия: *Климакс*. На витринах множество изделий из нержавеющей стали и алюминия, кожи и гипса, различное электрооборудование, сложные аппараты с пультами управления, что-то вроде космического скафандра и шлемофона, катапультирующее устройство и водолазный костюм. Я подозрительно глянул на Боба: не примешалась ли к трезвым голландским будням какая-то гофманиана в современном оформлении, порожденная силовым полем его неукротимой фантазии? Но безмятежное, простодушное и отрешенное лицо Боба рассеяло подозрения.

Мы поднялись по узкой лестнице на пятый этаж — лифта не было — и вступили в жилище Боба, которое он с некоторой дозой самодовольства назвал при первой нашей встрече «типично голландским интерьером». Тут не было ничего от жирного голландского быта: ни мягкой мебели, ни дельфтских ваз, ни горок с фарфором и хрусталем, ни картин и картинок в багетных рамах, ни тех бесчисленных безделушек, которые якобы украшают жизнь, на деле же засоряют. Спартанская простота, ничего лишнего, человеческий дух может спокойно витать по всем трем комнатам — общей и двум спальням — и ни за что не зацепиться. Мозговой центр дома — маленький кухонный столик, за которым Боб работает, у него нет кабинета.

Мы познакомились с женой Боба: сильная проседь в коротко стриженных волосах, мальчишеская худоба, синие застиранные джинсы, крепкое рабочее рукопожатие узкой руки — и с сыном: метр девяносто пять, длинные волосы, синие застиранные джинсы, босые ноги пугающего размера и подобающая юношескому возрасту чуть надменная хмурость. Есть еще два члена семьи, притворившиеся кошками. Охолощенный дымчатый кот пошел в тело: велик, раскормлен, ленив, густая шуба делает его еще толще, ласково-безразличный сибарит, он нежится, потягивается, выбрасывая палками лапы на холщовых подушках, лежащих прямо на полу. Кошка, белая с черными пятнами и тоже насильственно лишенная способности к деторождению, еще больше и увесистей кота; исполненная скептического, недоброго интереса к окружающему, она все время просидела на старом проигрывателе, презирая нас от всей кошачьей души. Черное пятно загибалось с шеи на скошенный подбородочек, образуя там нечто вроде бороды, под розовой кнопкой носа помещался черный чаплинский квадратик. Человечье лицо развязно выглядывало из кулачка круглой морды.

У кошек была жутковатая манера вдруг уставиться тебе в лицо и неотрывно смотреть, упруго сужая прорезь зрачка, пока он вовсе не исчезал в слившемся в сплошное круглое пятно аквамариновом райке. Но кошки продолжали видеть этими слепыми кружками, их уши и шерсть на загривке отвечали каждому вашему движению, и мороз по коже подирал от всевидящей слепоты. Даже шерри, которым Боб как-то пугливо угощал нас, не могло разогнать густого мистического тумана. Неуютно было за журнальным столиком, заменявшим обеденный. Ден Ойлы совсем не бытовые люди, все трое. Сильная творческая воля внешне самого слабого и непрочного из них пронизывает дом почти мучительным напряжением.

А разговор шел, разумеется, о литературе. Листая свой новый сборник, Боб коротко излагал содержание рассказов, о которых мне хотелось знать как можно больше. И будто заворожило меня, таким я стал покладистым, все принимающим, даже заведомо чуждое, и ничего не мог поделать со вселившимся в меня соглашателем.

— Один молодой человек прочел в газете, что продается орган, и сразу пошел туда. (И правильно сделал. Любой разумный человек поступил бы так же на его месте… Легко ли в наше время купить орган?!) Он пришел, а там вовсе не орган продается, а контора по ограблениям. (Надо было это предвидеть. Ну кто, скажите на милость, будет продавать орган частному лицу?) Он сумел вырваться и при этом покалечил кого-то… (Парень, видать, не промах! Умеет за себя постоять. Так им и надо, будут знать другой раз!) Он ушел, а совесть точит. Из-за того, покалеченного. Как жить дальше? (Действительно, проблема: вроде бы и не виноват, а поди ж ты!.. Вот куда заводит человека желание купить орган…)

Мерещится мне или на самом деле кошка насмешливо фыркает и оглаживает лапой черную бороду?

— Молодой человек страдал умственным расстройством. Он решил обратиться к врачу…

Очень предусмотрительно, одобряю я про себя. И тут мне начинает казаться, что и у меня неладно с головой — не выдерживает старый праведный реалист напора абсурда. А занедуживший мозгами молодой человек так и не попал к врачу — он старался держаться знакомых улиц, а они к врачу не вели.

…Мы шумно и сердечно прощаемся в прихожей. Боб ден Ойл галантно подает моей жене пальто, она любезно благодарит, и мы выходим. В машине обнаруживается, что на жене пальто Боба. Он перепутал. Но как не заметила жена, что пальто ей неимоверно велико, как не заметили мы: наш друг — дипломатический

стажер — и я, что полы волочатся по земле, — это необъяснимо. Жене хочется вместе с Бобом посмеяться над забавной путаницей, и она отправляется сама для обмена. Возвращается в своем, мы трогаемся, и тут стажер с ужасом замечает, что оставил у Боба черный плоский чемоданчик-«дипломат». Он не расстается с этим чемоданчиком, придающим ему солидность и вес. Там нет ничего секретного: книжки Боба, сегодняшние газеты, земляничная жвачка, баночка паштета и сухие хлебцы, но будущий Чичерин в отчаянии. Он усиленно тренирует свою память, внимательность и, разумеется, бдительность, и вдруг такой афронт. А что, если б там оказался договор о ненападении с княжеством Лихтенштейн? В расстроенных чувствах отправился он за чемоданчиком.

Наконец мы тронулись. Но странные чары не развеялись. Мы проехали всего лишь два-три квартала, и жена радостно воскликнула:

— Вот здорово, уже Гаага!

— С чего ты взяла?

— А вон Дворец конгрессов. — Она показала на залитое оранжевым светом величественное здание.

— Господь с вами! — разбитым голосом сказал стажер. — Это клуб гомосексуалистов «Ганимед»…

* * *

…Я не люблю категорические утверждения там, где дело касается искусства. Например: писатель не может без питательной среды, подразумевая под этим в равной мере круг людей, ценящих, понимающих его, и собратьев по перу, близких мировоззрением, отношением к жизни и литературному делу. Почему не может? Может, коли так складываются обстоятельства. Безмерно одинокий Франц Кафка, а из новых — Сэлинджер, избравший добровольное затворничество. Я думал, что Боб ден Ойл принадлежит к таким одиночкам и ему надо черпать мужество в себе самом и в любви-жалости родных людей, но ошибся.

Я не сказал, что во время нашей экскурсии по Роттердаму Боб завел нас в новый, знаменитый на всю Европу концертный зал. Не стану расписывать архитектурные и прочие достоинства выдающегося сооружения, скажу лишь, что это не только помещение для концертов, но и культурный центр Роттердама. Здесь устраиваются самые разные выставки: от картин до лыж, проводятся дискуссии, обсуждения новых явлений в музыке, литературе, живописи, здесь же «имеют место», пользуясь языком

официального велеречия, ежегодные поэтические форумы.

Боб ден Ойл познакомил меня с главой поэтического штаба, устроителем международных сходок стихотворцев, бескорыстным энтузиастом, работающим не покладая рук на общественных началах ради великого дела сближения людей. Этот славный человек предложил устроить мой литературный вечер в одной из народных библиотек города. Вечер состоялся. О нем было объявлено в газетах, и небольшой зал, которым располагает библиотека, не вместил всех любителей российской словесности. Сюда съехались слависты из Амстердама, Утрехта, Лейдена, пришли местные литераторы, среди них один, самостоятельно изучивший русский язык, учителя и просто люди, которым это почему-то было интересно. Явился сияющий Боб ден Ойл со всем семейством.

До того как вечер начался, мы долго томились в битком набитом помещении библиотеки среди стеллажей, шкафов и полок с книгами, где было не присесть и нечем дышать, до одурения накачиваясь черным кофе — огромный кофейник не сходил с электрической плитки. И тут я увидел на столике, возле деревянного ящичка с карточками абонентов, фотографию Боба, очень похожую на ту, что помещена в «Иностранной литературе», и очень непохожую на живого Боба, рядом лежали газетные вырезки опять-таки с портретом Боба и небольшая книжка, изданная в 1975 году, в обложке цвета голубиного крыла, на которой было написано крупно: «Боб ден Ойл. Люди» — и помельче: «Пятнадцать портретов». Он не дарил мне этой книжки и даже не упоминал о ней в разговоре.

— Любите вы его? — спросил я библиотекарш.

Их было две: одна пожилая, но очень моложавая, розовая, бодрая, другая молодая, но старообразная, бледная и пониклая, как без времени увядшая лилия.

— Он — наш! — ответили в голос, но первая вскинула голову и засияла глазами, а вторая потупилась.

«Наш»… Хорошо это прозвучало. Вот здесь, в этой непривилегированной, общедоступной народной библиотеке, где не только берут книги для чтения, но сходятся люди, любящие литературу: и работающие профессионально, и лишь пробующие свои силы в низании слов, а также группирующиеся вокруг рабочего журнала «Вак», здесь Боба любят и считают своим.

— А что это за книга? — на обороте супера Боб в рубашке и белых брюках, очки на носу, играл в какие-то супершахматы на гигантской доске, уложенной посреди лесной поляны.

Первая (радостно). Это новая книга Боба!

Вторая (жалобно). Это совсем новый Боб.

Я (нахально). Подарите мне эту книгу. Я собираюсь писать о нем.

Первая (доверчиво). А вы его любите?

Вторая (умоляюще). Вы хорошо о нем напишете?

Я (безответственно). Еще бы!

Друзья-стажеры перевели мне рассказы, вернее сказать, те почти стенографически записанные подлинные жизненные истории, которые составили эту книгу. До того бесхитростны по исполнению эти истории, до того свободны от вмешательства авторской фантазии, направляющей воли, вообще от всякого творчества, что иные превосходят в своем невероятном простодушии самый беззастенчивый абсурд. Мне даже подумалось поначалу, что такова внутренняя установка Боба: дать окружающей его действительности самой доказать свою абсурдность. Мельтешня, жалкие потуги разных малопримечательных, случайных людишек, выхваченных Бобом наугад из мировой суеты, растворяются без следа в океане бесцельности, в котором они барахтаются от рождения.

Но когда знакомишься со всей книжкой, то обнаруживается, что дискредитация бытия вовсе не входила в намерения Боба ден Ойла. В его книге встречаются люди, которые находят свое место в жизни, обретают веру в себя, хотя бредут почти вслепую, спотыкаясь, падая, набивая шишки, но это к делу не относится. Смысл непохожей на все написанное Бобом прежде книжки в освоении новой манеры. Он начисто отказывается от условности, от всех привычных приемов, которыми владеет мастерски, стремится к предельной простоте, краткости, доходчивости и чтоб ничто не стояло между ним и действительностью. Это какой-то аскетический реализм.

И хотя победы он тут — увы! — не одерживает, сама попытка его заслуживает внимания и уважения.

Почти каждого, даже самого сложного писателя с возрастом, если постарению сопутствует не угасание творческих сил, а накопление души и разума, заворачивает к простоте. Ему хочется быть понятым, хочется все свое, узнанное, выношенное, выболенное, излить в других, в мир, который переживет его. Это и есть бессмертие, а не памятники и мемориальные доски. Надменной и упоенной юности во власти вдохновенного и темного бормота наплевать на доходчивость, на отзвук в чужом сердце, она слышит лишь собственное переполненное, сильно и гулко бьющееся сердце. Как непрогляден был ранний Пастернак и как прозрачен, родниково прозрачен стал он в последних песнях.

Но вообще-то разговор о простоте в искусстве совсем не так прост. Поздние стихи Мандельштама куда труднее для

восприятия, нежели эллинский ясный «Камень» его начала. Но сам Мандельштам, без сомнения, воспринимал их иначе: как предельное сближение своей сути с сутью мироздания, как высшую, бесхитростную простоту, свободную от котурнов, от книжных, исторических и мифологических связей. Но не будем углубляться в дебри, ибо в нашем случае мы имеем дело с прямым и четким движением писателя к простоте.

К сожалению, Боб ден Ойл слишком заторопился в простоту, в обыденность, запрыгал длинными ногами даже не через две-три ступеньки, а через целые лестничные пролеты, но в этом нет большой беды, если иметь в виду судьбу писателя, а не мелочь частной неудачи.

Лев Толстой говорил когда-то о популярнейшем в ту пору И. Дружинине, авторе модного романа «Полинька Сакс», что не верит в него, поскольку Дружинин не способен отказаться от всего ранее написанного и начать сначала. Уж он-то, Толстой, знал о себе, что способен на это, хотя за плечами у него было нечто посерьезней «Полиньки Сакс». Вот эта столь ценимая Толстым способность писателя к обновлению присуща Бобу ден Ойлу. За маленькой книжечкой «Портреты» — смелый, широкий духовный жест. Трудно сказать, по какому пути пойдет Боб ден Ойл, но он идет, а не стоит на месте — вот что важно.

Я пишу это и вспоминаю идущего Боба, идущего в прямом, физическом смысле, по темной, секомой мелким, но напористым дождиком улице, сперва вровень, потом следом за машиной, увозящей меня с того роттердамского вечера. Машина то и дело притормаживает, лавируя среди людей, дружно окуполившихся черными глянцевыми зонтиками. У Боба нет зонтика, голова непокрыта, но он не обращает на это внимания. Он держит глазами машину, улыбается и слабо машет рукой. И я, опустив стекло, машу ему и улыбаюсь, но мне грустно. Грустно, что он сейчас станет воспоминанием, этот чистый, бескорыстный человек, ничего не выгадывающий у жизни, кроме литературы, кроме права теплить свою свечку, отдавать, ничего не ожидая взамен: ни денег, ни почестей, ни власти, ни славы. И я вспоминаю, что апостолы тоже не были ни гениями, ни тайными советниками, ни правителями, ни кавалерами орденов, а простыми людьми, рыбаками, и нравственная сила их — от бога.

Мы уже далеко, но долгая тень Боба, раскатанная по влажной мостовой фонарем, бежит за нами, бесконечно удлиняясь, слабея, редея, но не угасая совсем; пренебрегая углами и поворотами, она простирается за улицу, за Роттердам и, прозрачная, еле угадываемая, втягивается в мой сегодняшний день.

Счастливчик Хейли

Литературный портрет

Писатели по-разному входят в жизнь людей своего поколения (я говорю о тех, кто действительно *входит* и становится частью этой жизни, а не о тех, кто остается обочь дороги); иные как-то медленно всачиваются от книги к книге, и читатели сами не знают порой, когда и как данный автор стал им необходим; в иных современники довольно быстро распознают наинужнейшего спутника: мы еще мало знакомы, но ты наш, из нашего времени, нашей боли, надежд, борьбы, сомнений, упований, мы верим тебе и готовы следовать за тобой на всех твоих путях (это очень счастливые писатели!); а бывает, что новый автор не входит даже, а врывается в тишину бытия, опережаемый легендой, в грохоте и сверкании ошеломляющего успеха. Так явился советским читателям Артур Хейли. Подчеркиваю «советским», ибо его путь к западному читателю, о чем мы узнали много позже, был сложнее, извилистей, хотя и там дело решилось в один счастливый момент, но об этом в своем месте.

Мы еще толком не разобрали фамилии Хейли, а уже знали, что «Аэропорт» бестселлер из бестселлеров, что им зачитывается весь мир и что американский автор, дабы написать свой роман, прошел всю аэродромную службу: от носильщика до начальника аэропорта, отдав годы и годы даже не скажешь — изучению материала, а вживанию в плоть и кровь своих героев. Когда же мы прочли, вернее, проглотили этот на редкость увлекательный роман, исполненный поразительной достоверности в каждой мелочи, профессионального знания, нутряного понимания характеров тех, кто составляет «службу воздуха», то окончательно уверились: такое по плечу лишь человеку, который сам побывал в шкуре и аэропортовского техника, и механика, и диспетчера, и управляющего, не говоря уже о том, что он, несомненно, летал стюардом и хотя бы вторым пилотом. Читателей, я имею в виду простых читателей, роман захватил. Что думали знатоки — не знаю. Я не знаток. Занимаясь литературой профессионально с двадцатилетнего возраста, с перерывом на год армейской службы в пору войны (после контузии — военный корреспондент, а это тоже литература), я не утратил способности читать книги бесхитростно, с полной разоруженностью и лопушьим доверием к тексту, за что благодарю небо. Это не значит, что я вообще не способен критически относиться к прочитанному, проверять,

анализировать свои впечатления — но это уже по прочтении и вовсе необязательно. В числе других простых душ я так же упоенно, взахлеб прочел новый роман Хейли «Отель» (потом оказалось, что он написан раньше «Аэропорта»); было доподлинно известно, что создан этот роман тем же безжалостным к себе методом: многолетней службой в гостинице от лифтера до старшего администратора. Затем с убывающим интересом прочел «Окончательный диагноз» и «Колесо», но Хейли тут неповинен — романы безжалостно сокращены и адаптированы, чем сведены почти до уровня комиксов, укладывающих «Анну Каренину» в один печатный лист.

Последнее надоумило меня, что Хейли интересен и убедителен, когда предстает в своем виде, со всем тем пристальным вниманием к подробностям изображаемой жизни, что и является его отличительной чертой. Раздевание его прозы до тощей голизны сюжета не только убивает художественное своеобразие Хейли, но и резко подчеркивает то, о чем сразу не догадаешься: он пишет всегда один и тот же роман. Звучит страшно, словно приговор к высшей мере, но ведь многие известные авторы повинны в том же грехе, если это грех. Превосходный писатель Ремарк после первых двух книг: «На Западном фронте без перемен» и «Возвращение» — всю последующую жизнь варьировал под разными названиями один и тот же роман. А на редкость скромная и бесстрашная леди Кристи незадолго перед смертью призналась: «Я поняла вдруг, что всю свою долгую жизнь писала один и тот же роман». Важное признание, ведь, по мнению критики, в своих примерно ста романах Агата Кристи ни разу не повторилась. Но писатель знает себя и свое хозяйство лучше, нежели самые мудрые ценители со стороны, и если серьезно вдуматься, то, конечно же, знаменитая романистка сказала святую правду.

Я предвижу насмешливую ухмылку: нашел на кого ссылаться, да разве это литература — романы Агаты Кристи? Но если забраковать все написанное плодовитейшей романисткой века, человечеству ничего не останется, как признаться в своем полном идиотизме. Никого не читали так много и упоенно, как эту загадочную, склонную к уединению старую даму, никого не издавали такими ошеломляющими тиражами.

Ах, как легко меня подловить! Значит, и все бесчисленные дореволюционные «Наты Пинкертоны», «Ники Картеры», равно и всевозможные «Сюркуфы» и прочая приключенческая лабуда — тоже литература, коли их зачитывали до дыр миллионы людей? Нет, то не литература. Недаром же вся эта книжная макулатура безымянна, кто знает «создателей» Пинкертонов и Сюркуфов, да

знают ли они себя сами? А истории про Эркюля Пуаро и мисс Марпль окрашены неповторимой авторской интонацией, за ними отчетливо ощущается оригинальная личность их творца, стыдливо прячущаяся от читателя и оттого еще более интригующая. Агата Кристи интересовала всех, мало кого из знаменитостей так осаждали журналисты, интервьюеры и просто любопытные, как эту ненавидевшую шумиху скромную пожилую даму, затворницу и преданную жену. И если зря не запутывать вопрос, то, ей-богу же, в оценке тех или иных явлений литературы и вообще искусства народное признание ни в коем случае не следует сбрасывать со счетов. А то ведь нередко получается, что всеобщий восторг словно бы обесценивает творение, снижая соответственно репутацию автора. Это испытал на себе Александр Дюма-отец, которого провалили во Французскую академию. Это отравляло жизнь великого Верди, ему не прощалось, что любой уличный мальчишка насвистывал «Сердце красавицы», а любой гондольер распевал арии из «Трубадура». Но вот такой обновитель музыкального языка, Как Игорь Стравинский, мог позволить себе восторгаться мелодическим гением Верди.

Недоброжелатели, а они зароились мгновенно в первых лучах молодой славы Хейли, дружно предсказывали оглушительный провал каждому его новому роману. Но после нашумевшего «Рейса ноль восемь», написанного в соавторстве с Джоном Кастлем, увидели свет «В высших сферах», «Окончательный диагноз», «Отель» и все оказались бестселлерами, и, наконец, «Аэропорт», побивший мировой рекорд успеха. Недавно вышел новый роман «Меняла» (о финансистах), и читатели, равнодушные к гримасам снобов, жадно набросились на очередное блюдо, изготовленное умелым багамским поваром по обычному рецепту, и вновь утолили какой-то свой голод. Путь Хейли — неуклонное движение вверх по лестнице славы, и не надо шутить, что эта лестница ведет вниз. Хейли читают повсюду, он «повсеместно обэкранен», пользуясь элегантным выражением Игоря Северянина, равно и «обэстраден», и «отеатрен», «отелевизионен» и «орадионен» — ну и словечко!

Минувшим летом в Союзе писателей состоялась встреча советских и американских литераторов. Обе страны были представлены небольшими, но авторитетными делегациями. С американской стороны присутствовали: издатель и публицист К. — глава делегации, известный прозаик С, бесспорно, лучший сейчас в Америке поэт, маститый Л., молодой, но знаменитый драматург О., а также трое не знаменитых, но почтенных профессоров литературы. Разговор поначалу воспарил в сияющую высь маниловской мечтательности, поскольку взявшая слово

первой тучная, с мясистым смуглым лицом старой индианки ученая американская дама предложила создать не мешкая институт по изучению друг друга — о великий мост дружбы между Маниловым и Чичиковым! — но вскоре спустился на твердую землю и сам стал тверже, серьезней, набрал полемической остроты, без ожесточения и злобы. Попутно выяснилось некоторое неравенство сторон: мы куда лучше знали — литературно — наших собеседников, нежели они нас, хотя большая часть писателей, составивших советскую делегацию, издавалась в США. Так что у американских коллег были все возможности иметь дело не с таинственными духами, а с литераторами во плоти слова. Но куда серьезнее была другая наша претензия, касавшаяся издательских дел. Как много переведено и издано американских книг в Советском Союзе, как ничтожно мало наших в Соединенных Штатах. Реакция гостей явилась для нас полной неожиданностью. Их нисколько не умилила щедрость наших издательств в отношении американской литературы.

— Охота же вам издавать столько чепухи, — заметил кроткий с виду прозаик С. — А еще жалуетесь на бумажный кризис.

Возможно, в нем говорила обида: единственный его роман, переведенный на русский, превосходный во всех отношениях, был напечатан (почему-то петитом) в «Иностранной литературе» и не вышел отдельным изданием.

Его мысль подхватил издатель К.:

— В Советском Союзе порой открывают таких американских писателей, о которых мы не слышали у себя на родине. Помню, в один из первых моих приездов в Москву тут зачитывались каким-то Митчелом Уоллесом. Я говорю: такого писатели нет. Неправда, возражают, есть, его у нас даже в институтах проходят. Вернулся домой и попросил найти мне этого Уоллеса. Прочел — ей-богу, неплохо!

— Речь идет не о каком-то безвестном Уоллесе, — не принял шутливо-примирительной интонации своего коллеги прозаик С. — Я имею в виду писателей весьма даже известных, слишком и напрасно известных. Тут прозвучали ошеломляющие цифры тиражей, — сколько же сотен тысяч приходится на пустого Артура Хейли?

И началось!..

Драматург человек угловатый, колючий, с острой речью, тоже считал, что нельзя тратить дефицитную бумагу на издание таких никчемных авторов, как обветшалый Джек Лондон или примитивный Хейли.

И даже отвлеченный, не от мира сего, старый поэт Л.

подкинул хвороста в костер, на котором сжигали репутацию автора «Аэропорта». Л. — человек странный: в сером помятом костюме, сбившемся набок галстуке-веревочке; седые волосы почти покинули темя, свисая сальными косицами на затылок; блестящий, чуждый окружающему взгляд как бы обращен в себя. Я не знаю, что с ним, как и чем исключает он себя из действительности, но несомненно одно: Л. имеет дело с миром воображаемым. Так, он пытался выйти из обеденной комнаты Дома литераторов сквозь настенное зеркало, и, возможно, преуспел бы в этом, не помешай ему в последнее мгновение взвенеть (а может, такое совершается бесшумно?) в зеркальную гладь его друг и переводчик. И этот отвлеченный, возвышенный человек сошел на грешную землю, чтобы крепко, с нескрываемым раздражением «приложить» Артура Хейли, а заодно и тех, кто способствует распространению низкопробных сочинений.

И почти сразу вслед за этой ядовитой филиппикой впавшего в житейщину поэта на местах для гостей появился Артур Хейли. Драматургам такие совпадения не прощают, а неподсудная жизнь весьма часто пользуется приемами, которые в драматургии считаются искусственными и дешевыми.

Не знаю, успело ли дойти до Хейли, как аттестуют его земляки, но его моложавое, свежее, загорелое лицо оставалось безмятежным и радостно обнажались в обаятельной улыбке все тридцать два белейших искусственных зуба, вращенных в десны.

Разумеется, его представили собранию. Американцы отозвались ледяным молчанием и коротким напряжением лицевых мускулов, что можно было счесть за намерение приветствия. Вопиющая невежливость этих воспитанных людей меня поразила. Нужно очень сильное, неодолимое, неуправляемое чувство, чтобы так явно пренебречь правилами человеческого общежития.

В отличие от них наша делегация — само радушие и доброе любопытство. Будем говорить прямо: от Хейли так и несло богатством и успехом. Он был превосходно и смело одет. Впрочем, нынешняя мода допускает в летнее время яркую пестроту: полосатый пиджак из какой-то гладкой, чуть лоснящейся ткани, темно-бордовые брюки, шейный платок, включающий в расцветку один из оттенков красного, рябенькая рубашка. Его седые, слегка волнистые волосы, уже сильно отступившие от лба, были тщательно причесаны, худые щеки выбриты «до кости», и он, несомненно, исповедовал пушкинское: «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», с его появлением ароматный ток пронизал прокуренную комнату.

Красное доминирует в спектре зримого образа Артура Хейли.

Ко всему еще он очень легко краснеет — вовсе не от смущения или неуверенности в себе, просто кровеносные сосуды залегают близко к поверхности кожи. Алый бог удачи скромно сидел на гостевом месте, но, надо полагать, чувствовал себя хозяином положения. Не на литературном форуме, а в той широкой жизни, которая включает в себя как некую малость и этот форум. Он ни от кого не зависел, никого не боялся и не играл ни в какие игры. Он путешествовал по нашей стране на гонорары от советских изданий своих романов в сопровождении жены и молодой преподавательской пары из колледжа, где учится его младшая дочь, сюда забрел из вежливости и мог в любую минуту встать и уйти. Он наверняка чувствовал злобу американцев, но это его не трогало. Он ничего ни у кого не отнял, и совесть его была спокойна. Да так ли это? Не исключено, что он таки отнял какое-то количество читателей у С. и Л. и какое-то количество зрителей у О. Не будь Хейли, читателям и зрителям волей-неволей пришлось бы подняться до уровня сложной прозы С, изысканных стихов Л., странных пьес О. Но Хейли перехватывает массового читателя где-то в нижних этажах сознания, и С, Л., О. остаются авторами для тонких ценителей литературного слова, для знатоков, элиты.

Вроде было очень серьезное рассуждение? Пожалуй. Но в качестве несформулированной мысли, полуосознанного чувства это может быть в основе смутной и злой претензии. Иначе за что же так не любить Хейли? Неужели только за то, что у него большой счет в банке, что он может жить на вечнозеленых Багамских островах (сбежав туда, к слову, от непомерных американских налогов), ездить по белу свету в сопровождении целой свиты, ни в чем себе не отказывать?..

Хейли отсидел на своей гостевой скамейке до перерыва, живо отзываясь на происходящее жемчужными высверками улыбок, румянцем, заливавшим его ухоженное лицо, а затем, погарцевав недолго в кулуарах, отбыл со всей свитой для продолжения своей таинственной жизни.

А мы продолжали заседать, и на следующий день американская делегация произвела новый залп по движущейся — уже где-то в Прибалтике — мишени.

У меня есть все основания считать, что недоброхотство коллег дошло до Хейли (возможно, в чуть ослабленном виде), но это не помешало ему присутствовать на прощальном обеде в честь участников совещания. И здесь, в тепличной атмосфере полуофициального приема, в размягчении, наступившем после жарких дебатов, в лиризме предстоящей разлуки — часть американской делегации в ту же ночь улетала на родину, другая

отправлялась в путешествие по Сибири — заокеанские литераторы продолжали подчеркнуто игнорировать Хейли.

Существует театральное выражение «играть царя». Самому играть царя на сцене невозможно, разве что в комедии, фарсе. Там ты можешь пыжиться, раздуваться от величия и власти, ну а если всерьез? Так вот, всерьез царя играют окружающие, изображая почтительность, трепет, восхищение, страх, угодливость — в зависимости от характера властелина.

Американские писатели играли «невидимку». Они просто не видели элегантного, в безукоризненном вечернем костюме человека: они смотрели сквозь его суховатое спортивное тело, они умудрились так построить всю сложную систему своего поведения в многолюдном обществе, в броуновском движении человечьих фигур, чтоб не коснуться его ни словом, ни жестом, не дать ему примкнуть к разговору, вступить с ними хоть в поверхностное общение.

Как ловко можно изолировать человека посреди такой тесноты!..

И мне вдруг стало ужасно жалко нарядного, счастливого, знаменитого Хейли. В самом деле, чем он так провинился перед литературой, перед богом и людьми? Тем, что заставил весь мир в течение дней или недель — кто как быстро читает, а к Хейли тянутся и малограмотные, — с замиранием сердца следить за судьбой пассажиров сверхмощного лайнера «Боинг-707», терпящего бедствие. Спасутся или не спасутся эти никогда не существовавшие в действительности, вымышленные люди — вот что волновало и томило и скромного лондонского клерка в полосатых брючках, и араба в прохладной джеллабе, и датскую прачку с выбеленными щелочью руками, и французского рабочего в замасленной кепке, и советского колхозника с натруженными лопатками, и австралийского стригаля, и американского банкира, и немецкого спортсмена, да разве перечислишь всех, кого захватил, вырвал из равнодушной повседневности и заставил жить сердцем «бестселлер» Артура Хейли. Бескорыстный страх за ближнего в человечестве собрал в себе, как в фокусе, самых разных людей, которым вроде бы не на чем соединиться. Но сострадающие одному и тому же перестают быть совсем чужими друг другу. Разве этого недостаточно, чтобы амнистировать некоторые художественные слабости романа, психологическую прямолинейность, словесную незамысловатость?..

Правомочны ли вообще отвлеченные рассуждения о художественности, психологизме и т. п., когда речь идет о прозе Хейли, об авторе, сознательно и целеустремленно создающем литературу прямого действия? Можно ли было требовать

углубленного психологизма, скажем, от Дюма? Конечно, нет. Тогда его скорый на поступки и тем обаятельный д'Артаньян превратился бы в какого-нибудь Ивана Карамазова под мушкетерским плащом. Рефлектирующий д'Артаньян никому не нужен, а в своем виде смелый гасконец чарует не счесть какое поколение. Если б можно было взвесить принесенную им пользу — воспитание в юных душах мужества, благородства, верности в дружбе и любви, чувства долга, независимости перед сильными мира сего — это ли не высшая польза? — его создатель по справедливости заслужил бы прозвище «Благодетеля человечества». А ведь сколько раз Дюма отказывали в звании не то что великого, просто писателя, считая его многочисленные романы развлекательным чтивом, а никак не художественной литературой. Нет, не зря д'Артаньяну поставили памятник, его образ принадлежит к вечным художественным достижениям.

В литературе и нехудожественное может на короткое время взволновать современников злободневностью, совпадением с их душевным настроем, с запросами времени, но в поколениях не живет. Выдыхается злободневность, съеживается, умаляется образ. А бессмертный д'Артаньян в исходе двадцатого века одерживает победы едва ли не более блистательные, чем при жизни своего создателя, он покорил кино, театр, оперу, оперетту, балет, и по-прежнему хорошие мальчишки, обещающие стать настоящими мужчинами, берут в руки шпагу д'Артаньяна.

Да есть ли большее счастье для писателя, чем создать образ такой живучести!

Время и мода вкладывают свое содержание в понятие «художественности». Когда-то непременным признаком художественности считались ясность и чистота стиля, а ныне в чести предельная усложненность и густотища слов. Писать короткой фразой — какая бедность! — читатель должен увязать в непровороте словесного переизбытка; настоящей прозой признается сейчас проза густая, как тот солдатский суп, в котором ложка стояла торчмя. Передовой и чуткий читатель даже обижается на автора, если ему все понятно, он рассматривает лапидарность и ясность как скоропись, почти как халтуру. В этом смысле проза Хейли не заслуживает чина художественной. Где метафоры, нагромождения образов, фразы длиною в страницу, где внутренние монологи (желательно без знаков препинания), временны′е сдвиги, смещения аспектов реального и воображаемого, когда не понять: наяву, во сне, в мечтах или в горячечном бреду пережил герой случившееся, где изображение события под несколькими углами зрения, где второй, третий и… надцатый планы, где фрейдовская жвачка и выход в мифологию,

где, наконец, подтекст? Нет, нет и нет, даже подтекста нет, один голый текст. Никаких айсбергов, когда громадная масса льда скрыта под водой, а наружу торчит заснеженный островершек. Все на виду, все напоказ.

«Неглубоко копает», — прочел я где-то о Хейли. Возможно. Но это не больший грех, чем копать всегда слишком глубоко. Не все корни уходят в глубь почвы, иные залегают совсем близко к поверхности и даже торчат наружу.

Совершенно необязательно отыскивать в основе человеческого поведения Эдипов комплекс, младенческие фобии, детские табу, приводящие в зрелом возрасте к болезненным торможениям. Любовь, инстинкт самосохранения, чувство долга, профессиональная честь, желание самоутвердиться — эти, быть может, поверхностные психологические импульсы кажутся убедительными и достаточными в структурах Артура Хейли. И если б вдруг оказалось, что управляющий аэропортом Мэл Бакерсфельд в раннем детстве вожделел к собственной сестре, это ничего не прибавило бы ни к образу главного героя, ни к трагедии, разыгравшейся в воздухе и на земле, когда злоумышленник попытался взорвать «Боинг-707», — даже скорее отняло бы.

В чем, в чем, а в крепком профессионализме Артуру Хейли не откажет и злейший враг. Он человек умный, сведущий в своем ремесле, дотошный, очень современный, великолепно ориентирующийся в нашем перегруженном вещами и соображениями веке. И, как опытный мастеровой литературного цеха, умеет точно рассчитать силу воздействия каждого образа, каждой сцены, у него нет пустот, как нет и лишнего, все служит главной цели — не назойливо, не искусственно, а так, словно рождается из самого себя. И будь ему нужно, он сумел бы ввести глубже скальпель анализа, это вовсе не так трудно в наше просвещенное время. Вместе с тем в прозе Артура Хейли не тесно и не душно, как то бывает в слишком расчисленном и плотно обставленном литературном пространстве, он всегда сохраняет некий люфт, а это немалое искусство.

Хейли строит свой мир, подчиняясь им же самим установленным законам, строит умело, расчетливо, крепко, хотя и несколько шаблонно. Его ничуть не смущает, что почти в каждом романе должна быть очаровательная девушка, которую непременно постигнет беда, наносящая тяжкий ущерб главному ее достоянию — красоте. Так, в «Аэропорте» единственным человеком, изуродованным взрывом, оказывается красавица стюардесса Гвен; в «Отеле» страшную черепную рану получает в сорвавшемся лифте прелестная Додо, а в «Окончательном

диагнозе» ампутируют пораженную саркомой ногу невесте героя. Конечно, такое однообразие — слабость писателя, но Артура Хейли это ничуть не заботит. Читая его романы, мы не замечаем повторов, охваченные состраданием и жалостью, а то, что нас поймали вроде бы на старую приманку, обнаруживаем лишь при последующем анализе. Но Хейли пишет свои романы, чтобы их читали, а не анализировали.

Повторяется из романа в роман и главный герой. Нет сомнения, что это один и тот же человек, исполненный мужественного рвения, желания сломать привычную рутину в порученном ему деле (по-нашему — новатор), ему все мешают, но он не утрачивает бодрой веры в окончательную победу, хотя и знает минуты усталости, разочарования. Он лишь меняет строгий пиджак гостиничного администратора на белый халат хирурга или форму аэродромного служащего.

Нет, Хейли не дарит нас ни множественностью образов главных героев, ни многообразием психологических ситуаций. Меняется обстановка действия, внешний антураж, но внутреннее наполнение сцен, эпизодов, как и суть не слишком затейливых поворотов, не меняется. Нельзя сказать, что он великий мастер закручивать сюжет, куда ему до Эллери Куина! Да, его вещи хорошо и прочно выстроены, но любой средней руки сценарист владеет этим нужным, но незатейливым конструкторским навыком. Есть несколько четких линий, которые все пересекутся в конце; эпизоды, образующие эти линии, строго чередуются, обрываясь неизменно на самом интересном месте. Нехитрую эту науку Хейли знает назубок. Поэтому его романы так легко поддаются экранизации. Собственно говоря, в каждом из них лежит законченный сценарий, который просто надо извлечь наружу, убрав лишнее литературное мясо.

Любопытно, что появившийся после знаменитого фильма «Аэропорт» — экранизации одноименного романа «Аэропорт-75», сделанный по обычным рецептам Хейли и тоже прошедший на экранах всего мира с громадным успехом, не имеет к писателю никакого отношения. Сценарий сработали профессиональные голливудские кинодраматурги, а Хейли получил круглую сумму за право использовать в названии слово «Аэропорт», как бы гарантирующее в глазах зрителей высокое качество, да несколько фамилий его героев. Хейли сам рассказал мне об этом с милой улыбкой, добавив: «Наверное, будет и „Аэропорт-76“, и 77, и 78…» Можно понять, почему иные литераторы бледнеют от гнева при одном упоминаний о счастливчике Хейли. Но в мире капитала никто денег на ветер не бросает, и если кинокомпания идет на уплату автору громадной суммы лишь за название и

несколько имен, то какой же могучей притягательностью обладают романы Хейли!

Но это к слову. Так в чем же сила Хейли? Конечно, он умеет создавать в своих романах острые, напряженные, полные драматизма ситуации, но есть и посильнее сюжетчики, однако им не снилась его популярность. Ему даются женские образы, исполненные очарования, причем не поймешь, чем он этого достигает. Вот две молодые женщины из «Аэропорта»: Таня Ливингстон, администратор, и Гвен Мейген — стюардесса, обе прелестны, каждая на свой лад, а ситуации, в которых они показаны автором, банальны, И поведение их незамысловато, почти плоско. Исключение составляет эпизод со взрывом, где Гвен подымается до героизма, но к этому критическому моменту образ уже слеплен. *Как?..* Точно подмеченное женственное движение, жест добра и грации, милое словечко, но главное — и это уже принадлежит магии искусства — какая-то удивительно хорошая, верная авторская интонация.

Думается, самая большая удача Хейли — глупенькая с виду Додо, любовница гостиничного магната О'Кифа. Люди, встречающиеся с Додо на страницах романа, испытывают к ней необъяснимое чувство благодарности, удивляющее грубого и властного О'Кифа. Ведь молчаливая Додо открывает рот лишь для того (исключения редки), чтобы сказать какую-нибудь глупость или чепуху, но самое присутствие этой молодой, прелестной и доброй женщины облагораживает окружающее свойственным ей от природы аристократизмом души. Читатель тоже испытывает благодарность к Додо за то, что она есть, и к автору, познакомившему ее с нами. И снова трудно понять, чем достигается такой художественный эффект. Додо с самого начала отведена роль очередной жертвы: неисправный лифт должен развязать много узлов, помочь автору избавиться от дурных, преступных персонажей (Хейли претит отдавать своих героев в руки правосудия), а весь эмоциональный заряд придется на долю Додо. Но, странное дело, образ не становится функциональным, ничего не теряет в своей жизненности и очаровании. Ты любишь эту славную женщину, ловишь ее тихое дыхание, улыбку, наивную радость от малых подарков жизни, ты смертно сострадаешь ей и преисполняешься великой признательности к автору, не только сохранившему Додо жизнь, но и обручившему с прозревшим миллионером-самодуром О'Кифом, в котором она, мягкая, слабая, недалекая и прекрасная, пробудила сердце.

Но было бы глупо утверждать, что романы Хейли замечательны женскими образами. Додо — милое и странное чудо, остальные женские образы, даже самые удачные, играют

служебную роль.

Некоторые читатели уверяют, что ценят Хейли лишь за обилие информации. Это культурные читатели, проведавшие, что склонность к Хейли — признак не очень взыскательного вкуса, а любить надо Апдайка или Чивера. Нет сомнения, что Апдайк и Чивер куда более глубокие писатели, нежели Артур Хейли, но, мне думается, человеческое сердце так просторно, что в нем может найтись свободный уголок и для Хейли, если не отказывать ему предвзято в праве на постой. Однажды я разговорился с двумя немолодыми, умными, начитанными врачами. Они утверждали, что Хейли — единственный писатель без медицинского образования, который не врет в материале и даже врачам открывает что-то новое в их профессии. «Вот почему мы накинулись на „Окончательный диагноз“. Обилие информации — это так важно в наше время».

Эскулапы лукавили, как лукавят и все остальные читатели, уверяющие, будто Артур Хейли привлекает их лишь скрупулезным знанием того дела, которое описывает, то есть обилием информации. Что и говорить — информация — великая вещь, особенно в исходе нашего века, задавленного переизбытком фальшивых ценностей, демагогии, безответственных утверждений, ложных чувств, интеллектуальных и нравственных ломаний. Что может быть лучше, чище и миротворней правдивой и щедрой информации? Это дает точку опоры, помогает ориентироваться в чудовищно усложнившейся действительности, более того — повышает шанс уцелеть.

Кстати, обильная информация всегда привлекала людей, этим объясняется широкая известность в начале века такого сухого писателя, как Пьер Амп, которого не без оснований считают создателем «производственного романа». Но, очарованный буржуазным прогрессом, Амп начисто потерял человека в нагромождении техники. Равнодушное, а там и презрительное отношение к простому человеку — «придатку машины» неизбежно привело Ампа к моральной деградации — в пору войны он стоял за сотрудничество с гитлеровцами.

Так почему же все-таки я не верю тем, кто утверждает, что в романах Хейли их привлекает лишь обилие информации? Есть профессии, которые интересны всем (оставим в стороне романтические профессии художника, писателя, композитора, космонавта и водолаза). В тот или иной период нашей жизни грозная фигура врача вытесняет милые и жалостные образы наших близких. Нам интересно все про авиацию, не потому что в каждом из нас дремлет Икар, но время от времени мы вверяем жизнь непрочной и ненадежной серебряной птице. Но даже люди,

часто бывающие в командировках и зависящие от временного пристанища, в подавляющем большинстве ничуть не интересуются гостиничным делом, что не помешало «Отелю» стать одним из самых знаменитых романов Хейли. Оказывается, и врачи читают взахлеб этот роман, хотя едва ли открывают там что-либо интересное для своей профессии. Не надо так уж преувеличивать тягу людей к самодовлеющей информации. Литературная репутация на Западе острого, а порой ядовитого Орвела куда выше, нежели репутация Хейли, но его книга о французских ресторанах, наполненная исчерпывающей информацией — он годы проработал на кухнях больших и малых парижских кабаков, книга, отлично написанная, но скудно населенная, безлюдная, имела скромный успех и довольно скоро была забыта…

Но почему все-таки такой успех выпал Артуру Хейли, а не другому американскому или европейскому писателю, знающему жизнь не хуже автора «Аэропорта», не уступающему ему в обилии информации и превосходящему художественным даром?

Мне вспоминается разговор Анатоля Франса с английским литературоведом, записанный Сегюром. Добросовестный, хотя и несколько туповатый англичанин во что бы то ни стало хотел узнать у мэтра, что же является главным критерием великой литературы. Насмешливо, но заинтересованно Анатоль Франс начинает разбирать те мерила, которые обычно прикладывают к литературным произведениям, претендующим на совершенство. Он поочередно рассматривает искусство композиции, чистоту и ясность стиля, наличие крупных и ярких характеров, богатство идей… И вот оказывается, что произведения таких гигантов, как Рабле, Вольтер, Расин, Корнель, Руссо, Мильтон, Шекспир, да и многих других, не подходят под эти мерки: где хромает композиция, где темен и непроворотен язык, где герои на разные лады варьируют характер самого автора, где скудна и банальна мысль. Прямо бери метлу и гони всех этих корифеев с литературного Олимпа. Не пугайтесь, успокоил Франс оторопевшего англичанина, они все останутся там, куда вознесло их человеческое поклонение. Ибо есть лишь один критерий, и творения их ему отвечают. Этот критерий — любовь к людям.

Понятие «великий» весьма условно, а вот мерило литературной ценности, предложенное Франсом, превосходно. Приложите его к Хейли, и вы поймете тайну поставщика бестселлеров. Любовь к нему читателей — это ответное чувство на его любовь к ним. Хейли искренне и горячо любит людей, он не заносится и не форсит перед ними. И потому он им так близок и дорог. Простые люди узнают в нем своего, не учителя, не

проповедника, не пророка, а живого, теплого, доброго человека, радующегося тем же радостям, что и они, болеющего теми же болестями, верящего в те же ценности, подверженного тем же слабостям.

Да, он счастливо наделен бесценным даром любви к людям, ко всем людям без различия чинов, званий, цвета кожи, жизненного положения. Это проявляется во множестве трогательных мелочей: он любит хорошо угостить своих героев, дать им вовремя чашечку горячего кофе, сигарету, глоток холодного виски. Даже к плохим, грешным он мягок и снисходителен, ибо понимает изнутри их беду, их слабости, их загнанность и не встает в позу обличителя порока. Даже для злоумышленника Герреро, пытавшегося взорвать самолет, нет у него гневных слов, он видит в нем горького неудачника, жертву беспощадных жизненных обстоятельств. Он прощает гостиничному вору по кличке Ключник Мили все прегрешения и дает скрыться с добычей лишь за то, что в разбитом лифте тот забыл на миг о себе, о своей безопасности и стал помогать тяжело пострадавшей Додо. Даже в невольном убийце герцоге Кройдоне он обнаруживает несчастного, погубленного неудачной любовью человека, ибо в этом алкоголике и вырожденце сохранилась способность к раскаянию. Вообще заслужить прощение у Артура Хейли довольно легко, ему не занимать человечности.

Свой самый высокий праздник Хейли празднует, когда в неважнецком человеке, вроде самовлюбленного, спесивого пилота Димиреста или ханжи и самодура О'Кифа, пробуждается свет добра.

Казалось бы, Хейли подчеркнуто внимателен к материальному обставу жизни, на самом же деле он прежде всего внимателен к людям, населяющим его романы, даже к третьестепенным персонажам, возникающим на краткий миг. И непременно подметит в них что-нибудь хорошее. Беглая реплика, почти обмолвка, случайный жест, а на вас мимолетно дохнуло прелестью человека. Возник на мгновение из бурана, тяжело нарушившего привычную жизнь аэропорта, водитель снегоуборочной машины, и хотя мы больше не встретимся с ним, да и сейчас не успеваем вглядеться в его черты, Хейли находит нужным намекнуть, что этот работник бухгалтерии, севший в трудный час за баранку, поступил так не ради сверхурочных, в чем сам себя уверяет, а из благородных побуждений. Золотое человечье сверкнуло сквозь снежную пелену и вновь скрылось в ней, но у читателя стало теплее на сердце.

Мне вспоминается один давний разговор с А. Т. Твардовским. Общеизвестно: когда в рассказе или повести появляется

проходной персонаж, нуждающийся в обозначении, самое простое и верное для закрепления в памяти читателя — наделить его каким-нибудь изъяном: косоглазием, хромотой, заиканьем, гнилым зубом, подловатым прищуром. Я уже не помню, какую пакость «подарил» я своему персонажу, но Твардовский возмутился: «Откуда такая недоброта? Взял да и обхамил ни с того ни с сего незнакомого и, может быть, хорошего человека!»

Вот оно как: писатель должен верить, что его герои — живые люди, а не глиняные фигурки, которые он сам слепил и сам сломал. Артур Хейли верит в это и сознает свою ответственность перед теми, кого извлек из небытия.

Особенно примечателен образ безбилетной пассажирки миссис Квонсет. Как легко было бы сделать из нее эдакую зловредную старушонку, жуликоватую, настырную, склеротически упрямую. Но Хейли, мучимый тем, что представил пожилую женщину, мать взрослой дочери, в непрезентабельном виде, быстро обнаруживает в ней житейскую мудрость, доброе сердце, незаурядное мужество, спокойный ум и даже готовность к самопожертвованию. И создает едва ли не самый неожиданный и живой образ в романе.

Хейли очень трудно быть жестоким, даже когда вся логика повествования заставляет его быть таким. Гвен изуродована взрывом, красота ее погибла, и все же случившийся в самолете врач бросает вскользь, что нынешняя хирургия творит буквально чудеса, и пластическая операция, возможно, сохранит девушке привлекательность. Это очень характерно для Артура Хейли. Западные читатели натренированы в жестокости, они как-нибудь переживут и несчастье, обрушившееся на Гвен, но сам Хейли не переживет. Это он себя утешил словами врача.

Я мог бы без конца приводить примеры писательской доброты Артура Хейли, но, полагаю, сказанного достаточно. Дыхание хороших людей создает удивительно теплую атмосферу в его романах. Как холоден, страшен, колюч и неприютен мир почти у всех видных американских писателей — от замолкшего Сэлинджера до говорливого Трумена Кэпота! А мир Хейли, что бы там ни происходило, согрет человеческим теплом, согрет надеждой.

Конечно, у него встречаются персонажи, на которых не распространяется авторская доброта, ну, хотя бы жулик-юрист Фримантль. Фальшивый пафос лжеборца за гражданские права оттеняет трагическую серьезность происходящего на борту поврежденного взрывом «Боинга». Так и должно быть, иначе доброта Хейли не представляла бы никакой ценности. Он вовсе не буколический писатель, не певец золотого века и отнюдь не

заблуждается в существе той цивилизации, которой принадлежит.

Но другим носителям отрицательного начала Хейли охотно позволяет спастись прозрением любви, жалости, сострадания, чем-то забыто человеческим, что вдруг поднялось со дна души. Подобное случилось с миллионером О'Кифом, когда сорвавшийся лифт изуродовал бедную Додо. Бездушный воротила, уже подыскавший замену прискучившей любовнице, вдруг понимает, как дорога ему тихая, покорная Додо, и что все отели, которые он купил и еще купит, все его чековые книжки, акции, хитроумные коммерческие планы, расчетливая любовь голливудских див не стоят и полушки перед комком родной страдающей плоти. И в то высшее мгновение своей алчной, холодной жизни О'Киф обретает прощение.

Доброта Хейли ввела кое-кого в заблуждение. Его поспешили обвинить в «асоциальности». Страшный жупел — убивает писателя наповал. Но разве не социален «Отель», где так прямо, сильно и бескомпромиссно поставлены темы расовой сегрегации, борьбы с картелями и убивающей всякую индивидуальность стандартизацией американской жизни? Конечно, его критика американских порядков никогда не подымается до разоблачительного пафоса Вульфа, Фолкнера, Стриндберга, но и в грехе социального безразличия он тоже неповинен.

Не стану утверждать, что все эти соображения промелькнули во мне «с быстротой молнии» на прощальном приеме. Мне просто по-человечески стало жаль Хейли и захотелось что-нибудь для него сделать. Я сказал об этом его переводчице.

— Ох ты, ух ты, пожалел бедняжку Хейли! — насмешливо сказала она. — Ничего, он справится. Допускаю, что он и вообще не так уж сильно страдает, как нам с вами кажется. — В последних словах пробилось ехидство. — Но если вы действительно хотите что-то сделать для несчастненького Артура — пригласите его в гости.

Так далеко мое сострадание не заходило, и я спросил неискренне:

— А зачем ему это нужно?

— Бросьте! Вы же прекрасно знаете, что самое интересное за границей — это ходить в частные дома. Только так и можно хоть что-то увидеть.

— «Быт и нравы туземцев Подмосковья» — глава из путевого дневника Артура Хейли. Не светит!..

— Вы сказали наугад, но попали в точку. Шейла, его жена, написала книгу «Я замужем за бестселлером». Книга находится в производстве, но Шейла решила задержать ее, чтобы пополнить впечатлениями об этой поездке.

— Совсем хорошо!..

— Возьмите и сами напишите об Артуре, — нашлась переводчица. — Вроде того, что вы публиковали в «Иностранной литературе».

— Но тогда я брал зверя в его логове.

— А теперь пустите зверя в свое логово. Для разнообразия.

Не откладывая в долгий ящик, я тут же пригласил супругов Хейли и молодую учительскую чету. Переводчица взялась обеспечить доставку гостей на тихий берег Десны подмосковной.

Не стану утомлять читателей описанием встречи и долгого русского застолья — Хейли и его спутники, уже натренированные щедрым грузинским гостеприимством, с честью выдержали наше тяжеловатое хлебосольство, — скажу лишь о том, что несколько нарушило и углубило образ литературного супермена.

Едва мы сели за стол, он совершил ребяческий промах, обнаруживший и недостаток наблюдательности, и странную наивность, и неумение уловить дух окружающего. Попросив слова, он разразился таким трескучим, «высокоидейным» и тривиальным спичем-тостом, который еще мог кое-как сойти на торжественном приеме, но в частном доме был вовсе неуместен. Гости оторопели. Но я сразу понял странное заблуждение Хейли. Он решил, что присутствует на замаскированном официальном мероприятии.

Мы все же выпили его отрезвляющий тост, а затем я сказал:

— Артур, здесь не загородный филиал Союза писателей или Дома дружбы. И никто не указывал мне принять вас. Тем, что вы находитесь здесь, вы обязаны лишь моему литературному и человеческому любопытству. Говорю это единственно для того, чтобы вы расслабились, спокойно ели и пили и не томили себя «междоусобными», как шутил один наш классик, соображениями.

— Это правда? — проговорил он, растерянно хлопая ресницами.

Интересно, что его жена и оба преподавателя не впали в эту ошибку, сразу уловив атмосферу дома, а он, знаменитый наблюдатель и человекознатец, еще долго пребывал в сомнениях.

Лишь возле суточных щей с грибами и кашей, убежденный их сытой неофициальной духовитостью в домашнем характере встречи, Хейли окончательно оттаял. Но глубокое недоумение, зачем понадобилось советскому литератору городить весь этот огород ради незнакомого человека, слегка туманило ему чело.

Артуру Хейли не так-то просто раствориться в поверхностном застольном общении, он человек совсем непьющий. За весь долгий обед он выпил лишь рюмку водки и полбокала красного вина. Он, как настоящий спортсмен, неизменно в режиме и не

позволяет себе никаких излишеств. Натренированный, прекрасно сохранившийся человек, всегда нацеленный на работу и серьезную жизнь, он не нуждается даже в коротком забвении, ему достаточно хорошо в дневной ясности мыслей и чувств.

Хейли живет по четкому расписанию: год собирает материал, два года пишет. Он очень смеялся, когда я сказал ему о бытующем у нас представлении, будто он влезает в шкуру каждого из своих героев.

— Что за чушь? Тогда бы я написал от силы два-три романа за всю мою жизнь, ведь для того, чтобы изучить только профессию врача, требуется около десяти лет. А я как-никак написал уже семь романов и надеюсь удвоить это число. Я собираю материал, как и все писатели: хожу, смотрю, разговариваю с людьми, стараюсь понять их человеческую и профессиональную суть.

Имя Хейли окружено легендами. И я не знаю, подлинную историю первого успеха своего мужа рассказала нам Шейла или фольклорный вариант:

— Он был безвестен, когда канадское телевидение поставило его пьесу. Возможно, пьеса прошла бы, как и другие подобные пьесы, ничего не изменив в судьбе автора, если б не счастливый случай. Неожиданно отменили трансляцию выдающегося хоккейного матча, собравшего у экрана телевизора всю Канаду, и вместо этого дали пьесу мужа. Не оправившиеся от шока болельщики посмотрели пьесу, и на другой день Хейли проснулся знаменитостью.

Ни сам Хейли, ни его жена не скупились на сведения о его жизни, они привыкли к любопытству окружающих и журналистской ненасытности. Делали они это хорошо: без ломания и скрытого самодовольства, но и без фальшивого, лицемерного скромничания; они понимали законность интереса к необычайной судьбе хронического бестселлера и работали на совесть. Я понял, как хорошо быть издателем Хейли, членом его семьи, дорожным спутником, вообще любым человеком, находящимся с ним в деловых, родственных или дружеских связях. Он так же точен и ответствен в своем поведении, как и в своей литературе. Он не создает искусственных трудностей, чтобы потом их мучительно преодолевать, он идет прямым, кратчайшим путем и в творчестве, и в быту, выгадывая для себя душевную свободу, внутренний порядок и время для внешней жизни, которую охотнее всего отдает путешествиям.

Хейли говорит о себе спокойно и просто, ничего не скрывает, да ему и нечего скрывать. Он родился в Англии, в бедной семье, и в четырнадцать лет «положился предел учености», как витиевато

говаривал наш Лесков. Мечтал стать репортером, не вышло, пошел на военную службу, в годы войны служил в авиации, затем переехал в Канаду, работал, писал рассказы, телепьесы. Роман «Рейс ноль восемь» (в соавторстве с Д. Кастлем) стал первым его бестселлером. Заодно выяснилось, почему уроженец доброй старой Англии, канадский гражданин и житель вечнозеленых Багамских островов считается американским писателем. Действие почти всех романов Хейли происходит в США, «поскольку эта страна дает богатый материал для наблюдений». Не скрыл Хейли и свою рабочую норму: две страницы в день. Я думал — больше, но сила Хейли в том, что эти две страницы он «выдает» регулярно, а не спорадически — в пору рабочего запоя, на смену которому приходит затяжное безделье.

В целом же его разговор в точности соответствует тем интервью, которые он охотно дает представителям печати, радио, телевидения. Он не приоткрывает тайных дверец, — может быть, их просто нет. Он говорит именно то, чего от него ждут, не желая ни разрушать, ни усложнять сложившийся у людей образ, лишь уточняет детали. Его вполне устраивает репутация писателя, изучающего взаимоотношения техники и человека. Тем более что в подобном определении есть истина, но не вся. Хейли это мало волнует. Он и вообще не любит литературных разговоров. Литературу надо делать, зачем о ней говорить? «Специально литературой я никогда не занимался», — утверждает Хейли. У некоторой части западных писателей, особенно тех, кого отвергает эстетствующая критика, появилась в последнее время тенденция открещиваться от литературы. Известный датский поэт и романист Шарнберг бросил мне гневно: «Мне нет дела до литературы, я — агитатор!»

Отношение Хейли к литературе я понял так: это ремесло (не в нынешнем уничижительном, но и не в средневековом, цеховом — возвышенном смысле, а где-то посредине), серьезное, важное, полезное и прибыльное ремесло, которое требует всего человека, а болтать о нем — пустая трата времени. Пусть этим занимаются неудачники.

Артур Хейли не посягает и на вашу душевную жизнь, не стремится к установлению тесного контакта, до чего так охочи русские люди, с него достаточно внешнего, прохладно-уважительного общения.

К концу очень затянувшегося, хотя и не принесшего никаких открытий вечера мы все выдохлись. Бодр, свеж и юн оставался один Хейли. Он хорошо, но в меру поел, почти ничего не выпил и был готов хоть сейчас на ринг. Спортсмен, фаворит, победитель…

О последнем, завершающем штрихе в цельном портрете

Артура Хейли стало известно от водителя, отвозившего гостей домой. Выехав с нашей поселковой дороги на Калужское шоссе в свет встречных фар, водитель заметил, что Хейли тщетно пытается пристегнуть ремень. Надо сказать, что ремни на «Волгах» не прижились, и тот ремень, с которым возился Хейли, давно уже болтался без дела, размочалился, съежился, вроде бы сел, как после стирки. Замок тоже был испорчен, и все попытки дисциплинированного и осторожного Хейли, воспитанного большими американскими скоростями, пристегнуться ни к чему не привели.

Водитель сроду не видел такой растерянности, вскоре сменившейся яростной борьбой за жизнь. Хейли что было силы тянул ремень, подбирал живот к хребту, вертелся, сгибался, вжимался в кресло, боролся за себя так же цепко, как люди на поврежденном взрывом «Боинге-707». Думается, тут он по-настоящему узнал, что чувствовали его герои. Все было тщетно. Ох, как не хотелось ему расставаться со своей прекрасной жизнью на темной чужой дороге, под темным чужим небом, окуполившим случайный, ненужный ему простор, столь далекий от милых вечнозеленых Багамских островов! У него хватило мужества и воли не пересадить на свое гибельное место кого-то из спутников, он остался до конца джентльменом и до последнего сражался с куском грязноватой твердой ткани. Лишь в городе он понял, что ему не одолеть ремня, и принял смелое решение катапультироваться без парашюта. Он поднял дверную кнопку, сжал ручку дверцы и левой ногой нащупал упор. Машина быстро продвигалась пустынными ночными улицами, многие светофоры были уже выключены, оставшиеся торопились зажечь зеленый свет. Впереди возникло массивное здание аэро… гостиницы, еще немного удачи, терпения, выдержки — и вот колеса коснулись посадочной полосы. Спасен!.. Ему снова сказочно повезло. Будет завтрашний день, и много других радостных дней, и вечнозеленые Багамские острова…

Каким же счастливым человеком надо быть, чтобы так бояться смерти!

Простим ему, что он так счастлив, удачлив и богат. Он хороший и честный труженик в литературном цехе и доставляет людям много радости. Он помогает нам ориентироваться в этом сложном мире, придает твердости, веры в себя и в жизнь, а это дорогого стоит на нашей изнуренной планете.

В поисках Лассила

Рассказ

1

Не знаю, кому первому пришла в голову мысль создать книгу «Москва — Хельсинки» — счастливая, добрая мысль, особенно в нынешнее тревожное, исполненное розни, недоверия, опасных намерений и термоядерной демагогии время, когда вновь потянуло дурным ветром «холодной войны». Правда, все это не отразилось на добрососедстве Советского Союза и Финляндии, дающем отрадный пример того, как могут строиться и развиваться отношения двух стран с различной социально-экономической системой. Но всякий добрый огонь, зажженный в ночи для тепла и света, должен иметь пищу, чтобы не зачахнуть, это касается и личных и межгосударственных отношений. Для этого мало даже самых тесных торговых и экономических контактов: финские рабочие, техники и инженеры трудятся на новостройках Советской Карелии, строят нам дома и корабли, мы помогаем финнам с энергетикой, идет широкий обмен специалистами и учеными, но нужны связи, идущие от человеческого сердца, и тут слово имеют искусство и литература.

Без малого четверть века назад в составе большой туристской группы я объездил Финляндию и навсегда полюбил эту страну. Тогда в Хельсинки завязалось нечто такое, к чему мне очень хотелось вернуться. Я думал написать о моем финском друге и коллеге по второй профессии (несколько сходной с первой, древнейшей — по кино). В рассказе «Вечер в Хельсинки», написанном сразу после первой поездки в Финляндию, этот друг, известный кинорежиссер, назван Николаем Лейно, пусть уж он останется под этим псевдонимом и в моих теперешних записках, так же, как актриса — мадам Тейя и ее муж — инженер Костанен, самые близкие Николаю люди, которыми он щедро поделился со мной.

Лейно, работавший с помощью советских операторов над первой цветной финской картиной, узнал обо мне от них. Мы познакомились, и в ближайший вечер Лейно пригласил нас в ресторан, где мы встретили мадам Тейя и ее мужа, инженера по лесу. Вначале я принял их за молодоженов, такими влюбленными, горячими глазами смотрел Костанен на жену —

милую, приветливую, артистичную в каждом слове и жесте, но уже прочно ступившую в нежно-грустную пору бабьего лета. Оказалось, они женаты больше восьми лет. Правда, по мнению Костанена, они и года не были вместе; он работает далеко на севере, она была занята на съемках, в киноэкспедициях (пока снималась), затем — в театральной школе, где преподает актерское мастерство. Он и сейчас вырвался всего на сутки: утром ему гнать на север свой «понтиак», сперва по мокрой, а там и по обледенелой дороге. Зато у него будет счастливая ночь, сказал он мне доверительно.

Я только открывал для себя «Науку дальних странствий» и был поражен такой откровенностью незнакомого человека, к тому же финна — об этом сдержанном, не терпящем пустой болтовни народе недаром говорят, что «финны молчат на двух языках». Но Костанен вскоре удивил меня поступком поистине самоотверженным.

Хорошо мы сидели. И главное — официант не говорил нам роковой, порожденной финским полусухим законом фразы, которой он уже осадил нескольких гуляк: «Вы достаточно приняли», — мы заказывали дорогой французский коньяк, а не водку, и соображения барыша преобладали над заботой о национальном здоровье. Но тогда я не слишком обременял себя социологическими изысканиями, заинтересованный тем, как расточительно губит Костанен в кабаке столь краткое время, отведенное ему на свидание с женой. И понял, что это высшее проявление любви. Жена без него никуда не ходит, а ей радостно застолье, музыка, киношный треп, это напоминает ей молодость, пору блеска и успеха. И Костанен, которому не терпится остаться с ней вдвоем, настолько живет ее чувствами, что даже не слишком мучается. Ей хорошо — больше ничего не надо! Уж не помню, каким образом нам подвернулся на язык «рониколь» — замечательное и редкое лекарство от эндартериита, которым страдал мой отчим. На другой день ни свет ни заря меня разбудил номерной портье. Меня спрашивают внизу. Спустившись, я увидел Костанена, в черном клеенчатом плаще, блестящем от дождя, с полей фетровой шляпы стекали струйки. Он пожертвовал утренним теплом любимой, чтобы раздобыть лекарство в ночной аптеке для едва знакомого человека. Он знал, лекарство нелегко достать, особенно приезжему, знал, что оно дорого, не по карману туристу, и совершил поступок, который в житейском смысле равен подвигу. Я мог отплатить ему только литературно — рассказом, исполненным признательной нежности.

Этот рассказ — «Вечер в Хельсинки» — много раз издавался,

в том числе в Петрозаводске, на финском языке. Приезжавший в Москву на премьеры своих фильмов и кинофестивали Лейно говорил мне, что рассказ и ему и его друзьям понравился. Мне никогда не удавалось угодить прообразам героев своих рассказов и фильмов. Люди, оказывается, неизмеримо более высокого мнения о себе, чем они дают почувствовать это окружающим. Прототипы, как правило, ненавидят своих «певцов», хотя редко признаются в этом открыто. А тут вдруг я угодил, если только Лейно не обманывал меня, жалеючи. Но последнее маловероятно — это легко было проверить. Финляндия не за горами, и ничем иным, кроме случайности, нельзя объяснить, что попал я туда лишь через четверть века. А когда попал — в надежде вернуться к старым героям, изобразить их сегодняшний мир — пусть будет там печаль старости, но старость таких людей достойна и поучительна, мудра и нежна, — режиссера Николая Лейно уже не было на свете. Он скончался незадолго до моего приезда, а я не знал этого. Лейно был далеко не молод, он родился еще до первой мировой войны, но был крепок, вынослив, темноглаз, с тугой кожей и белыми зубами, к тому же его творческая жизнь в кино началась довольно поздно, что усиливало во мне ощущение ровесничества, а нам еще рано уходить. Где сейчас мадам Тейя, никто сказать не мог. Да, как же… была, была такая… талантливая актриса вроде бы, но ведь она так давно не играет… На Западе удивительно быстро забывают своих кумиров, а Запад начинается с Финляндии. Никто не брался найти мою актрису, ну а разыскивать инженера по лесу, вышедшего, очевидно, на пенсию, — дело вовсе безнадежное. К тому же их наверняка не было в Хельсинки. Такие люди, уйдя на покой, стремятся ближе к природе, в которую им вскоре предстоит возвратиться…

2

Так и остался я без своих героев и без своей темы. Мне было грустно, но то не было литературной грустью, я понял, что всегда жил надеждой на встречу с Николаем Лейно и его друзьями. Еще одно доброе намерение не осуществилось. Но когда я смирился с уходом Лейно, то почувствовал, что у меня есть еще дело в Хельсинки, и очень скоро это «дело» обрело название. Мне давно не давала покоя горестная судьба одного из моих любимых писателей, автора гомерически смешного романа «За спичками», переведенного на русский язык другим остроумнейшим писателем, Михаилом Зощенко.

Я познакомился с Зощенко в последние годы его жизни. И

познакомил нас красивый, милый, совсем еще молодой тогда человек, Дима Поляновский. И его уже нет. Он был редактором милицейского литературного альманаха в Ленинграде, и когда умер, гуд и треск сопровождавших похоронную машину мотоциклов поглотил все остальные шумы города, — обыватели думали, что хоронят важного генерала. Мой очерк становится сродни поминальнику: почти все, о ком я пишу, уже покойники, дай бог, чтобы Костанены пользовались добрым здоровьем. А ведь не так давно покинувшие мир люди были живы, они разговаривали, смеялись, сердились, пили вино, радовались и грустили — как дивно полон был мир и как не умели мы ценить эту полноту: почему были так рассеянны, безразличны, ленивы к их близости, к свету их глаз? Но ведь столь же неприметливы и ленивы к нашему пребыванию в мире и те, кому дано нас пережить. Люди, будьте пристальней друг к другу! Это неверно, будто мир не скудеет, он явно не возмещает убыли, не в количественном, а в качественном смысле. Нет Михаила Михайловича Зощенко и не будет. А тогда он был, и мы пили коньяк у него в доме на канале Грибоедова.

— Я вспоминаю, какой вы были красавец! — со странным выражением печали сказал Зощенко Поляновскому, едва мы перешли в гостиную из полутемного вестибюля.

— Вы хотите сказать, что я сильно подурнел? — улыбнулся тот своим прекрасно очерченным ртом. — Это неприятно, но я не дама, как-нибудь переживу.

— Нет, вы все еще красивы, — совершенно серьезно, без тени улыбки, с той же непонятной печалью продолжал Зощенко. — Но вы были чудо как хороши! Вы были похожи на юношу Возрождения.

— Старею, — опять улыбнулся Поляновский, являя завидное самообладание, и я понял, почему он преуспел в мужественном деле милицейской литературы.

— Пьете? — сочувственно-брезгливо спросил Зощенко.

— Что вы, Михаил Михайлович! Я никогда не служил Лиэю, как выражался Аполлон Григорьев, а сейчас мне и вовсе нельзя. Сердце, легкие — я очень часто болею.

— Вы должны с этим справиться, — тепло и серьезно сказал Зощенко. — Вы же совсем молодой человек… И такой красивый… — Он посмотрел на бутылку коньяка, которую я поставил на стол. — Мы должны это пить?

— Конечно, — сказал Поляновский. — Даже я вас поддержу.

— Не помню, когда я в последний раз пил коньяк… Правда, водочки, коньячки, закусочки никогда не были по моей части… Найдутся ли подходящие рюмки?.. — Зощенко беспомощно

огляделся.

Квартира с мебелью в белых полотняных чехлах, наглухо закрытым буфетом красного дерева, зашторенными окнами, вся какая-то «нераспакованная», казалась нежилой. Можно было подумать, что ее только что получили со всей обстановкой и не успели наделить собственным уютом. Конечно, дело было в другом: стоял июль, и семья Михаила Михайловича уехала на дачу, а он остался в городе, среди зачехленной, копящей пыль в складках белых балахонов мебели и всего враждебного его малой житейской приспособленности тяжеловесного быта, в который он так и не сумел вписаться.

Подергав дверцы буфета и, к своему удивлению, открыв их, Михаил Михайлович достал три разнокалиберных бокальчика, долго, задумчиво их разглядывал, потом вернул на место, погрузил руку в темное нутро, нашел там маленькие рюмки и поставил на стол.

Постепенно Зощенко обретал смелость в обращении с материальным миром. Он довольно уверенно извлек из буфета половинку засохшего лимона, сахарницу, маленькую серебряную ложечку и такой же ножичек. Немного подумав, нашарил в ящике старый ржавый штопор с деревянной ручкой, похожий на столярный инструмент. Поляновский изящно — не по навыку, а по ухватистой ловкости пальцев первоклассного бильярдиста — ввинтил штопор в гнилую пробку и с чмоком извлек ее, не дав раскрошиться. Опасливо и отчужденно следивший за его действиями, Михаил Михайлович успокоился: бутылка не взорвалась, не разлетелась на тысячи осколков, золотистый напиток потек в рюмки, затем — после молчаливого, взглядом, тоста — приятно ожег пищевод.

С приметным облегчением поставив рюмку на стол, Зощенко вернулся к теме здоровья, которая всегда занимала его. Он говорил, что человек может в очень широких пределах управлять своим здоровьем, если будет относиться к нему сознательно и ответственно. Для этого мало не причинять ему зла пьянством, курением, обжорством и прочими излишествами, надо уметь анализировать свое состояние — физическое и душевное, что, кстати, неправомочно разделять. Человек должен отчетливо, без самообмана знать, что в нем происходит, тогда он сможет управлять своим здоровьем. В сущности говоря, он развивал свои давнишние излюбленные мысли, известные еще по «Возвращенной молодости» и первой части «Перед восходом солнца», — со второй частью этой книги мы познакомились куда позже. Он говорил, конечно, для Поляновского, повторяя то, что годы и годы внушал самому себе. Он прошел трудную школу

самовоспитания и научился смотреть правде в глаза, как бы жестока она ни была.

— Это все не пустые слова, — говорил он. — Я тот человек, который растянул свою жизнь. Она должна была кончиться куда раньше.

— Ну что вы, Михаил Михайлович! — взметнулся Поляновский. — Вы едва шагнули за шестьдесят!

— Это не мало. А для меня — так и очень много. Я живу сейчас чужую жизнь. Ведь я вроде той пробки, которую вы каким-то чудом извлекли. У меня больные легкие, ни к черту не годные сердце и сосуды. В мировую войну я был отравлен газами, в гражданскую — навсегда испортил пищеварение. Я тяжелый невропат. У меня была нелегкая жизнь. Я никогда не думал, что доживу до старости, хотя очень хотел дожить. Мне казалось интересным побывать во всех возрастах. Я поставил себе такую цель и добился ее. Старость очень интересная пора, я испытал ее и могу спокойно уходить. Поверьте, это не рисовка. Вот сидит старик, пьет коньяк, как гусар, в компании молодых людей, и старик этот — я. Разве можно было вообразить такое четверть века назад? Я был полутрупом. Но я взялся за ум, сознательным и твердым усилием продлил свою жизнь. Теперь я спокоен.

— «Как мне на сердце легко и спокойно!..» — очень музыкально пропел Поляновский.

Зощенко прислушался.

— Чье это?

— Шуберт.

— До чего хорошо… и до чего понятно… — тонкой смуглой рукой Зощенко сам разлил коньяк по рюмкам. — В разное время разное может помочь человеку выжить… Он говорил тихо, словно прислушиваясь к тому, что происходило внутри него, к слабой работе изнемогающего организма. — Но всему есть предел.

— А правда, что смех такая здоровая штука? — Поляновскому явно хотелось изменить настрой встречи.

— Понятия не имею, — пожал плечами Зощенко.

— Я был однажды на вашем авторском вечере в Политехническом музее, — две рюмки коньяка вернули мне дар речи. — Избранная публика сидела на сцене, среди других — Ильф и Петров. Оба изнемогали от смеха. Петров буквально падал со стула. И я подумал тогда, что он очень здоровый и счастливый человек.

— Я помню этот вечер, — сказал Зощенко. — Ильф тоже хорошо смеялся, просто у него был другой смех — в себя. К сожалению, это не прибавило ему здоровья.

— А сами вы ни разу не улыбнулись. Удивительно, как вам

это удается.

— А я отсмеиваюсь, пока пишу. Хохочу буквально до упаду, до слез. И потом мне уже несмешно. У меня где-то есть об этом.

— Да, — вспомнил я и вдруг перестал верить искренности его признания.

Уж слишком серьезным, до печали серьезным было его лицо, оно не годилось для смеха. Ну, для улыбки — куда ни шло, морщинки в углах тонкогубого рта были следами улыбок его шестидесятилетней жизни, но представить себе его хохочущим невозможно.

— Вы как-то сказали мне по телефону, что Майю Лассила помог вам уцелеть, — вспомнил Поляновский. — Это ваши буквальные слова. Я думал, что вы имели в виду его юмор.

— Нет, свою переводческую работу…

— В первом издании не было указано фамилии переводчика.

— Какое это имеет значение? — пожал плечами Зощенко. — В тех жизненных обстоятельствах важно было что-то делать, зарабатывать на жизнь. Я взялся бы за что попало, но мне достались вещи на редкость талантливые. Радостно талантливые и бодрые… Нет, конечно, Лассила помог мне больше, чем я сейчас говорю. Странное животное человек: у меня недавно вышел однотомник, и я сразу стал неблагодарным.

— А ведь все догадались, что это ваш перевод, — заметил я. — Там было клеймо мастера: портной Кеннонен, мотающийся по избе в одних подштанниках. Это типичный Зощенко.

— А я уже не помню. — Намек на улыбку тронул уголки губ.

Я сказал Михаилу Михайловичу, что иные его рассказы знаю наизусть, как стихи. Он принял это признание не то чтобы холодно, но равнодушно, как любезное и ненужное преувеличение. Затем, переварив то, что представлялось ему неуклюжим комплиментом, сказал чуть неуверенно:

— Но сами-то вы пишете по-другому? — И тут же, что-то вспомнив, твердо добавил: — Вы многословны.

Покорно, со вздохом, я подтвердил его правоту.

— Зачем вам это надо? — поморщился Зощенко. — Ведь есть пушкинская проза. Ничего лишнего, каждое слово на месте. Это ли не образец?

Я сказал, что читал его опыт в пушкинском роде. Там была зловещая шутка про старого патриота времен первой Отечественной войны, придумавшего страшную месть Бонапарту. Злодея надлежало изловить, посадить в клетку и лишить пищи — от голода он постепенно съест самого себя. Стилистически то был чистейший Пушкин «Капитанской дочки».

— Вот и пишите так… Если вам действительно знаком этот

рассказ.

— Мне бы хотелось вернуться к Лассила, — вмешался Поляновский, которому показалось, что разговор становится для меня опасен.

— А что Лассила? — откликнулся Михаил Михайлович. — Отличный писатель: лаконичный, умный, насмешливый, точно знающий, чего хочет. Я сужу, правда, лишь по двум романам, которые переводил, остальное мне неизвестно. Он обожает путаницу, неразбериху, я — тоже, хотя мне почти никогда не удавалось устроить такую кутерьму, как в «Воскресшем из мертвых» или «За спичками». Был у меня, правда, рассказ про парусиновый портфель, да бог с ним… В жизни впрямь много путаницы, чепухи, диких совпадений, бессмыслицы, и Лассила был истинным поэтом самого невероятного вздора. Интересно, чему это соответствовало в нем самом? Случайным такое не бывает. Суворов любил вздор, это заметил Тынянов, но там все понятно, а вот Лассила. Я не в силах читать предисловий, но, насколько мне известно, в жизни он был человеком серьезным, трудным, ищущим, с радикальными политическими взглядами, за что поплатился жизнью. Если не ошибаюсь, его расстреляли в тюрьме на Свеаборге. Как-то не подходит юмористу? — Уголки губ чуть дрогнули улыбкой. — А может, наоборот, подходит? Мне хотелось больше узнать о Лассила, но не перешагнуть пропасти, именуемой финским языком.

Мы еще поговорили о Лассила, и у меня создалось впечатление, что у Михаила Михайловича просто не хватило душевных сил углубиться в сложную судьбу писателя, сыгравшего столь значительную роль в его собственной жизни. Слишком сильно ощущая драматизм своего положения и творя то высокое спокойствие, с каким он хотел встретить кончину, в близости которой не сомневался, видя себя насквозь, он не мог собраться для постижения чужой сути. Так, во всяком случае, мне кажется. То не было старческим эгоцентризмом в обычном смысле слова, но, умевший так органично сочетать глубокую погруженность в себя с живым любопытством к внешнему миру, редкой приметливостью к подробностям окружающего, Зощенко сейчас был целиком обращен внутрь.

3

Но мой рассказ не о Зощенко, а о том, на кого он меня невольно «вывел». В мартовском студеном Хельсинки, под непостоянным небом, то сочившимся дождем, то распахивавшим

бледную голубизну над еще замерзшей бухтой, которую бороздили, с треском ломая истончившийся лед, огромные паромы, ходящие в Швецию и ГДР, и небольшие буксиры, и рыбачьи катерки, я думал о Лассила как о своем полузабытом долге. Кому? Уж не Зощенко ли? Но с чего бы числить мне за собой такой долг? Написать же хотелось прямо-таки маниакально. И все-таки странное веление это связано с Михаилом Михайловичем… Каждый нормальный человек на моем месте пошел бы простым и естественным путем: отыскал бы финского литературоведа, посвятившего себя Лассила, и узнал бы все необходимое. Признаться, и у меня мелькнула такая мысль в разговоре с одним местным критиком, которого я заподозрил совершенно напрасно в пристрастии к творчеству Майю Лассила. Но критик этот заговорил вдруг об авторе «За спичками» с такой отчужденностью, что паразитарное намерение мое сразу испарилось.

Я и вообще в своем литературном деле избегаю специалистов. Я имею в виду работу над вещами биографического плана, будь то повесть, рассказ, очерк или литературный портрет. Я боюсь оказаться во власти чужих представлений, чужой тщательно выношенной концепции. Мне необходима внутренняя свобода, возможность дойти до сути своим умом, тогда возникает творческий импульс, мне будет радостно и горячо писать о захватившей меня судьбе.

Но есть существенная разница между беллетристическим изображением реально существовавших в прошлом фигур и очерками о современниках. На мертвых можно валить, как на мертвых, и чем дальше от них во времени, тем смелее: живые далеко не столь покладисты. С Майю Лассила возникали особые сложности. Я собирался написать о нем не рассказ, не повесть, где мог быть относительно свободен, и не статью о его творчестве с привлечением биографических сведений, а произведение смешанного жанра, исключающего фантазию, но не домысел, без которого не обойтись. И знакомство с его творчеством было у меня однобоким. Я знал лишь его смешные деревенские романы — неоконченная петербургская эпопея «Хархама», равно как и другие романы, пьесы и бесчисленные статьи никогда на русский не переводились. Была и другая загвоздка: Майю Лассила нет на свете, а вместе с тем он продолжает активно жить не только в литературе, но и в идеологической, общественной, интеллектуальной борьбе. Он сам сложен, противоречив и столь же сложно, противоречиво не остуженное годами отношение к нему соплеменников. Все это крайне затрудняло мою задачу. Надо было проделать некую поисковую работу, обернуться чем-то

средним между комиссаром Мегрэ, полагавшимся более на счастливый случай и слабость человечьей психики, не выдерживающей даже слепого давления извне, чем на свои способности ищейки, и усатым Эркюлем Пуаро, чей мозг под яйцевидным голым черепом умел анализировать разрозненные факты и слагать из них целую безошибочную картину.

Что же знал я о Лассила, с чем пускался в розыски? И много и мало. Да почти ничего не знал. Есть ли тут противоречие? Нет, раз речь идет о писателе, чьи лучшие произведения я читал; знать такие романы, как «За спичками», «Воскресший из мертвых», «Пирттипохья и ее обитатели», «Сверхумный», — это значит хорошо знать Лассила — крестьянина и поэта (в прозе) финской деревни. Все же наши почтенные «деревенщики», образовавшие в отечественной словесности могучий монолит, не приняли бы его в свою компанию.

Майю Лассила, плоть от плоти, кость от кости финского крестьянства, конечно, любил деревенских людей, восхищался их грубой живописностью, служил им, боролся за их права (и не только пером), но ничуть не идеализировал. У него не найдешь елейных старушек, в которых якобы сосредоточено все нравственное добро времени, вся мораль и душевная красота мироздания, мудрых и бесхитростных сердцем старцев, видящих приголубью водянистых глаз куда дальше городских очкариков, он не считает города вертепом, а деревню святилищем; ему противно народолюбческое умиление. Считая себя ничуть не лучше своих деревенских героев, Лассила изображал их без прикрас, по-брейгелевски ядрено, порой жутковато, но всегда с уважением к их силе, терпению (последнее порой его и раздражало), к их умению при всех временных отклонениях и страшноватых превращениях оставаться людьми. Он не призывает ни учиться у них, ни следовать их примеру, напротив, в его чуждых всякому нравоучению, смешных деревенских романах, вычитывается между строк: вот до какого безобразия, забвения правил человеческого общежития может довести «идиотизм деревенской жизни», сознательно поддерживаемый системой экономического и социального подавления.

Одни и те же задачи можно решать противоположными способами: многие скандинавские писатели приукрашивали крестьянский уклад, чтобы прийти к той же цели, что и Лассила: доказать право деревенских людей на равную жизнь с теми, кто, родившись на солнечной стороне, выжимает из них все соки. Лассила вовсе не безобидный юморист, — остро и ядовито его саркастическое жало: высмеивая своих героев, таких, как Юмппанен из Пирттипохьи, как Ихалайнен и Ватанен («За

спичками»), Ионни Лумпури («Воскресший из мертвых»), он бьет прежде всего по жестокой действительности, порождающей подобные характеры, а жертвам дает окунуться в очистительную купель. Вот типичный пример «очищения» лассиловского героя. Жутковат в дремучести своей мужичонка Юмппанен: он и склочник, и скупердяй, и юбочник, и пьяница, и рукосуй, и враль, полон предрассудков и суеверий — докучно перечислять все его пороки, но вот, напившись в долг, который, конечно, вовсе не собирается отдавать, и пощупав жену хозяина, он так говорит о своей Пирттипохье, местечке далеко не райском, где жизнь скудна, почти нища, часто голодна, где природа щедро дарит крестьянам лишь смолье, годное на продажу: «Взгляни-ка на нашу Пирттипохью! Месяц плывет по водам Вахваярви и Тервалампи и улыбается Медведице, а на берегах такая чертовски мягкая хвоя, что в пору на ней хоть с невестой спать». И дальше: «Когда на этой земле расцветают летом цветы и в березняке кукует кукушка, а в бору насвистывает медведь, точно на дудочке играет, то на душе становится как у невесты, которую под венец ведут…» Да ведь он поэт, настоящий поэт своей земли, подобно иным героям замечательного современного скандинавского писателя Халдора Лакснесса. Но в Исландии каждый четвертый житель — поэт, чего о Финляндии не скажешь…

И вся чудовищная неразбериха, создавать которую такой мастер Лассила (об этом говорил с легкой завистью М. Зощенко), весь бред, заверченный в «Пирттипохье и ее обитателях», где два мужика, Юмппанен и Пирхонен, написали друг на друга лживые доносы, замешав в свою дурацкую, по недоразумению возникшую тяжбу чуть не всю округу, создав множество побочных недоразумений, того прекрасного вздора, что заставляет серую и трудную жизнь переливаться многоцветной россыпью дивных чудачеств, игрой причудливых характеров, разрешаются новым гимном суровой родине, исторгающимся из широкой груди Юмппанена, благо знахарка Кайса Оборванка выпустила ему в бане с помощью коровьих рогов дурную кровь, изгнав беса склоки…

Драчливый, взбалмошный Ихалайнен, герой романа «За спичками», отлучившийся из дома по пустейшему поводу и пропадавший так долго, что его сочли умершим, чем воспользовался пустозвон-портной Кеннонен, окрутивший его жену и разоривший дом, спасается своей глубоко запрятанной в дремучей душе преданностью омороченной жене. Свет человека оказывается почти на каждом мужике, затевающем или участвующем в очередной терпкой лассиловской путанице. А кто не путается в этой жизни, такой несовершенной и непостигаемой,

и где над простым человеком столько хозяев: от ленсмана до Верховных правителей и самого главного из них — Господа Бога? Наверное, прав бродяга Ионни Лумпури («Воскресший из мертвых»), потративший жизнь на то, чтобы освободиться от всего, чем владеет человек, вплоть до своего тела, запроданного в медицинский институт, и собственного имени, уступленного по сходной цене другому люмпену, прельщенному сверхчудачествами легендарного Ионни. Ведь Лумпури умудрился даже побывать в шкуре миллионера, изведать почет и славу, даруемые богатством, вдохнуть фимиам лести и сохранить из всех мнимых богатств лишь дубовый гроб, которого он тоже лишился, протаскав немало на собственной спине. В конце концов у Ионни осталась лишь медаль «За спасение», но спас он — верх путаницы — самого себя…

«За спичками» — добрый и смешной роман. «Воскресший из мертвых» произвел на меня при новом чтении совсем невеселое впечатление, ибо средствами как будто легкой, даже поверхностной юмористики доказывается призрачность жизни, условность человеческих обличий, желаний, надежд, обретений; мнимая густота бытия оказывается пустой, населенной призраками, и не разобрать тут, кто живой, кто мертвый, в царстве теней все взаимозаменяемы и все фиктивны. Если же попытаться поглубже заглянуть в темный колодец лассиловского романа, то обнаруживается, что призрачность жизни такого крайнего бедняка, как Ионни Лумпури, оборачивается странным бессмертием, ибо, как уже говорилось, его имя, образ жизни, повадки и привычки перешли к другому оборванцу. И полицейский Наутинен, столько раз таскавший на спине в участок мертвецки пьяного Ионни и вздохнувший свободно после его смерти, вновь сгибается под тяжестью пьяного бродяги, носящего то же имя. Наутинен не сомневается, что это настоящий Ионни, вновь, в который раз воскресший из мертвых. Этим окончательно ниспровергается привычная система ценностей. Богача, оставляющего этот свет, навсегда утягивает на дно небытия груз собственности, бродяга всплывает, как бы награжденный жизнью вечной. Анекдотическая история обретает философский смысл и далеко вышагивает за пределы того городка и той страны, где обитал бессмертный бродяга Ионни, да и того времени, когда происходили описанные события.

Но один смешной деревенский роман Лассила по-настоящему страшен, это — «Сверхумный». Какая горечь должна была скопиться в душе писателя, как омерзели ему все институты тогдашней Финляндии — от богоугодных заведений до церкви, — чтобы возникла эта жестокая, горячечная вещь, в которой «ум у

глупости в плену», сумасшествие носит видимость великого ума, высокопарная чушь — пророческой силы, мания величия притворяется смирением, тихая сельская местность превращается в бедлам, а жители как с цепи сорвались, причем происходит все это не в апокалипсическом бреду, а самым бытовым образом, ибо слишком тонка пленка, отделяющая реальность от бреда, и невозможно угадать, кто в этом мире нормален, кто безумен, а кто настолько поумнел, что стал круглым дураком.

И как таинственно перекликается с этим романом один из ранних, широко известных рассказов М. Зощенко, написанных в ту пору, когда имя Лассила было у нас вовсе неведомо. Рассказ этот «Приятная встреча».

Рассказчик едет в дачном поезде с довольно странными попутчиками: безруким парнем, которого сердобольный сосед кормит с ножичка дольками яблока, и неким желчным, фыркающим господином, утверждающим, что революция сохранила за ним все его поместья и угодья. Он зовет опешившего рассказчика к себе в гости, и тот охотно принимает приглашение. Но, оказывается, желчный господин вовсе не последний помещик, а психопат, маньяк, равно как и безрукий парень никакой не инвалид, а буйнопомешанный в смирительной рубашке, и санитары везут обоих в близлежащий сумасшедший дом. Дальше происходит путаница, достойная Лассила: рассказчик кидается на потянувшегося за ножом бородатого пассажира, приняв его за сумасшедшего, на него набрасывается санитар, решивший, что имеет дело с ненормальным, а проводник допускает, что все участники этой катавасии душевнобольные. Эту точку зрения склонен разделить и читатель…

Конечно, сходство рассказа Зощенко с романом Лассила лишь в общности приема: моделирование ситуации, где стерты грани меж разумом и безумием. М. Зощенко не ставит себе тех социальных задач, которые решал финский писатель. Рассказ Зощенко весел, жутковат, психологичен и локален. Роман Лассила остросоциален, историчен, с широким и беспощадным обобщением и совсем невесел, — сухой, дерущий глотку смех продирается сквозь ледяные слезы. «Сверхумный» приближается к гротеску, абсурду, не порывая при этом связи с той почвой, на которой разворачивается бредовое действие. А начинается все с того, что зажиточный крестьянин Сакари Колистая открывает в себе избыток ума, являющегося источником всех творящихся в мире бед. Его бредовое открытие совпадает с теми религиозно-нравственными положениями, которые развивает с церковной кафедры молодой честолюбивый пастор Пендинен. С этого закручивается чисто лассиловский кавардак, когда дурак

оказывается пророком, учителем новой веры, а умный — дураком; сумасшедшего ставят во главе богоугодного заведения, ну а к чему это приводит, вообразить нетрудно.

Похоже, в эту пору жизни Майю Лассила крепко обиделся на свой народ, на его долготерпение, покорность безумию властей и церковному мракобесию, на темную его готовность к оболваниванию и создал самую злую свою сатиру на соотечественников.

И вот чем еще примечателен этот роман. Его сатирическое жало раздвоено: один отросток обращен к «национальной вере» финнов в свою «сверхумность», означавшую на деле самодовольное нежелание видеть вещи и явления такими, как они есть, подмену реальности мифами, а другой — к философскому учению, заложенному знаменитым датчанином Сиреном Киркегором и ставшему экзистенциализмом. «Единственная твердая истина, которую внушал разум, заключалась в том, что все в мире, включая великую сущность ума человеческого, можно правильно представить, понять, объяснить и увидеть только с помощью веры, слепой веры», — издевается Лассила; но, исключенное из саркастического контекста романа, это утверждение можно принять за цитату из Льва Шестова — пламенного апологета Киркегора. То, что для Шестова является непреложной истиной и единственным путем к спасению заблудившегося в пустыне рационализма человека, ненавистно и презренно материалисту, безбожнику и революционеру Лассила.

Он проделал огромный путь, этот выходец из крестьянской семьи, сельский учитель, незадачливый коммерсант, член консервативной «финской» партии, затем эсер, участник террористической организации в Петербурге, подготовившей и осуществившей убийство царского министра Плеве, наконец, социал-демократ самого левого толка, фактический редактор и главный сотрудник газеты «Рабочий». Прежние друзья и соратники Лассила, оставшиеся на правых позициях, так и не простили ему смены убеждений. Он навсегда стал для них «ренегатом», «перебежчиком». Свой новые убеждения Лассила оплатил смертью: он один остался на посту в опустевшей редакции «Рабочего», когда в Хельсинки вошли немецкие войска и стали расправляться с участниками финской революции.

Но я забежал вперед. Ведь мне хотелось выяснить, какими знаниями о Лассила я располагаю. Оказывается, мне кое-что известно, поскольку лучше всего писатель раскрывается в своих произведениях. Но ведь все вышесказанное относится только к Майю Лассила, а были еще Ирмар Рантамала, И. И. Ватанен, был

деревенский мальчик Альгот Тиетивяйнен, позже принявший фамилию Унтола, и о них мне почти ничего не известно, а ведь это все тот же Лассила, разделивший себя на несколько самостоятельных образов. В одном он был учителем, коммерсантом, в другом — городским писателем, драматургом, в третьем — певцом финской деревни, в четвертом — публицистом. Конечно, все эти образы находили некий сцеп в личности носителя многочисленных псевдонимов, но сама личность и связанные с ней обстоятельства жизни были темны для меня…

4

Диккенс говорит, что маленький Оливер Твист, служивший у гробовщика, «начал жизнь с конца». С конца начал и я свое узнавание Лассила. От Михаила Михайловича Зощенко я слышал, что Лассила расстреляли на острове Свеаборг, где якобы находилась политическая тюрьма. Когда я спросил об этом тех милых людей, что призваны были помогать моей финской поездке, они пробормотали неуверенно: мол, да, кончина Лассила вроде бы связана со Свеаборгом. Я уже не раз попадал впросак с моей верой, что привлекший меня писатель той или иной страны столь же горячо интересует своих соотечественников. Это идет, несомненно, от того особого положения, какое всегда занимал писатель на Руси. У нас писатель в глазах народа не просто поставщик чтения — серьезного или легкого, он учитель, наставник, доверенный совести, у него спрашивают, как жить, во что верить, ему и исповедуются, словно попу. Наверное, никому на свете не приходилось так лихо, как русским писателям, и вместе с тем нигде звание писателя не было окружено таким народным почитанием, как на русской земле, сама жестокость властей свидетельствовала о том, насколько считаются с литературой, как велика ее роль в жизни общества. Но я уже не раз убеждался, что в западных странах, отнюдь не обладающих такой россыпью литературных талантов, отношение к ним куда равнодушнее, рассеяннее, что ли, не скупятся лишь на мемориальные знаки.

И финны живут, работают, любят, рожают детей, катаются на лыжах, коньках и санках, бегают на длинные дистанции, ловят рыбу, рубят лес, строят дома, делают мебель, смотрят телевизор, орут на стадионах, пьют водку, вовсе не томя себя размышлениями о горестной судьбе своего прославленного земляка, хотя и перечитывают его произведения, ходят на пьесы, смотрят фильмы по его романам, а иные из интеллектуалов до

сих пор пребывают во внутреннем с ним борении. Лассила не стал омертвелым классиком, он живее почти всех других ушедших писателей и многих ныне здравствующих, но того любопытства, с каким мы до сих пор копаемся в жизни Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого и меньших их собратьев, нет и в помине.

Лед вокруг Свеаборга был еще крепок, и на остров по раскисшей ледовой дороге ходили экскурсионные автобусы. Мы с переводчицей Раей Рюмин (при русском звучании имени и фамилии она финка) взяли машину и отправились на остров. Здесь я познакомился с обаятельным человеком — художником (писателем-очеркистом), которого жена оставила за… медлительность. Думаю, что в многообразных играх человечьих страстей это единственный в своем роде случай. У него чудесное жилье-мастерская, которое он выкроил в полуразрушенном старинном доме. Свеаборг восстанавливается, но работы еще много. На стенах студии — фотографии птиц, птичьих гнезд и птичьих яиц, разных зверей, рыб. Бессловесные существа — главные герои его картин. Он довольно редко обращается к кисти или карандашу, его инструмент — ножницы. Он вырезает из кусков материи фигуры зверей, птиц и рыб, равно деревья, цветы, травы, водоросли, облака, все, что необходимо для его лаконичных, скупых на подробности картин. Особенно удаются ему сиги, которые, словно торпеды, проносятся над водорослями, наклоненными их стремительным движением. Художник устраивает выставки обычно у себя дома, а всю выручку от продажи картин тратит на угощение друзей. Конечно, при такой тороватости он не может кормиться от своего искусства. Помогают очерковые книжки, но главным образом старшие братья, один из которых богатый коммерсант. Я спросил его о Лассила: действительно ли он содержался в свеаборгской тюрьме и был здесь расстрелян? Художник сказал, что должен подумать. Но кончился осмотр студии, всех больших и малых тряпичных картин, а он все думал, и поступок его жены перестал мне казаться уж столь диким.

Мы покинули студию, а он так ничего не надумал, небось до сих пор думает, бог ему в помощь.

По дороге к молодому архитектору, восстанавливающему Свеаборг — он-то уж должен был знать все про Лассила, поскольку остров-крепость его хобби, — мы прошли мимо тюрьмы, где ныне содержат самых мелких правонарушителей — водителей, настигнутых полицией в нетрезвом виде, но при этом не совершивших отягчающих поступков — аварий, наездов на пешеходов. С некоторым удивлением и вроде бы радостью моя

спутница узнала в дородном, холеном человеке с тачкой министра. Конечно, он не был прикован к тачке, как каторжник, просто работал. Он трудился на Свеаборг, отбывая положенный срок: шесть месяцев во славу финской демократии, не делающей различия между министром и рядовым гражданином.

— В настоящее время там находятся два министра, — сообщил нам архитектор, которого и друзья, и сослуживцы, и соседи наделили прозвищем Верзила. Он и впрямь великан с огромными руками и ножищами, добродушный бородатый великан, при этом быстрый, все успевающий, смекалистый и памятливый, и ему, конечно, не грозит беда, постигшая художника. Милая его жена ежедневно покидает дом и едет в Хельсинки — там у нее лавка с бумажными цветами собственного изготовления, но всякий раз к вечеру возвращается к своему великану.

— Лассила никогда не сидел тут. Его взяли на расстрел из столичной тюрьмы. И везли вовсе не на Свеаборг, хотя и в эту сторону, а на остров Сантахамина. Возможно, вы заметили водонапорную башню, это как раз там. Похоронили его в братской могиле, расстреляли же на катере.

Верзила взял с полки альбом, открыл и показал пожелтевшую вырезку из старой газеты.

— Здесь все написано, хотя и не сказано, почему Лассила в отличие от других узников застрелили по пути к месту казни. А вот в более поздней заметке приводятся три версии его гибели: попытка к бегству, провокация конвойных — они оскорбили одну из узниц, Лассила вступился — и, наконец, безотчетный, панический порыв осужденного, позволивший конвойным открыть огонь.

Архитектор подробно рассмотрел каждую версию. Первую он решительно отверг. Соратники Лассила по социал-демократической партии и газете оставили Хельсинки, как только стало ясно, что не сегодня-завтра немцы войдут в город. Следовательно, не было реальных сил, способных организовать побег. К тому же дело происходило весной, температура воды в заливе не превышала шести-семи градусов, разве доплыть по такой воде до далекого берега? Это ясно каждому здешнему жителю. А панический жест, когда человек не думает о последствиях, просто рвется к свободе, не вяжется со всем предшествующим поведением Лассила: тем бесстрашием, с каким он остался на посту, мужеством при аресте, хладнокровием на допросах. Его больше всего заботило в тюрьме, как бы передать сохранившуюся у него картошку своим друзьям Пунаненам — время было голодное. Говорят, узнав о приговоре, он плакал в

камере. Что ж, возможно, он рассчитывал отделаться длительным тюремным заключением, и нервы не выдержали. Но по пути на казнь он вел себя безукоризненно, поддерживал своих спутников, улыбался. Остается рыцарский вариант с заступничеством. Выглядит красиво, уж больно красиво и тем сомнительно. Маловероятно, чтобы конвойные стали оскорблять приговоренных к смерти женщин, думая этим спровоцировать Лассила. Зачем такие сложности? Известно, что на пароходе прозвучал выстрел, после чего Лассила оказался в воде, где его и добили. Неуклюжая инсценировка попытки к бегству. Но формально не придерешься. На борту находился сенатор Освальд Кайрамо, следивший, чтобы все происходило по закону. «При попытке к бегству» — освященная веками формулировка. Мертвое тело баграми вытащили на палубу… «А почему карателя не расстреляли Лассила на берегу, как всех?» Верзила помолчал, затем сказал тихим, мягким голосом:

«Наверное, потому, что он не был как все». Неожиданностей можно было ждать только от него. Лассила ненавидели и боялись… Боялись, что он воскреснет из мертвых, как его герой Лумпури. Карателям хотелось быть до конца уверенными в его смерти. Его расстреляли трижды: на борту, в воде и на берегу — давно мертвого, для верности. Мокрый, холодный, начиненный свинцом труп, бросили в общую могилу возле водокачки, насыпали высокий холм. Звучит мелодраматично? Но что вы скажете о следующем? Сенатора сопровождали Эйно Райло — издатель Лассила и писатель Кюёсти Вилкуна — его бывший друг. По окончании экзекуции они пошли в близлежащий рыбный ресторан, он и сейчас сохранился, чтобы изысканным обедом отметить конец «красного агитатора», как они называли Лассила. Его пребывание в мире причиняло им много беспокойства, даже Эйно Райло, хотя его издательство «Киря» наживалось на Лассила, а ему платило гроши. Они пили холодную «аква-виту», заедая бледно-розовой лососиной, потом разделались с блюдом жареной форели, — в городе голодали, но в дорогом ресторане было все, что угодно ненасытному чреву. И тут они не скупились: издатель, сделавший на Лассила хорошие деньги, и писатель, мечтавший о той премии, от которой брезгливо отказался автор «За спичками». Представляете себе, как ненавидели его реакционеры, если так разнуздались перед вечностью. Впрочем, они твердо верили, что с демократией покончено раз и навсегда. А все-таки случилось то самое, чего опасались палачи, когда тело Лассила прошивали пулями, топили и забрасывали землей, — он воскрес и предъявил им счет. И два негодяя, обмывших в ресторане его гибель, стали навек презренны в своем народе.

Финны не любят громких слов, но презирать умеют и молча…

Мы оставляем Свеаборг, ныне Суоменлинну, с укреплениями Кустамиека и Королевскими воротами, комендатурой и старыми пушками, с могилой Августина Эренсверда, увенчанной гигантским шлемом, с высокопоставленными и рядовыми арестантами, с патриотами и обывателями, художниками, литераторами, архитекторами, строителями и пускаемся в дальнейший путь за маленьким загадочным человеком, о котором, похоже, никак не сговорятся и насельники сегодняшнего мира. Слишком много назагадал он загадок…

5

Я хотел съездить на ту печальную землю, где закопали окоченелое, изрешеченное пулями тело, но мне сказали, что Лассила перехоронили на главное городское кладбище. «Перехоронили» в данном случае понятие условное. Просто изъяли из общей смертной ямы чьи-то кости и назвали их останками Лассила. Тут нет кощунства — жертвы палачей финской революции были спаяны величайшим родством идей, мужества и трагического конца. И я отправился на городское кладбище.

Оно удивило меня обилием распространенных шведских фамилий; впечатление такое, что здесь похоронена «Тре крунур» последних лет. Нарядные могилы, отделанные дерном, украшены гранитными памятниками, и всюду — свежие цветы, наверное, от болельщиков. До того как Финляндия стала провинцией царской России, она столетиями принадлежала Швеции (Октябрьская революция вернула финскому народу самостоятельность, изведанную им лишь в легендарные времена Калевалы), а шведские хоккеисты носят распространенные у них на родине фамилии. Не исключено, что тут действительно можно отыскать предков тех, кто ныне сражается на горячем льду зимних стадионов. Но мне упорно ломился в сознание гибнущий самолет, набитый парнями с клюшками, доверчиво летящими за своим обычным третьим местом. Все чаще уходят спортсмены целыми командами на крыльях сребролещущих лайнеров туда, где нет ни побед, ни поражений, штрафных минут и штрафных очков, буллитов и пенальти, нокаутов и дисквалификации. Есть сведения, что Вседержитель серьезно подумывает об учреждении небесной Олимпиады. Но нет, спорт — дело земное, да будет судьба милостива к «Тре крунур», ко всем сборным мира и клубным командам, ко всем землянам, доверяющим свою

хрупкую жизнь ненадежной воздушной стихии. От грустных мыслей меня отвлекли мраморные и бронзовые обнаженные женские фигуры прекрасных форм, белеющие или золотящиеся в волглом весеннем воздухе, застывшем над тихим кладбищем. Эти вроде бы неуместные в близости небытия изваяния, свидетельствуя о вкусах и пристрастиях ушедших, как бы напоминают живым: торопитесь пить земную радость, продлевайте свое короткое существование милостью прекрасных, добрых, ждущих вас женщин — мир должен быть населен!

Над могилой Лассила не высилась обнаженная красавица, была лишь небольшая гранитная плита с его профилем, облиственной веткой и перечнем фамилий покойного. Можно было подумать, что это братская могила целой команды, но уже финской.

Лассила обмолвился некогда странной, загадочной фразой: невозможно прожить жизнь в одном образе, под одним именем.

С кладбища, мимо мемориала Сибелиуса в виде органных труб, будто повисших в воздухе меж ветвями клена и бурым каменистым громоздком, мы поехали в другой конец города, чтобы взглянуть на земное жилище Майю Лассила, то последнее жилище, откуда он вышел на свою роковую прогулку.

Он жил на улице Руннеберга. В большом многоквартирном доме занимал крошечную комнатенку на первом этаже с окошком, выходившим в каменный колодец двора. Привратница, чей пост находился в соседнем подъезде, отнеслась с должным пониманием к нашему появлению и сама предложила впустить нас в бывшее жилье писателя.

— Там молодая пара живет, они сейчас на работе. Ничего с ними не сделается, если вы заглянете на минутку.

На опухших, больных ногах она враскачку двинулась через двор.

— Я помню господина Лассила, — говорила она. — Он был такой тихий. И ужасно бедный. Он обрабатывал картофельную делянку тут неподалеку. Только картофелем и питался. Но всегда держал в запасе несколько карамелек для дворовых ребят. Он очень любил детей, а своих почему-то не имел, хотя, я слышала, он был женат, и даже не один раз. Кажется, его ребенок умер. Он был беден, как церковная мышь, но всегда чисто и даже модно одет. Следил за своим платьем, по утрам чистил щеткой, а брюки клал на ночь под матрац. — Она тяжело дышала, каждый шаг давался с трудом ее больным ногам. Но лицо у нее — сильное и красивое, несмотря на глубокую старость: смуглое, кареглазое, черты не расплылись, а ей за восемьдесят.

— Вам надо зайти к ответственной съемщице. Она из того же

подъезда, что и господин Лассила. Может быть, что-нибудь расскажет. Она старше меня, но лучше сохранилась, я из простых, а она богатая дама, очень образованная и начитанная.

Ключ тяжело повернулся в замке, дверь сама отлетела внутрь. Перед нами открылся шести-восьмиметровый интерьер эпохи расцвета итальянского неореализма. Две неубранные постели, одна на козлах, другая прямо на полу, что-то вроде туалетного столика, заваленного косметикой и бритвенными принадлежностями; еще были два стула, столик на одной ноге, допотопный проигрыватель, несколько литографий на стенах, какая-то одежда на гвоздях, засохшие цветы в стеклянной вазочке без воды на подоконнике и рукомойник, вроде наших деревенских, с медным носиком.

— Уборной, как видите, нет, — сказала привратница. — И при господине Лассила не было, он бегал в соседний подъезд, в прачечную. Куда бегают теперешние жильцы, не знаю, прачечную давно закрыли. Уберите отсюда все, кроме лежака, стула, тумбочки и лампы, и вы поймете, как жил господин Лассила. Правда, у него еще были книги и всюду набросаны газеты… Эта пара только начинает жить, у них еще есть надежды, — добавила она задумчиво. — А господин Лассила так ее кончал. Вы видели на доме доску: «Здесь жил Майю Лассила» — разве это можно назвать жизнью?

— Но он жил вовсе не здесь, — возразила Рая Рюмин. — Его жизнью была редакция «Рабочего», там он встречался с людьми, писал. Здесь же только ночевал.

Женщина ничего не ответила и вздохнула, для нее это было слишком мудрено. На работе человек зарабатывает себе на хлеб, а живет дома. Она подождала, пока мы выйдем, заперла дверь и показала, как пройти к ответственной съемщице. Последнее надо понимать не в нашем смысле, эта самостоятельная дама была как бы посредницей между квартиросъемщиками и домовладельцем.

Высокие двери, ведущие в покои ответственной дамы, не были заперты, в квартире шла генеральная уборка, которую производили две осанистые работницы бюро добрых услуг в зеленых форменных платьях, несколько коротковатых для их возраста. Они казались вырезанными из дерева — крепкие, угловатые, широкозадые, с грубо-точными красноватыми лицами. На нас они не обратили внимания, продолжая заниматься своим делом, которое требовало весьма смелых поз, не гарантированных должной длиной подолов. Но хозяйка, поняв с некоторым усилием причину нашего вторжения, пригласила непрошеных гостей в комнаты. Здесь ампир соседствовал с модерном, создавая тот прочный уют начала века, в котором

никак не проглядывается грядущая дьяволиада. Среди бесчисленных гравюр, литографий, акварелей, гуашей, картин маслом выделялись исполненные в разной технике изображения Наполеона. Тут были большие репродукции с Давида и других придворных художников, писавших императора с натуры, копии позднейших известных портретов: Наполеон на поле боя и в мирной жизни, на коне и на троне, на фоне пирамид и горящего Московского кремля, Наполеон-триумфатор и Наполеон-изгнанник, Наполеон в гробу. Пока я рассматривал всех этих Наполеонов, хозяйка рассказывала Рае, что Лассила всегда кормил конфетами дворовых ребятишек — это было что-то вроде местной легенды.

— Мы уже слышали, — жестковато сказала Рая, утомленная сбивчивым лепетом старой дамы. — Может быть, вы нам еще что-нибудь расскажете?

Подумав, дама сказала, что ей принадлежат в доме две квартиры.

— А почему столько Наполеонов? — спросил я.

— Вы заметили? — Ее увядшее лицо чуть порозовело. — В гимназии я успевала больше всего по истории. Остальные предметы мало меня интересовали, а по истории я неизменно была первой. У меня хорошая память на даты и на числа вообще. Каждый семестр мне вручали премию: портрет Наполеона. Вначале я радовалась, потом стала злиться, но, конечно, втайне, и все считали, что для меня нет лучшего подарка. Вскоре со всех стен, из всех углов на меня смотрели Наполеоны, и что-то случилось со мной. Я влюбилась в императора на всю жизнь.

Возможно, этим и объяснялось ее равнодушие к единственной знаменитости в подопечном доме. Она ничего не помнила о Лассила. Но когда мы уходили, протискиваясь между двумя раскорячившимися в коридоре уборщицами в коротких зеленых платьях, старая дама вдруг сказала:

— Господин Лассила был маленького роста, как Наполеон. И тоже очень храбрый… — Она хотела еще что-то добавить, но запамятовала и беспомощно закивала головой.

На обратном пути мы проехали по бывшей Цирковой улице, где в доме № 3 помещалась редакция газеты «Рабочий». Здесь 12 апреля 1918 года Майю Лассила в одиночестве сделал и выпустил последний номер…

6

Вечером по совету Раи Рюмин мы отправились в

артистическое кафе, посещаемое не только актерами, но и кинематографистами, писателями, журналистами, художниками, скульпторами, музыкантами, а также серьезными людьми, тянущимися к «богеме». Мы надеялись встретить кого-нибудь из киногруппы, снимавшей в ста километрах от Хельсинки фильм о Лассила. Наши надежды не сбылись: из-за относительно хорошей погоды и голубизны небес, довольно редкой для ранней финской весны, группа работала без передышки и ни ногой в столицу. Другое сообщение было еще печальнее: покончив со здешней натурой, группа немедленно перебазируется в Турку, куда мне не попасть.

К нам часто подходили разные люди, Раю Рюмин тут хорошо знали, я то и дело пожимал мужские и женские руки: сильные кисти скульпторов, длиннющие пальцы музыкантов, вялые руки поэтов и поэтесс, раз моя рука утонула в огромной теплой сухой пятерне известного юриста, другой раз ее долго тряс подвыпивший актер, громко крича мне свое прославленное имя, в ответ я орал свое, но поскольку мы сроду друг о друге не слыхали, а шум стоял изрядный, то каждый сохранил инкогнито.

Я пользовался всяким удобным случаем и заводил разговор о Лассила. Редко кто не делился хоть какими-то соображениями о нем, и до чего же противоречивы были высказывания! Это касалось и его личной и общественной жизни, участия в петербургской террористической организации, учительства, коммерческой деятельности, отношений с женщинами, свойств характера, газетной работы, взглядов и места в литературе…

Мастер создавать запутанные ситуации в романах, Лассила сумел так же запутать свою биографию и личностную суть. Рассказывают, что, обручившись с дочерью коммерсанта, он покинул жену после первой же брачной ночи. Правда, развода он добился лишь через семь лет. Одни утверждали, что бракосочетание прикрыло грех — было заранее оговорено, что Лассила дадут свободу, но его обманули. Другие точно знали: у новобрачной оказался скрытый физический недостаток, делавший невозможной супружескую жизнь, и это явилось страшным психическим ударом для Лассила. Но ни один не мог сказать, откуда почерпнул свои сведения, похоже, все это отголоски старых сплетен и пересудов, оказавшихся на редкость жизнестойкими. Таким образом, и эта тайна Лассила осталась неразгаданной, как и многие другие, охватывающие как целые периоды его жизни, так и его исход.

Еще загадочнее то, что произошло со второй женой, Ольгой. Я видел в архиве ее фотографии, она была крупной, статной, ярко красивой. Девичья фамилия у нее была шведская, по мужу —

польская, но принимали ее почему-то за русскую. Последнее ошибочно, хотя толика славянской крови в ней как будто была. Она приехала в Россию за наследством, познакомилась с молодым чахоточным поляком Ясинским, вышла за него замуж, но вскоре овдовела. Вела странную, двусмысленную жизнь, и тут на пути ее возник замкнутый, нервный, застенчивый и доверчивый Лассила. Началась любовь. Он был захвачен по-настоящему, о склонной к мистификациям женщине ничего нельзя сказать с уверенностью. Плодом этой любви явился ребенок, вскоре умерший. А затем последовал разрыв и дикий поступок необузданной в дурных страстях дамы: она попыталась навек лишить Лассила мужской силы, плеснув в него серной кислотой. Лассила долго и мучительно лечился от тяжелого ожога, но сделал все возможное, чтобы выгородить мстительницу, в чем и преуспел. Злой рок как будто преследовал его: на каждом шагу — либо трагикомическая неудача, либо разочарование и боль. И непонятно, как сохранил он в себе столько юмора!..

Один из приземлившихся за нашим столиком журналистов долго и серьезно рассказывал о деятельности Лассила-террориста.

— Он был участником убийства Плеве!

— Но ведь Плеве убила бомба Сазонова.

— Да. Но если б Сазонов промахнулся, это сделал бы Лассила. Многие забыли, что Плеве был три года министром Финляндии. Лассила вручил бы ему счет.

Когда журналист отошел, видный юрист, пожилой молчаливый человек с мрачновато-ироническим прищуром близоруких глаз, сказал:

— Ну уж от бомбы нашего Лассила Плеве погибнуть не мог.

— Почему?

— Лассила действительно входил в боевую организацию и не расставался с бомбой, которую таскал в брючном кармане. Некоторые думали, что у него грыжа. Раз в людном кафе, увлекшись спором, он вынул ее из кармана вместо носового платка. Другой раз уронил посреди Невского, расплачиваясь с извозчиком. Террористы давно поняли, с кем имеют дело, это были очень серьезные люди. Писатель, поэт не годится для конспиративной работы. Они не сомневались в его искренности, его убеждениях и мужестве, в готовности пойти на смерть, но знали также, что витающему в облаках, рассеянному и эмоциональному художнику нельзя доверять до конца и начинили бомбу гостиничными счетами. Попадись Лассила со своей бомбой полицейским, те увидели бы, что это просто игрушка.

Мне вспомнилось, что с бомбой стоял на углу одной из улиц Сараева в роковой день лета 1914 года будущий лауреат Нобелевской премии, классик сербской литературы Иво Андрич, но убил эрц-герцога Фердинанда все-таки не он, а студент Гаврило Принцип. Я склонен думать, что отважного Андрича поставили не на самое главное место по той же причине, о которой говорилось выше.

Сам Лассила с предельной серьезностью относился к своему терроризму. Он так до конца дней и не узнал, сколь безобидное оружие вложили ему в руки. Хоть это разочарование его миновало.

Слушая юриста, я чувствовал, что многие люди так и не завершили своего спора с Лассила — юристу доставляла удовольствие фарсовость лассиловского терроризма. Он не любил Лассила, этот преуспевающий человек, в отличие от журналиста, которому наверняка известны фокусы с бомбой, но тот судил о Лассила как бы изнутри, и тогда все смешное отпадало, как шелуха, и оставалась жертвенная готовность к подвигу. Финляндию населяют люди с разными убеждениями, и можно не сомневаться, что нашлись бы и такие, что охотно составили компанию Эйно Райло и Кюёсти Вилкуна, — буржуа так и не простили Лассила его революционных убеждений. Сказанное относится и к буржуазному литературоведению, отнюдь не спешащему разогнать окутывающую его творчество и личность мглу. Он по-прежнему «персона нон грата» для очень и очень многих. Вот что я прежде всего вынес из шумного артистического кабачка, где просидел до глубокой ночи…

7

На другой день мы пошли к режиссеру, недавно поставившему пьесу Лассила. Меня долго, хотя и ненавязчиво, исподволь подготавливали к встрече с ним, но я упорно отказывался понимать иносказания, недомолвки и тончайшие намеки… Никогда не был я силен в околичностях, люблю определенность, четкость и прямоту, а со мной разговаривали в духе Ихалайнена, пришедшего сватать дочь старика Хювяринена за своего овдовевшего друга Юсси Ватанена («За спичками»). Жители Ликери, как и все их соотечественники, сильны в иносказаниях, и сообщение о том, что коровы Юсси хорошо доятся, сразу подсказало и самой избраннице вдовца и всей семье Хювяринена, куда ветер дует. Ныне ситуация была несколько иная: сваты хотели мне дать понять, что невеста-режиссер с

каким-то брачком, но я никак не понимал окольных слов, глубоких вздохов, проникновенных взглядов, грустно-насмешливых улыбок — не дано мне финской догадливости.

— Он что, чудаковат?.. С приветом?.. — гадал я.

— Он очень своеобразный человек… Надо делать серьезные поправки ко всему, что вы от него услышите. — Наконец-то мелькнуло что-то определенное.

В небогатом жилище режиссера — щуплого, еще молодого человека, с голым черепом и лицом до того небритым, что многодневная щетина начала оформляться в бороду и усы, привлекали внимание высокие стеллажи с книгами. На самом видном и почетном месте стояли труды Зигмунда Фрейда, его верных учеников и тех последователей, что впоследствии, как нередко бывает, превратились в противников, а также его блестяще талантливой дочери, развившей и во многом скорректировавшей учение отца, и я сразу понял, фанатиком какой веры является хозяин дома и что означали застенчивые намеки моих доброжелательных вожей.

Нервный, горящий сильным, но чужим, необжигающим пламенем, режиссер чувствовал себя поначалу мучительно скованным, но, убедившись в моем знакомстве не только с лексикой, но и всем кругом идей его кумира, взбодрился и стал подробно излагать свою точку зрения на Майю Лассила с напором, в котором проглядывала даже некоторая агрессивность, характерная для всех исповедующих древнее фрейдистское благочестие. Те, кто не закрыл слуха к доводам Адлера, Юнга и особенно дочери Фрейда, не столь категоричны, нетерпимы и глухи к иным возможностям объяснения сути человека и в частности художника.

Первоначально формировали Лассила, по мнению режиссера, тяжелое детство и, разумеется, Эдипов комплекс. Он не захотел носить фамилии своего отца, что, несомненно, свидетельствует о подавленном желании прикончить родителя и занять его место возле матери. Эдипов комплекс и неразрывное с ним чувство непреходящей вины переносились Лассила на весь финский народ, который он втайне не любил. И чем сильнее эта нелюбовь, тем острее чувство вины и желание ее искупить. Поскольку в каждой женщине проглядывал тщетно вытесняемый образ матери, решающим свойством его отношений со слабым полом стала несостоятельность. Этим объясняются и оба его конфликта с женами. Тут фрейдист совсем зарапортовался, поскольку во втором случае причина несчастья была явно в обратном, но он не брал этого во внимание, как и умершего в младенчестве ребенка, — слепая вера тем и сильна, что не нуждается в

поддержке фактами. Участие в убийстве Плеве, по мнению режиссера, как нельзя лучше подтверждает комплекс вины, отягощающий Лассила, а отказ от государственной премии означает открытое признание: да, виноват, господа присяжные заседатели, виноват перед родителями, перед финской родиной, перед всем трудящимся народом, перед мужчинами и особенно женщинами и потому не могу принять награды. Осознав всю меру своей вины — в чем только? — он решил искупить ее той роковой весной, когда немцы заняли Хельсинки. Люди, не знавшие комплекса вины, благополучно убрались из города, а Лассила остался на посту до конца. Не надо только обольщаться чистотой раскаяния Лассила, строго предупредил меня режиссер, все его поступки имели оборотную сторону: возвышение через самоуничижение. Возьмите хотя бы отказ от премии, когда он так нуждался, — да, он наказал себя, но одновременно своим бескорыстием унизил других писателей.

— А может, ему противно было брать премию у людей, которых он презирал?

— Деньги не пахнут, — весьма рассудительно заметил фрейдист, но поспешил добавить: — Будь он полноценным человеком, он бы взял эти деньги, а потом распорядился ими по-своему. Мог помочь беднякам или закупить оружие для революционеров, мало ли открывалось возможностей, но ему лишь бы свою гордыню потешить через самоуничижение да и унизить других.

— Лассила всегда помогал людям, хотя сам нуждался…

Режиссер не слушал, его несло дальше:

— Лассила слишком рано стал жить среди взрослых людей, взрослых, сильных мужчин. Они давили его своим превосходством — умственным, душевным и, главное, физическим, сексуальным. Да, да, тут корень! И вся его последующая жизнь — это попытка компенсации. Отсюда и все метания, и терроризм, и петербургские приключения, и постоянная смена имен, и политическая деятельность…

— И литература, надо полагать?

Режиссер посмотрел будто сквозь меня, вздохнул и придвинул мне стакан анемичного чая — я и не заметил, как он появился на столе, и вазочку с сахаром.

— Литература не была для него органичным занятием. Просто в этой области ему легче всего оказалось заниматься самоутверждением. С таким же успехом он мог бы рисовать, лепить, играть на органе, если б умел, разумеется.

— Значит, умение мы ему все-таки оставим? Может быть, и талант?

Шпилька отскочила от непроницаемой оболочки исступленного фрейдиста, как от шкуры носорога.

— Допустим, — сказал он, — но разве это возражение? Посмотрите, сколько он делал лишнего. Разве это нужно настоящему, божьей милостью писателю? Художник погружен в свой мир, а Лассила?..

— Лев Толстой тоже делал много лишнего. Например, пахал. Или создавал школы для крестьянских детей. Защищал духоборов. А Достоевский участвовал в кружке Петрашевского. Иво Андрич стоял с бомбой, предназначенной наследнику австрийского престола.

У режиссера стало далекое и скучное лицо.

— Каждый из приведенных вами примеров требует особого анализа. Неизвестно еще, какие там обнаружатся комплексы. Сейчас речь идет о Лассила. Я не брался объяснять вам психологию Толстого, Достоевского и Андрича. А Майю Лассила я занимался, ставил его пьесу, думал о нем, изучал, анализировал. И я поймал его за хвост, можете не сомневаться. Имейте в виду еще следующее: он был женственной натурой, осознавал, куда это может привести, и потому чурался мужской компании, не имел друзей-мужчин, стремился к уединению…

— Для чего вступил в тайное общество…

— Ну да, симулируя мужское начало.

— Последняя его мысль перед расстрелом — чтобы друг забрал оставшуюся у него картошку.

— Понятно! — торжествующе воскликнул режиссер. — Перед смертью подавленные инстинкты обнажаются.

— Он сказал об этом жене друга, добившейся свидания с ним: пусть Пунанен заберет картошку. Но он не ставил условием, чтобы тот сожрал картошку один. Он вспомнил перед смертью о своем единственном жалком достоянии и хотел, чтобы оно досталось его друзьям — мужчине и женщине. Как это выглядит с точки зрения психоанализа?

Он промолчал, потягивая свой жидкий чай. Не то чтобы ему нечего было сказать, метод, которым он владел, легко справляется с любыми затруднениями, просто ему стало смертельно скучно. Он полагал, что откроет мне новые просторы мысли, введет в светлое царство истины, а я развожу свое тупое занудство. Но занудничал я вовсе не по невежеству. Я преклоняюсь перед гением Зигмунда Фрейда, бесконечно углубившего наше знание о человеке, распахнувшего двери в безграничную державу подсознательного, объяснившего важность детской сексуальности в формировании личности и давшего медицине новое сильное оружие в борьбе за человеческое

здоровье — психоанализ. Но я знаю также, как вульгаризировали иные адепты фрейдизма это учение, чудовищно и уродливо усугубляя его однобокость.

Жаль, что мне не привелось увидеть пьесы Лассила, поставленной этим режиссером, она не шла во время моего пребывания в Хельсинки. Интересно, как выглядит на сцене Майю Лассила, препарированный по Фрейду?..

8

…Утром, проснувшись в своем номере, глядевшем на залив, палево-розовый от встающего за ним солнца, я с ужасом и восторгом увидел, что оттуда, из озаренного пространства, из растворившего в себе нежный свет тающего марева, прямо на отель, на мои окна, на меня надвигается громадное судно. И сладко обмершим сердцем я понял: сейчас случится то, чего я давно ждал (и все же оказался застигнутым врасплох), — вот каков будет мой конец, невероятный и величественный, для него потребовалось, чтобы огромное судно, паром, плавающее к берегам Швеции, вломилось в номер приморского отеля.

Сон окончательно отпустил меня, вернув пространству трехмерность с тусклой реальностью расстояний: паром двигался из глубины заоконного пейзажа, в миле от берега, давя и раздвигая слабые льды, и не вплыть ему в отель, отделенный от залива широкой улицей и узкоколейной дорогой, огибающей бухту и порт с его кранами, причалами, пакгаузами, мастерскими, рыбным базаром. В рассеянном свете зари громадина казалась еще больше, и это усиливало ее грозную близость. Что значило утреннее видение во фрейдовской символике? — подумал я, вспомнив о вчерашнем разговоре. Небритому фрейдисту этот полусон дал бы богатейший материал для безошибочных выводов о моей патологической психике.

Паром еще появится в моем рассказе о том, как я шел за Лассила. И хорошо, что он уже представлен читателям.

День я провел в библиотеках и архивах, просматривая разные материалы: письма, фотографии, вырезки из газет, подшивки пожелтевших от времени номеров «Рабочего», среди них и тот последний, который Лассила выпустил в одиночку; подержал в руках и его книги, как вышедшие при жизни писателя, так и после смерти, последних было, естественно, неизмеримо больше. Видел я и его иностранные издания — Лассила много печатают в социалистических странах, вышли его книги в Канаде, еще где-то, но все же у меня создалось впечатление, что на Западе его мало

переводят, и он еще «не открыт» миром. А зря!..

Увидел я и фотографии его жен: той первой, одноночной, с невыразительным лицом, чуждым тайне; и неистовой шведки, с сильной плотью и настораживающим взглядом спелых глаз — от нее шли тревожные токи. Мелькнули передо мной и многочисленные изображения самого Лассила: при усах, но безбородого, с усами и бородкой, с «бритым актерским лицом», как выражались в старину. Видимо, собственная внешность не удовлетворяла его, как и те имена, что он носил в разные годы жизни. Он искал свой облик, примерял всевозможные личины в надежде, что одна из них приживется. И я в который раз задумался над тем, чем объясняется тяга Лассила к таинственности, к затуманиванию своего «я», дроблению его как бы на несколько отдельных существований. В период конспиративной деятельности маскировка естественна, но нельзя сказать, что как раз тогда Лассила особенно осторожничал. Нет, он менял внешность и имя независимо от условий жизни, подчиняясь каким-то внутренним посылам.

Нет ничего удивительного, когда писатель, актер, певец, музыкант берет псевдоним. Отказ от собственного, тяжело, смешно, плохо звучащего имени свидетельствует об уважении к публике, читателям и о скромности художника, не придающего себе чрезмерного значения. Скорее удивляет другое — когда человек играет на сцене или публикует стихи под смехотворной фамилией. По-моему, это от самоопьяненности. Когда же человек хладнокровно отбрасывает уже прогремевшее имя и берет другое, малоизвестное или вовсе неизвестное, это трудно объяснить. Альгот Тиетивяйнен-Унтола знал цену Лассила и все же, не раздумывая, отказывался от этого имени, когда брался за публицистику, политические статьи. Быть может, ему мешала маска простовато-насмешливого певца Пирттипохьи и Липери? Рантамала — автор «Хархамы» и других социальных романов казался более подходящим? Но и от Рантамала, чья беллетристика была повита мистическим туманом, он отказался, написав чисто социальный роман «Беспомощные», так появился И. И. Ватанен. Он жил, боролся, творил, но не строил кропотливо и расчетливо писательской биографии, не наживал литературной славы, и в этом проявилось самое привлекательное и высокое его свойство — бескорыстие.

Покидая архив, я еще раз глянул на старую газету — номер «Рабочего» от 12 апреля 1918 года. Вроде бы гроша не стоит этот пожелтевший листок, а как много стоил он в те черные дни, когда его брали натруженные рука людей, которым дорога была свобода и самостоятельность Финляндии. Он был им как

последний луч света перед полярной ночью, как замирающая нота рожка, поющего о свободе, как призыв к терпению, мужеству и надежде, что еще не все погибло. Вот ради этого и остался в обреченном городе маленький, полуголодный, отважный человек, который не был никому должен, ибо всегда давал куда больше, нежели получал от других, ни перед кем не был виноват, хотя перед ним были виноваты многие, отчаянный солдат, заткнувший своим телом амбразуру.

Он сделал работу, переоделся в бедной комнатенке перед зеркальцем для бритья и, выйдя на Эспланаду, запруженную воспрянувшей духом «чистой публикой», швырнул себя, как кость, немецкой военщине, стремящейся унести с собой как можно больше жертв, и финским мстительным реакционерам, получившим, быть может, самую желанную добычу…

9

Мне все охотно идут навстречу в моих поисках, я чувствую, как приближаюсь к Лассила и все же остаюсь далек от него. Противоречивые мнения путают меня, я теряю след, образ туманится, зыбится, растворяясь в прохладном, влажном воздухе, тревожном от близкого пробуждения. Но мои трудности не только в этом, дело в самом Лассила, в том, что он, вероятно, и сам себя не знал до конца. Он ушел сорокадевятилетним — это немного, хотя и не так уж мало. Но Лассила был художник, а художник созревает иногда много быстрее, иногда куда медленнее нетворческой личности. Лассила находился в зрелом возрасте, но писал всего девять лет, а это писательская молодость, и можно лишь удивляться, что он так много успел. У писателя личное и творческое созревание идут параллельно, почти пятидесятилетний Лассила еще не установился, он был в движении, развитии, еще искал свою окончательную форму. Так мне думается, во всяком случае…

Продолжаю идти за Лассила. Сегодня у меня встреча с известным писателем, сделавшим инсценировку одного из романов Лассила. Его суждения об авторе «За спичками» решительно отличались от концепции режиссера. Он считает, что Лассила был полноценный во всех смыслах человек. Никакой болезненности, никаких отклонений в психике, во всем жизненном поведении. И органичен был путь его политического развития: крестьянский сын, батрак, сельский учитель, он верил в финскую партию, считая, что она поможет земледельцам. Петербург, принадлежность к боевой террористической

организации заставили его по-новому взглянуть на вещи. Он понял реакционную сущность финской партии и перешел в ряды социал-демократов, заслужив у бывших сподвижников кличку «ренегат». Он — писатель, нашедший себя в крестьянской теме, закономерно левевший, и можно утверждать, что в конце концов он пришел бы к коммунистам.

— Странно, — заметил я, когда он замолчал, — все, что вы говорите, справедливо, трезво, доброжелательно к Лассила, это особенно приятно после тех откровений, что обрушились на меня вчера. Только я почему-то не вижу живого Лассила. Вы говорите о ком-то, очень на него похожем, но этого человека не ошпаривали кислотой, он не бежал из брачной постели, не менял имен и внешности, не отказывался от премии, не писал обиженных писем редакторам на пятидесяти страницах, оскорбленный чепуховыми замечаниями и позволяя при этом беззастенчиво себя грабить. Он не бросал учительства ради коммерции, не имея к тому ни малейшей склонности…

— Я понял вас, — остановил меня писатель. — Можете не перечислять дальше, чего бы не сделал мой Лассила. Что вы думаете о вчерашнем собеседнике?

Почему-то я оказался готов к этому неожиданному вопросу:

— Он был вполне искренен и не понимал лишь одного, что рисует вовсе не Майю Лассила, а собственный портрет.

Писатель вышиб сигарету из пачки «Мальборо», долго разминал в пальцах, щелкал зажигалкой, ловил длинное голубое пламя газового «ронсона», раскуривал, пока не отвалился на брюки цилиндрик легкого пепла.

— Наверное, все мы, говоря о Лассила, в какой-то мере говорим о себе, — наконец отверз он уста. — Мы пытаемся рассуждать о человеке, чей путь был искусственно оборван, он не поставил точки ни в литературе, ни в личной судьбе. Даже мне, при неодолимой склонности к синтезу, порой кажется, что Унтола, Рантамала, Ватанен и Лассила — разные люди, которых легенда соединила в одного. Лассила, путающийся в коммерческих сделках, Лассила диких любовных приключений никак не вяжется с обитателем нищенской комнаты на улице Руннеберга, с бесстрашным борцом; трудно представить, что одна и та же рука написала «Хархаму» и «Сверхумного». И слишком много наверчено сплетен, недостоверных и недоброкачественных свидетельств, слухов, догадок, мифов. Невольно каждый выбирает наиболее для себя подходящее и по-своему строит образ ушедшего писателя. По тому, что выстраивается, можно скорее судить о нем самом, нежели о Лассила. Мне всегда хотелось упорядочить свою жизнь, быть единым, цельным в своих

писаниях, и я невольно упорядочил Лассила — до полной безликости. Ветвистое дерево превратил в телеграфный столб. Можно ли вообще разобраться в хаотичном, со множеством белых пятен, пейзаже душевной жизни Лассила? Мы все время, говоря о нем, врем с искренней верой в собственную правдивость. А знал ли себя сам Лассила? Сплавились ли в нем самом его разноликие образы? Не думаю… Ищущий, вечно не удовлетворенный собой, он всю жизнь разрывался на куски, чтобы прийти к окончательной цельности, где бы слились воедино все его образы, человек не мешал бы писателю, публицист — беллетристу, а твердая идея управляла бы всем. Он к этому приближался, но все же не подписал ни одной статьи в «Рабочем» знаменитой фамилией Лассила. Что-то ему мешало: не произошло еще взаимопроникновения Лассила и Рантамала. И все-таки мне кажется, что к Лассила надо идти не через усложнение, а через упрощение, чтобы вычертить главную линию, хотя бы для начала.

— Положа руку на сердце, вас ничего в его личности не озадачивает, не смущает? — спросил я.

— Нет, — быстро ответил писатель. — Да! — добавил он на одном дыхании. — Его душевный мазохизм. Он хотел быть несчастным, бедным, бесславным, сгинуть в многочисленных псевдонимах.

— А может, это обостренная совестливость? Деяние важнее того, кто его совершает. И в жизни и в искусстве. Тут Лассила не одинок. «Быть знаменитым некрасиво», — писал наш великий поэт.

— Наверное, он был много лучше нас всех, — тихо сказал писатель. — Мы просто до него не дотягиваемся…

10

…В канун своего возвращения в Москву ранним утром я поехал к тюрьме Серняйнен, куда был брошен Майю Лассила после ареста на Эспланаде и откуда он пошел на казнь. Высокое мрачное кирпичное здание за кирпичной же оградой сохранилось до сего времени, не изменив своему назначению. Шестьдесят два года назад такой же вот студеной весной к тюрьме подкатила «Черная Мария», куда с ненужной, но почему-то обязательной в таких случаях грубостью запихнули несколько мужчин и женщин, приговоренных судом скорым и неправедным к смертной казни. Все делалось в такой спешке, что ни обвинительное заключение, ни приговор не были зафиксированы на бумаге.

Машина тронулась. Сквозь зарешеченное окошко

приговоренные видели грустные рельсы товарной железной дороги, влажный шлак меж пропитанных варом шпал, платформы, вагоны, цистерны, задыхающийся паровичок с высокой трубой, складские помещения, деревья, водокачку, кирпичные трубы. Они видели и скучные, однообразные дома рабочего района Серняйнена, по которому названа старая тюрьма, но не казались им скучными человечьи жилища, а до слез милыми, полными теплой, дивной жизни, которая уходит от них с каждым оборотом колес «Черной Марии», с каждым толчком на щербатой мостовой. И наверное, маленький аккуратный господин с темными усами и бородкой видел больше соузников, хотя они смотрели во все глаза, жадно впитывая последние впечатления от пробуждающегося города. Но маленький господин видел и то, что ускользало от их жадного внимания, так уж был устроен у него хрусталик глаза; он видел желтые клювы грачей, еще не испачкавшиеся о землю, видел трясогузку, пьющую воду из лужи, и как откидывала она головку с каждым глоточком, видел чирка, стремительно несущегося над самыми крышами и резким зигзагом огибающего печные трубы, видел облако с розовым исподом и старуху, держащую в руке загнутый на конце железный прут, чтобы исследовать мусорные кучи, помойки, свалки в поисках съедобных огрызков. И слышал этот господин не только тоскливые высокие паровозные гудки, всхлипы поршней, лязг сцепов, но и далекий детский смех, постук женских каблучков по тротуару, голубиное нутряное воркование — такое было у него устройство ушного аппарата, и запахи пробирали его сильнее, чем его спутников, которые обоняли лишь запахи железной дороги, гари, вара, конского навоза, бензина и юфтевых сапог охранников, а ему тянуло свежей землей из-за окраины, набухшими почками, молодой травой. Господин был писателем, ему окружающий мир был горяч, как сковородка, и покидать этот горячий, острый, пахучий, певучий, цветной, многоликий мир особенно тяжело.

Мы можем лишь гадать, о чем тогда думал Лассила, но, возможно, вспоминал о свидании с женой Пунанена: сумеет ли Сасу забрать его картошку, которую он так здорово научился выращивать, ведь последние впечатления память удерживает прочнее. Но, конечно, он думал не только о картошке, нельзя думать о ней весь долгий путь, тем более что машина приближалась к центру, мелькали знакомые красивые дома — в иных ему доводилось бывать, и он вспоминал людей, приглашавших его в гости, их глаза, голоса, улыбки, разговоры за дымящимся кофе или стаканом вина, и все сильнее в душной машине ощущалась морская свежесть. И вдруг ошеломляюще

сильно, прекрасно и мучительно шибануло дивным смрадом рыбного рынка. Вот куда их привезли, вот откуда начнется их самый последний путь.

Он любил этот рынок и часто гулял здесь. Он никогда, даже в лучшие дни, не был ни гурманом, ни чревоугодником, ел мало и кое-как, но любил щедрость земли и щедрость вод, любил их дары, и не было для него большего удовольствия, чем пройтись мимо лотков с обрызганными водой овощами: розовой картошкой, пахучей петрушкой, красной морковью с курчавой ботвой, пучками зеленоперого лука, вступить в свежайшую рыбную вонь, в блеск и сверк серебристых рыбьих тел, глянуть на бледную розовость здоровенных распластанных лососей, на треску и морских окуней, на плоских камбал, на пятнистую форель из быстрых прозрачных речек, на шевелящих перламутровыми жабрами щук с пилами в длинных пастях, на ракушки, чью пахучую мякоть так и не научился есть; он видел рыбацкие баркасы, доставляющие прямо к рынку только что наловленную, еще живую рыбу в садках и чанах, крепких мужиков в зюйдвестках, золотоглазых чаек, диких уток, бесстрашно плавающих у самой пристани и даже выбирающихся на берег полакомиться отбросами, мохноногого каюка в бледном небе, высматривающего жертву, и воду, качающую солнечные зеркальца, и тяжелые камни родины, которыми были укреплены берега в гавани, и лодки — весельные, моторные, парусные с убранными парусами. Случалось, морщинистый загорелый старик, похожий на кондора носом-клювом и облезлой макушкой, ладил парус, собираясь в море, он так и не узнал, кем был этот ранний путешественник. А зачем?.. Ну, чтобы назвать его про себя сейчас. Старому кондору открыто пространство во все четыре стороны света, но он не уйдет далеко, потому что слишком привязан к этому берегу, к этой бедной земле. А вот мы уплывем куда дальше, в ту страну, что зовется Вечностью, хотя истинное название ей — Ничто. Ага, пришел проводить нас в эту страну сенатор Освальд Кайрамо, он должен присутствовать при казни, чтобы все было по закону; почему так заботится о букве закона власть, до глубины души презирающая его суть? И мой приятель Эйно Райло тут как тут, и коллега Вилкуна, — неуклонно правея, бедняга пишет все хуже и хуже. Неужели они пришли проститься со мной — «ренегатом»? Ах, как трогательно! Нет, они пришли убедиться, что со мной покончено — раз и навсегда. Каким же грузом вишу я на их крепких шеях! Они, кажется, кланяются мне — тонкая ирония! Что ж, ответим тем же — и он кивнул им, поскупившись от презрения даже на беглую насмешливую улыбку. Он не задержался на них ни взглядом, ни

сознанием, слишком серьезно было то, что ему предстояло.

Хриплый голос скомандовал грузиться на катер.

Не замечая, сколь двусмысленна его вежливость, Лассила пропустил вперед женщин и вслед за ними поднялся по трапу…

Никто не знает, что произошло на борту тюремного катера, на остров вынесли мертвеца и для верности еще раз расстреляли. Потом прикончили остальных и сбросили в общую могилу. Катер ушел назад, увозя охранников, тюремного врача Арне Лийтинена, внесшего свою долю путаницы в легенду об исходе Лассила, сенатора Кайрамо, так хорошо справившегося с ролью блюстителя законности, а два литературных подонка поднялись к ресторану, чтобы добрым глотком аква-виты и тонким обедом отпраздновать свое освобождение от человека, не дававшего покоя их нечистой совести. Так разошлись дороги тех, кто ранним весенним утром 1918 года отплыл на тюремном катере от Рыбной пристани к Сантахамина. Но тогда никто не предполагал, как далеко разойдутся их пути: одни шагнули в небытие, другие — в бессмертие.

11

…Моя трезвая, серьезная, трудовая жизнь в финской столице осточертела окружающим. Не так рисовалась тороватым хозяевам и уже начала воплощаться работа над совместной книгой. Они ждали большей легкости, большей радости, в их просветленных душах звучала вакхическая, а не элегическая, хуже — похоронная песнь. Я же упорно покидал все празднества, едва дионисийское начало брало верх над суровой парадностью торжественной части. От меня явно ждали другого, рассказ «Вечер в Хельсинки» и добрые слухи, предварившие мой приезд, отнюдь не настраивали на встречу с таким угрюмцем.

В номере у меня пылились две бутылки «Пшеничной» с завинчивающимися пробками и пузатая бутылка марочного коньяка. Я пригласил к себе небольшую компанию, заказав в буфете легкую закуску, кофе, фрукты, тоник. Каюсь, мною двигала не только благодарность за гостеприимство, а ощущение, что Майю Лассила не сказал еще своего последнего слова. Часть гостей, покрутившись, вскоре ушла, остались врачиха, пописывающая стихи, журналист — его нервное, тонко очерченное лицо напоминало мне Лассила безусого и безбородого периода, да и субтильным, деликатным сложением он был похож на финского классика, и художница, в чью мастерскую мы заезжали, возвращаясь с озера Туусула, столь

любимого финскими живописцами, километрах в тридцати от столицы. Художница подарила мне на память небольшое полотно, изображавшее плевок; по-моему, оно и было написано слюной, как-то закрепленной на холсте; можно сказать, что картина выплюнута в мгновенном творческом озарении. Мне очень понравились и эта работа, и сама художница — крупная, большерукая, большеротая с огромными зелеными шальными глазами. Потом обнаружилось еще одно ее достоинство: неиссякаемый завод, как у старинных английских напольных часов.

Мы уже долго кутили, когда за окном прогудел пароход, и я вспомнил о своем видении — пароме, вплывающем в номер. Это дало повод для разговора, достойного героев Лассила.

— Что ты несешь? — сказала художница. — Разве он влезет в окно?

— Сроду не влезет, — согласился журналист. — Пароход — вон какой, а окно — вон какое.

— Да это ему почудилось, — вмешалась поэтесса.

— Мало ли что ему чудится, — сказала художница. — А мы должны верить?

— Ладно вам! — попытался я прекратить спор. — Мне спросонья показалось. Был туман и странный, рассеянный свет. Он приближал и увеличивал предметы…

— Пить надо меньше, — посоветовала художница и опрокинула в рот рюмку.

— А катер сюда вошел бы, — глубокомысленно изрек прикинувший что-то в уме журналист.

— Труба не пройдет, — возразила художница.

— Я имею в виду — без трубы.

Все согласились, что без трубы, катер войдет в мой номер, и очень развеселились. Поэтесса спросила журналиста, едет ли он в Швецию, как собирался.

— Мы отплываем завтра, в шесть утра. — На тонком запястье у него болтались невиданных размеров часы со множеством стрелок. — Странная делегация… я и пять баб.

— Не завидую им, — сказала художница и стала звонить мужу, что немного задерживается. Она заверила его, что все идет хорошо, даже лучше, чем ожидалось, пусть не беспокоится, она вызовет такси. Муж, и свою очередь, уверил ее, что ничуть не беспокоится и ложится спать. Ключ оставит под порогом — они жили за городом. Потом журналист позвонил своей жене — тут нам приказано было соблюдать полную тишину — и на одном дыхании сообщил, что заработался с Анти, домой ужо не вернется, сразу пойдет на паром.

— Встретимся после Швеции! — крикнул он и сразу положил трубку, захлебнувшуюся пулеметной очередью, и вытер вспотевший бледный лоб.

— Худо ли, хорошо ли, а дело сделано, — сказал он и осушил налитую всклень рюмку, чтобы восстановить душевное равновесие.

— У него ужасная жена, — доверительно сообщила мне художница, не понизив голоса. — Двухметровая деревенская бабища, скандальная и горластая. По-моему, она его бьет.

— Ну уж и бьет! — вяло запротестовал журналист. — У нее привычка размахивать руками, когда ругается, может задеть случайно, но бить себя я не позволю.

— Побежишь в полицию? — спросила художница.

— Я сумею за себя постоять, — похвастался журналист и тут побледнел еще мертвенней, чем при разговоре с женой. — Неужели все выпито?

— Поищи в чемодане, — посоветовала мне художница. — Может, завалялась бутылка.

— Это все, — сказал я. — Если хотите, закажу.

— Ишь какой миллионер! Тут наценка — триста процентов.

— Разве что за счет мэрии… — неуверенно предложил журналист.

— Неудобно…

— Но кто же пьет на свои в гостинице такого класса? — печально сказал журналист. — Это безнравственно.

— Знаете что, — предложила поэтесса, — пошли ко мне. У меня есть и водка, и пиво, и вермут.

— А хорошо бы сейчас холодненького пивца, — облизнулся журналист.

Я от приглашения отказался, но никто меня особо и не уговаривал. Расстались мы душевно, я так и не сумел оттереть воротник рубашки от помады художницы.

А утром, у дверей ресторана, где мне давали прощальный завтрак, я столкнулся с поэтессой. На ней лица не было.

— Что случилось? — спросил я.

Она махнула рукой.

— Кошмар!..

— Но все живы?

— Не знаю, — траурно прозвучало в ответ.

— Художница?..

— Ее мы погрузили в такси и отправили домой.

— Журналист?..

Вместо ответа она вынула из сумочки необыкновенные, поразившие меня накануне наручные часы с секундомером,

календарем, шагомером, барометром, манометром и счетчиком Гейгера.

— Они очень тяжелые. Мешали ему подносить рюмку ко рту. Он их снял и забыл на ночном столике.

— Подумаешь, беда! Обойдется в Швеции без часов. Или купит штамповку за три доллара.

Она посмотрела на меня долгим взглядом.

— Он никуда не уехал. Вы разве не слыхали: объявлена всеобщая забастовка финского пароходства. Ни одно судно не вышло из порта. Вы представляете, в каком виде он явится домой, да еще без часов?

Я вспомнил пулеметную очередь в трубке и то, что рассказала художница о воинственной жене журналиста, и лишний раз убедился, до чего правдиво, национально-жизненно и созвучно нашим дням искусство Майю Лассила, истинно народного писателя прекрасной озерной страны, что мирно и дружелюбно соседствует с моей Родиной.

notes

Примечания

1

Фильм вышел в 1976 году. Он получил Золотой приз Международного Московского фестиваля и «Оскар» — высшую кинонаграду мира.